



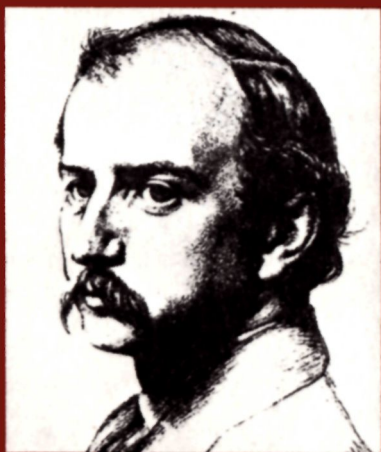
ГЕНРИ
АДАМС



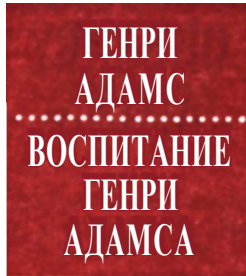
ВОСПИТАНИЕ
ГЕНРИ
АДАМСА

"Политическая дилемма 1870 года стояла так же отчетливо, как, вероятно, будет стоять в 1970-м. Государственная система, установленная в 1789 году, рухнула, и вместе с ней априорные, или нравственные, принципы, созданные восемнадцатым веком... Впредь девять десятых политической энергии должно было растрачиваться на пустые попытки подправить — подремонтировать — или, говоря вульгарным языком, подлатать — политический механизм всякий раз, когда он давал сбой. Подобный строй, или отсутствие строя, мог существовать веками, чуть подновляясь за счет вспыхивавших порою революции или гражданской войны, но как механизм он был, или вскоре должен был стать, наихудшим в мире — самым неповоротливым — самым неэффективным".

Г. Адамс



МЕМОУАРЫ И БИОГРАФИИ



**HENRY
ADAMS**



**THE EDUCATION
OF HENRY
ADAMS**

ГЕНРИ
АДАМС
.....
ВОСПИТАНИЕ
ГЕНРИ
АДАМСА

*Перевод с английского
М. А. ШЕРЕШЕВСКОЙ*



МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1988

Послесловие А. Н. Николюкина
Комментарии В. Т. Олейника
Художник В. К. Бисенгалиев
Редактор Л. В. Савченко

Адамс Г.

А28 Воспитание Генри Адамса / Пер. с англ. М. А. Шерешевской; Послел. А. Н. Николюкина; Коммент. В. Т. Олейника. — М.: Прогресс, 1988. — 752 с., 16 с. ил. — (Мемуары и биографии).

Книга Генри Адамса (1838—1920), историка, писателя и общественного деятеля США конца XIX — начала XX столетия, принадлежит автобиографическому жанру. «Воспитание Генри Адамса» дает богатейшую панораму развития политической, научной, культурной и общественной жизни США. По тонкости наблюдений и меткости характеристик, по отточности и афористичности языка эта книга принадлежит к лучшим образцам англоязычной мемуарной прозы.

А $\frac{4703040400-475}{006(01)-88}$ 75-88

ББК 84.7 США

© Перевод на русский язык, послесловие, комментарии и художественное оформление издательство «Прогресс», 1988

ОТ АВТОРА

Жан Жак Руссо начал свою знаменитую «Исповедь» со страстных слов, обращенных к Всевышнему судии:

«Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил свою душу и показал ее такую, какую видел ее сам, Всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне; пусть они слушают мою исповедь; пусть краснеют за мою низость; пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия Твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет Тебе: «Я был лучше этого человека».

Жан Жак был великим воспитателем в духе восемнадцатого века и, по всеобщему мнению, пользовался большим влиянием, чем любой учитель его времени, хотя метод, каким он тщился улучшить человеческую натуру, нравился далеко не всем. Большинство воспитателей девятнадцатого века отказались выставлять себя перед своими учениками людьми более презренными и низкими, чем это было необходимо, — медь даже ничтожнейший из учителей скрывает, по возмож-

ности, недостатки, которыми природа всех нас, как и Жана Жака, щедро наградила, полагая, по примеру религиознейших умов, что Всевышний и сам вряд ли испытывает истинное удовольствие, когда перед его взором открывают главным образом наименее приятные черты собственного его творения.

В результате двадцатый век, к сожалению, получил мало новых наставлений, чего избегать и чему следовать. В американской литературе вряд ли найдется хотя бы одна рабочая модель для гармонического воспитания. Даже чтобы найти образец для самовоспитания, ученику приходится возвращаться, минуя Жана Жака, к Бенджамину Франклину. Исключая заброшенную область мертвых языков, в последнее время никто не рассматривал, какая часть воспитания оказалась, по личному опыту, полезной, а какая бесполезной. В данной книге делается попытка это рассмотреть.

Как воспитатель Жан Жак в одном аспекте несомненно был зачинателем: он воздвиг монумент-предостережение против Его. Начиная с Руссо и главным образом благодаря ему, Его постепенно стало стусевываться и там, где нужна была модель, превращаться в манекен, на котором примерялись ризы воспитания, чтобы проверить, годятся ли они служить одеждой. При этом предметом изучения стал покров, а не сама фигура. Портной подгоняет как манекен, так и одежду по желанию патрона-заказчика. Цель, которую ставит себе портной в этой книге, помочь молодым людям — студентам университетов и другим — обрести широкие познания о жизни, оснастив их на любой трудный случай, а одеяние, которое здесь демонстрируется, пусть покажет им все недостатки лоскутного наряда, который носили их отцы.

Молодому человеку с деятельным умом нужно от учителя лишь одно — чтобы тот научил его владеть своими орудиями. Молодой человек и сам как предмет обучения является некой формой энергии; цель, которую ему необходимо достичь, — экономия сил; обучение заключается частично в уничтожении стоящих перед ним препятствий, частично

же в непосредственном приложении собственных усилий. Овладев орудиями и моделями, он может их отбросить.

Следовательно, манекен, предлагаемый в этой книге, имеет то же значение, что и любое геометрическое тело, рассматриваемое в трех или более измерениях, которое используется для изучения отношений. Для целей этой книги без него нельзя обойтись: он является единственной мерой движений, пропорций, человеческих состояний; ему необходимо придать вид реально существующего; необходимо принимать за реально существующий; необходимо обращаться с ним, как если бы он был живой. И кто знает — может быть, так оно и есть!

16 февраля 1907 года

1. КУИНСИ (1838—1848)

Если встать под сенью бостонского Стейт-хауса, спиной к особняку Джона Хэнкока, очутишься на небольшой улочке Хэнкок-авеню, которая тянется, вернее, тянулась от Бикон-стрит, окаймляющей участок, где находится Стейт-хаус, к Маунт-Вернон-стрит, что на вершине Бикон-хилл. На этой улочке в третьем доме вниз от Маунт-Вернон-плейс 16 февраля 1838 года родился мальчик, которого несколькими днями позже окрестил его собственный дядя, священник Первой церкви — этой цитадели бостонского унитаризма, — дав имя Генри Брукс Адамс.

Родись этот мальчик под сенью Иерусалимского храма, где дядя-первосвященник, совершив обрезание, нарек бы его Израилем Коганом, судьба вряд ли наложила бы на него более четкое тавро и убрала с его пути больше преград в скачках на призовые места, уготованных грядущим веком. Однако и рядовой путешественник по жизни, не вступающий на ее ристалища, тоже не прочь получить, так сказать, проездной билет, гарантирующий безопасность, предоставляемую давно обкатанными средствами передвижения. Пользоваться подобными гарантиями порою скучно, зато удобно, и тот, кому они нужны, ощущает необходимость в них

беспрестанно. Гарантии, которыми располагал Генри Б. Адамс, ста годами ранее обеспечили бы успех в жизни любому молодому человеку, и, хотя в 1838 году их ценность по сравнению с 1738 годом несколько снизилась, сам факт, что начало этой карьеры двадцатого века было связано с созвездием имен и названий, уводивших во времена колоний, в допотопные времена — Первая церковь, бостонский Стейт-хаус, Бикон-хилл, Джон Хэнкок и Джон Адамс, Маунт-Вернон-стрит и Куинси, сгрудившихся у колыбели с десятью фунтами слепой младенческой плоти, — был настолько необычным, что даже много лет спустя, когда младенец вырос и уже знал, чем все разрешилось, это удивительное стечение обстоятельств дало ему предмет для весьма любопытных размышлений. Что могло выйти из ребенка, который с детства впитывал дух семнадцатого и восемнадцатого веков, но, обретя сознание, оказался перед необходимостью вести игру картами двадцатого? А если бы спросили его заранее — захотел бы он вести ее теми картами, какие послала ему судьба, догадываясь, что примет участие в игре, в которой ни он, ни кто другой не знает и не знал от века ни правил, ни степени риска, ни ставок? Его не спросили, и он ни за что не отвечал. Но даже посвятить его родители в свои намерения, он, несомненно, попросил бы их ничего не менять. Он был бы потрясен тем, как ему повезло. Вряд ли существовало еще хоть одно дитя из родившихся в том же, 1838 году, которому сдали больше козырей. А была ли жизнь честной игрой, где господствовал случай, или же в ход шли крапленые и подтасованные карты, он все равно не мог отказаться играть: ведь на руках у него были одни козыри. Нет, он не мог сказать, как многие другие: я не несу за это ответственности. Он принял существующее положение вещей, стал частью его и, если бы все повторилось вновь, сделал бы это снова, и тем охотнее, что знал всему настоящую цену. В целом, от рождения и до смерти, он оставался пассивным, покладистым участником

и партнером в игре, которой была его собственная жизнь. И только принимая во внимание, что он сознательно был лояльным членом общества своего времени, жил с этим обществом в полном согласии, можно полагать, что история воспитания его ума и сердца представляет интерес для него самого и для других.

По правде говоря, он так по-настоящему и не вступил в игру; он с головой ушел в ее изучение, в наблюдение над ошибками участвовавших в ней — и в этом смысл последующего рассказа, без чего тот не содержал бы в себе никакого урока, ни стоящих внимания событий. Это рассказ о воспитании, длившемся семьдесят лет, практическая ценность которого весьма сомнительна, как все ценности, о которых люди не перестают спорить с рождения Каина и Авеля! Но ценность вселенной не исчисляется долларами. Не каждый человек может быть Гаргантюа — Наполеоном — Бисмарком, не каждому дано похищать колокола из Собора Парижской богородицы, но каждый должен нести в себе свою вселенную, и большинству из нас интересно знать, хотя бы в общих чертах, как справляется с этой ношей его сосед.

В течение трех лет, пока младенец, подобно всем младенцам, рос бессознательно, как трава, вопрос о его воспитании, вставший в 1838 году, оставался открытым, меж тем как внешний мир трудился вовсю, готовя для него новую, его собственную вселенную. Позднее, в пожилом возрасте, Генри Адамс не раз задумывался над тем, не правильнее ли, согласно теории случайностей, рассматривать и себя и этот свой мир как случайное стечение обстоятельств. Подобного случайного стечения обстоятельств человеческий опыт еще никогда не знал. Для него, и только для него, стиралась в труху старая вселенная и создавалась новая. Он и его допотопный Бостон восемнадцатого века внезапно разошлись, разьединились — если не духовно, то физически — в силу ряда событий: открылась железная дорога Бостон — Олбани, появился первый пароход, телеграф

передал из Балтимора в Вашингтон известие о том, что Генри Клей и Джеймс Н. Полк выдвинуты кандидатами на пост президента. Шел май 1844 года, мальчику было шесть лет, новый мир был готов принять его, а от старого мира на глаза попадались лишь осколки.

Из всего, чем потом обогатилось для него содержание этого мира, он пока различал только желтый цвет. Первое, что запомнилось, — желтый кухонный пол, на котором он сидит в ярком солнечном пятне. Ему было три года, когда через распознавание цвета он сделал этот первый шаг в познании окружающего мира. Вскоре последовал второй — вкусовое ощущение. 3 декабря 1841 года мальчик заболел скарлатиной. Несколько дней он находился между жизнью и смертью и вряд ли встал бы на ноги, если бы не самоотверженные усилия родных. Но вот, с 1 января 1842 года, он стал поправляться: на него напал неутолимый голод, который, наверное, владел им сильнее всех других чувств — радости или боли, — потому что память не сохранила никаких иных, даже слабых впечатлений от этих дней, кроме одного: в комнате, где он лежит, входит тетушка, а в руке у нее блюдечко с печеным яблоком.

Возможно, для памяти естественно сохранять впечатления именно в таком порядке — от цветových к вкусовым, но следует предположить, что в воспитании первое место занимает боль. И действительно, третье воспоминание связано с чувством неприятного. Как только врачи разрешили вынести больного на воздух, мальчика, закутав в одеяло, перенесли из небольшого дома на Хэнкок-авеню в другой, куда более внушительных размеров, вблизи Маунт-Вернон-стрит, где его родителям предстояло прожить до конца своих дней.

Переезд происходил в середине зимы, 10 января 1842 года, и Генри Адамс до сих пор помнит, как ему было тяжело, когда под ворохом одеял не хватало воздуха или когда с грохотом двигали мебель.

Болезнь, перенесенная в детстве, играет немаловажную роль в создании человеческой особи, отличной от среднего типа, — правда, в ином смысле, чем приспособляемость и неприспособляемость в естественном отборе. В особенности скарлатина, которая сильно сказывалась как на физическом развитии мальчиков, так и на характере, хотя ни один из них до конца жизни, вероятно, не мог бы сказать, помогла ли она ему в достижении успеха или же, наоборот, помешала. Скарлатина, которой переболел Генри Адамс, приобретала с годами в его глазах все большее и большее значение как фактор его развития. Прежде всего болезнь оказала воздействие на его физическое состояние. Генри отставал от братьев в росте на два-три дюйма и соответственно был уже в кости и меньше весом. Его характер и духовные наклонности, очевидно, также складывались по более утонченной модели. Он не блистал в драках и отличался более чувствительными нервами, чем положено мальчику. Подрастая, он преувеличивал свои недостатки. Привычка ставить все под сомнение, не доверять собственным суждениям и полностью отвергать общепринятые, склонность считать любой вопрос открытым, нерешительность в поступках (исключались лишь явно дурные), страх перед ответственностью, любовь к порядку, форме, качеству, боязнь скуки, тяга к дружбе и нелюбовь к обществу — все эти качества отличают, как известно, уроженца Новой Англии, хотя отнюдь не каждого. Но в случае Генри Адамса они, по-видимому, усугублялись перенесенной им болезнью, хотя он так и не смог решить, был ли происшедший в его развитии крен пагубным для него или благотворным, к добру или во зло для его дальнейших целей. Его братья представляли норму, классический тип, он — разновидность этого типа.

Однако во всем остальном болезнь никак на нем не сказалась; он рос вполне здоровый телом и духом, принимая жизнь такой, какой она была, без труда следуя установленным порядкам и наслаждаясь доступными ему радостями в

полную меру наравне с любым сверстником. Он считал себя в высшей степени нормальным, и товарищи тоже считали его таковым. Он отличался от них не типом, а развитием и воспитанием, и различие это явилось, прямо или косвенно, результатом приверженности к традициям восемнадцатого века, которую он унаследовал вместе с именем.

Атмосфера, в которой он жил и воспитывался, была насыщена духом колоний, революции, духом почти кромвелевским; он дышал воздухом, напитанным, казалось, еще со дня рождения его прабабки запахами политического мятежа. У уроженца Новой Англи сопротивление было в крови. Подчиняясь инстинкту, мальчик воспринимал мир через призму сопротивления: бесчисленные поколения его предков рассматривали мир как объект для переустройства, преобладающий во власти неистребленного зла, и не имели оснований считать, что полностью преуспели в его истреблении, — они еще не выполнили свой долг. Долг этот заключался не только в сопротивлении злу, но и в ненависти к нему. Мальчикам естественно видеть в любом принуждении враждебную силу, и, как правило, так оно и было, но уроженец Новой Англи, будь то мальчик или взрослый мужчина, за долгие годы борьбы с духовно ограниченной и враждебной средой привыкал получать удовольствие от ненависти, радостей же у него было мало.

Политика, в практическом ее применении, независимо от того, под какими лозунгами ее проводят, всегда была периодически организуемой игрой на ненависти, а политика в штате Массачусетс отличалась вдобавок такими же резкими перепадами, как и его климат. Новая Англия пленяла главным образом резкостью контрастов и крайностей: если мороз, то такой, от которого стынет кровь, если жара — значит, такая, от которой она кипит; и удовольствием от ненависти — к себе самому, если не находилось лучшей жертвы, — предавались не так уж редко, оно было подлинным и естественным плодом, родившимся на этой почве, а не цивилизо-

ванным сорняком, оставшимся в наследство от прошлого. Интенсивностью контрастов отмечалось все вокруг, и все это воспитывало. Двойственность окружающего мира окрашивала жизнь в соответствующие тона. Зима и лето, мороз и жара, город и сельский простор, принуждение и свобода определяли два образа жизни и мысли, уравновешивавшие друг друга, словно два полушария мозга. Город означал зимнее сидение взаперти, школу, соблюдение всех правил, дисциплину, прямые мрачные улицы с шестифутовыми сугробами посередине; морозы, от которых снег скрипел под каблуками; оттепели, превращавшие улицы в бурлящие потоки, которые небезопасно было пересекать; общество дядюшек, тетушек и прочих родственников, при которых детям надлежало уметь себя вести и которых их поведение не всегда удовлетворяло; и помимо всего прочего, неистребимое желание бежать и обрести независимость. Город воплощал в себе подчинение, регламент, единоначалие. Жизнь за городом, всего в семи милях от Маунт-Вернон-стрит, несла свободу, разнообразие, мальчишескую вольницу, нескончаемые радости, доставляемые одним лишь соприкосновением с природой, радости, которые давались без усилий и которыми мальчишки наслаждались с утра до вечера, даже сами того не замечая.

Мальчишки — дикие животные: природа щедро наделила их богатством чувств. А мальчишки из Новой Англии располагали куда большим диапазоном впечатлений, чем их сверстники, росшие в менее суровом климате. Окружающая природа воспринималась ими просто и непосредственно — в ее первозданном виде. Лето пьянило Генри Адамса. Самыми сильными ощущениями были запахи — жаркого соснового леса и папоротника, млевшего под палящими лучами полуденного солнца; свежескошенной травы; вспаханной земли; самшитовых изгородей; персиковых деревьев; сирени; жасмина; запахи конюшен, амбаров, коровников; соленой воды океана и вязкой жижи, выступающей над болотом; ни один из них не проходил мимо.

За запахами следовали вкусовые ощущения; дети знали на вкус все, что видели или трогали, — от болотной мяты и сахарного тростника до скорлупы земляного ореха и прописей в букваре — вкус А-Б. «А-Б» — этот вкус внезапно возникал во рту бывшего мальчишки и шестьдесят лет спустя. Удовольствие от света, линий, красок, воспринимаемых просто и непосредственно, как все остальное, пришло позже. Свет в Новой Англии ослепительно яркое, и атмосфера огрубляет краски. Только став взрослым, мальчик узнал, что означает «атмосфера», а тогда представление о свете сводилось для него к полыхавшему пожаром массачусетскому солнцу, а представление о красках — к пунцовому пиону с предутренней росой на лепестках, к синеве океана, каким он видел его с расстояния в одну-две мили с гряды холмов родного Куинси, к кучевым облакам, проплывавшим в послеполуденном июньском небе, к красному, зеленому, лиловому в цветных картинках детских книг — краскам, которыми дарила его Америка. Таковы были его идеалы. Совершенно иными были промозглые, серые ноябрьские вечера и вязкие, грязные оттепели бостонской зимы. При таких контрастах у бостонца не могло не произойти раздвоения души. Сама жизнь имела две стороны. Мальчик, который после январской метели любовался слепящим сверканием снега в белесых лучах студеного солнца, с его ярким светом и тенью, едва ли осознавал, что такое тона и полутона. Это могло ему дать только воспитание.

Зима и лето были двумя враждебными стихиями: они формировали два различных склада души. Зима требовала постоянных усилий, лето позволяло вести вольготную жизнь, как в жарких странах. Валялись ли мальчишки в траве или шлепали босиком по ручью, купались в океане или шли под парусом по заливу, ловили в бухтах корюшку или таскали бреднем в озерцах рыбку мелочь, гонялись за мускусной крысой или охотились за каймовыми черепахама в прибрежных бочагах, бродили по сосновым лесам или забирались

в гранитные каменоломни, шли по грибы или за орехами — лето и сельская жизнь всегда были поводом чувств, а зима — принудительным ученьем. Лето — разнообразием природы, зима — сидением за партой.

Воздействие зимы и лета на воспитание Генри Адамса — не плод воображения, в их контрасте таилась важнейшая сила из всех, какие он на себе испытывал; она давила на него постоянно, превратив разрыв между этими двумя загадочными, противоборствующими, непримиримыми противоположностями в развернутую пропасть, все увеличивавшуюся к последнему школьному году. С первых детских лет мальчик привык к тому, что жизнь имеет два лица. Зима и лето, город и сельские просторы, твердые правила и полная свобода исключали друг друга, а всякий, кто пытался делать вид, будто это не так, был в его глазах школьный учитель, то есть человек, специально нанятый для того, чтобы говорить детям неправду. Хотя Куинси находился всего в двух часах ходьбы от Бикон-хилл, он принадлежал к другому миру. В течение двухсот лет все Адамсы, из поколения в поколение, жили в непосредственной близости от Стейт-стрит, а иногда и на самой Стейт-стрит, и все же ни один из них не питал к городу сердечной привязанности, и город платил им тем же. Мальчик унаследовал этот двойной склад души. Пока он еще ничего не знал о своем прадеде, который умер за двадцать лет до его рождения: он считал само собой разумеющимся, что прадед хороший человек, а его враги — дурные люди; но характер прадеда он воссоздавал, примеряя на себя. Ни разу, даже на мгновение, Джон Адамс и Бостон не соединялись в его сознании, они существовали раздельно и даже противостояли друг другу; Джон Адамс принадлежал Куинси. Мальчик знал дедушку Джона Куинси Адамса, очень пожилого человека, лет семидесяти пяти — восьмидесяти, который обращался с ним, Генри Адамсом, очень дружески и нежно, и, если не считать, что дедушку из Куинси почему-то всегда называли «господин президент», а бабушку «госпожа

президентша», у него не было никаких оснований полагать, что дедушка Адамс чем-то отличался от дедушки Брукса, который тоже был с ним нежен и благожелателен. Клан Адамсов нравился ему больше, чем клан Бруксов, но только потому, что с ними связывались воспоминания о сельском приволье, о лете, об отсутствии принуждения. Тем не менее мальчик сознавал, что в социальном смысле Куинси уступает Бостону и что Бостон может смотреть на Куинси сверху вниз. Почему? Это было ясно даже пятилетнему ребенку. В Куинси не было бостонского шика. Вообще никакого шика; вряд ли можно было представить себе образ жизни и мысли проще, чем в Куинси, — разве что у пещерных жителей. Кремневая зажигалка, которой дедушка имел обыкновение ранним утром разжигать печи, все еще лежала у него на камине. Мысль о том, чтобы одеть слуг в ливреи или другую форменную одежду, как и мысль о вечерних туалетах, расценивалась здесь почти как святотатство. Ни ванн, ни водопровода, ни центрального отопления, ни других современных удобств в Куинси не было и в помине. А в Бостоне уже пользовались ванными комнатами, водопроводом, паровым отоплением и газом. Превосходство Бостона не оставляло сомнений, но за это мальчик не мог любить его больше.

Великолепие особняка дедушки Брукса на углу Перл-стрит и Саут-стрит давно уже сошло на нет, но его загородный дом в Медфорде, возможно, еще сохранился и способен показать, какое жилище в 1845 году отвечало представлению мальчика о городской роскоши. Усадьба президента в Куинси была больше и просторнее, к тому же и жилось в ней интереснее, но мальчик понимал, что она сильно уступала соседним усадьбам в стиле. Отсутствие богатства было видно во всем. Здесь все оставалось как во времена колоний, не было бостонского шика и плюшевых гардин. До конца жизни Генри Адамс так и не избавился от предубеждения к ним, впитавшегося во все его поры еще в детстве. Он так и не сумел полюбить стиль девятнадцатого века. Не смог его

принять — как и его отец, и дед, и прадед. И не то чтобы этот стиль так уж ему претил — он примирился и с худшими вещами, — все дело было в том, что по какой-то одному богу ведомой причине он родился ребенком восемнадцатого века. Старый дом в Куинси принадлежал к восемнадцатому веку. Если в нем и обнаруживался какой-то стиль, то его выражали панели из красного дерева времен королевы Анны или стулья и диваны эпохи Людовика XVI. Панели сделал ее верный вассал из Лондона, построивший этот дом, а мебель вывезли из Парижа то ли в 1789-м, то ли в 1801-м или 1817 году вместе с фарфором, книгами и другими предметами домашнего обихода — наследием дипломатической службы; ни один из этих стилей — времен английской королевы Анны или французского короля Людовика XVI — не создавал в доме уюта ни для мальчика, ни для других его обитателей. Темные панели покрыли белой краской, дававшей больше света в мрачное зимнее время. Мальчик сознавал, как мало преимуществ было у старых форм жизни. Напротив, большинство мальчишек, да и взрослые тоже, с полным основанием предпочитали новое, и мальчик чувствовал, что его старомодные вкусы явно вредят ему в глазах других.

Его пристрастия никоим образом не определялись и личными мотивами. Дедушка Брукс был так же доброжелателен и приветлив, как дедушка Адамс. Оба они родились в 1767 году, оба умерли в 1848-м. И тот и другой любили детей, и тот и другой принадлежали скорее к восемнадцатому, нежели к девятнадцатому веку. Мальчик не видел между ними никакого различия, разве только первый связывался в его сознании с зимой, а второй — с летом, первый — с Бостоном, а второй — с Куинси, даже с Медфордом, с которым вообще ничего не связывалось. Однажды его еще маленьким отвезли туда на несколько дней к дедушке Бруксу, поручив надзору тетки, но он так затосковал, что в первый же день его с позором вернули домой. Впоследствии он не мог вспомнить ни одного другого случая, когда бы так сильно тосковал по дому.

В привязанности к Куинси действовали не только сентиментальные чувства или сознание духовной близости. К тому же Куинси не был устлан розами. Даже это место не избежало каиновой печати. Там, как и везде, жестокая вселенная не жалела сил, стараясь сокрушить молодое существо. Словно для этого мало было братьев и сестер, готовых усердствовать с утра до вечера, и всех остальных, принимавших участие в его воспитании, которое он ненавидел. Задача заставить держаться порядка среди хаоса, неуклонного курса среди бескрайних просторов, повиновения среди вольности, единообразия среди многосложности всегда — от колыбели до смертного одра — была и должна быть целью воспитания, как мораль — целью религии, философии, науки, искусства, политики и экономики; но главное в жизни мальчишки — его воля, и, когда воля сломлена, он гибнет, как гибнет в упряжке жеребенок, уступая место иному существу — объезженной лошади. Редкий мальчишка питает добрые чувства к своему объездчику. Между ним и его наставником всегда идет война. Генри Адамс не знал ни одного мальчишки в своем поколении, который любил бы своих наставников, а при таком положении вещей сохранять дружеские отношения с родственниками было делом отнюдь не легким.

Тем более примечательным показалось ему впоследствии, что впервые он всерьез соприкоснулся с президентом, отставив собственную волю, и в этой борьбе старший Адамс, разумеется, победил младшего, но не оставил в душе побежденного, как это обычно случается, раны на всю последующую жизнь, а, напротив, вызвал ощущение справедливости, какую только можно ожидать от прирожденного врага. С таким отпором мальчик встречался нечасто. Произошло это, когда Генри было шесть, возможно, даже семь лет и мать привезла его к президенту в Куинси на все лето. Куда разъехались остальные члены семьи, он успел забыть, но ясно помнит, как однажды утром он, объятый бунтарскими чувствами, стоял в холле, отказываясь идти в школу. Естественно, вся

его ярость обрушилась на мать; для того они, матери, и созданы, да и сыновья тоже. Но в данном случае его мать находилась в крайне невыгодном для себя положении: она сама была гостьей, а потому не могла использовать те средства, которыми добиваются послушания. Со своей стороны Генри проявил немалые тактические способности, не соглашаясь выйти из дома, и сумел отразить все попытки принудить его к этому, оказав успешное, хотя и не в меру отчаянное сопротивление. Он явно был на пути к победе и с должной энергией удерживал свои позиции, стоя насмерть на нижней ступени длинной лестницы, ведущей в библиотеку президента, когда дверь наверху распахнулась и старый джентльмен стал медленно спускаться в холл. Надев шляпу, он, не говоря ни слова, взял присмирившего от благоговейного трепета мальчика за руку и повел в школу. После первого оцепенения, вызванного этим вмешательством высшей власти в домашний спор, мальчик подумал, что пожилому человеку, которому без малого восемьдесят, ни к чему утруждать себя прогулкой чуть ли не в милю по залитой жарким летним солнцем, от которого совершенно негде укрыться, дороге, чтобы засадить внука за парту, а с другой стороны, было бы странно, если бы мальчишка, обуреваемый страстью к свободе, не нашел закоулка, куда улизнуть, прежде чем они окажутся у школьных дверей. И тогда, и впоследствии мальчик убеждал себя, что именно эти доводы и заставили его подчиниться. Но старый джентльмен шел и шел, а мальчик видел, как все его стратегические планы рушились один за другим, пока он не оказался в стенах школы, став объектом пылливости, если не сказать неприязненного любопытства. Только тогда президент отпустил его руку и удалился.

Вмешательство президента, попиравшее неотъемлемые мальчишеские права и сводившее на нет общественный договор, должно было бы вызвать к нему неприязнь в душе внука на веки веков. Но Генри не мог вспомнить ни одного мгновенья, когда бы им владело такое чувство. Не чуждый

здорового смысла, мальчик, надо полагать, признавал, что президент, даже выступив орудием тирании, совершил свое постыдное дело с умом и тактом. Он не выказал ни раздражения, ни гнева, ни предвзятости, не применил физической силы. Более того, не дал воли языку. За весь долгий путь он не сказал ни слова, не произнес ни звука из тошнотворных сентенций о долге послушания и преступности противодействия закону; происходящее, по всей очевидности, его нисколько не интересовало, он вряд ли даже замечал присутствие мальчика. В эту минуту его, должно быть, не столько волновали проступки внука, сколько поступки президента Полка, но маленький мальчик вряд ли мог чувствовать удовлетворение при мысли, что ответственность за его грехи косвенным образом пала на президента Полка, и если отдавал должное деду, то за его тактичное молчание. Выдержка президента невольно внушала уважение. Мальчик принимал силу как форму права, признавал гнев, особенно вызванный протестом, но в этот момент семена нравственного воспитания упали бы в бесплодную почву Куинси, которая, как известно, состоит из самых каменистых ледниковых и песчаных наносов, какие только известны среди принадлежащих пуританам земель.

Ни один из участников этого маленького инцидента не питал к другому злого чувства; три или четыре года подряд отношения между президентом и мальчиком были в высшей степени дружескими, даже близкими. Теперь ему уже не вспомнить, пользовались ли его братья и сестры большим, чем он, расположением президента, но ему позволялась такая близость, что много лет спустя, когда он в свою очередь достиг преклонного возраста, ему стало не по себе при мысли, сколько раз он, должно быть, испытывал терпение президента. Он без конца торчал в его библиотеке, рылся в книгах, перемешивал страницы рукописей, залезал в ящики письменного стола, шарил по старым кошелькам и памятным книжкам в поисках иностранных монет, вытаскивал из трости вкладную

шагу, трогал пистолеты, переворачивал все вверх дном то в одном углу, то в другом и залезал в дедушкину гардеробную, где на полках под перевернутыми стаканами обитали гусеницы, которые, по расчетам президента, должны были превратиться, но так и не превращались, в мотыльков и бабочек. Госпожа президентша стойко сносила пропажу стаканов, которые ее муж похищал для своего инкубатора, и только тогда поднимала голос, когда он забирал ее лучшие, узорчатого стекла, чаши, чтобы, проращивая в них желуди и персиковые косточки, наблюдать, как они станут пускать корни, о чем, по словам президентши, он по обыкновению забывал, как и о сидящих под стаканами гусеницах.

В те годы президент увлекался выращиванием деревьев, и, надо полагать, не одно прекрасное старое дерево — свидетельство его увлечения — украсило бы сад, если бы культивируемые им семена когда-нибудь попали в землю. Но президент был человеком беспокойного ума и, хотя относился к своим увлечениям всерьез, крайне бы оскорбился, задай ему внук вопрос, неужели, подобно английскому герцогу, он не знает, куда деваться от скуки; волновал его, пожалуй, процесс, а не его результат. И Генри Адамс с грустью смотрел на отборные персики и груши, вдыхая их аромат: он знал, президент возьмет их на семена и поместит на полку, где они превратятся в гниль. Тем не менее, унаследовав добродетели своих предков-пуритан, маленький Адамс сам относил дедушке в кабинет лучшие персики, найденные им в саду, а ел те, что похуже. Зато, естественно, он ел их в большом количестве, вознаграждая себя за понесенный ущерб, но это-то как раз и означало, что он не держит на дедушку зла. Что касается дедушки, тот, вполне возможно, втайне корил себя за то, что взялся, пусть даже временно, исполнять обязанности ментора: ведь собственная его карьера отнюдь не подтверждала преимуществ безропотного послушания. В доме до сих пор хранится томик тщательно отобранных стихов для детей, на котором дрожащей рукой президента выведено

полное имя внука. И конечно же, мальчику, как и всем остальным детям, при рождении подарили Библию, на титульном листе которой президент сделал подобающую надпись, между тем как от дедушки Брукса внуки получили по серебряной чаше.

Дедушкам пришлось подарить им столько Библий и серебряных чаш, что понадобился новый дом, вернее, вилла, чтобы разместить все это добро. Ее построили в пяти минутах ходьбы от «старого дома», «на взгорье», откуда с восточной стороны открывался вид на залив Куинси, а с северной — на Бостон. До двенадцати лет мальчик проводил там каждое лето, и его детские радости были связаны главным образом с этим домом. Воспитанием ему пока не слишком докучали. Сельская школа не отличалась чрезмерной основательностью. В мозгу оседали только домашние впечатления, и самые яркие из них были от общения с детьми родственных кланов. Но ничто так не повлияло на детское воображение, ни с чем не могло сравниться по силе воздействия, как лысый затылок президента, возвышавшийся перед мальчиком по воскресеньям, когда тот сидел на своей церковной скамье рядом со скамьей мэра Куинси, которого, хотя он был лет на десять моложе старого Адамса, дети числили в одном с ним возрасте. Пока железные дороги еще не прошли по городкам Новой Англии, в каждой приходской церкви на лучших скамьях по обе стороны главного прохода восседало с полдюжины убеленных сединами «отцов», которые, казалось, сидели там или на равно почетном месте со времен св. Августина, если даже не ледникового периода. Не каждому мальчику выпадало на долю сидеть за спиной дедушки-президента и читать над его головой надпись на мемориальной доске в честь прадедушки-президента, который «покаялся жизнью, состоянием и честью» добиться независимости родной страны и тому подобное. Но в представлении мальчишки, не вдававшегося в рассуждения, у других мальчишек должны быть свои, равновеликие президенту дедушки, церкви стоять вечно, а

лысые отцы города восседать по обе стороны главного прохода под мемориальными досками президентов или не менее выдающихся личностей. Ирландец-садовник как-то бросил ему: «Небось думаешь, тоже выйдешь в президенты!» Небрежность тона, каким эти слова были сказаны, произвела на мальчика неизгладимое впечатление, они не выходили у него из головы. Он ни разу, сколько мог припомнить, не задумывался над этим вопросом; для него было новостью, что можно сомневаться, станет ли он президентом. То, что было, не могло не быть и впредь. Ни президенты, ни церкви не подлежали сомнению, и до сих пор никто не заронил в нем опасение, что общественной системы, которая вела свое начало от Адама, может не хватить еще на одного из колена Адамова.

Госпожа президентша держалась более отчужденно, чем президент, зато выглядела живописнее. Она проводила много времени у себя, в отделанной голландскими изразцами комнате, любуясь из окна садом с его обсаженными самшитом дорожками; мальчику, который иногда доставлял ей записки и передавал поручения, она казалась очень хрупкой, и он с наслаждением вглядывался в ее тонкие черты, выступавшие из-под чепцов, которые, по его мнению, были ей очень к лицу. Ему нравились ее изящная фигура, нежный голос, благородные манеры и что-то неуловимое, говорившее о том, что она принадлежит не Куинси, а скорее Вашингтону или Европе, как и ее мебель, бюро со стеклянными створками в верхней части, за которыми виднелись маленькие восемнадцатого века томики в старинных переплетах, на которых стояли «Перигрин Пикль», или «Том Джонс», или Ханна Мор. При всем своем старании госпожа президентша так и не смогла стать бостонкой, и это был ее пожизненный крест, но для мальчика ее очарование в этом и тайлось. Даже в том возрасте его влекло к ней именно это. Она и в самом деле прожила жизнь, далекую от Бостона. Родилась она в 1775 году в Лондоне и была дочерью Джошуа Джонсона, американского коммерсанта, брата Томаса Джонсона, губернатора

штата Мэриленд, и его жены Кэтрин Нат, англичанки из Лондона. Вынужденный с начала Освободительной войны покинуть Англию, Джошуа Джонсон перевез семью в Нант, где она оставалась до заключения мира. Когда Луиза Кэтрин вернулась в Лондон, ей было без малого десять лет, и ее национальное чувство отличалось некоторой расплывчатостью. Благодаря влиянию клана Джонсонов и заслугам самого Джошуа в 1790 году, как только создалось правительство США, президент Вашингтон назначил его консулом в Лондоне. А в 1794 году президент Вашингтон назначил посланником в Гаагу Джона Куинси Адамса. Молодому дипломату было двадцать семь лет, когда год спустя его перевели в Лондон, где в доме консула он встретил теплый прием. Луизе тогда исполнилось двадцать лет.

В эти годы, да и после, дом консула, гораздо больше, чем дом посла, выполнял роль центра, куда стекались путешественники по делам службы и иным надобностям американцы. Между 1785 и 1815 годами посольство кочевало из одного помещения в другое, и консульство, расположенное в самом сердце Сити недалеко от Тауэра, оставалось местом встреч, удобным и привлекательным, настолько привлекательным, что оказалось для молодого Адамса роковым. Луиза, само очарование, словно сошла с портрета Ромни, однако среди ее многочисленных достоинств одного ей явно недоставало: она не принадлежала к породе женщин Новой Англии. Существенный недостаток. Ее потенциальную свекровь, Абигайл, знаменитую женщину Новой Англии, чья власть над неистовым мужем, вторым президентом, уступала только авторитету, каким она пользовалась у сына, будущего шестого президента, снедали опасения, что Луиза замешана из недостаточно крутого теста и воспитана в недостаточно суровых условиях, чтобы прижиться в климате Новой Англии и стать исправной и деятельной супругой ее образцовому сыну. В данном случае, как и в большинстве других, где требовалось здоровое суждение, Абигайл была права, но порою здоровое суждение

служит источником не силы, а слабости, и Джон Куинси имел уже основания считать, что в оценке предполагаемых невесток его матушка придерживается тех здравых суждений, которым, в силу человеческой природы, сыны Адамовы с момента падения Евы следовать не способны. Находясь за три тысячи миль от своей матушки и увязнув столь глубоко в любви, он женился на Луизе. Свадьба состоялась 26 июля 1797 года в Лондоне, откуда молодая чета вскоре отправилась в Берлин, где муж возглавил посольство Соединенных Штатов. В Берлине молодая женщина провела несколько полных впечатлений лет, но ее потомкам трудно судить, насколько она была счастлива, довольна и какой имела в свете успех; во всяком случае, не подлежит сомнению, что там она никоим образом не могла подготовиться к жизни в Куинси или Бостоне. В 1801 году, после изложения партии федералистов, им с мужем пришлось переселиться в Америку, и здесь она наконец стала членом семьи Адамсов из Куинси, где оставалась, с выездами на зиму то в Бостон, то в Вашингтон, до 1809 года; но в это время все ее внимание стали поглощать дети. В 1803 году ее мужа избрали в сенат, а в 1809-м назначили послом в Россию. Она последовала за ним в Санкт-Петербург, взяв с собой малютку Чарлза Фрэнсиса, родившегося в 1807 году; сердце ее обливалось кровью: двоих старших сыновей пришлось оставить в Америке. Жизнь в Санкт-Петербурге вряд ли принесла ей много радостей: они с мужем были бедны и не могли блистать в пышном петербургском свете, но от этого она не умерла (умерла в русской столице ее новорожденная дочь) и зимою 1814/15 года вместе с семилетним сыном проехала всю Европу, следуя из Петербурга в Париж, в дорожной кибитке, минуя действующие армии и достигнув Парижа как раз во время Cent Jours¹ — возвращения Наполеона с Эльбы. Затем ее муж получил назначение послом в Англию, и два года ей пришлось быть при дворе

¹ Сто дней (фр.).

Регента. В 1817 году муж, став государственным секретарем, вернулся на родину, и следующие восемь лет она жила на Ф-стрит, выполняя возложенную на нее миссию — развлекать членов правительства президента Монро. А потом были четыре мучительных года в Белом доме. Когда к 1829 году эта глава была дочитана, она чувствовала себя достаточно усталой, чтобы заслужить право на отдых и покой, но ей предстояло еще пятнадцать лет исполнять роль жены члена палаты представителей, так как в 1833 году ее муж вернулся в конгресс. Именно такой, какой она была в эти годы, точнее, с 1843-го по 1848-й, она и запомнилась маленькому Генри: за завтраком в своей отделанной изразцами комнате — а перед ней тяжелый серебряный чайник, сахарница и сливочник, которые и по сей день хранятся среди прочих семейных ценностей в сейфе какого-нибудь из банков. Тогда ей уже неважало за семьдесят, и она выглядела человеком, безмерно уставшим от бурного житейского моря. Мальчику она казалась воплощением тишины и покоя, серебристо-серым видением, парившим над старым президентом и гарнитурами красного дерева времен королевы Анны, творением столь же чужестранным, как ее севрский фарфор, объектом всеобщего почитания и нежной любви ее сына Чарлза, но вряд ли на гран больше бостонкой, чем она была пятьдесят лет назад, в день своей свадьбы под сенью Тауэра в Лондоне.

Фигура такого рода еще меньше, чем ее муж-президент, могла бы способствовать тому, чтобы привить мальчику принципы грядущего века. Она, как и ее мебель, была из времен Людовика XVI. Мальчик ничего не знал о ее внутренней жизни, исполненной, как и предвидела давно почившая в бозе досточтимая Абигайл, ригористических усилий и почти лишенной полного удовлетворения. Ему и в голову не приходило, что и ей были свойственны сомнения и самокопание, колебания и возмущения против законов и дисциплины, которые характеризовали не одного из ее потомков; хотя уже тогда у него, пожалуй, могло бы зародиться инстинктивное ощу-

шение, что от нее он унаследует семена первородного греха, утрату благодати, проклятие Авеля, что он — творение не чисто новоанглийской породы, а наполовину экзотическое, чужестранное. Дитя Куинси, он не был истинным бостонцем, но даже как дитя Куинси по крови на четверть принадлежал Мэриленду. Его отец, Чарлз Фрэнсис, наполовину мэрилендец по рождению, увидел Бостон только в десять лет, когда в 1817 году родители оставили его там учиться — переживание, глубоко врезавшееся в память. И лишь дожив до почтенных лет — ему было почти столько, сколько матушке в 1845-м, — Адамс полностью принял Бостон, а Бостон полностью принял его.

Мальчик, чье воспитание начиналось в такой среде, к тому же уступавший братьям в физической силе, но обладавший более тонким, чем они, умом и более хрупким сложением, не мог не чувствовать себя дома в восемнадцатом веке, а из чувства самосохранения не мог не бунтовать против канонов девятнадцатого. Атмосфера, окружавшая его лет до десяти, мало чем отличалась от той, какой в его возрасте — с 1767 по 1776-й дышал его дед — атмосферы, помешавшей победе в битве при Банкер-хилле, а ведь даже в 1846 году битва при Банкер-хилле не утратила еще своего значения. Бостонское общество оставалось по тону колониальным. Истинный бостонец по-прежнему самоуничиженно склонялся перед величием английских канонов и, считая такое преклонение не слабостью, а силою, открыто им гордился. Дух восемнадцатого века царил в бостонском обществе еще долгое время после 1850 года. Возможно, Генри Адамс стал избавляться от него куда раньше, чем большинство его сверстников.

Эта доисторическая стадия воспитания резко оборвалась, когда Генри пошел десятый год. Однажды зимним утром он, проснувшись, доловил в доме признаки чего-то неладного, а из нескольких долетевших до него слов заключил, что президент, остановившийся у них на пути в Вашингтон, упал и ушибся. Потом до мальчика дошло слово «паралич». И с того дня оно

ассоциировалось в его сознании с фигурой деда, дремавшего в инвалидной коляске с высокой спинкой, придвинутой к разведенному в спальне камину, по другую сторону которого всегда сидел, тоже подремывая, один из старых друзей президента: либо доктор Паркмен, либо П. П. Ф. Дегранд.

Конец этой первой, фамильно-революционной главы в воспитании Генри Адамса наступил 21 февраля 1848 года — февраль, по обыкновению, приносил в семью рождение и смерть, — когда восемнадцатый век, представленный в полном, живом человеческом облике его деда, исчез навсегда. Если сцена в палате представителей, где упал за смерть старый президент, потрясла своим драматизмом даже грубоватых американцев, то можно себе представить, как она подействовала на десятилетнего мальчика, чья мальчишеская жизнь уходила с жизнью его деда. Генри Адамсу приходилось расплачиваться за революционных патриотов-предков, дедушек и бабушек, президентов, дипломатов, за красное дерево времен королевы Анны, кресла Людовика XVI и портреты кисти Стюарта. Подобные реликвии калечат молодую жизнь. Американцы всегда считали их воздействие губительным, и, пожалуй, здесь присущий американскому уму здравый смысл судил правильно. Даже менее впечатляющий обряд, чем заупокойная служба в церкви Куинси, происходившая в атмосфере национального почтения и семейной славы, редкому мальчишке не вскружил бы голову. К тому же волею судьбы приходский священник, доктор Лант, оказался не заурядным духовным оратором, а тем идеальным проповедником аскетического интеллектуального типа, каких школа Бакминстера и Чаннинга унаследовала от старого конгрегационалистского клира.

Его на редкость изящная внешность, достойные манеры, глубокий музыкальный голос, безукоризненный английский язык и красивый слог придали заупокойной службе особенно возвышенный характер, потрясший душу мальчика.

Впоследствии на своем веку ему пришлось присутствовать на бесчисленных торжественных церемониях — погребениях и празднествах, — и он уже смотреть на них не мог, но ни разу ни одна из них не оставила даже близкого по силе впечатления, какое произвела на него прощальная служба в Куинси над телом шестого президента и плитой, возложенной над прахом второго.

Впечатление, произведенное службой в Куинси, еще усилилось от официальной панихиды, состоявшейся несколько дней спустя в Фанейл-холле, куда мальчика взяли послушать его дядю, Эдуарда Эверета, произнесшего надгробное слово. Как все речи мистера Эверета, оно было блестящим образцом ораторского искусства, доступного только блестящему оратору и ученому, — слишком совершенным, чтобы десятилетний ребенок мог в полную меру его оценить. Но мальчик уже знал, что покойного президента в этой речи нет и не может быть, и даже сумел уловить, почему его там не может быть: мальчик быстро осваивался в окружающем его мире. Тень войны 1812 года еще висела над Стейт-стрит, а тень грядущей Гражданской войны уже черным пятном расплзалась над Фанейл-холлом. Даже самое замечательное красноречие вряд ли примирило бы слушателей преподобного Эверета с предметом его восхвалений. Да и как мог он сказать в этом зале, собравшем бостонцев в самом сердце торгашеского Бостона, что единственной отличительной чертой всех Адамсов, начиная с их пращура, отца Сэма Адамса, жившего сто пятьдесят лет назад, была прирожденная неприязнь к Стейт-стрит, непрерывно исходившей мятежами, кровопролитиями, личной враждой, внешними и внутренними войнами, поголовными изгнаниями и конфискациями, — к Бостону, развитие которого мало в чем уступало истории Флоренции. Как мог он хотя бы шепотом упомянуть о Хартфордской конвенции перед теми, кто ее содеял и подписал? А что бы они сказали, заговори он о возможности сецессии южных штатов и Гражданской войны?

Итак, в свои десять лет мальчик оказался перед дилеммой, достойной первых последователей Христа. Кто он? Куда держит путь? Даже тогда он чувствовал, что в его мире что-то не так, но возлагал вину на Бостон. Правда всегда была на стороне Куинси, потому что Куинси олицетворял нравственный принцип — принцип противодействия Бостону. Правда, несомненно, была на стороне его предков, Адамсов: они всегда враждовали со Стейт-стрит. Если на Стейт-стрит все делалось не так, значит, в Куинси поступали правильно! И как бы он ни подходил к этой дилемме, он все равно возвращался в свой восемнадцатый век к закону противодействия, к Истине, Долгу и Свободе. Десятилетний истец и политик. Конечно, он не мог ни при каких обстоятельствах предвидеть, что принесут с собой грядущие полвека, и никто не мог ему этого открыть. Но порою, в старости, он задавался вопросом — так и оставшимся без ответа, — а что, если бы он ясно и точно все себе представлял? Помогло бы это? Предположим, перед ним уже тогда лежал бы список товаров, выпускаемых в 1902 году, или стали бы известны статистические данные по железным дорогам, телеграфу, добыче угля и производству стали. Отказался бы он от любви к восемнадцатому веку, от завещанных дедами вкусов и пристрастий, от абстрактных идеалов, от полученного им почти духовного образования и всего остального? Отказался бы и совершил искупительное паломничество на Стейт-стрит ради жирного тельца дедушки Брукса или места клерка в суффольском банке?

Прошло шестьдесят лет, а у него все еще нет ответа на этот вопрос. Каждый путь сулил свои выгоды, но материальные выгоды ждали его, как он теперь знает, оглядываясь назад, только на Стейт-стрит.

2. БОСТОН (1848—1854)

Второй дедушка, Питер Чардон Брукс, умер 1 января 1849 года, завещав состояние в два миллиона долларов — крупнейшее, как считалось по тем временам в Бостоне, — семерым своим здравствующим отпрыскам: четырем сыновьям — Эдуарду, Питеру Чардону, Горэму и Сиднею — и трем дочерям — Шарлотте, жене Эдуарда Эверета, Анне, жене Натаниэля Фротингема, священника Первой церкви, и Абигайл Браун, родившейся 25 апреля 1808 года и повенчанной 3 сентября 1829 года с Чарлзом Фрэнсисом Адамсом, который был разве что на год старше ее. В 1830 году первой родилась у них дочь, которую назвали Луиза Кэтрин в честь бабушки с отцовской стороны, вторым на свет появился сын, названный Джоном Куинси в честь деда-президента, третьему ребенку, тоже сыну, дали имя отца — Чарлз Фрэнсис, а четвертого, чьему рождению придавалось уже меньше значения, предоставили в известном смысле попечению матери, и та назвала его Генри Брукс в память любимого брата, незадолго до того скончавшегося. За ними последовали еще дети, но они, как младшие, не воздействовали на многосложный процесс воспитания Генри Адамса.

У Адамсов в Бостоне было очень мало родни, зато у Бруксов чрезвычайно много, и блестящей — в основном среди новоанглийского священства. Даже в обществе более обширном и старинном, чем бостонское, нелегко было найти семью с тремя зятьями, столь широко известными и учеными, как Эдуард Эверет, доктор Фротингем и мистер Адамс. В равной мере нелегко было найти семью, где семеро молодых мужчин — братьев и свояков — были бы все так непохожи друг на друга. Несомненно, все они несли на себе печать Бостона, на худой конец, Массачусетского залива, но каждый со своим оттенком, что делало их весьма отлич-

ными друг от друга. Мистер Эверет вписывался в атмосферу Бостона не лучше, чем мистер Адамс. Один из самых целеустремленных бостонцев, он сумел рано оторваться от накатанной колеи, променяв кафедру священника унитарной церкви на место в конгрессе, где оказал неоценимую поддержку правительству Дж. К. Адамса, в результате породнившись с сыном президента, Чарлзом Фрэнсисом, который женился на младшей свояченице Эверета — Абигайл Брукс. Крах политических партий, которым ознаменовалось президентство Эндрю Джексона, расстроил не одну многообещающую государственную карьеру, в том числе и карьеру Эдуарда Эверета, но с приходом к власти партии вигов он сумел оправиться и получил назначение послом в Англию, вернувшись на родину в ореоле европейской известности и с неоспоримым правом считаться лучшим — исключая разве Дэниела Уэбстера — оратором и почетным представителем города Бостона. Второй свояк, доктор Фротингем, принадлежал к тому же, что и Эверет, священническому клану, но по манере поведения меньше напоминал священника. Оба они имели мало общего с мистером Адамсом, который был младше их годами, находился под сильным влиянием своего отца и унаследовал существовавшую вражду между Куинси и Стейт-стрит; впрочем, личные отношения, насколько мальчик мог судить, оставались дружескими, и зимой из воскресенья в воскресенье целая орава кузенов заполняла Первую церковь, где они сладко дремали под проповедь дяди Фротингема, не давая себе труда вникать в ее смысл и значение для собственной персоны. На протяжении двух сотен лет в стенах Первой церкви мальчишки всегда более или менее сладко дремали под почти повторявшиеся друг друга проповеди, смутно осознавая сущую в мире вражду; но вражда так никогда и не иссякала, а мальчишки вырастали и, получая ее в наследство, сами в нее включались. Поколение тех, кто сражался в 1812 году, к 1850-му уже почти исчезло; смерть свела их счета на нет; распри

Джона Адамса и стычки Джона Куинси Адамса уже утратили личный характер; игра считалась оконченной, и Чарлз Фрэнсис Адамс мог бы вступить в свои наследственные права на политическое лидерство, перехватив его у Уэбстера и Эверета, опередивших его по старшинству. Ему было естественнее, чем Эверету, иметь дело со Стейт-стрит, но Чарлз Фрэнсис не пошел по этому пути, а свернув в сторону, возобновил давнюю войну, развязанную еще в 1700 году. Иначе он не мог поступить. Сын и единственный представитель рода Дж. К. Адамса, чьи дела еще были свежи в памяти американского народа, он не мог идти на сговор с поборниками рабства, а в Бостоне преобладали интересы поборников рабства. В своем выборе мистер Адамс руководствовался, без сомнения, не только унаследованными принципами, но и собственными; даже его дети, у которых пока еще не было никаких принципов, тоже не пошли бы за мистером Уэбстером или за мистером Сьюардом. Протекции, которые они бы тем самым приобрели, не возместили бы даже частично уважения, которое бы они потеряли. Они были противниками рабства от рождения, как от рождения носили имя Адамсов и считали Куинси своим отчим домом. И как бы ни томило их желание обосноваться на Стейт-стрит, они знали: Стейт-стрит никогда не будет полностью доверять им, как и они Стейт-стрит. Будь Стейт-стрит самим царством господним, они все равно жаждали бы его напрасно, и тут даже не требовался Дэниел Уэбстер в роли архангела с пламенеющим мечом, чтобы прогнать их от заветных врат.

Время и опыт, меняющие все представления о жизни, изменили вместе с другими и эти, научив мальчика Генри тоньше судить о вещах, но даже в свои десять лет он твердо знал, как ему следует смотреть на Стейт-стрит — только с выражением непримиримости на лице и только с каменным сердцем. Его воспитание неотвратимо толкало его в сторону пуританского образа мыслей и поведения. Обстоятельства, определившие начало его пути, как и пути его прадеда-пат-

риота, когда тот был в том же возрасте, мало чем различались. Год 1848-й во многом повторял год 1776-й, так что между ними напрашивалась параллель. И параллель эта, в аспекте воздействия на воспитание, полностью подтвердилась, когда несколько месяцев спустя после смерти Джона Куинси Адамса противники рабства, собравшись в Буффало на съезд, учредили новую партию и выставили своих кандидатов на ноябрьские всеобщие выборы: в президенты — Мартина Ван Бюрена, в вице-президенты — Чарлза Фрэнсиса Адамса.

Для американского мальчишки тот факт, что его отец выставил свою кандидатуру на государственный пост, был событием, которое на время затмевало все остальное. Но 1848 год и без того решительно определил мальчишеский путь на двадцать лет вперед. Свернуть с него было некуда — никаких боковых тропок. 1848 год наложил на американцев почти такую же неизгладимую печать, как 1776-й, только в восемнадцатом, как в любом другом более раннем веке, ей не придавали значения: печать как печать; ее носили все, меж тем как от тех, чья жизнь пришлось на 1865—1900 годы, требовалось сначала освободиться от старого клейма, а затем принять новое, присущее их времени. И это служило воспитанию ума и сердца.

Чужеземцам, иммигрантам, людям, занесенным в страну случайным ветром, ничего не стоило сменить вехи, но тем, кто был проникнут духом старого пуританизма, перемены были не по нутру. Почему? Ответ звучал достаточно убедительно. Пуритане считали свой образ мысли выше, свои нравственные законы чище, чем у тех, кто прибыл позднее. Так оно и было. Никакими силами их нельзя было убедить, что нравственные законы здесь ни при чем, что утилитарная мораль так же хороша для них, как и для тех, кто лишен божьей благодати. Природа наделила Генри характером, который в любой предшествующий век сделал бы из него священника; вера в догму и идеи а

prigigi¹ была у него в крови, и ему даже не требовался столь мощный взрыв, каким было движение против рабства, чтобы вернуться с пуританству с неистовством, равным неистовству религиозного воина.

До той поры Генри никак не соприкасался с политикой; его воспитание опиралось главным образом на семейные традиции, и в течение последующих пяти-шести лет первостепенную роль в нем играл отец, и только отец. Генри знал: чтобы пробиться через зыбучие пески житейской юдоли, ему надо держаться курса, который прокладывает отец; но там, где отец ясно видел фарватер, перед Генри раскинулся неведомый океан. Делом жизни отца было провести государственный корабль мимо опасных рифов — власти рабовладельцев — или, на худой конец, поставить этой власти прочные пределы. Проложив этот путь, он вполне мог предоставить расплачиваться за него своим сыновьям; для успеха его дела уже не имело значения, заплатят ли они своими жизнями на поле боя или растраченными впустую силами и упущенными возможностями. Поколение, жившее в годы 1840—1870-й, могло обойтись старыми формами воспитания; поколение, которому предстояло везти воз в 1870—1900-е годы, нуждалось в чем-то совершенно ином.

Характер отца оказывал поэтому наибольшее — в той мере, в какой это доступно отдельному лицу, — воздействие на формирование сына, и уже по одной этой причине сын постоянно подвергал его ум и нрав взыскательному суду. Много лет спустя, после того как отец умер восьмидесятилетним старцем, сыновья вновь и вновь возвращались к вопросу о том, каким он был, и каждый видел в нем свое. Для Генри главным свойством отца, отличавшим его от всех других фигур клана Адамсов, было присущее ему — единственному в их роде — умение в совершенстве владеть собой. В течение ста лет каждый газетный борзописец с большим

¹ Независимо от опыта (*лат.*).

или меньшим основанием высмеивал и поносил старших Адамсов за недостаток благоразумия. Чарлза Фрэнсиса Адамса поносили за избыток благоразумия. Естественно, никто ни разу не попытался дать должную оценку ни тем, ни другим, предоставляя заняться этим потомству самих Адамсов, но основные черты характера были подмечены верно. Чарлз Фрэнсис Адамс обладал редкой душевной уравновешенностью — он не страдал ни самомнением, ни застенчивостью, умел остаться в изоляции, держась так, словно ее не замечает, настолько владел своим умом и чувствами, что никогда не привлекал к себе внимания, хотя и не бежал его, не вызывал и мысли о превосходстве или приниженности, о зависти или предвзятости, даже в самых сложных обстоятельствах. Эта необыкновенная трезвость ума и души, усилившаяся с годами, особенно поразила его сына Генри, когда тот начал понимать, что отец не выделяется ни глубиной, ни размахом своих способностей. Память у него не превосходила обыкновенную, а ум не отличался ни дерзостью его деда, ни неумной энергией его отца, ни их художественными и ораторскими, ни тем более математическими склонностями, зато работал он с исключительной четкостью, поразительной выдержкой и инстинктивным ощущением совершенной формы. В пределах, ему отпущенных, это был образцовый ум.

Бостон жил по высоким интеллектуальным нормам, заданным в значительной мере духовенством, всегда державшимся с огромным достоинством, что придавало священникам-унитариям необычное светское очарование. Доктор Чаннинг, мистер Эверет, доктор Фротингем, доктор Полфри, президент Уокер, Р. У. Эмерсон и другие бостонские пастыри этой школы сделали бы честь любому обществу, но Адамсы почти не соприкасались с этими проповедниками слова божьего и еще меньше имели дела с их эксцентрическими отпрысками и ответвлениями вроде Теодора Паркера, Брукфарм и философии Конкорда. Кроме ораторов-священников, в Бостоне

существовала литературная группа во главе с Тикнором, Прескотом, Лонгфелло, Мотли, О. У. Холмсом; но мистер Адамс не входил и в их число: они, как правило, слишком поддавались влиянию Уэбстера. Даже в науке, особенно в медицине, Бостон мог претендовать на некоторую известность, но мистера Адамса наука почти не интересовала. Он стоял особняком. У него не было наставника — даже в лице собственного отца. У него не было учеников — даже в лице собственных сыновей.

Пожалуй, он единственный в Бостоне не разделял любовь и приверженность своих сверстников ко всему английскому. Возможно, тут сказалась столетняя неприязнь Адамсов к Англии, но у него эта черта получила дальнейшее развитие и вылилась в пренебрежение ко всякого рода социальным перегородкам и различиям. За сорок лет близости с отцом Генри ни разу не заметил в нем и тени снобизма. Чарлз Фрэнсис Адамс принадлежал к тому чрезвычайно малому числу американцев, которые не замирают от волнения при виде английского герцога или герцогини, а в присутствии его величества короля не испытывают иных чувств, кроме чувства некоторого неудобства. Подобный тон господствовал в английском обществе во времена мистера Адамса, и он с полным основанием продолжал вести себя как королевский придворный — правда, без положенных тому верноподданнических чувств. Генри ни разу не слышал, чтобы отец льстил кому-нибудь или кого-то чернил, ни разу не видел, чтобы он выказывал зависть или недоброжелательство. Ни тени высокомерия, ни грана заносчивости! Ни намека на чванство даже в тоне! Ни одного надменного жеста!

То же самое можно было сказать и о Джоне Куинси Адамсе, но, как утверждали его соратники, эти качества сопровождались у него душевным беспокойством и нередко прискорбным отсутствием благоразумия. В этом недостатке Чарлза Фрэнсиса Адамса никак нельзя было обвинить. Его хулители вменяли ему в вину как раз обратное. Они называли

его холодным. Несомненно, такая идеальная уравновешенность, такое умение контролировать себя не могли существовать в характере, если им не приносились в жертву качества, способные их подавить. Несомненно также, что даже собственные дети Чарлза Фрэнсиса Адамса — мятущиеся, склонные к самоанализу и неуверенные в себе, — даже его собственные дети, казалось бы видевшие отца насквозь, слишком мало знали мир, чтобы понять, какая перед ними редкая и совершенная человеческая модель. Более грубый инструмент, вероятно, поразил бы их воображение сильнее. Рядовая человеческая натура очень груба и неизбежно создает себе идеалы по своему подобию. Мир никогда не любил совершенной уравновешенности. Мир любит отсутствие уравновешенности, потому что людям надо, чтобы их забавляли. Наполеоны и Эндрю Джексоны забавляют мир. А что забавного можно ждать от человека, который в совершенстве владеет собой? Будь Чарлз Фрэнсис Адамс человеком холодным, он примкнул бы к Уэбстеру, Эверету, Сьюарду и Уинтропу с их требованием партийной дисциплины и заботой о собственных интересах. Будь он человеком менее уравновешенным, он пошел бы вместе с Гаррисоном, Уэнделлом Филиппсом, Эдмундом Куинси и Теодором Паркером — сепаратистами, ратовавшими за отделение Юга. Между этими двумя путями он нашел средний, весьма для него показательный, — он учредил свою партию.

Эта политическая партия оказалась главным фактором в воспитании мальчика Генри на протяжении 1848—1854 годов и сильно повлияла на формирование его характера в период, когда характер поддается лепке. В группу, которую создал мистер Адамс и которая избрала дом на Маунт-Вернон-стрит местом своих встреч, входили, кроме него, еще трое: доктор Джон Г. Полфри, Ричард Г. Дана и Чарлз Самнер. Доктор Полфри, старший по возрасту, несмотря на священнический сан, больше всех привлекал к себе мальчика. Он говорил прозе и знал больше своих товарищей

по партии, обладал остроумием, чувством юмора и умением вести легкую застольную беседу. Отказавшись от карьеры светского человека, к которой был предназначен по рождению, он стал священником, проповедником, политическим деятелем, хотя в душе, как всякий подлинный бостонец, мечтал о непринужденной атмосфере клуба «Атенеум» на Пэлл-Мэлл или профессорской в Тринити-колледже. Дана на первый взгляд казался его полной противоположностью; Дана держался так, словно все еще стоял «у мачты» — прямой, грубовато-простодушный, энергичный моряк; и только познакомившись с ним поближе, удавалось разглядеть человека на редкость тонкой души, который, решив вести жизнь поденщика, намеренно закалял себя, чтобы справиться с тяжелой ношей, — казалось, он все еще в Монтерее таскает на спине кипы кож и шкур. Несомненно, он достиг поставленной цели: нервы и воля были у него крепче железа, но он мог бы повторить слова своего закадычного друга Уильяма М. Эвартса: «Я горжусь не тогда, когда справляюсь с тем, что мне нравится делать, а когда справляюсь с тем, что мне делать не нравится». В идеале Дана хотелось быть великим англичанином и заседать на передних скамьях в палате общин, заняв когда-нибудь место на мешке с шерстью, но прежде всего — обрести общественное положение, которое подняло бы его над дрызгами захолустного и необеспеченного существования, однако он принуждал себя мириться с тем, что есть, подавляя свои мечты суровой самодисциплиной, выработанной железной волей. Из четырех этих мужчин Дана был самым видным. Никогда не настаивая на безукоризненности или правоте своих мнений, он неизменно оказывался на виду — фигура, целиком занимавшая отведенное ей в картине пространство. Он тоже превосходно умел говорить и, как положено адвокату, строго держался затронутой темы. И сколько бы Дана ни старался замаскировать или, отмалчиваясь, скрыть свой ум, ум его был аристократичен до десятого колена.

В этом, и только в этом, походил на него его друг Чарлз Самнер, который во всем остальном полностью отличался от своих трех сотоварищей — совсем иной складки человек. Он, как и Дана, восторгался английскими порядками, но его устремления скорее вели его по пути Эдмунда Берка. Ни один молодой бостонец того времени не начинал так блистательно, как Чарлз Самнер, — правда, он шел по стопам Эдуарда Эверета, а не Дэниела Уэбстера. Как оратор он пожал лавры, выступая в Бостоне против войны, однако им восхищались главным образом как человеком, снискавшим успех в Англии и на Европейском континенте — успех, который придавал бостонцу, им отмеченному, ореол, какой не могло бы ему создать самое безупречное поведение у себя дома. Мистер Самнер и умом и чутьем сознавал важность своих английских связей и всячески их поддерживал, в особенности когда бостонское общество, обуреваемое политическими страстями, от него отвернулось. Его карманы всегда были набиты письмами от английских герцогов и лордов. Пожертвовав из принципа своим положением в американском обществе, он особенно крепко держался за свои европейские знакомства. Партии фрисойлеров приходилось туго на Бикон-стрит. Светским арбитром Бостона — Джорджу Тикнору и другим — пришлось волей-неволей согласиться с тем, что ее лидерам не место среди друзей и последователей мистера Уэбстера. Чарлз Самнер, так же как и Полфри, Дана, Рассел, Адамс и все другие, открыто порицавшие рабовладельцев, подверглись остракизму, но изгнание из светских гостиных не могло причинить им большого вреда: они были люди женатые, с домом и домочадцами, тогда как у Самнера не было ни жены, ни домашнего очага, и, хотя он более всех других стремился обрести место в обществе и жаждал, как говорится, вращаться в свете, ему были открыты двери едва ли пяти-шести бостонских домов. Правда, в Кембридже его поддерживал Лонгфелло, и даже на Бикон-стрит он всегда мог найти прибежище у мистера Лоджа. Тем не менее не

проходило и нескольких дней, чтобы он не появлялся на Маунт-Вернон-стрит. Но при всем том он был один как перст, и это не могло не сказаться на его характере. Ему нечего было бояться, разве что за самого себя. Сотоварищи признавали его превосходство, которое действительно было неоспоримым и недостижимым. Они считали его подлинным украшением партии борцов против рабства, безгранично гордились им и чистосердечно восхищались.

Мальчик Генри благоговел перед Чарлзом Самнером, и если уж кого из взрослых хотел иметь своим другом, то только его. С семьей Адамсов у Самнера сложились самые теплые отношения, теснее, чем с кровными родственниками. Ни один родной дядя не допускался до такой близости. Самнер в глазах Генри был воплощением идеала человеческого величия, высшим достижением природы и искусства. Единственным недостатком подобной модели было ее совершенство, недостижимое для подражания. В представлении двенадцатилетнего мальчика его отец, доктор Полфри, мистер Дана относились к людям такого уровня, какого рано или поздно мог бы достичь он сам; мистер Самнер был человеком другого рода — героического.

Когда мальчику исполнилось то ли десять, то ли двенадцать лет, отец поставил для него письменный стол в одной из ниш своей бостонской библиотеки, и, сидя за латынью, Генри из зимы в зиму слушал, как четверо джентльменов спорят о том, какой тактики придерживаться в борьбе с рабовладением. Споры эти всегда велись всерьез. Партия фрисайлеров относилась к себе весьма серьезно, и ее члены вели между собой постоянные дискуссии, обсуждая положение дел: мистер Адамс взялся издавать газету, которая являлась печатным органом партии, и четверо джентльменов собирались, чтобы определить ее тактику и формы изложения. Одновременно мистер Адамс выпускал «Труды» своего деда, Джона Адамса, и мальчику вменялось в обязанность править гранки. Много лет спустя отец нет-нет да и укорял его, что, вычи-

тывая полемику Novanglus и Massachusetensis, Генри выказал слабые знания правил пунктуации. Но он смотрел на эту часть своего учения только с одной стороны, извлекая предостережение на будущее: если ему, взрослому, когда-нибудь придется писать для газет подобную скучищу, надо будет постараться написать ее как-нибудь иначе, а не так, как его знаменитый прадед. В газете же «Бостон виг» споры велись в том же стиле, как во времена Джона Адамса и его противников, и были рассчитаны на такой же, как тогда, образ мышления. И поэтому в плане воспитания в духе своего времени мальчик ни из сочинений прадеда, ни из газетных статей ничего не извлек, как ничего не извлек и из общения с самими джентльменами, целиком принадлежавшими прошлому.

Вплоть до 1850 года, и даже позже, в обществе Новой Англии большое значение имели профессиональные сообщества. Адвокаты, врачи, учителя, торговцы составляли отдельные группы и выступали не как самостоятельные личности, а членами клана, наподобие духовенства, и каждая профессия как бы представляла свою церковь. Это требовало надлежащего выражения в политике, и длинный ряд государственных мужей Новой Англии был порожден давней Цицероновой идеей о правлении *лучших*. Общество избирало своих представителей, а так как оно желало быть хорошо представленным, то избирало лучших из числа имевшихся. Поэтому Бостон избрал Дэниела Уэбстера, и Уэбстер — не как жалованье, а в качестве *honorarium*¹ — получал через посредство Питера Харви чеки от Эплтонов, Перкинсов, Эймери, Сперсов, Бруксов, Лоренсов и других, просивших его быть их представителем. За Уэбстером следующее по рангу место занимал Эдуард Эверет. На следующее претендовал Роберт Ч. Уинтроп. Чарлз Самнер жаждал нарушить порядок следования, а вовсе не систему. Что касается Адам-

¹ Гонорар (лат.).

сов, то они никогда подолгу не задерживались ни на одном из мест в правительстве штата, они служили нации в целом, и их известность была завоевана деятельностью за пределами Новой Англии; тем не менее они так же нуждались в поддержке своего штата, и им в ней не отказывали. Четверо джентльменов, собиравшихся на Маунт-Вернон-стрит, были государственными деятелями, а не политиками; они оказывали влияние на общественное мнение, оно же на них большого влияния не имело.

Вырастая в подобной атмосфере, мальчик, естественно, усвоил лишь один урок. Для него было бесспорно, что он должен соответствовать требованиям именно этого мира — мира, который более или менее неизменно существовал в Бостоне и Массачусетском заливе. Будь он знаком с государственностью Европы, ничего бы не изменилось. Париж Луи-Филиппа, Гизо и де Токвилля, так же как и Лондон Роберта Пиля, Маколея и Джона Стюарта Милля являли собой лишь разновидность царства верхушки *bourgeoisie*¹ и ощущали внутреннее родство с Бостоном Тикнора, Прескота и Мотли. Даже такой типичный брюзга, как Карлейль, который ставил под сомнение замечательные качества среднего класса, нет-нет да признавая себя человеком эксцентрических взглядов, нашел друзей и союзников в Бостоне, не говоря уже о Конкорде. Упомянутая система завоевала сердца: даже в Германии были не прочь ее опробовать, а в Италии лелеяли о ней мечту. Правление среднего класса, каким оно утвердилось в Англии, выступало идеалом человеческого прогресса.

Даже иступленная реакция, последовавшая за 1848 годом, и возвращение Европы в состояние войны не пошатнули веру в истинность этого положения. Никто, кроме Карла Маркса, не прозревал коренной перемены. Что говорило о ней? В мире добывалось шестьдесят, если не семьдесят

¹ Буржуазия, средний класс (*фр.*).

миллионов тонн угля и потреблялось до миллиона лошадиных сил паровой энергии, и это уже давало себя знать. Тем не менее весь предшествующий опыт человечества со дня его возникновения, все божественные откровения — сиречь творимая человеком наука, словно сговорились ввести в обман и заблуждение двенадцатилетнего мальчика, полагавшего непредложным, что его представления о мире, считавшиеся единственно правильными, и впредь будут считаться единственно правильными.

С Маунт-Вернон-стрит проблема жизни выглядела столь же просто, как и традиционно. В политике не существовало никаких трудностей — здесь верным ориентиром был нравственный закон. Совершенствование общественного устройства тоже было делом верным, потому что сама человеческая природа содействовала добру и для его торжества нуждалась всего в трех орудиях: всеобщем избирательном праве, школах для всех и прессе. Благословенно воспитание! Дайте человеку истинное знание подлинных фактов, и он достигнет совершенства!

Когда бы бедны золота и силы
Не ужасам войны — разора и беды, —
А воспитанью разума служили,
Нам в арсеналах не было б нужды.

И ничто так не рассеивало все сомнения, как душевное равновесие унитариянских пастырей. По неизменной безупречности образа жизни и репутации, нравственной и интеллектуальной, те два десятка священников-унитариев, которым были вверены бостонское общество и Гарвардский университет, не знали себе равных. Они во всеуслышание заявляли, причем ставили себе это в заслугу, что не требуют исповедания каких-либо догматов, а лишь учат, или пытаются учить, как жить добродетельной, полезной, бескорыстной жизнью, чего, по их мнению, было достаточно для спасения

души. Трудности? Ими, считали они, можно пренебречь. Сомнения? Пустая трата мысли. Ничего не нужно решать. Бостон уже разрешил все проблемы миропорядка, а если еще что-то окончательно не решил, то предложил и осуществил лучшие из возможных решений. А посему никаких проблем более не существовало: они себя исчерпали.

Впоследствии, когда Генри Адамс стал взрослым, многие обстоятельства его юности вызывали у него недоумение, и более всех остальных — утрата религиозности. Мальчиком он посещал церковь дважды каждое воскресенье, читал Библию, учил наизусть духовные стихи, исповедовал своего рода деизм, произносил молитвы, исполнял положенные обряды, но ни у него, ни у его сестер и братьев не было подлинного религиозного чувства. Даже необременительные установления унитариянской церкви были им в тягость, и они при первой же возможности прекратили их выполнять, а потом перестали посещать и церковь. Религиозное чувство атрофировалось и не могло восстановиться, хотя позже предпринималось немало попыток обрести его вновь. В том, что он утратил одно из сильнейших человеческих чувств, уступающих разве только любви, возможно, был повинен он сам, но что интеллектуальнейшее общество, руководимое интеллектуальнейшим духовенством и отличавшееся самой высокой нравственностью, какую он только знал, пребывало в убеждении, будто уже разрешило все мировые проблемы и потому перестало обращаться к прошлому и задумываться о будущем, что оно внезапно внушило себе, будто проблемы, волновавшие человечество с начала исторических времен, не стоят споров и обсуждений, казалось ему любопытнейшим социальным явлением, над объяснением которого он бился всю свою долгую жизнь. Умение отводить глаза, когда приближаешься к бездне, — отнюдь не редкое свойство, и Бостон под руководством мистера Уэбстера продемонстрировал, с каким успехом это можно делать в политике. Но в политике нашлось все же несколько человек, которые по крайней мере выразили

протест. В религии и философии не нашлось никого. А если кто и протестовал, то в такой форме, что лучше бы они этого не делали, — как, например, Теодор Паркер с его деизмом или Октавиус Фротингем, кузен Генри Адамса, который, провозгласив себя скептиком, не разрешил ни одной старой проблемы, но воздвигнул тьму новых и только поверг в отчаяние своего отца и шокировал Бикон-стрит. Менее острая критика, исходившая от Ралфа Уолдо Эмерсона, носила, с точки зрения Старого Света, и менее серьезный характер. Она попросту была наивной.

Дети становились взрослыми, не зная религии, и были твердо убеждены, что догматы церкви, метафизика, философия — предметы, которые и не стоит знать. В любой другой стране, как и в любое другое время, такое одностороннее развитие вряд ли было бы возможно; зато их воспитание неизбежно дало сильный крен в сторону литературы и политики. По мере того как дети подрастали, их интерес к литературе и политике все больше увеличивался. С малых лет они участвовали в спорах, которые велись за обеденным столом, и мальчики привыкли почти каждодневно слышать столь удивительные застольные разговоры, какие им вряд ли доводилось слушать потом. Старшая дочь Адамсов, Луиза, была одной из самых блистательных среди длинного и многообразного ряда женщин яркого ума, с какими ее брату пришлось встретиться на жизненном пути. Старший сын, Джон, впоследствии считался одним из лучших собеседников в бостонских гостиных и, пожалуй, популярнейшим человеком в штате, хотя и склонялся на сторону непопулярных мнений. Полфри и Дана при желании умели развлечь общество как никто другой, и, хотя Чарлз Самнер вряд ли принадлежал к числу смешливых, он позволял себя забавлять и время от времени величественно улыбался, тогда как мистер Адамс, сам чаще помалкивавший, был превосходным слушателем и чуть не до колик смеялся каждой остроумной шутке.

В воспитательных и развлекательных целях мистер Адамс часто, к великому удовольствию своих детей, читал им вслух и, конечно, не упускал случая познакомить молодую поросль с политическими памфлетами, особенно сатирического толка — такими, как речи Хорейса Манна или «Записки Хоси Биглоу». Читал он им также стихи Лонгфелло и Теннисона по мере их появления, сами же дети зачитывались Диккенсом и Теккереем. Взрослым, чьи вкусы воспитывались на Попе и докторе Джонсоне, они оба казались чересчур современными. Вскоре мальчик Генри стал читать без разбору любые книги, какие его занимали: по большей части сочинения историков прошлого века, которыми была набита библиотека отца. Не имея практической жилки, он праздно качался на волнах истории. Он томами заглаживал поэзию восемнадцатого века, однако, когда отец предложил дать ему сборник стихотворений Вордсворта, поставив условием, чтобы сын прочел его от корки до корки, Генри от подарка отказался. Поп и Грей не требовали умственных усилий: они читались легко, и только когда Генри было уже за тридцать, он наконец дорос до Вордсворта.

Это книга о воспитании, и лицо или лица, которые упоминаются в ней, выступают лишь в одном значении — воспитателя или воспитуемого. Жизненные обстоятельства также включены в нее лишь постольку, поскольку воздействовали на процесс воспитания. Самнер, Дана, Полфри — люди, имевшие огромное значение сами по себе — как Юм, Поп и Вордсворт, — в чем каждый может убедиться, ознакомившись с их сочинениями, но здесь они фигурируют лишь в одном качестве — как люди, оказавшие воздействие на ум мальчика, скорее всего не более чем среднего в физическом и интеллектуальном отношении. И их воздействие сказалось исключительно на его политических и литературных интересах. Отец не стремился насиловать ум мальчика, предоставляя ему полную свободу, и это, пожалуй, было к лучшему. В одном все же отец оказал сыну бесценную услугу: он

обучил его французскому, привив правильное французское произношение. Семья также не оказывала на Генри давления, а была скорее атмосферой, в которой он жил. Мальчик рос среди многочисленного и мощного клана сестер и братьев, которые все повторяли и воспроизводили один и тот же человеческий тип. Они получали одно и то же образование, сражались с теми же проблемами, одинаково решая их или не решая. Они, как и он, не имели жизненной цели и не знали, как ее искать, но каждый в душе знал, что хотел бы главенствовать на каком-нибудь жизненном поприще. (То же можно было бы сказать о муравье или о слоне!) Их поприщами были политика и литература. И все они являли собой как бы одну человеческую особь, наделенную полу-дюжиной сторон и граней; их темпераменты влияли друг на друга и делали друг на друга похожими. Это тоже был элемент воспитания — воспитания определенного человеческого типа, типа бостонца или жителя Новой Англии, который был достаточно известен. Неизвестно было другое — насколько такого рода человеческая особь, считавшая себя представительницей этого типа, была способна сладить с жизнью.

По всем внешним данным такая семья с оравой мятущихся детей, которых родители полностью предоставляли самим себе и вовсе не стремились держать в узде, должна была плохо кончить. У кого бы хватило сил ими управлять? Меньше всего у матери, на которую падало девять десятых семейной ноши, — матки этого пчелиного роя, от чьей силы он зависел, но чьи дети, своевольные и самонадеянные, не следовали ни ее, ни чьим-либо иным указаниям, разве только их направляли на путь, по которому они сами рвались идти. Отец и мать оказались одинаково беспомощными. В то время в многодетной семье редко обходилось без урода, хотя бы одного, но молодое поколение Адамсов избежало общей участи: все дети выросли достойными гражданами. Однако, оглядываясь назад, Генри, подобно человеку, спас-

шемуся от неминуемой беды, считал это чудом. Факт этот говорил, пожалуй, о том, что дети Адамсов рождались, как птенцы, с природным чувством равновесия. В Новой Англии влияние семьи еще никого не спасало от гибели — напротив, не раз ей содействовало; влияния же извне калечили даже больше. Иногда вывозила школа, но исключительно потому, что оказывала обратное действие. Острая неприязнь детей к школе сказывалась положительно. Их страстная ненависть к школьной системе ценностей была сама по себе системой. Тем не менее тогдашняя школа пользовалась в обществе хорошей репутацией, Генри не на что было жаловаться. Да он и не жаловался. Он ненавидел школу, потому что там его, затерянного в толпе других мальчиков, принуждали зубрить тьму вещей, которые нисколько его не интересовали. Запоминал он медленно, с мучительными усилиями. К тому же сознание, что его память должна оспаривать школьные призы у более сильных запоминающих машин, угнетало его: ему беспрерывно доказывали не только, что у него слабая память, но и что ему недостает ума. Он же считал, что наделен исправным мыслительным механизмом, работающим как надо, когда его не ограничивают во времени, и плохо, когда его торопят. Учителя всегда ограничивали его во времени.

Мальчик испытывал отвращение к школе во всех ее проявлениях, с годами это чувство только усилилось. Время, проведенное в школе — от десяти до шестнадцати, — он считал потраченным впустую. Возможно, его потребности были исключительными, но вся его жизнь была исключительной. Жизнь каждого человека между 1850 и 1900 годами была исключительной. Для успеха в том, чем ему пришлось заниматься в дальнейшем, требовалось, как выяснилось много позже, свободно владеть четырьмя орудиями: математикой, французским, немецким и испанским. Пользуясь ими, он мог в кратчайший срок освоить любую специальную область знаний и чувствовать себя как дома в любом обществе. За шесть

месяцев осмысленной работы он с помощью современных языков выучил латынь и греческий лучше, чем за шесть лет, потраченных на их изучение в школе. Четыре упомянутых орудия были необходимы для его успеха в жизни, но, вступая в нее, он не умел с ними управляться.

Таким образом, с первых шагов по жизни он был обречен на более или менее сокрушительный провал, как и его товарищи, которых ожидала такая же участь. По правде говоря, если бы отец оставил его дома и сам ежедневно обучал по полчаса, он сделал бы для сына несравненно больше, чем школа для всех своих учеников. Разумеется, те, кто заканчивал школу или учился в ней, смотрели сверху вниз на получивших домашнее образование и даже гордились своим невежеством. Но в шестьдесят лет человеку виднее, что ему требовалось в жизни, а по мнению Генри Адамса, школа ему не дала ничего.

Школа, как правило, мало чем радовала. Общение со своими сверстниками тоже особой пользы не приносило. По части здорового времяпрепровождения для мальчиков и мужчин тогдашний Бостон располагал скудными возможностями. Бары и бильярдные посещались куда чаще, чем об этом сообщалось родителям. Мальчики, как правило, катались на коньках, плавали в море, обучались танцам; они немного умели играть в бейсбол, футбол и хоккей; более или менее управлялись с парусом, ходили изредка стрелять куликов и залетных уток; кое-кто разбирался в естественной истории, да и то лишь те, кто был родом из Конкорда; никто не совершал прогулок верхом, а об охоте с собаками даже понятия не имели. Спортом никто не увлекался, о таком времяпрепровождении не было и речи. Состязания в гребле начали проводиться с 1850 года. Скачки ограничивались рысистыми испытаниями. Из развлечений самым веселым и популярным по-прежнему оставалось катание на салазках. Ни одно из этих занятий не могло научить ничему, что пригодилось бы Генри в дальнейшей жизни. Как и в восем-

надцатом веке, источником знаний оставались книги, и по мере того как книги Теккерея, Диккенса, Бульвера, Теннисона, Маколея, Карлейля выходили в свет, они тотчас заглатывались жадными читателями. Но если говорить о счастливых часах, то счастливейшими были те, что выпадали летом, когда, лежа на отдававших плесенью кипах протоколов конгресса в старом доме Куинси, Генри зачитывался «Квентином Дорвардом», «Айвенго», «Талисманом» или когда в перерывах совершал набеги на фруктовые сады за персиками и грушами. Главное из того, что он выучил, он выучил именно тогда.

3. ВАШИНГТОН (1850—1854)

Воспитание на Маунт-Вернон-стрит, если отвлечься от политики, было хорошо уже тем, что не лишало мальчишеский ум природной гибкости, возможности изменяться вместе с миром, и пусть там ничему не учили, то малое, чему научили, не пришлось переучивать. Наружная оболочка приняла бы любую форму, какую выкроило из нее воспитание, но Бостон с удивительной прозорливостью отказался от старых лекал. Какого рода трафаретами пользовались в других местах, бостонцы не знали и за неимением собственных избежали большого зла, не применяя чужие, и это касалось не только школы, но и общества в целом. Бостон не прививал навыков, которыегодились бы за его пределами. Кто только нынче не смеется над дурным вкусом королевы Виктории и Луи-Филиппа — общества сороковых годов. Но ведь этот вкус лишь отражал время застоя между отливом и приливом, который вот-вот должен был начаться. Бостон оставался самим собою, не принадлежа никому, даже самой Америке. Бостонские мальчики и девочки, росшие вне аристократических, промышленных и бюрократических кругов,

были почти так же лишены внешней формы, как и их английские ровесники, с тою разницей, что у юных бостонцев было меньше возможностей обрести ее с годами. Роль женщины сводилась до минимума. Лет с семи мальчик почти всегда был влюблен в одну из своих сверстниц — чаще всего в одну и ту же, которая ничему не могла его научить, как и у него научиться, разве что развязным провинциальным манерам, а с годами, поженившись, они рожали детей, и те повторяли их путь. Мысль о том, что юноша может искать любви замужней женщины или пытаться обрести более утонченные манеры, чтобы войти в общество тридцатилетних, вряд ли могла даже появиться в уме молодого человека, и если бы возникла, повергла бы его родителей в ужас. У женщины мальчик учился только домашним добродетелям. Ему и в голову не могло прийти, что женщина способна дать ему больше. Пожалуй, примитивнее отношения не могли сложиться даже в раю.

Добродетель нуждалась в противовесе, поэтому в городе пуритан всегда существовало и темное начало. В смысле воспитания преступный Бостон трудно переоценить: редкий мальчишка не проявлял к нему острого интереса. Настоящему негодяю надо обладать хорошим физическим развитием и талантом, а Генри Адамс был лишен и того и другого, тем не менее он наравне со всеми мальчиками не избежал соприсношений с грехом самого низкого пошиба. В поле зрения юных бостонцев постоянно попадало чье-то преступное поведение, зачаровывая их ореолом силы и свободы, преимуществом над цивилизованностью и благонаравием. Преступать еще могли бояться, но преступивших, честно говоря, не презирал никто. А поступки подобного рода, закаляя дух, сказывались на воспитании сильнее школы. Одной из излюбленных мальчишеских зимних игр, доставшейся в наследство непосредственно от восемнадцатого века, была игра в войну на бостонском поле. В старину противные стороны назывались «северяне» и «южане». К 1850 году название «северяне» еще

сохранилось, но практически сражение шло между учениками Латинской школы и всеми желающими, и на время снежной баталии Латинская школа включала в себя всех мальчиков из Вест-Энда. Если в предпраздничный день выдавалась не слишком морозная погода и снег становился помягче, бостонское поле превращалось в поле битвы, которая начиналась засветло, когда Латинская школа, выйдя на бой в полном составе, гнала противников до Тремонт-стрит, и кончалась уже в темноте, когда ряды школьников, постепенно убывая, полностью рассеивались. По мере того как Латинская школа теряла силы, стан головорезов укреплялся. Пока в ход шли только снежки, это оружие никому не причиняло большого вреда, но снежок можно начинить камнем, а в темноте палка или рогатка в руках мальчишки разят не хуже ножа. Мальчику Генри запомнилось одно из сражений, долгое и изнурительное. Вместе со старшим братом Чарлзом, которому он по обыкновению во всем следовал, Генри принимал участие в игре, и у него сильно поубавилось удачи, когда он увидел, как одному из их самых стойких лидеров, Генри Хиггинсону — по-школьному Гроза Х и г, — залепили камнем выше глаза, и тот, обливаясь кровью, ушел с поля боя. С наступлением темноты учеников Латинской школы оттеснили на Бикон-стрит-мэлл, откуда отступать было некуда, — они могли только бежать, и к этому времени их осталась жалкая горстка во главе с двумя смельчаками — Сэвиджем и Марвином. Внизу виднелась темная масса готовящихся к последней атаке фигур, а по слухам, на этот раз орава отпетых головорезов из трущоб, предводительствуемая громилой из громил по кличке Шиш Дэниелс, известным своей дубинкой и темными делами, решила навсегда истребить трусишек с Бикон-стрит. Первым побуждением Генри было пуститься вместе с другими наутек, но Чарлз был старше других и не мог себе это позволить, и они остались, отдавая себя на заклятие. Темная масса, испустив боевой клич, ринулась вперед. Мальчики с Бикон-стрит, показав

спины, бросились бежать — все, кроме Сэвиджа, Марвина и еще нескольких героев, не пожелавших спастись бегством. Громила Шиш важно прошествовал наверх и, задержавшись на мгновение вместе со всей своей свитой, чтобы изрыгнуть на Марвина поток ругательств, отправился в погоню за бежавшими с поля боя, не тронув и пальцем тех, кто остался. Из чего само собой напрашивался вывод, что даже самая черная душа не так черна, как ее малюют; но мальчик Генри хватил столько страху, словно он побывал на месте маршала Тюренна или Генриха IV, а десять или двенадцать лет спустя, когда те же мальчики дрались и умирали на полях сражений в Виргинии и Мэриленде, он часто задавался вопросом — не уроки ли бостонского поля научили Сэвиджа и Марвина так умирать?

Если насилие является составной частью совершенного воспитания, Бостон по этой части несовершенством не страдал. Лидеры движения против рабства и их сторонники хорошо знали, что такое насилие. Большинству из них довелось испытать его на себе. Толпа то и дело грозила им расправой. Генри практически ни разу не принимал участия в расправах, но, подобно всякому мальчишке, был тут как тут везде, где собиралась толпа, и, слушая Гаррисона или Уэнделла Филиппса, легко мог накликасть на себя беду. Уэнделл Филиппс на трибуне являл собой фигуру, опасную для юношества. Не меньше зла чинил вещавший с кафедры Теодор Паркер. Но ничего не могло быть хуже зрелищ, возникавших в Бостоне во исполнение закона о беглых рабах, когда Корт-сквер ощетикивалась штыками, а товарищи Генри, привлеченные в ряды милиции штата, рыскали по улицам с оружием в руках, чтобы вернуть негра в рабство, — зрелищ, сводивших с ума пятнадцатилетнего мальчишку из восемнадцатого века и Куинси, которому смерть как не хотелось упустить верный шанс поозорничать.

Город жил в атмосфере восстания против гербового сбора, Бостонского чаепития и Бостонской бойни. В пределах

Бостона мальчик ощущал себя прежде всего политиком в духе восемнадцатого века, а потом уже всем остальным, за пределами Бостона он с первого же шага еще больше увязал в политике. После февраля 1848 года лишь тонкая нить осталась от тех связей, которые начиная с 1776 года соединяли Куинси с внешним миром. Похоронив мужа, госпожа президентша обосновалась в Вашингтоне и сама уже, разбитая параличом, не покидала постели. Время от времени ее сын Чарлз, чьи любовь и внимание к матери в выпавших ей испытаниях никогда не оскудевали, отправлялся повидаться с ней, и в мае 1850 года он взял с собой двенадцатилетнего сына. Поездка преследовала воспитательные цели и в части воспитания сыграла свою роль, сохранив в памяти то, что заполняло мысли мальчика в 1850 году. Ни путешествие по железной дороге, ни пребывание в Нью-Йорке не вызвали у него, насколько помнится, особого интереса: с железными дорогами и большими городами он был достаточно знаком. Впервые его внимание проснулось, когда они пересекали Нью-Йоркский залив, а на ветке, принадлежавшей компании «Кэмден и Эмбой», сели в вагоны английского образца: это было для него внове. Он попал в другой мир, где чувствовался отход от простых обычаев американской жизни, шаг в сторону фешенебельности, о которой в Бостоне даже не подозревали; но мальчика все это занимало. И даже нравилось. В Трентоне поезд доставил их прямо к борту судна, на котором они прибыли в Филадельфию, где Генри познакомился еще с кое-какими образчиками городской жизни. Оттуда они, снова пароходом, добрались до Честера и поездом до Хавр-де-Граса, затем пароходом до Балтиморы и поездом до Вашингтона. Таким запечатлелось в его памяти это путешествие. На самом деле, оно, возможно, было другим, но каким оно было на самом деле, не имеет значения в аспекте воспитания. Важно то, каким оно запомнилось, а больше всего Генри поразило, на всю жизнь врезавшись в память, ощущение, как внезапно

изменился мир, когда они попали в рабовладельческий штат.

В воспитание вмешивалась политика; запущенность всего, что охватывал взор, вряд ли показалась ему столь уж непривычной: даже в Бостоне встречались запущенные за-коулки, а Куинси и вовсе не мог похвастать опрятностью и исправностью зданий. По правде сказать, Генри еще ни разу не видел безупречного городского ландшафта, но в Мэриленде запущенность выглядела иначе. Поезд, размерами и видом напоминавший современный трамвай, громыхал по неогороженным полям и лесам, мимо деревенских улиц, кишмя кишевших свиньями, коровами и черномазыми ребятишками всех возрастов и мастей, на которых не обнаруживалось никаких следов ухода и которые, сдается, и жили бы все в одной лачуге — она же хлев и закут, — если бы свиньи на Юге нуждались в жилье. По мнению мальчика, виною этому было рабство; таков был первый урок, который он для себя вынес. На следующее утро он спозаранку спустился из отведенной ему в бабушкином доме — все еще называвшемся Домом Адамса — комнаты, вышел на Ф-стрит, дышавшую густым ароматом катальпы, и, устремившись в сторону, очутился на немощеной проезжей дороге или сельской улице, прорезанной глубокими колеями, которые тянулись от портика казначейства до белевших вдали колонн и фасадов почтамта и патентного управления, стоявших друг против друга словно два белоснежных греческих храма на месте заброшенных раскопок обезлюдившего сирийского города. Вдоль улицы там и сям, как в любом южном городке, выглядывали деревянные домишки, но внимание Генри привлек незаконченный квадратный мраморный обелиск, видневшийся в полумиле, к которому он и поспешил, чтобы осмотреть его еще до завтрака. Позднее тетюшка сухо заметила ему, что в таком темпе он быстро разделается со всеми вашингтонскими достопримечательностями, но ей — постоянной жительнице Вашингтона — было невдомек, что

в этом городе мальчика заинтересовали отнюдь не достопримечательности, а нечто совсем иное.

Генри вряд ли мог объяснить ей, что он и сам толком себя не понимал. И чем больше видел и узнавал, тем меньше понимал. Рабство обжигало его как пощечина — это был ночной кошмар, ужас, преступление, средоточие всего дурного. Соприкосновение с рабством вызывало только еще большее к нему отвращение. Генри, как и черным невольникам, хотелось бежать — бежать в вольные земли. Грязные, запущенные, нищенские, невежественные, омерзительные рабовладельческие штаты! Они не вызывали у него ни одной доброй мысли. И все же у этой медали была и другая сторона. Она проявлялась под действием майского солнца и теней, еще больше — густой листвы и крепких запахов и, конечно же, самой атмосферы с задумчивой ленью, которая насыщала ее, эту новую для него атмосферу, сильнее запахов катальпы. Сложное впечатление производил на мальчика Вашингтон, но ему тут нравилось: город притягивал к себе, едва ли не вытесняя из сердца любимый Куинси. Отсутствие изгородей, тротуаров, формальностей, расхлябанность и праздность, тягучий южный говор, свиньи, копошащиеся на улицах, черномазые ребяташки и их матери в пестрых ситцах, раскованность, широта, значительность в природе и человеке — все это успокаивающе действовало на его англосаксонскую кровь. Любой мальчишка испытал бы такие же чувства, но у Генри они усугублялись наследственностью. Мягкость в обращении его бабушки, когда, прикованная к постели, она болтала с ним, шла не от Бостона. И его тетка меньше всего могла называться бостонкой. Сам он тоже не был чистым бостонцем. И хотя Вашингтон принадлежал к другому миру и оба эти мира были несоместимы, Генри не решился бы отдать предпочтение Бостону. В свои двенадцать лет он разбирался в собственной природе столь же плохо, как если бы прожил двенадцать столетий, подари ему небо мафусаилов век.

Отец взял Генри с собой в Капитолий — в зал заседаний сената, в который тогда, как и еще много лет спустя, вплоть до начала туристской эры, посетители имели свободный доступ. Старая палата походила на уютный политический клуб. Стоя за спинкой вице-президентского кресла, которое теперь занимает председатель Верховного суда, мальчик знакомился с сенаторами, чьи имена в те великие дни он знал не хуже собственного. Клей, Уэбстер, Колхун еще заседали в сенате, но с ними кандидат в вице-президенты от партии фрисойлеров почти не поддерживал отношений. На мальчика же этот человеческий тип произвел большое впечатление. Сенаторы были особой породой: они носили на себе печать величия, как сюртук или медные пуговицы; они были настоящие римляне. В 1850 году сенаторам было присуще обаяние, впоследствии утраченное, а сенат в благополучные дни представлял собой приятнейшее собрание, состоящее всего из шестнадцати, или около того, членов, среди которых царил дух учтивости. И портили их не столько дурные манеры или несдержанность, сколько любовь к позе. Государственные деятели любых времен склонны держаться несколько напыщенно, но даже напыщенность менее оскорбительна, чем панибратство, — будь то на трибуне или на кафедре, — а у южан напыщенность, если только она не замешана на высокомерии, выглядела весело и мило, почти забавно и по-детски добродушно, совсем не так, как у северян, скажем, у Уэбстера или Конклинга. Мальчик чувствовал себя здесь как дома, свободнее даже, чем когда-либо в бостонском Стейт-хаусе, хотя там еще младенцем любовался «треской» в палате представителей. Сенаторы разговаривали с ним тепло и, по-видимому, в душе были так же к нему расположены: они давно знали его семью, с которой встречались в свете, и, хотя поддерживали рабство, у них не осталось личной вражды даже к Дж. К. Адамсу — с тех пор как он уже не стоял на пути своих соперников. Решительно, сенат — даже прорабовладельческий, — казалось, был расположен к нему дружески.

Этот первый шаг в сферу национальной политики оказался легкой, беззаботной, веселой, словно моцион перед завтраком, ознакомительной прогулкой по неведомому и занятому миру, где все было еще недостроено, но где даже сорная трава росла по ранжиру. Второй шаг мало чем отличался от первого — разве только тем, что вел в Белый дом. Отец взял Генри на прием к президенту Тейлору. Когда они туда прибыли, перед домом на огороженной лужайке пасся старый боевой конь президента Белогривый, а в доме президент принимал посетителей так же просто, словно беседовал с ними на лужайке. Президент разговаривал дружески, и Генри, насколько помнится, не испытал ни малейшего стеснения. Да и с чего бы? Семьи были крепко связаны между собой, настолько крепко, что дружеские отношения между ними не разрушило ни время, ни Гражданская война, ни всякого рода размолвки. Тейлор стал президентом не без помощи Мартина Ван Бюрена и партии фрисойлеров. Адамсы еще могли быть ему полезны. Что же касается Белого дома, то семья мальчика сама не раз в нем обитала, и, исключая восемь лет правления Эндрю Джэксона, дом этот, с тех пор как его построили, был для нее более или менее родным. Мальчик смотрел на него почти как на свою собственность и нисколько не сомневался, что когда-нибудь сам будет здесь жить. Он не испытывал трепета перед президентом. Президент — ничего особенного, в каждой уважаемой семье есть президент, в его собственной их было двое, даже трое, если считать дедушку Натаниэля Горэма, самого старого и первого по знатности. Ветераны войны за независимость или губернатор колониальных времен — вот тут еще есть о ком говорить. Но президент? Каждый может стать президентом, и — чего не бывает! — даже весьма темная личность. Президенты, сенаторы, конгрессмены — экая невидаль!

Так думали все американцы, включая тех, за кем не стояли поколения предков. Президент как таковой не был окружен ореолом, и по всей стране вряд ли кто-либо чувствовал поч-

тение к должности или имени — только к Джорджу Вашингтону. К этому имени относились с почтением — и, по всей очевидности, искренним. В Маунт-Вернон совершались паломничества и даже прилагались усилия, чтобы воздвигнуть Джорджу Вашингтону памятник. Усилия ни к чему не привели, но Маунт-Вернон продолжали посещать, хотя путешествие было не из легких. Мистер Адамс повез туда сына, и дорога, по которой они ехали в карете, заложенной парой, дала мальчику столь полное представление о жизни в Виргинии, что его хватило на десять лет вперед. По понятиям уроженца Новой Англии, дороги, школы, одежда и чисто выбритое лицо взаимосвязаны — они часть порядка вещей или божественного устройства. Плохие дороги означают плохие нравы. Нравы, о которых свидетельствовала эта виргинская дорога, были очевидны, и мальчик в них полностью разобрался. Рабство было позорно, и в рабстве коренилась причина плохого состояния дороги, равнозначного преступлению против общества. И все же — все же в конце этой дороги и конечным результатом этого преступления были Маунт-Вернон и Джордж Вашингтон.

К счастью, мальчики воспринимают противоречия так же легко, как взрослые, иначе наш мальчик, пожалуй, слишком рано набрался бы мудрости. Ему оставалось только повторять то, что он слышал: Джордж Вашингтон — исключение. В противном случае его третий шаг на стезе вашингтонского воспитания стал бы для него последним. С такой позиции проблема прогресса была неразрешимой, что бы ни утверждали или, по сути дела, ни думали оптимисты и ораторы. С бостонских позиций пути к Джорджу Вашингтону не было. Джордж Вашингтон, подобно Полярной звезде, стал начальной — или, если так приятнее виргинцам, — конечной точкой отсчета, и среди непрестанного неумного движения всех других видимых в пространстве величин он, единственный, оставался в уме Генри Адамса раз и навсегда данной величиной. Другие меняли свои характеристики: Джон Адамс,

Джефферсон, Медисон, Франклин, даже Джон Маршалл приобретали различные оттенки и вступали в новые отношения, и только Маунт-Вернон всегда оставался на том же месте, куда не вели накатанные пути. И все же, когда Генри попал туда, оказалось, что Маунт-Вернон — второй Куинси, только на южный манер. Спору нет, поместье Вашингтона пленяло куда больше, но это был тот же восемнадцатый век, та же старинная мебель, тот же старый поборник независимости, тот же старый президент.

Мальчику Маунт-Вернон явно пришлось по душе: широководный Потомак и живущие в дуплах еноты, пестрые ситцы и самшитовые изгороди, расположенные наверху спальни и пристроенная к дому веранда, даже сама память о Марте Вашингтон — все такое естественное, как приливы и отливы, как майское солнце. В Маунт-Верноне он только слегка расширил свой горизонт, но ему ни разу не приходило на мысль спросить себя или отца: а как же быть с нравственной проблемой — как вывести Джорджа Вашингтона из суммы всесветного зла? Практически такая мелочь, как противоречия, в основе основ отбрасывается легко; умение не замечать их — главное свойство практического человека, а попытка заняться ими всерьез губительна для воспитания юной души. К счастью, Чарлз Фрэнсис Адамс не любил никого поучать и совершенно не умел кривить душой. Возможно, у него имелись свои соображения на этот счет, но сыну он предложил довольствоваться простой элементарной формулой: Джордж Вашингтон — исключение.

Жизнь пока еще виделась Генри без сложностей. Любая проблема имела решение, даже негритянская. Вернувшись в Бостон, мальчик как никогда увлекся политикой, но его отношение к политической жизни стало еще менее современным: оно опиралось уже не на восемнадцатый век, а приобрело сильный оттенок семнадцатого. Рабство вернуло пуританскую общину к ее пуританскому ригоризму. Мальчик мыслил так же догматически, как если бы был одним из

своих предков. Рабовладение заняло место династии Стюартов и римских пап. При такой позиции о воспитании ума и души не могло быть и речи, их заполняли эмоции. Но постепенно, по мере того как мальчик обнаруживал происходящие вокруг перемены и уже ощущал себя не изолированным атомом, затерянным во враждебном мире, а чем-то вроде малька в сельдяном косяке, он начал постигать первые уроки практической политики. До сих пор он брал в расчет только опыт государственной деятельности восемнадцатого века. Америка и он одновременно начали осознавать появление новой силы, скрывавшейся под невинной поверхностью партийного механизма. Даже в тот ранний период не слишком сообразительный мальчик догадывался, что ему, скорее всего, нелегко будет примирить принципы пуританизма шестнадцатого века и государственности восемнадцатого с понятиями, которыми руководствовались партийные лидеры второй половины девятнадцатого. Первое смутное ощущение какого-то неизвестного препятствия, таящегося во мраке, появилось в 1851 году.

Фрисойлеры, совещавшиеся на Маунт-Вернон-стрит, принадлежали, как уже говорилось, к категории государственных мужей и, подобно Дэниелу Уэбстеру, не имели касательства к партийному механизму. Партийной механикой и добыванием денег за Уэбстера и Сьюарда занимались другие — Питер Харви и Терлоу Уид, которые положили на это жизнь и, принимая на себя большую часть брани, не требовали благодарности. Однако, почти сами того не ведая, подчиненные вытеснили хозяев, создав машину, которой только они и могли управлять. В 1850 году до этой точки дело еще не дошло. Те, кто правил небольшой партийной машиной фрисойлеров, держались скромно, хотя уже приобрели известность сами по себе. В один прекрасный день Генри Уилсон, Джон Б. Эллей, Энсон Берлингем и другие партийные менеджеры заключили с массачусетскими демократами сделку, по которой те получали власть в штате, а фрисойлеры

место в сенате. Ни мистер Адамс, ни его друзья — государственные мужи не пошли бы на такую сделку: в их глазах подобный союз был низким делом, равносильным продаже жокеями сведений о скачках. Их не привлекало место в сенате, оплаченное голосами за демократов — защитников рабства. Они занимали достойную, можно сказать, благородную позицию. Тем не менее плодами этой сделки они, если на то пошло, воспользовались практически: коалиция выдвинула Чарлза Самнера кандидатом в сенат, а Джордж С. Бутвелл прошел в губернаторы штата. Это был первый урок в практической политике, который получил Генри, — пронзительный урок, и не потому, что Генри терзали нравственные сомнения, а потому, что он познал природу вопиюще гнусной политической сделки, для участия в которой был слишком благонаправлен, но не настолько благодушен, чтобы извлечь из нее плоды. Краденое имущество досталось Чарлзу Самнеру, но Генри не видел различия между ним, своим другом, и своим отцом: в его глазах они были тут равны. Впрочем, он не стал заниматься казуистикой по этому поводу. Его друг был прав, потому что был его друг, и мальчик разделял его торжество. Вопрос о воспитании не вставал, пока длился конфликт. Тем не менее все ясно понимали — как тогда, так и потом, — что из этого случая необходимо извлечь урок, раз и навсегда. Генри мог оставить без внимания, отнести к историческим загадкам вопрос о том, как вывести Джорджа Вашингтона из суммы вселенского зла, но теперь он сам помогал вывести Чарлза Самнера из политической грязи. С этой позиции воспитание снова зашло в тупик. В конце открывавшейся перспективы стоял Тамманихолл.

М-р Эллей, один из суровейших поборников нравственности, заключая сделку с демократами, полагал, что цель ее — обратить их в противников рабства и что это ему удалось. Генри Адамс не сумел подняться до таких нравственных вершин. Он был только мальчишкой и, поддерживая коали-

цию, задавался целью сделать своего друга сенатором. Он действовал из личного интереса — все равно, как если бы помогал другу сделаться миллионером. Найти путь, на котором он мог бы избежать выводов об аморальности подобных действий, он не сумел — разве только признаться в том, что он, его отец и его друг поступают неправильно, с чем он ни в коем случае не хотел соглашаться, так как за этим последовали бы еще более горькие выводы. Таким образом, в неполные пятнадцать лет он уже умудрился вогнать себя в состояние нравственного сумбура, из которого так и не выбрался. Как политик он уже замарал себя и впоследствии так и не увидел ни одного пути, на котором политик-практик мог бы остаться незапятнанным.

Оправдываться, по его понятиям, было лицемерием или трусостью. К тому же в это время ему даже не приходило в голову, что он должен оправдываться, хотя газеты кричали ему об этом на каждом углу, а конклав с Маунт-Вернон-стрит с ними соглашался; и поскольку Генри не мог отговориться незнанием, он даже в разгар конфликта не рвался защищать коалицию. Он был лишь мальчишка, но знал достаточно, чтобы понимать — что-то делается не так. Но его интересовали выборы. День за днем шел подсчет голосов, и Генри, пробравшись на галерею, ждал результатов и никак не мог взять в толк, почему Калев Кашинг называет мистера Самнера «голотелым аболиционистом». Правда, разница между этим выражением и «оголтелым аболиционистом», которое на самом деле употреблял мистер Кашинг, на слух не так уж велика, но ни первое, ни последнее для характеристики Самнера, по мнению Генри, никуда не годилось: уж он-то не допустил бы такой ошибки — не поместил бы Гаррисона и Самнера в один разряд, не перепутал, когда Калев Кашинг говорит об одном, а когда о другом. Страсти кипели, а Самнеру ежедневно не хватало одного-двух голосов. Наконец 24 апреля 1851 года, стоя на галерее среди приумолкшей толпы, Генри услышал, что Самнер набрал нужное число.

Проскользнув сквозь скопище зрителей, он бросился со всех ног домой и, влетев в столовую, застал там свою семью и мистера Самнера. Генри выпала радость и честь сообщить ему об избрании сенатором. Наверное, это был самый счастливый момент в его жизни.

На следующий день по дороге в школу Генри заметил у многих прохожих, мальчиков и девочек, черную креповую повязку на рукаве. Он знал, что в Бостоне мало кто из его сверстников стоял на стороне фрисойлеров: все знакомые были за рабовладельцев. И он решил, что ему нужно прикрепить к рукаву белую шелковую ленту — пусть видят, что его друг, мистер Самнер, не совсем одинок. Эта маленькая бравада прошла незамеченной, никто даже не надрал ему уши. Но годы спустя его не оставляла мысль, что он не знает, который из двух символов следовало счесть за лучший. Тогда никто не ожидал четырехлетней войны; ожидали сецессии. Как тот, так и другой символ были, как говорится, «оба хуже».

Этим триумфом конклава с Маунт-Вернон-стрит и завершился политический прилив. Генри, подобно миллиону американских мальчишек, жил политикой и, что много хуже, не годился пока ни для чего другого. Ему следовало бы, как его деду, протезе Джорджа Вашингтона, быть государственным деятелем, назначенным судьбой смотреть вперед, исполнять приказы и маршировать, а он даже не был бостонцем. Он чувствовал себя в Бостоне отщепенцем, словно был иммигрантом. Он никогда и не считал себя бостонцем; никогда, гуляя по городу, не глядел по сторонам — как обыкновенно делают мальчишки, куда бы ни забредали, чтобы выбрать лучшую по своему вкусу улицу, дом, в котором ему хотелось бы жить, дело, которым намеревался заняться. Душою он стремился в другое место — может быть, в Вашингтон с его непринужденной общественной атмосферой, может быть, в Европу, и, подымаясь на холмы в Куинси, с неясной тоской следил глазами, как дымят «кьюнардские» пароходы, которые

дважды в месяц по субботам, а иногда и в другой день недели тянулись вереницей за горизонт и, исчезая, словно предлагали взять его с собой — впрочем, и на самом деле предлагали.

Будь эти мысли неразумны, мальчика не преминули бы наставить на ум — авторитетов хватало; все дело было в том, что — как впоследствии понял Генри Адамс — мысли эти были более чем разумны: они являлись логическим, необходимым, математическим выводом в неизменной последовательности человеческого опыта. Единственная мысль, воистину неразумная, не приходила ему в голову — мысль отправиться на Запад и расти вместе со страной. Не то чтобы он не годился для Запада, он годился, и куда больше, чем многие из тех, кто туда отправился. Главная причина заключалась в ином: Восток имел для него неоспоримые преимущества. Ринуться на Запад означало совершить ошибку. Запад вообще в неоплатном долгу у Бостона и Нью-Йорка. Ведь их жителям не было ни малейшей надобности искать счастья на Западе. Если когда-либо в истории человечества люди могли рассчитывать на обеспеченное существование до конца своих дней, то впервые такая возможность появилась в 1850 году у населения больших восточных портов, после того как их связала сеть железных дорог. Запад же ни политическому деятелю, ни бизнесмену, ни лицам свободных профессий никаких определенных преимуществ не давал, зато неопределенность сулил полнейшую.

В любой другой момент истории человечества воспитание, полученное Генри Адамсом, включая его политические и литературные привязанности, могло бы считаться не только хорошим, но отменным. Общество всегда одобряло и ласкало людей, получивших такое оснащение. У Генри Адамса были все основания быть им вполне довольным и не быть довольным собой. Он располагал всем, что ему было нужно. И не видел оснований считать, что кому-то досталось больше. Он закончил школу, пусть не очень блестяще, но не считая, что она ему мало дала. Возможно, он знал больше, чем знали

его отец, или дед, или прадед в свои шестнадцать лет. Только пятьдесят лет спустя, оглядываясь назад — на то, что он представлял собой в 1854 году, — и размышляя о нуждах двадцатого столетия, Генри Адамс задал себе вопрос: к мысли какого века был он, мальчик из 1854 года, ближе — к мысли 1904 года или 1 года н. э.? Точного ответа на этот вопрос он так и не сумел найти. Пожалуй, потому, что его оценки и не могли быть точными — ведь еще не были точно сформулированы идеи XX века, но из дальнейшего рассказа о воспитании Генри Адамса станет ясно, почему же он все-таки считает, что в постижении основ человеческого духа — религии, философии, истории, литературы, искусства, научном познании, исключая разве только математику, — в 1854 году молодой американец стоял ближе к году 1-му, чем к 1904-му. Полученный Генри Адамсом багаж не соответствовал тому, что от него требовалось. С точки зрения американца 1900 года, он ничего не получил. Он не знал даже, с чего и как начинать.

4. ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1854—1858)

Июньским днем 1854 года юный Адамс в последний раз сбежал по ступенькам школы мистера Диксвелла на Бойлстонской площади, не испытывая никаких чувств, кроме чистой радости, что с этим делом покончено. Никогда, ни прежде, ни после, не случалось ему вот так — без чувства утраты или хотя бы грусти по привычному — подводить черту под четырехлетним периодом своей жизни. Да и его друзья, как он впоследствии не раз убеждался, не жаловали школу за невыносимую скуку. Он перерос ее с самого своего рождения. Как и большинство мальчишек Новой Англии. Духовно они никогда мальчишками не были. Их уже с десяти лет следовало воспитывать по взрослым меркам. Американ-

ские мальчишки лет на пять обогнали своих английских и европейских сверстников, на которых были рассчитаны школы. Для дальнейшего продвижения в жизни эти первые шесть лет, которые могли бы послужить воспитанию, прошли впустую, научив крайне дурно тому, чему можно было научиться хорошо за год и что, по правде сказать, мало чего стоило. Следующим общепринятым шагом был Гарвардский университет. Туда Генри шел с огромной радостью. Из поколения в поколение Адамсы и Бруксы, Бойлстоны и Горэмы поступали в Гарвард, и хотя никто из них, насколько известно, там особенно не отличился — и не возвысился в собственных глазах, — тем не менее обычаи, светские связи, выгоды и, сверх всего, экономический интерес побуждали каждое новое поколение держаться той же дорожки. Образование в любом другом месте потребовало бы серьезных усилий: Гарвард никто не принимал всерьез. Туда поступали, потому что туда поступали друзья и потому что университет давал сознание своей социальной значимости.

В Гарвардском университете если чему и учили, то необременительно. Это было либеральное учебное заведение, посылавшее молодых людей в мир с запасом всего, что нужно, чтобы сделаться уважаемым членом общества, и кое-чем из того, что нужно, чтобы сделаться полезным. Лидеров там никогда не готовили. В Гарварде исповедовали совсем иные идеалы. Унитариянское священство давно уже внесло в его стены дух умеренности, уравновешенности, рассудительности, сдержанности — комплекс того, что французы называют *mesure*¹, — превосходные качества, которые колледж прививал своим питомцам с исключительным успехом, так что его выпускников обыкновенно узнавали по общему отпечатку; правда, у человека, наделенного подобными чертами, редко складывается интересная биография. Гарвард, в сущности, вырабатывал тип, а не личность. После четырех лет, успешно

¹ Чувство меры (*фр.*).

проведенных в его стенах, образовался прочерк вместо биографии, сформировался ум, на котором отпечатался разветво водной знак.

Отпечаток этот был, по тем временам, не так уж плох. Величайшее чудо в воспитании — что оно не губит всех к нему причастных, как учителей, так и учеников. Впоследствии Адамсу порою даже не верилось: неужели он и его сотоварищи и вправду вышли сухими из этой воды? Но Гарвардский университет, не считая обманутых надежд, и впрямь причинял куда меньше вреда, чем любой другой из тогда существовавших. Пусть там учили мало и плохо, но оставляли ум открытым для многого другого, свободным от предвзятости, не обремененным фактами — податливым. Выпускник Гарварда не был начинен предрассудками. Он мало знал, зато ум его сохранял гибкость, готовность воспринимать знания.

Больше всего Генри разочаровало общение с однокашниками: они дали ему ничтожно мало. Точнее, решительно ничего — результат не столь уж необычный в части воспитания. А между тем в справочнике Гарвардского университета за годы 1854—1861-й в студенческих списках значатся весьма известные для своего времени люди, начиная с Александра Агассиса и Филлипа Брукса, а заканчивая Г. Г. Ричардсоном и О. У. Холмсом. Самые многообещающие, как водится, умерли рано, и их имена не встречаются в одноименнике «Биографии современников», который, по-видимому, является единственным общепринятым мерилем успеха. Многие погибли на войне. Адамс знал их всех, кого более, кого менее, и так же любил и уважал тогда, как и потом, когда завоевав громкие имена, они стали пользоваться уважением в несравнимо более широких кругах. Но пока они были его товарищами по университету, с точки зрения воспитания он не получил от них и малой толики. Возможно, он сам был тому виною, но, надо полагать, другие ее разделяли. В дружеских отношениях, как и в браке, очень многое зависит от случая. Каждому из нас жизнь предлагает десяток-другой возможных

друзей, и чистая случайность, встретятся ли они нам на школьной скамье или в колледже, а вот в том, что молодым людям, живущим под одной крышей и в одинаковых условиях, нечего друг другу дать, вряд ли виноват один лишь случай. Курс 1858 года, к которому принадлежал Генри Адамс, состоял из типичных представителей молодого поколения Новой Англии с ее доктриной мирного проникновения и ее кричащей банальностью. Это были юноши, не знающие подлости, зависти, интриганства, экзальтации и страстных порывов, не слишком острые умом, чуждые сознательному скептицизму, совершенно равнодушные к броским эффектам, изобретательной выдумке, цветистой фразе, хотя и не настроенные по отношению к ней враждебно, коль скоро она развлекала; не очень уверенные в себе, но и не склонные слепо доверять другим; не наделенные в избытке собственным юмором, зато всегда готовые наслаждаться чужим, — словом, в такой степени «никакие», что с годами они превратились в «ого-го-каких», самоуверенных и преуспевающих. Отнюдь не резкие в манерах и суждениях, с широкими непредвзятыми взглядами, скопом они выступали беспощаднейшими критиками, каких не дай бог никому встретить в долгой жизни, в которой и без того хватает критики. Но они были сама объективность: их отношение к вещам было неоспоримо, как законы природы, их суждения — непреложны, словно являлись не порождением ума, чувств или желаний, а были чем-то вроде закона тяготения.

Они были воплощенный Гарвард, но даже для Гарварда курс выпуска 1858 года выходил за обычные рамки. К единению это сборище без малого ста молодых людей не имело большой охоты, как, впрочем, и к раздорам. Жить с ними вместе было приятно: они стояли выше среднего уровня студенческой массы — немцев, французов, англичан и прочих, — но главным образом потому, что каждый явно предпочитал держаться обособленно. В этом им виделся признак силы, хотя на самом деле обособленность естественна для

того, кого ничто не влечет, и удобна тому, кого ничто не заботит.

И вот случай, желая, видимо, — в целях воспитания — расширить кругозор Генри Адамса, забросил в эту аморфную массу трех виргинцев, которые так же мало для нее годились, как индейцы из племени сиу для однообразного механического труда. Благодаря некоему сходству эти трое «чужаков» сошлись с бостонцами — соучениками Адамса по школе, а в конце концов и с самим Адамсом, хотя как он, так и они превосходно знали, какая тонкая грань отделяет их дружбу, завязавшуюся в 1855 году, от смертельной вражды. Один из виргинцев был сыном Роберта Э. Ли, полковника Второй кавалерийской бригады Соединенных Штатов, двое других, горожане из Питерсберга, составляли — по-видимому, сами того не зная, — его свиту. Четвертый «чужак», Н. Л. Андерсон, прибыл из Цинциннати, но по матери, урожденной Лонгуорт, происходил из Кентукки. Впервые в жизни Адамс близко соприкоснулся с новым для него типом людей, с иными, чем его собственные, нравственными ценностями. На его глазах представители Новой Англии поверялись иным человеческим типом, и он принимал участие в этом процессе. Ли, которого всю жизнь звали Руни, оставался виргинцем восемнадцатого века, так же как Генри Адамс — бостонцем того же столетия. Руни Ли мало чем отличался от своего деда — Гарри-кавалериста. Высокий, атлетического сложения, мужественный, добродушный, с чисто виргинской широтой и открытостью ко всему, что ему нравилось, он в силу, также чисто виргинского, обыкновения командовать считал себя естественным лидером. Соперничать с ним никто не стал. Никого из северян не тянуло командовать. Год, если не больше, Ли числился на курсе в самых популярных и выдающихся, но потом постепенно очутился на заднем плане. Привычки командовать оказалось недостаточно, а других достоинств за виргинцем почти не значилось. Он был фантастически неразвит, настолько неразвит, что студенту из Новой Англии, в

свою очередь весьма мало развитому, было не по силам его постичь. Да и кто мог достаточно знать, как он невежествен, ребячлив и беспомощен перед не слишком сложной школьной наукой. Как представитель фауны южанин, по видимому, обладал всеми преимуществами, но даже в этой ипостаси постепенно сдал позиции.

Воспитательный урок, преподанный этим молодым людям, которые в следующее десятилетие убивали друг друга сотнями, проверяя справедливость усвоенных ими в университете истин, имел исключительно важное значение. Природа, если угодно, обошла южанина умом, но наделила его темпераментом. Науки ему не давались, он не был подготовлен к умственным занятиям, не способен охватить идею, а о том, чтобы усвоить сразу две, не могло быть и речи. Впрочем, в жизни, обладая инстинктом социального поведения, можно превосходно обходиться без всяких идей. Десятки известных государственных мужей принадлежали к тому же типу, что Руни Ли, однако вполне прочно сидели в законодательных собраниях. Но университет подвергал испытаниям посложнее. Виргинец был слаб даже по части греха, правда, и бостонец вряд ли мог считаться тут докой. Ни тот, ни другой не следовал добрым привычкам, оба любили сильно выпить и предаваться удовольствиям низкого пошиба, но бостонец все же вредил себе меньше, чем виргинец. Даже в последней степени опьянения бостонец обычно умел как-то остеречься, тогда как виргинец становился буен и опасен. Если виргинец проводил несколько дней, убиваясь по какому-нибудь мнимому поводу и обильно заливая горе шотландским виски, его друзья-северяне не могли быть уверены, что он не станет подстерегать их за углом с ножом или пистолетом в руках, чтобы отплатить за обиду, родившуюся в его озаряемом вспышками *delirium tremens*¹ мозгу, и, если дело принимало такой оборот, Ли приходилось расхотовать свой авторитет на

¹ Белая горячка (лат.).

собственную свиту. Ли принадлежал к джентльменам старой школы, а кому не известно, что джентльмены старой школы пили почти так же лихо, как и джентльмены новой; впрочем, Ли это мало заботило. Он сохранял трезвость даже в те годы неумеренной жесточенности в проявлении политических чувств; он умел сдерживать и свой темперамент, и своих друзей.

Адамсу виргинцы нравились. Он же, в силу имени и предубежденности, должен был как никто вызывать их ненависть; однако дружеские отношения между ними оставались нерушимыми и даже теплыми. В момент, когда непосредственное будущее еще не поставило в распорядок дня столь существенный вопрос, как состязание между Севером и Югом на силу и выносливость, это кратковременное сближение с южным характером было своего рода воспитанием ради воспитания; но на этом его значение исчерпывалось. Несомненно, болезненному самолюбию янки, которое, естественно, оборачивалось неуверенностью в себе, доставляло удовольствие постепенно убеждаться в том, что южанин с его плантаторскими привычками так же мало пригоден для успешной борьбы в современной жизни, как если бы он еще оставался человеком каменного века, живущим в пещере и охотящимся на *bos premigenius*¹, и что те качества, которые были в нем развиты, только его ослабляли. Правда, Адамс ловил себя на мысли, что и в этом отношении один тип человека восемнадцатого века вряд ли сильно отличается от другого. Если Руни Ли мало изменился по сравнению с виргинцем прошлого века, то и Адамс был гораздо ближе по типу к своему прадеду, чем к директору железнодорожной компании. Он немногим больше, чем виргинцы, годился для жизни в будущей Америке, которой явно не было никакого дела до прошлого. Общество на Севере уже выражало предпочтение — пожалуй даже приверженность — финансистам, а не дипло-

¹ Бык первоначальный (лат.).

матам и воинам, и в этих условиях у человека восемнадцатого века, как того, так и другого толка, было мало шансов выжить, им обоим в равной степени приходилось быть начеку.

Одного этого примечательного сходства вряд ли достало бы, чтобы сдружить двух столь полярных молодых людей, как Руни Ли и Генри Адамс, но главное различие между ними — студентами — было не столь велико: Ли полностью не успевал в науках, Адамс — частично. Оба не успевали, но Ли принимал свои академические провалы ближе к сердцу, и, когда генерал Уинфилд Скотт предложил ему поступить в отряд, формируемый для борьбы с мормонами, он с радостью ухватился за возможность сбежать из университета. Ходатайство о зачислении в отряд он попросил написать Адамса, чем несказанно польстил его самолюбию — больше, чем могли бы польстить любые комплименты со стороны северян. В Адамсе заговорил будущий дипломат.

Если студент мало что получал от своих сотоварищей, от учителей он получал немногим больше. Четыре года, проведенные Адамсом в университете, прошли, если иметь в виду его цели, впустую. Гарвардский университет был хорошим учебным заведением, но Генри, в сущности, вообще не признавал учебных заведений. Он не хотел быть одним из ста — одним процентом в акте воспитания. Он считал себя единственным лицом, для которого его воспитание представляло ценность, и хотел получить все сто процентов. Он же получал едва половину от среднего арифметического. Много лет спустя, когда прихотливые дороги жизни вновь привели его в Гарвард, чтобы учить студентов тому, что им заведомо неинтересно и не нужно, он, скучая часами на кафедральных заседаниях, однажды позволил себе отвлечься, заглянув в таблицу своего курса, где обнаружил свое имя в самой середине списка. По важнейшему для него предмету — математике — низкие баллы стояли почти у всех, кроме нескольких лучших учеников, так что попытка вывести строгую очередность вряд ли имела значение, и стоял ли он сороковым или девя-

ностям, определялось, скорее всего, чистой случайностью или личными симпатиями преподавателя. Плачевный результат! В лучшем случае Генри так никогда бы не овладел математикой, в худшем — даже не пожелал бы ею овладевать. А между тем ему было необходимо владеть математикой, как любым другим универсальным языком, он же не дошел даже до алфавита.

Из древних языков, кроме знакомства с двумя-тремя греческими пьесами, студенты не получили ничего. Из политической экономии, кроме маловразумительных теорий свободной торговли и протекционизма, почти ничего. При всем желании Адамс не мог вспомнить, чтобы в университете упоминалось имя Карла Маркса или название книги «Капитал». И об Огюсте Конте он ничего не слышал. А ведь эти два автора сильнее всех повлияли на мысль его времени. Толика практических знаний, которую он впоследствии пытался восстановить в памяти, сводилась к курсу химии, где ему преподали ряд теорий, на всю жизнь затуманивших ему мозги. Единственное, что затронуло его воображение, был цикл лекций Луи Агассиса о ледниковом периоде и палеонтологии, которые дали больше пищи его любознательности, чем все остальные университетские курсы, вместе взятые. Все проделанное Адамсом в университете за четыре года легко укладывалось в проделанное им в любые четыре месяца его последующей жизни.

Гарвардский университет был негативным фактором, но негативные факторы также не лишены значения. В университете Адамс мало-помалу избавлялся от яростной политической пристрастности, усвоенной в детстве, — не оттого, что ее место заступили новые интересы, а в силу приобретенных навыков мышления, чуждых всяческой пристрастности. Его литературные пристрастия также сошли бы на нет, сумей он найти себе другие развлечения, но атмосфера была такова, что он продолжал читать запоем, без разбора и пользы, пока не поглотил пропасть книг, даже названия которых не удер-

жались в памяти. Следуя скорее инстинкту, чем советам, он начал писать, и его преподаватели или наставники иной раз хвалили, хотя и не без оговорок, его английские сочинения, но и в этой области, как и во всех остальных, он так и не убедил своих учителей — сколь долго ни боролся за признание, — что его способности, в лучшем их проявлении, дают ему право стоять в списках курса среди первой трети. Педагоги, как правило, достигают большой точности в оценке возможностей своих учеников. Генри Адамс и сам придерживался мнения, что его наставники недалеко ушли от истины, и, став в свою очередь преподавателем и безобразно ошибаясь при распределении мест и баллов своим ученикам, упрямо полагал, что оценивает их правильно. И как студент, и как профессор он принимал негативную модель, поскольку это была модель учебного заведения.

Он ни разу не полюбостествовал, что думают об университете другие студенты и что, по их мнению, в нем обрели; к тому же их точка зрения вряд ли заставила бы его изменить свою. С самого начала он жаждал скорее покончить с университетом и исподволь искал для себя путь или направление. Внешний мир казался огромным, но путей, открывающих в него доступ, было немного, да и те шли главным образом через Бостон, куда Генри не хотелось возвращаться. По чистой случайности первая открывшаяся перед ним дверь, за которой брезжила надежда, вела в Германию, и приоткрыл эту дверь Джеймс Рассел Лоуэлл.

Лоуэлл, унаследовавший принадлежавшее Лонгфелло место профессора изящной словесности, в свое время побывал в Германии и позаимствовал там все, что мог. В литературном мире того времени считалось, что если истина где-то и уцелела, то в Германии; Карлейль, Мэтью Арнолд, Ренан, Эмерсон вместе с десятками своих широко известных последователей учили немецкому символу веры. Литературный мир восставал против ига наступающего капитализма — ростовщиков, банковских воротил и железнодорожных магнатов.

Теккерей и Диккенс вслед за Бальзаком когтили и кусали злополучный средний класс с безжалостной яростью, с какой этот средний класс сто лет назад когтил и кусал двор и церковь. Среднему классу принадлежала власть, и он крепко держал в руках железо и уголь, но сатирики и идеалисты завладели печатным станком, а так как, по единодушному их мнению, Вторая империя была позором для Франции и угрозой для Англии, они обратили взоры к Германии, которая в тот момент, отставая в экономическом и в военном развитии, оказалась лет на сто позади остальной Европы и простотой своего уклада. Немецкая мысль, немецкий образ жизни, честность и даже вкус стали образцами для ученого мира. Гёте был поставлен в один ранг с Шекспиром, Канта как законодателя жизни вознесли над Платоном. Всем серьезным ученым полагалось онемечиваться, ибо немецкая мысль несла в себе революционизирующую критику. Лоуэлл следовал за всеми — пусть без особого рвения, но с достаточной верой, приглашая с собой своих учеников. Адамс охотно откликнулся на это приглашение — правда, скорее из добрых чувств к Лоуэллу, чем к Германии, но, впрочем, вполне искренне. Это была его первая серьезная попытка самому направить свое воспитание, и он не сомневался, что она даст плоды, и даже если не совсем те, на какие он рассчитывал, то по крайней мере выведет его на путь.

Каким же кружным, каким расточительным для его сил оказался этот путь! Правда, Генри так и не мог решить, был ли перед ним какой-либо другой. Вряд ли он мог избрать лучший, даже если бы предвидел все повороты в своей жизни, и, скорее всего, избрал бы худший. Во всяком случае, от предварительного шага он только выиграл. Джеймс Рассел Лоуэлл вывез из Германии единственное стоящее новшество, принятое в немецких университетах, — обычай разрешать студентам читать тексты вместе с профессором у него на дому. Адамс не преминул испросить себе эту привилегию, пользуясь ею не столько чтобы читать, сколько беседовать со своим

наставником, личный контакт с которым доставлял ему удовольствие и льстил, как всегда должно доставлять удовольствие и льстить молодым общение со старшими, даже если его ценность несколько преувеличена. Лоуэлл внес в жизнь юноши новую струю. Не менее практичный, чем любой уроженец Новой Англии, он тем не менее тяготел к Конкорду, а не к Бостону, к которому, в сущности, принадлежал: в мрачные дни 1856 года Конкорд излучал чистый свет. Адамс приближался к нему в том состоянии духа, в каком вступал бы в католический собор, — он превосходно знал, что его священнослужители смотрят на него как на червя. В глазах жрецов Конкорда все Адамсы были умами, сотканными из пустоты и тлена, лишенными чувства поэзии, воображения, чуть лучше грязной нечисти со Стейт-стрит; политиками сомнительной честности, уколочными рутинерами. Но в свои восемнадцать лет Генри уже чувствовал неуверенность в столь многих, более важных, чем значение Адамсов, вещах, что его ум не восставал против епитимьи, лично на него налагаемой; он был готов признать свое ничтожество, лишь бы его допустили в храм. Влияние Гарвардского университета начинало на нем сказываться. Генри отступал от незыблемых принципов, от Маунт-Вернон-стрит, от Куинси, от восемнадцатого века, и первый же шаг в сторону вел его в Конкорд.

До Конкорда он так и не дошел; для его жрецов он, как и все остальное человечество, признававшее материальность вселенной, оставался козявкой или еще более жалкой тварью — человеком. Не его вина, что вселенная казалась ему реально существующей — как справедливо заметил мистер Эмерсон, возможно, так оно и есть. Несмотря на все усилия на протяжении своей длительной жизни, Генри так и не избавился от этой ереси, простодушно полагая, что если во вселенной есть нечто нереальное, то это, скорее всего, он сам, а не его представление о ней — поэт, а не банкир, мысль, а не породивший ее предмет. Он горел желанием подняться в эмпирии трансцендентализма. И какое-то время Конкорд

казался ему реальнее Куинси, но на самом деле Джеймс Рассел Лоуэлл возвышался над миром не более чем Биконстрит. Никаких новых идей — ни объективных, ни субъективных, как их тогда было принято различать, — юноша у него не приобрел, зато получил благословение делать все, к чему лежит душа, а душа у него лежала к тому, чтобы после четырехлетнего курса в Кембридже отправиться на два года в Европу.

Такой результат по сравнению с затраченными усилиями казался мизерным, но это был единственный положительный результат, который Генри мог приписать влиянию Гарвардского университета, да и то не вполне был уверен, влиянию ли Гарвардского университета следует его приписать. Отрицательных же результатов было не перечислить, однако по свойственной уроженцу Новой Англии половинчатости Генри соглашался отнести их на свой счет, хотя даже в этом случае не мог с полной уверенностью сказать, что Гарвард лишь отразил недомыслие своих питомцев. Генри не придавал образованию серьезного значения, но, честно говоря, никто из студентов-бостонцев не относился к образованию всерьез и, по-видимому, не питал уверенности, что сам ректор Уокер или пришедший ему на смену ректор Фелтон относятся к наукам намного серьезнее собственных студентов. И тем и другим Гарвард давал преимущества главным образом в так называемом социальном, а не интеллектуальном аспекте.

К несчастью, для нашего юноши социальные преимущества составляли единственный в его жизни капитал. Денег у него было немного, ума — не больше, зато он мог быть вполне уверен, что его положение в обществе никогда не поколеблется — разве только по собственной его вине. Все, что ему было нужно, — это найти поприще, где его общественное положение имело бы цену. Никогда в жизни ему не пришлось бы объяснять, кто он такой, никогда не понадобилось бы заводить знакомства, которые упрочили бы его место в обществе, но он крайне нуждался в наставнике, научившим бы

его пользоваться теми людьми, которых он пожелал бы избрать себе в друзья. В колледже он не приобрел никаких знакомств, которые оказались бы ему сколько-нибудь полезны в последующей жизни. Всех своих бостонских однокашников он знал или мог знать и прежде; к тому же молодые бостонцы меньше всего нуждались в общении с бостонцами: оно ничему не могло их научить. При всей сердечности и короткости их отношений в колледже все они разлетелись в разные стороны, как только получили степень. Гарвард продолжал их связывать, но не намного крепче, чем Бикон-стрит, и далеко не столь крепко, как Стейт-стрит. Выходцы из других штатов — скажем, приехавший из Нового Орлеана Г. Г. Ричардсон, которому предстояло не столько выбрать, сколько завоевать себе поприще, — могли приобрести в колледже весьма ценные знакомства, если им таковых не доставало. Адамс не приобрел никаких, которые оказались бы для него впоследствии столь же ценными, как для Ричардсона, и уж безусловно — те, с кем он познакомился в колледже, не имели ни малейшего отношения к его подлинным друзьям, которых он позже приобрел. Жизнь — узкая долина, и дороги в ней идут рядом. Во всяком случае, Адамс охотно водил бы дружбу с Ричардсоном, как позднее дружил с Джоном Ла Фаржем, или Огюстом Сент-Годенсом, или Кларенсом Кингом, или Джоном Хейем, ни один из которых не учился в Гарварде. С годами долина жизни все больше сужалась, и люди одних вкусов неизбежно сходились. Адамс понимал: он скорее чувствовал бы себя им ровней, если не растратил бы десять лет в молодости на изучение того, что мог освоить всего за год.

Как в социальном аспекте, так и в интеллектуальном университете сыграл в воспитании Генри отрицательную роль, в известном смысле даже пагубную. Терпимейший в мире человек не узрел бы ничего хорошего в низких обычаях, которым следовали студенты Гарварда. Но их пороки были менее вредны, чем добродетели. Обычай пить — пить так, что

одно воспоминание об этих попойках вызывало у Генри недоверие к собственной памяти, такими чудовищными они ему казались, — был меньшим злом, чем обычай смотреть на жизнь как на клубок социальных отношений — как на дело карьеры, — поощрявший недомыслие, которое меньше всего следовало поощрять. Добро бы это помогало создавать светского человека или развивать свойства, украшающие любую профессию: самообладание, спокойствие, учтивость или умение пользоваться светскими промахами противника; такое воспитание дало бы уму и сердцу больше, чем языки и математика. Но если оно чему-либо и помогало, то лишь пожизненной приверженности к университетскому образцу. Бостонец, получивший образование в Гарвардском университете, застряв на том, что он там получил, навсегда оставался гарвардцем. И если родители в погоне за преимуществами в свете для своих сыновей из поколения в поколение посылали их в Гарвардский университет, то тем самым увековечивали низкую породу, совершенно неспособную, как и оксфордский тип, завоевать успех у грядущих поколений.

К счастью, старый университетский образец в том виде, в каком он воплощался в ректоре Уокере или Джеймсе Расселе Лоуэлле, был превосходен и, хотя не имел практического значения и не влиял на студенческую массу, по крайней мере сохранял традицию для тех, кому она нравилась. Выпускники Гарвардского университета были ни то ни сё — ни американцы, ни европейцы, даже не вполне янки; поклонников у них было мало, критиков — много; а самой слабой их стороной, пожалуй, надо признать самокритичность и самокопание, но в своих стремлениях, социальных и интеллектуальных, какими бы они ни были, гарвардцы не ограничивались легкодостижимыми целями. Опасаясь серьезного риска, а еще более боясь показаться смешными, гарвардцы редко проявляли себя в жизни как полные неудачники и почти всегда вели более или менее стоящую жизнь. Так, Генри Адамс, хорошо понимая, что ученого из него не выйдет, и зная, что его общест-

венное положение не нуждается ни в улучшении, ни в подкреплении, направил свои честолюбивые помыслы на единственное дело, которое в других обстоятельствах вряд ли могло бы заинтересовать выпускника университета и было последним осколком от старых унитарных представлений. Он взялся за перо. Он стал писать.

Его творения публиковались в студенческом журнале, его выступления слушали в студенческом обществе. Читатели не обрушивали на него потоки похвал, слушатели тоже внимали молча, но на иное поощрение студент Гарварда и не мог рассчитывать: молчат — значит терпят и, значит, возможно, в будущем наградят признанием. Генри Адамс продолжал писать. Никто не заинтересовался его опусами настолько, чтобы их раскритиковать — кроме него самого: достигнув вскоре своего предела, он жестоко мучился. Обнаружилось, что он неспособен быть ни тем, ни другим, ни третьим, а, главное, тем, кем ему больше всего хотелось. Ему не доставало ума, или, возможно, размаха, или силы. Его судьбы неизменно ставили его ниже соперника, если он с кем-то тягался, и он находил, что они правы. Все, что он писал, казалось ему пресным, банальным, слабым. Иногда его охватывало отчаяние, и он не мог продолжать. Он не умел ничего сказать, если ему нечего было сказать, а в большинстве случаев сказать ему было нечего. Много из того, что он тогда написал, надо думать, все еще существует — что в печатном виде, что в рукописном, но у него ни разу не возникло желание взглянуть на свои ранние опусы: он подозревал, что они и в самом деле таковы, какими он их считал. В лучшем случае они свидетельствовали о чувстве формы, о чувстве меры. Ничто в них не потрясало — даже явные недостатки.

Усилия неизбежно ведут к честолюбивому желанию — рождают его, а в то время для студента, изучавшего литературу и неизменно получавшего за свои познания высокие баллы, не было заветнее желания, как быть избранным к концу учебного года представителем курса, оратором. Такое

избрание можно было считать признанием, политическим и литературным, что вполне соответствовало духу восемнадцатого века, а значит, было по душе юноше из восемнадцатого века. Мысль об этом брезжила в его уме, сначала как мечта, вряд ли исполнимая, даже несбыточная, так как он не принадлежал к числу тех, кто пользовался популярностью. Но то ли потому, что от года к году он занимал все более высокое место, то ли потому, что исчезали соперники, он, в конце концов, к немалому собственному удивлению, услышал свое имя среди кандидатов. Университетские правила не допускали активного участия самих кандидатов в выборах. Ни он, ни его соперники не имели права и слова сказать ни за себя, ни против; мнением самого Генри на этот счет никто не интересовался. Он не присутствовал ни на одном из заседаний и понятия не имел, как все сладилось, но все сладилось, и однажды вечером, вернувшись из Бостона, он получил письмо с извещением, что на закрытом конкурсе его избрали оратором, предпочтя первому студенту курса, который, несомненно, превосходил его красноречием и пользовался большей популярностью. В политике победа более слабого кандидата — дело обычное, а Генри Адамс достаточно поднаторел в политике. Тем не менее он так и не мог уразуметь, каким образом ему удалось взять верх над более способным и более популярным, чем он, соперником.

Ему это избрание казалось чудом. И не из ложной скромности, — его голова оставалась такой же ясной, как при любом безразличном ему подсчете голосов, да и соперников своих вместе с их окружением он знал не хуже себя самого. Чего он не знал, так это Гарвардский университет, хотя пробыл в нем уже четыре года. Где ему было постичь всю безликость этих молодых людей, которые в свои двадцать лет не придавали никакой цены ни общественным, ни личным этическим нормам. Эти без малого сто юношей, прожившие бок о бок четыре самых горячих в человеческой жизни года, не раз и не два, а вновь и вновь — ничтоже сумняшеся —

выбирали из своей среды представителями тех, кто, по-видимому, менее всего их представлял.

Если их ораторы и распорядители как-то проявляли себя в отношении университетских дел, то только полным к ним равнодушием. Генри Адамс ни в молодые, ни во взрослые годы не выказывал и малейшей веры в университеты и не испытывал ни грана восхищения их выпускниками, ни европейскими, ни американскими; студентом он всегда держался в стороне от колледжа и был известен только сам по себе; все же остается фактом, что сообщество заурядных людей неоднократно выбирало его для выражения их общей заурядности. В глубине души удачливый избранник, разумеется, тешил себя — и их — надеждой, что они, возможно, не столь заурядны, какими себя считают. Но это только лишний раз доказывало, что они вполне друг друга стоили. Они видели в нем своего представителя — такого, какой им нужен, — он в них — грозный аэропаг — многократное повторение себя самого, бесконечное отражение собственных недостатков.

Так или иначе, избрание это льстило его самолюбию, и еще как льстило — прямо скажем, глубоко волновало, и волновало бы много больше, знай он, что вторично никогда в жизни ему не окажут подобной чести. В глазах девяти десятых его сотоварищей церемония выпускного акта была самой важной в жизни колледжа, а фигура оратора в этой церемонии — самой главной. В отличие от ораторов на обычных годовых актах оратор на выпускном акте выступал из общего ряда, и соперничать с ним мог только поэт. Заполнив до отказа большую церковь, студенты, их родители, друзья, дядюшки и тетюшки вместе с прочими присными обихаживали девиц лет шестнадцати-двадцати, пожелавших выставить на показ свои летние платья и свежие щечки, и тут, в жаре, от которой плавится бронза, все они час или два слушали, как обложенные в священнические ризы оратор и поэт вещают благоглупости, какие их недолгий опыт и мягкое начальство позволяли им изрекать. Что он сказал на выпускном акте

в 1858 году, Генри Адамс вскоре забыл до единого слова, да и для воспитания его ума и сердца это выступление не имело никакого значения, зато он, естественно, помнил все, что сказали о нем. Ему особенно запомнилось мнение одного из его знаменитых дядей, который отметил, что для речи столь молодого человека в ней не хватает страстности. Молодой человек — не упускавший случая извлечь урок — тут же спросил себя, считать ли отсутствие страстности (риторика не в счет) недостатком или достоинством, так как в обоих случаях это было единственное, чему учили в Гарвардском колледже и что умели выражать те сто молодых людей, которых он пытался представлять. Другое замечание, принадлежавшее некоему пожилому джентльмену, пролило больше света на конечный результат его пребывания в колледже. Достойный джентльмен отметил, что оратор «превосходно владеет собой». Воистину так! Чему-чему, а умению владеть собой Гарвард учил. На протяжении четырех лет каждому студенту приходилось ежедневно появляться перед десятками молодых людей, знавших друг друга как свои пять пальцев. Даже самый ленивый малый делал доклады в различных обществах или играл в представлениях «Маисового пудинга», не говоря уже о выполнении всякого рода регулярных заданий, выступал перед аудиторией, которой не в пример другим в его последующей жизни было известно о нем решительно все. Три четверти выпускников Гарвардского университета охотнее согласились бы говорить перед Тридентским собором или Британским парламентом, чем играть роль сэра Энтони Абсолюта или доктора Оллапода перед разряженной в пух и прах публикой «Маисового пудинга». Самообладание было сильнейшей стороной питомцев Гарвардского университета, который действительно научил их выступать в одиночку, а поэтому они с крайним удивлением взирали на выпускников европейских университетов, дрожавших от страха перед публикой. В какой мере это можно было назвать воспитанием, Генри Адамс затруднялся сказать. Сам он готов был высту-

пать перед любой аудиторией — американской или европейской; волнение только укрепляло его нервы. А вот было ли ему что сказать людям, это уже другой вопрос. Его знания равнялись нулю. Воспитание еще не начиналось.

5. БЕРЛИН

(1858—1859)

Четвертый ребенок силен своей слабой стороной. Не представляя большой ценности для семьи, он волен, если вздумается, отправиться куда угодно, и его отсутствие мало что изменит. Чарлз Фрэнсис Адамс, отец Генри, не жаловал Европу, полностью соглашаясь с общим мнением, что она ничего не может дать американцам для Америки. Какой-нибудь въедливый придира не преминет, возможно, заметить, что всеми выпавшими на долю Адамсов успехами и он, и его отец, и дед обязаны поприщу, которое открылось им благодаря пребыванию в Европе, и что, вполне вероятно, без этого обстоятельства они, подобно своим соседям, остались бы до конца жизни политиками и юристами сугубо местного значения. Строго следуя заведенным порядкам, они должны были бы сиднем сидеть в Куинси, и, надо признаться, мистер и миссис Адамс, которые, как все родители, за своих детей боялись куда больше, чем за себя, предпочли бы, чтобы их дети навсегда остались на Маунт-Вернон-стрит, не подвергая себя искушению Европой, если бы только могли полагаться на нравственное воздействие самого Бостона. Родители вообще мало знают о том, что происходит у них на глазах, тем не менее матери видят достаточно, чтобы жить в постоянной тревоге. Возможно, страх перед пороком, неизменно их преследовавший, терзал их все-таки меньше, чем страх получить известку или зятя, которые, скорее всего, не впишутся в семейный круг. Опасность подстерегала с обеих сторон. Ежегодно то один, то другой молодой человек наносил удар

родительскому сердцу, даже не выезжая из Бостона, и хотя искушения, ожидавшие дитя в Европе, были непреодолимы, необходимость уберечь его от искушений Бостона могла стать не менее настоятельной. Юноша Генри жаждал отправиться в Европу; он вел себя подобающим образом, по крайней мере когда был на виду; соблюдал приличия, когда их нельзя было обойти; не вступал в пререкания со старшими по возрасту и званию; его нравственность, насколько можно было судить, не внушала опасений, а моральные принципы, коль скоро у него таковые имелись, не были дурными. Сверх всего, он не был сорвиголовой и умел держаться на людях с достоинством. Что он представлял собой на самом деле, никто не мог бы сказать, менее всего он сам, но, надо полагать, он был человек как человек, не хуже многих других. Поэтому, когда он обратился к своим чрезмерно добрым родителям с просьбой разрешить ему начать изучение гражданского права в немецком университете — хотя ни он, ни они не знали, что такое гражданское право и зачем ему надо его изучать, — родители покорно дали согласие и отправились на вокзал в Куинси, чтобы пожелать ему доброго пути с улыбкой, которая чем-то напоминала слезы.

Заслуживал ли Генри такой доброты, стоил ли ее — вопрос, на который ни у него, ни у них, ни у профессора Гарвардского университета не нашлось бы ответа. Так или иначе, в ноябре 1858 года он предпринял третью, если не четвертую, попытку получить образование, покинув Америку на пароходе «Персия», гордости капитана Джадкинса и компании «Кьюнард» — самом новом, самом большом, самом быстроходном судне, бороздившем тогда океан. Он был не одинок. С ним вместе отбыли несколько его однокашников, и мир казался им полным радости, пока, на третий день, этот мир — в пределах, обозримых Генри, — не попал в сильный шторм. Вот тогда-то Генри получил урок, который запомнился ему лучше всего того, чему его учили в университете, — урок, преподанный девятибалльным ноябрьским ветром по-

среди Атлантики, который, не говоря о прочем, причинил ему невыносимые физические страдания. Шторм навел его на серьезные размышления; морская болезнь и раньше не казалась ему забавной, но теперь она соединилась со множеством разнообразных впечатлений, благодаря которым этот первый месяц его путешествия стал для него самым ускоренным курсом воспитания, какой он когда-либо проходил. Успехи в познании казались гигантскими. В конце концов он начал понимать, какая пропасть впечатлений нужна человеку даже для малой толики воспитания, но сколько их, скопившихся за день, никак на него не влияли, оставалось *pons asinorum*¹ туристской математики. И кто мог знать, сколько среди них было ложных и сколько могло оказаться истинными?

Наконец воскресным утром океан, «Персия», капитан Джадкинс и его самый достопочтенный пассажир мистер Дж. П. Р. Джеймс истаяли в вихрях ветра над Мерси, и их сменила более заурядная картина — ливерпульская улица, видневшаяся в ноябрьской мгле из общей залы отеля «Адельфи», за которой последовали бурные развлечения в Честере и знакомство с романтической архитектурой из красного песчаника. Миллионы американцев испытали эту смену впечатлений. На самых юных и неискушенных туристов они, возможно, и сейчас продолжают оказывать воздействие, но в те дотуристские дни, когда романтика была не картиной, а реальностью, они ошеломляли. Когда молодые американцы вышли из Итон-холла, их охватило благоговение, какое, должно быть, Диккенс и Теккерей испытывали в присутствии герцога. Одно название «Гровенор» отзывалось великолепием. Длинная анфилада высоких раззолоченных комнат, обставленных позолоченной мебелью, портреты, лужайки, сады, ландшафты, сознание британского превосходства, царившее в Англии пятидесятых, — все это действительно выделяло бога-

¹ Букв.: «мост ослов» (лат.) — пятый постулат Евклида, неразрешимая задача.

тую знать, ставило ее выше американцев и лавочников. Аристократия существовала на самом деле. Как и Англия Диккенса. Оливер Твист и крошка Нелл таились в тени каждого погоста, и не как тени — они были живыми. Даже Карл I отнюдь не тенью стоял на башне, взирая на разгром своих полков. Мало что изменилось с тех пор, когда, потеряв сражение, он потерял и голову. Юный американец из восемнадцатого века, только что покинувший Бостон, счел все это частью своего воспитания и наслаждался уроками подобного рода. Во всяком случае, ему казалось, что он проникся удивленным до глубины души.

Потом была поездка в Лондон через Бирмингем и «черный район» Англии — еще один урок, требующий глубокого и верного осмысления. Погружение в прорезанную багровыми сполохами тьму, чувство безотчетного страха перед зловещим мраком, какого ни прежде, ни в другом месте никогда и нигде не существовало — разве только в кратерах вулканов; резкий контраст между густой, дымной, непроницаемой темнотой и прелестью мягкой зелени, начинающийся сразу за пределами этого ада, — открытие неведомой ранее жизни под землей волновало молодого человека, хотя Генри еще понятия не имел, что у него за плечами стоит Карл Маркс и что со временем Карл Маркс сыграет в процессе его воспитания куда более важную роль, чем гарвардский профессор Баун или его сатанинское величество, рыцарь свободной торговли Стюарт Милль. Знакомство с «черной» Англией приобрело практическое значение для процесса воспитания. Но оно было слишком поверхностным, и Генри бежал от него, как бежал от всего, что ему досаждало.

Знай он достаточно, чтобы знать, с какого конца приниматься за дело, он увидел бы предмет для изучения поважнее, чем гражданское право, пока, томясь в обшарпанном наемном кебе, в тусклом свете газовых фонарей по грязному, зловонному, унылому коридору Оксфорд-стрит тащился на Чаринг-Кросс. От него не ускользнула одна особенность, которую

стоило запомнить. Лондон оставался Лондоном. Особый стиль придавал величие его угрюмости: тяжелый, топорный, надменный, кичащийся своей тугой мощной, он избегал дешевизны; его отмечала сдержанность и широта, нетерпимость ко всему неанглийскому и непоколебимое сознание собственного совершенства. Мальчишки на улицах без стеснения потешались над одеждой и обликом американцев, так что Генри и его товарищи поспешили надеть цилиндры и долгополые сюртуки — лишь бы избавиться от насмешек. Иностранец не пользовался никакими правами даже на Стрэнде. Восемнадцатый век не сдал своих позиций. История говорила с Генри на Флит-стрит голосом доктора Джонсона; ярмарка тщеславия гроыхала по Пикадилли желтыми кабриолетами — на зачехленных козлах кучера в париках, лакеи с жезлами на запятках, а внутри сморщенная старуха; половину богатых зданий, черных от лондонской копоти, украшали мемориальные доски; все дома казались надменными, а самыми надменными — Королевская биржа и Английский банк. В ноябре 1858 года Лондон был огромен, но американцы видели и ненавидели в нем только Лондон восемнадцатого века.

Воспитание пошло вспять. Тогда, юношей, Адамс вряд ли мог предугадать, каким безмерно близким этот угрюмый город станет для него в зрелые годы, и еще меньше — предположить, что, вернувшись сюда пятьдесят лет спустя, будет на каждом шагу вздыхать — Лондон не тот: мельче, хотя и увеличился в размерах, дешевле, хотя и учетверил свои богатства, не так величествен, хотя и увеличил империю, не столь горд, пытаясь быть демократичным. Больше всего он нравился Генри, когда тот его ненавидел. Воспитание в Лондоне началось с конца или, пожалуй, окончилось в самом начале, так и не выйдя за пределы восемнадцатого века. А следующий шаг вел Адамса в шестнадцатое столетие. Он отбыл в Антверпен. В утреннем тумане пароход «Барон Оси» плыл по Шельде; на палубе играл оркестр, и крестьяне, работавшие на полях, побросав лопаты и грабли, пускались в

пляс. Будто ожили картины Остаде и Теньерса; будто сам герцог Альба не покидал своих владений. Собор тринадцатого века возвышался над морем черепичных крыш шестнадцатого, обрывавшимся у крепостных стен и ландшафта, не тронутых временем. Город пьянил как сладкое вино, изысканное, густое, выдержанное; он был настолько средневековым, что Рубенс по сравнению с ним казался живущим сегодня. Никогда еще подобный букет, крепкий и ароматный, не ласкал Генри Адамсу нёбо, но с тем же успехом он мог бы утолять жажду мальвазией: к воспитанию это ничего не прибавляло. Даже в сфере искусства, тут следовало начинать не с Антверпенского собора и «Снятия с креста». Генри пьянел от вызванных ими эмоций, а потом, как мог, приходил в себя, постепенно трезвев. Зато полвека спустя, снова попав в Антверпен, он был куда как трезв. Но и тогда он извлек для себя урок — правда, еще не зная, что ему тут же предстоит его забыть. Генри познал свое средневековье, свой шестнадцатый век. Он был достаточно юн, а европейские города достаточно грязны — неблагоустроенные, неотреставрированные, нетуристизированные, — чтобы сохранить свою подлинность. Генри ощутил их вкус, их запах, и это было воспитанием, тем более что оно затянулось на целых десять лет, — правда, воспитанием чувств, и только. Но Генри и не мечтал возвыситься до «Снятия с креста». Он был счастлив уже тем, что мог, преклонив колена, стоять у его подножия, и проклинал презренную необходимость вставать и браться за свои дурацкие дела.

Итак, он встретился с одной из пресловутых европейских опасностей, но она быстро миновала, и его родители могли спать спокойно. Попав наконец в Берлин, куда его гнала жажда знаний, Генри, предоставленный самому себе, запутался в тенетах ошибочных представлений. Он уже не помнил, что ожидал найти в Берлине, но так или иначе, то, чем его пребывание обернулось на самом деле, обмануло его ожидания. Студент в двадцать лет легко свыкается с чем

удбно, даже с Берлином, и Генри примирился бы с немецким тринадцатым веком, не вышедшим из своей чистой и простодушной первозданности, — ведь наставники твердили ему, что он идет по правильному пути. Но уже через неделю им овладели смятение и скука. Вера не поколебалась, но путь затуманился. Берлин вызывал недоумение. Правда, друзья, в которых у Генри не было недостатка, взялись приобщить его ко всем развлечениям, какими располагал этот город. Не прошло и дня, как он вместе с ними носился по пивным, музыкальным и танцевальным залам, куря дрянной табак, поглощая жидкое пиво и объедаясь сосисками с квашеной капустой, как будто это и было верхом его желаний. Жить такой жизнью было легко. Спускаться вниз по общественной лестнице никому не заказано. Невзгоды начались, когда он напомнил друзьям о том, что ему обещали, — о воспитании ума и сердца. Друзья доставили его в университет и записали студентом; они выбрали ему преподавателей и курсы лекций, показали, где приобрести «Институты» Гая, а также кипу многочисленных немецких трудов по гражданскому праву, и сопроводили на первую лекцию.

Эта первая лекция стала для него последней. Генри не отличался быстрым умом и питал почти религиозное почтение к своим наставникам и советчикам, но даже ему не понадобилось и часу, чтобы понять — он снова ошибся, на этот раз фатально. Он сделал пренеприятное открытие: изучение права потребует от него по крайней мере трех месяцев упорных занятий немецким языком; но куда больше сразило его другое открытие: он увидел воочию, что представляет собой германский университет. До сих пор Генри считал Гарвард сонным царством, но по сравнению с тем, что представилось его взору в Берлинском университете, в Гарварде жизнь была ключом. Немецкие студенты оказались странном племени, а их профессора и вовсе не поддавались определению. Интеллектуальная атмосфера Берлинского университета мало похо-

дила на американскую. Как велось преподавание других предметов, или наук, Адамс не имел возможности поинтересоваться, но гражданское право преподносилось только в виде лекций, в самой их мертвенной форме, восходившей к тринадцатому столетию. Профессор бубнил свои комментарии, студенты записывали, или делали вид, что записывают, хотя могли бы извлечь из книг или прений больше знаний за день, чем от него за месяц. Но для получения искомой степени они должны были оплачивать его жалованье, посещать его лекции и числиться его учениками. Американцу все это было ни к чему. Изучать гражданское право без предварительного знакомства с общим правом было бессмысленно, а студент, достаточно знакомый с общим правом, чтобы по мере надобности разбираться в нем, вполне мог читать пандекты или комментарии самостоятельно, не покидая Америки, и быть сам себе профессором. Ни метод, ни материал, ни способ изложения ровно ничему американца не учили и ничего не прибавляли к его воспитанию.

Открытие это, по-видимому, никого из студентов-американцев не смущало. Они ходили на лекции, записывали за профессором, листали учебники, однако даже не давали себе труда делать вид, что принимают профессора всерьез. Всерьез они читали Генриха Гейне. И так же мало, как Гейне, могли бы сказать, что им дает Берлин — кроме берлинского произведения, весьма скверного, пива, которое не шло в сравнение с мюнхенским, и танцев, которые куда лучше отплясывали в Вене. Им нравилось пить пиво и слушать музыку, а о воспитании и образовании они не брались судить. Во всяком случае, они находили себе оправдание в том, что учат немецкий язык.

Генри тоже взялся за немецкий, но, не обладая способностями к языкам, вскоре обнаружил, что отстает от товарищей, и впал в уныние, а так как хмурая берлинская зима и хмурая берлинская архитектура наводили, как ему казалось, на человека особую, им одним свойственную тоску, унынию

его не предвиделось конца. И тут однажды, проходя по Унтер-ден-Линден, он увидел в проезжавшем экипаже Чарлза Самнера и бросился его догонять. Самнер, как раз оправлявшийся от побоев, которые не то тростью, не то дубинкой нанес ему в конгрессе представитель Южной Каролины, несказанно обрадовался встрече в далекой прусской глуши со своим юным почитателем. Они вместе пообедали и вместе отправились в оперу слушать «Вильгельма Телля». Узнав, что его юный друг испытывает трудности с языком, Самнер поспешил его утешить. «Я приехал в Берлин (это мог быть также Рим или любое другое место), — сказал он в свойственной ему величественной манере, — я приехал в Берлин, не зная ни слова по-немецки, а когда уезжал три месяца спустя, объяснялся с кучером». Адамс не чувствовал себя способным достичь подобных светских успехов в столь краткий срок и как-то в разговоре с другим соотечественником (это был мистер Роберт Апторп из Бостона, который проводил в Берлине зиму, чтобы слушать музыку) посетовал на свои невзгоды. Мистер Апторп признался Генри, что и ему язык дался нелегко, и рассказал, как отправился в обычную школу, где в течение трех месяцев, сидя за партой с десятилетними мальчишками, зубрил уроки и вслушивался в обороты их речи. Мысль учить язык таким способом пришлась Адамсу по вкусу. Это по крайней мере избавляло его от университета, гражданского права и хождения по пивным в компании соотечественников. Мистер Апторп взял на себя хлопоты получить у директора Вердерской гимназии Фридриха Вильгельма разрешение для Генри Адамса посещать вольнослушателем класс, состоящий из двенадцати- или тринадцатилетних мальчиков, и в течение трех месяцев он не пропустил ни одного урока, будто никогда и не питал инстинктивной неприязни к любого рода школьному обучению. Казалось, абсурднее поступка нельзя было и придумать, но Генри получил толику образования, которая пригодилась ему в жизни.

Школа помогла Адамсу не только в изучении языка, хотя три месяца, проведенные в ее стенах, научили бы и пуделя объясняться с кучером, а на большее студенты-иностранцы рассчитывать не могли: в немецкое общество, коль скоро таковое существовало, они не допускались и ровно ничего о нем не знали. Адамс так и не научился хорошо говорить по-немецки, но, если верить англичанам, не лучше обстояло у него дело и с английским языком. Он научился другому — не огорчаться по этому поводу. Постепенно он перестал испытывать трудности и в 1859 году решил, что вполне «онемечился». Он даже тешил себя иллюзией, что читает по-немецки не хуже, чем по-английски, — лишнее доказательство того, как мало он в этом разбирался. Но при всех успехах его школьного эксперимента они интересовали его меньше, чем возможность познакомиться с немецкой системой образования и воспитания.

В свое время он восставал против американской школы и американского университета, только что отверг немецкий университет и теперь сделал последнюю попытку приобрести образование в немецкой школе. Это был опасный эксперимент. Берлин 1858 года представлял собой бедный, но предприимчивый провинциальный город — заурядный, грязный, неблагоустроенный и по преимуществу неприятный. Условия существования в нем были крайне примитивны — американец вряд ли мог бы их себе даже вообразить. Задавленная военной муштрой и бюрократической узостью, Пруссия только-только освобождалась от внешних пут. Общественные интересы ее населения сводились к соблюдению порядка. Будущий кайзер Вильгельм I — регент при слабоумном брате, короле Фридрихе Вильгельме IV, — по-видимому, большую часть времени проводил, разглядывая прохожих на Унтерден-Линден, куда выходили окна его весьма скромного дворца. Немецкие манеры, даже при дворе, часто отличались грубостью, а в школе немецкая пунктуальность выливалась в рутину. Сам Бисмарк в начале своей карьеры пытался

боротся с инерцией немецкой системы. Условия жизни в Германии вызывали гнев и досаду у тех серьезных немцев, которые всеми силами старались преобразовать страну сверху донизу. Когда Адамс в поисках образования и воспитания отправился в немецкую школу, сами немцы ничего так не жаждали, как избавиться от образовательной системы, которой вынуждены были следовать. Ситуация, достойная иронии Гейне.

Теперь система школьного образования, несомненно, изменилась, а учителя той поры, вероятно, давно умерли, и говорить о старой школе практически бесполезно, да и тогда не имело большого смысла. В оправдание Вердерской гимназии можно по крайней мере сказать, что она не была ни слишком груба, ни чрезмерно аморальна. По прусским меркам, ее директор заслуживал всяческих похвал, да и остальные педагоги были не хуже, чем в других школах. Американца, враждебного любым системам, ужасала система преподавания. Обязательная тренировка памяти отупляла; напряжение, которому подвергали память, доходило до степени пытки, а на то, что выполняли без единой жалобы несчастные мальчишки, нельзя было смотреть без содрогания. По-видимому, никаких иных способностей, кроме памяти, у них не признавали. Менее всего прибегали к логическому мышлению — аналитическому, синтетическому, догматическому. Немецкое правительство не поощряло тех, кто мыслит.

Любое воспитание, осуществляемое государством, — своего рода динамо-машина для поляризации умов населения, для направления силовых линий туда, где они наиболее эффективно будут служить целям государства. Немецкая воспитательная машина отличалась огромным коэффициентом полезного действия. Но ее влияние на детей давало плачевные результаты. Вердерская гимназия располагалась в старинном здании в центре Берлина, приспособленном для удовлетворения потребности в образовании мелких лавочников, или *bourgeoisie*, живущих окрест. Эти берлинеркиндер,

если позволено ввести такое определение, принадлежали к классу, подозреваемому в сочувствии и причастности к волнениям 1848 года. Ни дворян, ни детей из так называемого хорошего общества среди них не было. По личным своим качествам они скорее располагали к себе, чем наоборот, но как объекты воспитания являли собой пример чуть ли не всех зол, какие могла привить дурная система. Очевидно, в своих сугубо алогичных поисках Адамс нашел наконец идеал убийственно логичного воспитания. Прежде всего оно сказывалось на физическом развитии мальчиков, хотя в их физическом развитии винить приходилось не только школу. Даже лучшая немецкая пища была дурна, а уж диета из квашеной капусты, сосисок и пива вряд ли сохраняла здоровье. Но не только из-за пищи их лица были известково-белыми, а мышцы дряблыми. Они никогда не дышали свежим воздухом, а о спортивных площадках даже не слыхали. Зимой по всему Берлину в жилые помещения не просачивалось ни капли кислорода; в школе классные комнаты закуривались наглухо и не проветривались; воздух был зловонным до неприличия, но, когда Генри, пользуясь пятиминутным перерывом между уроками, открывал окно, его неизменно ругали за нарушение правил. Пока длились холода, окна оставались закрытыми. В свободные дни мальчиков иногда выводили в Тиргартен или другое место на длительную прогулку, которая, изрядно переутомив их, неизменно заканчивалась курением, сосисками и пивом. При всем том от них требовалось ежедневное приготовление уроков, от которых сломался бы и крепкий детина, живущий здоровой жизнью, и которые они могли выучивать только благодаря своим напрочь вывернутым мозгам. Если университет оказался просто несостоятельным, то немецкую школу следовало бы приравнять к общественно вредным учреждениям, за одно существование которых нужно отдавать под суд.

Еще не наступил апрель, а эксперимент с немецким воспитанием дошел до точки. От него ничего не осталось —

разве только дух гражданского права, но и это привидение заперли в темный чулан, чтобы оно не могло никого больше подбить ввязаться в подобную глупость. По университету и по всему Берлину разносился иронический еврейский смех Гейне. Разумеется, в двадцать лет человек должен чем-то заполнить жизнь — пусть даже берлинским пивом, — правда, с американской точки зрения немецкий студент потреблял пиво на редкость жидкое; и хотя от образования, столь многообещающего, или обещанного, оставались лишь осколки, с этим приходилось мириться — в жизни случается, что побочные продукты оказываются ценнее основных. Немецкий университет и немецкое право оказались несостоятельными; немецкого общества, в том смысле, в каком слово «общество» понималось в Америке, не существовало, а если и существовало, то незримо для американцев; зато немецкий театр был превосходен, а немецкая опера и балет стоили поездки в Берлин. Но самым любопытным и удивительным было то, что из полной несостоятельности немецкой системы воспитания студент явно извлекал пользу — делал свой единственный шаг к возвышенной жизни, и делал его, когда бездельничал, манкировал занятиями, предавался греху; он получал воспитание, так сказать, наоборот — от презренных пивных заведений и мюзик-холлов, — воспитание случайное, невольное, неожиданное.

Когда приятели несколько раз на неделе тащили Генри в музыкальные залы, где под звуки скучнейшей музыки пили пиво, курили табак и разглядывали жирных немецких фрау с неизменным вязаньем в руках, он шел за компанию, но откровенно скучал, а когда мистер Апторп мягко пенял ему — он-де на себя наговаривает: не может быть, чтобы ему не нравился Бетховен, — Адамс прямо заявлял, что не выносит Бетховена, и был немало удивлен, когда мистер Апторп и другие смеялись, словно принимая его слова за шутку. Помилуйте, какие шутки. Он искренне считал, что на всех, кроме музыкантов, Бетховен нагоняет скуку — как на всех,

кроме математиков, нагоняет скуку математика. Но однажды, сидя в полной апатии за пивным столиком, он поймал себя на том, что душа его отзывается на музыку. Вряд ли он был бы менее поражен, начни он вдруг читать на незнакомом языке. Из всех чудес воспитания это было величайшим чудом. Глухая стена, загораживавшая ему великую сторону жизни, вдруг рухнула, и он даже не заметил, когда это произошло. Среди дрянного табачного дыма и пивных испарений, в окружении зауряднейших немецких матрон, словно цветок, открылось в его жизни новое чувство, которое настолько превосходило все ранее испытанное, настолько ошеломляло, с таким удивлением прислушивалось к самому себе, что Генри не сразу в него поверил и поначалу наблюдал как за чем-то сторонним, случайным, обманчивым. Мало-помалу ему пришлось признать, что он в какой-то мере улавливает Бетховена, но тогда он уцепился за мысль, что если музыку Бетховена так легко понять, следовательно, ее сильно переоценивают. Какое же это воспитание? Ведь он слушает музыку, и только, а думает совсем о другом. Просто благодаря чисто механическому повторению несколько созвучий осели в его подсознании. Если Бетховен, возможно, и обладал свойством проникновения, то уж Вагнер им не обладал, во всяком случае не Вагнер «Тангейзера». Понадобилось еще сорок лет, чтобы Генри созрел до «Сумерек богов».

Можно, конечно, говорить о возрождении какого-то атрофированного чувства — механической реакции дремлющего сознания, — но ведь ни одно другое чувство в нем не проснулось. Чувство линии и чувство цвета остались такими же незатронутыми, какими были всегда, а по уровню, как всегда, так и не достигли восприятия художника. И философское чувство тоже не пробудилось, чтобы сломать барьеры немецкой терминологии и вызвать любовь к отвлеченностям Канта и Гегеля. И сколько Генри ни уверял, будто преклоняется перед немецкой мыслью и немецкой литературой,

немецкая мысль осталась для него книгой за семью печатями, а над строками Гёте и Шиллера он так и не пролил ни одной слезы. Когда время от времени отец по опрометчивости осмеливался его наставлять, снабжая в письмах здравыми советами, молодой человек либо вовсе оставался глух к здравому смыслу, либо утверждал, что Берлин воплощает в себе лучшее воспитание в лучшем из немецких государств. Правда, когда наконец настал апрель и какая-то добрая душа предложила совершить прогулку пешком по Тюрингии, сердце Генри запело от радости: он понял, каким дурным сном была для него зима в Берлине, и твердо решил, что в каком бы уголке вселенной ни пришлось ему впредь заниматься собственным образованием и воспитанием, никакие силы не заташат его для этой цели снова в Берлин.

6. РИМ (1859—1860)

Прогулка по Тюрингии длилась двадцать четыре часа. К концу первого перехода трое спутников Генри — Джон Банкрофт, Джеймс Дж. Хиггинсон и Б. У. Крауниншилд, все, как и он, бостонцы и выпускники Гарварда, — вполне насладились видами и, устроив привал на том самом месте, где Гёте написал

Warte nur! balde
Ruhest du auch!¹

так прониклись глубиной этой мысли и мудростью этого совета, что наняли фуру и в тот же вечер прибыли в Веймар. Счастливые и беззаботные, они радовались первому свежему дуновению еще не одевшейся листвой весны, да и пиво пени-

¹ Подожди немного, / отдохнешь и ты! (нем.). — Перевод М. Ю. Лермонтова.

лось лучше берлинского, — правда, все четверо не знали, зачем им понадобилась Германия, и ни один не мог бы сказать, стоит ли ему в ней оставаться. Но Адамс оставался: он не хотел возвращаться домой и к тому же опасался, что, попроси он разрешения бездельничать в другой стране, у отца, пожалуй, лопнуло бы терпение.

Вряд ли молодые люди полагали, что их дальнейшее образование и воспитание требовало возвращения в Берлин. Несколько дней, проведенных в весеннем Дрездене, убеждали, что Дрезден предоставляет больше возможностей для общего образования, чем Берлин, и уж никак не меньше для изучения гражданского права. Возможно, так оно и было. Изучать в Дрездене было нечего, образовываться не на чем, но Сикстинская мадонна и картины Корреджо славились на весь мир, театр и опера были порою отменно хороши, а Эльба живописнее Шпрее. И еще они могли постоянно совершенствоваться в языке. Сняв комнату в доме неизменного мелкого чиновника с неизменным выводком дурнушек-дочерей, Генри продолжал занятия языком. Кто знает, быть может, случай открыл бы ему еще какие-то возможности в воспитании, как уже открыл Бетховена. На протяжении восемнадцати месяцев Генри уповал на случай, поскольку больше ему уповать было не на что. По счастливому стечению обстоятельств, и Европа и Америка упорно занимались своими делами и не могли уделить ему много внимания. Случай имел все возможности распорядиться Генри по собственному усмотрению, тем более что этому ничто не мешало.

Главным препятствием на пути воспитания Генри теперь, когда он достиг совершеннолетия, стала, пожалуй, его честность, простодушная вера в исполнимость своих намерений. Даже несмотря на то, что Берлин оказался кошмарным сном, он продолжал убеждать себя, что Германия не обманула его ожиданий. Он любил, или считал, что любит, немецкий народ, но Германия, которую он любил, принадлежала

к восемнадцатому веку, а сами немцы ее стыдились и всеми силами старались поскорее уничтожить. О Германии — той, какая будет, — он ничего не знал. Милитаристская Германия вызывала в нем отвращение. В немцах ему нравилась простосердечность, добродушная сентиментальность, склонность к музыке и философским абстракциям, поразительная неспособность решать практические задачи. В ту пору Германию считали страной, неспособной конкурировать с Францией, Англией или Америкой в сфере организации и управления человеческой энергией. Германия не чувствовала уверенности в себе и не имела на то оснований. Она не была единой и не имела оснований желать единения. Она никогда не знала единения. Ее религиозное и социальное прошлое, экономические и военные интересы, политические обстоятельства всегда подчиняли ее центробежным, а не центростремительным силам. И пока не началась эра угля и железных дорог, Германия в силу природных условий оставалась средневековой, и именно такой она — под влиянием теорий Карлейля и Лоуэлла — нравилась Адамсу.

Он был на верном пути, чтобы нанести себе непоправимый вред, болтаясь между мирами прошлого и грядущего, каковые имели обыкновение сокрушать тех, кто слишком долго лепился у стыков. Но тут император Наполеон III неожиданно объявил войну Австрии, ввергнув Европу в нравственный хаос. Германия взирала на Францию с ужасом. Даже в Дрездене считали, что Наполеон вполне может ворваться в Лейпциг. Одним прекрасным утром чиновник, у которого Адамс квартировал, вбежал к нему в комнату измерить по карте расстояние от Милана до Дрездена. Наполеон III дошел до Ломбардии, а ведь не прошло и шестидесяти лет с тех пор, как Наполеон I начал свой успешный поход по Европе, и как раз из Италии.

Просвещенному молодому американцу с его привязанностью к восемнадцатому веку, усиленной крупными немецкого воспитания, и с наилучшими намерениями

надлежало дать моральную оценку противоборствующим силам. Франция была злым духом, попиравшим нравственные принципы в политике, а следственно, все, что служило Франции, не могло не быть дурным. Вторым злым духом была Австрия. Обе притязали на Италию, оспаривая ее друг у друга, и в течение не менее пятнадцати столетий эта страна была главным предметом их алчности. Все это время вопрос, с кем быть, занимал многих. И вопрос, кто прав, рассматривался со многих сторон. Быть гвельфом или гибеллином? Разумеется, каждый считал себя умнее своих собратьев, так и не сумевших разрешить этот вопрос за множество веков, истекших со времени пещерного бытия. Но отсутствие должной осведомленности не позволяло полагаться на ум: ум перед таким вопросом пасовал. Лучше было сначала сделать выбор, а потом уж обосновывать его всю остальную жизнь.

Не то чтобы Адамса брало сомнение насчет того, с кем ему быть и чего желать. Он не настолько долго прожил в Германии, чтобы до такой степени затуманить себе мозги, но речь шла о чрезвычайно важных вещах, определявших очень многое в будущем, и прежде всего нравственные принципы. Генри следовал самым высоким принципам и, чтобы сохранить уважение к себе, крепко их держался. Но пар и электричество уже породили новые политические и социальные представления (или заставляли их становиться в один ряд с его собственными нравственными принципами в отношении свободы, воспитания, экономического развития и прочего), а они требовали альянса со столь сомнительными союзниками, как Наполеон III и грабеж с насилием в широких масштабах. Пока Генри мог убедить себя, что его противники — зло, он мог бы грабить их и убивать без спазмов совести. Но где гарантия, что грабежу не подвергались и добрые люди? Согласно правилам, в которых Генри был воспитан, ограбление должно было получить соответствующее нравственное обоснование. Чтобы вступить в жизнь в качестве существа несколько более нравственного, чем обезья-

на, ему необходимо было твердо знать, когда и почему убийство и грабеж суть добродетель и долг. Жизненные правила, основанные на голом удовлетворении своекорыстных интересов, привели бы снова к гвельфам и гибеллинам — к Макиавелли на американский манер.

К счастью для Генри, у него была сестра намного умнее его, хотя сам он мнил себя весьма незаурядной личностью. Выйдя замуж за Чарлза Куна из Филадельфии, она отправилась в Италию и, как все добрые американки и англичанки, горячо увлекалась всем итальянским. Июль 1859 года она вместе с мужем проводила в швейцарском городе Туне, где Адамс не замедлил к ним присоединиться. Как правило, женщины наделены верным нравственным чутьем: то, чего они желают, — хорошо, то, что отвергают, — плохо; и в большинстве случаев их воля и желание ведут к торжеству нравственного начала. Миссис Кун отличалась двойным совершенством: она не только обожала Италию, но всем сердцем ненавидела Германию во всех ее ипостасях! Она не видела смысла в том, чтобы помогать брату «онемечиваться», когда, по ее мнению, ему следовало «очеловечиваться». Это была первая женщина, с которой Генри духовно сблизился, — мыслящая, чуткая, своевольная, то есть наделенная сильной волей, энергичная, достаточно благожелательная и умная, чтобы одарить идеями добрый десяток мужчин, и он с радостью вручил ей бразды — пусть правит, как ей угодно. Впервые он предоставил женщине право распоряжаться собой и был так доволен результатами этого эксперимента, что не хотел лишать ее этого права. А впоследствии на основании собственного жизненного опыта он пришел к следующему выводу: ни одна женщина ни разу не толкнула его на неверный путь, ни один мужчина не указал ему верный.

Как только объявили перемирие, миссис Кун пожелала ни больше ни меньше как отправиться на недавнюю арену военных действий. Безумная затея! Но, как оказалось, легко осуществимая. Переправившись через Сент-Готард, путешест-

венники прибыли в Милан, пестревший всеми видами мундиров и всеми приметам войны. Для юного Адамса эта первая встреча с Италией, как еще одно из проявлений случайного в воспитании, превзошла даже впечатление от Бетховена. Подобно музыке, она отличалась от всех других форм воспитания тем, что не готовила к жизни, а была одним из высших ее достижений. Дальше двигаться было некуда. И обладала она только одним недостатком — совершенством. Более богатых впечатлений жизнь уже предложить не могла, да и подобных у нее насчитывалось не более полудюжины, так что промежутки между ними казались непомерно долгими. Что дают подобные впечатления, берлинский юрист не смог бы определить с должной точностью; но экономическая ценность их очевидна: недаром редко кто соглашается расстаться даже с потускневшими воспоминаниями такого рода, да и то за неслыханно большую цену. И платят за них дороже всего. Однако мы безнадежно запутаемся, пытаюсь перевести подобного рода воспитание в единицы стоимости, а потому, как это принято в политической экономии, оставим без внимания то, чему нельзя найти денежный эквивалент.

Не удовлетворившись зрелищем Милана, миссис Кун настаивала на посещении арены войны с вражеской стороны, и наемная карета покатила через Стельвио в Инсбрук. С Вальтеллине, по мере того как путешественники поднимались все выше в горы, дыхание войны становилось все ощутимее. Единственные, кого они там встретили, были гарибальдовы стрелки. Никто не мог сказать, открыт ли перевал — во всяком случае, ни туда, ни оттуда ни один экипаж еще не проследовал. В придорожных харчевнях молодые красавцы-офицеры, командовавшие отрядами гарибальдийцев, охотно принимали приглашение отобедать и провести вечер с прелестной патриоткой, лучившейся интересом и источавшей лесть; они рассказывали о своем участии в сражениях, но ни один из них не знал, пропустят ли карету за

свой кордон их заклятые враги — австрийские егеря. Как правило, в компании, в которой блистала миссис Кун, господствовало веселое настроение, но даже у миссис Кун перехватило дыхание, когда, поднявшись по слышшему лучшим в Европе серпантину и сделав последний поворот там, где спускающийся с Ортлера ледник всей своей массой выплескивался на дорогу, карета подкатила к заграждению и остановилась перед двойной цепью часовых, тянувшейся по обоим склонам в такую даль, что блеск ружейных стволов сливался с блеском снега. Как фактор случайного воспитания эта картина имела свою цену. Первые из подобных картин, как всякое первое впечатление, ценятся выше всего. Впоследствии Адамса уже мало интересовали ландшафты, разве только тропические, да и то в силу контраста. Эта страница в книге его воспитания была им прочитана и закрыта.

Белокурые красавцы-офицеры, командовавшие австрийскими егерями, не уступали в галантности молодым красавцам с оливковой кожей — офицерам гарибальдийцев. Вечная женственность, особенно когда она столь молода, хороша собой и обаятельна, умеет добиться своего, и кордон сдался без боя. Четверть часа спустя карета мчалась в Мальс, переполненный немецкими солдатами и немецкими блохами (куда как злее итальянских), немецкой речью, мыслями и атмосферой, в которых Адамс, даже мельком повидав Италию, уже не находил, как прежде, столь несомненной прелести.

Как бы там ни было, с кучером он объясниться смог, исправно осмотрел соборы, полюбовался Рейном и не пропустил ни одной достопримечательности, на которую указали ему его спутники. Верный своему плану посвятить две зимы изучению гражданского права, он вернулся в Дрезден с письмом к госпоже придворной советнице фон Рейхенбах, в чьем доме Лоуэлл и другие американцы некогда проводили время в более или менее серьезных занятиях. В те дни «Инициалы» были новой книгой. Чары, которыми ее умный

автор старательно оплела Мюнхен, распространились и на Дрезден. Юному Адамсу ничего не оставалось, как брать уроки фехтования, посещать галереи и ходить в театр, но в обществе он успеха не имел, и это было для него унижительным, хотя он с этим и смирился. Сама госпожа советница порою умирала со смеху при виде неловкости и беспомощности молодого американца, когда он оказывался в ее обществе. Возможно, воспитание человека носит тем более всесторонний и богатый характер, чем шире он по собственному опыту знает мир: почти в то же самое время Рафаэль Пампелли и Кларенс Кинг обогащали свой ум и сердце путем романтического личного знакомства с жизнью индейских племен апачи и диггеров. Любой опыт — это опора для постройки здания. Но Адамс не мог бы сказать, какую пользу извлек из своей второй зимы в Германии и чего от нее ожидал. Даже его теория случайного воспитания пошла прахом. В Дрездене не происходило никаких случайностей. Как только кончилась зима, он, облегченно вздохнув, запер за собой дверь в Германию и направился в Италию. За восемнадцать месяцев, потраченных на воспитание по собственному разумению, он, несмотря на бесконечное разнообразие новых впечатлений, теснившихся в его мозгу, ничего не приобрел для своих практических целей. Он знал не больше, чем в день окончания Гарварда. К освоению профессии не приблизился ни на шаг. Об обществе имел так же мало понятия, как школьник. Ни для какого поприща — ни в Европе, ни в Америке — не годился и не обладал достаточным природным умом, чтобы понять, какой хаос сотворил из своего образования и воспитания.

Выкручивая свою жизнь, чтобы идти случайными и окольными путями, можно, пожалуй, найти употребление случайным и окольным знаниям, но это вовсе не входило в планы Генри Адамса, когда, избрав путь, которым безгранично восхищались наивные авторитеты, он обнаружил, что путь этот никуда не ведет. Вступая на него в 1858 году, он был беско-

нечно далек от мысли стать всего лишь туристом, но в апреле 1860 года, приехав к сестре во Флоренцию, стал туристом, и больше ничем. Прав оказался отец. Молодого человека это несколько тяготило. А что, если отец спросил бы его по приезде — какова польза от времени и денег, потраченных на этот эксперимент? Единственный ответ был бы: «Я — турист, сэр!»

Это был не тот ответ, с каким он намеревался вернуться, и вряд ли положение улучшилось бы, спроси он в свой черед, что приобрели его братья, кузены или приятели, остававшиеся дома, за время и деньги, потраченные в Бостоне. Все, что они вложили в изучение закона, разумеется, пошло прахом. Может быть, им больше посчастливилось с наукой? Теоретически можно было сказать и даже представить доказательства, что единственно правильным является чисто научное образование. Однако множество друзей Генри, избравших этот путь, с полным основанием сетовали, что мир, в котором обитали, вовсе не был таким уж чистым и сугубо научным.

Меж тем отцу вполне хватало собственных забот, и он не рвался увеличивать их число за счет промахов сына. Избирательный округ Куинси некогда послал Чарлза Френсиса Адамса в конгресс, и весной 1860 года он окончательно лишился покоя — в ноябре предстояли президентские выборы. Сам он стоял за кандидатуру мистера Сьюарда. Республиканская партия представляла собой неизвестную силу, демократическая разваливалась на глазах. Никто не умел заглянуть в будущее. Отцы ошибались не меньше сыновей, а в 1860 году и те и другие ощущали, что их влечет на пути, далеко не столь безопасные, как туристские маршруты по Европе. Пока же Генри Адамс, пользуясь полной свободой, с легким сердцем продолжал свой путь в надежде подобрать на нем крохи опыта и знаний, какие богу ли, черту ли угодно будет ему ниспослать, и окончательно перестал различать, что хорошо, а что плохо.

И того и другого было в его жизни больше, чем у него хватало ума пользоваться. Самую полезную цель из всех, каким он намеревался служить, открыло ему перо, когда на протяжении трех последующих месяцев он посылал брату Чарлзу пространные письма, которые тот опубликовал в «Бостонском курьере»; да и само это занятие шло Адамсу впрок. Писать ему было особенно не о чем, и писал он не слишком хорошо, хотя последнее имело меньше значения. Важно было другое. Привычка высказываться побуждает искать то, о чем можно высказаться. А если убрать из высказывания все банальное, даже от банальности кое-что да остается. Молодые люди, как правило, мало что видят в Италии, да и в других странах тоже, и впоследствии, когда Адамс начал понимать, сколько способны увидеть другие, он готов был забиться в угол от стыда при мысли, что, приглашая соотечественников вояжировать и восхищаться, демонстрировал собственное пигмейство, да еще так, словно им гордился. Но при этом он сделал свой первый шаг в некой интеллектуальной деятельности.

Что касается прочего, то Италия вызывала у него по большей части только восторги, и средоточием этих восторгов, естественно, был Рим. Родители-американцы, враждебно настроенные по отношению к Парижу, как ни странно, готовы были, по-видимому, отнести Рим к узаконенным, хотя и поругиваемым, средствам воспитания; но для молодых людей, жаждущих получить серьезное воспитание и образование и считающих само собой разумеющимся, что всему есть причина и что природа конечна, Рим являл собой сильнейшее искушение в мире, а Рим до 1870 года пленял необоримо. В 1860 году месяц май был божествен. С той поры, без сомнения, толпы молодых людей — преимущественно мужчин — проводили май в Риме и, конечно, полагали, что его чары еще живы. Возможно, для них так оно и было; но в 1860 году его свет и тени еще полнились средневековым, еще существовал средневековый Рим, тени дышали и

светились, тая живые формы, угадываемые уже утраченными чувствами. Пескоструйные аппараты науки еще не прошлись по ним, сдирая эпидермис с истории, мысли и чувства. Картины еще оставались нерасчищенными, церкви невосстановленными, руины нераскопанными. Средневековый Рим завораживал. На всей земле вряд ли можно было найти менее подходящее место для того, чтобы учить молодого человека девятнадцатого века, что ему делать с миром двадцатого. Рим действовал на каждого по-своему, рождал свои ощущения, как рюмка абсента перед обедом в Пале-Рояль; они пронзали, но иначе не были бы так сильны; и, конечно, оказывали пагубное влияние, ибо никто — ни церковники, ни политики — не мог, положа руку на сердце, извлечь из развалин Рима иного урока, кроме того, что они являют собой свидетельство справедливого приговора, который разгневанный бог вынес всем деяниям человека. Этот вывод менее всего мог подвигнуть молодых людей на какого-либо рода полезную деятельность; Рим был средоточием анархии и греха, последним местом, которое годилось для воспитания молодежи. И все же, по общему мнению, Рим был единственным местом, в которое молодежь — без различия пола и расы — была страстно, слепо, исступленно влюблена.

Юности не дано делать заключения; только на краю могилы человек способен подводить итоги, но первый толчок, полученный в юности, может всю остальную жизнь вести человека от заключения к заключению, которые иначе ему бы даже не снились. Можно праздно глазеть на Форум или собор св. Петра, но невозможно ни забыть, ни избыть впечатления, которое они оставляли. У молодого бостонца, только что из Германии, Рим вызвал чувство чистейшего восторга, свободного от каких бы то ни было экономических или сиюминутных оценок; ничто не давало ему ни оснований, ни разумного повода предвидеть, какие сложности, казалось бы вовсе не связанные друг с другом, но которые ему предстояло свести воедино, какие загадки, казалось бы, неразре-

шимые, но которые ему предстояло разрешить, эта увлеченность Римом взгромоздит на его пути. Рим не был ни насекомым, которое можно раззять и выбросить; ни дрянным французским романом, который берут с собою в поезд, чтобы, прочитав, вышвырнуть в окно вслед за такими же дрянными французскими романами, чей нравственный уровень не шел в сравнение с безнравственностью римской истории. Рим был сегодняшним днем; он был Англией, ближайшим будущим Америки. Он не укладывался в упорядоченную буржуазную бостонскую схему эволюции, где все разложено по полочкам. Закон о прогрессе был к нему неприменим. Даже хронологии — этому последнему прибежищу беспомощных историков — он не подчинялся. Форум вовсе не вел к Ватикану, так же как Ватикан к Форуму. Риенци, Гарибальди, Тиберий Гракх, Аврелий, вместе с тысячами других, могли стоять в любом порядке, не образуя ряда во временной последовательности. Великое слово «эволюция» тогда, в 1860 году, еще не стало новой религией истории, но и старая ее религия, которая добрых тысячу лет опиралась на ту же доктрину — доктрину поступательного движения, — не нашла во всей истории Рима ничего, кроме плоских противоречий.

Разумеется, и попы, и эволюционисты яростно отрицали подобную ересь, но все, что они говорили или отрицали в 1860 году, для 1960-го почти не имело значения. Меж тем анархия никуда не девалась. Проблема становилась лишь более завлекательной. В мае 1860 года она, возможно, стояла даже острее, чем в октябре 1764-го, когда, как вспоминает Гиббон, «на склоне дня, сидя в церкви Зоколанты или францисканских братьев и слушая вечерню в храме Юпитера на развалинах Капитолия», он впервые задался мыслью написать об упадке и разрушении Вечного города. Благодаря путеводителю Марри, где любезно приведена эта цитата из «Автобиографии» Гиббона, Адамс не раз сидел на ступенях церкви Санта-Мария ди Арачели, дивясь тому, что ни Гиб-

бон, ни другие историки после него ни на шаг не приблизились к объяснению причин этого падения. Тайна его оставалась нераскрытой, чары неразвезанными. Два величайших эксперимента западной цивилизации оставили в Риме главные памятники своего краха. И — кто знает? — не предстояло ли Вечному городу выразить крах еще и третьего?

Молодой человек не задавался никакими целями. Мысль взять на себя роль второго Гиббона менее всего приходила ему в голову. Он был турист — турист до мозга костей, и прерасходно, что это так, а не иначе, ибо архивеликие люди вряд ли могли бы достойно сидеть «на склоне дня... среди развалин Капитолия» — разве только у них нашлось бы сказать о нем что-либо оригинальное. Тациту это было по силам, Микеланджело, на худой конец, Гиббону, хотя героической фигурой его не назовешь. Но в целом ни один из них не сумел сказать многим более, чем наш турист, непрестанно повторявший про себя вечный вопрос — за что! за что!! за что!!! — как, вероятно, мог бы вопрошать себя и сидевший с ним бок о бок слепой нищий, притулившийся на церковных ступенях. Никто еще удовлетворительно не ответил на этот вопрос, хотя каждый, кто обладал умом и сердцем, признавал, что рано или поздно придется принять какой-то ответ. Ведь стоило поставить слово «Америка» на место слова «Рим», и вопрос этот становился личным.

Кое-чему Генри, пожалуй, научился в Риме, но сам того не зная и не желая. Рим подавляет учителей. Даже исполины века вряд ли сохранили бы величественный вид на фоне Рима. Может быть, Гарибальди — пожалуй, еще Кавур — мог бы сидеть «на склоне дня... среди развалин Капитолия», но ни Наполеона III, ни Пальмерстона, ни Теннисона, ни Лонгфелло там, разумеется, никогда не видали. Как-то утром, когда Адамс весело болтал в студии у Гамильтона Уайлда, туда зашел немолодой англичанин; явно возбужденный, он рассказал, какого только что натерпелся страха:

проезжая мимо Circus Maximus¹, он неожиданно наткнулся на гильотину, где час или два назад был обезглавлен преступник. Вид роковой машины вывел бедного джентльмена из равновесия, и Адамс, который обыкновенно только тогда постигал соль рассказа, когда она выветривалась от времени, на этот раз сочувственно слушал, просвещаясь насчет новых форм чудовищных ужасов, затмивших две тысячи лет кровопролития в Риме, и находя утешение в том, что, как гласят история и статистика, благодаря гильотине большинство населения Рима стало, по-видимому, несколько лучше. Только мало-помалу он наконец уразумел, что жертвой ужасного зрелища был не кто иной, как Роберт Браунинг, и на фоне Circus Maximus пылавших факелами христианских мучеников и преступника, в то утро сложившего голову на плахе, этот немолодой английский джентльмен, который, словно Пиппа, проходил по Риму, выглядел куда уместнее, чем впоследствии за обеденным столом в Белгрейвии, где он никогда не вписывался в общий фон, разве только полностью стусежавшись. Браунинг вполне мог сидеть с Гиббоном среди развалин, и немногие римляне позволили бы себе по этому поводу иронизировать.

Тем не менее Браунинг так и не раскрыл поэтических глубин Франциска Ассизского, как Уильям Стори не постиг секрета Микеланджело, а Момзен вряд ли поведал нам обо всем том, что, как мы инстинктивно ощущаем, составляло жизнь Цицерона и Цезаря. Они учили тому, чему, как правило, нет нужды учить, — урокам дешевого воображения и еще более дешевой политики. А между тем Рим был ошеломляющим сплавом идей, экспериментов, честолюбий и энергий; без Рима история западного мира лишалась своей изюминки и распадалась на куски; Рим придавал ей смысл и единство. Но при всем том, просиди Гиббон среди развалин Капитолия хоть целое столетие, он все равно не увидел бы там

¹ Большой цирк (лат.).

никого, кто сумел бы сказать ему, в чем значение Рима. А может быть, его вовсе и нет?

Всему на свете приходит конец, кончился и, тускнея перед днем сегодняшним, а быть может, давно прошедшим, истаивая где-то в абстрактном времени, счастливейший в жизни Адамса месяц май, решительно ни в чем не созвучный его берлинским планам и бостонскому будущему. Адамс говорил себе, что овладевает знаниями. Он выразился бы вернее, если бы сказал, что знания овладевают им. Сам он был пассивен. При всей лавине обрушившихся на него впечатлений, покидая Рим, он знал о нем не более, чем когда туда въезжал. Как товар Адамс только потерял в цене. И все же следующий шаг еще раз убедил его, что случайное воспитание, какова бы ни была его экономическая отдача, в высшей степени важно само по себе. Все шло к тому, чтобы разрушить начертанный для себя Адамсом разумный план жизни, чтобы сделать из него бродягу и нищего. Он отправился в Неаполь, где в разгар знойного июня до него дошли слухи, что Гарибальди со своей «тысячей» двинулся на Палермо. Адамс нанес визит американскому консулу Чендлеру из Пенсильвании и, встретив у него радушный прием (не столько за собственные заслуги, сколько благодаря своему имени), попросил изыскать способ послать его на арену военных действий. Мистер Чендлер любезно согласился отправить его курьером с депешами к капитану Палмеру, командиру малого корвета «Ирокез». Юный Адамс, не преминув воспользоваться такой возможностью, тут же отбыл в Палермо на кишевшем блохами правительственном транспорте, которым распоряжался обаятельный князь Караччиоло.

Обо всем этом Адамс рассказал на страницах «Бостонского курьера», где отчет о его похождениях, надо думать, существует и поныне, разве только исчезли все подшивки. Но о том, что внесла эта поездка в его воспитание, там не говорилось ни слова. Адамс и сам не мог бы сказать, внесла ли она в его воспитание что-либо существенное и какова ее

ценность в качестве дополнения к университетскому курсу. Помимо ценности как отрезка жизни, прожитого, реализованного, капитализированного, она также имела ценность как некий урок, хотя, в какой области знаний, Адамс затруднился бы определить. Наш турист полагал, что познает людей, хотя на самом деле все было наоборот: он познавал, как мало знает людей. Капитан Палмер с «Ирокеза», оказавшийся другом Сидни Брукса, дяди Адамса, взял его с собой, когда вместе с офицерами корвета отправился вечером с визитом к Гарибальди. Они застали его в Доме сената, где на закате дня тот ужинал со всем своим живописным, пиратского вида штабом среди многошумного и красочного половодья Палермской революции. Это было зрелище, достойное музыки Россини и итальянской сцены или, на худой конец, пера Александра Дюма, однако зрелищность не имела воспитательного значения. Гарибальди вышел из-за стола и, пересев к окну, обменялся с капитаном Палмером и юным Адамсом несколькими словами. В те дни, летом 1860 года, Гарибальди, несомненно, был самой серьезной из всех мятежных сил, бушевавших в мире, — существеннейшей для правильного понимания событий. Уже тогда общество делало выбор между банкиром и анархистом. Гарибальди не мог не служить либо тому, либо другому. Сам типичный анархист, несомненно способный нагнать грозовые тучи над Европой и заставить дрожать королевства побольше Неаполитанского, он был обязан успехом своему уму, а уж энергии ему было не занимать.

Адамсу представился случай заглянуть этому сфинксу в глаза и минут пять наблюдать его, вольного зверя, в момент наивысшей победы и величайшего подвига. Перед ним сидел человек в красной шерстяной рубашке, со спокойным лицом, спокойным голосом, абсолютно неприоницаемый — такой породы, какую Адамс совсем не знал. Люди этой породы, несомненно, вызывали симпатию: они по всей видимости простодушны и даже, надо думать, не чужды детскости, но что у них на уме, невозможно догадаться. В собственных

глазах Гарибальди, возможно, был вторым Наполеоном или Спартаксом, в руках Кавура он мог стать кондотьером, в глазах истории мог выглядеть лишь энергичным участником игры, смысла которой не понимал. Впрочем, наш наблюдатель понимал и того меньше.

Подобные натуры — смесь патриота и пирата — озаряют всю итальянскую историю с самого ее начала; она никогда не умела себя объяснить, тем паче молодому американцу, никогда не имевшему дела с двойственной натурой. Но, если верить «Автобиографии» Гарибальди, он все же понял и сказал, что служил орудием для достижения целей классу, которому менее всего хотел помогать. Но тогда, в 1860 году, он смотрел на себя как на революционную силу — анархического, наполеоновского толка, и его честолбие не знало предела. Что мог молодой бостонец понять в подобном характере, внутренне лелеявшем детские фантазии, внешне спокойном, простодушном, чуть ли не наивном, в человеке, с видимой убежденностью изрекавшем обычные банальности о политике, которыми, говоря с народом, всегда, словно разменной монетой, пользуются политические деятели, не выдавая при этом ни единой своей мысли?

Впоследствии внутренний мир людей именно этой категории составлял для Адамса в его практической жизни труднейшую загадку, которую ему так и не удалось разрешить. Урок, который он вынес из общения с Гарибальди, говорил, по-видимому, о том, что крайне простое крайне сложно. Но эту истину можно было познать и на примере светлячка. Право, ни к чему было хранить в памяти яркий образ этого морского капитана с низким голосом и простыми манерами, главаря генуэзских авантюристов и сицилийских разбойников, который, невзирая на июльскую жару, ужащающую грязь и грохот революции, спокойно ужинал среди покрытых баррикадами улиц восставшего Палермо, лишь для того, чтобы помнить избитую истину: простое сложно.

Адамс предпочел не задерживаться на этой проблеме и, вернувшись на север, занялся другими, не столь живописными, но более близкими ему вещами. Месяца два он посвятил Парижу. В начале своего путешествия он сознательно миновал Париж: ему не хотелось подвергнуться французскому влиянию. Он вообще относился к Франции отрицательно. Немного говорить по-французски было, конечно, необходимо — чтобы заказать обед и купить билеты в театр, но к большему он не стремился. Ему претила эта империя и особенно ее император; но дело было не в этом: ему претил французский дух как таковой. Чтобы не затруднять себя перечислением всего того, что его раздражало во Франции, он раз и навсегда решил, что относится к этой стране отрицательно, и вычеркнул ее из своей жизни. Не воспринимая Францию всерьез, он и на свое пребывание там не смотрел как на серьезное дело.

Он был убежден, что действует правильно, всецело полагаясь на уроки, преподанные ему его учителями, но в результате случилось нечто любопытное: ничего не ожидая от французов и искренне их порицая, он чувствовал себя вправе в полной мере наслаждаться тем, что порицал. Выраженная в столь резкой форме, эта мысль звучит парадоксом, но ведь на самом деле тысячи американцев, проводя значительную часть своего времени во Франции, рассуждают точно так же. Они стремятся принять участие во всех видах деятельности, к которым их допускают, как стремятся попасть в оперу, потому что ничего в ней не смыслят. Адамс поступал как все. Мысль получить серьезное образование была давно отброшена. Он старался схватить ходовые французские обороты, даже не надеясь постичь сослагательное наклонение. Ему куда легче оказалось развить в себе вкус к бордо и бургундскому, к разным приправам, к Вуазе и Филиппу и Café Anglais ¹, к театрам Пале-Рояль, Варьете

¹ Английское кафе (*фр.*).

и Жимназ, к обеим Броан и Брессану, к Роз Шери, Жюлю Пере и другим светочам сцены. Друзья были к нему расположены. Жизнь протекала весело. Париж быстро стал ему хорошо знаком. Месяц-полтора спустя он уже забыл, что относится к нему отрицательно, но ничему не научился, ни в какой круг не вошел и никаких знакомств не приобрел. По части случайного воспитания Париж предоставлял широкие возможности: в нем вы узнавали весьма многое, что вполне могло стать полезным; возможно, три месяца в Париже могли, в конце концов, дать больше, чем двадцать один где-либо в другом месте, но Адамс не стремился извлечь из своего пребывания в столице Франции какую-либо пользу — просто не думал об этом — и смотрел на свою жизнь там как на недолгие веселые каникулы перед возвращением домой, где ему предстояло осесть навсегда. Вот так, проведя в Париже столько времени, сколько удалось, и потратив столько денег, сколько осмелился, он, охваченный самыми разнообразными чувствами, но так и не обретя ни воспитания, ни образования, пустился в обратный путь — домой.

7. ИЗМЕНА (1860—1861)

Сорок лет спустя, оглядываясь на свои злоключения в поисках знаний, Генри Адамс задавался вопросом: был ли среди известных ему предков хотя бы один, кому фортуна или судьба так же сумасбродно перемешала все карты, заставив его в один и тот же день засесть за изучение закона и проголосовать за Авраама Линкольна?

Обратно в Куинси Адамс влетел, словно кусок свинца, словно футбольный мяч, пущенный в пространство неведомой силой, игравшей всем его поколением. Сравнение отнюдь не чрезмерное. Ни один человек в Америке не хотел граждан-

ской войны, не ожидал ее и не замышлял. Незначительное меньшинство хотело сецессии. Подавляющее большинство хотело по-прежнему жить в мире, занимаясь своими делами. Никто, даже самые умные и ученые, не улавливал хода событий. Разве только несколько отпетых сецессионистов-южан с отчаяния мечтали о войне, но как о чем-то совершенно несбыточном, и никто — никто ее не готовил.

Что касается Генри Адамса, который только-только прибыл из Европы — из хаоса иного рода, то он с головой окунулся в мутную политическую атмосферу, отбросил все свои планы об образовании и воспитании, а заодно и всякую осторожность. Прошлое ему никто не поминал. Блудному сыну раскрыли объятия, и даже отец удержался от язвительного вопроса насчет пандектов. Самое большее, что он себе позволил, — это намекнуть на бессмысленность блужданий по свету, и тут же пригласил исполнять должность его личного секретаря на протяжении ближайшей вашингтонской зимы; при этом как бы само собой разумелось, что молодой человек, позволивший себе убить две зимы на гражданское право, может позволить себе просидеть еще одну, штудировав Блэкстона без помощи наставников. Молодой человек не уловил иронии, но не без удовольствия воспользовался поводом послать к чертям все свои воспитательные планы. Ноябрь даже в лучшем случае всегда навевает печаль, а ноябрь в Куинси с детских лет помнился Генри как самый невеселый месяц. Нигде на свете злая осень не обрушивается столь безжалостно на хрупкие обломки кузнечика-лета, но даже ноябрь в Куинси казался терпимым по сравнению со стужей бостонского января.

Этим многое сказано: ведь ноябрь 1860 года в Куинси выдался непередаваемо смутный, не похожий ни на один другой, запечатленный в воспоминаниях. Никто не верил в возможность гражданской войны, но в воздухе пахло порохом, и республиканцы, открывая клубы и проводя шествия, выступали — из бдительности — в полной военной форме,

только без оружия. По возвращении домой Генри застал последние из этих шествий, озаренных факелами, ряды которых тянулись в вечерней мгле по склонам, уходя к Старому дому, где мистер Адамс как член конгресса от Куинси принимал депутации, носившие не столь уж невинный характер.

Решительно ничего не понимавший в происходящем, но восторженный и любознательный, наш молодой человек вновь собрал свой огромный чемодан, который еще не успел полностью распаковать, и отбыл вместе с семьей в Вашингтон. С того времени, когда он побывал там в последний раз, прошло десять лет, но город почти не изменился. Как в 1800-м и в 1850-м, так и в 1860 году те же топорные дома стояли все в том же лесу, и те же недостроенные храмы заменяли рабочие кабинеты, а непролазные хляби — проезжие дороги. В правительстве чувствовалась какая-то непрочность, какое-то неполновластие, и это в значительной мере позволяло южанам говорить о праве на отъединение, требовать его в теории и на практике — ведь отъединение, по праву или нет, ничего не стоило произвести там, где не от чего было отъединяться. Союз штатов держался главным образом на эмоциях, а эмоции, которые Капитолий вызывал в декабре 1860 года, были, судя по их проявлениям, в основном враждебными. Джону Адамсу в 1776 году приходилось легче в Филадельфии, чем его правнуку Генри в Вашингтоне в 1860-м.

Деятельность федерального конгресса увенчивалась неким ореолом патриотизма, но к концу работы его тридцать шестого созыва, в 1860—1861 годах, ни о чем подобном уже не могло быть и речи. Из всей толпы, нахлынувшей в ту зиму в Вашингтон, Генри Адамс, несомненно, меньше всех разбирался в происходящем и меньше всех был способен в нем разобраться, но даже он видел: познания окружавшей его среды мало чем отличались от его собственных. Никогда за всю свою долгую жизнь не приходилось ему справляться с

уроком таким непонятным. Мистер Самнер держался изречения Оксеншерны: «Quantula sapientia mundus regitur!»¹ Но Оксеншерна говорил о мире, желавшем набраться ума, Адамс же вращался в мире, который казался ему закоренелым в отсутствии здравого смысла и нежелании что-либо знать. Южане-сецессионисты, несомненно, были людьми с неустойчивой психикой — их, как всех подверженных галлюцинациям, следовало лечить! — людьми, буруеваемыми подозрительностью, с *idées fixes*², с приступами болезненной возбудимости. Но и это было не все. Они решительно ничего не знали о мире. Плантаторы как класс отличались крайней односторонностью, невоздержанностью и таким махровым провинциализмом, какой редко где встретишь. Они жили замкнутым кругом, и новая власть, излившая на них богатство и рабов, только подлила масла в огонь. Нашему наблюдателю нравов они преподали первый урок, продемонстрировав, к чему приводит избыток власти в негодных руках.

В 1900 году это, возможно, прозвучало бы общим местом, но в 1860-м казалось парадоксом. Государственные деятели Юга считались образцом государственной мудрости, однако у подобных образцов лучше было ничему не учиться. Главное преступление Чарлза Самнера состояло в том, что он упорно твердил о невежестве южан, и сам был живым тому доказательством. В эту-то школу Адамс явился за новыми знаниями, и эта школа всем миром, включая Европу, воспринималась как хорошая для воспитания юношества, хотя индейцы из племени сиу не могли бы причинить своими уроками больше вреда. Что мог извлечь молодой человек из подобных противоречий?

Ему оставалось только учиться от противного. Прежний типичный джентльмен-южанин, превратившись в плантатора, ничего не мог ни преподавать, ни дать — разве что послужить

¹ Сколь малая толика мудрости правит миром! (*лат.*)

² Навязчивые идеи (*фр.*)

отрицательным примером. Но и в качестве такового он слишком грешил против разума, чтобы помочь формированию разумного существа. В школе конфедератов можно было извлечь только один полезный урок — держаться от нее подальше. Таким образом, целая область полезных знаний, лежащая южнее Потомака, одним махом оказалась отрезанной для Генри: она находилась под эгидой плантаторов, а они могли научить лишь дурному поведению, дурным манерам, игре в покер и предательству.

Волей-неволей приходилось вновь обратиться к принципам и примерам северян, почерпнутым прежде всего в собственном кругу — в среде уроженцев Новой Англии. Приверженцев республиканской партии было в Вашингтоне немного, и мистер и миссис Адамс решили сделать свой дом светским центром для северян. Они наняли на Первой улице особняк — Маркоу-хаус, выходящий также на Пенсильвания-авеню, неподалеку от Джорджтауна, и там личный секретарь конгрессмена Адамса приступил к изучению своих светских обязанностей, поскольку исполнение политических ограничивалось комитетскими залами заседаний и приемными в Капитолии. Круг его дел был невелик, и, как выполнять их, он толком не знал, как, впрочем, не знал никого, кто бы об этом знал толком.

От южан лучше было держаться подальше, к северянам он принадлежал сам. Они ничего не могли ему открыть, кроме его же собственных черт. Исключая Чарлза Самнера, стоявшего особняком, к тому же давнишнего друга Генри, северяне, особенно из Новой Англии, отличались здравомыслием и уравновешенностью — спокойные, образованные люди, чуждые подлости и интриганства, — люди, с которыми приятно было иметь дело и которые, независимо от того, кончали они Гарвард или нет, несли на себе его отпечаток. Исключением из общего ряда являлся только Энсон Берлингем, да еще, пожалуй, Израэл Уошберн; остальные, как правило, обладали железной выдержкой, составлявшей их си-

л у , — выдержкой, почти приводившей к поражениям. Северин не давал повода ни для пламенной любви, ни для черной ненависти; он не притягивал к себе, но и не отталкивал — машина, которую нельзя было запускать на слишком больших скоростях. Этот характер с его слабыми и сильными сторонами был Генри превосходно знаком: он знал его до мозга костей, сам был таким же — отлит по тому же образцу.

Оставались центральные и западные штаты, но выбор наставников был там невелик и в конечном итоге свелся к Престону Кингу, Генри Уинтеру Девису, Оуэну Лавджою и нескольким другим, наделенным общественной жилкой от природы. Больше всего Адамса влекло к Генри Дж. Реймонду, который представлял в Вашингтоне газету «Нью-Йорк таймс» и был человеком светским. Рядовые конгрессмены вели себя вполне корректно, но ничего не испрашивали, кроме должностей, и ничего не выкладывали, кроме мнений своих избирателей. Рядовые сенаторы держались еще скромнее, но сказать им тоже было решительно нечего, тем более что, если не считать тех немногих, кто был добродушен от природы, вести разговоры им мешало чувство собственной значимости.

Словом, как ни старайся, до прибытия нового президента все надежды на обретение знаний сводились к возможности позаимствовать их у двух человек — Самнера и Сьюарда.

Самнеру было тогда пятьдесят, и с тех пор, как в 1851 году его избрали в сенат, он поднялся на высоту, недостижимую для его младшего друга; после побоев, нанесенных Бруксом, его и без того расстроенная нервная система так и не пришла в порядок, а возможно, что восемь, если не все десять лет одинокого существования в звании сенатора вызвали в нем наиболее резкие перемены. Никто, даже очень сильный духом человек, не способен, отслужив десять лет директором школы, священником или сенатором, заняться чем-либо иным. Любое положение, обязывающее к катего-

ричности, навсегда наделяет человека надменностью в обращении, словно он стремится загипнотизировать собеседника. Однако даже среди сенаторов категоричность эта имела свои градации — от откровенной грубости южнокаролинцев до амбициозности Уэбстера, Бентона, Клея, самого Самнера, вплоть до крайних проявлений, как у Конклинга, перерастая в нечто шекспировское и — по выражению Годкина — *bouffe*¹, на манер Мальволио. Самнер, подобно всем сенаторам, сделался категоричным, но он по крайней мере обладал рядом качеств, которые это оправдывали. Он по праву, как некогда Уэбстер, считал, что благодаря своим заслугам и жертвам, превосходству в образовании, ораторскому таланту, политическому опыту, положению признанного лидера среди представителей Новой Англии в конгрессе и, сверх того, знанию света является самой значительной фигурой в сенате; к тому же ни один другой член сената не был в такой степени пропитан духом и нравами этого учреждения.

Хотя в сенате принято восхищаться тем или иным сенатором за его высокие качества, не столь уж очевидные или вовсе невидимые непосвященным, ни один сенатор не станет сознаваться в своих недостатках другому и уж вовсе не потерпит, чтобы ему на них указывали. Даже величайшие мужи, по-видимому, редко питали личную приязнь друг к другу, а уж выказывали ее и того реже. У Самнера имелось несколько соперников, которые не слишком высоко ценили его мнения, и одним из них был сенатор Сьюард. Даже живи эти двое на разных планетах, они инстинктивно испытывали бы взаимную антипатию. Природа создала их единственно для того, чтобы раздражать друг друга: достоинства одного то и дело выдавались другим за недостатки, и вскоре за ними, по-видимому, уже не осталось ни одной положительной черты. Слов нет, всякому, кто служит обществу, приходится страдать, но никакие страдания на поприще общественного служения не идут в сравнение с тем

¹ Шутовское (*фр.*).

риском, которому подвергался юный комарик — личный секретарь, — пытавшийся прожужжать свое восхищение в уши обоих мужей сената, не ведая, что каждый из них мгновенно прихлопнет его, как только узнает о сочувствии другому. Наивный и доверчивый до такой степени, в какой это непозволительно даже в детской, наш личный секретарь увивался вокруг обоих.

Личные секретари — слуги довольно низкого разряда, и их обязанность — обслуживать стоящих у кормила власти. Первая новость по части правительственных дел, которую сообщили Адамсу по прибытии в Вашингтон, гласила: новый президент, Авраам Линкольн, назначил государственным секретарем мистера Сьюарда, и мистеру Сьюарду надлежит быть той посредствующей инстанцией, через которую сторонники президента станут узнавать о его желаниях. Все молодые люди, естественно, относились к желаниям мистера Линкольна как к приказаниям, тем более что понимали, в какой мере новый президент нуждается во всесторонней помощи, какую только эти молодые люди — а их было с миллион — могли ему оказать, если не хотели вообще лишиться президента. Естественно, что первой встречи с новым государственным секретарем ожидали с нетерпением.

Губернатор Сьюард был давним другом Адамсов. Он считал себя учеником и последователем Джона Куинси Адамса. Когда в 1849 году его избрали в сенат, положение лидера вынудило его отойти от фрисойлеров, поскольку в беспристрастном свете тогдашнего кредо этой партии пути нью-йоркских политиков и Терлоу Уида не встречали одобрения. Но жаркие страсти, спаявшие республиканскую партию в 1856 году, расплавили многие барьеры, и, когда мистер Адамс в декабре 1859 года появился в конгрессе, губернатор Сьюард тотчас возобновил с ним прежние дружеские отношения, став ежедневным гостем в доме Адамсов и не упуская ни единой возможности продвинуть новообращенного союзника в первый ряд.

Несколько дней спустя после прибытия Адамсов в Вашингтон в декабре 1860 года губернатор — как его всегда называли — пришел к обеду один, по-семейному, и наш личный секретарь получил возможность всесторонне его рассмотреть, как обычно стараются рассмотреть человека, от которого зависит ваше будущее. Сутулая, сухопарая фигура, голова, как у мудрого попугая ары, крючковатый нос, кустистые брови, мятые волосы и одежда, хрипловатый голос, развязные манеры, свободная речь и вечная сигара — таков был этот новый тип жителя западного Нью-Йорка, представший взгляду Генри, тип внешне простой, поскольку в нем наблюдались всего две грани — политическая и личная, а по сути сложный, поскольку политика стала его второй натурой, и где маска, а где природные черты, различить было невозможно. За столом, среди друзей, мистер Сьюард отбрасывал, или казалось, отбрасывал, сдержанность, тогда как на публике делал это как политик — для эффекта. И в том и в другом случае он старался производить впечатление человека, которому нравится говорить свободно, претит помпа и доставляет удовольствие шутка, но что тут было естественным, а что маской, он по простоте душевной и сам не знал. Под поверхностью скрывалась приверженность к общепринятому — общепринятому в Нью-Йорке и Олбани. Политики считали его поведение развязным. Бостонцы — провинциальным. Генри Адамс — очаровательным. Ему с первого взгляда полюбился этот человек, который в свои пятьдесят лет был молод душой. Генри отметил, что губернатору чужды мелочность и предвзятость; его суждения отличались широтой обобщений; он не становился в позу государственного мужа и не требовал, чтобы ему внимали в молитвенном молчании. А самой необыкновенной, почти небывалой и даже экстраординарной его чертой было то, что, в отличие от всех других сенаторов, он умел производить впечатление человека лично ни в чем не заинтересованного.

Внешне мистер Сьюард и мистер Адамс казались антиподами; по существу же у них было много общего. Мистера Адамса считали твердокаменным, но пуританский характер во всех присущих ему формах вовсе не исключал гибкости, и в Массачусетсе Адамсы, один за другим, подвергались нападкам за политическое двоедушие — не больше, не меньше! А мистер Хилдрет в своей рутинной истории США зашел даже так далеко, что с полной верой повторил обвинение, будто у Адамсов предательство в крови. Всем Адамсам пришлось закалиться — сделать себя нечувствительными ко всякого рода двусмысленным эпитетам, какими могла их наградить добродетель, и, уж во всяком случае, всегда быть наготове дать ответ на подобные знаки внимания. Но даже их враги не могли не признать, что они неизменно подчиняли местные интересы общенациональным и неуклонно поступали так всякий раз, когда стояли перед выбором. Ч. Ф. Адамс наверняка был настроен идти тем же путем, что и его отец, как в свое время его отец следовал по стопам Джона Адамса, чем, без сомнения, и заслужил прибавляемые к его имени эпитеты.

Затем произошло то, что и должно было произойти, — то, что, вероятно, инстинктивно предвидело бы любое дитя, только-только выпущенное из детской, но что наш молодой человек на пороге самостоятельной жизни даже не способен был себе вообразить. Какие мотивы и чувства толкали его принципалов на ту или иную тропу, он и не пытался дознаться, предпочитая еще в раннем возрасте не скрывать своей антипатии к любому роду дознаний. Он довольствовался собственным младенческим неведением — таким, от которого даже его самого брала оторопь, — и наивной доверчивостью, которой сам не переставал удивляться. Пусть умные головы, которым известна конечная истина, произносят свой приговор истории; Генри Адамс всегда видел в человеке только одно — отражение собственного неведения, а такой тьмы неведения, как в зиму 1860/61 года, он никогда не видел.

Каждый знает о событиях того времени, и каждый судит о них согласно собственному нраву, и суждения эти значат сейчас не больше, чем если бы речь шла о том, насколько добродетельными были Адам и Ева в садах Эдема. Но в 1861 году из того, как вы оценивали события, вытекал важнейший урок — сгусток и средоточие воспитания.

Во благо или во вред, но новый президент и главные его советчики в Вашингтоне решили, что, прежде чем возглавить правительство, следует убедиться, что в стране есть правительство, которое можно возглавить, а проверить это решили на том, как развернутся дела со штатом Виргиния. Всю зиму политический маятник качался из стороны в сторону: рабовладельческие штаты силились вырвать Виргинию из Союза, президент — удержать. Губернатор Сьюард, представлявший правительство в сенате, повел его за собой, мистер Адамс повел за собой палату; и, насколько об этом мог судить личный секретарь, оба держались единой тактики. Они шли на уступки пограничным штатам, подвергая риску, если даже не неизбежности раскола, собственную партию, но шли на этот риск с открытыми глазами. Как сказал однажды за обедом, с присущей ему откровенностью, мистер Сьюард, после того как мистер Адамс и он выступили с речами: «Или сецессии быть сейчас, или мы погибли».

Победа в этой игре осталась за ними; вести ее было их делом — дело историков дать ей оценку. Что же до личных секретарей, то им ничего не оставалось, как выполнять приказания. Но, выполняя приказания, секретарь ничему не мог научиться, да и учиться было нечему. Внезапное прибытие в Вашингтон 23 февраля 1861 года мистера Линкольна и его речь в конгрессе по случаю вступления в должность президента придали заверченный характер тактике, которой республиканская партия придерживалась в течение зимы, а заодно и навсегда убили интерес к этому делу в личном секретаре мистера Адамса. Его тогда, пожалуй, куда больше интересовало появление второго личного секретаря — моло-

дого человека одних с ним лет по имени Джон Хей, который мигом обосновался на Лафайет-сквер. Другьями не становятся, другьями рождаются, и Генри ни разу не ошибся в друге, исключая друзей, оказавшихся у власти. С первых же мимо-летних встреч в феврале и марте 1861 года он признал в Джоне Хее друга и впоследствии ни разу не упустил возможности повидаться с ним, как только пересекались их пути; но 4 марта он закончил исполнение секретарских обязанностей, а Хей к ним приступил. Все хлопоты этой зимы легли на новые плечи, и Генри с радостью вернулся к Блэкстону. Правда, он попытался быть полезным, употребив всю свою энергию, казавшуюся ему неистощимой, на ином поприще: он стал втайне писать корреспонденции в газеты, заводил широкие знакомства и посещал балы, где господствовали простые, старомодные — южные — нравы, приятные даже в атмосфере заговоров и предательства. Но в аспекте воспитания он ничего не приобрел: учиться было не у кого; никто ничего не знал; никто не знал, что делать и как; все искали случая хоть что-то узнать и охотнее задавали вопросы, чем на них отвечали. Бездна неведения не осветилась ни одним лучом знания. Общество, сверху донизу, трещало по швам.

Это касалось всех и каждого — пожалуй, только престарелый генерал Уинфилд Скотт являл собою вид военачальника, стоящего на высоте задач создавшегося кризиса. Никто другой такого вида не являл, и не был, и не мог быть на должной высоте ни по природе, ни по воспитанию. Скажи тогда Адамсу, что вся его жизнь зависит от того, сумеет ли он верно оценить нового президента, он бы себя, несомненно, погубил. Мистера Линкольна он видел лишь раз на томительном официальном приеме под названием «Первый президентский бал». Разумеется, он не отрывал от президента глаз, отыскивая в нем признаки характера и воли. Перед ним был долговязый человек с нескладной фигурой, некрасивым, изборожденным глубокими морщинами лицом, со взгля-

дом то ли отсутствующим, то ли боязливо сосредоточенным на белых лайковых перчатках, с чертами, в выражении которых не читалось ни самоуверенности, ни каких-либо других типично американских свойств, а скорее болезненное чувство человека в процессе воспитания, остро в нем нуждавшегося, — чувство, терзавшее также и комарика-секретаря, — и главное, в этом человеке не было силы. Любой секретарь, даже вовсе не пригодный для исполнения своих обязанностей, и тот невольно заключил бы, что никто на свете так не нуждается в воспитании, как новый президент, и что, сколько бы его ни воспитывать и ни образовывать, толку от этого будет немного.

Никто в Вашингтоне — если верить такому пристрастному суждению, как суждение Генри Адамса, — никто в Вашингтоне не соответствовал возложенным на него обязанностям, вернее, обязанности, как они понимались в марте, не соответствовали тому, что требовалось в апреле. Те немногие, кто считал, что им кое-что известно, ошибались больше, чем не знавшие ничего. Уметь и знать стало вопросом жизни и смерти, но все знания мира ничему не помогли. Только один человек в окружении Генри, как ему казалось, по уму и опыту полностью соответствовал роли советчика и друга. Это был сенатор Самнер; тут, по сути дела, и началось для Адамса настоящее воспитание, но тут же и кончилось.

Обращаясь к прошлому много лет спустя, когда никого из лиц, причастных к событиям тех дней, уже не было в живых, Адамс всячески старался понять, где он сделал неверный шаг. Пытаясь завести знакомства, он только растерял друзей, но для него так и осталось неясным, мог ли он этого избежать. Он по необходимости следовал за Сьюардом и отцом, считая само собой разумеющимся, что его дело — исполнять приказания, соблюдать дисциплину и хранить молчание: так требует партия, полагал он, а в условиях кризиса нечего предаваться личным сомнениям. И вдруг его как громом поразило: он узнал, что Самнер в частной беседе

выразил неодобрение курсом партии, что он обвинил мистера Адамса в измене своим главным принципам и порвал с семьей Адамсов.

В ходе долгой жизни, проведенной в основном подле политики и политиков, Генри Адамсу пришлось испытать много оглушающих ударов, но глубочайшие уроки — вовсе не уроки разума; они — результат неожиданных шоков, которые постоянно корежат душу. Адамса почти, даже совсем, не интересовало, в чем разошлись отец и Самнер. Он готов был согласиться, что Самнер, возможно, прав, хотя по опыту знал, что в крайних обстоятельствах все — кто более, кто менее — ошибаются; он питал глубокое уважение к Самнеру; но полученный удар оставил в его душе незаживающую рану, и на протяжении всей жизни он считал непреложной истиной, добытой инстинктивно и не нуждающейся в дальнейших проверках (как считал непреложной истиной, что мышьяк — это яд), что друг у власти — уже не друг.

Об этом разрыве Генри никогда, ни тогда, ни после, по собственному почину не упоминал и ни словом не обмолвился с мистером Самнером, но в смысле воспитания — на пользу или во вред — в нем произошел огромный сдвиг. В жизни приходится иметь дело со всякого рода неожиданными нравственными кодексами, и хотя он и тогда знал сотни джентльменов-южан, которые считали себя кристально честными, но, с его точки зрения, занимались прямой изменой и втайне плели черные заговоры, это не поколебало его воззрений. История почти только об этом и повествовала; ни одно предательство, совершенное мятежниками — даже Роберта Э. Ли, — его никак не уязвило, а вот вероломство Самнера перевернуло душу.

Таков к 4 марта 1861 годэ был итог очередной попытки Генри Адамса познать себя и мир, и, честно говоря, по собственному его мнению, она не принесла ожидаемого результата. В марте 1861 года Вашингтон многому мог научить, но только не тому, что учит душу добру. Процесс,

который Мэтью Арнолд назвал «шатание между двумя мирами»: одним — мертвым, другим — неспособным родиться, ничему хорошему не может научить. Вашингтон был зловещей школой. Не успели южане бежать, как тьма стервятников ринулась вниз, затмевая землю, и принялась рвать клоки и куски, жир и мясо из разлагающегося трупа политического протекционизма прямо на самих ступенях Белого дома. А в этом доме никто не знал, ни как исполнять свою должность, ни годится ли он на то, чтобы ее исполнять. Всех, северян и южан, до единого нужно было учить, как управлять и воевать, — учить за счет их сограждан. Линкольн, Сьюард, Самнер и иже с ними — никто ничего не мог преподать молодому человеку на пороге жизни; они знали даже меньше, чем он. Не прошло и шести недель, как под давлением таких, как он, они стали учиться своим обязанностям, и за это их обучение Север и Юг заплатили миллионом жизней и десятками тысяч миллионов долларов, прежде чем страна вновь обрела спокойствие и возможность развития. Генри был их беспомощной жертвой, он, как и все остальные, мог только ждать, сам не зная чего, и идти по приказу, сам не зная куда.

С завершением сессии конгресса кончились и его обязанности. Перестав быть личным секретарем, он не придумал для себя ничего лучшего, как вернуться с отцом и матерью в Бостон, и там, в середине марта, он, по-детски послушный, сел за стол в адвокатской конторе мистера Хорейса Грея на Корт-стрит, чтобы снова строчить «Глубокоуважаемые лорды и джентльмены...», спать после обеда и, пробудившись, беседовать о политике с будущим судьей. Там, в обычное время, он, вероятно, и остался бы до конца жизни, потерпев фиаско в своей попытке разобраться в пружинах измены.

8. ДИПЛОМАТИЯ (1861)

Не прошло и недели, как в газетах появилось сообщение, что президент Линкольн назначил Чарлза Фрэнсиса Адамса посланником в Англию. Еще раз Генри молча поставил Блэкстона на полку. Как известно, много веков назад голова монаха Бэкона возвестила: «Время ушло!» Гражданское право длилось краткий миг, общее право проскрипело еще с неделю. В апреле 1861 года право как стезя к образованию и воспитанию полностью исчезло, оставив сотни тысяч молодых людей барахтаться по колению в грязи мира, избывшего всякое право, чтобы начать строить новый, в котором не было места воспитанию. Они почти не задавали вопросов, но, если бы и задали хоть миллион, не получили бы ответов. Отвечать было некому. Даже теперь, без малого пятьдесят лет спустя, оглядываясь на тот момент великого перелома, остается только в ужасе молча трясти седой головой. Мистер Адамс вновь дал понять, что считает себя вправе взять в помощники одного из своих сыновей, указав на Генри как на единственного, кого можно было освободить для этой цели от более серьезных обязанностей. Генри снова безропотно собрал чемодан. Какие у него могли быть возражения? Каким бы нелепым ни казался он себе в этой новой роли, его патроны выглядели еще нелепее. Он по крайней мере не был официальным лицом, как тысячи только что вылупившихся чиновников и генералов, осаждавших президента своими претензиями и интригами. Он не был стервятником, рвущим добычу при смене власти. Он знал: назначение отца — дело рук губернатора Сьюарда, дань их личной дружбе; он не знал, что сенатор Самнер высказался против, как не знал, какие аргументы он привел, доказывая, почему мистер Адамс не годится на эту должность, хотя, спроси сенатор Самнер об этом Генри, тот представил бы ему достаточно

оснований, и самым веским и убедительным было бы то, что мистер Адамс взял к себе в секретари человека, еще менее пригодного к этой должности, чем его шеф к своей. Возможно, мистер Адамс и впрямь не соответствовал своей должности, ибо трудно было назвать в списке кандидатов на различные должности действительно подходящих, исключая самого мистера Самнера — многоопытный сенатор, он как никто понимал: лучшее доказательство несоответствия мистера Адамса — что он согласился променять безопасное место в сенате на отнюдь не безопасное место в Лондоне, да еще при такой поддержке, какую сенатор Самнер, глава комиссии по внешним сношениям, как видно, намеревался ему оказать. В истории семьи Адамсов многие ее члены не раз шли на серьезный риск, но на столь отчаянный не шел еще никто.

Что до личного секретаря мистера Адамса, его мало заботило, кто чему соответствует и соответствует ли чему-нибудь вообще. Он слишком мало знал. Да и кто, практически исключая мистера Самнера, знал многим больше? Меньше всех президент и его государственный секретарь. Секретарем дипломатической миссии они назначили некоего Чарли Уилсона, издателя одной из чикагских газет, который ходатайствовал о месте в почтовом ведомстве; славный малый, он вовсе не думал оставаться на секретарском посту или, чего доброго, помогать посланнику. Второй секретарь перешел в наследство из окружения Бьюкенена, усердного работника, но в светских отношениях человека бесполезного. Сам мистер Адамс не приложил усилий, чтобы подобрать себе нужный персонал, — то ли потому, что не знал, кого предложить, то ли потому, что слишком хорошо знал Вашингтон; но и в собственном сыне он вряд ли рассчитывал найти опору.

Личный секретарь был инертнее своего отца, так как не знал, куда обратиться. Только Самнер мог бы сгладить ему путь, снабдив рекомендательными письмами, но если Самнер

и писал письма, то не с тем, чтобы что-то сгладить или уладить. В тот момент никто не думал о том, чтобы сглаживать чьи-то пути или улаживать людские отношения. Личному секретарю приходилось не хуже, чем всем остальным, разве только его раньше других призвали на службу. Разразившаяся 13 апреля буря смыла в бурлящий океан несколько сотен тысяч таких же, как он, молодых людей и четыре года носила их по волнам войны. Генри успел еще увидеть, как полки строились перед бостонским Стейт-хаусом и шли на юг — спокойно, с деловым видом, привитым им с колыбели, ни жестом, ни возгласом не выдавая волнения. Он успел, спустившись в гавань, повидаться с братом Чарлзом, находившимся в форте Независимости до того, как с сотней тысяч таких же солдат был брошен в горнило потомакской армии получать воспитание в будущем знамени войны. Что в тот момент могла значить мелкая сошка — личный секретарь, подымавшийся по трапу на старую Кьюнардову галюшу — пароход «Ниагара» — в Восточном Бостоне, чтобы снова плыть в Ливерпуль? Повадился кувшин по воду ходить! Да и кувшин уже несколько поизносился. Генри Адамсу предстояло встретиться с враждебным миром без брони, без оружия.

Ситуация не казалась даже забавной, настолько никто в мире не представлял себе, как обстоит дело, а между тем посланник Адамс отбыл 1 мая 1861 года в Англию, оснащенный примерно так же, как если бы правительство отправило Дюпона в гребной лодке вдвоем с юнгой штурмовать Порт-Ройал. К счастью для юнги, он был в команде один. Если бы государственный секретарь Сьюард и сенатор Самнер дали мистеру Адамсу ранг посла, четырехкратное жалованье, дворец в Лондоне, штат опытных сотрудников и рекомендательные письма к королевской семье и ко всем пэрам Англии, личный секретарь все равно остался бы юнгой, зато начальства над ним было бы не в пример больше. Но ему несказанно повезло: в начальство он получил родного отца,

который никогда не раздражался, никого не давил и не приструнивал и чьи представления об американской дипломатии питались идеями восемнадцатого века. Посланник Адамс помнил, что зимою 1778 года его дед, взяв с собою секретарем своего одиннадцатилетнего сына, отплыл из Маунт-Уолластона на маленьком фрегате «Бостон» с необычайно опасной дипломатической миссией, увенчавшейся беспрецедентным успехом. Ему помнилось, как в 1809 году Джон Куинси Адамс, взяв с собой его, двухлетнего младенца, отплыл в Россию, чтобы тягаться там с Наполеоном и царем Александром — совершенно один — так же вслепую, как Джон Адамс до него, и возвратился почти с таким же успехом. Посланник Адамс не видел ничего неестественного в том, что правительство и его посылает вслепую с двадцатитрехлетним сыном в качестве секретаря, и даже не замечал, что на родине у него нет друзей. Разумеется, он мог опереться на Сьюарда. Но на кого мог опереться Сьюард? Уж во всяком случае, не на председателя комиссии по внешним сношениям. У посланника Адамса не осталось друзей в сенате, как не было надежд на награды, которых он и не искал. Он считал естественным, что ему придется выступить в такой же трудной роли, в какой когда-то выступали его отец и дед, и шел на это так же безропотно. Слов нет, благородный взгляд, вполне отвечавший его целям, но на юнгах он сказывался тяжело, и когда наш молодой человек со временем понял, что произошло, он счел это предательством. Он скромно полагал, что не годится для подобных подвигов, а его отец и того меньше. Впервые Америка выступала поборником законности и порядка, и ее представителям надлежало знать, как играть свою роль, и иметь подобающий антураж, меж тем весь штат, сопровождавший посланника Адамса в 1861 году, сводился к единственному и явно недостаточному атрибуту законности и порядка — к личному секретарю, чей статус вряд ли мог произвести должное впечатление на двор и парламент Великобритании.

Одним из неизбежных следствий этого урока было то, что ученый приносился в жертву, превращаясь в сурового судью тех, кто стоял над ним. Они не замечали его, но он не мог не замечать их — попиравших его своей огромной массой. К тому же, чтобы ускорить обучение, они отправили на том же судне нового посланника в Россию. Госсекретарь Сьюард хорошо знал достоинства Кассиуса М. Клея на дипломатической службе, но извлек из его талантов меньше пользы, чем наш личный секретарь, для которого Клей оказался наставником, не знавшим себе равных, хотя, пожалуй, не избежавшим соперников. От какого молодого человека, не состоявшего на государственной службе, можно было ожидать, что подобные уроки внушат ему уверенность в себе, да и, как известно, в те два года мало кто чувствовал или имел основание чувствовать уверенность в правительстве, а меньше всех тот, кто сам в него входил. На родине молодые люди в подавляющем большинстве шли воевать — роптали и умирали: в Англии — ропщи не ропщи, никто все равно не стал бы тебя слушать.

К тому же наш личный секретарь не мог роптать на правительство при отце. Как ни мало он знал, кое-что полезное он все же для себя извлек. Ни на один иностранный язык не потратил он таких усилий, как на то, чтобы выучиться придерживать язык — навык, отложивший отпечаток на всю его жизнь. Привычка к сдержанности или искусство говорить ни о чем не уходит с годами. А приобрести ее Генри пришлось немедленно. И он уже в совершенстве владел этим искусством, когда 13 мая 1861 года миссия прибыла в Ливерпуль, откуда тотчас отправилась в Лондон: семья ранних христиан-мучеников, готовых к тому, что их бросят на съедение львам под ликующим взором Тиберия—Пальмерстона. И хотя лорд Пальмерстон посмеялся бы своим особым пальмерстоновским смехом над этой, приписываемой ему ролью, сходство Адамсов с христианами-мучениками отрицать он не смог бы, ибо сам уже подготовил всю процедуру.

О том, что их ждало, посланник знал не больше сына. То, чего он сам, или мистер Сьюард, или мистер Самнер ждали от Англии, — область истории. Но то, чего ждал и в чем ошибался личный секретарь, касалось его самого и сыграло немаловажную роль в его воспитании. 12 мая он еще полагал, что едет в дружественную страну и к дружественному народу, верному антирабовладельческим принципам, которые им же неукоснительно провозглашались. На протяжении столетия главные усилия семьи Адамсов были направлены на то, чтобы побудить правительство Англии к разумному содействию целям и интересам Америки. Его отец ехал туда, чтобы попытаться сделать это вновь, и на этот раз с достаточными шансами на успех. Главным препятствием на пути к взаимопониманию были рабовладельческие штаты. Что касается личного секретаря посланника, он, как все бостонцы, инстинктивно чувствовал себя англичанином. Он и представить себе не мог, чтобы Англия была к ним враждебна. Ему казалось, их примут на Британских островах с распростертыми объятиями.

13 мая стало официально известно, что Англия признала за Конфедерацией статус воюющей страны. Это с корнем вырывало чуть ли не все, что Генри усвоил в Гарварде и в Германии. Ему предстояло осознать — и чем скорее, тем лучше, — что понятия, в которых он воспитывался, противостоят истине, что в мае 1861 года ни один человек в Англии — буквально ни один — не сомневался в том, что Джефферсон Дэвис стоит, или будет стоять, во главе нации, чему, за редким исключением, англичане были только рады, хотя и не спешили высказать это вслух. Они по большей части следовали примеру мистера Пальмерстона, который, по словам мистера Гладстона, «желал раскола ради ослабления опасной силы, но предусмотрительно помалкивал». Никто в Англии уже не возмущался рабством. Министр иностранных дел лорд Джон Рассел еще до прибытия мистера Адамса принял эмиссаров мятежных штатов и признал за Югом статус воюющей стороны, тем самым заранее определив позицию бри-

танского правительства. Дело шло к признанию независимости Юга — это был вопрос времени и удобного случая.

Какие бы чувства ни владели посланником Адамсом, на его сына такой поворот событий произвел поначалу оглушающее действие — словно его парализовало, связало по рукам и ногам. Однако он сознавал — для отца ситуация грозила стать роковой. Вполне возможно, им всем придется повернуть назад, и в ближайшие же дни. Но постепенно горизонт стал проясняться. Позднее, возвращаясь памятью к событиям тех давних дней, Генри леденел при мысли, что было бы с миссией, окажись его отец таким, каким он рисовался Самнеру, — непригодным для своего поста. Что касается личного секретаря, он для своего — при всей его незначительности — явно не годился, и первым доказательством его непригодности служило то, что он слепо верил в своего отца. Генри ни на секунду не приходило на ум, что отцу может изменить выдержка или самообладание; действительно, в длинной веренице нескольких поколений известных ему впоследствии дипломатов и государственных деятелей он не мог назвать ни одного, кто оказался бы способным выдержать подобный удар, ничем не обнаружив своих чувств. За весь длинный день их утомительной поездки в Лондон у него ни разу не явилось повода подумать, что отец может сделать неверный шаг. Какие бы мысли ни владели посланником — а голова у него, несомненно, работала не менее активно, чем у сына, он не выказал ни единого признака волнения. Манеры его оставались теми же, мысли и чувства казались предельно спокойными; он не выдал себя ни единым словом, ни один нерв в нем не дрогнул.

Первое испытание оказалось самым тяжелым: удара сильнее и неожиданнее им уже не могли нанести. Худшее уже произошло. Теперь личный секретарь знал, как себя вести: во всем как можно точнее копировать отца и придерживать язык. Очутившись в отеле «Мориджи» на Риджент-стрит, в разгар лондонского сезона, без единого друга или

хотя бы знакомого, Генри считал за лучшее никому не задавать вопросов и не высказывать никаких сомнений, разве только подшучивать над замешательством отца, когда официант предлагал на завтрак «ичницусчинойсэр». Ведь его положение было, честно говоря, хуже некуда. И чем лучше он в нем разобрался бы, тем безнадежнее оно бы ему показалось.

Как в политическом, так и в светском аспектах ситуация выглядела беспросветной, окончательно и бесповоротно. Что касается света, требовались годы, чтобы человек, прибывший в Англию, занял положение в лондонском обществе, тогда как у посланника Адамса не было на это не то что свободной недели — часа, а у его сына даже отдаленной возможности что-либо предпринять. В области политики перспектива представлялась еще мрачней, а в отношении госсекретаря Сьюарда и сенатора Самнера и того хуже. Однако, ознакомившись на месте со всеми обстоятельствами, посланник Адамс решил, что непосредственная опасность ему не угрожает. Мистеру Адамсу всегда везло — и в том, что он предпринимал, и в том, чего избегал. Удар, повергший Сьюарда и Самнера, его не задел. Лорд Джон Рассел, сам того не желая — а может быть, напротив, желая, — оказал посланнику добрую услугу, — приняв эмиссаров Юга до его приезда. Окончательный удар должен был последовать месяца три спустя и тогда убил бы посланника наповал. Но британские министры все еще то ли в чем-то сомневались, то ли чего-то совестились — только они явно были склонны тем дольше медлить со вторым шагом, чем поспешнее совершили первый.

Предмет этой книги не приключения Чарльза Фрэнсиса Адамса на дипломатическом поприще, а приключения его сына в поисках воспитания ума и сердца, и, если не принимать эти поиски чересчур серьезно, они, безусловно, стоят улыбки. Положение отца в Лондоне было в целом не так уж скверно, положение сына — нелепейшим. В силу давней семейной традиции Чарльз Фрэнсис Адамс смотрел на

британских министров как на врагов: единственное общественное занятие Адамсов на протяжении по крайней мере ста пятидесяти лет, исключая краткие промежутки, когда они сражались со Стейт-стрит, состояло в том, чтобы сражаться с Даунинг-стрит; и британское правительство, хорошо знавшее, насколько оно непопулярно за рубежом, предпочитало, даже приняв официально грубый тон, в личных отношениях вести себя корректно. Дипломатов обычно держат, так сказать, в черном теле, но это им нипочем. Посланнику Адамсу не на что было жаловаться: он занимал достойное своего поста положение, и единственное, чего ему приходилось опасаться, — как бы Англия не ввязалась в войну. Положение сына было иным. Он ехал в Англию, чтобы помочь отцу, но, как ни старался, не мог уразуметь, каким образом может быть ему полезен, напротив, ясно видел, что отцу придется помогать ему. Для него пребывание в Англии обернулось остракизмом, самым тяжелым из всех, какому он когда-либо подвергался. Полная изоляция в огромном лондонском обществе — вдвойне непереносимая, поскольку в непосредственные обязанности Генри входило всех знать и сопровождать посланника с супругой, когда они нуждались в эскорте. У него не было ни друга, ни даже врага, который сказал бы ему — терпи. А если бы и нашелся такой, он услышал бы в ответ, что терпение — удел дураков да еще святых, Генри же приехал помогать отцу и должен помогать ему сейчас, когда отцу как никогда требуется помощь. На деле он мало чем умел помочь, разве только быть ему слугой, письмоводителем и, когда надо, играть с младшими детьми.

Странное это положение для человека, который по долгу службы обязан быть полезным. Но, познакомившись с обстоятельствами секретарской службы поближе, Генри начал сомневаться в том, что обязанность секретаря — быть полезным. Войны часто венчают дипломатические усилия и поэтому не нарушают привычек дипломатов. Большинство секретарей ненавидели своих принципалов и менее всего желали быть им

полезны. В Сент-Джеймском клубе, куда сын посланника мог попасть лишь по приглашению кого-либо из его членов, самый содержательный разговор, какой ему доводилось слышать среди своих сверстников, собиравшихся за игорными и прочими столами и явно чувствовавших себя еще беспомощнее, чем он, сводился к репликам вроде: «*Quel chien de pays!*»¹ или «*Que tu es beau au-jourd'hui, mon cher!*»² Никому не хотелось обсуждать положение дел, еще меньше — обмениваться новостями. Политика входила в обязанности глав миссий, которые также не рвались, без особого распоряжения со стороны своего двора, вершить какие-либо дела. Если американскому посланнику приходилось туго сегодня, то русскому — вчера, а французскому придется завтра. Всему свой черед. Настоящему дипломату суетиться не к лицу. Империи всегда разваливались на куски, дипломаты всегда их собирали.

Вот и все уроки, какие Генри извлек на дипломатическом поприще, и не более того, если не считать, что он обнаружил богатейшие залежи взаимной ненависти, глубоко проникшей в отношения между главами миссий и их штатом. Что же до успехов Генри в свете, то они оставляли желать лучшего, и это крайне задевало самолюбие личного секретаря. Любая оплошность, допущенная им в этикете или в титуле, причиняла ему жесточайшие мучения. В памяти навсегда запечатлелись первые светские приемы, на которые его приглашали: званый вечер у мисс Бердет-Кутс в ее особняке на Стреттон-Плейс, где он забился в нишу окна, надеясь остаться незамеченным; прием в саду, который вдовствующая герцогиня Сазерлендская, известная своими антирабовладельческими взглядами, давала в Чизвике, и так увлеклась беседой с американским посланником и его супругой, что не заметила, как разъехались все остальные гости, кроме молодого герцога и его кузенов, затеявших на лужайке игру в чехарду. Впрочем,

¹ Ну и чертова страна! (*фр.*)

² Как ты прекрасно выглядишь сегодня, милый мой! (*фр.*)

всякий раз, когда в течение последующих тридцати — с перерывами — лет Генри Адамсу случалось встретить его светлость, тот, как ни странно, всегда играл в чехарду. Не меньший кошмар Генри пришлось пережить на балу у другой вдовствующей герцогини — Сомерсетской, когда эта престарелая дама — ужасная развалина с кастаньетами в руках! — поймав его, заставила проплясать перед собравшимися леди и джентльменами бурный шотландский танец в паре с дочерью турецкого посла. Многим, пожалуй, страдания Генри покажутся смешными, но тогда он готов был провалиться сквозь землю.

Наступил конец сезона; личный секретарь так и не приобрел личных знакомств и продолжал пестовать себя в полном одиночестве, когда в «Таймс» появилось описание сражения при реке Булл-Ран. Генри хотелось одного — спрятаться от глаз подальше: Булл-Ран с дипломатической точки зрения был крахом еще большим, чем с военной. Все это — страницы истории, которые при желании можно прочитать еще на школьной скамье; но на американскую миссию эти события оказали весьма любопытное и непредвиденное действие — они ее укрепили. Ее положение прояснилось. В течение следующего года посланник и его штат жили от недели к неделе, готовые в любую минуту покинуть Англию и неизменно полагая, что пробудут там в лучшем случае еще месяца три. В Европе ждали сообщения об их отъезде. Все были настолько уверены в неизбежности конца, что даже не давали себе труда его торопить.

Это обстоятельство, насколько личный секретарь мог судить, и спасло его отца. В течение ближайших месяцев Генри считал, что его карьера в качестве личного секретаря не состоялась или закончилась, и готовился к тому, чтобы, не экспериментируя более, завершить свое воспитание в рядах потомакской армии, где встретил бы немало своих знакомых, которым жилось не в пример интереснее, чем ему. Эта мысль не покидала его все лето и осень. Наступила

зима. Зима в Лондоне всегда тяжелое испытание, а первая зима для новичка — в особенности, но декабрь 1861 года, который Генри Адамс провел на Мэнсфилд-стрит в Портленд-Плейс, вряд ли выдержал бы и самый закаленный человек.

Однажды вечером, когда, сидя в одиночестве на Мэнсфилд-стрит — посланник с супругой отбыли из Лондона с загородным визитом, — Генри боролся с приступом тяжелой тоски, пришла телеграмма агентства Рейтер о захвате Мэсона и Слайделла на борту английского судна. Все три секретаря — два посольских и личный — были на месте; разъяренные, как дикие звери, долгим нервным напряжением, выносить которое уже не хватало сил, все трое, зная, что этот инцидент может обернуться не просто высылкой миссии из Англии — и не просто разрывом дипломатических отношений, — а объявлением войны, единодушно испустили ликующие крики. Они радовались тому, что теперь наступит конец. Они уже видели его и приветствовали. Ведь Англия только выжидала удобный момент, чтобы нанести удар. Что ж, они нанесут его первыми!

Они телеграфировали посланнику в Йоркшир, где тот гостил у Монктона Милнса во Фрайстоне. Как мистер Адамс воспринял это известие, рассказано в «Биографиях» лорда Хьютона и Уильяма Э. Форстера, находившихся тогда среди приглашенных во Фрайстон. Для посланника инцидент с почтовым пароходом «Трент» означал крутой поворот в дипломатической карьере, для его секретарей — начало еще одной непереносимой проволочки — словно они находились на военном форпосте в ожидании приказа покинуть отслужившие позиции. В этот момент высочайшего накала заболел и умер принц-консорт. Портленд-Плейс, затянутый на рождество черным туманом, и без того никогда не радовал глаз розовыми красками, но в 1861 году даже закаленнейшие лондонцы утратили румянец. Личный секретарь черпал утешение в источнике, им недоступном, — ему недолго оставалось быть личным секретарем.

Он, как всегда, заблуждался. Он заблуждался на каждом этапе своего воспитания, только на нынешнем этапе заблуждение длилось целых семь лет, в течение которых он все утешал себя мыслью, что конец близок. Для него инцидент с британским пароходом был одним из многих, которые ему надлежало регистрировать изящным круглым почерком в своих журналах, однако и для него самого эта история все же имела кое-какие последствия, не оставившие следа в посольских отчетах. Первое и главное — благодаря ей он навсегда избавился от навязчивой идеи, что нужно быть «полезным». До сих пор он, как независимый и свободный гражданин, не находящийся на государственной службе, пописывал в американских газетах. Он частенько сообщал о своих впечатлениях Генри Дж. Реймонду, а Реймонд публиковал его письма в «Нью-Йорк таймс». С несколькими дружескими лондонскими газетами у него тоже завязались близкие отношения — с «Дейли ньюс», «Стар», с еженедельником «Спектейтор», где он пытался печатать некоторые корреспонденции и статьи, носившие общий характер и разряжавшие обстановку. Он даже предпринял поездку в Манчестер, чтобы ознакомиться с последствиями нехватки хлопка, о чем и написал пространную статью, которую его брат Чарлз поместил в «Бостонском курьере». На его беду, под ней значилось его имя, и это тотчас отозвалось на нем самым убийственным образом — в лондонской «Таймс» появилась ядовитая передовица. К счастью, в «Тайме» не знали о принадлежности их жертвы, пусть неофициально, к американскому посольству и упустили возможность нанести ей роковой удар, но, когда старик Джо Парке из когорты сплетников от политики, обосновавшихся в Лондоне еще с 1830 года, поспешил сначала в редакцию «Таймс» сообщить все, что там не знали о Генри Адамсе, а затем на Мэнсфилд-стрит — сообщить Адамсу все, что тот не знал о редакции «Таймс», Генри понял, какой неприятности избежал. Он вдруг решил, что его «полезной деятельности» на любом поприще, кроме прессы, пришел конец, но

через день-другой убедился, как важно быть в тени. Его решительно никто не знал, даже в качестве члена какого-нибудь клуба; Лондон опустел; статья в «Таймс» прошла незамеченной, и никто, кроме Джо Паркса, о ней не вспоминал. В мире существовало достаточно других фигур — как, например, президент Линкольн, госсекретарь Сьюард, комодор Уилкс, — служивших постоянными и любимыми мишенями для насмешек. Генри Адамс вышел сухим из воды и навсегда отучился пытаться быть полезным. Инцидент с «Трентом» показал ничтожность индивидуальных усилий. На этом этапе Генри Адамс по крайней мере достиг того предела, когда познают их подлинную цену: «Surtout pas de zèle!»¹ Проявлять слишком много усердия, добровольно взяв на себя роль умиротворителя среди инцидентов с британскими пароходами и эмиссарами мятежников, было слишком хлопотно для сына посланника. Больше он не писал писем и не печатал корреспонденций в газетах, но тогда по молодости лет очень рассердился на редактора лондонской «Таймс».

Мистер Делейн очень старался не упустить возможности подлить масла в огонь, и Генри оставил надежду должным образом поблагодарить его за оказанное ему внимание, но инцидент с «Трентом» отбушевал, а американская миссия, к удивлению ее штата, осталась в Лондоне. И хотя личный секретарь не видел в этом промедлении — которое приписывал здравому смыслу мистера Сьюарда — причины менять свое мнение о политике британского правительства, у него не было иного выбора, как, вновь усевшись за конторку, регистрировать входящие и исходящие, подшивать письма и читать в газетах рассуждения о несостоятельности Линкольна и жестокости Сьюарда, или *vice versa*². Тяжелые месяцы миновали, зима повернула на весну, а его положение и настроение не улучшались. В свете ему выпала лишь одна

¹ Главное, поменьше усердия! (*фр.*).

² Наоборот (*лат.*).

отрада, и до конца своих дней он будет благодарен тем, кому ей обязан. За всю эту томительную зиму, да и много месяцев спустя, единственным просветом среди мрака явились для него несколько дней, проведенных в Уолтоне-на-Темзе в Маунт-Феликсе — доме мистера и миссис Рассел Стёргис.

На пути его воспитания, к сожалению, банкиры почти не встречались, хотя старик Пибоди и его партнер Юниус Морган оказались крепкими союзниками. Джошуа Бейтс также проявлял к членам миссии добрые чувства, и никто не мог сравниться в благожелательности с Томасом Берингом, чьи обеды в узком кругу на Аппер-Гровенор-стрит по праву считались лучшими в Лондоне. Но нигде нельзя было так отдохнуть душой, как в Маунт-Феликсе, и, впервые в жизни Генри, отдых стал для него частью воспитания в широком смысле. Миссис Рассел Стёргис принадлежала к тем женщинам, с которыми интеллигентные юноши стараются сдружиться как можно ближе. Генри Адамс не был очень уж интеллигентным юношей и ничего не знал о жизни, но знал достаточно, чтобы понимать, что молодому ростку требуется форма. В его воспитании больше всего недоставало руки очаровательной женщины, а миссис Рассел Стёргис, которая была лет на двенадцать его старше, могла при своей благожелательности без труда воспитать целую школу таких юнцов, как он, и к величайшему их благу. Рядом с ней Генри почти забывал гнетущую атмосферу Портленд-Плейс. За два года его одиночества в полярной зиме лондонского общества она была единственным источником тепла и света.

Разумеется, Мэнсфилд-стрит, где квартировали члены миссии, тоже была домом, и при подобных обстоятельствах все держались вместе. Они делали общее дело, но в смысле воспитания мало что могли дать друг другу. Они жили, но с них ежедневно заживо сдирали кожу. Правда, это касалось только младших членов миссии; с посланником и миссис Адамс дело обстояло несколько иначе. Медленно, но неуклонно они обретали почву под ногами. По некоторым причинам, частич-

но вызванным самими американцами, британское общество поначалу отнеслось с резким предубеждением к Линкольну, Сьюарду и всем лидерам республиканской партии, кроме Самнера. И хотя клан Адамса за три поколения хорошо усвоил, что такое непробиваемая косность британского ума, и уже устал непрерывно бороться с ней, пытаясь внушить англичанам, в чем состоят их собственные интересы, представитель четвертого поколения Адамсов все же не хотел верить, что в этой новой волне предубеждения повинны одни британцы. Личный секретарь не без основания полагал, что тут не обошлось без ньюйоркцев и бостонцев — сторонников южан. Эти «медянки», как их называли в Америке, свили себе гнездо на Пэлл-Мэлл. Что и говорить, англичане по натуре грубый народ и любят грубость. Будь Линкольн и Сьюард на самом деле теми мужланами, какими они им представлялись, они, пожалуй, вполне пришлось бы средним англичанам по вкусу. Исключительно спокойные манеры и безупречное общественное положение посланника Адамса их никоим образом не устраивали. И, поскольку глумиться над собой он повода не давал, его старались не замечать. Тон задал лорд Джон Рассел. К самому посланнику отношение было любезное, но как политическое лицо его игнорировали: принимали, но не замечали. Лондон и Париж следовали примеру лорда Джона. Ждали, что не сегодня-завтра Линкольн и иже с ним сгинут в результате полного *débâcle*¹. Полагали, что вашингтонское правительство вот-вот падет, а вместе с ним исчезнет и посланник Адамс.

Благодаря такой ситуации посланник Адамс оказался исключением среди дипломатов. Европейские правители по большей части, воюя, обращались друг с другом, как члены одной семьи, редко имея в виду довести дело до полного уничтожения противника. Но к вашингтонскому правительству властители и общество в Европе — в течение года по крайней

¹ Разгром (*фр.*).

мере — относились как к несуществующему, а к его представителям как к полным нулям. Посланник Адамс, однако, был среди этих нулей единичей, потому что вел себя осмотрительно и не подымал шума. Мало-помалу, неофициально, в обществе стали принимать его не столько как дипломата, сколько как члена оппозиции или именитого советника по делам некоего иностранного правительства. К мистеру Адамсу полагалось прислушиваться, считаться с его мнением и относиться как к человеку своего круга по рождению и воспитанию. Забавная английская манера держаться своих нелепых установлений давала американскому посланнику огромное преимущество перед европейскими дипломатами. Для него не существовало ни расового, ни языкового барьера, а также барьеров, воздвигаемых происхождением или привычками. Дипломатия изолировала дипломатов во спасение правительств, но граф Рассел при желании не мог изолировать мистера Адамса. Он не отличался от лондонцев. Редкий лондонец чувствовал себя в обществе так же свободно, как он. И уж никто из них не выступал в двух подобных ипостасях и не пользовался соответственно двойным весом.

Счастливая звезда, приведшая мистера Адамса во Фрайстон, где он выслушал известие об инциденте с «Трентом» под благожелательным взглядом Монктона Милнса и Уильяма Э. Форстера, не покидала его и впредь. Как Милнс, так и Форстер нуждались в поддержке и охотно ее принимали. Они давно уже уловили то, что личный секретарь проглядел: любая ошибка американского посланника дорого бы им обошлась, а так как его сила была их силой, они, не теряя времени, принялись разглашать по свету, какой он замечательный человек. Посланник был за ними как за каменной стеной.

Можно, разумеется, спорить, были ли Милнс и Форстер особенно ценными союзниками в такой момент, поскольку пользовались влиянием различного рода. Монктон Милнс был большой общественной силой в Лондоне — возможно, даже

большей, чем сами лондонцы это осознавали: ведь в лондонском обществе, как и везде, преобладали глупцы и невежды, и глупцам доставляло удовольствие подшучивать над Монктоном Милнсом. Любопытно любил упомянуть о Дикки Милнсе, «главной забаве вечера», а Милнс, разумеется, сам охотно выступал в роли забавника и чудака, вызывая насмешки с безразличием человека, который знает, что умнее его нет в Лондоне и что многие обязаны ему карьерой — очень многие. Пущенное им слово проникало далеко. Приглашение к завтраку в его доме означало еще больше. За маской чуть ли не Фальстафа и смехом Силена, несомненно, скрывался тонкий, широкий и высокий ум. В молодости Милнс писал стихи, которые немало читателей признавали поэзией и которые, уж во всяком случае, не были прозой. Позже произносил в парламенте речи, не встретившие одобрения главным образом потому, что были слишком хороши для подобного места и слишком высоки для подобной аудитории. В свете он принадлежал к тем считанным лицам, которые всюду бывают, всех знают, обо всем способны судить и имеют прямой ход к министрам, но в отличие от большинства светских умов Монктон Милнс занимал прочное общественное положение, а впоследствии даже стал пэром, владел домом на Аппер-Брук-стрит, куда стремились попасть все умники. Его завтраки пользовались широкой известностью, и от приглашения на них никогда не отказывались: проявить робость было опаснее, чем получить щелчок. Ненасытный книголюб, острый критик, знаток искусств, библиофил, он в первую голову был светский человек и больше всего любил вращаться — или, может быть, сшибаться — в свете. Даже Генри Брум не отваживался на то, что позволял себе Милнс, а Бруму все было ничем. Милнс олицетворял собой добродушие Лондона — этакий Гаргантюа как по части утонченности, так и грубости лондонской Мейфер.

По сравнению с Милнсом фигуры, подобные Хейуорду, или Делейну, или Винеблзу, или Генри Риву, занимали вто-

рой ряд, но Уильям Э. Форстер принадлежал к иному классу. С Мейфер он не имел ничего общего. Во всем — если не считать, что оба родились в Йоркшире, — он был полной противоположностью Милнсу. Никакого положения ни в обществе, ни в политических кругах он в то время не занимал, как не обладал и каплей остроумия Милнса или его разносторонностью. Это был высоченный, грубоватый, неуклюжий детина, прибегавший, как все йоркширцы и ланкаширцы, к единственной форме самозащиты — внешней грубости, под которой скрывалась чувствительная, если не сентиментальная душа. Держался он доброжелательно, хотя бы по традиции, унаследованной от предков-квакеров, особенно пламенно ни с кем не дружил. Зато, должно быть, обладал нежным и пылким сердцем — иначе он вряд ли смог бы убедить дочь доктора Арнолда стать его женой. Сделанный из чистого золота, без унции примеси, воплощенная честность и бескорыстие, однако человек практичный, он, как и следовало ожидать от коренного йоркширца, принял сторону Федерации и стал ее защитником, частично в силу своих квакерских антирабовладельческих убеждений, частично же потому, что это открывало ему некоторые возможности в палате общин. Членом ее он стал недавно и нуждался в поле деятельности.

Застенчивость не входила в число добродетелей Форстера. Практический ум и кипучая энергия вскоре сделали его лидером, выдвинув в ряд сильных борцов, притом борцов не на словах, а на деле. С такими вождями английские друзья Союза воспряли духом. Посланнику Адамсу оставалось только наблюдать за тем, как его верные защитники, борцы-тяжеловесы, ведут бой, и даже личный секретарь нет-нет да и светился душой, видя, как выходят на ринг эти дюжие йоркширцы, чтобы целым строем участвовать в схватке, злее которой не знала Англия. Если даже Милнса и Форстера нельзя было причислять к легковесам, то что уж говорить о Брайте и Кобдене, владевших сокрушительным ударом. С такими защитниками посланник Адамс мог подступить да-

же к самому лорду Пальмерстону, не опасаясь стать жертвой его нечестной игры.

Ни Джон Брайт, ни Ричард Кобден не бывали в свете, да и в парламенте за ними значилось немного сторонников. Их числили врагами порядка — анархистами, каковыми они и были, если считать анархистом каждого, кто ненавидит так называемый установленный строй. Робостью в политике они не страдали, открыто выступая на стороне Союза против Пальмерстона, которого ненавидели. Чужие в лондонском свете, они были своими в американской миссии, желанными гостями и приятными собеседниками за обеденным столом, свободно высказывавшимися на любые темы. Кобден был мягче и покладистее Брайта, который труднее шел на сближение, но личному секретарю нравились оба. Генри лелеял мечту когда-нибудь услышать, как тот или другой, выйдя в проход палаты общин, говорят с лордом Джоном Расселом на присущем им языке.

С четырьмя такими союзниками посланник Адамс не чувствовал себя беспомощным. Уже второй раз после дела «Трента» британские министры стыдливо колебались и не спешили принять решение. Мало-помалу вокруг миссии сгруппировались настоящие друзья, а не друзья-флюгеры. Группа Шефтсбери, в прошлом антирабовладельческая, вдруг обернулась докучливым и назойливым врагом, зато герцог Аргайльский — бесценнейшим другом и в политических кругах, и в свете, как и его жена, такая же преданная в дружбе, какой была ее мать. Даже личному секретарю кое-что перепало от этого знакомства. Он никогда не забудет, как однажды вечером после ужина в Лодже, оказавшись лицом к лицу с Джоном Стюартом Миллем, стал неожиданно для самого себя объяснять великому экономисту выгоды американской протекционной системы. Очевидности вопреки Генри убеждал себя, что вовсе не герцогский кларет развязал ему язык, а единственно сам мистер Милль, выразивший согласие с его, Генри, точкой зрения. Однако мистер Милль

явно не испытывал удовольствия от их беседы; надо думать, его куда больше устроило, если бы на месте Генри был герцог Аргайльский. При всем том личный секретарь не мог не признать, что, хотя в разные периоды его жизни англичане проявляли к нему изрядную, и даже более чем изрядную, холодность, он не мог бы назвать ни одного случая за весь этот мучительный год, когда счел бы себя вправе пожаловаться на их грубость.

Почти везде он встречал дружеское расположение, особенно со стороны старшего поколения — кроме тех, кто пользовался известностью и влиянием в свете, как мужчин, так и женщин. Правда, и это правило не осталось без исключений: благодаря сердечности и теплоте отношению Фредерика Кавендиша Девоншир-хаус стал для Генри почти родным домом, а горячие проамериканские симпатии Люлфа Стэнли послужили основой для дружбы со всей семьей Стэнли-Олдерли, чей дом посещал весь Лондон, Лорн, будущий герцог Аргайльский, также всегда относился к американцам очень дружески. Постоянное общение в свете помогло завязать и более тесные литературные связи. Одним из первых перед Генри Адамсом открылся дом Чарлза Тревельяна, дружеские отношения с которым не прерывались на протяжении полувека и прекратились только с его смертью. Сэр Чарлз и леди Лайелл стали ближайшими друзьями Генри. К ним присоединился и Том Хьюз. Словом, к тому времени, когда кончился траур по принцу-консорту и в светских домах снова открылись двери, даже личному секретарю нет-нет да и стали встречаться там знакомые люди, хотя сам он ни на какие знакомства не напрашивался, а продолжал выжидать. Какие бы выгоды ни сулили светские связи его отцу и матери, ему вся эта дипломатическая и светская суэта не давала ровным счетом ничего. Он жаждал вернуться домой.

9. ВРАГИ ИЛИ ДРУЗЬЯ

(1862)

О годе 1862-м Генри Адамс всегда вспоминал с содроганием. Война как таковая не слишком его угнетала: за свою недолгую жизнь он уже привык к тому, что люди купаются в крови, а из истории легко мог сделать вывод, что с самого начала наибольшее удовольствие человечеству доставляло кровопролитие; но жестокая радость от разрушения посещала человека только тогда, когда он убивал тех, кого ненавидел, а юный Адамс не испытывал ненависти к своим мятежным соотечественникам и вовсе не желал их убивать; если уж он кого и желал смести с лица земли, так это Англию. Ничего хорошего не приходилось ожидать от этой расы с вывихнутыми мозгами. Дай-то бог унести от них ноги. Каждый день британское правительство намеренно теснило его к могиле. Он это видел, вся миссия это знала; это было очевидно; все считали, что это так. Инцидент с «Трентом» ясно показал, каковы намерения Пальмерстона и Рассела. Ко всему крейсера мятежников ушли из Ливерпуля, и это было в глазах молодого человека не признаком колебаний, а доказательством твердого намерения со стороны Англии пойти на вмешательство. Ответы лорда Рассела на ноты посланника Адамса звучали равнодушно до невежливости, а личному секретарю посланника — молодому человеку двадцати четырех лет — казались наглыми своим пренебрежением к истине. Какие бы слова ни произносились публично с целью смягчить резкость этого обвинения, в частных разговорах все политические противники Англии, и даже некоторые ее сторонники, не обинуясь, говорили одно — лорд Рассел жлет. Вряд ли это был серьезный упрек: все государственные деятели лгут, кто больше, кто меньше; личный секретарь пылал гневом против Рассела потому, что был убежден — его ложь прикрывает намерение убивать. Миссию

ни на секунду не оставляла тревога. Напряжение стало предельным, невыносимым.

Посланник, разумеется, выносил и это, но за ним стояли помощь и внимание окружающих, а у его сына — ничего, кроме мыслей о друзьях, умиравших в болотах вокруг Ричмонда под началом Макклеллана, или о врагах, ликовавших на Пэлл-Мэлл. До середины лета он крепился как мог, но, когда пришло известие о втором Булл-Ране, у него уже не стало сил и после бессонной ночи, которую он провел, шагая из угла в угол, забыв, что под его комнатой — спальня отца, за завтраком объявил о своем намерении вернуться домой и вступить в армию. Мать подобное заявление, по видимому, взволновало меньше, чем ночные шаги над ее головой, и это было так не похоже на миссис Адамс, что сын посмотрел на нее с удивлением. Что до отца, то он тоже спокойно выслушал его заявление. Родители, несомненно, его ожидали и приняли меры заранее. В те дни они привыкли выслушивать самые различные заявления от своих детей. Мистер Адамс принял декларацию сына с таким же спокойствием, с каким принял Булл-Ран, но Генри так и не дождался возможности выехать. Препятствия на его пути громоздились одно за другим. Среди прочих причин немалую роль сыграли возражения брата Чарлза, который находился в потомакской армии и чье мнение имело для Генри значительный вес; правда, он и сам сознавал, что, оставив свой пост в Лондоне и променяв его на те «удобства», которыми рассчитывал воспользоваться в Виргинии, где ему угрожали только пули, никогда не простит себе отступничества от отца и матери, брошенных им на съедение диким зверям в британском цирке. Возможно, эта мысль его бы не остановила, но все решило слово отца. Посланник не замедлил ему объяснить, что принять участие в сражениях он уже опоздал, а им всем и так очень скоро — еще до наступления весны — предстоит отправиться домой.

Молодой человек, уже снявший копии с целой горы affidavits о крейсерах мятежников, не мог не проникнуться силой подобного аргумента и тут же засел копировать следующие. Консул Дадли из Ливерпуля поставлял их в изоляции. Строго говоря, копировать affidavits не входило в обязанности личного секретаря, но практически личный секретарь выполнял работу второго секретаря миссии и делал это с большой охотой — лишь бы мистер Сьюард не брал на себя труд посылать в помощь посланнику новых секретарей, набранных по собственному усмотрению. Работа никого в миссии не тяготила, и на работу никто не жаловался, даже Моран, хотя после отъезда Уилсона ему частенько приходилось сидеть за перепиской ночами. Изматывала не работа, а необходимость играть роль. Встречаться с враждебным обществом было достаточно мучительно, но еще мучительнее было встречаться с друзьями. После катастрофических поражений — семидневных боев под Ричмондом и второго при Булл-Ране — друзья нуждались в поддержке, но бравурно-приподнятый тон в разговорах с ними причинил бы только вред: люди среднего ума как нельзя лучше видят подоплеку бравады. Тут уместна только искренность, а личным секретарям искренность, как бы их на нее ни тянуло, решительно противопоказана, поэтому оставалось играть в искренность, что не всегда легко, когда на душе отчаяние, мрак и горечь, когда душат слезы от стыда за ошибки и несостоятельность собственного правительства. Пролить же слезы можно было только в подушку. И уж во всяком случае, не добавлять лишний груз к непосильной ноше посланника, которому доставалось и без огорчений, причиняемых членами семьи. Утром каждый читал свой номер «Таймс», тыкая вилкой в тарелку; упаси бог не то чтобы произнести вслух «Очередной разгром войск федералистов», но даже отвести душу невинным ругательством! Проявлять сдержанность в кругу друзей оказалось во сто крат труднее, чем сохранять веселую мину среди врагов.

Больше всего мутили воду великие люди. А личный секретарь улыбался — улыбался, когда однажды, стоя в тронном зале среди толпы, наблюдавшей за бесконечной процессией приглашенных, отдававших поклоны королевской семье, услышал за спиной, как один из членов кабинета сказал другому: «А федералисты снова получили по шее!» Главное — это было правдой. Но даже личный секретарь научился контролировать свои интонации, следить за выражением лица и не проявлять радости, когда «по шее» получали враги, в присутствии врага.

По одному поводу в Лондоне особенно выходили из себя; там придумали себе некое чудище в образе Авраама Линкольна. Рядом с ним поместили другого дьявола, еще чернее, насколько это было возможно, и назвали его Сьюардом. В своем злобном отношении к этим двум лицам английское общество не знало меры: оно просто безумствовало. Защищать их не имело смысла, объяснения были бы напрасны; оставалось ждать, когда страсти улягутся сами собой. Даже добрые друзья вели себя не лучше врагов: убежденность в беспомощности бедняги Линкольна и свирепости Сьюарда стала догматом всеобщей веры. Последний раз Генри Адамс видел Теккеря перед его внезапной кончиной на рождество в 1863 году в доме Генри Холланда. Явившись на званый вечер, Генри как раз входил в холл, когда Теккерей, смеясь, натягивал пальто: по рассеянности он забрел не в тот дом и обнаружил это, пожимая руку сэру Генри, которого превосходно знал, но который вовсе не был тем, к кому он шел в гости. И тут, изменив тон, великий романист заговорил о своей — впрочем, и Адамсов — давнишней приятельнице, миссис Фрэнк Хэмптон из Южной Каролины, которую он в молодости, когда знал ее еще под именем Салли Бакстер, нежно любил, а потом вывел под именем Этель Ньюком. И хотя он так и не простил ей ее замужества, он вновь испытывал к ней теплые чувства, узнав, что она умерла от чахотки в Колумбии, куда

ее родители и сестра не смогли приехать свидеться с ней, так как федералисты отказались пропустить их через линию фронта. Теккерей говорил об этом с дрожью в голосе и с полными слез глазами. Кому же неизвестна бесчеловечная жестокость Линкольна и его подручных! Он ни на минуту не сомневался, что федералисты сделали для себя правилом измываться над нежными чувствами женщин — особенно женщин, — вымещая на них свои неудачи. Не располагая достаточными свидетельствами, он сыпал яростными упреками. Даже будь у Адамса в кармане бесспорное доказательство подобной несправедливости и предъяви он его обвинителю, это ничего бы не изменило. Теккерей, как и всему английскому обществу, требовалось в эту минуту разрядиться — снять нервное напряжение взрывом чувств; окажись Линкольн не тем, кем они его считали, — кем бы пришлось им считать себя самих?

По той же причине члены миссии, даже в частных беседах, отвечали молчанием на грубые шотландские остроты Карлейля. Если Карлейль ошибался, его диатрибы давали точную цену ему самому, и очень низкую цену; вряд ли в одних своих мыслях он был правдивее и разумнее, чем в других. А доказательство, что философ не знает того, о чем говорит, может только огорчить его учеников, прежде чем воздействует на самого философа. Разбивать идола всегда мучительно, а Карлейль был идиолом. Тень, брошенная на его авторитет, подобно теням при закатном солнце, протянется далеко, погрузив все во мрак. Если и Карлейль — фальшивка, что же такое его ученые последователи и вся его школа?

В обществе к членам миссии, как правило, относились любезно; у них не было оснований жаловаться — не более, чем у других дипломатов, оказавшихся в сходных обстоятельствах, зато редкие друзья в этом обществе сияли им, словно алмазы. В миссии и не мечтали повернуть общественное мнение. Самое большее, на что могли рассчитывать

американские дипломаты, — это не подвергаться оскорблениям, но к описываемому времени отношения уже сложились настолько хорошо, что от подобных неприятностей посланник и его семья были полностью избавлены. Правда, не будем скрывать, что кто-нибудь нет-нет да отказывался посетить — или принять — посланника, но не было ни одного случая открытого афронта или других выступлений, на которые посланнику пришлось бы отвечать. Дипломатия всегда служила буфером в смутные времена, и ни один понимающий в своем деле дипломат не станет возмущаться тем, чего каждому дипломату приходится ожидать. Генри Адамс, хотя он и не был дипломатом, защищенным своим статусом, мирно шествовал избранным путем, понимая, что общество вовсе не жаждет завести с ним знакомство, но понимая также, что у общества нет причин открывать в нем, Генри Адамсе, привлекательные черты, каких он сам в себе не замечал. А потому он шел туда, куда его звали; ему всегда оказывали радушный прием; с ним, как правило, обращались лучше, чем в Вашингтоне, а он придерживал язык.

По тысяче причин дом Пальмерстона считался в среде дипломатов лучшим в Лондоне, а дом лорда Рассела — худшим. Ни о том, ни о другом лорде личному секретарю знать было не дано. Все равно как о Великом Ламе. К тому же лорд Пальмерстон был последним человеком, о котором осмотрительному секретарю захотелось бы что-либо знать. Вряд ли существовал на свете второй премьер-министр, который внушал бы дипломатам так мало доверия, как лорд Пальмерстон: никто не брался решить, чьему слову отдать предпочтение — его или лорда Рассела, а чтобы решить, можно ли им доверять и в какой мере, требовались годы опыта. Сама королева в известном меморандуме от 12 августа 1850 года выразила свое мнение о лорде Пальмерстоне в словах, мало чем отличавшихся от слов, которые употребил лорд Рассел, и оба они — королева и Рассел, —

по существу, сказали то, что приватно говорили Кобден и Брайт. Все дипломаты были полностью с ними согласны, хотя доверие по дипломатическим меркам и по парламентским, видимо, не одно и то же. Профессиональные дипломаты не смущаются ложью. Слова для них форма выражения, которая у каждого может быть своя, а лгут более или менее все. Больше всех те, кто говорит искренне. Дипломатам нужно знать, какие мотивы скрываются за словами. Что же до Пальмерстона, то дипломаты единодушно предупреждали новых коллег: остерегайтесь, ему ничего не стоит воспользоваться вами для своей сиюминутной цели. Каждый посланник усваивал урок — надо по возможности поменьше привлекать к себе внимание Пальмерстона. Правило это не составляло тайны, и им руководствовались не только дипломаты. Сама королева дала ему ход, огласив в одном из официальных документов. Если Пальмерстону это было нужно для его целей, он шел в палату общин и предавал или очернял любого иностранного дипломата, не задумываясь о судьбе своей жертвы. И никто не давал ему достойной сдачи — даже королева, — потому что, как сказал о нем барон Бруннов: «C'est une peau de rhinocère!»¹ Добившись своего, Пальмерстон заливался смехом, и его публика смеялась вместе с ним. Средние британцы — и американцы — любят, чтобы их потешали, а разве не потеха, когда всяких там иностранцев в лентах и звездах подымает на рога, и подбрасывает, и бодает этаким жовиальный, разгулявшийся забяка — британский бык.

Дипломаты не имеют права жаловаться, когда им просто лгут: их вина, если они, при всей своей профессиональной выучке, попадают на крючок; но они горько жалуются, когда им строят козни. Пальмерстон пользовался репутацией великого мастера строить козни. Настоящий *enfant terrible*²

¹ У него кожа как у носорога! (фр.).

² Ужасный ребенок (фр.).

британского правительства! В то же время леди Пальмерстон пользовалась репутацией женщины доброй и верной. Такого мнения о ней придерживались, по-видимому, все дипломаты и их жены; они плакались ей на свои неприятности и невзгоды, твердо веря, что она постарается помочь. По этой причине, помимо прочих, званые вечера леди Пальмерстон — субботние обзоры, как их называли, — пользовались огромным успехом. Юному простаку-американцу, разумеется, невозможно было это понять. Кембридж-хаус в его глазах ничем не выделялся среди дюжины-другой таких же открытых домов. Леди Пальмерстон не привлекала ни молодостью, ни красотой, да и в более раннем возрасте вряд ли отличалась большой живостью. Гости, посещавшие ее дом, никогда не бывали людьми особенно светскими и редко молодыми; одни принадлежали к дипломатическим кругам, а дипломаты, как правило, народ пресный, другие — к политическим, а политики обыкновенно не служат украшением званых вечеров; к ним добавляли немного писательской братии — публика, как известно, не очень респектабельная; женщины, разумеется, были не из тех, что блистают туалетами и юными годами; мужчины по большей части имели унылый вид и, казалось, чувствовали себя не в своей тарелке, и тем не менее Кембридж-хаус был, несомненно, лучшим, если не единственным настоящим салоном в Лондоне, а своим успехом целиком обязан леди Пальмерстон, которая, казалось, не прилагала для этого никаких усилий, разве только дружески всем улыбалась. В смысле светского воспитания Кембридж-хаус преподносил неоценимый урок: тут было над чем подумать. Рано или поздно на вашем пути неизбежно встречались десятки политических деятелей с большим весом и более приятных, чем лорд Пальмерстон, десятки светских дам, привлекательнее и усерднее относящихся к своим обязанностям, чем леди Пальмерстон, но не было ни одного политического салона, пользовавшегося таким успехом, как Кембридж-хаус.

Необъяснимая загадка! Иностранцы говорили только, что леди Пальмерстон «очень мила».

Мелкую сошку из посольств и миссий там тоже принимали или терпели, не делая дальнейших попыток признать их существование, но секретари и тому подобные и этим были довольны, поскольку их редко где терпели, а тут удавалось, стоя в углу, поглазеть на епископа или герцога. Других светских развлечений юному Адамсу не перепадало. Он никому не был известен — даже лакеям. В последнюю субботу, когда ему пришлось побывать в Кембридж-хаус, он, как обычно, вступая на лестницу, назвал свое имя и был несколько ошарашен, когда услышал, что докладывают о «Гендрию Гадамсе». Он попытался поправить лакея, но тот прокричал еще громче: «Мистер Гэнтони Гадамс!» Не без досады Генри повторил свое имя и услышал: «Мистер Галександро Гадамс», под каковым именем он в последний раз и раскланялся с лордом Пальмерстоном, который знал о нем не больше, чем его лакей.

Смех лорда Пальмерстона раскатывался до нижних ступеней лестницы, когда он, стоя наверху у двери, приветствовал приглашенных и тут же, вероятно, отдавал распоряжения одному из своих прихвостней — Делейну, Бортвику или Хейурду, которые, разумеется, несли вахту поблизости. Смеялся он совершенно особенным, механическим, деревянным смехом, и, когда он смеялся, ни один мускул не двигался на его лице: «Ха!.. Ха!.. Ха!..» Каждое это «ха!» вылетало у него изо рта медленно, как бы с трудом; все было на одной ноте, словно он что-то ими подтверждал: «Да!.. Да!.. Да!» Смех, которым он смеялся в 1810 году и на Венском конгрессе. Адамса так и подмывало прервать его и спросить — а что, Уильям Питт и герцог Веллингтон тоже смеялись таким смехом? Но молодым людям, служившим при иностранных миссиях, вообще не полагалось задавать Пальмерстону вопросов, а их принципы старались спрашивать его как можно меньше.

Молодой человек отдавал, как принято, поклон, удостоивался, как принято, взгляда, затем подходил к леди Пальмерстон, которая всегда была само радушие, хотя и не разменивалась на лишние слова, от нее шел к леди Джослин с дочерью, обычно находившей нужным обронить несколько дружеских замечаний, и, миновав дипломатический корпус — Бруннова, Музуруса, Азелио, Аппоньи, Ван де Вейера, Билле, Трикупи — и прочих, попадал наконец в руки какой-нибудь литературной пешки, такой же чуждой этому дому, как он сам. Процедура почти не менялась. Гостей и не пытались развлекать. Если бы не отчаянная изоляция, в которой миссия оказалась в эти два сезона, даже ее секретари не стали бы отрицать, что вечера в Кембридж-хаус были такой же механической процедурой, как утренние приемы в Сент-Джеймском дворце.

Лорд Пальмерстон был премьер-министром, а не министром иностранных дел, но любил заниматься иностранными делами и не мог устоять, чтобы не попытаться сыграть «большой шлем» в дипломатии точно так же, как в игре в вист. Зная его привычки, министры иностранных держав пытались не попадать в его поле зрения, а для этого им приходилось обхаживать истинного министра иностранных дел, лорда Рассела, который 30 июля 1861 года, став графом, перешел в палату лордов.

Основываясь на сведениях, полученных по личным каналам, мистер Адамс сумел убедить себя, что лорду Расселу можно доверять больше, чем лорду Пальмерстону. Но сын посланника, будучи человеком молодым и горячим, считал, что они друг друга стоят. Англичане не видели между ними большого различия, и американцам ничего не оставалось, как следовать опыту англичан по части английского характера. Посланнику Адамсу нужно было учиться и учиться, хотя для него, как и для его сына, каждый месяц обучения оборачивался целой геологической эпохой.

Как и предсказывал Бруннов, лорд Пальмерстон наконец все же бросился в атаку, как всегда неожиданно и с остревением, которому позавидовал бы двадцатичетырехлетний секретарь. Только человек, чья юность пришлось на Трафальгарскую битву, мог сохранить в себе столько силы и задора, но не мистеру Адамсу по его положению было рукоплескать восьмидесятилетней юности английского премьера: над посланником, как некогда над его многочисленными предшественниками, нависла грозная опасность. Однажды в июне 1862 года, когда Генри с отцом вернулся с очередного светского визита, посланника на письменном столе ждала нота. Он взял ее и, молча прочитав, кратко резюмировал: «Пальмерстон ищет ссоры». В этом, как он понял, заключался весь смысл инцидента. Пальмерстон искал ссоры; не надо идти ему навстречу; надо его остановить. Поводом для ссоры служило небезызвестное предостережение генерала Батлера женщинам Нового Орлеана, но подоплека была иная — убежденность в бесчеловечности президента Линкольна, глубоко укоренившаяся в британских умах. Зная повадки Пальмерстона, посланник не сомневался, что английский премьер намерен сорвать дипломатический куш, огласив свою ноту в палате общин. Если он сделает это немедленно, ставка посланника будет бита, ссора неминуема, а новая жертва на алтарь страсти Пальмерстона к популярности принесена.

Момент был крайне тревожный — самый критический момент, какие знал Генри Адамс из всех, занесенных в анналы американской дипломатии; но эпизод этот принадлежит не воспитанию Генри Адамса, а истории, и каждый, кто хочет, может о нем прочитать. В части воспитания Генри Адамса он имел свою, отличную от исторической цену. То, что его отцу удалось заткнуть Пальмерстону рот, избежав публичного скандала, вполне достаточно говорило в пользу посланника, но недостаточно говорило его личному секретарю, любившему бывать в Кембридж-хаус

и ломавшему себе голову над неразрешимыми противоречиями. Пальмерстон искал ссоры, это не вызывало сомнений, однако почему же в таком случае он столь покорно согласился на роль жертвы в этой ссоре? Переписка, последовавшая за нотой, велась им вяло, ко всему прочему он допустил, что посланник Соединенных Штатов ее прекратил, отказавшись получать дальнейшие сообщения иначе как через лорда Рассела.

Это был чрезвычайно решительный шаг, означавший разрыв не только личных, но и светских отношений и стоивший личному секретарю приглашений в Кембридж-хаус. Леди Пальмерстон прилагала все усилия, чтобы восстановить согласие; но обе дамы не нашли иных средств, кроме слез. А им, бедняжкам, приходилось иметь дело с американским посланником, загнавшим себя в угол. Не то чтобы мистер Адамс потерял самообладание — напротив, никогда в жизни он не чувствовал такого груза ответственности и не вел себя с большим спокойствием, но он не мог придумать иного хода для защиты своего правительства, не говоря уже о себе самом, как добиться вмешательства лорда Рассела. Только благодаря Расселу, полагал он, Пальмерстон пошел на попятный и замолчал. Возможно, так оно и было; в то время его сын был в этом уверен, но позднее на него напали сомнения. Пальмерстон искал ссоры, и по вполне ясным мотивам, но, когда дело было уже на мази, пошел на попятный; почему-то он все же не захотел ссориться — по крайней мере тогда. К тому же ни в то время, ни позже он не выказывал мистеру Адамсу никаких дурных чувств. И больше ссоры не искал. И хотя этому трудно поверить, держался с Адамсом как всякий хорошо воспитанный джентльмен, чувствующий себя неправым. Возможно, эта перемена и в самом деле произошла благодаря протестам лорда Рассела, но личный секретарь считал бы сей полученный в политике урок более ценным, если бы мог окончательно решить, на кого — генерала

Батлера или себя самого — лорд Пальмерстон злился из-за своей непростительной в обоих случаях *betise* ¹.

Тогда подобный вопрос вряд ли мог возникнуть: никто не сомневался ни в чувствах, ни в планах лорда Пальмерстона. Сезон подходил к концу; приемы в Кембридж-хаус вскоре прекратились. В миссии и без того хватало неприятностей, чтобы напрашиваться на новые. Волна неприязни к американским дипломатам поднялась в Англии крайне высоко, и им оставалось только уповать на то, что генерал Макклеллан облегчит их положение. Год 1862-й вошел в жизнь Генри Адамса черным пятном, и уроки, им преподнесенные, он по большей части охотно бы забыл. Друзей, по всей очевидности, он не приобрел; врагов едва ли мог приобрести. Все же к концу года он получил лестное для себя приглашение от Монктона Милнса во Фрайстон — одно из бесчисленных благодеяний, которые Милнс оказывал молодежи, чем заслужил себе бессмертие. Милнс считал добрые дела своей обязанностью. Все кому не лень объясняли, что он делает их не так, но не делали и так, как делал он. Естественно, личный секретарь, потерянный, подавленный, был ему безмерно благодарен и никогда не забывал такого великодушия, но главное значение этот первый визит Генри Адамса в глубь Англии имел для него в части воспитания. Все подобные визиты похожи друг на друга, но, так как сам Монктон Милнс ни на кого не был похож, его гостеприимство служило особой цели — перемешать разнородные элементы. Фрайстон не принадлежал к разряду поместий, куда ездят любоваться красотами природы, а йоркширские зимние туманы так сильно давали себя знать, что сама хозяйка от них сбежала, и разномастным гостям, которых Милнс собрал под своей крышей, чтобы скрасить себе декабрь, ничего не оставалось, как удивлять друг друга, если подобных людей еще можно было чем-то удивить.

¹ Глупость (*фр.*).

Из пяти собравшихся там мужчин только Адамс не отличался никакими талантами; только он не вносил в атмосферу этого дома свою долю острот и шуток, оставаясь лишь слушателем; но слушателя им как раз и недоставало, и он оказался вполне на месте. Из четырех прочих Милнс был самым старшим и, возможно, при всей своей эксцентричности самым разумным: йоркширское благоразумие, пренебрегая многими условностями, строго соблюдало собственные нормы. Тем не менее даже Милнс поразил воображение молодого американца с его неискушенным бостонско-вашигтонским умом. Окажись перед ним беспробудный пьяница и лихой наездник, какими йоркширцев изображали в книгах, он несколько бы не поразился, но, чтобы подняться до Милнса, требовалось знание света и литературы в той степени, какая была доступна одному Милнсу, сумевшему приобщиться ко всем и ко всему, что только могла дать Европа. Милнс знал ее со всех возможных точек зрения, и главным образом с комической.

Второй член компании также был человек в летах; спокойный, хорошо воспитанный, на редкость приятный джентльмен из литературных кругов. Проводив Адамса в отведенную ему комнату, где тот должен был переодеться к обеду, Милнс задержался на минуту, чтобы сказать несколько слов об этом госте, которого назвал Стёрлингом из Кэра, а в заключение намекнул, что Стёрлинг нетерпим только в одном пункте — он ненавидит Наполеона III. Адамса этот пункт также не оставлял равнодушным, и он постарался выяснить, насколько шотландский джентльмен принимает французского императора близко к сердцу. Третьего гостя, человека лет тридцати, носившего руку на перевязи, Адамс уже встречал у леди Пальмерстон. В его фигуре и осанке было нечто привлекательное — даже приятательное, что усугублялось глубоким и мягким обаянием, приятной улыбкой и интересной судьбой. Это был Лоренс Олифант, который только что вернулся из Японии, где полу-

чил ранение, когда фанатики напали на британскую миссию. Человек исключительно благородный, он казался просто созданным для роли гостя в загородном доме, где мужчины наслаждались его обществом, а женщины обожали. К тому времени он еще не успел опубликовать «Пикадилли»: возможно, как раз над ним трудился; и, как все молодые люди, причастные к министерству иностранных дел, сотрудничал в журнале «Сова».

Четвертый был совсем мальчик, или по виду мальчик, так как на самом деле он был на год старше Адамса. Внешним видом и повадками он напоминал — как поколение спустя другой молодой человек, Роберт Льюис Стивенсон, — тропическую птицу с высоким хохолком, длинным клювом, стремительными движениями, испускавшую вихрь быстрых звуков и кратких смешков, — ничего общего с английским жаворонком или соловьем. Вряд ли тут было бы уместно говорить об алом попугае ара среди сов, да и вообще вряд ли его с кем-то можно было сравнивать. Милнс представил его — Алджернон Суинберн. Адамсу это имя ничего не говорило. Милнс без конца откапывал новые таланты, пытаясь добиться для них признания. Он откопал и Генри Адамса, который не знал за собой никаких талантов и не видел причин для признания. Поэтому, когда Милнс, задержавшись в его комнате, сообщил, что Суинберн — автор стихов, еще не публиковавшихся, но поистине отмеченных необыкновенным даром, Адамс подумал про себя, что еще мог Милнс теперь открыть, и не откроет ли он случайно какой-нибудь дар у личного секретаря. Милнс был на это вполне способен.

В урочный час все пятеро сели ужинать; за столом царила атмосфера, обычная для клубов, где собираются мужские компании, — непринужденная и в то же время серьезная. Сначала беседа вилась вокруг Олифанта, который просто, без прикрас, рассказал о своих злоключениях, затем потекла по другому руслу, пока Милнс не счел, что настала

пора выпустить Суинберна. И вот наконец после стольких лет у Адамса открылись глаза. Он нашел то, что так долго искал; мудрости это ему не прибавило, зато крайне удивило. Впервые он не почувствовал себя стесненным, потому что и остальные сидели потрясенные, изумляясь все больше и больше. Всю оставшуюся часть вечера они слушали только Суинберна, и монолог его лился все свободнее. В 1862 году даже в отсутствие дам в доме не полагалось курить, и гости выходили в конюшни и на кухню. Но Монктон Милнс, как патентованный вольнодумец, разрешил гостям курить в комнате Адамса, поскольку этот американско-германский варвар все равно не знал этикета. И вот, поднявшись к нему после ужина, они — кто сидя, кто лежа — до поздней ночи внимали проникновенной речи Суинберна. Никогда, ни до, ни после, никто не достигал подобных вершин, хотя все слышали о замечательных ораторах того времени или читали о замечательных ораторах всех времен, в том числе и о Вольтере, который, по-видимому, был ближе всех к искусству Суинберна.

То, что Суинберн являет собой нечто совершенно новое по сравнению с тремя типами светских людей, представленных теми, кто был рядом с ним; что он до мозга костей своеобразен, крайне эксцентричен, невообразимо талантлив и до судорог смешон, Адамс видел и сам, но что еще в нем скрывалось, даже Милнс вряд ли сумел бы назвать. Просто не верилось, что человек может обладать такой невероятной памятью и знанием литературы — античной, средневековой, современной, что он может читать наизусть пьесы Софокла и пьесы Шекспира, с любого места, вперед и назад, с начала и до конца; или Данте, или Вийона, или Виктора Гюго. Они не знали, что сказать, когда он с пафосом декламировал перед ними свои неопубликованные баллады — «Фаустину», «О четырех планках гробовой доски», «Балладу о ношах», — и читал их так, словно это были книги «Илиады». Не знаменательно ли, что самым востор-

женным его слушателем оказался автор исключительно милых поделок, вроде «Мы бродили у ручья» и «Она казалась тем, кто видел, как они встречались...», который никогда и не думал писать в каком-то ином ключе. Необъятное сердце Милнса принимало всех и вся, включая американцев вроде юного Адамса, с их рутинными вкусами, и ушедшего от них на миллионы веков вперед Алджернона Суинберна, который мог объединить их всех своим юмором даже лучше, чем своей поэзией. Достаточно было видеть, как он представил перед ними свой первый день в семье профессора Стаббса, виртуозно разыграв настоящий фарс, если не высокую комедию, — этот молодой человек, который мог с такой же легкостью сложить греческую оду или провансальскую канцону, как написать английское четверостишие.

Поздно ночью, когда компания разошлась, Стёрлингу захотелось взять с собой «Королеву Розамунду», единственный пока опубликованный Суинберном томик стихов, который лежал на столе в библиотеке, и Адамс предложил проводить его, захватив сиротливо освещавшую его спальню свечу. Спускаясь по лестнице, Стёрлинг, не переставая, сыпал возгласами удивления, пока наконец, достигнув нижней ступени и предела своего воображения, не остановился, воскликнув: «Нет, это какая-то помесь дьявола и герцога Аргайльского!»

Чтобы оценить это определение в полной мере, необходимо было знать обоих, а Генри Адамс знал лишь одного — по крайней мере лично, тем не менее он уловил, что для шотландца такое сочетание означало нечто грандиозное, недоступное англичанину, сверхъестественное — то, что французы называют *beau jeu*, или средневековое, вкладывая также значение фантастического. И Стёрлинг, и Милнс считали Суинберна чудом, и это очень утешало Адамса, который поначалу потерял душевное равновесие, вообразив, что Суинберн такое же естественное произведение Оксфорда, как сдобные булочки и пироги со свиной —

Лондона, причина и одновременно следствие несварения желудка. Мысль, что он встретился с подлинным гением, медленно доходила до его бостонского ума, но все же наконец в него проникла.

Затем наступила расплата — не для Суинберна, чей гений сомнению не подвергался, а для бостонского ума, который даже в своих высочайших взлетах не был, увы, *тоуепа̀геух*. После Вальпургиевой ночи, где правил Суинберн, Лонгфелло и Эмерсон показались ему ужасными, Лоуэлл вызывал сомнения, а Холмс представлялся смешным. Что мог извлечь из всего этого богатства робкий юнец, личный секретарь? Возможно, Милнс по доброте душевной полагал, что Суинберн найдет себе друга в Стёрлинге, но вряд ли он мог иметь в виду, что Генри Адамс способен возбудить в том хоть какой-то интерес. Генри Адамс мог заинтересовать Алджернона Суинберна не более, чем комету Энке. Что был он для него? Червяк. Соприкосновение с гением — урок наивысшего порядка: тут открываются пределы человеческого ума в одном из его аспектов. Но нельзя только получать, а дать взамен. Генри Адамсу было нечего — нечего даже предложить.

Суинберн тут же подверг Генри проверке, предложив на пробу одну из своих излюбленных тем — стихи Виктора Гюго, потому что в его глазах отношение к Виктору Гюго вернее и быстрее всего прочего определяло духовный уровень человека. Французская поэзия — лучшее мерило для иностранца; чтобы оценить французские стихи, даже слушая их чтение вслух, нужно обладать знанием языка и на редкость утонченным ухом. Поэтому необходимо и то и другое, иначе нет настоящей поэзии. У Адамса не было ни того, ни другого. Он так до конца жизни и не научился получать удовольствия от декламации французских стихов и не чувствовал их величия. Но тогда ему вовсе не хотелось обнаружить этот изъян перед Суинберном, и он попытался уклониться от настойчиво предлагаемого испытания, заговорив о своей любви к Альфреду де Мюссе. Но Суинберн и слушать его

не стал: Мюссе — совсем не то, птица не дальнего полета.

Адамс отдал бы весь мир, даже два, владей он ими, чтобы быть птицей такого полета, как Мюссе и тем более Гюго. Но ни его воспитание, ни его ухо ничего не могли ему подсказать, и он сдался. Суинберн предложил еще одну тему — Уолтер Сэвидж Лэндор. По сути дела, это было все то же. Суинберн восхищался английским языком Лэндора, ценя в нем те качества, которые превозносил во французском языке Гюго, и Адамс снова с треском срезался, потому что, припертый к стенке, сознался — и Гюго и Лэндор ему смертельно скучны. Этим все было сказано. Тот, кто не слышит поэзии ни Гюго, ни Лэндора, — человек конченный.

Приговор был справедлив, и Адамс никогда не просил его пересмотреть. Да, его вкус оставлял желать лучшего, как, возможно, и обоняние. Убитый грубостью своих чувств и инстинктов, Генри Адамс сознавал, что он не товарищ Суинберну. Пожалуй, он только действовал бы ему на нервы и через миллионы лет все равно не сравнялся бы с ним даже в поверхностном восприятии вещей. И все же ему не раз приходило на ум: неужели он так-таки не мог ничего предложить, что стоило бы внимания английского поэта. Разумеется, робкое поклонение в роли американской букашки, которая была бы лишь счастлива, если бы знала, как выражать обожание своему кумиру, не стоило ничего внимания. Только во Франции можно преклоняться и благоговеть, в Англии это выглядит нелепо. Даже Монктон Милнс, чувствовавший все величие Гюго и Лэндора, оказался почти так же беспомощен, как американский личный секретарь, когда столкнулся с ними лично. Десять лет спустя Адамс встретил Милнса на Женевской конференции, куда тот прибыл прямо из Парижа и весь бурлил от восторга, что нанес визит Виктору Гюго. «Меня, — рассказывал он, — провели в большую залу, где вдоль стен сидели на стульях женщины и мужчины, а сам Гюго — в глубине на троне. Все молчали. Наконец Гюго торжественным голосом изрек следующие слова: «Quant

à moi, je crois en Dieu!»¹ В ответ не раздалось ни звука. Только некоторое время спустя одна из женщин обронила, словно в раздумье: «Chose sublime! Un Dieu qui croit en Dieu!»²

В Лондоне разыграть подобный спектакль при всем желании было невозможно: актерам не хватало чувства сцены. Но даже личный секретарь не был его полностью лишен. Вернувшись в столицу, он поспешил к Пикерингу за экземпляром «Королевы Розамунды» — к тому времени, если Суинберн не шутил, Пикеринг продал уже семь книг. Когда появились «Стихи и баллады», которые сопровождал громкий успех и скандал, Адамс одним из первых приобрел экземпляр у Моксона. Если он и был повинен в неверии и сомнении, то с выходом в свет «Атланты в Каледонии» покаялся и замолил свои грехи, и, знай он, что его преклонение обрадует поэта, воздал бы ему такие же высокие почести, какие женщины из рассказа Милнса воздавали Гюго. Увы, в этом не было смысла.

По возвращении в Лондон трое молодых людей пошли каждый своим путем. Попытки Адамса завести друзей ни к чему не привели. «В лондонский сезон, — как говорил Милнс, — заводят знакомства и теряют друзей»; личные отношения в свете не завязываются. С Суинберном Адамс больше не встречался, если не считать случая, когда Монктон Милнс попросил всех бывавших у него во Фрайстоне принять участие в обеде, который он устраивал в пользу литературного фонда, и Адамс оказался за столом рядом с Суинберном, уже знаменитым, но этим соседством и исчерпалась их близость. Больше они никогда друг друга не видели. Олифанта Адамс встречал чаще; в свете его хорошо знали и любили, но и он канул в Лету. Стёрлинг из Кэра, после одной-двух попыток Адамса сблизиться с ним, также исчез из поля зрения, превратившись в сэра Уильяма Стёрлинга Макссуэлла. Единственная запись,

¹ Что до меня, то я в бога верую! (фр.).

² Как возвышенно! Бог, верующий в бога! (фр.).

сохранившая след от удивительного визита во Фрайстон, возможно, еще существует в журналах Сент-Джеймского клуба, в члены которого Генри Адамс тотчас по возвращении в Лондон был предложен Монктоном Милнсом, чью рекомендацию, насколько помнится, поддержал Трикупи и подтвердили Олифант и Ивлин Эшли. Список рекомендателей не отличался новыми именами, но в целом свидетельствовал, что личный секретарь понемногу движется в гору.

10. О НРАВСТВЕННОСТИ В ПОЛИТИКЕ (1862)

Когда Морана произвели в секретари, мистер Сьюард запросил посланника Адамса, не хотел бы он назначить на место помощника секретаря своего сына. Это было первое — и последнее — в жизни Генри Адамса предложение занять государственную должность, если, разумеется, он вправе отнести на свой счет предложение, сделанное его отцу. Им обоим такая перемена в его статусе показалась бесполезной. Помощником секретаря, лучше или хуже, мог быть любой молодой человек, помощником-сыном, в тот момент, лишь один. Добрая половина обязанностей, возложенных на Генри, касалась дома; иногда они требовали длительного отсутствия и всегда полной независимости от государственной службы. Генри занимал странное положение. Из любезности к посланнику британское правительство позволяло его сыну являться ко двору в качестве специального представителя, хотя он никого и ничего не представлял, а лет через пять-шесть сочли такое решение относительно его статуса противоречащим правилам. В миссии ему, как личному секретарю посланника, поручали секретарскую работу; на официальных приемах он находился при посланнике, на неофициальных — выступал просто как молодой человек без определенных занятий. С годами он стал находить в таком положении свои

преимущества. Его устраивало быть просто джентльменом, членом общества, как все. Положение его было противоречивым, но в то время многое противоречило правилам; а такое положение позволяло усвоить некоторые уроки, не предусмотренные правилами, — единственно ценное в аспекте воспитания, что он мог для себя извлечь.

В подобных обстоятельствах немногие молодые люди могли рассчитывать на большее. Весною и летом 1863 года государственный секретарь Сьюард изменил свое отношение к ведению иностранных дел. Перед лицом опасности он также кое-чему научился. Он наконец понял, что его официальные представители за рубежом нуждаются в поддержке. По официальной линии он мог снабжать их только депешами, которые не имели большой ценности; авторитет должности сам по себе даже в лучшем случае мало что значил для широкой публики. Правительствам приходилось иметь дело с правительствами, а не с отдельными лицами или с общественным мнением других стран. Чтобы воздействовать на мнение в Европе, американская точка зрения должна была получить признание частных лиц и поддержку американских интересов. Мистер Сьюард энергично взялся за дело, обратившись с призывом ко всем значительным американцам, с какими только мог снестись. Все они посетили миссию как люди более или менее свои, и Генри Адамс получил возможность познакомиться со всеми американцами, жившими в Англии, от банкиров до епископов, которые делали свое дело спокойно и толково, хотя со стороны их усилия, возможно, казались тщетными, а приверженность «влиятельных классов» своим предрассудкам — необоримой. Однако тщетными их усилия только казались; в итоге они принесли плоды, не говоря о том, что многому учили.

Среди этих джентльменов несколько явились непосредственно к посланнику помогать ему и сотрудничать с ним. Самым интересным из них оказался Терлоу Уид, предпринявший шаги в том направлении, в котором Генри Адамс

уже пытался что-то сделать, но по-мальчишески не соизмеряя своих возможностей. Мистер Уид занялся прессой и, к удивлению злорадствующих секретарей, начал с того, что они по опыту считали неизменной ошибкой всех дипломатов-любителей, — с писем в лондонскую «Таймс». Возможно, это и было ошибкой, но мистер Уид вскоре завладел всеми нитями и безукоризненно проделал то, что требовалось. К его работе в прессе личный секретарь не имел отношения, но сам мистер Уид его очень заинтересовал. Терлоу Уид воплощал собой то лучшее, что могла дать Америка. Это был человек, обладавший от природы мощным и превосходно дисциплинированным умом, редким самообладанием, которое его, по-видимому, никогда не покидало, безупречной манерой поведения в духе благожелательного простодушия, свойственного Бенджамину Франклину. Никто не умел лучше проводить свою политическую линию и с таким спокойствием говорить с людьми. Но более всего личного секретаря восхищала в нем способность завоевывать доверие. Из всех цветов, выращиваемых в садах воспитания, доверие попадалось все реже и реже, и Генри до самого отъезда мистера Уида следовал за ним по пятам, не только из послушания — послушание уже давно стало слепым инстинктом, — а скорее из чувства симпатии и любви, совсем как маленькая собачонка за своим хозяином.

Уид располагал к себе не только талантом управлять людьми, хотя за всю свою жизнь Адамс не встретил никого, кто был бы равен или близок ему в этом искусстве; доверие к себе Уид вызывал отнюдь не каскадом деклараций, нравственных или социальных. Он сокрушал и побеждал цинизм своим бескорыстием. Ни в одном человеке, обладавшем такой же степенью власти, Адамс не встречал ничего подобного. У всех людей власть и известность неизбежно приводят к гипертрофии собственного «я», своего рода злокачественной опухоли, которая в итоге убивает в своей жертве чувства к другому человеку, развивая нездоровый аппетит, подобный страсти к алкоголю или извращенным влечениям, и вряд ли

найдутся достаточно сильные слова, чтобы заклеить порожденный этой болезнью эгоизм. Терлоу Уид был исключением из общего правила, редким экземпляром с врожденным иммунитетом к подобному недугу. Он думал не о себе, а о том, с кем говорит. Предпочитал оставаться на заднем плане. Ничего не домогался. Ему нужна была реальная власть, а не должность. Должности он раздавал десятками, не претендуя ни на одну из них. Природа наградила его инстинктом высшей власти: он давал, но не получал. Это редкостное превосходство над политическими деятелями, которых он контролировал, возбудило в Адамсе удивление и любопытство, но когда он попытался разобратся, что лежит в основе этого превосходства, и извлечь из богатого опыта мистера Уида для себя урок, то открывшийся ему механизм оказался еще интереснее. Умение управлять людьми было у мистера Уида в крови, и занимался он этим, так сказать, из любви к искусству, как иные играют в карты; он распоряжался людьми, словно они были только карты в его игре, сам же, по-видимому, чувствовал себя чем-то вроде банкмета. Ему и в голову не приходило считать себя одним из них. Но когда однажды, после того как Уид с присущим ему юмором рассказал несколько историй из своего политического опыта — историй, которые звучали непривычно грубо даже для олбанского л о б б и , — и Генри, набравшись смелости, спросил: «Так что же, мистер Уид, вы считаете, что ни одному политику верить нельзя?», тот, задумавшись на мгновение, ответил в своей мягкой манере: «Я не советовал бы молодому человеку начинать с такого убеждения!»

Тогда этот урок был воспринят Адамсом в нравственном смысле, и слова мистера Уида прозвучали так, как если бы он сказал: «Юность нуждается в иллюзиях!» С возрастом Адамсу стало казаться, что мистер Уид имел в виду нечто иное: он учил его политической игре. Молодые люди по большей части страдают отсутствием опыта. Они не могут вести игру успешно, так как не знают общего правила —

того, что у каждой карты есть свое достоинство и что ставить надо не на принципы, а на карты по их достоинству. Генри понимал, что никогда не научится политической игре на столь высоком уровне, на каком вел ее Уид: она была противопоказана его воспитанию и нервной системе, хотя это не мешало ему испытывать тем большее восхищение способностями политического виртуоза, который, играя, полностью отказывается от своего «я» и своего характера. Генри отметил, что большинство великих политических деятелей прошлого, вошедших в историю, по-видимому, смотрели на людей как на фишки. Разбираться во всем этом было тем более интересно, что как раз в то время из Нью-Йорка прибыл еще один известный политический деятель — Уильям М. Эвартс, любивший порассуждать на те же темы. Он был послан в Лондон госсекретарем Сьюардом на роль советника по юридическим вопросам, и Генри завязал с ним знакомство, которое вскоре перешло в тесную дружбу. Эвартс был также аналитиком по части морали; для него вопрос стоял так: в каких пределах политик может оставаться верным нравственным принципам? «Мир способен переваривать правду лишь небольшими дозами и , — рассуждал он . — Слишком много правды для него смертельно». Политику, считал он, важно уметь верно определить дозу.

Воззрения Уида и Эвартса отражали реальное положение вещей, и в дальнейшем Генри Адамс всегда учитывал их оценки. Англия могла переваривать правду лишь в малых дозах. Англичане — такие, как Пальмерстон, Рассел, Бетелл, и общество, представленное газетами «Таймс» и «Морнинг пост», равно как и тори, которых представляли Дизраэли, лорд Роберт Сесил и газета «Стандард», — преподносили уроки, вызывавшие отвращение и тревогу. Вопреки совету мистера Уида Генри в ту пору уверовал в их лживость и вероломство. Был ли Генри прав? Ответ на этот вопрос составлял главную цель его с таким трудом приобретаемого дипломатического воспитания, которое было уже оплачено столь непомер-

ной и грозившей стать разорительной ценой. Но жизнь меняла фронт в зависимости от того, с кем, на ваш взгляд, вы имели дело — с честными людьми или с проходимцами.

До сих пор личный секретарь имел все основания считать, что мир бесчестен. Но то, что убеждало Генри, не вполне убеждало его отца, и, разумеется, сомнения, высказываемые посланником, сильно подрывали уверенность сына, хотя на практике, и прежде всего ради собственной безопасности, в американской миссии не слишком-то полагались на безупречность английских министров, и дипломатическое воспитание Генри Адамса началось с недоверия к ним. Признание за Конфедерацией статуса воюющей стороны, всевозможные маневры вокруг Парижской декларации, инцидент с «Трентом» — все это подтверждало мнение, что начиная с мая 1861 года лорд Рассел исходит в своей политике из признания Конфедерации, и каждый предпринимаемый им шаг доказывал, что он твердо придерживается этой линии: он ни за что не соглашался воспрепятствовать признанию Конфедерации и ждал только удобного случая для вмешательства в американские дела. Все эти пункты были настолько явны, настолько самоочевидны, что никто в миссии даже не пытался подвергнуть их сомнению, тем паче обсуждению, и только сам Рассел упорно отрицал любые обвинения и настойчиво продолжал убеждать посланника Адамса в своем честном и беспристрастном нейтралитете.

Со всей заносчивостью ретивой юности Генри Адамс заключил, что граф Рассел — как и все государственные деятели — лжет; и, хотя посланник думал иначе, он все же действовал так, как если бы лорд Рассел говорил неправду. Месяц за месяцем с математической точностью по ступеням выстраивалось доказательство обмана — поучительнейший воспитательный курс, какой когда-либо мог пройти молодой человек. Самые дорогостоящие наставники были предоставлены ему за общественный счет — лорд Пальмерстон, лорд Рассел, лорд Уэстбери, лорд Селборн, м-р Гладстон, лорд

Гранвилл и иже с ними, оплачиваемые британским правительством; Уильям С. Сьюард, Чарлз Фрэнсис Адамс, Уильям Максуелл Эвартс, Терлоу Уид, нанятые американским правительством; но пользу из всего этого огромного штата учителей извлекал лишь один ученик. Только личный секретарь жаждал получить от них урок.

В преподанных ими тогда уроках он разбирался до конца своей жизни. Ни одно доказательство не было более запутанным. Философская доктрина Гегеля о единстве противоположностей усваивалась проще и легче. Тем не менее ступени доказательства были ясны. Первая определилась в июне 1862 года, когда, после того как один из конфедератских крейсеров ушел в открытое море, посланник выразил протест по поводу явно готовящегося бегства броненосца «№ 290». Лорд Рассел отказался принять какие-либо меры на основании представленных улик. А между тем улики посылались ему чуть ли не через день, а 24 июля к ним присовокупили юридически обоснованное мнение Кольера, которое гласило: «Трудно указать на более кричащий случай нарушения «Акта о найме иностранцев на военную службу», неприменение которого в данных обстоятельствах равнозначно превращению закона в „мертвую букву"». Это означало почти прямое обвинение Рассела в сговоре с агентами мятежников, в намерении содействовать Конфедерации. Тем не менее четыре дня спустя, несмотря на предостережения со стороны американской миссии, граф Рассел дал возможность и этому судну выйти в открытое море.

Юного Адамса в этом деле интересовала не правовая сторона, это касалось его начальства. В вопросах права он полагался на правоведов. Его интересовало другое — возможно ли, вопреки совету Терлоу Уида, доверять человеческой натуре, когда речь идет о политике? Таков был вопрос. История отвечала на него отрицательно. Сэр Роберт Кольер, по видимому, полагал, что Право согласно с Историей. В аспекте воспитания ответ на этот вопрос имел первостепенное

значение. Если нельзя доверять десятку наиболее уважаемых в мире лиц, составляющих кабинет Ее Величества, следовательно, ни одному смертному доверять нельзя.

Чувствуя, очевидно, силу этого довода, лорд Рассел взялся его отвести. И до самой смерти старался вовсю. Сначала он оправдывался, перекладывая вину на чиновников судебного ведомства. В практике политиков это был испытанный ход, но судебное ведомство его пресекло. Затем он признал себя виновным в преступной небрежности, заявив в своих «Воспоминаниях»: «Я полностью согласен с мнением лорда главного судьи: да, те четыре дня, в течение которых я ждал решения королевских юристов, крейсер «Алабама» должен был находиться под стражей. И я полагаю, что ответственность за совершенную оплошность лежит не на таможенных чиновниках, а на мне — министре иностранных дел». Такое признание устроило все партии. Разумеется, виноват Рассел! Но главное заключалось не в том, виноват он или не виноват, а в том, каковы были его побуждения. Для молодого человека, пытающегося извлечь из политики урок, история теряла смысл, если в постоянной системе ошибок нельзя было найти постоянно вызывавшую их причину.

Его отцу этот вопрос не казался столь сложным — обычное практическое дело, с которым надо справиться, как справляются с контрактами и заказами Уид и Эвартс. Посланник Адамс придерживался удобного для него мнения, что в главном Рассел ему не лжет; такая точка зрения отвечала его целям, и он не изменил ей до самой смерти. Генри Адамс преследовал иную цель: он стремился извлечь из этого случая жизненный урок, он хотел знать, можно ли доверять политическому деятелю — хотя бы одному. Увы, тогда никто не мог ему этого сказать: никто не знал всех фактов. Посланник Адамс умер, так их и не узнав. Прошли годы, прежде чем они стали частично известны Генри Адамсу, которому к тому времени было уже больше лет, чем его отцу в 1862 году. А самый любопытный — даже по тем временам — факт

состоял в том, что Рассел искренне верил, будто руководствовался честными намерениями, да и герцог Аргайльский тоже этому верил.

Герцог Аргайльский был весьма не прочь свалить вину на Уэстбери, который тогда занимал пост лорд-канцлера, но этот ход ровным счетом ничего не объяснял. Напротив, лишь запутывал дело Рассела. В Англии одна половина общества охотно бросала камни в лорда Пальмерстона, другая с удовольствием поливала грязью лорда Рассела, и обе вместе, без различия партий, метали в Уэстбери все что ни попадало под руку. Личный секретарь не имел насчет его светлости ни малейших сомнений: лорд Уэстбери никогда не давал себе труда притворяться нравственным. Он был мозгом и сердцем всех баталий, возникавших в связи с отношением к мятежникам, а его мнение о нейтралитете отличалось такой же ясностью, как и относительно нравственности. Генри не приходилось иметь с ним дело — к сожалению, ибо лорд Уэстбери был человеком в высшей степени остроумным и мудрым, но в меру своего авторитета всем своим поведением утверждал: в политике нельзя доверять никому! Таков закон.

Тем не менее Рассел упорно настаивал на честности своих намерений, сумев убедить в этом герцога Аргайльского и посланника Адамса. В миссии его заявления принимались как заслуживающие доверия. Там знали — да, лорд Рассел уповает на конечную победу мятежников, но верили — активно содействовать им он не станет. На этом — и больше ни на чем — основывалась хрупкая надежда американских дипломатов продержаться в Англии еще какой-то срок. Посланник Адамс оставался там еще долгих шесть лет, а вернувшись в Америку, вел деятельную общественную жизнь и умер в 1886 году, продолжая верить в честность графа Рассела, умершего восьмью годами раньше. Но в 1889 году Спенсер Уолпол опубликовал официальное жизнеописание графа Рассела, где частично рассказал историю бегства «Алабамы», которая не была известна посланнику и так поразила его

сына. Генри Адамс многое бы дал, чтобы узнать, как воспринял бы ее его отец.

А история эта сводилась к следующему: из-за небрежности лорда Рассела, в которой он сам признался, крейсер «Алабама» ускользнул в открытое море 28 июля 1862 года. В Америке 29 и 30 августа федеральные войска потерпели сокрушительное поражение при Ричмонде и вторично при Булл-Ране; 7 сентября Ли вторгся в штат Мэриленд. Известие об этом достигло Англии 14 сентября и, естественно, породило там мысль, что дело движется к концу. Ожидалось, что следующим будет сообщение конфедератов о падении Вашингтона или Балтимора. В тот же день, 14 сентября, Пальмерстон писал Расселу: «Если это произойдет, то, не считаете ли Вы, что нам пора обсудить возможность при таких обстоятельствах обратиться от имени Англии и Франции к воюющим сторонам с предложением о соглашении на основе раздела».

Письмо это, вполне в духе предполагаемых воззрений лорда Пальмерстона, никого в миссии, дойди оно тогда до ее сотрудников, не удивило бы; и действительно, если бы генерал Ли захватил Вашингтон, никто не мог бы поставить Пальмерстону в вину предложение вмешаться в американские дела. Не письмо Пальмерстона, а ответ Рассела до боли поразил Генри Адамса как человека, искавшего нравственные нормы, чтобы судить о политических деятелях. Вот что ответил лорд Рассел.

Гота, 17 сентября 1862 г.

Мой дорогой Пальмерстон!

Независимо от того, будут ли федеральные войска уничтожены полностью, уже ясно, что они вынуждены отойти до Вашингтона и что они не сумели победить мятежные штаты. Ввиду этого, я согласен с Вами, наступило время предложить правительству Соединенных Штатов посредничество с целью

признать независимость Конфедерации. Я также согласен с тем, что в случае отказа нам следует признать южные штаты независимым государством. Для того чтобы предпринять этот важный шаг, нам, полагаю, необходимо собрать кабинет. Меня устроит, если мы соберемся 29-го или 30-го.

Если мы решимся на этот шаг, нам следует предложить его вначале Франции, а затем от имени Англии и Франции, как уже решенную к исполнению меру, России и другим державам.

Нам следует также обезопасить себя в Канаде: речь идет не о том, чтобы послать туда дополнительные войска, а о том, чтобы до наступления зимы сконцентрировать имеющиеся там контингенты в удобных для обороны пунктах...

Вот где, по-видимому, в полную силу обнаруживается практическая трудность извлечь из описываемых событий урок — трудность, которую поверхностный наблюдатель вряд ли способен преодолеть, и не столько из-за недостатка теоретических обоснований, или незнания фактов, или даже отсутствия опыта, сколько из-за непостоянства человеческой природы как таковой. Курс, проводимый лордом Расселом, оставался от начала до конца неизменен: английский министр иностранных дел явно намеревался признать Конфедерацию «с целью» разрушить Союз. Его письмо от 17 сентября прямоком выводится из его пособничества «Алабаме» и покровительства военному флоту мятежников, а весь излагаемый в нем план действий опирается на заявление от 13 мая 1861 года, в котором за южными штатами признавался статус воюющей стороны. Эта политика, несомненно, заранее обдуманная, могла проводиться только при намеренной бесчестности трех знаменитых государственных деятелей: Пальмерстона, Рассела и Гладстона. Что касается Рассела, то он отвергал обвинение в бесчестности, и Аргайл, Форстер, а с ними большинство англичан — друзей Америки, как и послан-

ник Адамс, ему верили. Сыну посланника крайне хотелось бы знать, что подумал бы его отец, если бы мог ознакомиться с письмом Рассела от 17 сентября, но еще больше ему хотелось знать, что подумал бы отец об ответе Пальмерстона от 23 сентября: «К северо-западу от Ричмонда, — писал Пальмерстон, — сейчас, очевидно, идут тяжелые бои, и их исход будет иметь огромное влияние на положение дел. Если федералисты потерпят значительное поражение, они, пожалуй, созреют для нашего посредничества, а ковать железо надо, пока оно горячо. Если же, напротив, они выйдут победителями, мы подождем и посмотрим, что за этим последует...»

Пальмерстон и Рассел поменялись ролями. Рассел пишет то, что можно было ожидать от Пальмерстона, и даже сильнее, а Пальмерстон — то, что следовало ожидать от Рассела, и даже скромнее. Личный секретарь полностью ошибался на их счет, но это его и тогда не слишком бы удивило, хотя он был бы крайне удивлен, узнав, что даже ближайшие соратники обоих лордов знали об их намерениях немногим больше, чем сотрудники американской миссии. Самым доверенным их лицом из всех членов кабинета был лорд Гранвилл, которому Рассел и написал письмо сразу же вслед за посланием к лорду Пальмерстону. Гранвилл ответил незамедлительно, выразив решительный протест против признания Конфедерации, и Рассел переслал этот ответ Пальмерстону, который вернул его 2 октября, ограничившись предложением дожидаться дальнейших сообщений из Америки. Тогда же Гранвилл отправил письмо другому члену кабинета, лорду Стэнли-Олдерли, — письмо, опубликованное сорок лет спустя в «Жизни» Гранвилла (I, 442), любопытнейший и поучительнейший в глазах личного секретаря отголосок всей этой истории, послужившей ему уроком в политике. «...Я сообщил Джонни, — писал Гранвилл, — причины, по которым считаю это решительно преждевременным. Однако, полагаю, Вы поступили бы так же. Пальм, Джонни и Гладстон выска-

жуются «за» и, вероятно, Ньюкасл. Не знаю насчет других. Мне это кажется грубой ошибкой...»

Из двенадцати членов кабинета Гранвилл — наиболее из них осведомленный — мог назвать лишь троих, которые высказались бы за признание Конфедерации. Даже личный секретарь полагал, что знает столько же, если не больше. Не только молодые и малые мира сего ничего не знали, и не только они страдали слепотой. Из письма Гранвилла ясно лишь одно: ему ничего не известно о каком-либо твердом плане или сговоре. Если таковой существовал, в нем участвовали Пальмерстон, Рассел, Гладстон и, возможно, Ньюкасл. В миссии обо всем этом было известно, проявление же излишней подозрительности не доводит до добра.

Тем временем, 3 октября, Лондона достигла весть о сражении при Антьетаме и отступлении генерала Ли в Виргинию. Стала известной и Прокламация об освобождении рабов. Если бы личный секретарь знал то, что знали Гранвилл и Пальмерстон, он, разумеется, счел бы, что опасность миновала — по крайней мере на время, и любой благоразумный человек подтвердил бы ему, что все страхи позади. Этот урок был бы неоценим, но тут на сцене внезапно появился новый актер и с таким бравурным монологом, что рядом с ним поступки Рассела показались верхом благоразумия, а всяческие заботы о воспитании ума и сердца излишними.

Этим новым актером, как всем известно, был Уильям Юарт Гладстон, занимавший тогда пост канцлера казначейства. Если в сфере мировой политики существовала хотя бы одна неизбежная точка отсчета, хоть одна постоянная величина, хоть одна твердая опора, то это была британская казна, и если существовал человек, которого, несомненно, можно было считать разумным в силу главного своего интереса, то это был тот, кто ведал финансами Англии. Если воспитание имело хоть малейшую цену, то в ком ему было проявиться, как не в Гладстоне, воспитанном и получившем образование

по высшим канонам, какие знала Англия. У кого, как не у него, следовало брать уроки личному секретарю.

И вот какой урок он получил. 24 сентября Пальмерстон сообщил Гладстону о предложении вмешаться в американские дела. «Вы, если не ошибаюсь, — писал он, — одобрите такой курс действий». На следующий день Гладстон ответил, что «рад узнать то, о чем сообщил ему премьер-министр, и хотел бы, чтобы заседание кабинета состоялось скорее, в особенности по двум причинам: первая — быстрое продвижение южных вооруженных сил и расширение области, где к ним относятся с пониманием; вторая — риск вызвать бурю нетерпения в текстильных городах Ланкашира, что умалит достоинство и бескорыстие предполагаемого вмешательства».

Если бы Генри Адамс видел тогда это письмо, оно, вероятно, заставило бы его прийти к заключению, что образованнейший в Англии джентльмен не знает того, о чем говорит, — заключение, которое в мире сочли бы неприемлемым со стороны какого-то личного секретаря. Но это были только цветочки. Договорившись с Пальмерстоном и Расселом о вмешательстве в американские дела, Гладстон продолжал размышлять над этим вопросом две последующие недели, от 25 сентября до 7 октября, когда ему предстояло выступить с речью на торжественном обеде в Ньюкасле. Он решил сделать на нем заявление о государственной политике с полной личной и официальной ответственностью. Решение это возникло отнюдь не под давлением внезапного импульса, а явилось результатом серьезных раздумий. «Продолжал размышлять над тем, что сказать о Ланкашире и Америке, — записал он в дневнике утром 7 октября. — Обе эти темы взрывоопасны». Вечером того же дня он намеренно, в качестве зрелого плода долгих размышлений, одарил слушателей своим знаменитым высказыванием:

«Нам превосходно известно, что американцы северных штатов еще не испили ту чашу — они по-прежнему пытаются оттолкнуть ее ото рта, — которую они тем не менее, как ясно

всему остальному миру, должны будут испытать. Мы можем иметь свое мнение насчет рабства, мы можем выступать за и против Юга; но совершенно бесспорно, что Джефферсон Дэвис и другие лидеры Юга создали армию, создают, по всей очевидности, военный флот и создали то, что важнее армии и флота, — они создали нацию...»

Оглядываясь сорок лет спустя на этот эпизод, нельзя не спросить себя с болью, какого рода урок мог извлечь молодой человек из этих всемирно известных положений великого учителя политической мудрости. Тогда, в пылу страсти, они толкали к весьма неприглядным нравственным выводам — но таким ли уж неверным? Сформулированные жестко и прямо, как правила поведения, они вели к наихудшим, в нравственном смысле, поступкам. В этом плане между Гладстоном и Наполеоном нельзя было обнаружить и тени различия, разве только в пользу Наполеона. И Генри Адамс не видел между ними разницы. Он воспринял слова Гладстона однозначно; он счел урок преподанной ему политической морали усвоенным, предупреждение о расторжении контракта должным образом врученным, а свое воспитание в Англии законченным.

Все вокруг считали так же; Сити охватило смятение. Всякое воспитание надлежит заканчивать, как только оно достигло цели. Тогда вас одолевает меньше сомнений, и вы увереннее вступаете в мир. Старомодная драма требовала единой и четкой идеи; нынешняя являет собою загадку, лишённую смысла и даже интриги. После того как Гладстон произнес свою речь, можно было с полным правом считать, что драма окончена; никто не мог утверждать, что она только начинается; что с такими муками полученный урок ничему не послужит.

Даже теперь, сорок лет спустя, большинство людей отказываются этому верить и по-прежнему считают Гладстона, Рассела и Пальмерстона подлинными злодеями мелодрамы. Особенно вескими выглядят свидетельства против Гладстона.

Ни один министр, член полномочного правительства, не вправе употребить слово «должны» по отношению к другому правительству, как это сделал Гладстон. А уж кто как не Гладстон вместе со своими чиновниками и приятелями из Ливерпуля знал, что именно они создают флот для мятежников-южан, тогда как Джефферсон Дэвис был тут ни при чем. Кому как не канцлеру казначейства, больше чем кому-либо из других министров, было известно, что Пальмерстон, Рассел и он сам объединились с тем, чтобы на следующей неделе провозгласить Конфедерацию «нацией», хотя лидеры Юга не питали пока никаких надежд на «создание нации», разве только стараниями английского кабинета. Эти мысли приходили тогда в голову каждому, а время их подтвердило. За всю историю политического блуда ни один проходимец от современной цивилизации не являл собою худшего примера развращенности. Недаром даже Пальмерстон пришел в ярость от гладстоновской речи и немедленно побудил сэра Джорджа Корнуэлла Льюиса отмежеваться от канцлера казначейства, против которого тот сразу поднял кампанию в печати. Пальмерстон не собирался позволить Гладстону водить своей рукой.

Рассел вел себя иначе: он соглашался с Пальмерстоном, но следовал Гладстону. Создав новое евангелие невмешательства для Италии, которое проповедовал с рвением апостола, он с удвоенной силой, словно рупор Венского конгресса, ратовал за вмешательство в американские дела. В октябре он официально объявил членам кабинета о заседании, намеченном на 23 октября, для обсуждения «лежащего на Европе долга предложить — в самых дружеских и примирительных выражениях — обеим сторонам сложить оружие». Тем временем посланник Адамс, крайне обеспокоенный и глубоко взволнованный ходом событий, хотя ничем не выдававший своей тревоги, намеренно не спешил обращаться к Расселу за разъяснениями. Негодование поведением Гладстона звучало в Англии все громче и громче; все знали, что заседание

кабинета состоится 23 октября и что на нем будет решаться вопрос о политике правительства по отношению к Соединенным Штатам. Лорд Лайонс отложил свой отъезд в Америку до 25 октября, несомненно, с тем, чтобы принять участие в обсуждении. Когда посланник Адамс попросил наконец Рассела принять его, тот назначил встречу на 23 октября. До последнего момента Рассел всеми своими действиями старался показать, что, по его мнению, необходимость вмешательства вызывает сильные сомнения.

В ходе беседы посланник Адамс дал понять, что вправе получить разъяснения; он с вполне естественным интересом наблюдал за Расселом и вот что сообщил:

«Его светлость тотчас отозвался на мой намек, правда, с видом некоторого смущения. Мистера Гладстона, сказал он, крайне неверно поняли. Я, должно быть, уже видел в газетах опубликованные им письма, в которых содержатся его разъяснения. Он придерживается определенного мнения насчет характера происходящей в Америке борьбы, как и — подобно другим англичанам — по всем общественным вопросам, что вполне естественно. В Англии принято, чтобы общественный деятель высказывал то, что думает, в публичных выступлениях. И разумеется, не ему, лорду Расселу, дезавуировать что-либо сказанное Гладстоном, но он отнюдь не думает, что в высказываниях Гладстона содержится серьезное намерение оправдать те предположения, какие делаются по поводу планов правительства взять новый политический курс...»

Всякому, желающему изучать политические маневры свободных правительств, нельзя не поразмыслить о той морали, которая вытекает из «разъяснений», данных поведению Гладстона графом Расселом. Напомним — нас, как первое условие политической жизни, интересует вопрос, можно ли верить политическому деятелю или полагаться на его слово. Вопрос, которым задавался Генри Адамс, перебеляя депешу от 24 октября 1862 года, состоял в том, верил ли, или должен был

верить, его отец хотя бы единому слову «смущенного» лорда Рассела. «Правда» оставалась неизвестной еще тридцать лет, и когда она стала достоянием гласности, то показалась обратной тому, что утверждал граф Рассел. Речь мистера Гладстона как раз целиком вытекала из проводимой Расселом политики вмешательства и явно имела целью обнародовать «планы в правительстве взять» именно этот «новый политический курс». Граф Рассел не пожелал отмежеваться от слов Гладстона, хотя лорд Пальмерстон и сэр Джордж Корнуэлл Льюис немедленно это сделали. Насколько Генри Адамс мог проникнуть в сию тайну, Гладстон точно выразил намерения графа Рассела.

В аспекте политического воспитания это был существеннейший урок: им решался закон жизни. Все поименованные джентльмены принадлежали к высшей знати — выше некуда. Если нельзя верить им, правда в политике — химера, на которую незачем обращать внимание. Вот почему Генри Адамсу казалось необходимым составить себе определенное мнение, которое позволило бы подвести этот случай под общий закон. Посланник Адамс также испытывал в этом потребность. Он решительно заявил Расселу, что, поскольку тот «склонен считать невиновным» Гладстона в «сознательном намерении спровоцировать самые пагубные последствия», он вынужден сказать, что Гладстон действовал так, как если бы их, несомненно, имел; но это обвинение, которое било сильнее по тайной политике Рассела, чем по явной ее апологии со стороны Гладстона, Рассел постарался, как мог, отвести:

«...Его светлость дал со всей возможной осторожностью понять, что лорд Пальмерстон и другие члены правительства сожалеют о случившемся и сам мистер Гладстон готов устранить, насколько это в его силах, искажения, допущенные в толковании его речи. Правительство по-прежнему намерено придерживаться позиции полного нейтралитета и невмешательства, прямого или косвенного, в конфликт, дав ему разрешиться естественным путем. Однако он не может пред-

сказать, какие обстоятельства возникнут на протяжении ближайших месяцев. Я отвечал, что такой политический курс нас удовлетворяет, и спросил, должен ли я понимать его слова в том смысле, что никаких перемен в принятом курсе не предполагается. На что он ответил утвердительно...»

Больше посланнику Адамсу не дано было узнать. Он пребывал в убеждении, что Расселу можно доверять, а Пальмерстону — нет. Таково было традиционное мнение, которого держались все дипломаты, в особенности русские. Возможно, оно имело основания, но никоим образом не содействовало политическому воспитанию Генри Адамса. Теория уловок и обманов не давала более надежного ключа, чем по-старомодному откровенная теория открытого грабежа и насилия. Ни та, ни другая не была разумной.

Посланник Адамс так и не узнал, что всего несколько часов назад граф Рассел предлагал кабинету вмешаться в американские дела и что кабинет высказался против. Посланнику представили дело так, будто заседание кабинета не состоялось, а его решения не носили официального характера. Однако биограф Рассела сообщает, что «после приглашения Рассела, датированного 13 октября, члены кабинета явились 23 октября на заседание со всех концов страны, но... они выразили сомнение по поводу необходимости изменений в политике, или ее изменения, в тот момент». Герцог Ньюкасл и сэр Джордж Грей примкнули к Гранвиллу, выступившему против. Насколько известно, только Рассел и Гладстон высказались «за». «Ввиду изложенных соображений вопрос далее не рассматривался».

Никто еще пока не сказал в полный голос, что решение это носило официальный характер; возможно, из-за единодушия оппозиции официальное заседание стало ненужным, но несомненно, что всего за один или два часа до этого решения «его светлость заявил [посланнику Соединенных Штатов], что правительство будет придерживаться твердого нейтралитета и даст борьбе разрешиться естественным пу-

тем». Когда же мистер Адамс, не удовлетворившись даже таким положительным заверением, потребовал категорического ответа, спросив Рассела, должен ли он понимать его слова в том смысле, что политика сейчас не будет изменена, тот ответил: «Нет, не будет».

Надо думать, посланник — как впоследствии и его личный секретарь — с интересом ознакомился бы с пояснениями, представленными по этому поводу сорок лет спустя Джоном Морли в его книге «Жизнь Гладстона».

«Если этот рассказ точен, — рассуждает Морли по поводу сообщений об этих событиях, опубликованных в те дни и до сих пор не подвергавшихся сомнениям, — в таком случае министр иностранных дел в своем толковании понятия «строгий нейтралитет» не исключал, говоря языком дипломатов, „добрых усил“».

Толкование лордом Расселом понятия «нейтралитет» не представлялось Генри Адамсу столь существенным; его интересовали прежде всего истинные намерения британского министра, он хотел знать — преследовало ли это толкование какую-либо иную цель, кроме обмана посланника Соединенных Штатов.

Сойдя в могилу, можно позволить себе, не жалея, лить слезы, и, надо полагать, граф Рассел был искренне рад наконец объясниться со своим личным другом, мистером Адамсом; но у того, кто еще живет на свете, хотя и избегает людской толпы, непрерывной чередой, словно дни, возникают сомнения. Не берусь решать за посланника, но его личного секретаря британский министр полностью тогда ввел в заблуждение: 23 октября политика невмешательства не была утверждена. Уже на следующий день, 24 октября, Гладстон направил Дж. К. Льюису свое повторное возражение, настаивая на том, что Англия, Франция и Россия обязаны вмешаться в американские дела, выразив «с присущим им авторитетом и нравственной силой мнение всего цивилизованного мира по поводу создавшегося в Соединенных Штатах

положения». Нет, ничего еще не было решено. Каким-то образом — едва ли случайным! — французский император вдруг пришел к мысли, что его влияние может перетянуть чашу весов, и десять дней спустя после своего категорического «нет» граф Рассел ответил на официальное предложение Наполеона категорическим «да», изъявив полную готовность действовать соответственно. 11 ноября кабинет собрался вновь. И на этот раз пусть о дебатах расскажет сам Гладстон. Вот что он писал:

«11 ноября. Сегодня состоялось заседание кабинета, и оно продолжится еще и завтра. Боюсь, мы мало продвинемся, а скорее всего, ничего не сделаем по вопросу об Америке. В любом случае я сообщу Вам точные сведения. Лорд Пальмерстон и Рассел *правы*.

12 ноября. Вопрос о Соединенных Штатах решен, но очень дурно. Лорд Рассел дал задний ход. Он отступил, не устояв в бою, который сам же начал. Все же, хотя в данный момент мы не достигли цели, резюме построено на таких мотивах и выражено в таких терминах, которые оставляют вопрос открытым для решения в будущем.

13 ноября. Французы, полагаю, не преминут обнародовать наш ответ касательно Америки; по крайней мере это вполне возможно. Надеюсь, однако, они не сочтут его окончательным отказом и, уж во всяком случае, предпримут самостоятельные действия. Совершенно ясно, что мы совпадаем с ними во мнении, что война должна прекратиться. Пальмерстон оказал предложению Рассела слабую и нерешительную поддержку».

Сорок лет спустя, когда все свидетели описываемых событий, кроме самого Генри Адамса, уже умерли, он, прочитав эти строки, невольно замер в оцепенении и решил показать их Джону Хею, на которого они произвели даже более ошеломляющее впечатление. Что же это такое? Все

в мире действовали словно наперекор друг другу; никто никого не понимал, не понимал и самой ситуации; все шли по ложному следу, делали ложные выводы, не зная фактов. Лучше бы вообще не делали никаких выводов! Грош цена такому дипломатическому воспитанию — сплошной ряд ошибок!

Вот условия неповторимой исторической задачи, как они представлялись начинающему дипломату в 1862 году. 14 сентября Пальмерстон, полагая, что президент вот-вот будет изгнан из Вашингтона, а потомакская армия распущена, дал понять Расселу, что в таком случае вмешательство оправданно. Рассел тотчас ответил, что он поддерживает вмешательство в любом случае и что для этой цели немедленно собирает кабинет. Пальмерстон заколебался, Рассел настаивал, Гранвилл протестовал. Тем временем, 17 сентября, армия мятежников потерпела поражение при Антьетаме и была изгнана из Мэриленда. Тогда 7 октября Гладстон попытался подтолкнуть Пальмерстона, представив вмешательство как *fait accompli*¹. Рассел это одобрил, но Пальмерстон побудил сэра Джона Корнуэлла Льюиса возразить Гладстону и резко осудить его в печати — как раз в тот момент, когда Рассел собрал кабинет, чтобы подтвердить слова Гладстона действиями. 23 октября Рассел заверил Адамса, что никто не предлагает изменений в политике. В тот же день он предложил изменение в политике, но не получил одобрения кабинета. Тотчас же в качестве союзника Рассела и Гладстона возник Наполеон со своим предложением, которое имело единственный смысл — подкупить Пальмерстона. Французский император предлагал вернуть Америку — всю, от границы до границы, — в прежнее, зависимое от Европы положение, восстановив Англию в ее прежнем статусе владычицы морей на том условии, что Пальмерстон поддержит притязания Франции в Мексике. Зная Пальмерстона, молодой дипломат

¹ Свершившийся факт (*фр.*).

должен был счесть само собой разумеющимся, что Пальмерстон, как вдохновитель этой идеи, несомненно, ее поддерживает; зная Рассела и его политическое прошлое как члена партии вигов, он должен был прийти к выводу, что Рассел непременно выскажется против; зная Гладстона и его высокие принципы, он не мог сомневаться, что Гладстон с возмущением отвергнет этот план. Если дипломатическая наука чего-то стоила, то это была единственно возможная расстановка сил и лиц, какую мог представить себе понаторевший в этой науке дипломат; и девять человек из десяти действительно принимали такую расстановку за исторический факт. На самом деле он, как и все остальные, оценивал ее неправильно. Пальмерстон ни разу не выразил одобрения этому плану и оказал ему лишь «слабую и нерешительную поддержку». Рассел отступил, не «устояв в бою, который сам же начал». Единственным решительным, энергичным, сознательным сторонником Рассела, Наполеона и Джефферсона Дэвиса выступил Гладстон.

Другим не грех и посмеяться над промахами молодого человека, но Адамсу было не до смеха: если он неверно усвоил такой важный урок, лучшая часть его жизни прошла впустую. Генри Джеймс тогда еще не научил мир читать пухлый том ради удовольствия наблюдать, как писатель направляет свое увеличительное стекло, поочередно высвечивая то одну, то другую сторону все той же фигуры. Психология как наука была еще примитивна, а английский характер в его худшем — или лучшем — варианте никогда не отличался утонченностью. Кто же мог поверить, что камнем преткновения на пути постижения Пальмерстона, Рассела и Гладстона оказалась сложность их психики. Конечно, при очень сильном свете человеческая природа всегда кажется сложной и полной противоречий, но британские государственные мужи принадлежали скорее к наименее сложным натурам.

Сложными этих джентльменов никак нельзя было на-

звать. Разве только Дизраэли. Пальмерстон, Рассел и Гладстон вводили в заблуждение только в силу своей примитивности. Самым интересным объектом для изучения был Рассел, потому что его поведение казалось более всего подобающим государственному деятелю. Все, что делал Рассел начиная с апреля 1861 и кончая ноябрем 1862 года, самым явным образом свидетельствовало о решимости разрушить Союз. Единственное, в чем, наблюдая характер Рассела, не приходилось сомневаться, — это в отсутствии порядочности. Он был человеком абсолютно бесчестным, но с сильной волей. Говорить одно, а делать другое вошло у него в привычку. Сам он, казалось, не сознавал несоответствия между своим словом и делом, даже когда его в этом уличали — что его противники имели обыкновение постоянно делать, не стесняясь в выражениях. Что касается Гражданской войны в Америке, то тут, по наблюдениям Генри Адамса, он один из всех проявлял настойчивость, даже упрямство, в проведении определенной линии, которую по мере необходимости поддерживал обычной ложью. Генри Адамса возмущала не ложь — напротив, он даже гордился тем, с какой пронизательностью умел ее обнаруживать, — его угнетала мысль, что Рассел считает себя человеком правдивым.

Юный Адамс считал графа Рассела государственным деятелем старой школы; ясно видящим поставленную цель и неразборчивым в средствах, бесчестным, но сильным духом. Рассел с жаром утверждал, что у него нет никаких целей и хотя он, возможно, человек слабый, но прежде всего честный. Посланник Адамс верил Расселу в личных отношениях, но в официальных практически ни в чем на него не полагался. «Панч» до 1862 года обычно изображал Рассела школьником-лгунишкой, а позже — преждевременно — в семьдесят-то лет! — одряхлевшим старикашкой. Жизненный опыт здесь вряд ли мог помочь: никто, ни в Англии, ни за ее пределами, не сумел дать рационального объяснения феномену графа Рассела.

Пальмерстон был предельно прост — так прост, что Адамс в нем совсем не разобрался, — но едва ли намного больше, чем Рассел, соответствовал создавшемуся о нем представлению. Весь мир считал его человеком, уверенным в себе, решительным, бесстрашным, меж тем как факты его жизни свидетельствуют, что он был осторожен, осмотрителен, боязлив. Посланнику Адамсу он казался воинственным и агрессивным, меж тем как в биографиях Рассела, Гладстона и Гранвилла он изображен человеком легким, миролюбивым, даже миротворцем, избегающим ссор. Посланника он поразили тем, что пресек нападки на генерала Батлера. Пытался урезонить Рассела. Обругал Гладстона. Отказался поддержать Наполеона. Ни один государственный деятель, кроме Дизраэли, не говорил об Америке в таком осмотрительно-уклончивом тоне. Пальмерстон никогда не опускался до лжи, не давал никаких фальшивых заверений, не скрывал существующих мнений, ни разу не был уличен в двойной игре. После сорока лет закоренелой неприязни и недоверия к Пальмерстону, после злословия на его счет Генри Адамсу пришлось признаться, что в своем отношении к нему он был не прав, и заставить себя — в душе, ибо к тому времени сам уже был почти такой же мертвец, как все те, о ком писал, — попросить у него прощения. Вот где обнаружился убийственный провал в воспитании Генри Адамса!

Совсем иное дело Гладстон. Правда, трудности, одолевшие исследователя этого характера, казались меньшими, потому что их разделял весь мир, включая самого Гладстона. Он был клубком противоречий. Высочайший ум, анализируя феномен Гладстона, становился в тупик и не достигал ничего, кроме абсурда. Но ни один молодой человек 1862 года не мог бы достичь той степени абсурда, до которого договорился в 1896 году сам мистер Гладстон, засвидетельствовав и обнаружив его в своих мемуарах.

«Теперь мне предстоит рассказать о несомненной ошибке, — признавался он, — самой нелепой и явной и, добавлю,

наиболее непростительной из всех, какие за мной числятся, в особенности по той причине, что я совершил ее в 1862 году, когда уже прожил на свете добрую половину века... В разгар Гражданской войны в Америке я заявил, что Джефферсон Дэвис создал нацию... Как ни странно, но это заявление — совершенно недопустимое со стороны министра Ее Величества — было вызвано отнюдь не моей горячей приверженностью к Югу или враждой к Северу... Я действительно, как ни странно, искренне верил, что, признавая фактическое завершение войны, выражаю тем самым дружеские чувства всей Америке... Мое мнение основывалось на ложной оценке фактов. Но это еще полбеды. Хуже было то, что я не сознавал, насколько неуместно в устах члена кабинета подобное заявление о державе, с которой мы связаны узами крови и единым языком и по отношению к которой обязаны хранить нерушимый нейтралитет. Моя оплошность усугубилась еще и тем обстоятельством, что весь мир и без того ставил нам, так сказать, в вину (хотя на самом деле это было не так) нарушение законов нейтралитета в связи с пресловутыми крейсерами. Моя вина сводилась к ошибке, но к ошибке неимоверно грубой, которая влекла за собой нежелательные последствия и вызвала шум, а так как я не сумел этого предвидеть, то и справедливо подвергся суровым нареканиям. Этот случай наглядно свидетельствует о некоем недостатке, присущем моему уму, от которого я долго страдал и, возможно, еще не избавился, — о неспособности видеть предметы во всем их объеме.

Сорок лет спустя после описываемых событий, на закате своей посвященной научным занятиям жизни, Генри Адамс внимательно и терпеливо — более того, сочувственно — читал и перечитывал этот абзац и размышлял над ним. Вот оно что! Оказывается, сам он тогда видел все не так. Не было ни сговора, ни тайной политики, ни логики и связи в человеческом поведении, была лишь ошибка — правда, «неимоверно грубая». Нет, Адамса не охватило недоброе чувство: ведь

он вышел победителем из этой игры! Он, что и говорить, простил «неспособность видеть предметы во всем их объеме», которая чуть не стоила ему жизни и состояния; он даже готов был поверить автору прочитанных строк. Про себя он отметил, нисколько не раздражаясь, что в своей исповеди мистер Гладстон почему-то ни словом не обмолвился о некоем соглашении, заключенном между Пальмерстоном, Расселом и им самим; полностью опустив другое «неимоверное» свое деяние — горячую поддержку, оказанную им политике Наполеона, которую даже Пальмерстон если и поддерживал, то вяло, неохотно. Все это не имело решающего значения.

Хорошо. Согласимся, вопреки фактам, что Гладстон не вынашивал планов уничтожения Союза, не участвовал в сговорах, не сознавал — хотя всему миру это было ясно! — к каким последствиям ведет его деятельность; согласимся, иначе говоря, с тем, к чему пришли в итоге сами англичане, — что Гладстон был не совсем в своем уме, Рассел на грани старческого маразма, а Пальмерстон просто потерял голову. Не это важно — другое! Какие уроки можно из всего этого извлечь? Как повлияют они на наши взгляды и действия в будущем?

Политика не может игнорировать психологию и должна обращаться к ней всегда. Без выводов психологии ее методы примитивны, суждения еще примитивнее. Повлияло бы знание изложенных фактов на мнения и поведение посланника и его сына в 1862 году? Увы, нет. Сумма отдельных личностей все равно казалась бы молодому человеку равной одной личности — одной воле и желанию, направленным на уничтожение Союза в целях «ослабления опасной силы». Посланник все равно, исходя из своих интересов, видел бы и Рассела друга, а в Пальмерстоне — врага. Личность все равно была бы идентична массе. Стояли бы те же самые вопросы; такими же невнятными были бы на них ответы. Каждый исследователь, подобно личному секретарю, отвечал бы на них исключительно для себя самого.

11. БИТВА С БРОНЕНОСЦАМИ

(1863)

Посланник Адамс не слишком тревожился, если не видел врага насквозь. Его сын, существо нервное, видел излишне много и превращал для себя жизнь в ад. Посланник Адамс не спешил открывать свои козырные карты и, за редкими исключениями, исходил в своих действиях из уверенности, что противник осведомлен не лучше его самого. Граф Рассел его устраивал; возможно, их объединяла взаимная симпатия; и, действительно, при каждой встрече с Расселом Генри Адамс не без приятности отмечал забавное сходство английского министра с Джоном Куинси Адамсом. Несмотря на свои личные отношения с Расселом, с дипломатической стороны посланник Адамс вел себя правильно: он ничего не терял, поддерживая дружбу с министром иностранных дел, а приобрести мог многое. К тому же, говорил ли Рассел правду или лгал, это ничего не меняло: в обоих случаях американская миссия всегда могла действовать так, как если бы он лгал. Даже знай посланник, с каким упорством Рассел старался предать и погубить его в октябре 1862 года, он вряд ли употребил бы более сильные выражения, чем те, к каким прибег в 1863 году. Рассел, надо полагать, был больно уязвлен намеком сэра Роберта Кольера на существование сговора с агентами мятежников в деле «Алабамы», но покорно выслушивал те же самые обвинения, повторяемые в каждой ноте американской миссии. Постепенно ему пришлось признать в посланнике Адамсе серьезную силу. Расселу это был нож острый: ничтожность и самодовольство вашингтонского правительства составляли его *idée fixe*; но не прошло и недели после его последней попытки — 12 ноября 1862 года — организовать совместное с Францией вмешательство в американские дела, а ему уже вручили ноту посланника Адамса, в которой вновь повторялись обвинения по пово-

ду «Алабамы» и недвусмысленно предлагалось возместить ущерб.

Наградила ли Рассела медлительным умом природа или сказывался преклонный возраст — вопрос, который в числе прочих крайне занимал Генри Адамса: молодые люди любят считать старших по возрасту одряхлевшими старцами, хотя в данном случае это в какой-то мере было справедливо, ибо все поколение Рассела было дряхлыми старцами уже с юности. Они так и не перешагнули за 1815 год. Как Пальмерстон, так и Рассел. Дряхлость отличала их от рождения, как отличало Гладстона оксфордское образование и внушенные Высокой церковью иллюзии, которые порождали фантастические несуразности в его суждениях. Рассел так и не уразумел, что с самого начала неверно оценил посланника и взял с ним неверный курс, и когда, после 12 ноября, ему пришлось защищаться, а тон мистера Адамса с каждым днем становился жестче, английский министр проявил растерянность и беспомощность.

Таким образом, каковы бы ни были теоретические посылки, в дипломатической практике ничего не изменилось. Посланник Адамс был вынужден вести речь о сговоре между Расселом и мятежниками — сговоре, а не преступной небрежности. Он не мог смягчить формулировку; даже если бы в припадке учтивости он любезно согласился признать, что «Алабама» ускользнула в результате «преступной небрежности», ему никак не удалось бы пойти на такую уступку в отношении бронированных судов, которые строились на верфях Англии: кто бы в простоте душевной поверил, что можно у всех на глазах, в том числе и правительства, построить и дать уйти в открытое море двум полностью снаряженным военным кораблям, не будь здесь эффективно и постоянно действующего сговора. Чем дольше граф Рассел прикрывался маской притворного неведения, тем резче в конечном итоге пришлось бы посланнику ее сорвать. И как бы мистер Адамс ни относился к графу Расселу лично, ему

пришлось бы воспользоваться всеми дипломатическими свободами, если дело дошло бы до кризиса.

С наступлением весны 1863 года перед Адамсом открылось обширное поле деятельности. Не часто молодому человеку, да еще находящемуся в столь выгодной позиции, открывалось для изучения поприще красивее и удобнее для тренировки молодого, жаждущего тренироваться ума. Очень медленно, после двухлетнего одиночества, перед Адамсом забрезжила новая и великолепная жизнь. Ему было двадцать пять, и он созрел, чтобы жить в полную меру своих сил; часть его товарищей носила на вороте мундира звезды, часть удостоилась звезд иного рода — навечно. Мгновениями у него захватывало дух. Откуда-то вдруг рождалось желание вкусить чувство безмерной власти. Оно настигало его, словно мгновенный обморок, кружило голову и проходило, оставляя мозг потрясенным, охваченным сомнениями и робостью. С напряженным вниманием, какого не удостоивались даже драмы Шекспира, все глаза были прикованы к сражающимся армиям. Мало-помалу, сначала как смутный намек на то, что могло бы быть, если бы все делалось как надо, рождалось ощущение, что где-то в недрах вашингтонского хаоса складывается твердая власть, сплоченная и направляемая как никогда прежде. Ее представители, по-видимому, научились своему делу — ценою чуть ли не гибельной, и, возможно, слишком поздно. Личный секретарь лучше чем кто-либо другой знал, в какой мере можно козырять этой новой властью в Лондоне и когда. Но дипломатические битвы не шли ни в какое сравнение с военными сражениями. Ученик мог только учиться.

Подобный момент — момент наивысшего накала — бывает в жизни человека лишь раз. Воспитание достигает тут своих пределов. Когда прокатились первые мощные удары, Генри, свернувшись под одеялом, в тишине ночи прислушивался к ним с шаткой надеждой. Когда огромные массы, одна за другой, с точностью механизма, стали крушить дру-

гую, противоборствующую им массу, задрожал весь мир. Такого действия силы он еще не знал. Неистовое сопротивление и ответные удары увеличивали драматизм ситуации. Весь июль в Лондоне только тупо недоумевали. Англичане учились у янки, как надо воевать.

Американец в мгновение ока сообразил, что означает победа Севера для Англии: его голова работала с той же скоростью, какую приобрела военная машина на его родине; но англичане медленно осознавали, что просчитались. У Генри хватало времени, чтобы наблюдать этот процесс, и еще оставалось немного, чтобы, ликуя, сводить старые счета. Известия о Висксбурге и Геттисберге достигли Лондона воскресным утром, а вечером Генри Адамс был зван на небольшой прием к Монктону Милнсу. Он отправился туда пораньше с расчетом обменяться несколькими словами поздравления с хозяином, прежде чем дом заполнится гостями, но застал в гостиных только дам: мужчины еще допивали в столовой вино. Вскоре появились и они, и, на беду или на счастье, первым — Делейн из газеты «Таймс». Милнс, увидев своего юного американского друга, бросился к нему с радостными возгласами, обнял и расцеловал в обе щеки. Тому, кто родился позднее и слишком мало знал, чтобы понять страсти, владевшие людьми в 1863 году — за которым стоял год 1813-й, а еще прежде год 1763-й, — возможно, покажется, что такое публичное изъяснение чувств должно было смутить молодого человека, прибывшего из Бостона и называвшего себя застенчивым. Но в тот вечер, впервые в жизни, его в эту минуту, как ни странно, интересовал не он сам. Его интересовал Делейн, с чьим взглядом он встретился, когда Милнс заключил его в объятия. В этой сцене Делейн, надо полагать, увидел лишь очередное дурачество Милнса. Он никогда не слышал о юном Адамсе, ему и в голову не могло прийти, что этот американец, осмеянный им в «Таймс», таит на него обиду. Да и где ему было подозревать, что в уме сына американского посланника засела подоб-

ная мысль: ведь британский ум самый медлительный в мире, в чем убеждают подшивки «Таймс», а значение взятия Висксбурга еще не просочилось сквозь толщу предвзятых идей, составлявших кору головного мозга Делейна. Даже прочти он тогда мысли Генри Адамса, они не вызвали бы в нем ничего, кроме обычного для британца самодовольного презрения ко всему, чему его не учили в школе. Понадобилась смена поколений, прежде чем «Таймс» сумел подняться до точки зрения Монктона Милнса.

Если бы сын посланника захотел воспользоваться случаем и отомстить Делейну, он, наверное, попросил бы Милнса тут же познакомить их, чтобы сказать редактору «Таймса», что считает свой счет к нему оплаченным — закрытым раз и навсегда, — поскольку его отец перевел этот долг на себя и собирается сам расправиться с Делейном. «Теперь ваш черед!» — мог бы Генри Адамс предостеречь его дружки. Он знал: в миссии уже год готовятся к нанесению удара по Делейну — ставленнику пальмерстоновского кабинета. Теперь в преддверии последнего сражения Вашингтон постоянно поддерживал и укреплял позиции мистера Адамса. Ситуация со времени дела «Трента» изменилась. Сама миссия, что и говорить, по-прежнему не имела достаточных штатов и была оснащена так же скудно, как миссия Гватемалы или Португалии. Конгресс никогда особенно не баловал свои дипломатические представительства, а председатель комиссии по внешним сношениям вряд ли собирался навязывать помощь посланнику в Лондоне. Посчитали лишним даже прислать или предложить нанять для миссии клерка. Секретарь, помощник секретаря и личный секретарь посланника выполняли все то, что не успевал делать сам мистер Адамс. Клерк, нанятый за пять долларов в неделю, вероятно, выполнил бы эту работу не хуже, а возможно, и лучше, но посланник не мог доверить ее клерку; без точных указаний он не мог никого допускать к работе в миссии; он уже и так вышел за дозволенные пределы, приняв в сотрудники мис-

сии своего сына. Конгресс и его комиссии одни могли судить, каким должно быть государственное учреждение, и если они считали его штат вполне приемлемым, то уж личного секретаря, который получал от такого решения лишь пользу, оно не могло не удовлетворять. Большой штат его бы только подавлял. Вся миссия представляла собой своего рода импровизированное, работавшее на добровольных началах учреждение, и он был такой же доброволец, как все. И даже в лучшем положении, чем все. Его никто не замечал и не знал. Свою часть работы он выполнял вместе со всеми, и если секретари изредка и делали какое-либо замечание по адресу конгресса, никаких жалоб они не высказывали: их претензий все равно никто не стал бы слушать.

Довольны ли были в миссии конгрессом или нет, государственным секретарем Сьюардом там были довольны. Не имея ассигнований на обеспечение своих учреждений, он сворачивал горы, чтобы им помочь. Пусть у посланника не хватало секретарей, зато к его услугам был штат консулов, хорошо организованная пресса, эффективная юридическая служба и множество добровольных союзников во всех слоях общества. Недоставало только победы на полях сражений, и военный министр Стентон всерьез взялся за эту сторону дипломатии. Победой при Виксбурге и Геттисберге северяне сорвали банк, и в конце июля 1863 года посланник Адамс счел, что пора сразиться с графом Расселом, или лордом Пальмерстоном, или мистером Гладстоном, или мистером Делейном, или с кем бы то ни было, кто стоял у него на пути, а в сложившихся обстоятельствах ему предстояло сразиться с ними в самое ближайшее время.

Еще до перелома при Виксбурге и Геттисберге посланнику Адамсу приходилось не раз атаковать британскую твердыню, но эта часть его деятельности принадлежит истории и не имеет отношения к воспитанию его сына. Все это время личный секретарь переписывал дипломатические ноты в свои

личные тетради, чем, не считая личных разговоров, и ограничивалось его участие в дипломатических сражениях.

Услуги добровольцев уже не требовались; добровольцев старались отправить в тыл: военные действия приобрели слишком серьезный — не для вольных стрелков — оборот. Личный секретарь мог разве что надеяться приобрести опыт и знания в политике. Перед ним открывалась возможность познать меру побудительных сил, движущих людьми, качества их характера, дальновидности, упорства в достижении цели.

В миссии не очень верили в то, что посланник сумеет добиться прекращения постройки броненосных судов. Рассела, казалось, невозможно было сдвинуть с мертвой точки. Если бы тогда, в сентябре 1863 года, в миссии знали о его бурной деятельности в сентябре 1862 года по части вмешательства, посланник, надо думать, признал бы, что Рассел с первых же дней старался навязать членам кабинета свой план. Каждый его шаг начиная с апреля 1861 года вел к такому финалу. Но враждебная деятельность Рассела в 1862 году оставалась тайной — каковой и продолжала оставаться еще добрых двадцать пять лет. Тем не менее постоянные отказы положить конец вооружению мятежников не могли не выдать его *animus*¹. Мало-помалу посланник перестал на него надеяться, а перестав надеяться, повысил голос и в итоге, сорвав с Рассела последние лоскутья уверток и извинений, прямо обвинил его в потворстве тем, кто вооружает мятежников, кончив знаменитой фразой: «С моей стороны излишне указывать вашей светлости, что это — война».

Что хотел сказать таким заявлением посланник Адамс — дело посланника, а вот то, что извлек из этого заявления его сын, Генри Адамс, — неотъемлемая часть воспитания Генри Адамса. И, прикажи ему тогда отец пояснить и разъяснить смысл этого заявления так, как он дошел до его сознания, он написал бы следующее:

¹ Дух (лат.). Здесь: сокровенные чувства и мысли.

«Излишне, во-первых, потому что граф Рассел и сам знает, что „это — война“, поскольку вся его деятельность была с самого начала на нее направлена; во-вторых, потому, что это является лишь логическим и необходимым следствием всей его политики; в-третьих, и в последних, потому, что не Расселу, а всему миру говорил посланник Адамс: „Это — война“».

Таков простой и точный смысл записи, которую личный секретарь занес бы в свою тетрадь, излагая простое и точное заявление, которым посланник Адамс, без лишних страстей и эмоций, констатировал состояние войны. На взгляд Генри Адамса — взгляд клерка, перебежавшего ноту, — это заявление, на грани дозволенного дипломатическим этикетом, только констатировало факт — ничего нового, вымышленного, никакой риторики он в нем не находил. Факт следовало констатировать, чтобы внести ясность в положение дел. Война велась Расселом, а Адамс это только констатировал.

Ответ Рассела на ноту от 5 сентября поступил в миссию 8-го, и сгоравшие от нетерпения секретари наконец прочли, что «отданы распоряжения воспрепятствовать выходу двух броненосных судов из Ливерпуля». Члены скромнейшей миссии на Портленд-Плейс приняли этот ответ, как генерал Грант — капитуляцию Висксбурга. Прослужив посланник Адамс на общественном поприще хоть до девяноста лет, ему никогда уже не выпало бы на долю вести такую борьбу — не на жизнь, а на смерть; и перебери его сын все должности, какими мог одарить его президент или народ, ни одна не дала бы ему того, что дали два с половиной года участия в этой борьбе не на жизнь, а на смерть, измучившей и истерзавшей его своими зигзагами, но научившей — и в этом ее практическая значимость — правильно оценивать людей и их возможности. К Расселу, как и к Пальмерстону, он относился с уважением: оба представляли традиционную Англию и английскую политику, которые сами по себе были

вполне достойны уважения, но на протяжении четырех поколений оставались предметом борьбы и главным источником политической карьеры каждого члена семьи Адамсов. На взгляд Генри Адамса, Рассел проводил эту политику последовательно, умело и энергично, вплоть до ее осуществления. Но на завершающей стадии он столкнулся с людьми, обладавшими более сильной волей, чем его собственная, и, хотя сопротивлялся до последнего момента, потерпел поражение. Лорд Норт и Джордж Каннинг в свое время испили ту же чашу.

Изложенное выше — лишь взгляд юнца, но, насколько юному Адамсу было известно, правительство его страны придерживалось того же взгляда. На этот раз добровольный секретарь был доволен своим правительством. Обычно секретарь — личный или находящийся на государственной службе — испытывает к себе тем большее уважение, чем круче и злее критикует все вокруг; в данном случае победа в Англии казалась Генри Адамсу не меньшей заслугой государственного департамента, чем победа при Виксбурге заслугой департамента военного, и даже большей. Вся кампания была хорошо спланирована, хорошо подготовлена, хорошо выполнена. Как он ни старался, ему не удалось обнаружить ни одной ошибки. Возможно, тут сыграла роль личная заинтересованность, но он потому и позволил себе довериться собственному суждению, что считал себя одним из той полдюжины лиц, кто хоть что-то знал. Другие критиковали мистера Сьюарда, но Генри не прислушивался к их мнению: они почти ничего не знали о том, о чем судили, да и не могли знать — ведь для этого им надо было быть в Лондоне в 1862 году. На его взгляд, государственный секретарь Сьюард оказался сильным и последовательным руководителем, что, однако, не бросало тень ни на Рассела, ни на Пальмерстона, ни на Гладстона. Английские государственные деятели также проявили энергию, терпение и настойчивость в достижении цели. Два с половиной года они не отступали от своего

курса, направленного на разрушение Союза, и сдались наконец, только оказавшись перед угрозой войны. После долгой и отчаянной борьбы американский посланник выложил свою главную козырную карту и выиграл партию.

Впоследствии Адамс снова и снова мысленно просеивал каждую пядь прошлого, пытаясь обнаружить возможную ошибку с той или другой стороны. Ошибки он не нашел. На всех стадиях все предпринимавшиеся шаги выглядели оправданными и обоснованными. Тем более его повергло в недоумение то обстоятельство, что Рассел до конца жизни со все возрастающей энергией возмущенно отрицал и гневно опровергал основное положение концепции Адамса — что он с самого начала хотел разрушить Союз. Рассел уверял, что ничего подобного не хотел, что вообще ничего не хотел, что хотел только делать добро, что сам не знал, чего хотел. Вытесняемый с одного оборонительного рубежа на другой, он наконец, подобно Гладстону, заявил, что не имеет средств для обороны. Скрывая все, что только удавалось скрыть — окутав густой тайной свою попытку разрушить Союз в 1862 году, — он как можно громче уверял мир в своей скрупулезной честности. И, что было еще хуже для личного секретаря и сделало абсолютно смехотворными и никчемными его длившиеся целую жизнь усилия постичь науку жизни, в конечном результате, смешав практику, опыт и теорию, Рассел это доказал.

Генри Адамс, как ему казалось, слишком натерпелся от Рассела, чтобы признать какие бы то ни было заявления в пользу английского министра, но потом его охватили сомнения насчет того, будет ли такое признание тому на пользу. Прошло немного времени после смерти графа Рассела, и вопрос этот возник вновь. Рассел ушел от дел в 1866 году, умер в 1878-м, а в 1889-м появилось его жизнеописание. В период дебатов по поводу «Алабамы» и Женевской конференции 1872 года его внешнеполитический курс подвергался резкой критике; ему пришлось увидеть, как Англия выпла-

тила свыше 3 миллионов фунтов стерлингов компенсации за совершенные им ошибки. С другой стороны, он привел — или его биограф за него — факты, доказывающие, что он не был преднамеренно бесчестен, а напротив, вопреки сложившемуся впечатлению не участвовал ни в сговорах, ни в соглашениях, ни в планах, ни в каких-либо акциях, содействующих мятежникам. Он-де стоял в стороне, что отвечало его природным наклонностям. Подобно Гладстону, Рассел считал, что действовал правильно.

В итоге Рассел безнадежно запутался в клубке признаний, отрицаний, противоречий и обид, так что даже его бывшие коллеги перестали его защищать, как перестали защищать Гладстона; но изучающему науку дипломатии Генри Адамсу, который сделал определенную теорию законом своей жизни, хотелось заставить Рассела свидетельствовать против себя; показать, что он, сам того не сознавая, обладал дальновидностью и настойчивостью. Но это усилие ни к чему не привело; в 1889 году была опубликована биография Рассела, в которой увидели свет документы, полностью опровергнувшие все, что Генри Адамс принимал за постижение науки дипломатии; тем не менее он вновь, когда ему уже было за шестьдесят, решил попытаться размотать этот клубок.

Упорная попытка спровоцировать вооруженное вмешательство на началах, указанных Расселом в письме Пальмерстону из Готы, говорит сама за себя. Добавим к этому покаяние Гладстона, извинявшегося за свою речь, преследовавшую ту же цель и названную им ошибкой «самой нелепой и явной», «наименее простительной», «неимоверно грубой», которой нельзя найти оправдания. Но, отдавая себя на милосердный суд публики, Гладстон отнюдь не просит милости для лорда Рассела, толкнувшего его на эту «неимоверно грубую ошибку» — публично объявить о замысле министра иностранных дел. Проступок Гладстона, «нелепый и грубый», состоял не в том, что он произнес эту речь, а в том, что

ее вызвало, — в политике, ее вдохновившей: «Мне представлялось... Я действительно, как ни странно, искренне верил, что выражаю дружеские чувства...» Возможно, такая нелепость и мерещилась Гладстону, но Расселу ничего подобного не мерещилось. И он, и Пальмерстон менее всего, «как ни странно, искренне верили» в идеи, столь явно и очевидно нелепые, да и Наполеон вряд ли полагал, что занимается филантропией. Гладстон, даже каюсь, постарался свалить в одну кучу политику, речи, побудительные причины и людей, словно стремясь заморочить голову прежде всего себе самому.

На этом, по-видимому, активность мистера Гладстона и кончилась. В деле о броненосцах он уже не фигурирует. В 1863 году влияние мятежников сузилось, насколько известно, до одного лорда Рассела, который 1 сентября еще продолжал настаивать, что бессилён что-либо предпринять по поводу броненосцев, чем 5 сентября и вызвал со стороны посланника Адамса декларацию войны. Генри Адамс считал, что, отказываясь запретить постройку судов, Рассел просто следовал принятому им в сентябре 1862 года курсу, прибегая к тем же уловкам, к каким прибегал начиная с 1861 года.

Генри Адамс заблуждался. Рассел доказывал, что вел себя как человек слабовольный, робкий, ошибающийся, впавший в старческий маразм, но вовсе не бесчестный. Представленные им свидетельства убедительны. Фирма «Лэрд» строила суда, исходя из известного мнения королевских юристов, что ее действия не противоречат статуту и суд не признает ее виновной. Посланник Адамс отвечал на это, что в данном деле следует внести поправку в статут или прекратить строительство судов по политическим мотивам. Его поддержал Бетелл, вторично заявив, что этот случай есть нарушение нейтралитета; что необходимо сохранять *status quo*¹.

¹ Существующее положение вещей (*лат.*).

Рассел продолжал молча попустительствовать фирме «Лэрд», хотя, пожелай он вмешаться, ему нужно было только предостеречь Лэрда, что пробел в статуте долее его не ограждает, но английский министр позволил продолжать постройку судов, пока они не были закончены и готовы выйти в открытое море. 3 сентября, за два дня до «совершенно излишнего» письма посланника Адамса, Рассел обратился к лорду Пальмерстону за помощью. «Поведение джентльменов, заключивших контракт на постройку двух броненосцев в Беркенхеде, вызывает сомнения», — писал он, и писал это искренне и доверительно лорду Пальмерстону, своему шефу, называя «поведение» агентов мятежных штатов «сомнительным», хотя оно ни у кого, ни в Европе, ни в Америке, никаких сомнений не вызывало, поскольку дело шло не только о броненосцах, а о расширении действия Закона об использовании иностранцев на военной службе. «Я счел необходимым, — продолжал он, — распорядиться о задержании этих судов. (Разумеется, вовсе не из-за нарушения статута, а из-за требования американского посланника, ссылавшегося на международные обязательства, не предусмотренные в статуте.) Генеральный советник, с которым проконсультировались на этот счет, одобрил такую меру, найдя ее соответствующей если не букве закона, то политической необходимости. Таким образом, мы не выйдем за пределы законности и, если нам придется возместить убытки, удовлетворим мнение, господствующее как у нас, так и в Америке, согласно которому не следует допускать такого рода военную деятельность на нейтральной территории, не попытавшись ее пресечь».

Эта наивность, какой не встретишь и у внештатного атташе при дипломатической миссии, этот внезапный прыжок от собственных доводов к доводам противника, которые упрямо отвергались на протяжении двух с половиной лет, могли бы, казалось, вызвать у Пальмерстона лишь небообразимое презрение, но вместо града насмешек, вполне заслуженных Расселом за прежние нападки на него самого, этот

крик о помощи встретил у премьер-министра удивительное понимание. «Проконсультировавшись с королевскими юристами, я счел, что нет законных оснований вмешиваться в это дело», — писал он, то есть, говоря неофициальным языком, расписался в том, что не доверяет ни королевским юристам, ни ливерпульскому суду. Поэтому Пальмерстон предложил купить броненосцы для британского военного флота. Лучшего доказательства «преступной небрежности», проявленной в прошлом министром иностранных дел, казалось бы, не требовалось, но к этому времени Рассел успел проявить еще одну «небрежность»: он не позаботился поставить в известность об ответе Пальмерстона американского посланника, что следовало сделать немедленно — 3 сентября. Он подождал до 4 сентября, а затем сообщил, что вопрос-де подвергается «серьезному и всестороннему рассмотрению». Эта нота поступила в миссию только в три часа пополудни 5 сентября, когда «излишняя» декларация войны уже была отослана. Таким образом, лорд Рассел принес в жертву фирму «Лэрд» и обошелся своему кабинету в круглую сумму — примерно двадцать миллионов долларов, в которую, кроме стоимости двух броненосцев, вошла еще и компенсация за ущерб, причиненный «Алабамой», не говоря уже о том, что создал впечатление, будто уступил лишь перед угрозой войны. В конце концов, он обратился в Адмиралтейство с письмом, которое, с американской точки зрения, своей наивностью не сделало бы чести даже малолетнему воспитаннику Итона.

14 сентября 1863 года

Дорогой герцог,

Чрезвычайно важно и совершенно необходимо, чтобы два броненосца, сошедшие с верфей Беркенхеда, не послужили для прорыва американской блокады. Суда эти принадлежат мсье Бреве из Парижа. Если Вы предложите откупить их

для Адмиралтейства, то в случае согласия Вам будет возмещена полная их стоимость, а в случае отказа мы получили бы презумптивное доказательство того, что они уже закуплены конфедератами. Мне следует также уведомить Вас, что мы предлагали купить эти броненосцы турецкому правительству, но, полагаю, Вы легко уладите с турками это дело...

Как бурно ликовали бы секретари на Портленд-Плейс, попадись им в руки это письмо, из которого они узнали бы, в какую трясину неприятностей загнал себя граф Рассел под ударами американского посланника! Но, с другой стороны, это и другие письма полностью свели на нет результаты воспитания по части дипломатии, полученные личным секретарем, — свели на нет через сорок лет после того, как он считал, что все уже усвоил. Они нарисовали перед ним картину совершенно иную, чем та, какую он себе составил, и обратили в прах весь его с таким трудом добытый дипломатический опыт.

Восстанавливать — когда тебе уже за шестьдесят — знания, полезные в практических целях, совершенно бесполезно, образовывать же себя заново только ради теории Адамс не видел смысла. Его уже не заботило, понимает он или нет человеческую натуру: он понимал ее достаточно в той мере, в какой нуждался. Но в книге «Жизнь Гладстона» ему повстречалось не раз повторяемое высказывание, которое навело его на любопытную мысль. «Я всегда придерживался того мнения, — заявлял Гладстон, — что политики — люди, в которых, как правило, очень трудно разобраться», — и, чтобы еще усилить это открытие, добавлял: «О себе могу сказать, что в целом понял, или считал, что понял, *разве только одного или двоих*».

Граф Рассел, без сомнения, был одним из этих двоих. Генри Адамс тоже считал, что разобрался в одном или

двоих. Правда, он больше знаком с американским типом политика. Результат для воспитания по дипломатической части, пожалуй, достаточный и, по-видимому, окончательный.

12. ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ

(1863)

Знание человеческой природы — альфа и омега в воспитании политика, но несколько лет ревностного изучения английского типа человеческой природы в окрестностях Вестминстера убедили Генри Адамса, что вне Англии приобретенные там знания не имеют никакой цены. В Париже английские привычки только мешали, в Америке задевали все струны национального самолюбия. Английский тип ума отличался односторонностью, эксцентричностью, последовательной непоследовательностью и логичной алогичностью. Чем меньше его знать, тем лучше.

Эта еретическая мысль, вряд ли допустимая для бостонца, который инстинктивно, как нелепейшее преувеличение, прогнал бы ее от себя, даже если бы у него возникла, основываясь на личном опыте Генри Адамса, твердо считавшего, что вправе считать ее окончательной — для себя. Навязывать ее как окончательную кому-либо еще ему и в голову не приходило: он никого не собирался склонять в свою веру. Для себя — и только для себя — он сделал вывод: чем меньше воспитания в английском духе, тем лучше.

На протяжении ряда лет, побуждаемый острой необходимостью глядеть в оба, он наблюдал английский тип ума в соприкосновении с себе подобным и иными типами. В особенности интересным представлялось сравнение с американским, потому что ни о чем так не любили рассуждать в Европе, как об ограниченности и недостатках американского ума. С точки зрения Старого Света, у американцев попросту не было ума, то есть не было отлаженной мыслящей ма-

шины, экономно работающей по заданной программе. Американский ум раздражал европейца, словно визг пилы в сосновом бору. Английский ум недолюбливал французский — во всем ему противоположный, нерассудительный, возможно, враждебный, — но по крайней мере признавал за ним способность мыслить. Американский ум не был обременен мыслями; он был создан по трафарету — поверхностный, узкий и невежественный, режущий инструмент, практичный, экономичный, острый, плоский и прямой.

Сами англичане вряд ли придерживались мнения, что обладают экономичным, острым или прямым умом, но, если говорить об изъянах английского ума, американца более всего поражало, как изобильно он расточает себя на эксцентрические выходки. Американцам требовалась вся их энергия, и они использовали ее без остатка, в английском же обществе эксцентричность была привычной формой поведения, эксцентричность ради эксцентричности.

В клубе или на званом обеде часто можно было услышать фразу: «Такой-то совсем сумасшедший». Это говорилось не в обиду такому-то и нисколько не отличало его от окружающих, а когда относилось к государственному деятелю, вроде Гладстона, дополнялось эпитетами намного крепче. Эксцентричность настолько укоренилась, что превратилась в наследственную черту. Она составляла главное очарование английского общества и главный его кошмар.

Американцам Теккерей нравился как сатирик, но Теккерей совершенно справедливо уверял, что он вовсе не сатирик, а его картины английского общества — сама действительность, написанная с добродушной улыбкой. Американцы не могли этому поверить и обратились к Диккенсу, который, уж во всяком случае, грешил преувеличениями и фантастическими выдумками, но английские читатели Диккенса если и находили у него преувеличения, то лишь в манере письма или в стиле, но отнюдь не в типах. Сам мистер Гладстон ходил смотреть Созерна в роли Дандерри

и смеялся до упаду — не потому, что Дандрери преувеличение, а потому, что уморительно похож на тех людей, которых Гладстон видел, или мог видеть, в любом клубе на Пэлл-Мэлл. Английское общество изобиловало эксцентрическими характерами — других в нем почти не водилось.

Эксцентричность эта нередко носила все признаки силы; возможно, в ней действительно выражался избыток силы, нечто вроде приметы гения. Так, во всяком случае, считали в Бостоне. Бостонцы называли это национальным характером — английской жизнедеятельностью — здоровым духом — честностью — мужеством. Бостонцы уважали эксцентричность и побаивались ее. Британское сознание собственного достоинства — при всей его туповатости, грубоватости и непрекаемости — казалось им лучше и благороднее оборотистости янки или вылощенности парижанина. Возможно, они были правы. Все это вопросы вкуса, внутреннего ощущения, унаследованных понятий, и делать тут нечего. Каждый носит свой эталон вкуса с собой и, где бы ни путешествовал, поверяет им чужие нравы. Как бы ни относились к ним другие, умнейшие англичане считают, что их пресловутую эксцентричность необходимо поукоротить, и уже за это взялись. Яростные сатиры Диккенса и более мягкие насмешки Мэтью Арнолда, направленные против среднего класса, лишь начало бунта, поскольку британский средний класс не хуже остальных — по крайней мере на взгляд американца в 1863 году. К среднему англичанину он мог апеллировать, ссылаясь на его интересы, тогда как какой-нибудь деятель из выпускников университета, вроде Гладстона, оставался глух к любым доводам. Что же касается их идей, то упаси господь молодого американца заимствовать хотя бы одну.

Поначалу личный секретарь по примеру почти каждого бостонца принимал британскую эксцентричность за проявление силы. Но, столкнувшись с ней в лице Пальмерстона, Рассела и Гладстона, заколебался: он видел, что его национальный тип ума — например, отец, Уид, Эвартс — в своих

отношениях с британским оказывался отнюдь не слабее, а порою, без сомнения, сильнее. При всей своей пристрастности Генри Адамс вряд ли мог быть в такой степени пристрастен, чтобы не различить воздействия силы на окружающих, а между тем, если ему деятельность графа Рассела — как тот ни старался — со всей его государственной писаниной казалась вялой, он что-то не замечал, чтобы и собственные сторонники графа Рассела считали ее энергичной. Происходило ли это потому, что Рассел был бесчестен или бестолков — был ли этот человеческий тип груб или, возможно, только туповат, — сильным он ни в том, ни в другом случае не был, да и самим англичанам не представлялся таковым.

Эксцентричность отнюдь не всегда выражала силу; американцам крайне важно было знать, не была ли она всегда проявлением слабости. Несомненно, на предвыборных собраниях или в парламенте, в обстановке сугубо эксцентричной, эксцентричность никого не удивляла, но в частной жизни дело, по-видимому, обстояло несколько иначе. Что чудачки и чудачества оживляли английское общество, отрицать не приходилось. Если исключить отвратительную надменность и грубость в обращении англичан, в особенности англичанок, друг с другом — на иностранцев это не распространялось, — английское общество отличалось большей простотой и терпимостью, чем американское. На этой неделе вас могли принимать с чрезвычайной любезностью, а на следующей попросту не вспомнить, кто вы такой, но так вели себя все, и оставалось только научиться поворачиваться спиной к другим с тем же привычным равнодушием, с каким они обращались друг с другом. Боль уязвленного самолюбия недолго мучила молодого человека, не страдавшего большим самолюбием. Ему не на что было жаловаться. Никто не был с ним груб. Напротив, в Англии ему оказывали больше радушия, чем он мог ожидать в Бостоне — не говоря уже о Нью-Йорке или Вашингтоне, — и если отношение к нему неиз-

вестно отчего колебалось от чрезвычайной обходительности до чрезвычайного пренебрежения, то это лишь служило доказательством того, что он уже стал, или становится, своим. И отнюдь не личная обида или разочарование побуждали его уяснять для себя эту сторону общественного бытия Англии, а то, что он все сильнее пропитывался английским духом, и чем больше вбирал в себя, тем меньше этому радовался.

Обычно те, кто славится эксцентричностью в свете, симпатизируют всему эксцентричному в политике. Английский ум тяготеет к мятежу — особенно в чужой стране, и южане-конфедераты пользовались исключительным сочувствием англичан по той причине, что соединяли в себе два качества: они подняли мятеж на чужой стороне и были англичанами по крови, а это приближало их к идеалу эксцентричности куда больше, чем поляков, венгров, итальянцев или французов. Все английские любители эксцентричности ринулись в ряды сторонников мятежных штатов, предоставив немногим, но трезвым умам встать на сторону Союза. Среди английских лидеров, выступавших за северян, не числилось ни одного, известного своей эксцентричностью. Уильям Э. Форстер принадлежал к практичным, крепкоголовым йоркширцам, и его идеалы в политике принимали форму конкретных установлений на экономической основе. Кобден, принимая во внимание обстоятельства его жизни, был человеком на редкость уравновешенным. Джон Брайт, пользовавшийся выражениями куда более крепкими, чем эти двое, и высоко себя ставивший, тем не менее никогда не отклонялся от сути дела, и дела практического. В отличие от Гладстона он не обыгрывал все доводы за и против, чтобы затем вернуться к исходному положению, и «на полном серьезе», по выражению Монктона Милнса, «освещал каждый предмет с противоположных сторон»; Брайта, пожалуй, можно было отнести к последовательным консерваторам старого республиканского типа, и ему редко приходилось за-

щищать взаимоисключающие положения. Монктона Милнса числили в оригиналах — в основном те, кто его не знал; его причуды и увлечения воплощали идеи, опережавшие время; он был эксцентричен по манере поведения, но не в мыслях, как мог убедиться каждый, прочитав несколько строф из его стихов. Ни Форстер, ни Кобден, ни Брайт — Милнс составлял тут исключение — университетов не кончали. Эти английские друзья американской миссии ни разу не осложнили ее жизнь какими-либо несуразностями, бестактностями или ссорами. Они вели свою работу разумно, практично, слаженно и, пожалуй, даже чересчур осторожно. «Сумасброды» все как один стояли за мятежников, и список их тянулся до бесконечности. Его вполне мог бы возглавить лорд Брум, имевший наглость явиться 4 июля на прием в миссию, куда его привел Джо Паркс, и требовать, чтобы с ним обходились как с «бывшим министром юстиции при мистере Медисоне». Церковь была за мятежников, зато диссентеры в большинстве за Союз. Университеты — за мятежников, но многие их выпускники, пользовавшиеся признанием в обществе — например, лорд Гранвилл, сэр Джордж Корнуэлл Льюис, лорд Стэнли, сэр Джордж Грей, — старались сохранять полный нейтралитет — главным образом для того, чтобы не попасть в когорту «сумасбродов». По мнению всех сторонних наблюдателей, в том числе газет «Таймс», «Морнинг пост», и «Стандард», подавляющая часть англичан, по-видимому, примыкала к «сумасбродам», этот путь избрали даже чувствительные благодетели человечества: лорд Шефтсбери и Карлейль, Фауэл Бакстон и Гладстон, отдав свои симпатии стороне, которой, казалось бы, им следовало противостоять, и их выбор объяснялся исключительно приверженностью ко всему эксцентрическому. Зато «хитрюги» — шотландцы и йоркширцы — вели себя осмотрительно.

Нет, эксцентричность не означала силу. Достаточно вспомнить, как дурно защищались интересы мятежников.

Правда, главная причина неудач коренилась в самом ричмондском правительстве. Совершенно непонятно, например, почему Джефферсон Дэвис избрал для представительства в Лондоне мистера Мэзона, когда он же сделал превосходный выбор, отправив в Париж мистера Слайделла. Конфедерация располагала множеством людей, которые отменно справились бы с работой в Лондоне, и едва ли менее способных к ней, чем Мэзон. Возможно, Мэзон обладал толикой здравого смысла, но более ничем, и в лондонском обществе на него смотрели как на еще одного чудака. Ему представилась величайшая в жизни человека возможность: он мог даже выступить новым Бенджамином Франклином, и общество склонилось бы к его ногам, он мог в качестве льва сезона оглашать своим рыком все лондонские гостиные, и американскому посланнику был бы заказан в них путь. Но мистеру Адамсу, как всегда, везло с врагами, которые становились ценнейшими его союзниками, если только им не мешали его друзья. Мэзон был величайшим дипломатическим триумфом американского посланника. Мистер Адамс не избежал столкновений с Пальмерстоном, он изгнал Рассела с поля сражения, сорвал банк перед самым носом у Кокберна, переиграл Слайделла, но, не пошевелив и пальцем против Мэзона, сделал его оплотом своей линии обороны.

Возможно, Джефферсона Дэвиса и мистера Мэзона роднили два свойственных и тому и другому недостатка: оба, надо полагать, плохо знали окружающий мир и оба, по видимому, были лишены чувства юмора. Правда, это не помешало Дэвису одновременно с Мэзоном послать во Францию Слайделла, а мистера Ламара в Россию. Лет двадцать спустя в Вашингтоне, куда поиски воспитания, которого он так и не нашел, привели Генри Адамса, он тесно сошелся с Ламаром — в те годы сенатором от штата Миссисипи, — самым уравновешенным, благоразумным, благожелательным из всех поборников Союза в Соединенных Штатах и к тому же наделенным неповторимым светским шармом. В 1860 году

он ходил в завязтых дуэлянтах, но этой эксцентричностью наградила его не природа, а среда. Кроме своих типично южных причуд, он обладал тактом и чувством юмора; возможно, последнее и послужило причиной того, что мистер Дэвис отправил его вместе с другими своими агентами за границу — с бесполезной миссией в Санкт-Петербург. Ламар куда больше пригодился бы на месте Мэзона в Лондоне. Лондонское общество было бы от него в восторге: его побасенки снискали бы ему успех, его манеры пленили бы все сердца, его ораторский дар покорял бы любые аудитории, даже Монктон Милнс не удержался бы от искушения заполучить его к себе на завтрак, чтобы усадить между лордом Шефтсбери и епископом Оксфордским.

Ламар любил порассказать о своей краткой карьере на дипломатическом поприще, но никогда не упоминал о Мэзоне, как никогда не говорил о правлении конфедератов и не критиковал администрацию Джефферсона Дэвиса. Его куда более занимал другой предмет — их союзники в Англии. В тот момент — в начале лета 1863 года — партия сочувствующих мятежникам была весьма уверенной в себе и достаточно сильной, чтобы бросить вызов американской миссии в борьбе за влияние в Англии. Сторонники сецессионистов лучше, чем в миссии, знали, на что им рассчитывать; они знали, что судебные власти и таможенники в Ливерпуле не посмеют наложить арест на броненосные суда, что Пальмерстон, Рассел и Гладстон готовы признать Конфедерацию, а император Наполеон рад содействовать этому любыми средствами. Радетели мятежников чувствовали себя некоторым образом хозяевами положения в Ливерпуле, не говоря уже о фирме «Лэрд», на верфях которой им строили корабли. Политическим представителем фирмы «Лэрд» в парламенте выступал некто Линдсей, к которому сходились все нити сговора по обеспечению конфедератов: таранные суда, крейсера, военное снаряжение, займы, связи в обществе и тактика в парламенте. Фирма «Лэрд» с неизменным досто-

инством претендовала на роль борца за английский военный флот, и летом 1863 года общественное мнение в Англии еще склонялось в пользу мятежников.

Более подходящего момента, когда бы эксцентричность, будь она действительно силой, могла сослужить службу американским мятежникам, не могло представиться, и их радетели, надо думать, это учли, пригласив в союзники самого эксцентричного из всех любителей эксцентрического — человека скорее из 1820 года, своего рода Брума из Шеффилда, печально известного никуда не годными мозгами и еще более дрянным характером. Мистер Робак выступал как глашатай народа и, подобно большинству таких же глашатаев других народов, к старости сильно поглупел. Друзья Союза относились к нему скорее как к фигуре комической — излюбленной мишени для насмешек в «Панче», — но с ядовитым языком и умом, разъеденным повальной среди политиков болезнью — самовлюбленностью. Во всей Англии поборники Союза вряд ли нашли бы противника, способного в такой мере предавать собственное дело. Ни один американский бизнесмен даже не взглянул бы в его сторону, но фирма «Лэрд» рассудила иначе, позволив Робаку представлять и защищать ее интересы.

Деятельность Робака не касалась личного секретаря, за исключением случая, когда посланник попросил его посетить заседание палаты общин 30 июня 1863 года и доложить о результатах дебатов по предложению Робака признать Конфедерацию. В миссии не испытывали по этому поводу никакого беспокойства: там уже знали о победе в Вicksбурге и знали, что Брайт и Форстер готовы о ней объявить. Все же личный секретарь поспешил в парламент, где, заняв место под галереей слева, с огромным удовлетворением наблюдал, как Джон Брайт энергично подхватывал, тряс и шпынял Робака, словно мощный английский дог жилистого, тощего, беззубого, но злобного йоркширского терьера. Личный секретарь в известном смысле даже сочувствовал Ро-

баку; Брайт, бывало, чтобы поразмяться, дружески прикладывался к юному Адамсу, и тот хорошо знал, как это делается. Эффект достигался не словами, а тоном. Сцена эта сама по себе, без сомнения, представляла интерес, но и результат не вызывал сомнений.

Тем более Генри Адамс почувствовал волнение, когда как-то, в канун 1879 года, услышал после обеда рассказ Ламара, постепенно превратившийся в драматическую сценку, изображавшую событие, свидетелем которого Адамс был в палате общин. История Ламара началась с того, что он, как всем известно, так и не достиг Санкт-Петербурга, а осел в Париже, дожидаясь инструкций. В это время мистер Линдсей, зная о готовящемся предложении признать Конфедерацию и предвидя по нему дебаты, собрал в своей вилле на берегах Темзы теплую компанию с целью свести Робака с агентами мятежников. Вызвали и Ламара, который не замедлил прибыть. После нескончаемой болтовни на общие темы, составляющие обычный предмет и источник всех разговоров на субботних сборищах в Англии, Ламар, оставшись наедине с Робаком, решил оказать ему внимание и, вспомнив о Джоне Брайте, спросил Робака, ожидает ли тот выступления Брайта в дебатах.

«Ну нет! Нет, сэр, — авторитетно заявил Р о б а к . — Брайт уже сталкивался со мной. Старая история — история рыбьимеч и кита. Нет, сэр. Мистер Брайт не осмелится еще раз скрестить со мной шпаги». Успокоенный таким заверением, Ламар отправился на заседание палаты общин, где ему отвели место под галереей справа, и слушал выступление Робака и последовавшие за ним дебаты с тем исключительным удовольствием, с каким опытный полемист следит за подобного рода словесной перепалкой. И вдруг — рассказывал он — слово взял депутат с удивительно глубоким грудным голосом и властными манерами, и на Робака посыпался град таких великолепно нацеленных сокрушительных ударов, какие редко приходилось наблюдать. «Тут наконец до меня дошло, —

закончил свой рассказ Ламар, — что досталось-то как раз рыбе-меч».

Ламар придал этой истории характер шутки, причем смеялся он не над Робакком, а скорее над самим собой; но такого рода шутки случались с агентами мятежников чуть ли не на каждом шагу. Их окружали английские «оригиналы» самого худшего пошиба, не знавшие меры в своих выходках и имевшие обо всем превратное суждение. Робак, который уже встал в детство, был среди них наихудшим экземпляром, что, однако, не помешало Лэрдам предоставить ему руководящую роль, а палате принимать его всерьез. В Англии крайняя эксцентричность не препятствовала тому, кто в ней упражнялся, пользоваться полным доверием; иногда, по-видимому, даже помогала и, если не приводила к финансовому краху, служила лишь к вящей популярности.

Вопрос о том, составляла ли британская эксцентричность силу нации, был отнюдь не праздным в познании науки жизни. То, что Робак легко ввел в заблуждение агента мятежников по такому, казалось бы, случайному пункту — отважен Брайт или труслив, — вдвойне характерно, потому что сами южане страдали тем же свойственным всем примитивным людям недостатком — они считали своих противников трусами и тем самым своим незнанием окружающего мира уготовили себе поражение. Брайт, как и южане, был отважен до безрассудства. Все знали, что в этом смысле он не уступает борцу на ринге. Он бил наотмашь всех подряд, кого только мог достать, а если не мог достать отдельного человека, бил по всему классу, а если и этого ему казалось мало, обрушивался на всю английскую нацию. Порою на него ополчалась вся страна. Он органически не мог стоять в обороне, ему нужно было атаковать. Даже находясь среди друзей за обеденным столом, он разговаривал так, словно обличал их или кого-то другого с трибуны: взвешивал и выстраивал предложения, нанизывал эффекты и бил, бил своих противников, подлинных или мнимых. Его юмор жег как рас-

каленное железо, его удар разил наповал, как взмах кита хвостом.

Как-то ранней весной, 26 марта 1863 года, посланник попросил своего личного секретаря отправиться в Сент-Джеймский дворец на митинг, который был организован в результате терпеливых усилий профессора Бизли объединить Брайта и тред-юнионы на американской платформе. Посетив митинг, Генри Адамс составил докладную записку, которая и по сей день покоится в какой-нибудь папке государственного департамента, — совершенно безобидную, какою подобным запискам и надлежало быть, но в ней не нашло отражения то главное, что больше всего интересовало юного Адамса, — психология Брайта. С исключительным мастерством и ораторским напором Брайт с самого начала, с первых же слов, умудрился оскорбить или разъярить все классы английского населения, обычно именуемые respectable-ными, и, чтобы ни один из них не остался обойденным, повторял свои обвинения вновь и вновь по самым различным пунктам. С точки зрения риторики его речь производила огромный эффект.

— Привилегированные верхи убеждены, — начал он в своей властной, хорошо рассчитанной манере, — что война в Америке непосредственно затрагивает их интересы, и каждое утро оглушают нас истошными криками и проклятиями американской республике. Уже много лет они вынуждены зреть прискорбную для них картину: они зрят, как тридцать миллионов, счастливые и процветающие, живут без императоров, без королей (*аплодисменты*), без знати, исключая ту, что заслужила это звание умом и добродетелью, без казенных епископов и попов, торгующих той любовью, что дает спасение (*аплодисменты*), без непомерных армий и военного флота, без непомерного государственного долга и непомерных налогов; и привилегированные верхи трепещут при мысли, что станется со старушкой Европой, если, паче чаяния, Америке удастся ее великий эксперимент.

Возможно, человек с более острым и изобретательным умом сумел бы тем же числом слов задеть больше англичан, чем это удалось Брайту, но при этом, вероятно, он не избежал бы натянутости и испортил бы всю музыку. Брайт же имел огромный успех. Аудитория рукоплескала неистово, а в смятенной душе личного секретаря воцарился покой: он знал, какую осмотрительность проявит теперь кабинет, прослышав, что Брайт проповедует республиканские принципы тред-юнионам. Но хотя, в отличие от Робака, Адамс не находил причины сомневаться в отваге человека, который, рассорившись с тред-юнионами, теперь ссорился со всем остальным миром, в них не входившим; его охватывали иные сомнения — числить Брайта среди англичан, приверженных эксцентричности или рутине. Все вокруг — от Пальмерстона до Уильяма Э. Форстера — говорили, что Брайт «не англичанин», но, на взгляд американца, он был стопроцентный англичанин — больше англичанин, чем те, кто его шельмовали. Брайт был щедр в ненависти, и все, что ненавидел, поносил с яростью Мильтона и ничего не боялся. Он был почти единственный человек в Англии, да и, пожалуй, во всей Европе, кто, ненавидя Пальмерстона, не боялся ни его самого, ни прессы и церкви, ни клубов, ни суда, которые стеной стояли за него. Брайт сокрушал всю систему мнимой религии, мнимого аристократизма, мнимого патриотизма. Но он же страдал типичной для британца слабостью — верил только в себя и в собственные правила. Во всем этом американцу виделось, коль скоро возможно это как-то определить, многое от национальной эксцентричности и очень мало личного. Брайт обладал редкостной выдержкой — он только пользовался весьма крепкими словами.

Много лет спустя, в 1880 году, Адамсу привелось вновь провести в Лондоне целый сезон. Посланником был тогда Джеймс Рассел Лоуэлл, так как с годами их отношения приобрели более личный и тесный характер, Адамсу захотелось познакомиться нового посланника со своими старыми

друзьями. Брайт в то время входил в кабинет, хотя уже не был, даже там, самым радикальным членом, но в обществе все еще числился в фигурах экзотических. Он был приглашен на обед вместе с сэром Фрэнсисом Дойлем и сэром Робертом Канлифом и, как всегда, говорил за столом почти один, и, как всегда, говорил о том, что было у него на душе. А на душе, по всей очевидности, была волновавшая его реформа уголовного кодекса, которой противились судьи, и в конце обеда, за вином, Брайт громыхал на весь стол в присутствующей ему манере, кончив великолепной филиппикой против суда, которую произнес своим мощным голосом, и каждое слово звучало ударом молота, крушившего все, по чему он бил.

— Две сотни лет судьи Англии, верша правосудие, обрекают на смерть каждого мужчину, женщину или ребенка, присвоившего чужую собственность ценою от пяти шиллингов, и за все это время не нашлось ни одного судьи, который возвысил бы голос против этого закона. Воистину мы, англичане, — нация скотов, и нас следует уничтожить до последнего человека.

Когда гости поднялись из-за стола и перешли в гостиную, Адамс сказал Лоуэллу: «Ну как, хорош?» И услышал в ответ: «Да, только чересчур неистов».

Именно в этом пункте Адамса одолевали сомнения. Брайт знал своих соотечественников, англичан, лучше Лоуэлла — лучше самих англичан. Он знал, какая мера неистовства в языке потребна для того, чтобы вогнать простейшую мысль в ланкаширскую или йоркширскую голову. Он знал, что неостанет никакого неистовства, чтобы воздействовать на крестьянина из Сомерсетшира или Уилшира. Брайт сохранял спокойствие и ясную голову. Он никогда не волновался, никогда не выказывал волнения. Что касается обличений английского суда, то это была давняя история, и не с него она началась. Что англичане — нация скотов, соглашались и сами англичане, а вслед за ними и другие нации, а вот их уничтожение представлялось им явно нецелесообразным,

поскольку они, скорее всего, были не хуже своих соседей. Скажи Брайт, что французы, испанцы, немцы или русские — нация скотов и подлежат изничтожению, никто бы и глазом не моргнул: вся человеческая раса, согласно авторитетнейшему источнику, однажды именно по этой причине уже подверглась уничтожению, и только радуга еще спасает ее от повторения такого же бедствия. Лоуэлла в высказываниях Брайта поразило лишь одно — что он обрушился на собственный народ.

Адамс не чувствовал нравственных обязательств защищать судей — единственный, насколько ему было известно, класс общества, специально обученный себя защищать; но ему хотелось, даже не терпелось — как один из пунктов воспитания, — решить для себя, помогал ли Брайту его неистовый язык прийти к поставленной цели. По мнению Адамса, нет. Пожалуй, Кобден, действуя убеждением, достиг лучших результатов, но это был уже другой сюжет. Разумеется, даже англичане иногда жаловались, что устали слышать, какие они скоты и лицемеры, но, хотя их наставники им почти ничего другого не говорили, сносили это более или менее кротко; тот факт, что это правда, в целом не так уж волновал среднего массового избирателя. Волновались по этому поводу Ньюмен, Гладстон, Рёскин, Карлейль и Мэтью Арнолд. Жертвы Брайта его не любили, но верили ему. Они знали, чего от него ждать, как знали это о Джоне Расселе, Гладстоне и Дизраэли. Брайт не обманывал их ожиданий: все, что им предлагалось в практических вопросах, всегда оказывалось практичным.

Класс англичан, интеллектуально противостоящих Брайту, был, на взгляд стороннего американского наблюдателя, слабейшим и самым эксцентричным из всех. К нему относились всякого рода приспособленцы, политэкономисты, фанатические противники рабства и другие доктринеры, последователи де Токвиля и Джона Стюарта Милля. В целом как класс они вели себя неуверенно — и с полным ос-

нованием, — а неуверенность, которая в философии равнозначна высокой мудрости, убивает практическую мысль. Толпы этих людей теснились в английском обществе, претендуя на свободомыслие, но не осмеливаясь проявить сколько-нибудь значительную свободу мысли. Подобно фанатичным противникам рабства сороковых и пятидесятых годов, они тотчас замолкли и ничего не сумели сделать, когда дошло до дела. Для этой группы в литературе типичным, по-видимому, был Генри Рив, по крайней мере своей биографией. В обществе вам постоянно попадалась на глаза его грузная фигура; всегда дружелюбный, доброжелательный, обязательный и полезный, он был почти так же вездесущ, как Милнс, и еще больше занят. Издатель «Эдинбургского обозрения», Рив пользовался авторитетом и влиянием, хотя «Обозрение», как в целом вся школа вигского доктринерства, к этому времени уже начало — как сказали бы французы — выходить из моды; и, разумеется, снайперы от литературы и искусства — вроде Фрэнка Палгрейва — клокотали и кипели при одном упоминании имени Рива. Их священный гнев был на три четверти следствием чопорных манер Рива. В лондонском обществе не знали меры в насмешках и каждого чем-нибудь выделявшегося человека награждали словом или выражением, которое за ним закреплялось. Так, все знали, что без миссис Грот «не было бы слова „гротеск“». И все гостиные обошла история о том, как мистер Рив, подойдя к миссис Грот, в присущей ему вычурной манере осведомился на своем литературном диалекте о здоровье ее мужа, историка. «Как поживает ученый Гроций? — спросил он и получил в ответ: — Превосходно. Благодарю вас, Пуфендорф».

Эта колкость, словно рисунок Форена, вызвала пароксизмы смеха. Редкий человек был бы потрясен так, как Рив, если бы его обвинили в недостатке нравственной отваги. Позже он доказал, насколько отважен, когда опубликовал «Мемуары Гревилля», рискуя вызвать неудовольствие

королевы. Тем не менее «Эдинбургское обозрение» и ее издатель предпочитали не становиться ни на одну сторону, разве только на ту, которая, несомненно, побеждала. Американизм как форма мышления показался бы эксцентричным даже шотландцу, а Рив был саксонец из саксонцев. Американцу такая позиция — то вашим, то нашим — казалась более эксцентричной, чем безрассудная враждебность Брума или Карлейля, и более вредной, так как никогда нельзя было знать, какую чудовищную глупость мог поддержать Рив.

Суммируя эти впечатления 1863 года, оставалось прийти к выводу, что эксцентричность вовсе не сила, а слабость. Юный американец, которому надлежало усвоить английский образ мышления, чувствовал себя потерянным. Исходя из фактов, он пришел к правильному заключению и в то же время, как всегда, к неправильному. Годы последнего палмерстоновского кабинета, с 1859-го по 1865-й, были, по всеобщему признанию, годами застоя — прекратившегося развития. Британская система, как и французская, вступила в последнюю стадию распада. Никогда еще британский ум не проявлял такой *décousu*¹ — такой нерасторопности, такой растерянности среди всякого рода исторических обломков. Эксцентричности было где развернуться. Государство и церковь были раздираемы противоречиями. Потратив тридцать лет напряженного труда, Англия расчистила только часть *débris*². В 1863 году юному американцу было не под силу прозреть будущее. Он мог смутно подозревать, но он не мог предречь, с какой внезапностью старая Европа, а за нею старая Англия, исчезнет в 1870 году. А пока его лодка застряла в стоячих водах, населенных многоцветными, фантастического вида оригиналами и сумасбродами, словно он был старым моряком, а они ихтиозаврами и прочими тварями в начале жизни на Земле.

¹ Безалаберность (*фр.*).

² Обломки (*фр.*).

13. СОВЕРШЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (1864)

Успех посланника, сумевшего задержать предназначавшиеся мятежникам таранные суда, окончательно утвердил его положение в английском обществе. С этого момента он мог позволить себе выступать уже не в роли дипломата, а занять место, которое для американского посланника в Лондоне означало исключительное дипломатическое преимущество, — нечто вроде американского пэра Англии. Британцы ничего не делают вполнину, и уж коль скоро они признали за кем-то право на социальные привилегии, они принимают такого человека как своего. Если лорд Дерби и мистер Дизраэли выступали лидерами Ее Величества внутренней оппозиции, то посланник Адамс приобрел собственный ранг — он выступал как своего рода лидер Ее Величества американской оппозиции. Даже «Таймс» с этим согласилась. Годы борьбы для посланника Адамса миновали, и он быстро занял такое положение, на которое с удивлением и завистью взирали бы его отец и дед.

Эта англо-американская форма дипломатии очень мало напоминала дипломатию вообще и в результате вводила в обиход дипломатические приемы, бесполезные, если не вредные, за пределами Лондона. Ни в одной другой столице мира такое недипломатическое поведение дипломату не могло бы сойти. Что касается юного Адамса, то он вообще уже не знал, какова его роль. Утром он исполнял обязанности личного секретаря, днем — сына, вечером — молодого денди, и единственная роль, в которой он никогда не выступал, была роль дипломата — разве только когда ему хотелось получить приглашенный билет на какую-нибудь сверхпарадную церемонию. Его воспитание на дипломатическом поприще подходило к концу: он почти не встречался с дипломатами, не имел с ними дела, не мог быть им ничем полезен, как и они ему, но его не-

удержимо влекло в лоно английского общества, и, хотел он того или нет, следующей ступенью его воспитания должно было стать познание светской жизни. Бросаемый из стороны в сторону постоянно возникавшими перед ним дилеммами, он к двадцати шести годам не имел от своих занятий заработка даже в пять долларов. Правда, у его друзей, служивших в армии, в карманах было не намного гуще, но жизнь в армии не столь неотвратимо губила молодого человека, как английское общество. Будь он богат, эта форма пагубного влияния никак бы на нем не отразилась, но молодые люди 1865 года не владели капиталами, им всем приходилось зарабатывать себе на жизнь; но, хотя они не имели ни гроша за душой и не занимали никаких высоких государственных постов, все достигли больших, наделявших ответственностью и властью, положений в военных и гражданских учреждениях.

Генри Адамс не сумел обрести полезных познаний, и ему надо было по крайней мере узнать, что такое свет. Как ни забавно, он и тут не преуспел. С европейской или английской точки зрения, светской жизни он не знал и так никогда и не узнал. Деятельность посланника Адамса пришлось на политическое междуцарствие, установившееся в силу личного влияния Пальмерстона в годы 1860—1865-й; но это политическое междуцарствие было менее заметным (в общественном быте Англии), чем застой в светской жизни в те же годы. Принц-консорт умер, королева отдалилась от света, принц Уэльский был еще очень молод. Даже в лучшие свои дни викторианское общество никогда не «блистало». В сороковые годы под влиянием Луи-Филиппа в европейских дворах успешно входила в моду простота, серьезность и буржуазность. Вкус Луи-Филиппа был *bourgeois*¹ до полного отсутствия какого бы то ни было вкуса, исключая разве вкус королевы Виктории. Великолепие маячило где-то на заднем плане вместе с пудренным лакеем на запятках желтого фазтона; сама королева в своей повседневной

¹ Буржуазный, мещанский (*фр.*).

жизни не окружала себя роскошью, кроме той, что досталась ей в наследство. Балморал — вот неожиданное откровение королевского вкуса. Ничего не было безобразнее туалетов при дворе, разве только сама манера их носить. Если подчас глаза ослепляли драгоценности, то только фальшивые, а если, паче чаяния, там появлялась со вкусом одетая дама, то это была либо иностранка, либо «камелия». Мода среди лондонцев была не в моде, пока не дали воли американцам и евреям. Лондонские туалеты 1864 года выглядели так же гротескно, как Монктон Милнс на прогулке верхом по Роттен-Роу.

Такое общество, возможно, пригодилось бы в известной степени молодому человеку, вознамерившемуся издавать Шекспира или Свифта, но оно имело мало отношения к обществу 1870 года и никакого к тому, что процветало в 1900-м. Однако в силу ряда причин юный Адамс не усвоил даже тот светский стиль, какой все же существовал. Пагубную роль здесь сыграли его первые сезоны, когда он терялся от смущения. Отсутствие светского опыта мешало ему просить, чтобы его представили дамам, царившим в свете, отсутствие друзей мешало узнать, кто эти дамы, и он имел основание полагать, что, если бы стал набиваться сам, заслужил бы только презрение. Правда, подобная щепетильность была излишней в английском обществе, где мужчины и женщины вели себя в отношениях друг с другом грубее, чем с иностранцами. Но юный Адамс, сын посланника и его личный секретарь, не мог позволить себе быть таким толстокожим, как англичанин. В этом он был не одинок. Все молодые дипломаты и большая часть старых чувствовали себя неуютно в английских домах: они не были уверены, что им так уж рады, и опасались, что им это могут сказать.

Если существовал тогда в Англии дом, который мог по праву называться обителью широких взглядов и терпимых вкусов, то это было поместье Бреттон в Йоркшире, и если существовала хозяйка дома, которая могла по праву считать себя образцом светскости и обаяния, то это была леди Маргарет Бомонт. И вот однажды утром, сидя за завтраком в этом

доме рядом с хозяйкой — честь явно не по заслугам! — Генри Адамс услышал, как она раздумчиво, словно про себя, произнесла, глядя в чашку, своим глубоким грудным голосом в присущей ей томной и свободной манере: «Ну к чему мне эти иностранцы, не люблю я их!» В ужасе — не за себя, за нее — молодой человек с трудом пролепетал в возможно веселом тоне: «Ну уж для меня, леди Маргарет, надеюсь, вы сделаете исключение!» Разумеется, она тут же нашлась, ухватившись за то, что лежало на поверхности, — она-де вовсе не считает его за иностранца! — и ее истинно ирландское обаяние превратило оговорку в милый комплимент. Тем не менее она знала, что, исключая его английское имя, он фактически иностранец, и нет никакой причины, чтобы он или любой другой иностранец ей нравился — разве только что ей смертельно надоели абorigены. Видимо почувствовав, что ей все же необходимо оправдаться в собственных глазах, она излила на молодого человека море добросердечия, подсознательно присущего ее ирландской натуре, которая не чувствует себя в полной мере дома даже в Англии. Леди Маргарет тоже была в чем-то чуть-чуть «не англичанка».

Всегда ощущая этот барьер, особенно в дни войны, личный секретарь скрывался в толпе иностранцев — пока не убедился в прочности и неизменности своих светских связей. Он никогда не чувствовал себя принадлежащим к английскому обществу, как никогда не мог с твердостью сказать, что, собственно, вкладывают в это понятие те, кто к этому обществу принадлежит. Он различал множество разных обществ, видимо совершенно независимых друг от друга. Наиболее изысканное из них было самым узким, и туда он почти не был вхож. Самое широкое охватывало любителей охоты, также почти ему неизвестной, разве только по рассказам знакомых. Между этими двумя группами существовало множество других, трудно определенных. Его друзья-юристы, в число которых входил Эвартс, часто собирались в своем законоведческом кругу, пили вино и рассказывали анекдоты из судебной практики.

Сам он никогда не видел живого судьи, кроме случая, когда отец взял его с собой к старому лорду Линдхёрсту, где они застали другого старика — лорда Кэмпбелла, и слушали, как оба честили третьего старика — лорда Брума. Церковь и епископы составляли несколько обществ, куда ни один секретарь ни под каким видом проникнуть не мог, разве только контрабандой. Армия, флот, служба в Индии, врачи и хирурги, клерки из Сити, художники всех мастей, землевладельцы с семьями по графствам, шотландцы и неизвестно кто еще только не составлял обществ в обществе, причем все они были так же чужды друг другу, как Адамс каждому из них. Проведя в Лондоне восемь, если не все десять сезонов, Генри считал, что знает о лондонском обществе столь же мало и оно столь же ему недоступно, как в мае 1861 года, когда он впервые попал на вечер у мисс Бердет-Кутс.

Каждый молодой человек, раньше или позже, входил в какую-нибудь компанию или круг и посещал те несколько домов, куда его пригласили. Американцу, который не увлекался ни охотой, ни лошадьми, не интересовался ни ружьями, ни удочками, ни картами, да к тому же не имел намерения жениться, широкий круг знакомств был ни к чему. Девяносто девять домов из ста не могли его привлекать и тяготили бы даже больше, чем он их хозяев. Таким образом, вопрос, волновавший молодых иностранцев — как стать членом лондонского общества — как войти в него или из него выйти, — после трех-четырёх лет решился для Адамса сам собой. Общество не было монолитом, в нем перемещались, как личинки в сыре, но оно не было и кебом, который нанимают — войти и выйти, — спеша к обеду.

Вот почему Адамс всегда утверждал, что не знает общества, не знает, принадлежит ли к нему, и, судя по тому, что впоследствии услышал от своих будущих приятелей — вроде генералов Дика Тейлора или Джорджа Смолли — и от нескольких светских львиц семидесятых годов, он и впрямь очень мало о нем знал. Кое-какие известные дома и кое-какие парадные церемонии он, разумеется, посещал, как каждый, кому доста-

вался пригласительный билет, но даже здесь число людей, представлявших для него интерес и содействовавших его воспитанию, исчислялось единицами. За семь лет жизни в Лондоне ему запомнилось только два приема, которые, по-видимому, чем-то привлекли его внимание, хотя чем, он так и не мог бы сказать. Ни один из них не носил официального характера и не был типично английским. Зато оба вызвали бы негодование философа, человека же светского вряд ли чему-то могли научить.

Первый происходил в Девоншир-хаусе — рядовой, не готовившийся заранее прием. Разумеется, приглашением в Девоншир-хаус никто не пренебрегал, и гостиные в тот вечер ломились от гостей. Личный секретарь теснился со всеми, когда прибыла мадам де Кастилионе, одна из известнейших красавиц Второй империи. Насколько она была красива и какого рода красотой, Адамс так и не узнал, поскольку толпа, состоявшая из самой изысканной и аристократической публики, мгновенно образовала коридор и, стоя в два ряда, стала пялить глаза на французскую гостью, а те, кто оказался сзади, взгромоздились на стулья и глядели на нее поверх голов более удачливых соседей. Мадам де Кастилионе, пройдя сквозь строй, низавший ее взглядами светской черни, пришла в такое смущение, что немедленно покинула Девоншир-хаус. На том все и кончилось!

Другой беспримерный спектакль разыгрался в Стаффорд-хаусе 13 апреля 1864 года, когда в дворцовой галерее, напоминавшей о картинах Паоло Веронезе с изображением Христа, который творит чудеса, Гарибальди в накинутаой поверх красной рубашки шинели принимал весь Лондон и три герцогини буквально молились на него, чуть ли не простираясь у его ног. Здесь личный секретарь, во всяком случае, несомненно, прикоснулся к последней и высшей грани социального опыта, но что она означала — какое социальное, нравственное и интеллектуальное развитие демонстрировала искателю истины, — этого ни передовица в «Морнинг пост», ни даже проповедь в Вестминстерском аббатстве не смогли бы полностью рас-

крыть. Расстояние между мадам де Кастилионе и Гарибальди было так велико, что простыми способами его было не измерить; их характеристики были слишком сложны, чтобы исчислить черты обоих средствами простой арифметики. Задача по приведению обоих в какое-то соотношение с упорядоченной социальной системой, стремящейся к упорядоченному развитию — будь то в Лондоне или в другом месте, — была по плечу Алджернону Суинберну или Виктору Гюго, а Генри Адамс еще не достиг в своем воспитании необходимой ступени. И тем не менее даже тогда он, скорее всего, отверг бы, как поверхностные и нереальные, все воззрения тех, с кем вместе наблюдал эти два любопытных и непостижимых спектакля.

Что касается или придворного общества, то тут урядный секретарь не мог поживиться ничем, или почти ничем, что помогло бы ему в его дальнейших странствиях по жизни. Королевская семья держалась в тени. И в эти годы, с 1860 и по 1865-й, невольно напрашивалась мысль, что тонкое различие между самым высшим кругом и просто высшим кругом в свете определяется отношением к королевской семье. В первом ее считали нестерпимо скучной, всячески избегали и, не обвиняя, говорили, что королева никогда не принадлежала и не принадлежит к свету. То же можно было сказать о доброй половине пэров. Даже имена большей части этих пэров не были известны Генри Адамсу. Он никогда не обменялся и десятью словами с кем-либо из членов королевской фамилии, среди известных ему в те годы лиц никто не интересовался ими и не дал бы ломаного гроша за их мнение по тому или иному вопросу, никто не добивался чести оказаться с ними или титулованными особами в одном доме, разве только его хозяева отличались особыми усилиями по части гостеприимства — как и в любой другой стране без титулованных особ. Постоянно бывая в свете, Генри Адамс, разумеется, знал и золотую молодежь, посещавшую все балы и отплясывавшую все модные танцы, но эти молодые люди, видимо, не придавали титулам никакой цены; их больше всего беспокоило, где найти лучшую пару для

танцев до полуночи и лучший ужин после полуночи. Для американца, как и для Артура Пенденниса или Барнса Ньюкома, положение в обществе и знания имели неоспоримую ценность; пожалуй, он придавал им даже большую цену, чем они того стоили. Но какова была им истинная цена, оставалось неясным: казалось, она менялась за каждым поворотом; здесь не было твердого стандарта, и никто не мог его точно определить. С полдюжины самых приметных в его время кавалеров и красавиц со знатнейшими именами сделали наименее удачные партии и наименее блестящие карьеры.

Сторонний наблюдатель, Адамс устал от общества: вид собственного придворного одеяния нагонял тоску, сообщение о придворном бале исторгало стон, а приглашение на званый обед повергало в ужас. Великолепный светский раут не доставлял и половины удовольствия — не говоря уже о пользе для воспитания, — какое можно было купить за десять шиллингов в опере, где Патти пела Керубино или Гретхен. Правда, подлинные знатоки света судили иначе. Лотроп Мотли, числившийся высочайшим по рангу, как-то сказал Адамсу в самом начале его светского послушничества, что лондонский званый обед, как и английский загородный дом, есть высшая ступень человеческого общества, воплощение его совершенства. Молодой человек долго размышлял над этим высказыванием, не вполне разумея, что, собственно, Мотли имел в виду. Вряд ли он считал, что лондонские обеды совершенны как обеды, поскольку в Лондоне тогда — исключая нескольких банкиров и заезжих иностранцев — никто не держал хорошего повара и не мог похвастать хорошим столом, а девять из десяти обедов, поглощаемых самим Мотли, были от Гантера и на редкость однообразны. Все в Лондоне, особенно люди немолодые, горько сетовали, что англичане не понимают в настоящей еде и даже, дай им *carte blanche*¹, не сумеют заказать пристойный обед. Генри Адамс не числил себя гастрономом, но, слыша эти

¹ Свобода действий (*фр.*).

жалобы, не мог заключить, что Мотли имел в виду похвалить английскую *cuisine*¹.

Едва ли Мотли имел в виду, что общество, собиравшееся за столом, являло собой приятную для взора картину. Хуже туалетов нельзя было придумать — с эстетической точки зрения. Правда, глаза слепили фальшивые бриллианты, но американка, появившись она за столом, непременно сказала бы, что они надеты не так и не там. Если среди обедающих оказывалась элегантно одетая дама, то это была либо американка, либо «камелия», и она, словно примадонна на сцене, сосредоточивала на себе все внимание. Нет, английское застолье вряд ли кого-то могло восхитить.

И уж меньше всего Мотли мог иметь в виду совершенство вкуса и манер. Английское общество славилось дурными манерами, а вкусы были и того хуже. Все американки без исключения приходили в ужас от английских манер. По сути дела, Лондон производил на американцев неизгладимое впечатление резкостью своих контрастов: сверхуродливое — такое, что хуже не куда, — служило фоном для своеобразия, утонченности и остроумия считанных лиц, так же как некрасивость толпы оттеняла исключительную красоту нескольких ослепительно красивых женщин. Во всем этом сквозило нечто средневековое и забавное: порою грубость, да такая, от которой у портового грузчика глаза полезли бы на лоб, порою куртуазность и сдержанность под стать «круглому столу» короля Артура. Но не эти контрасты уродства и красоты входили в понятие совершенства, о котором говорил Мотли. Он имел в виду иное — образованность, светскость, современность, но мерил эти качества собственными вкусами.

Пожалуй, он имел в виду, что в домах, где любил бывать, тон был непринужденным, беседы — интересны, а уровень образования — высок. Но даже в этом случае ему пришлось бы осторожно выбирать эпитеты. Ни один немец не согласился

¹ Кухня (*фр.*).

бы признать, что среди англичан есть люди высокообразованные, или вообще хоть как-то образованные, или что им вообще свойственно стремление к образованию. Ничего похожего на потребность посещать лаборатории или лекционные залы в английском обществе и близко не было. Можно было с равным успехом разглагольствовать об «Иисусе» Ренана за столом у лондонского епископа и о немецкой филологии за столом у оксфордского профессора. Общество — если можно назвать обществом узкий литературный круг — желало развлекаться своим привычным путем. Но Сидни Смит, великий мастер развлекать, уже умер; умер и Маколей, который если не развлекал, то поучал; в 1863 году, на рождество, умер Теккерей; Диккенс не любил света и почти в нем не бывал; Бульвер-Литтон не отличался веселостью нрава; Теннисон не выносил незнакомых людей; Карлейля не выносили они; Дарвин вовсе не появлялся в Лондоне. Пожалуй, Мотли разумел тех, с кем встречался на завтраках у лорда Хьютона, — Грота, Джуетта, Милмена и Фруда; Браунинга, Мэтью Арнолда и Суинберна; епископа Уилберфорса, Винеблза и Хейуорда или, возможно, Гладстона, Роберта Лоу и лорда Гранвилла. Что подобное «общество» составляло в массе гостей крохотную группу — изолированную, задавленную, незаметную, — было достаточно известно даже личному секретарю, но американскому историку и литератору, не встречавшему ничего похожего у себя на родине, оно, естественно, показалось совершенством. В узких пределах этой группы члены американской миссии чувствовали себя превосходно, но круг этот замыкался на нескольких домах — либеральных, литературных, но совершенных только в глазах историка из Гарвардского университета. Ничему ценному они научить не могли: их вкусы давно устарели, их знания, с точки зрения следующего поколения, равнялись невежеству. И что хуже всего для целей будущего, они во всем были сугубо английскими.

Светское воспитание, полученное в этой среде, не могло пригодиться ни в какой другой, но Адамсу полагалось постичь

все правила светских приличий до тонкостей. Личному секретарю необходимо было не только держаться, но и чувствовать себя в гостиных как дома. И он учился рьяно, упражнялся до седьмого пота в том, что ему казалось главными светскими совершенствами. Возможно, нервничая, он делал многое не так, возможно, принимал за идеал в других то, что было лишь отпечатком его собственных представлений, и все же постепенно усвоил все, что требуется в совершенном человеческом обществе, — войти в гостиную, где ты никого не знаешь, и расположиться на коврике у камина, спиной к огню, изобразив на лице предвкушение удовольствия и благожелательности, без тени любопытства, как если бы попал на благотворительный концерт любезно расположенный аплодировать исполнителям, не замечая их ошибок. В юности этого идеала редко кому удавалось достичь, годам к тридцати он выливался в форму снисходительной надменности и оскорбительного покровительства, зато к шестидесяти превращался в учтивость, благожелательность и даже уважение в обращении с молодыми людьми, что безмерно пленяло в мужчинах и женщинах. К несчастью, до шестидесяти Адамс ждать не мог: ему нужно было зарабатывать на жизнь, а покровительственный вид нигде, кроме Англии, не обеспечил бы ему годового дохода.

После пяти-шести лет непрерывных упражнений вы приобретали привычку кочевать из одной незнакомой компании в другую, не думая о том, кто они вам и кто вы им, и как бы молча иллюстрируя положение, что «в мире, где все букашки, чужих друг другу нет, и каждая долею человечна», но такое душевное безразличие, рожденное одиночеством среди толпы, нигде, кроме Лондона, не помогает светским успехам. В любом другом месте оно воспринимается как оскорбление. Общество в Англии — особое царство, и то, что хорошо там, в другом месте не имеет никакой цены.

Что до англичанок, то в смысле воспитания дамы моложе сорока ничего предложить не могли. В сорок они становились чрезвычайно интересными — чрезвычайно привлекательны-

ми — для мужчин в пятьдесят. Внимания молодых англичанок юный американец не стоил, и так его и не удостоился. Они друга друга не понимали. Завязать дружеские отношения с юной леди можно было лишь случайно — в чьем-то доме, на загородной вилле — только не в свете, — но Генри Адамсу подходящий случай так и не выпал. Его чувствительная натура была представлена милостям американских девиц, заниматься которыми входило в его профессиональные обязанности, коль скоро он числил себя дипломатом.

Таким образом, его лодка оказалась в водах, где он вовсе не рассчитывал плавать, и течением ее несло все дальше и дальше от родной пристани. С третьим сезоном в Лондоне его воспитание на дипломатическом поприще закончилось, и началась светская жизнь молодого человека, чувствовавшего себя в Англии совсем как дома — лучше, чем где-либо в другом месте. И чувство это родилось отнюдь не в результате посещения приемов в саду, обедов, раутов и балов. Их можно посещать без конца и вовсе не чувствовать себя на них как дома. Можно гостить в невесте скольких загородных виллах, но оставаться чужим, сознавая, что другим тебе не быть. Можно раскланиваться с доброй половиной английских герцогов и герцогинь, еще сильнее сознавая себя чужим. Сотни людей кивнут мимоходом, но никто не подойдет. Близкие отношения в местах, подобных Лондону, — такая же необъяснимая тайна личного притяжения, как химическое сродство. Тысячи пройдут мимо, и вдруг один, отделившись от толпы, подаст другому руку, и так, мало-помалу, сложится тесный круг.

Ранним утром 27 апреля 1863 года Генри отправился на завтрак к сэру Генри Холланду, придворному врачу, который сохранял дружеские отношения со всеми американскими посланниками, начиная с Эдуарда Эверета, и был для них неопределимым союзником: не ведая страха, он старался всем быть полезным, и сегодня, приглашая на завтрак личного секретаря посланника Адамса, благоразумно помалкивал о том, что, возможно, слышал вчера о делах мятежников, потчужа их пред-

ставителя завтраком. Но старый доктор оставался другом миссии, невзирая на антиамериканские настроения в обществе, и юный Адамс не мог отказаться от его приглашения, хотя знал, что будет завтракать в девять часов на Брук-стрит, сменив мистера Джеймса М. Мэзона. Доктор Холланд — крепкий как камень старик, целыми днями разъезжавший по городу с непокрытой головой, а перед сном съедавший гору гренок с сыром, полагал, что молодому человеку только в удовольствие отведать у него за завтраком румяных булочек да обронить кое-какие крохи из сообщений о ходе войны, чтобы ему, доктору, было чем попотчевать днем своих именитых пациентов. В то утро, получив приглашение, личный секретарь смиренно пошел на Брук-стрит и у самой двери столкнулся с другим молодым человеком, как раз стучавшим по ней молоточком. Они вместе вошли в столовую, где их представили друг другу, и Адамс узнал, что второй гость мистера Холланда — студент выпускного курса в Кембридже, а зовут его Чарлз Милнс Гаскелл и он сын Джеймса Милнса Гаскелла, члена палаты общин от Уэнлока, еще одного Милнса из Йоркшира, проживавшего в Торне близ Вейкфилда. Воистину судьба желала повязать Адамса с Йоркширом. Ей также было угодно, чтобы юный Милнс Гаскелл оказался приятелем Уильяма Эверета, который как раз заканчивал курс в Кембридже. И наконец, уж не иначе как по велению судьбы, мистеру Эвартсу вдруг пришла фантазия посетить Кембридж. Уильям Эверет предложил ему свое гостеприимство, а Адамс взялся его сопровождать, и в конце мая они отправились на несколько дней в Кембридж, где Уильям в роли учтивого хозяина оказал им бесподобные радушие и внимание, и его кузену пришлось с горечью признать, что ему еще далеко до светского совершенства. Кембридж был прелестен, преподаватели милы, мистер Эвартс в восторге, а личный секретарь считал, что с честью выполнил часть повседневной работы. Но поездка эта имела значение для всей его жизни, положив начало близости с Милнсом Гаскеллом и кругом его

университетских друзей, как раз готовившихся вступить в жизнь.

Дружеские узы завязываются на небесах. В Англии Адамсу встретились сотни людей, великих и малых, с кем только, от принцев королевской крови до забубенных пьяниц, он не сталкивался, на каких только официальных приемах и домашних вечерах не бывал, какие только уголки Объединенного королевства не посещал, не говоря уже о парижской и римской миссиях, где его тоже неплохо знали. Он был вхож во многие компании, гостившие на загородных виллах, и неуклонно следовал обычаю делать утренние визиты по воскресеньям. И все это ровным счетом ничего ему не давало — жизнь шла впустую. Да и что мог он приобрести, сопровождая заезжих американок в гостиные, а американцев в приемные Сент-Джеймского дворца или теснясь бок о бок с членами королевского дома на очередном приеме в саду, — все это он делал для своего правительства, хотя как президент Линкольн, так и государственный секретарь Сьюард вряд ли настолько знали свое дело, чтобы поблагодарить его за то, чего не умели добиться от собственного штата, — за добросовестное исполнение своих обязанностей. Но для Генри Адамса — не для личного секретаря — время, заполненное подобной деятельностью, текло впустую. С другой стороны, его личные привязанности касались только его самого, и случайная встреча, сделавшая его почти йоркширцем, была, видимо, определена ему судьбой еще при гептархии.

Из всех английских графств Йоркшир сохранил в социальном отношении наибольшую независимость от Лондона. Даже Шотландия вряд ли оставалась более самобытной. Йоркширский тип всегда был сильнейшим из всей британской крови; норвежцы и датчане относились к иной — отличной от саксонцев — расе. Даже Ланкашир не мог похвастать крепостью и цельностью Вест-Ридинга. Лондон так и не сумел поглотить Йоркшир, который в свою очередь не питал большой приязни к Лондону и открыто это демонст-

рировал. В известной степени, достаточно явной для самих йоркширцев, Йоркшир не был типично английским — не был «вся Англия», как там любили это выразить. Наверное, именно поэтому Йоркшир так привлекал Адамса. Ведь только Монктон Милнс взял на себя труд привлечь в свой дом молодого американца, и, возможно, Милнс был единственным человеком во всей Англии, кого Генри Адамс мог подвигнуть на такое усилие. Ни в Оксфорде, ни в Кембридже, ни в каком-либо другом месте южнее Хамбера не нашлось светского дома, где бы искали дружбы с молодым американцем. И вряд ли это объяснялось только эксцентричностью. Монктон Милнс являл собой чрезвычайно своеобразный тип, но и его дальний родственник — Джеймс Милнс Гаскелл — так же, и не менее чем он, отличался крайним своеобразием, только с обратными свойствами. Монктон Милнс, по-видимому, не мог и минуты находиться в покое, Милнс Гаскелл — в движении. В молодости он входил в знаменитую группу — Артур Хеллам, Теннисон, Мэннинг, Гладстон, Фрэнсис Дойль — и считался одним из самых многообещающих. Поклонник Джорджа Каннинга, член парламента со дня своего совершеннолетия, свойственник по жене мощного клана Уиннов из Уинстея, богатый землевладелец по йоркширским меркам, близкий друг политических вождей своей партии, он относился к той многочисленной породе англичан, которые отказываются от должности, чтобы не иметь необходимости ее исполнять, и хотят власти лишь для того, чтобы сделать ее источником праздности. Он много читал и превосходно разбирался в книгах, хранил в памяти все парламентские истории за сорок лет; любил поговорить сам и послушать других; любил вкусно поесть и, вопреки Джорджу Каннингу, выпить сухого шампанского; любил острое слово и веселую шутку, но принадлежал к поколению 30-х годов — поколению, которое не выносило телеграф и железные дороги и которое даже в Йоркшире не могло бы появиться

вновь. В глазах молодого американца мистер Милнс Гаскелл представлял собой характер даже более своеобразный и привлекательный, чем его дальний родственник, лорд Хьютон.

Мистер Милнс Гаскелл приветливо встретил молодого американца, которого сын привел в его дом, а миссис Милнс Гаскелл и подавно, поскольку ей казалось, что дружба с ним сына менее опасна, чем с иным англичанином, в чем, пожалуй, была права. У американца достало смысла понять, что перед ним одна из тончайших и обаятельнейших женщин Англии, как и ее сестра — миссис Шарлотта Уинн. Обе леди находились в таком возрасте и занимали такое положение в обществе, которые делали дружбу с ними не только честью, но и наслаждением. А так как они дали на нее согласие и одобрение, вопрос решился ко всеобщему удовольствию. В Англии семья играет в жизни общества огромную роль; если вас приняли в дом, вы приняты до конца ваших дней. Лондон может сгнуть, как если бы его и не было, но пока на земле есть жизнь, йоркширцы будут жить для своих друзей.

В 1857 году мистер Джеймс Милнс Гаскелл, отзаседав в палате общин тридцать лет в качестве депутата от Уэнлокборо в графстве Шропшир, купил Уэнлокское аббатство со всеми угодьями и старинными монастырскими строениями. Эта новая — или старая — игрушка очень понравилась миссис Милнс Гаскелл. Она привела в порядок дом настоятеля — прелестный образец архитектуры XV века, некогда превращенный в фермерский коттедж и находившийся в полном запустении, — и решила провести там осень 1864 года. Юный Адамс был среди первых ее гостей. Он сопровождал ее по дорогам Уэнлок-Эджа и Рёкина, любуясь прелестными видами этого редкостного края и бесчисленными памятниками седой старины. Это была новая, пленительная жизнь, полная впечатлений, которым можно было только позавидовать, идеальный отдых, сельская идиллия,

по Шекспиру. Поживи он такой жизнью несколько лет, и его воспитание, надо думать, было бы завершено, а сам он вполне образовался бы для весьма полезной жизни англичанина, святого отца и современника Чосера.

14. ДИЛЕТАНТИЗМ

(1865—1866)

Кампания 1864 года и вторичное избрание — в ноябре — мистера Линкольна президентом США поставили американского посланника на такую прочную основу, что он мог, не опасаясь считать — для него все волнения кончились, а для графа Рассела и императора Наполеона как раз начались. Через несколько месяцев истекло его четырехгодичный срок на посту посланника в Англии, и, хотя он знал, что из-за спорных вопросов ему придется задержаться, все же мог почти с уверенностью рассчитывать на отбытие домой в 1865 году. Его сын перестал заниматься самообразованием. Время идти в солдаты было упущено. Если он хотел быть полезным, полезным он мог быть как сын, а в этом качестве он пользовался величайшей снисходительностью и доверием. Правда, пребывание в Лондоне ничего ему не давало, но до сих пор ему ничего не дало и пребывание в других местах; достигнув двадцати семи лет, он не продвинулся ни на шаг от того, к чему пришел в двадцать один. Но его друзья находились по большей части в еще худшем положении. Война подходила к концу, и им предстояло пуститься, без руля и ветрил, по морю жизни, которая поначалу будет для них чужой.

На этой ступени, словно нарочно, чтобы прервать последнюю нить повествования, внезапно из жизни Адамса в Англии выпали полгода. Лондонский климат оказался вреден для нескольких членов семьи, и врачи предписали им провести зиму в Италии. Разумеется, сопровождать

их отрядили личного секретаря: это входило в его профессиональные обязанности, а потому шесть месяцев он прожил в Италии, набираясь опыта по части обслуживания странствующих и путешествующих. Тем временем в Америке закончилась Гражданская война. Никакого нового опыта, или воспитания, он не приобрел, но удовольствие получил. Путешествовать со всеми возможными удобствами, за чужой счет, пользуясь дипломатическими привилегиями и положением, было для него внове. Склоны в Альпах из *vettura*¹ выглядели восхитительно; в Сорренто зима не мешала подыматься в горы и спускаться в пещеры; до Неаполя было рукой подать; побывать в Риме на пасху входило в неперменный курс обучения и воспитания всякого личного секретаря; поездка на север через Перуджу и Сиену бесконечно радовала глаз; Шплугенским перевалом, хотя он и уступал Стельвио, тоже стоило полюбоваться; и в Париже всегда находилось на что посмотреть. Возможности обрести случайное воспитание, правда, сильно уменьшились по сравнению с прошлыми временами, но единственно по причине того, что Генри Адамс успел расширить свои горизонты; тем не менее сезон в Баден-Бадене, переживавшем последние дни своего блеска, мог еще кое-чему научить — хотя бы зрелищем толпы модных европейцев и американцев, с упоением глазеющей, как в разгар скачек герцог Гамильтон болтает с Корой Перл, пытаясь поднять свои акции в свете.

Весть об убийстве президента Линкольна обрушилась на путешественников, когда они были в Риме, где оказалась вполне под стать этому рассаднику убиенных и убиенцев, — вот и Америка начинает набираться опыта! Снова было о чем поразмыслить, сидя на ступенях Санта-Марии ди Арачели, но и этот урок, как всегда, ничему не научил. Ничего не произошло. Путешественники не изменили ни

¹ Четырехколесный итальянский экипаж (*ut.*).

своих планов, ни маршрута. Посланник не отозвал их в Лондон. Когда они вернулись, сезон уже закончился, и личный секретарь, вновь усевшись в Портленд-Плейс за свою конторку с грудой ждавшей переписки бумаг, вдруг увидел перед собой мир совершенно иным, словно утратившим последнюю связь с прошлым. Его неповторимое «я» — если можно назвать неповторимым «я» груды разрозненных воспоминаний, — казалось, еще существовало, но жизнь вновь распалась на куски, и ему, как пауку, которого стряхнули метлой, нужно было все начинать сначала — новую паутину и на новом месте и с новыми связями.

Все его оставшиеся в живых американские друзья и сверстники, сбросив военную форму, выглядели крайне заурядно, они наспех женились и, не найдя еще себе занятия, расползлись по закоулкам и захолустным городкам. Посланник Адамс тоже собирался отбыть «этой осенью» домой, а когда наступила осень — «этой весной», а когда наступила весна, президент Эндрю Джонсон, рассорившись с сенатом, счел за лучшее ничего не менять. Как все слуги общества, привыкшие выполнять свои обязанности и отвыкшие решать что-либо за себя, члены американской миссии продолжали по заведенному порядку бывать в лондонском свете, и светская эта рутинка, как всякая укоренившаяся привычка, грозила превратиться в порок. Если бы Генри Адамс разделял вкусы лондонских денди, он бы погиб, но обычай ежедневно прогуливаться верхом по Роттен-Роу был вовсе не в его вкусе, хотя и единственным видом спорта, которому он тоже отдавал дань. Ему явно необходимо было приняться за дело, получить новые жизненные уроки, избрать собственный путь.

Сказать так было легко, но даже отец соглашался с тем, что два пути для него закрыты. Для юриспруденции он не годился из-за дипломатии, для дипломатии — потому что слишком много уже о ней знал. Каждый, кто в течение

этих четырех труднейших для американской дипломатии лет находился в центре событий, держа руки на рычагах власти, не мог домогаться места секретаря посольства в Вене или Мадриде, чтобы умирать там от безделья, пока следующий президент не окажет ему честь выгнать его вон. Все советчики Генри соглашались в одном — дипломатия исключалась.

В обычных обстоятельствах его определили бы чиновником в государственный департамент, но при раздорах между сенатом и президентом служба подобного рода превращалась в обман. Выбрать карьеру оказалось труднее, чем получить воспитание — даже такое, которое в практическом смысле себя не оправдывало. Адамс не видел для себя дороги, и на самом деле для него ее не было. Все его друзья пытались избрать ту или иную стезю, но ни один не пошел по той, на которую мог бы вступить Генри. Расстался с Лондоном Джон Хей, чтобы похоронить себя в различных заштатных посольствах, прежде чем, многие годы спустя вернувшись на родину, снова вместе с Уитлоу Ридом и Джорджем Смолли писать для «Нью-Йорк трибюн». Фрэнк Барлоу и Фрэнк Бартлет, сняв генерал-майорские звездочки, занялись юридической практикой. Майлс остался в армии. Генри Хиггинсона, несмотря на отчаянное сопротивление, загнали на Стейт-стрит, Чарлз Адамс все еще разгуливал в звании бригадного генерала, пытаясь найти занятие и заработок. Десятки других занимались тем же, с большим или меньшим успехом. Генри Адамс видел легкие пути, чреватые разочарованиями и ошибками, но не видел ни одного, на котором его мог бы ждать заслуженный успех. В сложившихся обстоятельствах его так называемые образование и воспитание нигде не требовались.

По-видимому, он годился только для одной профессии — работы в прессе. В 1860 году он сказал бы, что рожден для издательской деятельности, как сказали бы

по крайней мере еще несколько сотен выпускников американских университетов, ежегодно вступающих в жизнь с тем же убеждением, но в 1866 году ситуация изменилась: для успеха в любом деле вдвойне нужны были деньги, а чтобы добыть деньги, требовалась двойная энергия — Америка вдвойне увеличила свои масштабы. Тем не менее пресса оставалась последним прибежищем для образованных, но неимущих молодых людей, которые не годились в художники и не желали идти в учителя. Кто ничего другого не умел, мог, во всяком случае, писать передовицы и критические статьи. За десять лет кочевой жизни накопились горы всякой ложной информации, которой в разбавленных дозах всегда можно было кормить доверчивого читателя, — заполучить бы только место за письменным столом в углу редакции любой газеты! Пресса была немногим хуже кафедры, или места безвестного учителя, или вакансии в заштатном пансионе, но при этом — ближайшим подступом к карьере для всякой владеющей пером жертвы негодного образования. И поэтому Генри Адамс решил готовить себя для работы в прессе, а так как отправиться домой и там набить себе руку он не мог, то решил использовать возможности, предоставлявшиеся ему в Лондоне.

Он — не хуже любого репортера из «Нью-Йорк геральд» — знал, что подобное начало не в американском духе; более того, он знал и о других подводных камнях избираемого пути, о которых обычный репортер и понятия не имел. Хотел он того или нет, свободно ему дышалось только в атмосфере английского образа жизни и мышления, в иной он просто задыхался. Его мать — компетентный судья в такого рода вопросах, так как успехом и популярностью в Англии превзошла даже мужа, — утверждала, что любая женщина, прожившая в Англии какое-то время, мало-помалу, сколько бы тому ни противилась, приобретала вид и манеру одеваться англичанки. Генри Адамс чувствовал, что усваивает английскую на-

правленность ума и способы мышления, хотя в душе был настроен по отношению к ним как никогда враждебно. И словно для того, чтобы полностью его обезоружить и исковеркать ему жизнь, обстановка в Англии становилась для него все приятнее и привлекательнее. К 1866 году посланник Адамс стал почти исторической достопримечательностью Лондона, где занимал совершенно самостоятельное, только ему принадлежащее место. Старые его противники сошли со сцены. Лорд Пальмерстон умер в октябре 1865 года, лорд Рассел продержался кое-как еще полгода и отдал бразды правления, а в июле 1866 года к власти пришли консерваторы. С тори всегда было легче иметь дело, чем с вигами, и посланнику Адамсу не приходилось жалеть о перемене. Его отношения в свете складывались превосходно, его вес в политических кругах рос от года к году. А при таком положении дел у его личного секретаря с каждым днем уменьшалось хлопот и переписки бумаг. Сам он занимал весьма скромное положение, но его это вполне удовлетворяло: он вел приятную жизнь, нуждался лишь в своих друзьях и, если не считать, что все же зависел от политики, чувствовал себя легко и свободно. Что касается каждодневного бытия, то ему оставалось только считать: столько-то завтраков, столько-то обедов, столько-то раутов, балов, спектаклей, выездов в загородные дома, столько-то визитных карточек нужно оставить, столько-то заезжих американцев сопроводить — обычная беготня, которой занят каждый молодой сотрудник американской миссии. И все это в целом ничего не стоило, потому что, даже если бы относилось к его официальным обязанностям — а это было не совсем так, — оставалось только суетой — постоянной, неизменной, — которая ни к чему не вела, разве только в Портленд-Плейс да в могилу.

Путем, который куда-то вел, был английский склад ума, и с каждым днем колеи на этом пути углублялись. Английский ум подобен лондонской гостиной — уютной, прият-

ной, но набитой разномастной, какой попало мебелью, которой вовсе не предназначалось стоять вместе и из которой, как ее ни расставляй, все равно не получится целого, разве только в том смысле, что она замкнута в пространстве квадратной комнаты. О существовании врожденных идей философы не перестанут спорить, пока в небе не погаснут звезды, но о врожденных вкусах ни у кого, кроме, может быть, колли, не возникает сомнений, менее всего у англичан, для которых их вкусы составляют их жизнь: как медоносная пчела летит на свои цветы, так англичанин следует своим вкусам, и в Англии каждый должен следовать за ним. Большая часть молодых англичан увлекалась скачками и охотой, немногие книгами, кое-кто находил интерес в науках, и считанные единицы отдавались тому, что за неимением лучшего слова называли искусством. Юный Адамс унаследовал вкус к тому же занятию от отца, хотя тот и утверждал, будто ничего не смыслит в искусстве, так как не способен понять, что восхищает его сына в Тёрнере. На самом деле посланник следовал здесь некоторым собственным пристрастиям — играл, так сказать, в свои игрушки. Он мог, например, потратить воскресенье, чтобы послушать службу во всех церквях, построенных в Лондоне Кристофером Реном, или несколько дней подряд, сбежав из миссии, пропадать на распродаже старинных монет у «Сотби», куда его сын в другие дни ходил на распродажи рисунков, гравюр и акварелей. Им обоим не хватало знаний, чтобы говорить друг с другом о своих увлечениях, но все различие между ними сводилось к различию в направленности этих увлечений. В искусстве, как и в том, что он писал, посланник демонстрировал приверженность к правильности формы и четкости линий — свойство ума, которое был бы рад унаследовать его сын.

Из всех приписываемых англичанам увлечений тяга к искусству — самое соблазнительное и коварное. Тот, кто вступал в этот круг, почти не мог надеяться из него выйти:

ни центра, ни пределов в нем не было, ни начала, ни середины, ни конца, как не было источника, задач и результатов в том, что касалось воспитания. И наставить на правильный путь в Лондоне его было некому. Единственный американец, способный чему-то научить, художник Уильям Хант, находился в Лондоне проездом: он задержался, чтобы написать портрет посланника, завершивший серию портретов семьи Адамсов, ныне хранящихся в Гарварде. Хант не переставая говорил об искусстве: он был, или позже стал, одним из его знаменитых популяризаторов. Но Генри Адамс слишком мало знал, чтобы чему-то научиться; а возможно, как всякий молодой человек, уже унаследовал или приобрел определенные вкусы, от которых не мог сразу избавиться. Хант же не располагал лишним временем, чтобы вымести сор из его головы. Он написал портрет и уехал.

При малейшей возможности Адамс удирал в Париж за солнцем и там каждый раз непременно разыскивал Ричардсона в мансарде на Rue du Vas или в любом другом месте, где бы тот ни жил, они шли в Пале-Рояль и за обедом толковали обо всем, что волновало учеников *Beaux Arts*¹. Ричардсон тоже умел поговорить, хотя тогда еще не нашел свой стиль. Правда, Адамс улавливал лишь малую долю бродивших в голове приятеля мыслей, в особенности мало потому, что Адамсу все французское, кроме ресторанов, всегда казалось пошлым, а постоянная жизнь в Англии приучила считать французское искусство втрое пошлым. Это вовсе не означало, что английское искусство в 1866 году было ах как хорошо, отнюдь нет, но оно помогало, вполне и английском духе, рассматривать все искусство как безделушки для гостиной.

Ни в миссии, ни в Лондоне, а в Йоркшире — точнее, в Торне — Адамс встретил того, кто ввел его в вертоград

¹ Изящные искусства (*фр.*). *Здесь*: Школа изящных искусств.

врожденного хаоса, называемого английским эстетическим вкусом. Старшая дочь Милнсов Гаскеллов вышла замуж за Фрэнсиса Тёрнера Палгрейва. Немного найдется американцев, которых могло бы заинтересовать описание семьи Палгрейвов, а между тем редкая семья столь заслуживает описания. Сэр Фрэнсис Палгрейв-отец приобрел известность как крупнейший историк древней Англии и единственный среди них не англичанин, причина этого первенства крылась в его имени — Коган, которому соответствовал и склад его ума — вряд ли английский. Свое имя на Палгрейв он сменил в угоду жене, с которой вырастил четверых замечательных сыновей: Фрэнсиса Тёрнера, Гиффорда, Реджиналда и Инглиса. Все четверо составили себе имя. Самым эксцентричным оказался, пожалуй, Гиффорд, чьи «Путешествия» по Аравии прославили его даже среди самых известных путешественников его поколения. Фрэнсис Тёрнер — или Фрэнк Палгрейв, как его обычно называли, — не сподобившись утолить свою неугомонную натуру, как Гиффорд, в путешествиях и задыхаясь в атмосфере министерства просвещения, занялся критикой. Его статьи об искусстве сделали «Субботнее обозрение» грозой британских художников. Его литературный вкус, запечатленный в антологии «Золотое сокровище», сделал для литературного воспитания Генри Адамса больше, чем тот когда-либо мог бы сделать, опираясь на собственный вкус. Сам Палгрейв не считал себя большим поэтом, хотя гимны его пользовались успехом. Критик же он был беспощадный, и его не любили. Даже Холмен Хант находил его придиричивым, и среди тьмы претендентов он, пожалуй, больше всех имел право притязать на оспариваемое многими звание самого ненавистного человека в Лондоне. Палгрейву нравилось наставлять и пояснять, лишь бы его слушал внимательный ученик. Адамс слушал внимательно: сам он ничего не знал, и ему нравилось слушать Палгрейва. Да и, по правде говоря, ничего иного ему и не оставалось: когда

Палгрейв вещал своим скрипучим голосом, никакие силы не могли его остановить. Литература, живопись, скульптура, архитектура — все подвергалось его разносам, всегда умным, но не всегда справедливым, а исчерпав себя на этих поприщах, он не гнушался перейти на другие, помельче. Джон Ричард Грин — полная противоположность Палгрейву, — чье ирландское обаяние, исполненное такта и юмора, как правило, защищало его от нападков, любил рассказывать, как Палгрейв пожаловал к нему с визитом, когда он только что переехал в свой новый, в духе королевы Анны, дом на Кенсингтон-сквер. «Пришел вчера Палгрейв, и первое, что сказал: „В декоре вашего парадного подъезда я насчитал три детали, которые выпадают из стиля“».

Другим беспощадным критиком, выступавшим даже с большей, чем Палгрейв, категоричностью, был Томас Вулнер, тоже поэт (и еще скульптор). Правда, в его скульптуре не проявлялось той грубой определенности, какую проявлял он сам, если только не делал над собой сверхъестественного усилия, чтобы быть учтивым. Бюсты его были, несомненно, хороши, а, если верить шумным похвалам Палгрейва, все его работы вообще лучшими для своего времени. К британскому искусству — или отсутствию в Британии искусства — он относился чрезвычайно серьезно, даже истово, как к личной обиде или боли, и порою в анархическом запале своих разоблачений делался даже страшен. Но поскольку Генри Адамс не чувствовал себя ответственным за английское искусство, американского же на суд Вулнеру предоставить не мог, он слушал его диатрибы под стать карлейлевским и, не морщась, их принимал. Правда, его больше устраивал третий член этого критического триумvirата — Стопфорд Брук, чьи вкусы соответствовали тому же направлению, но чья манера выражать их смягчалась благопристойностью, присущей его священническому сану. Эти пастыри от искусства вели на пути воспитания слишком окольные и скользкие, чтобы

американец мог по ним следовать. Что же касается карьеры, то Генри Адамсу лучше было бы посещать скачки.

К счастью, сам он слишком мало знал, чтобы быть критиком, тем паче художником. В иной области незнание только благо, и искусство одно из них. Генри знал, что ничего не знает, что у него нет ни наметанного глаза, ни острого чутья, дающего уверенность в себе, но его разбирало любопытство, и чем дальше, тем больше, в какой мере здесь осведомлены другие. Для него слово Палгрейва о рисунке Рембрандта или Микеланджело было окончательным, и он безоговорочно доверял суждениям Вулнера о Тёрнере. Но когда он ссылался на эти авторитеты в разговорах с торговцами картин, те только фыркали и заявляли, что в их деле эти мнения не пользуются весом. Тем не менее, если час спустя Генри оказывался на распродаже у «Сотби» или «Кристи», он наблюдал, как те же торговцы не сводят с Палгрейва и Вулнера глаз, тут же предлагая сверх за любой предмет, который те намереваются купить. А уж два торговца редко сходились во мнении. Однажды Генри купил акварель в студии у самого художника, но, когда час спустя он занес ее в лавку окантовать, хозяин подверг сомнению ее подлинность. И Генри был вынужден признать, что ничего не может доказать, поскольку ряд свидетельств говорили против него.

Как-то утром в начале июля 1867 года Палгрейв, завернув в миссию по дороге в город, предложил Адамсу захватить его с собой к «Сотби», где было выставлено небольшое собрание старинных рисунков. Собрание это, весьма любопытное, принадлежало, по имеющимся сведениям, сэру Энтони Уэсткому из Ливерпуля. Оно не выставилось и не расплылось сотни лет, однако не располагало ничем, что могло бы привлечь большое внимание. Кроме коллекционеров и знатоков, папки, скорее всего, никто не открывал. Дюжины две такого рода любителей всегда были тут как тут, не пропускали ни одной распродажи, и особенно гонялись за рисунками

старых мастеров, которые с каждым годом попадались все реже. Просмотрев быстро каталог, Палгрейв остановился на некой папке с небольшими рисунками, из которых один значился за Рембрандтом, другой — за Рафаэлем, и, задержав палец на Рафаэле, после тщательного осмотра сказал: «Это я купил бы. Сдается мне, этот листок один из тех, которые сегодня идут за пять шиллингов, а завтра за пятьдесят фунтов». Адамс отметил его для покупки и на следующее утро явился на аукцион. Распродажа шла медленно, и к двенадцати часам он решил, что успеет съесть ленч. Но когда полчаса спустя он вернулся в зал, рисунок уже купили. Крайне досадуя на себя за глупость — ведь Палгрейв прямо сказал, что хочет приобрести рисунок, а может быть, имел в виду таким образом осчастливить им Адамса, — бедный растяпа стал дожидаться конца распродажи, чтобы спросить аукционщика имя покупателя. Им оказался некто Холлоуей, торговец картинами, чья лавка находилась близ Ковент-гардена. Генри его немного знал и тотчас к нему отправился. В лавке ему пришлось подождать, пока не возвратился молодой Холлоуей с покупками под мышкой, и без всяких предисловий Генри сразу приступил к делу. «Мистер Холлоуей, — сказал он, — вы только что приобрели папку, которая мне приглянулась. Не согласитесь ли ее уступить!»

Холлоуей развернул пакеты, просмотрел рисунки и сказал, что купил их из-за Рембрандта, который ему кажется подлинным. За исключением этого рисунка, остальные он готов уступить по цене, которую заплатил за все, — двенадцать шиллингов.

Таким образом, на тот момент эти рисунки, надо полагать, видели все лондонские эксперты. Двое из них — всего двое — сочли, что их стоит купить, и один из этих двух, Палгрейв, выбрал рисунок Рафаэля, а другой, Холлоуей, Рембрандта. Адамс, которому достался Рафаэль, в этом вопросе совершенно не разбирался, но считал, что может поз-

волить себе потратить двенадцать шиллингов ради воспитания, пусть даже рисунок окажется ничем. Подобные воспитательные уроки стоят большего.

Он отнес рисунок Палгрейву. Листок был накрепко приклеен к старому, очень тонкому картонному паспорту, и, держа его на свет, можно было различить на обратной стороне какие-то строки.

— Сходите с ним в Британский музей к Риду, — сказал Палгрейв. — Рид — хранитель рисунков и, если вы его попросите, снимет паспорт.

Дня два Адамс развлекался тем, что искал среди творений Рафаэля фигуру под стать изображенной на рисунке и нашел ее в «Парнасе» — фигуру Горация, для которой, как потом выяснилось, в Британском музее имелся другой, куда более совершенный рисунок.

Наконец, захватив грязноватый, сделанный красным мелком набросок, Адамс отправился к Риду и нашел его в кабинете, стены которого были увешаны превосходнейшими рисунками Рафаэля.

— Да, — сказал мистер Рид, — я заметил на распродаже купленный вами эскиз. Только это не Рафаэль.

Адамс, не чувствуя себя компетентным обсуждать этот предмет, сообщил о результате Палгрейву, который заявил, что Рид тут ничего не смыслит. И этот предмет находился вне компетенции Адамса, но про себя он отметил, что Рид занимает должность в Британском музее, являясь хранителем лучшего — или почти лучшего — собрания рисунков в мире, в особенности Рафаэлевых, и ведает закупками для музея. Он, эксперт, с первого взгляда отверг оба рисунка — и Рафаэля и Рембрандта, — а когда Рафаэля показали ему вновь, запросив его мнение, с ходу отверг вторично.

Неделю спустя Адамс пришел к Риду за рисунком, и тот, вынув его из ящика стола, отдал со словами, в которых сквозили сомнение и неуверенность: «Должен сообщить вам, что на бумаге есть водяной знак — по-моему, такой же, как

на бумаге Маркантио». Несколько обескураженный таким методом атрибуции произведений искусства — методом, с которым даже ничтожный и невежественный американец легко мог бы справиться не хуже самого Рафаэля, — Адамс тупо спросил: «Значит, вы считаете рисунок подлинным?» — «Возможно! — ответил Р и д. — Но он сильно утрирован».

Вот оно, мнение эксперта после второго осмотра, да еще с помощью водяных знаков! В глазах Адамса одно это стоило двенадцати шиллингов! Неповторимый урок! Но на том дело не кончилось: «Эти штрихи на обороте, по-видимому, какая-то надпись, которую я прочесть не могу. Но если вы пройдете в отдел рукописей, там ее вам прочтут».

Адамс пошел с листком к хранителю рукописей и попросил его разобрать, что написано на обороте. Внимательно поглядев на строки несколько минут, хранитель со всею учтивостью сказал, что прочесть их не может: «Надпись нацарапана мелким, скорописью, с большим числом малоупотребительных сокращений и старых форм. Если есть во всей Европе человек, способный ее прочесть, так это вон тот пожилой джентльмен, что сидит за столом с табличкой Libri¹. Обратитесь к нему».

Итак, эксперт провалился на алфавите! Не сумел даже определить, что написано! Но Адамс не имел оснований жаловаться: с него не взяли и пенса, не то что двенадцать шиллингов, а ведь эти эксперты стоили в его глазах много больше — по крайней мере за те уроки, которые ему преподали. Затем он отнес листок к старику Libri, о существовании которого никогда не подозревал, и, как мог обходительнее, попросил старого джентльмена поведать ему, есть ли в строчках какой-то смысл. Не будь Адамс тем, чем был, — полным невеждой, он знал бы все о Libri, но невежество его простиралось очень далеко, и, возможно, это было к лучшему. Libri посмотрел на листок раз, другой и, наконец,

¹ Libri, мн. ч. от liber (лат.) — книга актов.

попросил Адамса посидеть и подождать. Прошло с полчаса, прежде чем он подозвал молодого человека и показал ему следующие строки:

Or questo credo ben che una elleria
 Te offende tanto che te offese il core.
 Perche sei grande nol sei in tua volia;
 Tu vedi e gia non credi il tuo valore;
 Passate gia son tutte gelosie;
 Tu sei di sasso; non hai piu dolore.¹

Насколько Адамс мог впоследствии припомнить, Libri прочитал их именно так и к тому же добавил, что сокращений много и они необычны, манера письма очень старинная, а слово, которое он прочел как *elleria* в первой строке, не итальянское. К этому моменту кто угодно уже полностью выдохся бы, и Адамс не стал задавать вопросов. Если Libri не умеет читать по-итальянски, не Адамсу же предлагать ему свои услуги! Он забрал рисунок, поблагодарил всех экспертов Британского музея и, видимо исчерпав их возможности, сел в кеб и направился в студию Вулнера, где, показав ему рисунок, сообщил мнение Рида.

— Дурак он! — презрительно бросил критик. — Ничего он в этом не смыслит. Не знаю как насчет писанины, но рисунок — подлинный. Не сомневайтесь.

Сорок лет Адамс держал этот рисунок у себя на каминной полке — отчасти потому, что он пришелся ему по вкусу, отчасти же ради эксперимента: остановится ли перед ним хоть один критик или художник? — вот что его занимало. Никто не взглянул на старика, кроме тех, кто знал его историю. Адамс и сам потерял к нему интерес. Он даже не

¹ Вижу, *elleria*, / тебя очень обижает, что оскорбляют твое сердце. / Потому что быть великим ты не желаешь. / Ты понимаешь, но не веришь, что чего-то стоишь; / У тебя уже нет самолюбия; / Ты окаменел и уже не страдаешь (*ит.*).

стал выяснять, принадлежит ли этот рисунок Рафаэлю, его ли это стихи и водяной знак. Эксперты — всем скопом, включая тех, кто сидит в Британском музее, — установили, что рисунок стоит части потраченных на него двенадцати шиллингов. На этот счет у Адамса тоже не было своего мнения. Одно он знал твердо — в части воспитания старик вполне стоил своих денег, а в части доставленного удовольствия даже больше.

Искусство — отменный путь для развития, но на каждом повороте Адамс снова и снова натывался на ту же фигуру старика — словно на исхлестанный непогодой слепой указатель, предназначенный направлять к следующей станции, но никуда не направляющий. Да и не было ее, следующей станции. Все искусство за тысячу — или десять тысяч — лет привело Англию к куче хлама, который Палгрейв и Вулнер толкли в своих ступах — высмеивали, раздергивали по ниточкам, облаивали и оплакивали и толковали в терминах, неизвестных в литературном языке. Уистлер еще не появился в Лондоне, но и другие справлялись с этим делом не хуже. Чему можно было тут научиться? Однажды, когда по возвращении в Лондон Генри обедал со Стопфордом Бруком, кто-то спросил его, как ему понравилась выставка Королевской академии. Подумав немного, Генри назвал ее прелестным хаосом, имея в виду сделать комплимент. Но Стопфорд Брук принял его слова в штыки — разве хаос не то же самое, что смерть? Воистину, вопрос этот стоил обсуждения. Только Адамс со своей стороны полагал, что ему, ищущему знаний для жизни, хаосом и смертью заниматься ни к чему — ни то, ни другое в Америке не имело бы успеха, — да и карьере его не помогло бы ничуть. Они только уведили его от поставленных целей в английский музей дилетантизма — музей остатков и отходов, где ничто, кроме обоев в качестве фона, не связывало их между собой. Пожалуй, английский вкус был губительнее даже английской образованности — впрочем, и этот вопрос оставался спорным. Адамс

ходил на распродажи и покупал то, что ему советовали купить: когда рисунок Рафаэля или Рубенса, когда акварель Гёртина или Котмена, желательно незаконченную, ибо так она больше походила на набросок с натуры. И покупал не потому, что они сочетались друг с другом, — напротив, досадными пятнами торчали на стене и тяготили ум, — а оттого, что были ему по карману. На десять фунтов — огромная сумма для личного секретаря! — не купишь Микеланджело. В результате — пестрота, то да сё, ничего путного, и главным образом потому, что таков был английский склад ума, гордившийся своей эклектичностью и почитавший ее подлинной философией и наилучшим методом.

А самое скверное — никто не смел сказать англичанам, что это не так. В художественном отношении — и это знали все — английский ум страдал эклектичностью, но сами англичане полагали, что эклектичен не их ум, а история и природа, которые соответственно так и надо изучать. Переходя от британского искусства к британской литературе, вы наткнулись на те же проблемы. Историческая школа изобиловала западнями и ловушками. Ее последователи прочно сидели в выгребной яме истории — собиратели древностей, антиквары. Перед читателем, питавшим естественную склонность к тому, что называется историей, вся британская литература девятнадцатого века представляла в их критических сочинениях как антикварная лавка или собрание анекдотов. Только Бокль пытался связать ее с идеями, но Бокль, по всеобщему мнению, успеха не добился. Маколей — вот кто воплощал собой английского историка!

Адамс разделял всеобщее восхищение Маколеем, однако сознавал — всякий, кто даже отдаленно попытается ему подражать, обречен на провал. Все равно что подражать Шекспиру! И поэтому здесь что-то было не так: поэт и историк не одно и то же, у них разные методы, и, коль скоро метод Маколея верен, он должен быть доступен и другим. Именно метод Маколея вызывал у Адамса даже больше сомнений,

чем его стиль. Маколей был драматург, живописец и, как Карлейль, поэт. Таков был английский склад ума, метод, гений или как там еще угодно его назвать. Но кто же может согласиться с тем, что метод, приведший к Фруду и Кинглейку, годится для Америки, где страсть и поэзия считались эксцентричностью! Однако тот же Фруд или Кинглейк на званом обеде держались так мило, говорили так умно, что невольно приходило на ум — может быть, английский метод и впрямь хорош, а искусство по сути своей эклектично? История лишь свалка отбросов, вроде тех, что громоздятся у стаффордских плавильных печей. Нет, лучше не противиться, а по примеру Сайласа Вэгга скорее броситься на золотую кучу британских отбросов. И коль скоро иначе нельзя, то по крайней мере можно тешить себя надеждой получить ученую степень в Оксфорде и признание в клубе «Атенеум».

После войны многие старые американские друзья Генри, пока еще нигде не осев, приезжали в Европу развлечься, и среди них доктор Полффри, все еще занятый своей «Историей Новой Англии». Из всех людей, окружавших Генри в детстве, доктор Полффри был ему самым приятным: он блуждал в милых сердцу долинах старины и, увлеченный пуританином из Новой Англии, забывал обо всем на свете. Хотя в Америке уже мало кого интересовали пуритане — разве только как своего рода украшение в стиле рококо, — бостонские Монкбарны с тем большим азартом занялись изучением пуританской общины, и доктор Полффри относился к своему предмету со всей серьезностью, как и подобало при его клерикальном воспитании. Его труд вылился в апологию — в греческом смысле этого слова, — оправдание путей господних по отношению к человеку или, что то же самое, пуританских по отношению ко всем прочим. Оправдывать — задача утомительная, и мистеру Полффри, разумеется, необходимо было отдыхать на контрастах или, так сказать, козлах отпущения, так что, когда дело доходило до живописания такой вовсе не пуританского склада фигуры, как капитан Джон Смит,

славный американский историк, не чувствуя ни малейшего позова приукрашать его портрет или защищать его нравственную репутацию, был нелюбим и весьма проницателен. Знаменитая история индейской принцессы Покахонтас пробудила в нем скрытые силы новоанглийского скептицизма. Именно Полфри подсказал Адамсу, желавшему как-то проявить себя, что статья о капитане Смите и Покахонтас на страницах «Норт Америкен ревью» вызовет интерес, а возможно, и скандал — во всяком случае, битых стекол будет достаточно для пробного камня, пущенного рукой новичка. Ничего лучшего Адамс для себя придумать не мог. Задача и впрямь показалась ему заманчивой. Засев в Британском музее, он старательно проштудировал все, что только мог там найти, и наконец, проработав добрых три или четыре месяца, соорудил статью, которую тут же отправил Чарлзу Нортону, тогдашнему редактору «Норт Америкен». Мистер Нортон отнеся к его творению любезно, если не сказать благожелательно. В январе 1867 года статья увидела свет.

Конечно, здесь было о чем поразмыслить — поразмыслить о путях воспитания. Какое раздолье для скептика! Вместо исполнения желаний, намерений и притязаний, вместо участия в Гражданской войне и блестящей карьеры на дипломатическом поприще, вместо осуществления некогда принятого обязательства быть всегда джентльменом, полезным, практичным членом общества Генри Адамс в свои двадцать восемь лет все еще таскался по лондонским гостиным, увязая, с одной стороны, в трясине английского дилетантизма, который считал пустоцветом из пустоцветов, а с другой, в американском «антикварианизме» — копании в старине, к которой относился как к величайшей нелепости. Таков был результат пяти лет его пребывания в Лондоне. Даже тогда ему было ясно — он выбрал неверный путь. И окончательно заблудился. Если он хочет чего-то в жизни достичь, нужно начать все сначала — с воспитания заново, на новом месте, с новыми целями.

15. ДАРВИНИЗМ (1867—1868)

Ни политика, ни дипломатия, ни юриспруденция, не говоря уже об искусстве и истории, не дали выхода копившимся энергии и силе, человеку же необходимо что-то делать — даже в Портленд-Плейс, особенно в темные зимние дни и бесконечно длинные зимние вечера. В ту пору общество сотрясало учение Дарвина. В геологии сторонником Дарвина выступал сэр Чарлз Лайелл, а супруги Лайелл бывали в миссии запросто. Упомянув Дарвина, сэр Чарлз постоянно обещал то же, что Палгрейв, упоминая Теннисона, — в первый же приезд Дарвина в Лондон представить ему Генри, но ни великий ученый, ни великий поэт в Лондон не приезжали и не рвались знакомиться с молодым американцем, ему же путь к ним был заказан: все знали, что они не выносят незваных гостей. Из всех американцев только полудюжине сотрудников миссии не полагалось являться незваными. Адамсу пришлось удовлетвориться сочинениями Дарвина, из которых он в первую голову прочел «Происхождение видов» и «Путешествие на „Бигле"». И стал заядлым дарвинистом, преданнейшим приверженцем нового учения, хотя едва ли достаточно последовательным, чтобы следовать за ходом дарвиновских мыслей. При всей своей бессистемности английский ум тех лет создавал систему за системой, причем вовсе не в английском духе, строя множество обширнейших теорий на весьма узком фундаменте — к крайнему возмущению людей консервативных и вящему удовольствию вольномыслящих. Атомная теория, теория сохранения энергии, механическая теория вселенной, кинетическая теория газов и Дарвинов закон естественного отбора — лишь часть того, что молодому человеку приходилось принимать на веру. Ни он, да и никто другой не обладал достаточными знаниями, чтобы проверить их истинность; невежда в математи-

ке, Генри был особенно беспомощен, но это его не останавливало. Идеи поражали новизной и, казалось, вели к широким обобщениям, сулившим наконец-то утолить его жажду образованья свой ум. Никто не рассчитывал, тем паче не требовал, чтобы делающий первые шаги неофит все понял, во все поверил. Генри Адамс стал дарвинистом, потому что при его неимоверном невежестве это было ему проще всего: даже чтобы возражать таким ученым говорунам, как Тиндалл и Гексли, надо хоть что-то знать.

По всем данным, Генри следовало бы стать и марксистом, но какая-то черточка в новоанглийской натуре противилась социализму, и Генри ничего не мог с собой поделать. Он примкнул к другому, следующему по важности учению Конта, в той его части, которая касается эволюции. Он готов был стать чем угодно, только бы не сидеть тихо в своем углу. И, словно мир, в котором он жил, был недостаточно искорежен и перевернут, жаждал перевернуть его еще больше. Желать-то он желал, но последствий себе не представлял и не пытался их постичь.

Учение Дарвина он и вовсе не пытался постичь, а воображал, что можно овладеть его основами через науку попроще — геологию, которая устраивала праздные умы не хуже истории. Все английские викарии баловались геологией и разыскивали следы сотворения мира. Дарвин искал лишь следы естественного отбора, и Адамс последовал Дарвину, хотя отбор как таковой нисколько его не интересовал — разве только косвенно, как средство досажать викариям. Он, как и девять человек из десяти, питал инстинктивную веру в эволюцию, но не питал интереса ни к естественному, ни к искусственному отбору, хотя с жадностью набросился на книгу «Древность человека», которую сэръ Чарлз Лайелл опубликовал в 1863 году, чтобы, разрушив миф о садах Эдема, поддержать Дарвина. В 1866 году вышло новое издание «Основ» сэра Чарлза — в то время классического труда по геологии, — но здесь дарвиновская доктрина приобретала

новое качество. Естественный отбор уводил в естественную эволюцию, в конечном итоге в естественное единообразие — униформизм. Гигантский шаг! Непрерывная эволюция, протекающая в единообразных условиях, всем — кроме викариев и епископов — пришлось по вкусу, она превосходно заменяла религию: этакое безопасное, консервативное, практичное божество, насквозь пропитанное духом общего права. Подобная рабочая гипотеза развития вселенной устраивала и молодого человека, который только что помог извести пять, а то и все десять тысяч миллионов долларов и миллион человеческих жизней, чтобы навязать единство и единообразие людям, которые тому противились. Идея Лайелла казалась современной и потому на редкость соблазнительной: в ней словно таилось очарование искусства. Единство и единообразие исчерпывали все мотивы философии, и если Дарвин, как истый англичанин, предпочитал не начинать с нее, по примеру Спинозы, а опереться в конце — чтобы дойти до идеи бога *a posteriori*¹, из различия методов вытекала лишь одна мораль: лучший путь к единству — в единении. Любой путь хорош, когда приводит к цели.

От избранного пути зависела жизнь. С самого начала вас, словно пуделя на поводке, всегда бегущего в ту сторону, куда его сильнее потянут, влекло то туда, то сюда, то к одной форме единства или централизации, то к другой. Доказательство, что вы поступили мудро, так как действовали, подчиняясь первозданному закону природы, льстило самолюбию. Постепенная, единообразная, непрерывная эволюция от более низкого к более высокому казалась понятной. Поэтому, когда однажды, зайдя в миссию, сэр Чарлз осведомился, нельзя ли привлечь должное внимание к его «Основам» в Америке, юный Адамс по простоте душевной предложил сэру Чарлзу свои услуги, если тот подскажет ему, что написать. Юность легко идет на такие столкновения со вселенной,

¹ На основании имеющихся данных (*лат.*).

пока не набьет себе шишек, но даже Адамс удивился тому, с какой готовностью сэр Чарлз принял его предложение, а еще больше собственной дерзости, когда, поговорив с ним с полчаса, уселся просветлять мозги американским геологам и учить началам их собственной профессии. Дело подвигалось быстро, даже Артур Пенденнис не осмеливался зайти столь далеко.

Американские геологи оказались стойким кланом, и поучения Адамса им, по всей очевидности, не очень досадили, да и он в свою очередь не слишком волновался на их счет. За предложенную задачу он взялся главным образом ради того, чтобы просветить не их, а себя, и, если бы сэр Исаак Ньютон обратился к нему, подобно сэру Чарлзу Лайеллу, с просьбой растолковать американцам последнее издание его «Начал», Адамс и ему бы не отказал. К несчастью, чтение подобного рода трудов ради приятного времяпрепровождения несколько отличается от изучения их с целью критического разбора. Профану приходится начинать с самого начала, и Адамс неизбежно начал бы с того, что потребовал у сэра Исаака назвать точную и ясную причину, почему яблоко падает на землю. Факт как таковой его бы не удовлетворил: для этого он слишком мало знал. Закон всемирного тяготения — пусть так, — но что такое тяготение? И лишился бы остатков ума, услышав от сэра Исаака, что тот и сам этого не знает.

С первого же шага Адамс натолкнулся на ледниковую теорию или теории сэра Чарлза. Полный профан, он наивно полагал, что ледниковый период — это нечто вроде разрыва, отделяющего его от мира единообразия, сиречь униформизма. Но если и ледниковый период принадлежит к единообразию, что же такое катастрофа? Те несколько концепций, которые сэр Чарлз изобрел или заимствовал для истолкования оледенения, ничего, по мнению Генри, не доказывали и выглядели крайне шаткими в качестве опоры для такого мощного здания, каким являлось учение о геологическом униформизме. Если

в науке дозволено прибегать к таким же легковесным обоснованиям, как в теологии, и принимать за отправную точку некое единство, то не лучше ли, по примеру церкви, заявить об этом сразу, не подвергая себя нападкам из-за явной слабости доказательств? Ему, человеку молодому и несведущему, было, естественно, неловко сказать такое сэру Чарлзу Лайеллу — или сэру Исааку Ньютону. Но, с другой стороны, он взял на себя обязательство изложить взгляды сэра Чарлза — взгляды, которые в качестве гипотезы считал слабыми, а в части доказательств несостоятельными. Сэр Чарлз и сам, казалось, был в них не очень уверен. Адамс попытался поделиться с ученым своими еретическими мыслями, но тщетно. Тогда он решился на дерзкую провокацию — вставить в текст статьи такую фразу, которая непременно потребует исправлений. «На первый взгляд введение [Луи Агассисом] этого нового геологического агента, — написал Адамс, — несовместимо с аргументами сэра Чарлза, который будет вынужден допустить, что в прошлом в природе существовали факторы, способные производить более резкие геологические изменения, чем те, какие возможны в наши дни». Намек остался без последствий. Сэр Чарлз не сказал ни слова; фраза была оставлена им без изменений, и Адамс так и не узнал, был ли отец униформизма тверд или слаб в своей униформистской вере; однако в нем поселилось сомнение.

Сомнения, роковые для одного ума, безопасны для другого; что же касается статьи, то она была дописана, хотя ледниковый период так и остался туманной областью в дарвинизме Адамса. Будь она единственной, его бы это не слишком волновало, но униформизм часто не вполне, а порою вовсе не подтверждал естественный отбор. Затрудняясь выбором примера, который наиболее наглядно иллюстрировал бы закон естественного отбора, Адамс попросил сэра Чарлза назвать простейший случай единообразия, известный науке. К величайшему его удивлению, сэр Чарлз поведал ему,

что от начала до конца геологического времени неизменными остались, по-видимому, всего несколько форм, таких, как *Terebratula*. Поскольку единообразия тут наблюдалось чересчур много, а отбора чересчур мало, Адамс отказался от попытки начать с начала и попробовал пойти от конца — от себя самого. Считая само собой разумеющимся, что позвоночные как нельзя лучше соответствуют его цели, он попросил сэра Чарлза указать первое позвоночное и был окончательно сбит с толку, когда тот сообщил: первое позвоночное есть весьма почтенная, числящаяся среди древнейших ископаемых рыба, которая жила во время оно и чьи кости донныне покоятся под столь любимым Адамсом аббатством в Уэнлок-Эдже.

К тому времени — к 1867 году — Адамс уже знал Шропшир как свои пять пальцев, и эту часть своего воспитания на дипломатическом поприще больше всего любил. Подобно Кэтрин Олни из «Нортенгерского аббатства», у него было заветнейшее желание — чувствовать себя как дома в средневековом, тринадцатого века, аббатстве или же поселиться в старинном, пятнадцатого века, доме настоятеля, и в Уэнлоке оба этих желания сбылись. В компании или один, от Уэнлока Генри никогда не уставал. Подымался ли он на Рёкин, посещал ли исторические места — от замка Ладлоу и Стоксея до Боскобея и Юриконнума, — ехал ли по Римской дороге или копался в руинах аббатства — все занимало его — словно в римской Кампанье, — все дышало неповторимым очарованием. Но, пожалуй, больше всего он любил бродить летними днями по Эджу, откуда за Маршами виднелись Уэльские горы. Неповторимое очарование этого ландшафта связано с тем, что в нем нет никакой эволюции. Человеку инстинктивно ненавистно время. А на склоне Эджа, где любил лежать Генри, сонно глядя сквозь летнее марево туда, где раскинулся Шрусбери, или Кадер-Идрис, или Каер-Карадок, или Юриконнум, ничто не напоминало о ходе времени. Римская дорога была близнецом железной доро-

ги, Юриконииум равноценен Шрусбери, Уэнлок и Билдуос намного превосходили Бриджнорт. И если бы пастухи Карактакуса или Оффы или монахи из Билдуоса набрали сейчас на лежащего в траве Генри, то приняли бы его за новую и чуть менее дикую разновидность валлийского головореза. И вид современного Шропшира их вряд ли бы смутил — разве что дымок от далекого паровоза. Здесь можно было как угодно тасовать временные периоды или вклинивать настоящее в любой отрезок прошедшего, без зазрения совести меря время по фальстафовым шрусберийским часам, — как можно разве только в безбрежности Тихого океана. Но самым большим наслаждением было смотреть на юг — туда, где некогда обитал самый первый предок и ближайший родственник Генри — рыба из группы ганоидов, которая, согласно профессору Гексли, именовалась *Pteraspis* — двоюродная сестрица осетру — и чье царство, согласно сэру Родерику Марчисону, называлось силуром. Тут начиналась и кончалась жизнь. Дальше за горизонтом лежал кембрий, где не водилось позвоночных и вообще никаких организмов, за исключением только моллюсков. А на дальнем краю этого кембрия высились кристаллические скалы, на которых не сохранилось даже следов органической жизни.

То, что здесь, на Уэнлок-Эдже, неподвластном времени, он, молодой американец, искавший лишь развлечений, вдруг обнаружил своих, наукой установленных предков — да еще столь современных, как если бы их только что выудили из текущего внизу Северна, — поразило его не меньше, чем если бы перед ним предстал сам Дарвин. В системе эволюции одно позвоночное не хуже другого. К тому же он, как и все, знал, что в эволюции девятьсот девяносто девять звеньев из тысячи ведут к тому, которое зовется *Pteraspis*, и столько же, возможно, следуют за ним. Да и какое имело значение для американца в поисках пращура, дышал ли тот легкими, двигался с помощью плавника или с помощью ног. Эволюции мышления эти открытия все равно не касались, ею занима-

лась другая наука. А ведешь ли ты свое происхождение от акулы или от волка, в нравственном смысле не столь уж существенно. Вопрос этот обсуждался веками — правда, без научных результатов. Взять хотя бы Лафонтена и других баснописцев. Они когда еще утверждали, что волк, даже нравственно, куда выше человека, а после недавней Гражданской войны Адамса и самого одолевали сомнения насчет нравственной эволюции. Недаром Лафонтенов волк отказывается стать человеком.

В обоих нас я вижу лютость ту же,
Так как же тут решить, какой разбойник хуже...
Нет! Изменять свой вид я не хочу¹.

Вполне возможно! Во всяком случае, в проблему *Pteraspis* это не входило: совершенно ясно, что никаких неопровержимых доказательств естественного отбора вплоть до времени существования *Pteraspis* пока не имелось, а уж то, что было до *Pteraspis*, — совершеннейшая пустота. Там не обнаружено никаких следов позвоночных — ничего, кроме морских звезд, моллюсков, полиповидных или трилобитов, с чьими любезными потомками Генри ребенком не раз плескался в заливе Куинси.

То, что его кузенами, двоюродными дедушками и прадедушками и бабушками оказались *Pteraspis* и акула, ничуть его не смущало, но то, что один из них или оба вместе были древнее самой эволюции, казалось ему странным, он никак не мог упростить себе задачу и, совершив внезапный прыжок в залив Куинси, отыскать там очаровательное существо, которое в детстве называл подковкой и чья огромная раковина и острый, как шип, хвостовой отросток нагоняли на него немало страха. В силуре, он понимал, сэр Родерик Марчисон называл подковкой *Limulus*, но это опять-таки ничего не объясняло. Признать своим предком *Limulus*, или *Terebratula*,

¹ Перевод Н. Юрьина.

или *Cestracion Philippi* было так же немислимо, как и *Pteraspis*; но, коль скоро иного не дано, не все ли равно — на ком остановить выбор. Родственные связи имеют свои границы, однако никто не знал, где их провести. Исчезнувшее силурийское позвоночное исчезло раз и навсегда. От него не осталось ни позвонка, ни чешуйки, ни отпечатка, ни следа развития вверх или вниз в какой-нибудь более примитивный тип. Итак, позвоночные начинались в лудловых сланцах, сразу столь же совершенные — а в известном смысле и более, — как и сам Адамс, венчающий здание эволюции; ведь геологией не предлагалось никаких доказательств того, что он был чем-то иным. Нет, сколько он ни ломал себе голову, Адамс не обнаруживал в теории сэра Чарлза ничего, кроме голых умозаключений — не лучше тех, какими прославился Пейли: если вы нашли часы, значит, был у них создатель! Адамс не мог вывести эволюцию жизни по *Pteraspis*, как не мог вывести эволюцию в архитектуре по любимому своему аббатству. С уверенностью он мог сказать лишь одно — в мире все изменяется. Если что и подтверждало эволюцию, то единственно энергия угля — эволюцию в использовании энергии. Сколько же требовалось энергии, чтобы подтвердить селекцию типа!

Истому дарвинисту подобные рассуждения казались банальными, а для сэра Чарлза все сводилось к недостаточности геологических данных. И он трудился в поте лица, набирая факты в пользу эволюции, чтобы накопить их горы, которые не своротить. Адамс с радостью занялся тем же и пытался ему помочь, но, выходя за пределы каждодневного урока, сознавал, что в геологии, как в теологии, можно доказать лишь эволюцию, никуда не эволюционирующую, единообразие без единообразности и отбор, который ничего не отбирал. Дарвинисты, за исключением самого Дарвина, смотрели на естественный отбор как на догму, призванную заменить веру в триединство, как на своего рода святую мечту, надежду на конечное совершенство. Чего же лучше!

И Адамс всем сердцем сочувствовал их упованиям, но стоило ему спросить себя, думает ли он так сам, и приходилось признать, что веры у него нет, что при первом же следующем новомодном поветрии отбросит дарвинизм, как ребенок старую игрушку, что идея единой формы, закона, порядка или последовательности в его глазах равнозначна их полному отсутствию и что больше всего он ценит движение, а ум его отвержен перемене.

Психология была для него новой областью, темным местом в его воспитании. И вот однажды, лежа на склоне Уэнлок-Эджа, где рядом овцы щипали траву, как овцы или их лучших статей предки щипали траву или то, что можно было щипать, в далеком силурийском царстве *Pteraspis*, — Генри, кажется, тоже открыл эволюцию, и куда более поразительную, чем та, которая приключилась у рыб. Он вовсе не обрадовался тому, что открыл: он не мог это объяснить: он тут же решил не давать этому хода. Никогда со времен его предка по имени *Limulus* ни один из всех его прашуров не грешил подобными мыслями. Но каких бы мыслей они ни держались, в одном они были едины. Миллионы миллионов предшествующих поколений, вплоть до кембрийских моллюсков, все жили и умирали с иллюзией Истины, которая вовсе не служила для их развлечения и которая никогда не менялась. Генри Адамс первым в бесконечном ряду обнаружил и признал, что его ничуть не заботит, является ли Истина истиной. Его даже не заботило, будет ли доказана ее истинность, разве только сам процесс окажется новым и занимательным. Генри был дарвинистом ради собственного удовольствия.

С начала своей истории человечество клеймило подобный образ мыслей как преступный, более того — святотатственный. Общество, защищая себя, жестоко и с полным правом за это карало. Мистер Адамс-отец считал такого рода взгляды нравственным изъяном; они его раздражали, но даже он относился к ним мягче, чем его сын, который

и без Гамлета знал, какое роковое действие оказывает «налет мысли бледной» на любое начинание, большое и малое. У него и в мыслях не было допустить, чтобы ход его жизни «свернул в сторону» из-за подобных завихрений сознания. Нет, он пойдет по течению своего времени, куда бы оно его ни вело. Генри запер психологию на ключ, посадил ее под замок и решительно утвердился в своих абсолютных нормах, устремился к конечному единению. Нечего, сказал он себе, рассматривать каждый вопрос со всех сторон, ни к чему заглядывать во все окна и открывать все двери — глупая мания, которая, как разумно объяснил своим женам Синяя Борода, никого не доводит до добра и только роковым образом разрушает практическую полезность в обществе. С сомнениями — стоит лишь их развести — не разделаешься, как с кроликами. А времени подмазывать и подкрашивать поверхность Закона не дано, хотя она вся растрескалась и прогнила насквозь. Для молодых людей, чья взрослая жизнь пришла на годы 1867—1900-й, не было иного выбора: их Законом должна стать Эволюция от низшего к высшему, соединение атомов в массу, концентрация множества в единство, приведение анархии к порядку; и Генри заставит себя идти по этому пути, куда бы тот ни вел, даже если ему придется принести в жертву еще пять тысяч миллионов золотом и еще миллион жизней.

На этом пути в конечном счете потребовалось много больше жертв, но тогда Адамсу казалось, что он назвал огромную цену. Где ему было предвидеть, что и наука, и общество предоставят ему расплачиваться за все одному. Он по крайней мере примкнул к дарвинизму с самыми честными намерениями. Церковь себя изжила, Долг превратился в нечто туманное, его место должна занять Воля, которая зиждилась на интересе и Законе. Таков был итог нескольких лет пребывания Генри в Англии — итог настолько британский по духу, что был почти равноценен ученной степени, присуждаемой в Оксфорде.

Братся за дело, так братся, и Генри Адамс засел за работу. Путано изложив свои представления о геологии, к явному удовлетворению сэра Чарлза, оставившего ему в знак благодарности собственный компас, Адамс решительно обратился к экономике, занявшись самым животрепещущим вопросом — платежами в звонкой монете. Исходя из своих принципов, он пришел к убеждению, что возобновление платежей в звонкой монете требовало ограничения денежного обращения. Адамс полагал, что составит себе имя среди американских банкиров и государственных деятелей, обогатив их примером того, как подобная задача решалась в Англии во время классического приостановления платежей в период с 1797-го по 1821-й. Засев за изучение этого сложного периода, он как мог продирался сквозь трясины пухлых томов, статей и отчетов о дебатах, пока, к стыду своему, не убедился, что сам Английский банк и все крупнейшие британские финансисты, писавшие по этому вопросу, придерживались мнения, что подобное ограничение было роковой ошибкой, наилучший же путь восстановления обесцененной валюты — предоставить это дело естественному течению, что Английский банк фактически и сделал. Время и терпение были здесь лучшими средствами.

Это открытие нанесло серьезный удар по представлениям Адамса об экономике — куда серьезнее, чем удар, нанесенный *Terebratula* и *Pteraspis*, по его представлениям, из науки геологии. Ошибка касательно эволюции не вела к роковым последствиям, ошибка касательно платежа в звонкой монете могла навсегда погубить его в глазах Стейт-стрит, убив последнюю надежду получить там должность. Итак, он оказался перед дилеммой: если не публиковать статью, полгода упорного труда вылетят на ветер вместе с планом завоевать себе положение и репутацию практического делового человека; если публиковать, то как объяснить добродетельным банкирам со Стейт-стрит, что вся их мораль и абсолютные принципы абстрактной истины, которые они исповедуют, не

имеют отношения к делу и что лучше до них не касаться. Геологи — народ по природе своей скромный и беззащитный — вряд ли станут мстить ему за наглые благоглупости, которые он высказал об их науке, но капиталисты ничего не забывают и не прощают.

Затратив немало труда и проявив пропасть осмотрительности, Адамс написал две статьи — одну, длинную, о британских финансах в 1816 году и другую — о банковских ограничениях в 1797—1821 годах и, сложив их в один пакет, отослал редактору «Норт Америкен ревью» на выбор. Он отдавал себе отчет, что, обрушив два таких объемистых специальных финансовых исследования на голову редактора, рискует получить их назад с сокрушительным для автора ответом; но дерзость юных — особенно в случае победы — привлекательнее, чем их невежество. Редактор принял оба опуса.

Когда почта доставила письмо из «Ревью», Адамс долго не решался его открыть; смотрел на него, словно просивший об отсрочке должник, а прочитав, испытал такое же облегчение, как должник, которому оно принесло весть о продлении займа. Письмо возводило его, нового автора, в литературный ранг. Отныне пресса была для него открыта. Эти статьи вместе со статьями о Покахонтас и Лайелле давали ему положение постоянного сотрудника «Норт Америкен ревью». Чего, собственно, стоил этот ранг, никто не мог сказать, но «Норт Америкен ревью» уже полвека служила почтовой каретой, в которой бостонские литераторы совершали свой путь к славе — какую каждый заслужил. Немногие писатели владели достаточным числом идей, чтобы заполнить тридцать страниц, но тех, кому казалось, что у него их достаточно, из всех изданий печатало только «Ревью». Статья равнялась маленькой книге, требуя не меньше трех месяцев работы, а платили за нее в лучшем случае пять долларов за страницу. Хорошая статья на тридцать страниц даже в Англии или Франции редко кому была по плечу, в Америке же их

практически никто не читал, но десяток-другой братьев-журналистов пробегали все же глазами по строкам — чаще всего в поисках, чего бы позаимствовать, — извлекая где идею, где факт, — этаким нечаянным улов, вроде пелакиды или чирка, за который можно было выручить от пятидесяти центов до пяти долларов. Газетные сороки зорко следили за поквартальной поживой. Тираж «Ревью» не превышал трехсот-четырехсот экземпляров и никогда не окупал весьма умеренные расходы. Тем не менее это издание занимало первое место среди американских литературных журналов; оно было источником идей для авторов более дешевого пошиба; оно проникало в слои общества, понятия не имевшие о его существовании; оно было инструментом, на котором стоило играть; а в воображении Генри открывало — в туманном будущем — доступ в одну из ежедневных нью-йоркских газет.

Не выпуская письма редактора из рук, Адамс с пристраем спрашивал себя, какой лучшей путь мог бы он избрать. В целом, принимая в соображение свою беспомощность, он полагал, что избрал путь не хуже, чем все кругом. Кто мог тогда сказать, кому из его современников предстоит играть в мире значительную роль. Возможно, какой-нибудь сверхзоркий провидец с Уолл-стрит отметил уже Пьерпонта Моргана, но вряд ли Рокфеллеров, или Уильяма К. Уитни, или Уайтлоу Рида. Никто не признал бы в Уильяме Маккинли, или Джоне Хее, или Марке Ханне выдающихся государственных деятелей. Бостон пока еще ничего не ведал о том, какая карьера ждет Александра Агассиса или Генри Хиггинсона. О Филлипе Бруксе никто ничего не знал, о Генри Джеймсе ничего не слышал; Хоуэллс только начинал; Ричардсон и Ла Фарж готовились к первому шагу. Из двух десятков тридцатилетних, чьи имена и слава вышли за пределы века, в 1867 году не выделялся ни один, кто настолько опередил бы других, чтобы гарантировать перевес в его пользу. Офицеры, отвоевав, по большей части попали в рядо-

вые. Знай Адамс в точности наперед, чем и как обернется будущее, он все равно не поступил бы умнее, не смог бы избрать для себя лучшую жизнь.

Неожиданным образом последний год, проведенный Генри в Англии, оказался для него приятнейшим. Теперь уже старый член общества, он принадлежал к его силурийскому пласту. Стал выезжать принц Уэльский. Мистер Дизраэли, лорд Стэнли и будущий лорд Солсбери оттеснили на задний план воспоминания о Пальмерстоне и Расселе. Европа менялась на глазах, в Лондоне меньше всего желали вспоминать, как Англия вела себя во время американской Гражданской войны. Крутой поворот, начавшийся в Америке в 1861 году, подходил к завершению, и впервые в истории американцы ощутили себя почти равными по силе англичанам. Пройдет еще тридцать лет, и они почувствуют себя сильнее. А пока даже личный секретарь мог разрешить себе радоваться жизни. Первый этап его воспитания закончился, новый пока не наступил, и целый год Генри предавался праздности, как человек, который в конце длинного, опасного, но успешного плавания по бурному морю и в преддверии следующего в промежутке наслаждается залитой солнцем гладью вод.

Он постарался использовать что мог. В феврале 1868 года вместе с другом, Милнсом Гаскеллом, отправился в Рим. Целый сезон он еще раз с упоением скакал верхом по Кампанье или разгуливал по средневековым улочкам Рима, сидел на ступенях Арачели, что стало для него почти такой же данью суеверию, как бросание монет в фонтан Треви. Рим был таким, как всегда, — городом трагическим и священным, со своими средневековыми кланами художников, литераторов и священников, относившихся к себе столь же серьезно, как в дни Байрона и Шелли. Десять лет случайного воспитания ничего не открыли Генри в Вечном городе. В 1868 году молодой американец знал не больше, чем в 1858-м. За эти годы он ничего не постиг такого, что сделало

бы для него Рим понятнее или позволило бы легче справляться с жизнью. Ничего не прибавил в этом отношении и последний сезон Генри в Лондоне. Лондон вошел в его плоть и кровь — стал его слабостью. Он полюбил его заповедные уголки, его дома, его нравы, даже его кебы. Он полюбил брюзжать, как англичанин, и бывать в обществе, где не встречал ни одного знакомого лица и где никем не интересовался. Настоящей же его жизнью была жизнь друзей, с их романами, удачами и неудачами, которым он глубоко сочувствовал. И когда, в конце концов, он вновь оказался в Ливерпуле, сердце его сжалось в преддверии близкой разлуки. Он двигался механически, весь какой-то сникший, хотя и сознавал, что в смысле воспитания ничего не приобрел с тех пор, как впервые, в ноябре 1858 года, поднялся по ступеням отеля «Адельфи». Он мог отметить в себе только одну перемену — вполне в духе времени. Итон-холл уже не производил на него впечатления, и даже архитектура Честера еле-еле пробуждала в нем интерес; он не чувствовал никакого трепета в присутствии британских пэров, а в основном только неприязнь к большей части тех, кто постоянно толкался на их загородных виллах. Он в такой степени стал англичанином, что, как англичане, делил общество на классы и разделял их неприязнь друг к другу и их предрассудки; он уже не был американским юнцом, благоговейно взиравшим на Англию, а оглядывал ее привычным взглядом, словно старый, изрядно поношенный костюм. Пожалуй, это и было то, что англичане вкладывают в понятие «светское воспитание». Во всяком случае, ничего иного за семь лет пребывания в Лондоне он не приобрел.

16. ПРЕССА

(1868)

Июльским вечером, часов около десяти, в жару, от которой тропический ливень стоял парной стеной, семья Адамсов

и семья Мотли сошли с парохода фирмы «Кьюнард» на правительственный катер, который в кромешной тьме высадил их в конце одного из причалов на Норт-ривер. Будь они финикийскими купцами, приплывшими на галере из древнего Гибралтара в родной Тир, вряд ли берег мира, куда они прибыли, показался бы им более чужим, настолько все в нем изменилось за прошедшие десять лет. Историк государства голландского, теперь уже не историк, а дипломат, отправился в компании личного секретаря, превратившегося просто в личность, по неизвестной улице на поиски наемных карет, которые доставили бы оба семейства в «Бреворт-хаус». Предприятие это потребовало значительных усилий, но увенчалось успехом. Незадолго до полуночи путешественники вновь обрели кров на родной земле.

Насколько родная их земля изменилась или продолжала меняться, они не могли судить и даже почувствовать смогли лишь частично. В сущности, и сама она знала о себе не больше, чем они. Американское общество всегда пыталось — почти вслепую, словно дождевой червь, — познать себя и понять, силясь не оторваться от собственной головы и отчаянно извиваясь, чтобы не упустить из виду свой хвост. Взятое в разрезе, оно напоминало длинный, бредущий вразброд, рассыпавшийся по прериям караван — десяток-другой вожаков ушли далеко вперед, миллионы иммигрантов, негров и индейцев тянутся в арьергарде, в доисторических временах. У этого общества было огромное преимущество перед Европой, потому что в тот исторический момент оно, казалось, двигалось в одном направлении, тогда как Европа растрачивала большую часть энергии, пытаясь осилить разом несколько противоположных. Правда, стоило Европе или Азии устремиться по единому курсу или в одну сторону, и Америка, пожалуй, утратила бы ведущее положение. А пока каждому, кто туда прибывал, следовало приискать себе место как можно ближе к голове каравана, а для этого нужно было знать, где искать его вожаков.

Угадать более или менее правильно направление главной силы не составляло труда: за последнее десятилетие отрасли, добывавшие энергию — уголь, железо, п а р , — получили явный перевес над вековыми элементами экономики: сельским хозяйством, ремеслами, ученостью, и в результате этого переворота человек пятидесятых годов часто вел себя на манер дождевого червя: тщетно извиваясь, чтобы вернуться к исходной точке, он был неспособен отыскать даже собственный след. Он стал приبلудным; обломком крушения, смытым или выброшенным за борт; запоздалым гулякой или цыганом-философом Мэтью Арнолда. Мир, к которому он принадлежал, кончился. Даже польский еврей, только что прибывший из Варшавы или Кракова, — какой-нибудь изворотливый Исаак или Иаков, еще пахнувший гетто и извергавший на таможенного чиновника поток непонятого идиша, — обладал более острым чутьем, более кипучей энергией и большей свободой рук, чем он — американец из американцев, за чьими плечами стояли бог ведает сколько поколений пуритан и патриотов-американцев и принципов, стоивших Гражданской войны. Он не жаловался, не винил свое время; ему приходилось не хуже, чем индейцам и бизонам, которых его же сородичи согнали с наследных земель. Он только горячо отрицал, что подобное положение создалось по его вине. Причина крылась не в нем и не в превосходстве его соперников. Но его заставили сойти с торной колеи, и он должен был во что бы то ни стало на нее вернуться.

Одно утешение у него все же было. Как бы мало он ни годился для предстоящей деятельности, его отец и Мотли — достаточно было на них взглянуть! — годились для нее еще меньше. Все они в равной мере были людьми из сороковых годов — милыми безделками времен Луи-Филиппа, стилистами, учеными-теоретиками, украшениями более или менее под стать колониальной архитектуре, но на Десбросистрит и на Пятой авеню им никогда не давали большой цены. В современном производстве они не заработали бы

и пяти долларов в день. Те, кто стоил больших денег, не служили украшениями. Коммодор Вандербильт или Джей Гулд не обладали светским шармом. Правда, страна нуждалась — еще как нуждалась! — чтобы ее хоть чуть-чуть украсили, но еще больше она нуждалась в энергии, в капитале, ибо то, что она получала, до смешного не соответствовало тому, что ей требовалось. Превращение американского континента, при новом масштабе человеческих возможностей, в пригодный для обитания цивилизованных людей потребовало бы таких непомерных издержек, что это разорило бы мир. Ни одна его часть, за исключением небольших прослоек Западной Европы, не была сколько-нибудь сносно оснащена даже основными предметами комфорта и удобства. А обеспечить целый континент дорогами и пристойными условиями жизни означало бы исчерпать возможности всей планеты. Такая цена казалась чудовищной представителю в конгрессе от Техаса, поклоннику простоты естественного человека. Но и глубоководная рыба с фотофором во лбу почла бы чудовищным оскорблением своего самолюбия, если бы ей лишь робко намекнули, что в небе над нею светит солнце. Увы, с того момента, как появились железные дороги, человек возжелал роскоши.

А пока наш запоздалый гуляка, сошедший в темноте с парома на Десбросис-стрит, пытался как мог увидеть себя во весь рост. Новой поросли американцев, одним из которых он был, надлежало — годились они на то или нет — создать свой собственный мир: общество, науку, философию, вселенную. А пока они не проложили еще ни одной дороги, не научились даже добывать свое железо. Думать им было некогда, и видели они — способны были видеть — лишь то, что требовалось сделать сегодня, а в своем отношении к вселенной мало чем отличались от глубоководных рыб. К тому же они решительно и резко возражали, когда их учили, что им делать и как, в особенности те, кто черпал свои идеи и методы из абстрактных теорий — исторических,

философских, богословских. Они знали достаточно, чтобы знать — в их мире действуют иные силы.

Все это Генри Адамс понимал и принимал; он ничего не мог тут поделать и ясно видел: американец может сделать для себя так же мало, как он — новый пришелец. Фактически чем обширнее были его познания, тем меньше в них было проку. Общество не нуждалось в образованности и даже хвасталось ее отсутствием, по крайней мере, не стесняясь, щеголяло этим публично перед толпой. Правда, те, кто стоял во главе производства, не выдавали своих чувств, — ни пользовавшихся популярностью, ни каких-либо иных. Они без зазрения совести использовали любые средства, какие шли им в руки. В 1861 году им пришлось, свернув с основного пути, потратить огромные силы, чтобы утвердить порядок, который утвердился за 1000 лет до них и который вряд ли стоило возрождать. Ценою неимоверных затрат, грубой силы они сломали сопротивление, сохранив все, кроме самого факта власти, нетронутым, ибо иного решения у них не было. Народ и его образ мыслей оставались для них недоступны. Расчистив себе путь, общество вернулось к труду, принявшись прежде всего за то, что полагало первоочередным, — строительство дорог. Открылось необъятное поле деятельности, но сразу на все не хватало сил; и общество сосредоточило свою энергию на одном участке, называемом «железные дороги». Но и эта сравнительно малая доля стоявшей перед ним задачи оказалась все же настолько велика, что на нее ушли силы целого поколения, ибо для ее решения потребовалось создать новый механизм бытия — капитал, банки, шахты, домны, заводы, электростанции, инженерные знания, технически грамотное население — и, ко всему прочему, преобразовать общественные и политические нравы, идеи и учреждения, приведя их в соответствие с новыми масштабами и условиями жизни. Поколению 1865—1895 годов пришлось целиком положить себя на строительство железных дорог, и оно, как никто, сознавало это.

Сознавал ли это Генри Адамс или нет, но у него хватало ума, чтобы действовать так, как если бы сознавал. В который раз он вернулся в Куинси, готовый начать сначала. Его брат, Чарлз, решил попытать счастья в железнодорожном бизнесе, Генри — в прессе, они надеялись играть друг другу на руку. Это было необходимо: больше им не с кем было вести игру. В бесполезности своего так называемого образования они уже убедились, им предстояло еще убедиться в бесполезности так называемых общественных связей. Вряд ли нашелся бы еще один молодой человек с таким кругом знакомств и родни, как Генри Адамс, но помощи ждать ему было не от кого. Он стал товаром на свободном рынке. Этим же товаром были многие его друзья. Все это знали, как знали и то, что шли они по дешевке — по цене квалифицированного рабочего. Они продавали себя не таясь, без смущения, без иллюзий, без единого слова жалобы. Правда, Генри порою казалось странным, почему, насколько он знал, никто из покупавших на этом рынке труда даже не поинтересовался, на что они, молодые люди, способны. По-видимому, отсутствие общности между старшим и младшим поколением было характерно для Америки. От молодого человека требовалось, чтобы он, пуская в ход испытанные приемы бизнеса, буквально навязал себя работодателю, убедил того, что ему не обойтись без него и что, купив его труд, он выгодно поместит капитал. От него, так казалось Адамсу, ждали чуть ли не вымогательства. Позднее многие молодые люди признавались ему, что испытали такое же чувство, — любопытный факт, над которым он в старости немало размышлял. Рынок труда в благоустроенном обществе оказался очень дурно устроен.

В Бостоне на интеллектуальный труд, по всей видимости, спроса не было. Этот город всегда представлял собой странный и малопонятный сплав и, хотя за десять лет он сильно изменился, более понятным не стал. В Бостоне уже не обедали в два часа дня, не катались на коньках по Бек-Бей и, когда в разговоре называли бостонцев с состоянием в пять

миллионов и выше, не считали такое вымыслом. Тем не менее нравы пока еще отличались простотой, а умы волновались меньше, чем когда-либо прежде. На том поприще, которое избрал себе Адамс, ему более всего требовалась поддержка в прессе, но тут ему не мелькнула и тень надежды. Мнение было единым: от бостонской прессы чем дальше, тем лучше. Высказывания журналистов на этот счет не оставляли и места сомнениям. Сходное говорилось и о политике. Бостон — это бизнес. Бостонцы строят железные дороги. Адамс с радостью помог бы им в этом, но у него не было должных знаний. Он не годился для бизнеса.

Месяца три-четыре он провел, нанося визиты родне, возобновляя дружеские связи и изучая ситуацию. Тот, кто в тридцать лет все еще изучает ситуацию, человек конченый, или почти конченный. В ситуации Адамсу ничего не открылось — ничего, чем он мог бы воспользоваться. Его друзья преуспели не больше чем он. Брат Чарлз, уже три года как живший цивильной жизнью, был обеспечен не лучше Генри, с той разницей, что, будучи женат, нуждался в больших средствах. Брат Джон делал успешную карьеру политического лидера — только явно не в той партии. И никто не достиг положения, равного тому, какое занимал на войне.

Генри отправился в Ньюпорт и попытался предаться светской жизни, но даже при простоте нравов, еще царившей в 1868 году, светского льва из него не получилось. Стиль, который он с таким трудом усвоил в Лондоне, совершенно не годился в Америке, где все понятия и правила были совсем иные. Ньюпорт был очаровательным местом, но ни о каком воспитании ума и сердца не могло быть и речи: воспитания ни от кого не требовалось и не от кого было приобрести. Зато жилось там весело и приятно — компании лучше, кажется, и представить себе было нельзя. Но дружеские отношения в этом обществе носили скорее характер товарищества случайно собравшихся вместе людей, как в классах колледжа; их волновало не воспитание, а предметы

воспитания. Все занимались одним и тем же, и все задавались одним и тем же вопросом — о будущем. Ответа на него никто не знал. Общество, казалось, знало только, что все к лучшему для лучших ньюйоркцев на лучшем из курортов — Ньюпорте, и что все молодые люди — крезы, если умеют вальсировать. Это был новый вариант старой басни о стрекозе и муравье.

За три месяца из сотен людей, с которыми сталкивался Адамс, единственный человек, сказавший ему ободряющее слово и проявивший интерес к его делам, был Эдуард Аткинсон. Бостон всегда прохладно относился к своим сыновьям — блудным, равно как и преданным, и отцам города требовалась бездна времени, чтобы решить, что для них сделать, — времени, которого у Адамса в его тридцать лет уже не оставалось. Он не обладал ни дерзостью, ни самонадеянностью, чтобы, подобно многим своим друзьям, открыть контору на Стейт-стрит и, подремывая там в одиночестве, созерцать пустоту внутри или снегопад снаружи в ожидании, когда госпожа Удача постучится в дверь, или в надежде наткнуться на нее спящей в лифте, вернее, на лестнице, поскольку лифты еще не вошли в обиход. Возможно, такой путь оказался бы для него наилучшим, но так это или не так, ему не довелось узнать: тут требовалась практическая сметка, ясная оценка своих возможностей, а этих свойств он так и не сумел в себе развить. Отец и мать были бы рады, если бы он остался с ними и вновь принялся за Блэкстона, и, прямо скажем, резко оборвав семейную связь, которая длилась так долго, он не выказал нежных сыновних чувств. В конце концов, быть может, Бикон-стрит была для его жизненных целей не хуже любого другого места, возможно, самый легкий и верный для него путь как раз и пролегал от Бикон-стрит до Стейт-стрит и обратно, день за днем на протяжении всех отпущенных ему лет.

Жертвуя подобным образом своим наследием, Генри лишь возвращался на стезю, увлекшую его с самого начала.

В Бостоне у него были полчища родни. И он с детства, по праву своего рождения, мог рассчитывать быть выше закона. Но от одной лишь мысли, что придется вновь обраться на Маунт-Вернон-стрит, у него начинались перебои в сердце. Эта книга — о воспитании, а не просто о тех уроках, которые преподносит человеку жизнь, к воспитанию же характер, строго говоря, не имеет отношения, хотя практически они почти неотделимы. Ни по характеру, ни по воспитанию Адамс не годился для Бостона. Он далеко отошел и отстал от своих соплеменников, и в Бостоне его характеру и воспитанию никто не доверял; ему оставалось одно — уехать.

Не видя для себя иных возможностей, Генри утверждался в своем намерении писать для прессы и выбрал Вашингтон как ближайший путь в Нью-Йорк. Но в 1868 году Вашингтон находился за чертой порядочного общества. Ни один бостонец туда не переселялся. Уехать в Вашингтон означало объявить себя авантюристом и карьеристом, человеком, увы, с превратными понятиями, и обвинения эти имели под собой почву. Адамс же тем более шел на значительный риск, что у него не было четкой идеи, чем он там займется. Единственное, что он твердо знал: ему придется все постигать сначала, для новых целей и в атмосфере, в основном враждебной полученному им воспитанию. Но как он это сделает, каким образом из праздного денди с Роттен-Роу превратится в лоббиста американской столицы, он совершенно себе не представлял, и научить его было некому. Вопрос о деньгах не вставал: молодой американец, если только он не женат, редко затрудняется проблемой денег, и Адамса она волновала не больше, чем других, — не потому, что у него водилось много денег, а потому, что он легко без них обходился, впрочем, как и большинство жителей Вашингтона, существовавших на средства не выше заработка каменщика. Однако с полным ли бумажником или с пустым, перед Адамсом стояла иная трудность: поселившись в Вашингтоне, чтобы

писать для прессы, найти такую прессу, для которой он мог бы писать. Что до больших статей, тут он мог рассчитывать на «Норт Америкен ревью», но этот журнал вряд ли представлял американскую прессу. Ходовые фельетоны и репортажи, вероятно, взял бы нью-йоркский еженедельник «Нейшн», но Генри Адамсу для его целей нужна была нью-йоркская ежедневная газета, а нью-йоркской газете Генри Адамс был не нужен. Со смертью Генри Дж. Реймонда он утратил единственный свой шанс. О «Трибюн», в которой заправлял Хорейс Грили, не могло быть и речи по причинам как политическим, так и личным, к тому же Уитлоу Рид пустил ее по столь необычному и чреватому опасностями курсу, что, следуя ему, Адамс через двадцать четыре часа уже испустил бы дух. Чарлз А. Дана сумел сделать свою «Сан» на редкость популярной и забавной, но такими средствами, которые сильно пошатнули его положение в обществе, к тому же Адамс, зная себя, понимал, что, работая на Дану, никогда не будет доволен собой, как и Дана им: при всем старании он не сумел бы сыпать отборной бранью, а в те дни канонады отборной брани составляли для «Сан» ее главный козырь. Оставалась еще «Нью-Йорк геральд», но в эту деспотическую империю, кроме Беннета, никто не допускался. Таким образом, на тот момент нью-йоркская ежедневная пресса не открывала перед Генри иного поля деятельности, кроме фритредерской Святой земли «Ивнинг пост», издаваемой Уильямом Калленом Брайантом, за которой высилось плато Нового Иерусалима, оккупированного Годкином и его «Нейшн». Адамс питал полное расположение к Годкину и был бы только рад укрыться под кровом «Ивнинг пост» и «Нейшн», но превосходно понимал, что найдет там тот же круг читателей, какой знал его по «Норт Америкен ревью».

Перспектива рисовалась весьма туманной, но ничего иного ему не предлагалось, и, если бы не личная дружба с мистером Эвартсом, занимавшим тогда пост министра юстиции и жив-

шим в Вашингтоне, Генри пребывал бы там в таком же полном одиночестве, какое испытал в свой первый — 1861-й — год в Лондоне. Эвартс сделал для Адамса то, что ни один человек в Бостоне, пожалуй, и не подумал бы сделать, — протянул ему руку. То ли в Бостоне, по примеру Салема, остерегались пришельцев, то ли Эвартс представлял собой исключение даже среди ньюйоркцев, но он обладал чувством товарищества, которого бостонцы не знали. Широкий по натуре, щедрый в гостеприимстве, расположенный к молодежи и прирожденный душа общества, Эвартс легко давал и, не смущаясь, брал, принимая мир без страха и проклятий. Острый ум составлял лишь малую долю его обаяния. Он говорил обо всем широко и свободно; смеялся, когда только мог; шутил, когда только шутка была уместна; был предан друзьям; никогда не выходил из себя и не выказывал дурного настроения. Подобно всем ньюйоркцам, он решительно ни в чем не походил на бостонца, и тем не менее вполне заслуживал, как и генерал Шерман, называться порослью Новой Англии — ее разновидностью, пересаженной и возвращенной на иной, более зловонной почве. За свою долгую жизнь, проведенную в самых различных странах, Адамс не раз бывал обязан людям, на чью доброту никак не мог рассчитывать и кому редко мог за нее воздать; с полдюжины подобных долгов так и остались им неоплаченными, а шесть — немалая цифра. Но доброта редко послужила так на пользу, как в тот раз, когда мистер Эвартс в октябре 1868 года взял Адамса с собой в Вашингтон.

С величайшей благодарностью воспользовался Адамс гостеприимством его спального вагона, тем более что при первом знакомстве с этим новшеством он сильно усомнился в ценности — для него — пульмановской цивилизации. Но еще большую признательность вызвало у него радушие Эвартса, когда тот поселил его у себя в доме на углу Четырнадцатой и Эйч-стрит, под кровом которого Генри обитал в безопасности и благополучии, пока не приискал

себе комнаты в «деревне», где их мало кто соглашался сдавать. В деревне, на его взгляд, ничто не изменилось. Не зная он, что она прошла через долгую тяжелую войну и восемь лет потрясающих сдвигов, он не заметил бы даже признаков прогресса. По-прежнему дома стояли редко; комнаты сдавались еще реже; даже люди в них жили те же. Никто, по-видимому, не страдал от отсутствия привычных благ цивилизации, и Адамс с радостью обходился без них: ведь наибольший шанс на успех сулил ему восемнадцатый век.

Первым делом надлежало искать знакомств, и прежде всего представиться президенту, которому алчущий продвигаться в прессе не мог не выразить свое почтение официально. Не теряя времени, Эвартс взял Генри с собой в Белый дом и отрекомендовал президенту Джонсону. Беседа, которой тот его удостоил, была краткой и свелась к стереотипной фразе, бытующей у монархов и лакеев, — молодой человек-де выглядит моложе своих лет. Сверхмолодой человек почуствовал себя моложе, чем выглядел. Адамс никогда больше не видел президента Джонсона и не испытывал желания его видеть: Эндрю Джонсон не принадлежал к той породе людей, которых тридцатилетний реформатор с образованием и воспитанием, полученными в нескольких зарубежных странах, так уж жаждет видеть. Тем не менее много лет спустя, возвращаясь мыслями к этой встрече и оценивая ее в аспекте воспитания, Адамс с удивлением отметил, с какой отчетливостью врезалась в его память фигура тогдашнего президента. Старомодный политик-южанин — сенатор и государственный деятель — сидел в кресле за своим рабочим столом с таким видом внутреннего достоинства, что в его значительности невозможно было усомниться. Никто и не сомневался. Они все были великие, разумеется кто больше, кто меньше; все — государственные мужи, и питало их, возвышало, вдохновляло нравственное сознание своей правоты. Они воспринимали мир всерьез,

даже торжественно, но это был их мир — мир южан, с их понятиями о справедливости. Ламар любил повторять, что ни разу не усомнился в разумности рабовладельческого строя, пока не обнаружил, что рабство обрекает на поражение в войне. Рабство было лишь частью этого строя, основой же его — его силой — его поэзией — было нравственное сознание своей правоты. Южанин не мог сомневаться; и эта уверенность в себе не только придавала Эндрю Джонсону вид истинного президента, но и делала его таковым. Впоследствии, оглядываясь на годы его президентства, Адамс с удивлением обнаружил, какой сильной была исполнительная власть в 1868 году — сильнее, пожалуй, чем в любое другое известное ему время. Во всяком случае, никогда в жизни он не чувствовал себя так хорошо и свободно, как тогда.

Сьюард все еще исполнял обязанности государственного секретаря. Человек далеко не старый, хотя и со следами времени и ударов судьбы, он за истекшие восемь лет, по всей видимости, мало изменился. Он был тот же, но в чем-то не тот. Возможно, он наконец, в отличие от Генри Адамса, завершил свое развитие, достиг всего, чего хотел. Возможно, примирился с мыслью, что придется обойтись тем, что есть. Какова бы ни была причина, но, хотя Сьюард, как всегда, держался с грубоватым добродушием и говорил свободно на любые темы, он, казалось, покончил свои счета с обществом. Его, по-видимому, ничто не интересовало, он ничего не просил и не предлагал, ни в ком не искал поддержки, редко говорил о себе, еще реже о других, и только ждал, когда его освободят от должности. Адамс был рад, что оказался рядом с ним в эти последние дни его власти и славы, и часто навещался к нему в дом по вечерам, когда его наверняка можно было застать за игрою в вист. Под конец, когда до его отставки оставались считанные недели, Адамс, желая убедиться, что великий человек — единственное начальство, которому он по собственному почину служил, — все же признает некоторые личные связи,

пригласил мистера Сьюарда отужинать у него в «деревне» и сыграть там свою ежевечернюю партию в вист. Мистер Сьюард отужинал у него и сыграл свою партию, и Адамсу запомнилось, как, прощаясь, государственный секретарь сказал ему в своей грубоватой манере: «Разумно провели вечерок!» Этот визит был единственным отличием, какое он когда-либо попросил у Сьюарда, и единственным, которое от него принял.

Итак, наставник мудрости, образцом которого губернатор Сьюард служил ему двадцать лет, ушел из жизни Адамса; он потерял того, кто должен был стать ему надежнейшей опорой. Правда, государственный департамент его, в сущности, уже не так интересовал, вытесненный другим министерством — финансов. Министром финансов был тогда человек в политике новый — Хью Маккаллок — фигура, по мнению политиков от практики, какими мнили себя молодые представители прессы, не слишком значительная. Правда, к Маккаллоку они относились с симпатией, даром что считали его скорее затычкой, а не силой. Знай они, какие возможности министерство финансов откроет перед ними в ближайшем поколении, они, пожалуй, хорошенько поразмыслили бы над тем, правильно ли оценивают Маккаллока. Судьбе угодно было сделать Адамса невольным свидетелем деятельности многих министров, и впоследствии, подводя итоги, он пришел к заключению, что Маккаллок был лучшим из них, хотя, на первый взгляд, представлял именно то, что меньше всего Адамсу нравилось. Он не был политиком, не принадлежал ни к одной партии и не пользовался властью. Не обнаруживал и грана светскости или лоска. Он был банкир, а к банкирам Адамс чувствовал такое же слепое предубеждение, как раб к надсмотрщику, ибо знал, что не может не подчиняться и что, пытаясь насмешкой скрасить необходимость подчиняться, бессильные мира сего лишь выдают свое бессилие. После 1865 года мир принадлежал банкирам, и ни один банкир не проявил бы доверия к че-

ловеку, который, не поладив со Стейт-стрит, явился искать удачи в Вашингтон, надеясь разжиться, если повезет, кредитом, а скорее, просуществовать и так, потому что вряд ли мог представить обеспечение, а без него какой же банк в Америке дал бы ему пять тысяч взаймы. Банкир никогда не стал бы доверять ему, как, впрочем, и он банкиру. Сам образ мышления банкира казался ему отвратительным, вызывая стойкую антипатию. Тем больше было его удивление, когда он обнаружил, что мистер Маккаллок — самый широкий, щедрый, добрый и практичный человек из всех общественных деятелей, вершивших тогда дела в Вашингтоне.

И это было, несомненно, так. Тогдашнее министерство финансов было тяжелой ношей. Финансовая система пришла в полный хаос; все ее части нуждались в реформе; даже величайший опыт, такт и умение не могли обеспечить гладкую работу развалившегося механизма. И никто не представлял себе, как отменно Маккаллок справлялся со своими обязанностями, пока их не стал выполнять его преемник, решивший исправить применявшиеся Маккаллоком методы. Адамс не владел специальными знаниями и не мог оценить финансовый гений Маккаллока, но его поразило в банкире другое — открытое и доброжелательное отношение к молодежи. Из всех редких качеств это, по опыту Адамса, редчайшее. Как правило, должностное лицо не терпит вмешательства в свои дела, и чем выше должность, тем злее на него реагирует. А уж если позволяет обсуждать свои распоряжения на равных, то ставит себе это в великую заслугу, и через несколько месяцев, в крайнем случае лет, от такого необычайного усилия устает. Друг у власти — потерянный друг. Правило это настолько непреложно, что практически не знает исключений. Но Маккаллок был исключением.

Маккаллок счастливо избежал всепоглощающего себялюбия и инфантильной зависти, чаще всего присущей тем, кто рано принялся за уроки политического воспитания. У него не было ни прошлого, ни будущего, и он мог позво-

лить себе не думать, кого берет в сотоварищи. Адамс застал его окруженным всей работающей и мыслящей молодежью, какая только нашлась в стране. Это были люди, исполненные веры, увлеченные делом, жаждущие реформ, энергичные, уверенные в себе, одаренные, хватающие все на лету, упоенные борьбой, готовые защищаться и нападать; они отличались бескорыстием и даже — в сравнении с тогдашними молодыми людьми — честностью. Большая их часть пришла из армии, сохранив дух солдат-волонтеров. Фрэнк Уокер, Фрэнк Барлоу, Фрэнк Бартлет — вот кто представлял это поколение. Большая часть прессы и значительная публики, особенно на Западе, разделяли их взгляды. Все соглашались в необходимости реформ. Все правительство, сверху донизу, разваливалось если не от дряхлости того, что устарело, так от нестойкости того, что создавалось на скорую руку. Денежное обращение служило тому лишь одним примером, тарифы — другим, но и все здание, как это уже было в 1789 году, нуждалось в реконструкции: сама конституция устарела не меньше Конфедерации. Раньше или позже, удар был неминуем, и тем сокрушительней, чем дольше его откладывали. Гражданская война сделала новую систему свершившимся фактом, и страна стояла перед необходимостью преобразования всего механизма на практике и в теории.

Можно было бесконечно обсуждать, какая часть правительственной машины нуждается в реформе в первую очередь; все они безотлагательно в ней нуждались, но в самом скандальном состоянии — и этого никто не отрицал — находились финансы, источник постоянных и всесторонних неприятностей. Правда, с тарифами дело обстояло и того хуже, но за их сохранение ратовало больше заинтересованных лиц. Маккаллок обладал исключительным достоинством: он отнесся к необходимости реформ с полным пониманием и сочувственной готовностью — отменяя партии, должности, сделки, корпорации и интриги; такого Генри Адамс больше никогда не встречал.

Из хаоса часто рождается жизнь, особенно когда с порядком рождается привычка. Гражданская война породила жизнь. Армия породила мужество. Молодые люди из породы добровольцев были не всегда покладисты и послушны под началом, зато отменны в бою. Адамсу чрезвычайно нравилось, что его считали одним из них. И нигде, ни до, ни после, за всю свою жизнь он не чувствовал себя так легко и свободно, как среди этих людей в атмосфере тогдашнего министерства финансов. Чуждый партийным пристрастиям, он воображал, будто он и его друзья чуть ли не руководят администрацией, у которой в ее предсмертные дни не было, кроме них, ни друзей, ни надежды на будущее.

Они были не только ее единственными союзниками, но и весь правительственный организм, во всех его частях, жил их энергией. Как раз в это время Верховный суд решил возбудить дело о бумажных деньгах, и судья Кертис готовился выступить против якобы конституционного права администрации устанавливать искусственный масштаб цен в мирные дни. Эвартс потерял покой: ему нужно было выстроить ряд аргументов, способных противостоять доводам судьи Кертиса, и он ломал голову, как это сделать. Ему никак не удавалось найти первый ход. В сражении с судьей Кертисом, последним из могучей когорты юристов школы Маршалла, идти на риск было нельзя. Известно, что при сомнениях быстрейший способ прояснить мысль — завязать полемику, и Эвартс намеренно вызывал полемику. День за днем, разъезжал ли он, обедал или гулял, министр юстиции заставлял Адамса оспаривать его положения. Ему, говорил он, нужна наковальня, чтобы чеканить свои идеи.

Адамс чувствовал себя польщенным: наковальня, что ни говори, хотя по ней и бьют, предмет куда солиднее, чем молот, которым бьют, и, не считая себя обязанным относиться с большим почтением к аргументам мистера Эвартса, чем тот питал к ним сам, изощрялся в возражениях как только мог. Подобно большинству молодых людей, он был

крайний педант, а дискутируемый вопрос имел скорее историческое и политическое, чем юридическое значение. Адамс без труда, приводя должные аргументы, доказывал, что искомого права администрации не дано и что в конституции при всем желании нельзя вычитать основания, допускавшие, чтобы в мирные дни без необходимости нарушались масштабы цен. Poleмика сама по себе не имела для Адамса большой цены, но благодаря ей он познакомился с председателем Верховного суда. Трактую этот вопрос в своих корреспонденциях в «Нейшн» и статьях для «Норт Америкен ревью», Генри обратился за разъяснениями к занимавшему этот пост мистеру Чейзу, который — один из старейших и непреклоннейших лидеров партии фрисойлеров — вызывал в нем особые чувства: фрисойлеров оставалось мало. Как у всех людей с сильной волей и уверенных в себе, недостатки мистера Чейза были продолжением его достоинств. Его во все времена нелегко было заставить идти в упряжке и не просто прибрать к рукам. Он превосходно разбирался, где ложь, но не всегда руководствовался тем, что было относительной правдой. Его тешила власть, словно он все еще заседал в сенате. В деле о бумажных деньгах он оказался в весьма неловком положении: в качестве бывшего министра финансов он был их создателем, в качестве нынешнего председателя Верховного суда выступал их противником. В жизнь газетного корреспондента бумажные деньги не вносили ни особой радости, ни большой печали, но они служили темой для его репортажей, а судья Чейз был не прочь приобрести в прессе союзника, который излагал бы обстоятельства дела так, как хотелось судье. Адамс быстро стал своим в доме Чейза, и союз этот немало облегчил жизнь в Вашингтоне неоперившемуся искателю газетной фортуны. Как бы ни рассматривать политику и характер Чейза, он был выдающейся фигурой, высокого — senatorского — ранга и при всех своих senatorских недостатках неопределимый союзник.

Однажды, проходя по улице, Адамс встретил Чарлза Самнера — что непременно рано или поздно должно было случиться — и, немедленно остановившись, поздоровался с ним. Как ни в чем не бывало, словно восемь лет порванных связей есть вполне естественное течение дружбы, Самнер, издав вопль изумления, мгновенно впал в свой прежний тон героя, жалующего вниманием школьника. Адамс не отказал себе в удовольствии его поддержать. Ему было тридцать, Самнеру пятьдесят семь; он повидал в мире больше людей и стран, чем Самнер когда-либо мог мечтать, и ему показалось забавным позволить обращаться с собой как с ребенком. Восстановление нарушенных отношений всегда испытание для нервов, а в данном случае путь к нему был густо усеян шипами: в ссоре с мистером Адамсом — как, впрочем, и в других — Самнер вел себя отнюдь не деликатнейшим образом и теперь был склонен придавать излишнюю значимость вещам, которые даже бостонцы вряд ли стали бы хранить в памяти. Но Генри тут заинтересовала и завлекла еще одна возможность исследовать человеческие свойства политика. Он знал, что этой встречи, хотя бы по своим журналистским делам, ему не избежать, и ждал ее, для Самнера же она явилась неожиданностью, и, насколько Адамс мог судить, досадной неожиданностью. Наблюдая за поведением Самнера, Адамс немало для себя извлек — практический урок, стоивший потраченных усилий. Нетрудно было видеть, как ряд мыслей, по большей части неприятных, пронеслись в уме Самнера: он не задал ни одного вопроса ни о ком из Адамсов, не поинтересовался друзьями Генри, ничего не спросил о его пребывании за границей. Его занимало только настоящее. Что делает Адамс в Вашингтоне? В его глазах Адамс мог обретаться тут только в роли хулителя, более или менее злобного, возможно, шпиона и, уж наверное, интригана и карьериста, каких в столице толклись дюжины, — словом, политик без партии, писака без принципов, соискатель должности, который, несомненно, станет просить у него,

Самнера, протекции. Все это — с его точки зрения — звучало правдой. Пользы Адамс ему принести не мог, а вреда, скорее всего, причинит в полную меру своих возможностей. Адамс принял такой ход мыслей как должное; ожидал, что его будут держать в почтительном отдалении; признал, что основания для этого есть. Велико же было его удивление, когда Самнер открыл ему объятия; с ним обращались почти доверительно, его не только пригласили быть четвертым на обеде в приятном тесном кругу в доме на Лафайет-сквер, но и допустили в святая святых — кабинет сенатора, где тот рассказал ему о своих взглядах, политическом курсе и целях, порою даже более ошеломляющих, чем забавные пробелы и aberrации в его всеведении.

В целом их отношения оказались самыми странными из всех, какие Адамс когда-либо поддерживал. Он любил и чтит Самнера, но не мог отделаться от мысли, что ум сенатора — предмет в области исследования патологии. Порою ему казалось, что Самнер тяготеет своей озабоченностью и, живя в политических джунглях, тоскует по просвещенному обществу; но это вряд ли объясняло все до конца. Ум Самнера достиг спокойствия стоячих вод — зеркальной глади, которая все принимает и отражает, но ничего не вбирает. Образам, полученным извне, предметам, механически фиксируемым чувствами, милостиво разрешалось существовать на поверхности, пока они ее не волновали, но они никогда не становились частью мышления. Генри Адамс не вызвал никаких эмоций, а если бы вызвал неприятное чувство, тут же перестал бы для сенатора существовать. Он был бы механически отторгнут его умом, как был механически принят. Не то чтобы Самнер в своем эгоизме был более воинствен, чем другие сенаторы — Конклинг, например, — но у него этот недуг поразил уже все клетки мозга, перешел в хроническую, окончательную стадию, тогда как у других сенаторов носил по большей части острый характер.

Возможно, именно поэтому знакомство с Самнером представляло особую ценность для журналиста. Адамсу он ока-

зался чрезвычайно полезен, несравненно полезнее всяческих великих авторитетов — этого окаменелого резерва газетного бизнеса, первоначальных накоплений силура. Прошло несколько месяцев, и от них никого не осталось. Тогда, в 1868 году, они, как и сам город, менялись, но не изменялись. Лафайет-сквер обнимал всю общественную жизнь. В пределах нескольких ярдов вокруг убогой скульптуры Кларка Миллса — конной статуи Эндрю Джэксона — можно было узреть весь вашингтонский свет вкуче со всеми отелями, банками, рынками и государственными учреждениями. За Лафайет-сквер простиралась остальная Америка. Ни один богатый или известный иностранец еще не оказал этому городу честь своим вниманием. Ни один писатель или ученый, ни один художник или просто джентльмен, не вынуждаемый к тому должностью или делами, не пожелал в нем поселиться. Город оставался сельским захолустьем, а его общество — примитивным. Вряд ли хоть кто-либо из принадлежащих к вашингтонскому свету знал, что такое жизнь большого города. Только мистер Эвартс, да еще Сэм Хупер, родом из Бостона, да два-три дипломата ненадолго окунались в такого рода среду. В счастливой своей невинности деревня обходилась без клуба. Вагон конки, влекомый одной лошадей по Ф-стрит до Капитолия, удовлетворял потребности населения в городском транспорте. Весною каждым погожим утром все общество собиралось на Пенсильванском вокзале, чтобы пожелать доброго пути друзьям, отбывающим на единственном экспрессе. Государственный департамент сиротливо размещался на дальнем краю Четырнадцатой улицы, пока мистер Маллет возводил для него по всем правилам архитектурного искусства свой очередной азилиум рядом с Белым домом. Цены на земельные участки не повышались с 1800 года, а тротуары утопали в непроходимой грязи. Но молодому журналисту, прибывшему в Вашингтон, чтобы составить себе имя, все это было только на руку. Через двадцать четыре часа он мог уже знать весь город, через двое суток весь город знал его.

После семи лет тяжких, но тщетных усилий освоить хотя бы задворки лондонского общества в Вашингтоне Адамса, по всей очевидности, ожидало отдохновение, легкое и приятное. Но, оглядывая — из надежного укрытия, предоставленного ему мистером Эвартсом, — людей, с которыми — или против которых — ему предстояло работать, он невольно возвращался к мысли о том, что девять десятых накопленного им багажа бесполезны, а оставшаяся одна вредна. Придется — в который раз — начинать все сначала. Он должен будет учиться разговаривать с конгрессменами Запада и скрывать, из какой он семьи. Ничего не скажешь — увлекательная задача! Что ж, ничто не мешает ему получить и тут удовольствие, стоит только усвоить привычку смотреть сквозь пальцы на то, что было, и то, что может произойти. Разве лобби не живописное зрелище? А старина Сэм Уорд, который знает о жизни больше, чем все правительственные департаменты, вместе взятые, включая сенат и Смитсоновский институт? Даже на парижской сцене не обнаружишь много таких фигур. Да, вашингтонское общество могло дать не слишком-то много, но то, что у него было, оно давало щедрой рукой. Политические страсти уже улеглись и не мешали отношениям в обществе. Все партии перемешались между собой и вместе барахтались в мелководье наступившего отлива. Правительство в некотором смысле походило на само-го Адамса: весь его прошлый опыт был бесполезен, а долею даже хуже того.

17. ПРЕЗИДЕНТ ГРАНТ

(1869)

Первым следствием прыжка в неизвестное было подавленное настроение, от которого Генри Адамс до сих пор не страдал, — чувство угнетенности, отчасти вызванное ошелом-

ляющей красотой и пленительностью мэрилендской осени с ее яркими свежими красками, почти непереносимыми для человека, привыкшего находить успокоение в пепельно-коричневой ноябрьской гамме Северной Европы. Столь прекрасная и печальная жизнь не могла продолжаться! К счастью, никто другой этого не ощущал и не понимал. Адамс, как мог, справлялся с этой болью, а когда пришел в себя, наступила зима, и он поселился в своей холостяцкой обители — такой же скромной, как жилище департаментского клерка, — в дальнем конце Джи-стрит, ближе к Джорджтауну, где старый финн, по имени Дона, прибывший в Вашингтон еще с русским посланником Стеклем, не то купил, не то построил себе дом. Собрался конгресс. Старой администрации до конца ее срока оставалось еще два-три месяца, но все интересы уже сосредоточились на новой. Город кишел соискателями должностей, среди которых затерялся наш начинающий автор. Он толкался среди них, никем не замечаемый, довольный тем, что может учиться делу под прикрытием суеты. Стать профессиональным репортером он и не мечтал: он знал, что не справится с этой работой, требующей огромного честолюбия и энергии; зато обзавелся среди журналистской братии друзьями — Нордхофф, Мюрат Холстед, Генри Уотерсон, Сэм Баулз, все поборники реформы, перемешавшиеся между собой и все вместе плескавшиеся в волнах наступающего прилива в ожидании, когда генерал Грант начнет отдавать им свои распоряжения. Толком, по-видимому, никто ничего не знал. Даже сенаторам нечего было сказать. Оставалось лишь делать заметки и изучать состояние финансов.

А пока Генри по возможности весело проводил время. Ничего полезного в смысле воспитания из этого времяпрепровождения извлечь было нельзя: развлечения в Вашингтоне носили примитивный характер, но в самой их простоте отражалась незатейливость всего духовного уклада — честолюбивых стремлений, интересов, мыслей, знаний. Ни для кого

не тайна, что учиться в Вашингтоне было решительно нечему, и молодые дипломаты, разумеется, воротили нос и называли Вашингтон дырой. Но для дипломатов, как правило, все, кроме Парижа, дыра, а в мире есть только один Париж. Лондон они поносили даже яростнее, чем Вашингтон; ни одно место под солнцем не удостаивалось их похвалы; впрочем в трех случаях из четырех они лишь описывали свои резиденции, когда жаловались, что там нет ни театра, ни ресторанов, ни monde¹, ни demi-monde², ни прогулок в экипаже, ни роскоши, ни, как любила говорить мадам де Струве, grandezza³. Все так и было. Вашингтон представлял собой политическое сборище, такое же текучее и временное, как толпа, собравшаяся послушать религиозную проповедь. Тем не менее дипломатам меньше всех стоило жаловаться: в Вашингтоне их ублажали как нигде; и вообще для молодых людей американская столица была сущим раем: молодые люди были в ней наперечет и пользовались огромным спросом. Памятуя, в каких жалких ничтожествах ходили молодые дипломаты в Лондоне, Адамс чувствовал себя в Вашингтоне юным герцогом. Он задолжал себе десять лет молодости, и у него открылся волчий аппетит. В вашингтонском обществе ему дышалось легче, чем в любом другом, а в мягком климате вашингтонской весны даже бостонец становился простым, добродушным, почти сердечным. Общество превосходно обходилось без дворцов и экипажей, без драгоценностей и туалетов, без тротуаров и модных лавок и вообще без всяческой grandezza; к тому же провизию поставляли отменную и продавали задешево. Достаточно было прожить в этом неказистом городке меньше месяца, и вы уже любили его всей душой. Даже вашингтонские девицы, за которыми не числилось ни богатства, ни элегантности, ни образованности,

¹ Светское общество (*фр.*).

² Полусвет (*фр.*).

³ Великолепие (*исп.*).

ни ума, обладали своим особым очарованием и пользовались им. А начало его, если верить мистеру Адамсу-отцу, крылось еще во временах президентства Монро.

Ввиду всего этого сколько бы энергии ни отнимал у молодого человека процесс познания политики, финансов или журналистики, само собой разумелось, что три четверти своего существования он приносил на алтарь светской жизни. Подробности тут не имеют значения. Просто из жизни исчезало напряжение, и жертва благославляла за это небеса. Политика и реформа — какие мелочи, вальс — вот серьезное дело! Адамс был тут не одинок. Примером такого опасного шалопайства служил хотя бы личный секретарь, которого держал сенатор Самнер, — молодой человек по имени Мурфилд Стори. С ним вполне мог состязаться Сэм Гор, которого его отец, новый министр юстиции, привез с собой из Конкорда. Еще один пример неисправимого шалопаия являл собою молодой морской офицер по имени Дьюи. Адамс занимал в этом списке далеко не первое место. Ах, как ему хотелось продвинуться ближе к началу! Да он не пожалел бы весь затхлый мир истории, науки и политики за искусство кружиться в вальсе слева направо.

Адамс, собственно, и понятия не имел, как мало знает, особенно женщин, Вашингтон же не давал образцов для сравнения. Все было глубоко невежественно и, словно дети, равнодушны к учению. Знания тут были не нужны. Вашингтон чувствовал себя счастливее без всякого стиля. И Адамс, несомненно, тоже чувствовал себя без него счастливее, счастливее, чем когда-либо прежде, счастливее тех, кто, живя в суровом мире постоянной напряженности, могли бы об этом только мечтать. Все это надо иметь в виду, оценивая то малое, что он в этот период приобрел. Жизнь в Вашингтоне по-прежнему принадлежала восемнадцатому веку и ни с какой стороны не готовила к двадцатому.

В такой атмосфере отнюдь не тянуло упорно трудиться. Если миру нужен упорный труд, мир должен за него платить,

а если не платит, так не работника приходится винить. До сих пор Адамсу не предлагали платы за то, что он делал или мог бы делать; он трудился из нравственных побуждений, и наградой ему служило лишь удовольствие от общественной значимости его труда. Ради этого он готов был трудиться, как трудится художник, который пишет свои картины даже тогда, когда их никто не покупает. Художники поступали так от века и будут поступать до скончания веков, потому что не могут иначе, а вознаграждение находят в сознании своего превосходства, ставя себя выше других. Общество же подзадоривает и поощряет в них эту гордыню. Но вашингтонское общество, слишком простое и пока не избавившееся от печати Юга, не созрело тогда до анархистских вожделений, к тому же оно почти ничего не читало и не видало из того, что создавалось искусством на белом свете, зато добродушно подзадоривало любого творившего, если выпадал случай с ним познакомиться, и еще больше уважало себя за эту слабость. Как выяснилось, даже правительство было к услугам Адамса, и все прочие охотно отвечали на его вопросы. И он работал как все, не так чтобы очень усердно, но столько, сколько требовалось, будь он на государственной службе, за которую ему платили бы девятьсот долларов в год; к тому же работа спасала от шалопайства. Писать доставляло ему удовольствие большее, чем, надо думать, получали те, кто его читал: писания его, как и он сам, не развлекали. Банкиров и боссов не нужно развлекать, а именно к этому классу он теперь обращался. У него ушло три месяца на статью о финансах Соединенных Штатов — вопрос, тогда весьма нуждавшийся в рассмотрении, — и, когда, завершив этот опус, он послал его в Лондон своему знакомому Генри Риву, въедливому редактору «Эдинбургского обозрения», Рив, видимо, нашел, что статья хороша; во всяком случае, так о ней отозвался и напечатал в апрельском номере. Разумеется, ее перепечатали в Америке, но, так как в Англии такие статьи шли без подписи, имя автора осталось неизвестным.

Автор и сам не искал известности и не спешил требовать славы и признания. Он преследовал чисто литературную цель. Ему хотелось попасть в число постоянных сотрудников «Обозрения» — оказаться под сенью лорда Маколея, что в 1868 году, как и двадцать пять лет назад, казалось молодому американцу высоким — высочайшим рангом в литературном мире. С тех пор утекло много времени и воды, но положение это все еще льстило самолюбию, хотя ни особой чести, ни вознаграждения, кроме тридцати фунтов — или пятидесяти долларов твердого оклада в месяц — за истраченные время и труд не давало.

Покончив со статьей для «Обозрения», Адамс засел за проект для «Норт Америкен ревью». В Англии лорд Роберт Сесил придумал для «Лондон Квотерли» серию ежегодных политических обзоров, которым дал название «Сессии». Адамс не преминул украсть у него как идею, так и название — он полагал, что достаточно бывал в доме лорда Роберта в дни его злосчастий, чтобы извинить себя за эту кражу, — и принялся строить предполагаемую серию своих политических обзоров, которые, он надеялся, обретут со временем политическую силу. При его источниках информации и обширных светских связях он так или иначе должен был высказать что-то, что привлечет внимание. Дело целиком находилось в его руках, и он намеревался по мере печатания статей дать себе в них полную волю. Нравится это газетчикам или нет, им придется считаться с ним: такие обзоры — сила, стоит только пустить их в ход, и они окажутся много действеннее, чем все речи в конгрессе и записки президенту, которыми наполняют правительственную печать.

Первая статья из серии «Сессия» появилась в апреле, но весь материал в нее не уместился, и в октябре пришлось дать вторую, озаглавленную «Реформа гражданской службы», хотя, по сути, она была частью обзора. Обе статьи вобрали немало истинных фактов. Однако прочел ли их кто-либо, кроме собратьев по перу, Адамс не знал, да это его и не

заботило. Влияние автора практически не зависит от того, прочли его пятьсот или пятьсот тысяч человек; если его прочтут пятьсот избранных, он станет известен и пятистам тысячам. На пороге стоял знаменательный 1870 год, которому предстояло подвести черту под литературной эпохой: толстые журналы, выходившие четыре раза в год, уступали место ежемесячникам; страница, заполненная текстом, — картинке; многотомный роман — рассказу в несколько страниц. Новое с блеском пробило себе дорогу. Впереди шел Брет-Гарт, за ним Роберт Льюис Стивенсон, Ги де Мопассан и Редьярд Киплинг замыкали строй, ослепляя мир. Адамс, как всегда, на полвека отставал от современности, и немало запоздалых путников составляли ему компанию, создавая впечатление или иллюзию общественного мнения — для себя. Они тащились в одиночку, все больше и больше отрываясь друг от друга и растягиваясь в длинную вереницу, но не теряя друг друга из виду. Внешне все оставалось по-старому. Церковь говорила с видимым авторитетом, толстые журналы устанавливали видимые законы, но никто не мог с уверенностью сказать, где были подлинные авторитеты и подлинные законы. Наука тоже не знала. Априорные истины не уступали позиций истинам относительным. Мистер Лоуэлл утверждал, что «Правде всегда стоять на Эшафоте, Кривде всегда сидеть на Троне», и большинство людей охотно этому верило. Адамс был не единственным пережитком восемнадцатого века, он вполне мог рассчитывать на изрядное число читателей — по большей части людей респектабельных, а частью даже богатых.

Недостаток читателей мало его беспокоил, в этом отношении он считал себя вполне обеспеченным, и его расчеты, надо полагать, наилучшим образом оправдались, будь это единственным камнем преткновения на его пути. Неудача ждала его там, где он всегда оступался и где всегда спотыкаются девять из десяти искателей фортуны. Можно более или менее полагаться на организованные силы, но нельзя

полагаться на людей. Адамс принадлежал к восемнадцатому веку, и восемнадцатый век его подвел. На какое-то время Америка повернула вспять — не в восемнадцатый век, в каменный.

Возможно, последующая история не лишена значения — в известном смысле — для воспитания, хотя Адамс этого так и не понял. Какой урок можно извлечь из удара копытом дикого пони или мула? Разве только один: от животного, которое брыкается, надо держаться подальше. Именно такой урок политика начиная с 1860 года вновь и вновь преподносила Адамсу.

По крайней мере четыре пятых американцев — и Адамс в том числе — единодушно решили избрать президентом генерала Гранта, и, возможно, в этом выборе немалую роль сыграла параллель между Грантом и Вашингтоном, которая напрашивалась сама собой. Все было ясно как божий день. Грант — это порядок. Грант солдат, а солдат — всегда порядок. Говорят, он горяч и пристрастен, — пусть! Генерал, который распорядился и командовал полумиллионом, если не целым миллионом солдат на поле боя, сумеет управлять. Даже Вашингтон — по воспитанию и по опыту пещерный житель — сумел учредить правительство и отыскал Джефферсонов и гамильтонов, которые учредили департаменты. Задача вернуть правительство к нормальной деятельности, возродив нравственный и рабочий порядок, не так уж сложна; дело наладится и само собой, стоит лишь немного подтолкнуть. Правда, хаос, особенно в бывших рабовладельческих штатах и в вопросах денежного обращения, сейчас велик, но общее настроение превосходное, и все повторяют знаменитую фразу: «Будем жить в мире».

Адамс был молод и легко обманывался, даром что вкусил дипломатической службы, но, будь ему дважды тридцать, он все равно не сумел бы увидеть, насколько неразумны были упования на Гранта. Будь Грант конгрессменом, к его кандидатуре отнеслись бы с оглядкой: этот тип американцам был

хорошо знаком. От конгрессмена ничего и не ждали, кроме добрых намерений и гражданского духа. У газетчиков они, как правило, не вызвали большого уважения, у сенаторов и того меньше, а у секретарей Белого дома и вовсе никакого. Когда Адамс однажды одернул одного из секретарей, сказав, что с представителем нижней палаты следует вести себя терпеливо и тактично, то услышал сердитый ответ: «С конгрессменом? Тактично? Конгрессмен — это боров. Его только палкой по рылу». Недостаточно компетентный в этом вопросе по сравнению с секретарем, Адамс не стал ему возражать, хотя счел его слова резковатыми по отношению к рядовому конгрессмену 1869 года — с более поздними ему встречаться почти не пришлось — и знал кратчайший способ заткнуть критикану рот. Достаточно было спросить: «Если конгрессмен боров, что же такое сенатор?» Этот невинный вопрос, заданный искренним тоном, повергал любого служителя, исполнявшего должность хотя бы неделю, в шок. Адамс мог подтвердить — сенаторы не выдерживали никакой критики. Их самовлюбленность выглядела такой комичной, что частично затмевала присущую им несдержанность, но при Эндрю Джонсоне страсти доходили до неистовства, и нередко весь сенат, казалось, заражался истерикой и сотрясался в нервном припадке без всякой на то причины. Их вождей — таких, как Самнер и Конклинг, — невозможно было пародировать: они сами были пародией, гротескнее любого гротеска. Даже Грант, редко блиставший эпиграммой, успешно прохаживался на их счет. Однако здесь было не до смеха. Самовлюбленность и фракционность этих деятелей причиняли постоянный и непоправимый вред, который отозвался на Гарфилде и Блейне и даже на Маккинли и Джоне Хее. Перед президентом-реформатором стояла труднейшая задача вернуть сенату пристойный вид.

Вот почему никто, а Адамс тем более, не питал надежды, что президент, избранный из числа политиков или политика-нов, сумеет поднять репутацию правительства, и вся Америка

по велению если не разума, то инстинкта остановила свой выбор на генерале Гранте. Сенат знал, на что все надеются, и молча готовился к борьбе с Грантом, куда более серьезной, чем с Эндрю Джонсоном. Газетчики горели желанием поддержать президента против сената. Газетчику больше других людей присуще двуличие, и нет ничего слаще для его души, как писать одно, а думать другое. Все газетчики, что бы они ни писали, к сенату относились одинаково. И Адамс плыл по течению. Ему не терпелось вступить в борьбу, которая, как он предвидел, была неминуема. Он жаждал поддержать исполнительную власть в ее борьбе с сенатом за уничтожение решений и вето большинством в две трети, а также права ратификации, и его вовсе не заботило, каким образом это будет достигнуто: он считал, что лучше произвести решительную ломку в 1870 году, чем ждать до 1920-го.

С такими мыслями он и явился в Капитолий, чтобы услышать, как будут провозглашены имена членов грантовского кабинета, которые до сих пор хранились в строжайшей тайне. До конца жизни ему не забыть, что он испытал, когда внезапно, за какие-нибудь пять минут, рухнули все его планы на будущее, превратившись в смешные бредни, которых оставалось только стыдиться. Ему предстояло еще много раз выслушивать длинные списки членов различных кабинетов, даже хуже и поверхностнее составленные, чем это умудрился сделать Грант, но ни один из них не вгонял его в краску, не вызывал в нем чувства стыда, не за Гранта — за себя, как тогда, когда он услышал грантовские назначения. Он снова полностью просчитался — снова сделал неверный, немислимо неверный шаг. Но, как ни трудно в это, было поверить, он при всех своих здравых намерениях потерпел полную неудачу. Он слышал, как сенаторы, не таясь, говорили с сенаторской откровенностью, что назначения Гранта выдают его с головой, выдают полную его некомпетентность. Великий воин может быть младенцем в политике.

Адамс покинул Капитолий в таком же состоянии полного смятения, какое владело им, когда в 1861 году поезд вез его из Ливерпуля в Лондон; он сознавал за собой ту «неспособность видеть вещи во всем их объеме», в которой каялся Гладстон. Он и без слов знал, что Грант перечеркнул все его планы на будущее. После такого просчета нового президента мысль о плодотворной реформе была погребена по крайней мере на целое поколение, а заниматься бесплодной деятельностью Адамс не имел ни малейшего желания. По какой же стезе ему теперь идти? Он перепробовал не одну и не две, и каждая обществом пресекалась. Сейчас он не видел иного выхода, как продолжать ту, на которую шагнул. Новый кабинет — его члены как личности — не был ему враждебен. Впоследствии, правда, Грант произвел еще перемены, которые весьма пришлись — или должны были прійтись — по душе любому бостонцу, но на Генри сказались роковым образом. Пока же назначение Гамильтона Фиша государственным секретарем предвещало крайнюю консервативность и, возможно, почтительное отношение к Самнеру. Назначение Джорджа С. Бутвелла министром финансов звучало дурной шуткой: Бутвелл представлял собой полную противоположность Маккаллоку; это назначение предвещало инерцию, или, попросту говоря, крест на людях, подобных Адамсу. С другой стороны, назначение Джейкоба Д. Кокса министром внутренних дел предвещало помощь и поддержку, а судьи Гора председателем Верховного суда — дружескую руку. В целом, с личной точки зрения, имея в виду его литературные занятия, все складывалось не так уж дурно, а с политической в значительной степени зависело от Гранта. Грант, вне всяких сомнений, хотел реформы; ставил себе целью поднять правительство над политикой, и, если он не отринет тех, кто его в этом поддерживал, не лишено смысла поддержать его. Итак, надо направить свой фотофор в сторону Гранта. С Грантом, казалось, все было ясно, на самом же деле его очень мало знали.

Волею судеб случилось так, что в нижнем этаже дома Доны поселился Адам Бадо, а так как молодые люди сочли удобным столоваться вместе, то, встречаясь за обедом, они вскоре подружились. Бадо любил вращаться в обществе, даром что не обладал привлекательной внешностью. Был он грузноват, краснолиц, вел, как правило, весьма неправильный образ жизни, зато был чрезвычайно умен, превосходный журналист и выдающийся знаток военной истории. Его книга о жизни Гранта выделялась неординарностью. В отличие от большинства журналистов он описывал генерала дружески, как и подобало бывшему офицеру его штаба. Обитавшие в Вашингтоне корреспонденты, в основной массе, держались к Гранту враждебно, а лоббисты — скептически. С этой стороны о нем распространялись рассказы, от которых волосы становились дыбом, да и старые офицеры — питомцы Вест-Пойнта — отзывались о нем нелестно. Его характеризовали как человека злобного, ограниченного, туповатого и даже мстительного. Бадо, прибывший в Вашингтон в расчете получить место консула, на которое его все не назначали, находил утешение в виски, но под конец стал раздражителен и не в меру болтлив. Он много говорил о Гранте, проявляя, как и следует истинному литератору, художественный дар в анализе его человеческих свойств. Преданный Гранту, а еще больше миссис Грант, которая ему протезировала, он, даже заходя весьма далеко, не проронил и слова, которое бы их порочило, и утверждал, что, кроме него и Ролинза, генерала никто не понимает. Грант в его глазах был человеком меняющихся настроений — необычайно сильный, когда в нем пробуждалась энергия, но пассивный и бесхребетный, когда она дремала. По рассказам Бадо, ни он, ни другие офицеры штаба не понимали, почему Гранту сопутствует успех, но верили в него, потому что успех ему сопутствовал. Его ум, казалось, подолгу бездействовал, и Ролинз вместе с другими военными неделями внушали ему свои идеи — не прямо, а обсуждая их между собой в его присут-

ствии. В итоге Грант высказывал какую-нибудь их идею как свою, очевидно не отдавая себе отчета, откуда ее почерпнул, и со всей свойственной ему энергией отдавал приказы о ее немедленном воплощении. Они никогда не могли определить, в каком он настроении, или с уверенностью сказать, когда начнет действовать. Они не могли уловить течение мыслей в его мозгу, как не могли с уверенностью сказать, что он вообще мыслит.

Все это вызывало в Адамсе немалый интерес, потому что, хотя он, в отличие от Бадо, не ждал, когда миссис Грант силой внушения подвигнет генерала назначить его консулом или советником миссии, за годы странствий у него составила изрядная галерея портретов великих людей, и он был не прочь пополнить ее достоверным изображением величайшего полководца, какого мир знал после Наполеона. Оценки генерала, которые он слышал от Бадо, отличались большой тонкостью и бесконечно превосходили те, какие давали ему Сэм Уорд или Чарлз Нордхофф.

Однажды вечером Бадо, взяв Адамса с собой в Белый дом, представил его президенту и миссис Грант. На своем веку Адамс видел многих обитателей Белого дома, и нельзя сказать, чтобы прославленнейшие из них произвели на него приятнейшее впечатление, но ни один не показался ему столь интересным объектом для изучения, как Грант. Никто из президентов не вызывал таких противоречивых мнений. У Адамса не было ни собственного мнения, ни возможности его составить. С первого же слова, сказанного Грантом, он понял, что чем меньше слов он отважится сказать, тем, для его же блага, лучше. До сих пор Адамсу довелось повстречать только одного человека, принадлежащего к тому же интеллектуальному — вернее, неинтеллектуальному — типу, — Гарибальди. Из них двоих Гарибальди показался ему даже чуть более интеллектуальным, но в жизни обоих интеллект ничего не значил, ими двигала только энергия. Это был тип доинтеллектуальный, допотопный, даже на

взгляд пещерного жителя. Человеком подобного рода, если верить легенде, был Адам.

Позднее люди подобного типа, с известными отклонениями и вариациями, стали восприниматься как норма — люди с тем большей энергией, чем меньше она расходуется на мышление; люди, вознесенные к власти из глубин, не уверенные в собственных силах и не склонные доверять другим, подозрительные, завистливые, нередко мстительные; с более или менее невзрачной внешностью; всегда нуждающиеся в возбуждающих средствах, для которых лучшее возбуждающее средство — действие, удовлетворяющее инстинкт борьбы. Такие люди — воплощение сил природы, энергии первобытия, тот же Pteraspis. И образованность для них хуже бельма на глазу. Они с ней расправляются лихо: подумаешь, ученые, под их началом этой братии перебивали тысячи, ничем они не лучше других! Непреложный факт, сокрушающий любые аргументы, а заодно и интеллект.

Адамс не почувствовал в Гранте враждебной силы; подобно Бадю, он увидел в нем неустойчивость. В момент действия Грант был колосс, за которым можно было уверенно следовать, в период бездействия — просто опасен. Иметь с ним дело могли лишь те, кто, как Ролинз, стоял к нему близко и усвоил более или менее сходные привычки. Ограниченный в той степени, до какой не доходили и мужи с Уолл-стрит или Стейт-стрит, он, как большинство людей того же интеллектуального уровня, не зная что сказать, сыпал банальностями, вроде «будем жить в мире», или «лучший способ покончить с дурным законом — исполнить его», или еще десятком-другим таких же перелицованных сентенций, которые можно оценить по их сентенциозности. Иногда, правда, он вызывал у собеседника сомнение в своей искренности, как, например, когда, разговаривая с некоей весьма образованной молодой особой, Грант заявил, что, если бы Венецию осушить, прекрасный был бы город. Скажи такое Марк Твен, эта рекомендация вошла бы в золотой фонд его острот, но

в устах Гранта она лишь стала мерилom его бесподобной ограниченности. Такую же банальность ума, только на виргинский манер и не в такой степени, но достаточно явной для каждого, кто знает американцев, выказывал Роберт Э. Ли. Адамса в данном случае, как всегда, задевала не банальность Гранта, его волновала проблема собственного воспитания. Феномен Гранта смущал его и раздражал, потому что, как *Terebratula*, противостоял основе основ. Его не должно было быть. Он должен был исчезнуть много веков назад. Мысль, что общество, становясь старше, становилось одностороннее, убивало эволюцию и превращало образование и воспитание в профанацию. То, что две тысячи лет спустя после Александра Великого и Юлия Цезаря человек, подобный Гранту, мог называться — фактически и поистине был — высшим продуктом самой передовой эволюции, делало эволюцию посмешищем. Только банальный ум, равнозначный банальностям Гранта, мог утверждать подобную нелепость. Эволюция, шагнувшая от президента Вашингтона к президенту Гранту, — да одного этого свидетельства достаточно, чтобы опрокинуть Дарвина.

Проблема образования и воспитания с каждой следующей фазой все больше заходила в тупик. Ни одна теория не стоила потраченных на нее чернил. Адамс был лишним в Америке, потому что принадлежал к восемнадцатому веку, и та же Америка молилась на Гранта, потому что он остался троглодитом и ему полагалось жить в пещере и облекаться в шкуры. Дарвинистам следовало бы заключить, что Америка эволюционировала вспять к каменному веку, но эволюция вспять еще большая нелепость, чем просто эволюция. Администрация Гранта никуда не эволюционировала. В ней не обнаруживалось ни следов прошлого, ни намеков на будущее. В ней не чувствовалось и американского духа. Ни одно ее должностное лицо, исключая разве Ролинза, с которым Адамсу так и не довелось познакомиться и который в сентябре умер, не высказало ни одной американской идеи.

Тем не менее администрация Гранта, перевернувшая Адамсу всю его жизнь, не была ему враждебной, напротив, она состояла в основном из друзей. Госсекретарь Фиш вел себя почти сердечно; он придерживался нью-йоркских традиций по части социальных понятий; был человеком гуманным, которому не доставляло удовольствия причинять другому боль. Адамс не питал к нему особого расположения, тем более что Фиш ничем — ни умом, ни другими личными качествами — его не вызывал: светскими талантами не блистал, не имел в себе ничего притягательного и был уже далеко не молод. Но он с самого начала завоевал доверие Адамса и до конца остался ему другом. Что касается мистера Фиша, Адамса он вполне устраивал. Еще лучше Генри чувствовал себя в министерстве внутренних дел у Дж. Д. Кокса. Правда, если бы Кокс сидел в казначействе, а Бутвелл занимался внутренними делами, Адамса это, в аспекте личных отношений, устроило еще больше. Зато возглавлявший министерство юстиции судья Гор, по-видимому, во всем отвечал его идеалу, и с личной, и с политической точек зрения.

Дело упиралось не в отсутствие друзей. Даже если бы правительство состояло сплошь из друзей, без президента и министра финансов ничего нельзя было сдвинуть с места. С самого начала Грант декларировал политику бездействия — государственный корабль ложился в дрейф. Но при дрейфе корабль обрастает ракушками, а государственный аппарат — «бессменными» чиновниками, крепко засевшими в своих креслах. В тридцать лет податься в «бессменные» — мало привлекательно, к тому же Адамс в этом звании смотрелся бы очень плохо. Его друзья были реформаторами, обличителями, всюду видевшими партийные пристрастия и даже самого Адамса и его цели державшие в подозрении. Грант не ставил себе никаких целей, не искал ничьей помощи, не жаждал иметь соратников. Носитель высшей исполнительной власти хотел только одного — чтобы его оставили в по-

кое. В этом смысле и надо было понимать его: «Будем жить в мире».

Никто не стремился в оппозицию. Адамс меньше всех. Его надежды на жизненный успех теперь зиждились на том, найдет ли он администрацию, которой мог бы служить. Он превосходно знал, в чем состоят законы личной выгоды. Он выставлял себя на продажу. Он хотел, чтобы его купили. По самой дешевой цене — он даже не просил о должности, не мечтал попасть в правительство, а всего лишь в Нью-Йорк. Все, чего он домогался, было дело, которому он мог бы служить и которому ему позволили бы служить. Но ему смертельно не везло. На этот раз он оказался на полвека впереди своего времени.

18. ВСЕОБЩАЯ СВАЛКА

(1869—1870)

Прежде уроженец Новой Англии предпочитал быть раком-отшельником, но в новой поросли нет-нет да и прорежется нечто человеческое. Судья Гор приехал в Вашингтон с сыном, и Сэм оказался юношей с широкой любвеобильной душой. Он открыл Адамсу очарование вашингтонской весны. Урок за урок — что может сравниться с радостью взаимопросвещающей дружбы! Потомак и его притоки щедро расточали красоту. Дикостью природы Рок-Крик не уступал Скалистым горам. Лишь там и сям бревенчатая хижина — жилище негра — вторгалась в заросли кизила и багряника, азалии и лавра. На фоне россыпей тюльпанов и каштановых рощ борьба со скудостью природы теряла смысл. Мягкие пышные очертания ландшафта не несли в себе и намек на скрытую в недрах угрозу ледников. Томительная жара избыточной растительности, живительная прохлада бегущей воды, порыв июньского грозового ветра, стремительно проносившийся в густом нехоженном лесу, — все это наполнилось чем-

то чувственным, животным, стихийным. Никогда весна в Европе не сочетала в себе столько тонкого изящества и буйного разгула, к каким приобщила Адамса мэрилендская весна. Он отдавался ей самозабвенно, как любят что-то непонятное и сверхчеловеческое. Не в силах расстаться с ней, он медлил до июля, предаваясь южному образу жизни, господствовавшему в деревне окрест Лафайет-сквер, как человек, чьи наследственные права не подлежат сомнению. Никто в Америке — разве только несколько совсем скудоумных — и не ставил их под сомнение.

Хотя Адамс жестоко обманулся — или прозрел? — относительно политического характера Гранта, первая зима в Вашингтоне доставила ему столько удовольствия, что мысль о перемене даже не приходила в голову. Он полюбил этот город и не задавался вопросом, чего он стоит. Да и что он, или кто вообще, мог об этом знать? Его отец, как никто другой в Бостоне, знал цену Вашингтону, и Генри не без удовольствия обнаружил, что и отец, чьи воспоминания относились к 1820 году, питает к Вашингтону те же самые сентиментальные чувства и рассказывает об обществе времен президента Монро примерно то же, что его сын чувствует в отношении к окружению президента Джонсона. Мистер Адамс опасался, и не без основания, поскольку имел перед глазами печальный пример двоих сыновей, что Генри поддастся влиянию Вашингтона. Однако он понимал всю притягательность этого города, сознавая, что жизнь в Куинси или Бостоне не идет с нею ни в какое сравнение.

Генри же при мысли о Бостоне овладевала ярость. За каждой конторкой ему мерещился Бутвелл. Каждое дерево сочувственно скорбело вместе с ним. Лет двадцать спустя Генри с удовольствием выслушивал сетования Кларенса Кинга по поводу того, как мало оставалось земле для полного совершенства. Если бы не два просчета, уверял Кинг, на земле царил бы суший рай. Первым он считал эклиптику, вторым — разделение полов, и прискорбнейшим в связи со

второй ошибкой было то, что она стала такой современной. Адамс в припадке меланхолии считал, что эти два ненужных зла с наибольшей силой обрушились на Бостон. Бостонский климат постоянно досаждал обществу, а секс стал разновидностью преступной деятельности. Эклиптика окончательно себя скомпрометировала, и жизнь стала пустой, как пустая порода. Разумеется, Генри был не прав. Пустота была не в Бостоне, а в нем. Но эта книга — история воспитания Адамса, а Адамс, как мог, старался образовать себя под стать своему времени. И Бостон старался о том же. Всюду, кроме Вашингтона, американцы трудились для той же цели. Каждый сетовал на окружающую его среду, за исключением тех мест, где, как в Вашингтоне, не было никакой среды, на которую можно было бы сетовать. Бостон держался даже лучше, чем соседние города, и скоро, посрамив Адамса, дал этому веские доказательства.

К тому времени, когда Адамс отправился в Куинси, миновала половина лета, а шесть недель спустя обнаружилось, какие последствия влечет за собой характер президента Гранта. Они оказались ошеломляющими — устрашающими — убийственными. Тайна, окутавшая знаменитую, классическую аферу Джея Гулда по скупке золота, в сентябре 1869 года так и не была раскрыта — во всяком случае, не настолько, чтобы Адамсу она стала ясна. Перемены в Вашингтоне подтолкнули Гулда к мысли, что он сможет безопасно скупать золото, избежав вмешательства со стороны правительства. Он принял, по собственному его признанию, ряд мер предосторожности; он потратил большие суммы денег, что тоже засвидетельствовал, с целью получить гарантии, хотя с его, искушенного игрока, точки зрения, они были недостаточны; тем не менее он пошел на риск. Любой криминалист, которому поручили бы расследовать это дело, несомненно, прежде всего заявил бы решительный протест: такой человек, как Гулд, занимающий такое, как он, положение, не может ссылаться на то, будто предпринял, а затем прово-

дил подобную операцию, не заручившись достаточными гарантиями. Его заявление не могло быть принято.

Это означало, что любой криминалист должен был прежде всего заявить, что Гулд имел гарантии Белого дома или казначейства, поскольку никакие иные не были для него достаточными. Молодым людям, коротавшим лето в Куинси по той причине, что не нашлось желающих приобрести их услуги за три доллара в день, этот грандиозный скандал свалился с неба. Чарлз и Генри кинулись на него, как лосось на муху, с не меньшей жадностью, чем Джей Гулд или его *âmi damnée*¹ Джим Фиск на железнодорожную ветку Эри, и столь же мало опасаясь последствий. Какой-то риск был, но какой, никто не мог сказать; тех, кто ворочал делами Эри, тоже не считали овечками.

Размотать столь запутанный клубок, как история с железнодорожной линией Эри, — задача, на решение которой ушли бы месяцы работы искуснейшего окружного прокурора, владеющего всеми средствами для ее выполнения. Чарлз взял на себя историю с Эри, Генри — так называемую «Золотую аферу», и они вместе отправились в Нью-Йорк искать концы. На поверхности все было яснее ясного. Уолл-стрит не доставила им никаких хлопот, и они лично засвидетельствовали свое почтение пресловутому Джиму Фиску в его похожем на оперный театр дворце. Но нью-йоркская часть аферы мало что давала Генри. Ему необходимо было проникнуть в политические тайны, а для этой цели пришлось ждать, когда соберется конгресс. Поначалу Генри опасался, как бы конгресс не замял скандал, но конгресс назначил и провел расследование. Вскоре Генри знал все, что можно было знать, и само правительство предоставило ему материал для статьи.

Материал, предоставляемый правительством, редко удовлетворяет публицистов и историков: он неизменно вызывает

¹ Заклятый друг (*фр.*).

у них сомнения. В деле Гулда крылась тайна, и, как всегда, главная тайна упиралась в средства, позволявшие судить, есть ли тут тайна. Все влиятельные знакомые Адамса — Фиш, Кокс, Гор, Эвартс, Самнер и их окружение — как раз и относились к числу лиц, которых больше всего водили за нос. Они знали меньше Адамса, сами искали информацию и откровенно признавались, что не пользуются доверием Белого дома и казначейства. Никто не вызывался дать совет. Никто не предлагал никаких рекомендаций. Даже в прессу не просачивалось никаких объяснений, хотя в частных кругах ее представители со свойственной им циничной откровенностью высказывали самые обличающие мнения. Комиссия конгресса собрала горы свидетельств, но не решалась их рассматривать и отказывалась анализировать. Вина явно лежала на ком-то в недрах администрации, и больше ей не на ком было лежать, но след мгновенно терялся и исчезал, как только выходил на кого-то из ее членов. Все боялись давить на следствие. Адамс и сам страшился выяснить слишком много. Он так уже слишком много выяснил, когда, основываясь на показаниях, пришел к выводу, что Джей Гулд сумел набросить свою сеть на ближайшее окружение Гранта и что его расчеты основывались на некомпетентности Бутвелла. На публике все, как принято, с видом мнимого чистосердечия, объясняли всем и каждому, что только Грант и спас положение, а по углам сообщали один другому, что если его не уличили на этот раз, то на следующий он непременно попадет, потому что пути Уолл-стрит темны и коварны. Все это крайне волновало Адамса. То, что Грант уже через шесть недель скатился — или дал Бутвеллу втащить себя — в такую трясику, делало перспективу ближайших четырех — возможно, восьми, а быть может, и двенадцати — лет неясной, или, вернее, непроницаемой для молодого человека, который, по завету Эмерсона, последовал за путеводной звездой реформы. Страна, возможно, справится со всем этим, но не он. Худшие скандалы восемнадцатого века выглядели

безобидно по сравнению с аферой, которая замарала исполнительную и судебную власть, банки и корпорации, представителей интеллигентных профессий и простой народ, ввергнув в сточную яму пошлой коррупции. Всего шесть месяцев назад он, неиспорченный молодой человек, только что вернувшийся из циничного мира европейской дипломатии, строил планы заняться достойной работой в прессе как поборник и доверенное лицо нового Вашингтона, теперь же ему предстояло растрачивать свою энергию на расчистку авгиевых конюшен американского общества, выгребая мерзость коррупции, которую этот второй Вашингтон, несомненно, будет без конца плодить.

Крепко зажмурив глаза — по примеру помощника государственного секретаря, — журналист мог проигнорировать скандал с железнодорожной линией Эри и тем самым помочь друзьям или союзникам в правительстве, делавшим все, что в их силах, чтобы придать этой истории благопристойный вид. Но не прошло и нескольких недель, как стало ясно, что скандал с Эри всего лишь частный случай, обычная ловушка, расставляемая Уолл-стрит, куда, согласно одной точке зрения, Джей Гулд толкнул Гранта, а другой — попал по его милости. Несомненно было одно — ни тот, ни другой такого результата не ожидали и чувствовали себя отвратительно; но ни Джей Гулд, ни любой другой искусный американский ум — не говоря уже о многосложном еврейском — никогда не могли бы приспособиться к непостижимым и необъяснимым промахам Гранта, так что из них двоих Гулд в целом был, пожалуй, менее ценной жертвой, коль скоро они таковыми были. Та же распушенность, которая привела Гулда в ловушку и теперь легко могла обернуться для него тюрьмой, привела сенат, исполнительные и судебные власти Соединенных Штатов к полному развалу, взаимной ругани и истерикам, каких постыдились бы даже в пансионе для девиц. Сатирикам и авторам комедий они давали богатую и неистощимую поживу, которой те успешно

пользовались, но молодого человека, только что расставшегося с грубоватым юмором Лондона, охватывал ужас, когда он видел, как топорнейшие сатиры на американских сенаторов и политических деятелей неизменно вызывали смех и аплодисменты любой публики. Богатые и бедные единодушно обливали презрением собственных представителей. Общество развлекалось пустыми и бессмысленными насмешками над собственной несостоятельностью. А молодому человеку, не обремененному ни положением, ни властью, ничего не оставалось, как смеяться вместе с ним.

И все же ему это зрелище, как бы ни веселилась публика, отнюдь не казалось смешным. Общество безнравственно и бессмертно. Оно может позволить себе любые глупости, но и любого рода грех; народ не убить, и те его частицы, что выживут, всегда могут отрясти прах с ног. Но у отдельного человека лишь один шанс и ничтожно мало времени, чтобы им воспользоваться. Всякий, кто сильнее его и выше, может этот шанс у него отнять. Он полностью отдан на милость тупиц и трусов. Что стоит какой-нибудь неумной администрации в два счета выгнать всех активных чиновников? В 1869—1870 годах в Вашингтоне все мыслящие люди, находившиеся на службе правительства, готовились к тому, что им придется уйти. Народ бы с радостью тоже ушел, ибо был бессилен перед хаосом. Одни смеялись, другие негодовали, и все чувствовали себя отворачивательно. Но они ничего не могли поделать и, повернувшись ко всему спиной, принялись работать — отчаяннее, чем когда-либо, — кто на железных дорогах, кто у плавильных печей. У народа достало мощи вынести даже свою политику. Только слабые завязли в Вашингтоне.

Самым мудрым из государственных мужей оказался Бутвелл, расценивший ситуацию по-своему. Он изгнал из министерства всех, кто мог бы помешать его спокойствию, и, запершись в казначействе, остался там один. Чем он там занимался, никто не знал. Его коллеги тщетно пытались

задавать ему вопросы. Они не слышали от него ни слова — ни на заседаниях кабинета, ни вообще. Он ничего не предлагал, ни о чем не сообщал, даже по самым жизненно важным вопросам. Казначейство как действенная сила перестало существовать. Мистер Бутвелл ждал, когда общество вытасит его министерство из трясины, — он был уверен, что рано или поздно это произойдет — надо только терпеливо ждать.

Предупрежденный друзьями из кабинета и казначейства, что Бутвелл не намерен искать помощи и не станет ее принимать, Адамс мог предложить свои услуги только госдепартаменту и министерству внутренних дел. Это его в высшей степени устраивало. В оппозицию он не стремился — пустая трата времени, союз с северными демократами и южными мятежниками, которые никогда не имели ничего общего с Адамсами и не проявляли к ним дружеского интереса, разве только с тем, чтобы изгнать их из общественной жизни. Пусть мистер Бутвелл захлопнул перед ним дверь в казначейство, проявив холодность и даже неуважение, — пусть! зато мистер Фиш широко распахнул ее в государственный департамент и, по всей очевидности, говорил с ним с такой откровенностью, о какой газетчик может только мечтать. Во всяком случае, Адамс мог ухватиться за этот последний якорь спасения и, пожалуй, составить себе имя в нью-йоркской прессе в качестве сторонника мистера Фиша. Ему ни разу не пришлось на память, в какие тиски он попал в 1861 году, оказавшись между Сьюардом и Самнером. Не могло же такое повториться! К тому же Фиш и Самнер действовали заодно, а их политика была вполне здравой, и ее стоило поддерживать. Так не повезти не могло бы даже комарику: вторично попасть между госсекретарем и сенатором, когда каждый из них был ему другом. Не может этого быть!

Увы, иллюзией этой он тешился не дольше, чем в 1861 году. Адамс видел, что Самнер прибирает к рукам госдепартамент, и одобрял это; он видел, что Самнер добивается на-

значения Мотли посланником в Англию, и радовался этому, но, когда зимою 1869/70 года возобновились отношения с Самнером, до него постепенно стало доходить, что у того есть собственный план внешней политики, который он предполагает навязать госдепартаменту. И это еще не все. Госсекретаря Фиша словно вообще не существовало. Кроме государственного департамента, который он номинально возглавлял в старом доме на Четырнадцатой улице, образовался департамент внешних сношений, которым сенатор Самнер правил властной рукой в Капитолии; и, наконец, четко вырисовывалось третье ведомство по иностранным делам в военном департаменте под началом президента Гранта, настаивающего на политике присоединения Вест-Индских островов — политике, никогда не пользовавшейся успехом у американцев северо-восточных штатов. Адамс, хоть убей, не мог сообразить, как ему между ними лавировать. Официально его место было при ответственном за внешнюю политику лице — государственном секретаре, но именно его лица он никак не мог обнаружить. Фиш, по-видимому, дружески относился к Самнеру и во всем слушался Гранта, собственной же политики пока еще не выработал. Что касается линии Гранта, Адамс так и не удостоился возможности полностью с ней ознакомиться, но в той мере, в какой она была ему известна, ничто не мешало ему горячо ее поддерживать. Трудность возникла тогда, когда Самнер поделился с ним своими взглядами, поскольку Адамс имел все основания считать, что это, как всегда, были приказания, а те, кто их игнорировал, — предатели.

Мало-помалу Самнер развертывал перед ним свои замыслы внешней политики, и Адамс при каждом новом пункте его кредо только открывал от удивления рот. Первое, что он, к величайшему своему огорчению, услышал от Самнера, — это вето на присоединение любых территорий в районе тропиков, что стоило Соединенным Штатам острова Св. Томаса, не говоря уже о бухте Самана, и полностью пере-

черкивало политику Гранта. Затем он с ужасом, не веря своим ушам, выслушал план Самнера относительно Англии, состоящий в том, чтобы собрать воедино и представить ей все американские претензии и заставить отказаться от Канады в пользу Соединенных Штатов.

Адамс тогда не знал — впрочем, никогда не знал и ни у кого не мог спросить, — что думают по этому поводу за закрытыми дверями Белого дома. Мистер Фиш и Банкрофт Дэвис, скорее всего, знали не больше, чем он. Игра в молчанку, когда дело касалось внешней политики, велась с таким же упорством, как когда речь шла о «Золотой афере». Президент Грант позволял каждому вести свою линию, но кого он поддерживал, Адамс дознаться не мог. В одном вопросе, во всяком случае, ему казалось, он как человек — к тому же не очень молодой, — недавно вернувшийся после семи лет пребывания в Англии, знает толк. Он полагал, что лучше кого-либо иного в Вашингтоне понимал, что такое Англия, и, слушая речи Самнера, испытывал чувство неловкости: он начинал сомневаться в здравости его ума. Если Самнер ставил целью войну, и Канада войны стоила, Самнер был гениален, и к нему стоило отнестись всерьез, но если он рассчитывал, что Англия добровольно отдаст Соединенным Штатам Канаду в счет компенсации за ущерб, нанесенный «Алабамой», то это бред. Там, где дело касалось фактов, Адамс был не менее категоричен, чем Самнер в политике, и его крайне интересовало, осмелится ли мистер Фиш сказать Самнеру, что тот несет чушь. Фиш осмелился, и, когда год спустя это произошло, Самнер с Фишем порвал.

Это еще больше озадачило Адамса: неужели Самнер настолько потерял рассудок, что ссорится сразу и с Фишем и с Грантом? Ссора со Сьюардом и с Эндрю Джонсоном была достаточно безобразна и никому не пошла на пользу, но ссора с Грантом означала чистое безумие. Что бы кто ни думал о нравственности, характере или интеллекте генерала, он был не из тех, кого боец легкого веса мог позволить себе

вызвать на бой. А Самнер, знал он об этом или нет, сам по себе, без комиссии по внешним сношениям, выступал в республиканской партии в весьма легком весе. Как партийный руководитель он пользовался признанием не более чем у дюжины людей, чьих имен он даже не знал.

Где же между этими могущественными силами собственно администрация и как ее поддерживать? Прежде всего ее нужно найти, но даже в этом случае нелегкое дело к ней подступиться. Простота Гранта напускала куда больше туману, чем многосложность Талейрана. Впоследствии мистер Фиш с тем мрачным юмором, в котором нередко с удовольствием упражнялся, рассказал Адамсу, что Гранту крайне не понравился Мотли, потому что носил прямой пробор. Адамс пересказал это Годкину, и тот долго обыгрывал сей казус в своей «Нейшн», пока не последовало опровержение. Адамс не видел причины давать опровержение. Почему бы Гранту не питать неприязнь к пробору и к голове, особенно если этот пробор показался генералу ее неотъемлемой частью. Люди очень острого ума умели составить верное мнение и по менее важной детали, чем прическа, — скажем, по одежде, если верить Карлейлю, или по перу, если верить кардиналу Ретцу, — а девять человек из десяти вряд ли могут привести для своей приязни или неприязни столь солидное основание, как прическа. По правде говоря, Мотли не понравился Гранту с первого взгляда потому, что между ними не было ничего общего, по той же причине Грант не любил и Самнера. По той же причине наверняка не влюбил бы и Адамса, предоставь ему Адамс такую возможность. Сам Фиш не мог быть уверен в расположении к нему Гранта, разве только богатство производило — или казалось, что производило, — на воображение Гранта огромное впечатление.

Ссора, все это время нависавшая над государственным департаментом, разразилась в июле 1870 года, когда Адамса уже и след простыл. Но другая ссора, почти столь же для него роковая, как раздоры между Фишем и Самнером,

поставила его даже в более трудное положение. Из всех членов кабинета Адамс больше всего ценил и хотел продолжать личные отношения с министром юстиции Гором. В то время решение о законном платежном средстве, то есть бумажных деньгах, о которое Адамс споткнулся, не успев прибыть в Вашингтон, стало привлекать к себе пристальный интерес, грозя превратиться в нечто посерьезнее, чем обычный камень преткновения, и обрушиться всем на голову, словно потолок, спастись от которого некуда. Надвигавшаяся схватка между Фишем и Самнером бледнела перед войной, вспыхнувшей между Гором и председателем Верховного суда Чейзом. Адамс прибыл в Вашингтон с целью содействовать исполнительной власти в борьбе против сената, но ему в голову не могло прийти, что от него потребуют содействия в борьбе против Верховного суда. Как и все в мире, Адамс шаг за шагом приходил к мысли, что американское общество переросло большую часть своих учреждений, тем не менее он все еще цеплялся за Верховный суд, как священник цепляется за своих епископов, потому что в них ему видится символ единства — последний клочок Права. Там, где существует только исполнительная и законодательная Власть, граждане бесправны: они отданы на милость Власти. Защищая себя от неограниченной Власти, они создали Суд, который мог хоть как-то встать на их защиту. Адамсу хотелось сохранить независимость Суда — по крайней мере на тот срок, что ему предстояло прожить, — и он не мог представить себе, что исполнительная власть поставила себе цель ее уничтожить.

Разделяя чувства Адамса и желая поддержать суд, Фрэнк Уокер обещал написать для «Норт Америкен» статью об истории Акта о законном платежном средстве, материалы для которой он черпал в недавно опубликованной книге Сполдинга, предполагаемого автора актов 1861 года. Но как раз в этот момент министр внутренних дел Дж. Д. Кокс, единственный из всего кабинета, кто стоял за реформу и,

как мог, выручал тех реформаторов, которые попали под бутвелловский декрет об увольнении, подыскивая им занятия, нашел для Уокера временное поручение — перепись 1870 года. Уокеру пришлось отказаться от работы над статьей и засесть за подготовку переписи. Он передал свои заметки Адамсу, чтобы тот завершил статью.

Адамс не зря в свое время потрудился над вопросом об ограничениях, введенных Английским банком. Оказалось, что он знает о законном платежном средстве достаточно, чтобы знать, что его лучше не трогать. Если банки и банкиры жаждали единых денег, газетчика они тоже устраивали, но коль скоро финансовые воротилы, изменив свое мнение, пожелали бы иметь оплату в «твердой» валюте, автор, которому не платят и половины того, что получает фабричный рабочий, не отказался бы от золота и серебра. Он не имел намерения ни поносить, ни защищать «законное платежное средство», он ставил себе цель — защитить председателя Верховного суда и суд как таковой. Уокер доказывал, что, какова бы ни была необходимость введения бумажных денег в ходе войны, в момент проведения соответствующего акта необходимости в нем не было. Воспользовавшись воспоминаниями председателя Верховного суда, Адамс закончил статью, и она появилась в апрельском номере «Норт Америкен». Ее жесткий тон принадлежал Уокеру: Адамса вовсе не прельщало сменить ножи на томагавки, но Уокер был насквозь пропитан духом армии и «Спрингфилд републикен», а сдержанность Адамса только придала материалу большую остроту. Бедный Сполдинг громко жаловался, и не без справедливости, что его книгу не так истолковали, но с исторической точки зрения статья имела большое значение. Уокер не оставил камня на камне на утверждении Сполдинга, будто бумажные деньги отвечали нуждам момента, и часть, заключающая историю их появления, рассказанную судьей Чейзом, прозвучала убедительно. Для судьи Чейза, по-видимому, статья была просто бальзамом. Министр юстиции, для кото-

рого она вряд ли была бальзамом, ничего по ее поводу не выразил. Историческое значение статьи оказалось настолько велико, что Адамс пожелал включить ее в том своих эссе, изданных двадцать лет спустя. Но историческая ее ценность не совпадала с тем, чему она его научила в аспекте воспитания. Тут она сыграла иную роль: несмотря на все лучшие намерения, личную заинтересованность и сильнейшее желание избежать неприятностей в дальнейшем, Адамс именно благодаря этой статье оказался в рядах оппозиции. Судья Гор, как и Бутвелл, был неумолим.

Гор продолжал изничтожать председателя Верховного суда, а Генри Адамс продолжал все дальше и дальше отходить от правительства Гранта. И был в этом не одинок: мир остыл к нему, включая и самого Гора. В стране вряд ли осталась хоть одна газета, которая не пустилась бы во все тяжкие. И одной из самых разнузданных была «Нью-Йорк трибюн». Распад всех и всяческих связей привел к распаду сдерживающих центров, сенат вновь превратился в арену злобных схваток, которые велись между раздраженными самолюбиями в такой неприглядной манере, когда умолкает даже насмешка. Пока сенаторы грызлись друг с другом, это никого не трогало, но они затеяли грызню с министерствами, доведя их до полного хаоса. Среди прочих они набросились на Гора и вынудили его отказаться от должности.

То, что Самнер и Гор, двое уроженцев Новой Англии, которые волею судеб оказались теми двумя высокопоставленными особами, кто больше всех мог содействовать успеху Адамса в Вашингтоне, первые пали жертвами расхлябанного правления Гранта, вероятно, многому бы научило нашего героя, сумей он понять значение того, что происходило. Он пытался это сделать, но мало что понял. Нет, не расположение к нему было слабым местом его знаменитых друзей. Одно он знал твердо — по части содействия он мог ждать от них так же мало, как от Бутвелла. Они не только не вербовали себе приспешников, но, как все уроженцы Новой

Англии, стеснялись признавать своих друзей. Никто из представителей Новой Англии не стал бы по собственному почину помогать Адамсу или любому другому молодому человеку в его карьере, разве только их бы об этом попросили, хотя не считали зазорным принять услугу, за которую не нужно было платить. Нет, не здесь Адамс мог извлечь необходимый урок. Об эгоизме как двигателе политики было известно с давних времен, и изучать его смысла не имело; но то, что происходило на его глазах, не давало ему покоя — и настолько, что впоследствии он многие годы размышлял над событиями тех дней. Четверо самых могущественных из его друзей, разбившись попарно, двое и двое, вели друг с другом войну — Самнер с Фишем, Чейз с Гором, — войну, наградой в которой была внешняя политика и судебная власть. Какой урок извлек для себя Адамс из этой ситуации?

Он был в растерянности, и не он один из тех, кто наблюдал все это со стороны. Тип лицедействующего государственного деятеля, вроде Роско Конклинга или полковника Малберри Селлерса, превосходно потешал публику, но чего они стоили? Государственные деятели старого типа, такие, как Самнер или Конклинг, Гор или Ламар, были лично честнейшими людьми, насколько это возможно. Они с благородным презрением расправлялись со всеми проявлениями протекции, особенно замешанной на корысти. Однако, по всеобщему мнению, деятельность Самнера и Конклинга стоила Америке куда дороже, чем все те протекции, с которыми они расправились, точно так же, как Ламар и старая гвардия государственных мужей-южан, идеально честных в денежных вопросах, стоила Америке Гражданской войны. Тяжкие нравственные сомнения мучили Адамса меньше, чем его друзей и современников, но именно эти сомнения наложили печать на все области политики в ближайшие двадцать лет. В газетах почти ни о чем больше не писали, как о нравственной распушенности Гранта, Гарфилда и Блейна. Если принимать газеты всерьез, вся политика держалась на протек-

ции, и кое-кто из ближайших друзей Адамса — например, Годкин — поплатились влиянием, потому что настаивали на соблюдении нравственных принципов. Общество сомневалось, шаталось, колебалось между жестокостью и расхлябанностью, безжалостно жертвуя слабыми и почтительно следуя за сильными. Несмотря на всю хулу по адресу Гранта, Гарфилда и Блейна, их выдвигали в президенты, а потом голосовали за них, очевидно относясь к этому с полным безразличием, пока, наконец, молодежь не оказалась вынужденной сказать себе — либо новые нормы, либо не станем поддерживать никаких. Нравственный кодекс себя изжил, как изжила себя и конституция.

Администрацией Гранта попирались все нормы обычной пристойности, но десятки перспективных людей, которых Америке вряд ли стоило терять, поплатились карьерой за то, что сказали об этом. Мир мало заботила пристойность. Что ему нужно, он не знал — быть может, система, которая действовала бы, и люди, в руках которых она действовала, но ни того, ни другого не находилось. Адамс попробовал приложить свои слабосильные руки, но ничего не сумел сделать. Его друзей выжили из Вашингтона или вовлекли в никчемные склоки. Он же замкнулся в себе и, беспомощный, вглядывался в будущее.

В результате в июльском номере «Норт Америкен» появился обзор для серии «Сессия», куда он вместил и вбил, как ему казалось, все, что видел сам или слышал от других. Статью эту он счел тогда удачной, а двадцать лет спустя даже более чем удачной и достойной перепечатки. Волею судеб в процессе его побочного воспитания «Сессия» 1869—1870 годов оказалась его последним словом о текущей политике и, так сказать, предсмертным завещанием в качестве скромного представителя прессы. Именно в этом качестве он ей верно служил. Ему вряд ли удалось бы сказать больше, продолжай он обозревать все заседания конгресса вплоть до конца столетия. Политическая дилемма 1870 года стояла

так же отчетливо, как, вероятно, будет стоять в 1970 году. Государственная система, установленная в 1789 году, рухнула и вместе с ней априорные, или нравственные, принципы, созданные восемнадцатым веком. Политики молчаливо от них отказались. Администрация Гранта дала этому ход. Впредь девять десятых политической энергии должно было растрачиваться на пустые попытки подправить — подремонтировать — или, говоря вульгарным языком, подлатать — политический механизм всякий раз, когда он давал сбой. Подобный строй, или отсутствие строя, мог существовать веками, чуть подновляясь за счет вспыхивавших порою революции или гражданской войны, но как механизм он был, или вскоре должен был стать, наихудшим в мире — самым неповоротливым — самым неэффективным.

И здесь жизнь преподносила урок, но цену ему Адамс не мог определить. Взвизывая на высшие и наиболее триумфальные достижения политической деятельности — на мистера Бутвелла, или мистера Конклинга, или даже мистера Самнера, — он не мог положить руку на сердце сказать, что подобный результат политического воспитания, даже когда оно возносило на эти недосягаемые высоты, чего-либо стоило. Рядом с ними были другие люди, пока еще стоявшие пониже, умные и интересные, — тот же Гарфилд или Блейн, — которые не без удовольствия подтрунивали над мнвившими себя полубогами сенаторами и, говоря о самом Гранте, употребляли выражения, какие не допускались на страницы «Норт Америкен ревью». Невольно возникал вопрос: что получится в свою очередь из этих деятелей? Какого рода политические амбиции возникнут в результате подобного разрушительного воспитания?

И все же в недрах этой политической жизни создавалась, или должна была создаться, какая-то политическая система — рабочий политический механизм. Общество не могло его не создать. Если нравственные нормы разрушились, а механизм перестал действовать, необходимо изобрести те или

иные новые нормы и новый механизм. Нельзя представить себе, что политики типа Гранта, или Гарфилда, или Конклинга, или Джея Гулда пребудут вовеки. Американцы, занимавшиеся практической деятельностью, посмеивались и делали свое дело. Общество им за него хорошо платило. Пожелай оно платить Адамсу, он с радостью занялся бы практической деятельностью, получал бы деньги и помалкивал. А пока он оказался в объятиях конгрессменов-демократов и принялся их наставлять. Консультировал Дэвида Уэллса по вопросам реформы налогового обложения, превратив свое жилище в аудиторию колледжа. Администрация Гранта делала все от нее зависящее, чтобы он и тысячи других молодых людей стали ее активными врагами — не только Гранта, но всей системы — вернее, отсутствия системы, — насаждаемой президентом. Надежды и замыслы, приведшие Адамса в Вашингтон, обернулись пустыми бреднями. В нем никто не нуждался; никто не нуждался в тех, кто, как он, собирался служить реформе. Политика, ставшая бизнесом, рождала только один тип деятеля — шантажиста.

Впрочем, все это было чрезвычайно интересно. Такой занятой жизнью, такой насыщенной, в самой людской гуще, Генри еще никогда не жил. Знакомых конгрессменов у него были десятки, журналистов дюжины. Он писал для различных изданий, нападая или защищая. Такая жизнь ему чрезвычайно нравилась, и он чувствовал себя не менее счастливым, чем Сэм Уорд или Сансет Кокс; гораздо счастливее, чем его высокопоставленные друзья Фиш или Дж. Д. Кокс, судья Чейз или министр Гор, даже Чарлз Самнер. С наступлением весны его потянуло в леса, лучше которых не было ничего на свете. После первого апреля «широкое лоно матери-природы», говоря словами Мориса де Герина, пленяло великолепием, с которым не могло тягаться лоно сената Соединенных Штатов. Сенаторы уступали в живописности зарослям кизила и даже иудину дереву. Их общество, как правило, доставляло меньше удовольствия. Адамс и сам удивился, заметив, какую

чарующую чистоту придает Капитолию дальность расстояния, когда видишь его купол за много миль сквозь кружево лесной листвы. В такие минуты память возвращала Генри к далекой красоте собора св. Петра, к ступеням Арачели.

Все же он сократил себе эту весну: ему необходимо было вернуться в Лондон до конца сезона. Нью-йоркская часть «Золотой аферы» была завершена, и Адамс решил передать статью Генри Риву для «Эдинбургского обозрения». Она была лучшим из всего им написанного, но не это побуждало его публиковать ее в Англии. Скандал вокруг Эри вызвал своего рода бурю в кругах уважаемых ньюйоркцев, и не слишком уважаемых тоже, и нападки на Эри имели шанс на успех. В Лондоне с большим интересом отнеслись к этой истории, и, несомненно, нанести удар по директорам компании Эри следовало именно в Лондоне, где социальные и финансовые стороны дела могли быть полностью раскрыты. На такой ход Генри толкала и другая причина: любое суждение об Америке, попавшее на столбцы английской прессы, привлекало к себе десятикратное внимание в Америке по сравнению с теми же мыслями, высказанными на страницах «Норт Америкен». Американские газеты неизменно перепечатывали такие статьи без купюр. Адамс ничего так не хотел, как избежать драконовых законов авторского права, ничего так не жаждал, как стать жертвой пиратства и получить бесплатную рекламу — все равно его доходы равнялись нулю. В азарте охоты он сам становился пиратом, и ему это нравилось.

19. ХАОС

(1870)

Погожим майским днем 1870 года Адамс вновь катил по Сент-Джеймс-стрит, более чем когда-либо дивясь и радуясь чуду жизни. Девять лет прошло с исторического прибытия

американской миссии в 1861 году. Внешне Лондон остался тем же. Внешне в Европе не замечалось значительных перемен. Пальмерстона и Рассела успели забыть, но Дизраэли и Гладстон развернулись вовсю. Кое-кто из знакомых сильно продвинулся. Джон Брайт вошел в кабинет. У. Э. Форстер должен был вот-вот туда войти; реформам не предвиделось конца. Никогда еще солнце прогресса не светило так ярко. Эволюция от низшего к высшему бушевала, как эпидемия. Дарвин был величайшим пророком в самом эволюционном из миров. Гладстон ниспроверг ирландскую церковь; ниспровергал ирландских лендлордов; пытался провести Акт об образовании. Совершенствование, процветание, неограниченные возможности победно шествовали по всем дорогам Англии. Даже Америка с ее скандалом вокруг Эри и требованием компенсаций за ущерб, нанесенный «Алабамой», вряд ли могла внести диссонирующую ноту.

В миссии теперь распоряжался Мотли; долгое правление Адамса уже забылось; Гражданская война стала историей. В обществе никто не вспоминал о годах, прошедших до появления в нем принца Уэльского. Тон задавала великосветская публика. В половине домов, которые Адамс посещал между 1861 и 1865 годами, уже закрыли, или готовились закрыть, двери. Смерть прошла по кругу его друзей. Умерли миссис Милнс Гаскелл и ее сестра мисс Шарлот Уинн, а мистер Джеймс Милнс Гаскелл уже не заседал в парламенте. На этой ниве воспитания уже ничего не осталось.

Адамса охватило особое настроение, более чем когда-либо питаемое духом восемнадцатого века — чуть ли не рококо, — полная неспособность ухватиться за шестерню эволюции. Впечатления перестали его обогащать. Лондон, в отличие от прежнего, мало чему учил. Разве только — что из дурного стиля рождается такой же дурной, — что старшее поколение не в пример интереснее молодого, — что за столом у лорда Хьютона появились невосполнимые пустоты, — что реже стали встречаться люди, с которыми хочется дружить.

Эти и сотни других той же ценности истин не побуждали к активной, разумной деятельности. Английские реформы не вызывали у Адамса интереса. От них веяло средневековьем. Билль об образовании, исходящий от У. Э. Форстера, казался Адамсу гарантией против всякого образования, которое он считал для себя полезным. Адамс был против перемен. Будь его власть, он сохранил бы папу в Ватикане и королеву в Виндзоре в качестве памятников старины. Он вовсе не жаждал американизировать Европу. Бастилия или гетто были ее достопримечательностями и, если их сохранить, приносили бы огромные доходы, так же как епископы или Наполеон III. Туристы — консервативное племя: они терпеть не могут новшеств и обожают всяческие нечистоты. Адамс вернулся в Лондон, отнюдь не помышляя о революции, бурной деятельности или реформе. Он жаждал удовольствий, покоя и веселого настроения.

Если бы он не родился в 1838 году под сенью бостонского Стейт-хауса, если бы пора его воспитания пришлась не на раннюю викторианскую эпоху, он, вероятно, легко бы сбросил старую кожу и отправился вместе с американской туристкой и еврейским банкиром осматривать Мальборо-хаус. Так диктовал здравый смысл. Но в силу какого-то закона англосаксонского существования, какой-то атрофии ума Адамс и иже с ним принадлежали к людям немодным. Считая себя человеком действия, выступавшим чуть ли не в первых рядах, он и в мыслях не держал делать еще какие-то усилия или кого-то догонять. Он не видел ничего впереди себя. В мире царило полное спокойствие. В его планы входило поговорить с министрами о компенсациях за «Алабаму», благо идея компенсации, как он полагал, принадлежала именно ему — ведь они с отцом не раз обсуждали этот вопрос задолго до того, как он был поднят правительством; в его планы входило сделать заметки для будущих статей; но ему и в голову не приходило, что не пройдет и трех месяцев, как весь мир рухнет и погребет его под собой. Правда, как-то

к нему зашел Фрэнк Палгрейв, более обычного раздраженный, фыркающий и сыплющий парадоксами, потому что, как ему казалось, Наполеон III грозил Германии войной. «Германия, — заявил Палгрейв, — не оставит от Франции камня на камне», если начнется война. Адамс надеялся, что войны не будет. Милостью судьбы мир всегда минуют катастрофы. Никто в Европе не ждал серьезных перемен. А Палгрейв... Что же, Палгрейв любит хватить через край, и на язык он невожат — какие грубые у него выражения!

В этот свой приезд, как никогда, Адамс и думать забыл о воспитании. Все шло гладко, и Лондон дарил радостью узнавания и зваными обедами. С каким сладостным наслаждением вдыхал он угольный дым Чипсайда и упивался архитектурой Оксфорд-стрит! Чары Мейфер никогда так не чаровали Артура Пенденниса, как обаяли по возвращении в Лондон блудного американца. Сельская Англия никогда не улыбалась такой бархатной улыбкой благовоспитанной и неизменно приятной леди, какой сияла Адамсу, когда его пригласили разделить сельское уединение. Он все здесь любил — все без исключения, — всегда любил. Он испытывал чуть ли не нежность к Королевской бирже. Он чувствовал себя хозяином в Сент-Джеймском клубе. Он покровительствовал сотрудникам миссии.

Первый удар задел его лишь слегка — словно природа решила чуть укоротить своего баловня, хотя и так не слишком его баловала. Рив отказался публиковать «Золотую аферу». Адамс привык к мысли, что толстые журналы ему открыты и написанное им там всегда напечатает, но поразил его не сам отказ, а причина отказа. Рив заявил, что статья обрушит на него с полдюжины судебных исков по обвинению в клевете. Что компания Эри пользуется в Англии не меньшим влиянием, чем в Америке, не составляло тайны, но что ей подвластны английские журналы, это вряд ли кому могло прийти на мысль. Английская пресса громогласно возмущалась скандальной историей Эри в 1870 году, как возмуща-

лась скандальным явлением рабства в году 1860-м. Но стоило предложить ей оказать поддержку тем, кто пытался покончить со скандальными делами, и она говорила: «Боюсь». Отказ Рива показался Адамсу знаменательным. Он, его брат и «Норт Америкен ревью» ежедневно шли на куда больший риск, но не страшились последствий. А в Англии широко известная история, к тому же написанная всецело на основе официальных документов, так напугала «Эдинбургское обозрение», что оно предпочло промолчать, лишь бы не вызвать гнев Джея Гулда и Джима Фиска! Это не укладывалось даже в представлении Адамса об английской эксцентричности, допускавшей весьма многое.

Адамс был бы рад приписать отказ Рива его респектабельности и редакторским условностям, но, когда он послал рукопись в «Квотерли», оттуда тоже пришел отказ. Литературный уровень обоих журналов был не настолько высок, а статья не настолько безграмотной, чтобы энергичный и добросовестный редактор не мог бы ее отредактировать. В 1870 году Адамсу оставалось заключить, что дело не в нем, а в английском характере, с которым он уже сталкивался в 1860-м и который он по-прежнему был неспособен понять. Как всегда, если союзник был нужен, радикалы открывали американцу объятия. Но стоило ему попросить их об услуге, и респектабельные джентльмены тотчас показывали спину. Вынужденный внезапно покинуть Англию, Адамс в последний момент отослал статью в «Вестминстерское обозрение» и полгода ничего не знал о ее судьбе.

Он не прожил в Англии и несколько недель, когда из Баньи-ди-Лукки пришла телеграмма от зятя: перевернулась карета, сестра получила ушибы, лучше приехать. Он выехал в тот же вечер и на следующий день был в Баньи-ди-Лукке. Столбняк уже дал о себе знать.

Последний урок — вся суть и предел воспитания — начался для него только тогда. За свои тридцать лет жизни он накопил много разнообразных впечатлений, но ни разу не

видел воочию смерть. Природа еще не открылась ему — он видел лишь ее поверхность, лишь подслащенную оболочку, которую она показывает юности. Ужас от удара, нанесенного внезапно со всей грубой жестокостью случайности, тяготел над ним до конца жизни, пока, повторяясь вновь и вновь, не дошел до той черты, когда воля уже не способна сопротивляться, когда нет уже сил это вынести. Он застал свою сестру — сорокалетнюю женщину — в постели из-за злосчастного происшествия с каретой, в котором она повредила ногу. Пока судороги сводили только челюсти, она оставалась такой же неумной и блистательной, какой была среди беззаботного веселья в 1859 году. Но час за часом мышцы ее каменели, и через десять дней адских мучений, ни на минуту не теряя сознания, она умерла в конвульсиях.

Все мы много слышали и читали о смерти, даже видели ее подчас, и знаем наизусть сотни банальностей, которыми религия и поэзия тщатся притупить чувства и завуалировать страх. Общество бессмертно и может как угодно взбодриться бессмертием. Адамс был смертен и видел перед собой только смерть. И в этом благодатном, пышном краю она обретала для него новые черты. Природа словно радовалась смерти, играла ею, ужас смерти сообщал ей новую прелесть, ей нравились страдания, и она умерщвляла свою жертву, баюкая ее. Никогда еще она не была такой обольстительной. Стояло жаркое итальянское лето, солнце заливало улицы, рыночную площадь, живописных крестьян, и в неповторимых красках тосканской атмосферы Апеннинские горы и виноградники, казалось, вот-вот прыснут красным, как кровь, соком. Даже комнату, где лежала больная, не покидала радость жизни; там толпились друзья; ничто не нарушало мягкий полумрак; даже самой умирающей владело очарование итальянского лета — мягкое, бархатное его дыхание, юмор, мужество, чувственная полнота природы и человека. Она смотрела в лицо смерти, как большинство женщин, бесстрашно и даже весело, уходя в небытие, только подчиняясь насилию, как

сраженный в бою солдат. Сколько их, мужчин и женщин, в этих горах и долинах сразила за тысячи лет природа, неизменно улыбаясь ликующей своей улыбкой.

Подобные впечатления не осмысляются и не фиксируются разумом; они относятся к сильнейшим эмоциям, и ум, который воспринимает их, не тот, который способен рассуждать; он, надо полагать, наделен иными свойствами и принадлежит иной части нашего «я». Первое серьезное осознание поступка природы — ее отношения к жизни — обрело форму фантома, кошмара, обезумевшей стихии. Впервые в его жизни рухнули театральные декорации, возведенные чувствами; ум ощутил себя обнаженным, вибрирующим в пустоте, где бесформенные потоки энергии и неспособная к сопротивлению масса сталкивались, кружили, растрчивали и изничтожали то, что эта энергия создала и совершенствовала веками. Общество утратило реальность, оно стало пантомимой марионеток, а его так называемая философия растворилась в элементарном чувстве жизни и наслаждении этим чувством. Обычные болеутоляющие средства, предлагаемые социальной медициной, оказались явной подделкой. Лучшим, возможно, был стоицизм; религия — наиболее человеческой; но мысль о том, что какой бы то ни было личный бог мог получать удовольствие или выгоду, подвергая ни в чем не повинную женщину страданиям, какие способен причинить лишь человек извращенных наклонностей или охваченный безумием, не укладывалась в сознании. Нет, чем такое кощунство, уж лучше голый атеизм! Бог, возможно, и был Субстанцией, как учит церковь, но он не мог быть Личностью.

Нервы Адамса были натянуты до последней степени и уже не выдерживали напряжения. Друзья отправились с ним путешествовать по Швейцарии, и он остановился на несколько дней в Уши, надеясь, что в новом окружении восстановит утраченное равновесие, ибо неисповедимая тайна власти случайности превратила мир, всегда казавшийся реальным, в фантазмагорию, в пародию на чудовищные видения, рожденные

собственным ужасом. Он убедился, что не знает м и р , — и чтобы понять это, ушло двадцать лет! Понадобилась вся красота Женевского озера, раскинувшегося внизу, и отрогов Альп, возвышавшихся вверх, чтобы вернуть себе ощущение сущего мира. Впервые он на мгновение увидел Монблан таким, какой он е с т ь , — хаосом, игрой неуправляемых и бессмысленных сил; и только после многих дней полного отдыха к нему вернулась прежняя иллюзия, созданная его чувствами, — нетронутая белизна снегов, великолепие сияющей на солнце вершины, бесконечность небесного покоя. Природа снова была добра, Женевское озеро ослепляло небывалой красотой, а очарование Альп противостояло любым ужасам. Но тут хаос овладел человеком, и, прежде чем иллюзия природы полностью восстановилась в сознании Адамса, иллюзия Европы внезапно исчезла, и на ее месте возник новый, неизведанный мир.

4 июля Европа еще жила мирной жизнью, 14 июля Европа уже была ввергнута в хаос войны. Всеми владело чувство беспомощности и растерянности, но даже будь вы король или кайзер, вы вряд ли нашли бы достаточно сил, чтобы справиться с хаосом. Мистер Гладстон был ошеломлен не меньше Адамса; император Наполеон находился в таком же замешательстве, как они оба, а Бисмарк и сам не знал, как это у него получилось. Поначалу война не сыграла должной роли в воспитании Адамса — слишком свежа была рана, нанесенная смертью близкого человека, чтобы предать ее забвению и думать о смерти, грозящей из-за Рейна. Только оказавшись в Париже, он почувствовал приближение катастрофы. Провидение не размахивало *affiches*¹, извещая о трагедии. Но у всех на глазах Францию, сорвавшуюся с якоря, несло по неведомому потоку к еще более неведомому океану. Стоя на краю тротуара Бульваров, можно было видеть не хуже, чем находясь бок о бок с императором или во главе армейского корпу-

¹ Здесь: объявление (фр.).

са. Впечатление складывалось трагическое. Народ, по всей видимости, воспринимал войну, как воспринимали ее при Людовике XIV или Франциске I — как вид декоративного искусства. Французы с их художественной натурой всегда смотрели на войну как на вид искусства. В обиход его ввел Людовик XIV, Наполеон I усовершенствовал, Наполеон III с неизменным успехом занимался им в том же духе. В июле 1870 года война в Париже походила на оперу Мейербера. Невольно возникало желание наняться в статисты. Каждый вечер в театрах спектакли, согласно приказу, прерывались; весь зал, согласно приказу, вставал и, согласно приказу, пел Марсельезу. Почти двадцать лет Марсельеза была под запретом, и ее не разрешалось исполнять ни под каким видом. Теперь полк за полком шел по улицам под громкое «Marchons!»¹, а стоявшие на тротуарах не рвались подтягивать. Казалось, правительство вытащило патриотизм из своих кладовых и раздает его по несколько грамм *per capita*². В свое время Адамс видел, с каким тяжелым сердцем его народ решался на войну, он помнил, как шли на фронт полки — они не пылали восторгом, напротив, были угрюмы, встревожены и сознавали всю тяжесть создавшегося кризиса. Парижане словно сговорились не замечать кризиса, хотя и понимали, что он неизбежен. Это был урок для миллионов, но он оказался для них слишком сложным. Внешне Наполеон и его министры и маршалы вели игру против Тьера и Гамбетты. К чему она приведет, они знали не больше любого стороннего наблюдателя. Мог ли Адамс предвидеть, что всего через год-другой, когда он станет говорить о *своем* Париже и его вкусах, слушатели будут только смеяться ему в лицо — экая детская слепота!

При первой же возможности он вернулся в Англию, где вновь укрылся в глубокой тиши Уэнлокского аббатства. Всего

¹ Здесь: вперед (фр.).

² На душу (лат.).

несколько иноков, уцелевших от жестокой расправы Генриха VIII, — несколько молодых англичан обитали в его стенах во главе с Милнсом Гаскеллом вместо настоятеля. Августовское солнце еще грело всюю; от аббатства веяло вековым покоем; ни один диссонирующий звук — вообще ни один звук, кроме глухого крика в старом грачевнике на з а р е , — не нарушал безмолвия, и после тяжких переживаний минувшего месяца Адамс словно видел воочию, как дымка покоя стоит над Эджем и Уэльскими маршами. Со времен царства Pteraspis здесь мало что изменилось — разве только иноки. Нынешние, лежа на траве, усеянной газетами, жадно вчитывались в корреспонденции с полем войны. В одном отношении воспитание Адамса дало плоды: он научился разбираться в военных сводках.

Еще в Уэнлоке он получил письмо от ректора Элиота, который предлагал ему занять вакансию доцента по кафедре истории, только что учрежденной в Гарвардском университете. Даже Terebratula, прожди она добрый десяток лет, чтобы кто-то вспомнил о ее существовании, возликовала бы от удовольствия и благодарности, прочитав слова, в которых заключался намек на то, что новый ректор ищет ее помощи. Но Адамс ничего не смыслил в истории, а в преподавании и того меньше, меж тем как о Гарвардском университете знал более чем достаточно. Он тотчас отправил ректору Элиоту благодарственное письмо, но выразил сожаление, что оказываемая ему честь выше его возможностей. Его мучили другие вопросы. Лето, на которое он возлагал столько надежд, закончилось тяжелейшей личной трагедией и страшнейшими политическими катаклизмами, какие он еще не знал и вряд ли узнает впредь. Его во всех отношениях постигла неудача. Английские журналы отказались от лучшей из его статей. Новых знакомств он не приобрел, старые, за малыми исключениями, не возобновил. 1 сентября он отплыл из Ливерпуля, чтобы начать сначала с того же рубежа, с которого стартовал два года назад, с тою разницей, что не тешил себя надеждой

связать свою судьбу с очередным президентом, какой-либо политической партией или прессой. Он был вольной птицей, иной карьеры для него не предвиделось, да он и сам ее не желал. Вот до этой ступени он и дошел в своем воспитании.

Однако, вернувшись домой, он обнаружил, что не все так дурно, как ему представлялось. Его статья из серии «Сессия», появившаяся в июльском номере «Норт Америкен ревью», имела успех. Правда, он сам не вполне понимал, чьим интересам она служит, но с приятным удивлением узнал, что Национальный комитет демократической партии перепечатал ее в качестве предвыборной брошюры и распространял в сотнях тысяч экземпляров. Теперь, что он ни делай, его будут числить по оппозиции и, что ни скажи, в массачусетских демократах. А единственная награда и плата, которую он получил за оказанную партии услугу, состояла в том, что сенатор Тимоти Хау от штата Висконсин удостоил его официального ответа в бесплатном предвыборном листке республиканской партии, где доказывал несостоятельность его суждений, и оказал ему честь сравнением — весьма неординарным и красочным в устах сенатора — с бегонией.

Сравнение с бегонией — растением, обладающим, или по крайней мере обладавшим тогда, в высшей степени сенаторскими свойствами, — могло считаться весьма лестным. Не отличаясь большой привлекательностью и изысканностью, бегония брала необычной и броской листвой; она всем бросалась в глаза и, хотя не приносила ощутимой пользы, всегда требовала и добивалась для себя самого заметного положения. Адамс ничего так не желал, как быть в Вашингтоне бегонией. В его глазах это был идеал преуспевающего государственного деятеля, и он только утвердился в этом мнении, когда октябрьский выпуск «Вестминстерского обозрения» преподнес ему собственную статью о «Золотой афере», которую тут же пиратским способом стали широко перепечатывать. Слава, слава неумемным пиратам! Адамс жаждал быть жертвой издателей-пиратов! Ведь ему наверняка никто не

собирался платить. Но честь, оказываемая пиратами, сходна с цветами бегонии: они привлекают внимание, хотя пользы от них ни на грош. Это был *tour de force*¹, до которого он не поднимался даже в мечтах: две его длинные, сухие, рассчитанные на специалистов статьи, каждая в тридцать с лишним страниц, выходят одна за другой и стараниями издателей-пиратов распространяются среди широкой публики в сотнях тысяч экземпляров, но при этом ни одна душа — ни мужчина, ни женщина — не говорит ему и доброго слова, разве только сенатор Хау называет бегонией.

Если бы все шло своим ходом, жизнь Адамса, возможно, потекла бы вполне счастливо по прежнему руслу, но пути, на которые Америка толкает молодых людей с наклонностями к литературе и политике, иные, чем те, какими до сих пор шествовал так называемый цивилизованный человек. Не успел Адамс добиться в Вашингтоне достаточного, с его скромной точки зрения, успеха, как на него напустилась вся семья: в Вашингтоне ему не место. Впервые с 1861 года вмешался отец, просила мать, брат Чарлз доказывал и убеждал — Генри следует обосноваться в Гарварде. У Чарлза были виды на дальнейшую совместную деятельность в новой области. Генри, утверждал он, исчерпал свои возможности в Вашингтоне; его положение требовало солидности; он же, если на то пошло, выступает в авантюрной роли; несколько лет в Кембридже придадут ему должный вес; главная его функция — вовсе не преподавание, а редактирование «Норт Америкен ревью», что следует соединить с преподаванием в университете, отсюда — открытая дорога в ежедневную прессу. Словом, не Генри нужен университету, а университет Генри.

Генри хорошо знал расстановку сил в университете, и ему было известно, что историческим факультетом руководит мудрейший и образцовый администратор профессор Герни и что именно Герни, учредив новую кафедру, набросил на Адамса

¹ Здесь: огромное везение (*фр.*).

сеть, чтобы взвалить на него двойную ношу — курс по истории средних веков и «Ревью». Только Генри никак не мог представить себя в роли университетского преподавателя. Он искал образования и воспитания, но не промышлял ни тем, ни другим. Истории он не знал, а знал только сочинения нескольких историков, его скудные познания могли принести только вред, потому что были книжными, случайными, неглубокими. С другой стороны, зная Генри, он не мог не прислушаться к его совету. В таких вопросах нелепо относиться к себе слишком всерьез: вряд ли количество солнечной энергии уменьшится от того, будет ли Генри Адамс по-прежнему танцевать с милыми девицами в Вашингтоне или начнет вести беседы с любознательными юношами в Кембридже. Добрые люди, полагавшие, что это имеет значение, верно, вправе им командовать. Их советами не следует пренебрегать, а желаниями — тем паче.

В итоге Генри поехал в Кембридж объясниться с ректором Элиотом, и между ними произошел обмен мнениями, почти такой же типичный для Америки, как разговор о дипломатии, состоявшийся у Генри с отцом десять лет назад.

— Но я совершенно не знаю истории средних веков, мистер Элиот, — убеждал ректора Генри.

На что мистер Элиот с любезнейшим видом и приветливой улыбкой, столь знакомой грядущему поколению американцев, возразил:

— Если, мистер Адамс, вы назовете мне человека, который знает больше, я назначу его.

Ответ этот не показался Адамсу логичным или убедительным, но парировать ему было нечем. Он не собирался попирать собственные привилегии, как и не мог сказать, что, по его мнению, на это место вообще не нужно никого назначать. Таким образом, не прошло и суток, как он, вновь переломив свою жизнь, начал все сначала на путях, которые он не выбирал, в области, которая его не интересовала, в месте, которое не любил, и с перспективами, которые ему претили.

Тысячи людей поступают так же, но с тою разницей, что ему не было нужды так поступать. Он поступил так потому, что на этом настаивали его лучшие и умнейшие друзья, но сам так и не смог решить, были ли они правы. Ему такой вид деятельности казался фальшивым. Что касается себя, он в этом не сомневался. Он считал, что сделал ошибку, но его мнение еще ничего не доказывало, потому что, какое бы поприще он ни избрал, он неизбежно совершил бы ошибку, большую или меньшую. В своем развитии он дошел до перепутья, и на какую бы дорогу ни вступил, неизбежно бы заблудился. Что сулил ему Гарвардский университет, крылось в неизвестности — во всяком случае, не то, чего ему хотелось. Что он терял в Вашингтоне, он отчасти понимал, но, во всяком случае, блестящая будущность его там не ожидала. Администрация Гранта губила людей тысячами, а пользу из нее извлекли единицы. Пожалуй, только мистер Фиш избежал общей участи. Прочтите списки членов конгресса и тех, кто служил в судебных и исполнительных органах в течение двадцати пяти лет с 1870-го по 1895 год, и вы почти не найдете имен людей с незамазанной репутацией. Период скучный по целям и пустой по результатам.

Не входя в круг избранных, Адамс, как всякий политик, стоял к нему достаточно близко и более или менее знал в Вашингтоне всех мало-мальски выдающихся людей и все о них. Самым оснащенным, остро мыслящим и работающим среди них, по мнению Адамса, был Абрам Хьюит, член конгресса на протяжении двенадцати лет с 1874-го по 1886 год, не раз бывавший лидером палаты и почти не знавший себе равных по влиянию на нее. Мало с кем складывались у Адамса такие тесные и прочные отношения, как с мистером Хьюитом, чью деятельность в Вашингтоне он считал наиболее полезной из всего, что там наблюдал. Поэтому его так несказанно поразило, когда Хьюит в конце своей утомительной карьеры законодателя признался, что, если не считать Закон о закреплении земельного надела, ощутимых результатов

он не достиг. А между тем Адамс не знал никого, кто сделал так много, разве только Шерман, если оценивать его законодательную деятельность положительно. Ближайшим соперником Хьюита можно считать, пожалуй, Пендлтона, автора реформы гражданских учреждений, направленной на исправление зла, которое прежде всего не следовало бы допускать. Вот и все, чья деятельность увенчалась успехом.

Так же обстояло дело и с прессой. Ни один редактор, равно как и журналист или общественный деятель, не заслужил достаточно доброго имени, чтобы память о нем сохранилась два десятка лет. Многие пользовались дурной репутацией или испортили себе ту, какую приобрели в ходе Гражданской войны. В целом даже для сенаторов, дипломатов, правительственных чиновников это был период скуки и застоя.

В поколении Адамса никто из занимавшихся общественной деятельностью не извлек для себя пользы, кроме разве Уильяма К. Уитни, да и то впоследствии он отказался к ней вернуться. О том, чтобы сделать такую, как он, карьеру, не могло быть и речи, но даже если бы речь шла о вещах достижимых — скажем, о месте в свите Гарфилда, Артура, Фрелингюсена, Блейна, Байарда, того же Уитни и прочих властей предержавших, или о должности в миссии, отъезжающей в Бельгию или Португалию, или об исполнении обязанностей помощника госсекретаря или начальника бюро, или, наконец, редактора одного из отделов «Нью-Йорк трибюн» или «Таймс», — намного ли больше дало бы это в аспекте развития и воспитания, чем работа в Гарвардском университете? Таков был вопрос, и вопрос этот куда более нуждался в ответе, чем многие из тех, какие предлагались экзаменуемым в колледжах или поступающим на государственную службу, и в особенности потому, что Адамс ни тогда, ни позже так и не смог на него ответить, и еще потому, что между американским обществом и Вашингтоном ставился знак равенства.

На первых порах Адамсу, как всякому новичку, который бьется над самыми началами, хотелось взвалить ответственность за состояние дел на американский народ, несший на своей блестящей от пота спине всю тяжесть любых социальных и политических глупостей. Но американский народ имел к ним такое же касательство, как к порядкам в Пекине. Возможно, многое объяснялось американским характером. Но чем объяснялся американский характер? Ведь Бостон, вся Новая Англия, весь respectable Нью-Йорк, включая Чарлза Фрэнсиса Адамса-отца и Чарлза Фрэнсиса Адамса-сына, сходились на том, что Вашингтон не место для respectable молодого человека. Весь Вашингтон, включая президентов, правительственных чиновников, судебные власти, сенаторов, конгрессменов и служащих разных мастей, придерживался того же мнения, делая все от него зависящее, чтобы гнать в шею каждого, кто попадал в Вашингтон или хотя бы намеревался туда попасть. Ни один молодой человек из подающих надежды не удержался на государственной службе. Все очутились в оппозиции. В Вашингтоне правительству они были не нужны. Случай Адамса представлялся, пожалуй, особенно разительным, потому что у него, как ему казалось, все шло хорошо. Да не так уж и казалось! Он не знал никого, кто рискнул бы на столь экстравагантный шаг, как поддержать молодого человека, избравшего литературное или даже политическое поприще, — в обществе это не одобряли, да и на жизнь в политической столице смотрели косо, — а значит, Гарвард возлагал на него немалые надежды, иначе зачем бы помимо его воли делать из него преподавателя университета, и, значит, издатели и редакторы «Норт Американ ревью» тоже ему доверяли, иначе зачем бы им отдавать журнал в его руки. Что ни говори, а «Ревью» занимало первое место среди литературных сил Америки, пусть даже там не менее туго расплачивались в звонкой монете, чем в казначействе Соединенных Штатов. Степень, присужденная в Гарварде, имела такое же преходящее значение, как полномо-

чия, полученные от очередного президента, но причастность к профессуре университета и в части денежного вознаграждения, и возможностей покровительства оценивалась много выше, чем служба в ряде государственных учреждений. Что касается общественного положения, университет превосходил их все, вместе взятые. Правда, что касается знаний, университет превосходством похвастаться не мог, ибо правительство на просвещение не претендовало и, более того, даже гордилось своим невежеством. Преподавание в Гарвардском университете было занятием почетным, возможно, самым почетным в Америке. Так почему же, если Гарвардский университет счел Генри Адамса достойным нести в нем службу за четыре доллара в день, Вашингтон отвергал его услуги, хотя он не просил за них и цента? Зачем его вынуждали бросать дело, которое он любил, в городе, который ему нравился, ради дела, которое ему претило, в городе и климате, которых он страшился? Потому, что вся Америка считала Вашингтон бесплодным и опасным местом? Но разве это что-либо объясняло? И чем, скажите, Вашингтон опаснее Нью-Йорка?

Американский характер отличается своей особой ограниченностью, от которой исследователя цивилизованного человека берет оторопь. Подавленный собственным невежеством, заплутавшийся во тьме собственных блужданий, ученый муж вдруг обнаруживает себя стиснутым толпой людей, которые, по-видимому, даже не ведают, что на свете существует невежество; которые забыли, что такое веселье, и не способны даже понять, что их одолевает скука. Американец, в собственном представлении, человек неумейный, предприимчивый, энергичный, изобретательный, всегда начеку, всегда стремящийся обогнать соседа. Такое представление о национальном характере, возможно, верно для жителей Нью-Йорка или Чикаго, но неверно для Вашингтона. В Вашингтоне американец в четырех случаях из пяти являет собой скорее фигуру тихую, застенчивую, напоминающую по складу

Авраама Линкольна, несколько грустную, порою жалкую, бывает, даже трагическую, или же, по примеру Гранта, бессловесную, нерешительную, не верящую в себя, тем паче в других и поклоняющуюся золотому тельцу. В силу своего характера американец действительно работает до иступления; работа и вист — его возбуждающие средства, работа стала для него родом греховной страсти, но ни деньги, ни власть — когда он их добыл — почти не занимают его. Ему доставляет удовольствие погоня за ними, другого удовольствия он не знает, воспользоваться богатством не умеет. Пожалуй, только Джим Фиск знал, зачем ему деньги, Джей Гулд уже не знал. Вашингтон кишел такими типичными американцами, но тому, кто хотел узнать американца до конца, следовало понаблюдать его в Европе. Скучающий, притихший, беспомощный, трогательно покорный жене и дочерям, терпимый до унижения, по большей части скромный, приличный, добропорядочный отец и семьянин — таков американец, который попадает в Европе на каждой железнодорожной станции, где он охотно сообщает встречному и поперечному, что самым счастливым днем его жизни будет день, когда он вступит на нью-йоркский мол. Проводить время в развлечениях кажется ему постыдным, его ум уже не реагирует на разнообразие впечатлений и не способен принять новую мысль. Вся его огромная сила, неистощимая нервная энергия, острое аналитическое видение были ориентированы в одном-единственном направлении, изменить которое он не может. Конгресс состоял из такого рода людей, в сенате исключением был Самнер; среди столпов исполнительной власти Грант и Бутвелл являли собой разновидность того же типа — политический его вариант, жалкий в своем неумении использовать данную им власть. Они не умели поселиться и не понимали, как это делают другие. Работа, виски и карты поглощали всю их жизнь. Они определяли атмосферу политического Вашингтона — или, как полагали вне столицы, контролировали ее, — а потому там считали,

что Вашингтон окажет пагубное влияние даже на не слишком молодого человека тридцати двух лет, который за двенадцать лет, проведенных в Европе, познал все возможные искушения во всех ее столицах; который никогда не играл в карты, а к виски питал отвращение.

20. ПРОВАЛ (1871)

Среди ранних впечатлений детства в памяти Генри Адамса удержался его первый визит в Гарвардский университет. Ему было лет девять, когда хмурым зимним днем, окутавшим мглою Кембриджпорт, мать взяла его с собой к тетушке миссис Эверет. Эдуард Эверет был тогда ректором Гарвардского университета, и они жили в ректорском доме на Гарвард-сквер. Мальчику запомнилась гостиная — из передней в нее вела дверь налево, — где их принимала миссис Эверет. Запомнилась мраморная гончая в углу. В доме царил атмосфера достоинства колониальных времен, и это поразило воображение даже девятилетнего ребенка.

Закончив переговоры с ректором Элиотом, Адамс разыскал казначея университета, чтобы спросить, что случилось с бывшей гостиной тетушки, так как ректорский дом давно уже использовался для разных нужд. Оказалось, что эта комната вместе с примыкающей к ней кухней пустуют и сдаются внаем. Адамс оставил их за собой. Над ним снимал комнаты с отдельным входом его брат Брукс, тогда студент-юрист. Напротив помещался Дж. Р. Деннет, молодой преподаватель, приверженный литературе почти не меньше Адамса и еще больше, чем он, враг условностей. Наведя справки среди соседей, Адамс обнаружил поблизости пансион, по отзывам лучших среди наличествующих. Там столовались Чонси Райт. Фрэнсис Уортон, Деннет, Джон Фиск и другие университет-

ские коллеги, а также четверо студентов-юристов, включая Брукса. Пришлось довольствоваться этими примитивными удобствами. Уровень жизни здесь был ниже, чем в Вашингтоне, но, по существующим условиям, лучший.

На протяжении последующих девяти месяцев у доцента Адамса не оставалось свободного времени на удовольствия и развлечения. Все его силы шли на то, чтобы знать на гран больше, чем требовали его сиюминутные обязанности. Нередко ему не хватало для занятий дня, и он заимствовал у ночи и сна. Его постоянно точила и мучила мысль, правильно ли он делает свое дело. Справедливо или нет, но то, как он его исполнял, не приносило ему удовлетворения, и прежде всего потому, что он не мог сказать, то ли он делает.

Недостатки в преподавании, отмеченные Адамсом еще в бытность студентом выпускного курса Гарварда, по всей видимости, действительно имели место, и университет делал большие усилия, чтобы избавиться от им же самим признанных изъянов, а в 1869 году, чтобы провести реформы, избрал ректором Элиота. Профессор Герни, один из главных сторонников реформы, занялся в первую очередь преобразованием вверенного ему факультета. Два профессора — Торри и Герни, оба милейшие люди, — не могли объять весь предмет. Между историей античности, читавшейся Герни, и новой историей, отданной на откуп Торри, оставался пробел в тысячу лет, который должен был заполнить Адамс. Студенты уже записались на курсы под номерами 1, 2 и 3, не зная, кто и чему их будет учить. Если бы их новый лектор осведомился, какие мысли имеются у них на этот счет, то, вероятно, услышал бы в ответ, что никаких, поскольку у лектора их тоже не было — во всяком случае, до того момента, когда он взял на себя этот курс и узрел своих студентов, он, насколько ему помнится, уделил средним векам, дай бог, час-другой.

Нельзя сказать, чтобы Генри так уж мучился своим невежеством! Он достаточно много знал, чтобы чего-то не знать.

Порученный ему курс вверг его в пучину неведения, и его бросало из океана в океан, пока он не научился плавать, но даже он считал, что к образованию следует относиться всерьез. Родитель дает жизнь, и ничего более. Убийца отнимает жизнь, но на этом все кончается. Учитель оказывает воздействие на века. Ему не дано предугадать, где предел его влияния. Устами учителя должна гласить истина, и он, пожалуй, может льстить себя мыслью, что учит ей — если не выходит за пределы обучения азбуке и таблице умножения, как мать, обучающая ребенка есть ложкой. Но история нравов содержит в себе истины совсем иного рода, а философия и того сложнее. Учитель истории может рассматривать ее либо как каталог, реестр, собрание легенд, либо как поступательное движение от низшего к высшему, и в зависимости от того, принимает он эволюцию или отрицает, попадает либо в огонь, либо в полямя. Его ученики, почти помимо его воли, становятся попами или атеистами, толстосумами или социалистами, блюстителями порядка или анархистами. История по сути своей бессвязна и безнравственна, и преподнести ее нужно либо такой, какая есть, либо... фальсифицировать.

Ни то, ни другое Адамса не устраивало. Учить эволюционной теории? Но он ее не исповедовал и не хотел подгонять под нее факты. Рассказывать ленивым олухам занятные побасенки с тем, чтобы потом публиковать их в виде лекций, ему также не улыбалось. Еще меньше он был способен засадить студентов зубрить Англосаксонскую хронику и сочинения Достопочтенного Беда. Он не видел никакой связи между своими студентами и средневековьем, разве только через церковь, но вступать на эту почву было чрезвычайно опасно. Ему не хуже, чем любому искушенному историку, было известно, что человек, разрешивший загадку средних веков и нашедший им место в эволюции от прошлого к настоящему, заслужил бы признание даже большее, чем Ламарк или Линней. Но историческая наука нигде не выглядела такой жалкой, нигде не признавала себя таким полным

банкротом, как в том, что касалось этого периода жизни человечества. После Гиббона картина была почти скандальная. История потеряла всякий стыд. Она на сто лет отстала от экспериментальных наук. Несмотря на все свои потуги, она давала меньше, чем Вальтер Скотт и Александр Дюма.

Это вовсе не бросало тень на сэра Генри Мейна, Тэйлора, Макленнана, Бокля, Огюста Конта и прочих философов, которые время от времени, пытались исправить такое скандальное положение вещей, превращали его в еще более скандальное. Учителю эти авторы, вернее, их теории, несомненно, могли оказаться полезными, но Адамс не умел сочетать их с собственной. От него требовалось немного: уделять хотя бы половину времени вбиванию важнейших дат и событий в головы молодых людей, чтобы университету не стыдиться своих выпускников. Давать им чисто формальные знания. И Адамс откровенно заявлял своим подопечным, что, если они берутся сдать экзамены, пусть черпают факты где и как угодно, а к нему обращаются только с вопросами. Единственное право, которым студенту стоит пользоваться, — право беседовать с преподавателем, меж тем как обязанность преподавателя всячески его в этом поощрять. Однако главная трудность как раз и заключалась в том, чтобы вызвать студента на разговор. Какие только приемы ни приходилось Адамсу изобретать, чтобы выяснить, что думают его ученики, и побудить их рискнуть подвергнуться критике со стороны товарищей. Многочисленность студенческой аудитории подавляет студента. Больше шести человек сразу обучать невозможно. Вся проблема воспитания упирается в наличие средств.

Система чтения лекций многосотенной аудитории, широко применявшаяся в двенадцатом веке, решительно не устраивала Адамса. Философия не входила в его обязанности, нанизывать факты ему было скучно, и он поставил себе задачу дать студентам знания, которые будут им не совсем бесполезны. Опыт подсказывал ему, что в лучшем случае один из десяти учеников обладает умственным развитием

на порядок выше среднего уровня; остальные девять невозможно — к каким бы ухищрениям ни прибегал учитель — подвигнуть к умственной деятельности. Заведомо плохих учеников у Адамса за семь лет преподавания не было: он не мог пожаловаться ни на одного. Тем не менее девять умов из десяти с трудом — словно твердая поверхность — поддавались шлифовке, и только десятый сам сознательно ей содействовал.

Поскольку никого, кажется, не интересовало, что Адамс делает, он решил развивать ум этого десятого, хотя и неизбежно за счет девяти остальных. Он откровенно заявил, что не будет поступать по правилу, согласно которому учитель, не знающий свой предмет, делает вид, будто учит, а будет вместе с учениками искать наилучшие пути познания. Подобный процесс обучения нередко называют ученым термином «исторический метод». От этого термина пахнет немецкой педагогикой, а у молодого преподавателя, не питавшего почтения ни к истории, ни к педагогике и поставившего себе задачу развития ума своих питомцев, и без того хватало забот, чтобы добавлять к ним еще и это немецкое отцовство.

Выполнение подобной задачи было обречено на провал, и по причине, от Адамса не зависящей. Нет ничего легкого, как пользоваться историческим методом, но владение им мало что дает. История — запутанный клубок, и разматывать его можно, вытянув нитку в любом месте, но и где угодно его оборвать; эволюции предшествует сумбур. У закрытого входа в нее издевательски скалит зубы *Pteraspis*. Можно не начинать сначала, можно следовать весьма шатким отвлеченностям. Все можно. Однако Адамс понял, что ему необходимо облечь свой материал в какую-то форму, которая позволит приложить к нему определенный метод. И он сделал содержанием курса исследование законов, целью — подготовку к Юридической школе, а в качестве подопытных для своего эксперимента отобрал с полдюжины молодых людей, обладающих острым умом и желанием усердно трудиться. Курс начали

с начала, то есть с первобытного человека, поскольку с него начинали в исторических книгах и, минуя салических франков, дошли до нормано-англичан. Учебников не существовало, лектор с кафедры ничего не вешал: он знал не больше своих студентов. Студенты читали все, что хотели, а потом сравнивали результаты. Вряд ли можно предложить метод обучения эффективнее. Молодые люди буквально рыли носом землю, и все пространство древнего общества было испещрено проделанными ими ходами. Никакие трудности их не останавливали; незнакомые языки покорялись их напору; в обычном праве они чувствовали себя как дома. Они, несомненно, научились с проворством лесного зверя преследовать мысль в густых зарослях противоречивых фактов, в каких им, надо думать, не раз предстояло плутать в суде, став юристами. Но наставник по опыту знал: его великолепный метод их никуда не приведет и им придется с таким же рвением избавляться от него в Юридической школе, с каким они изучали его на университетской скамье. Историческая наука не имела системы и не могла ее иметь: то, чем она занималась, отжило свой век, превратилось в антиквариат. При всем своем старании Адамс не мог сделать свою науку актуальной.

Какой же смысл развивать активность ума, если ему суждено растрачивать себя впустую? Со временем эти эксперименты, возможно, научили бы Адамса преподавать, но такой результат устраивал его еще меньше. Ему хотелось подготовить студентов к будущей профессии, но сколько приемов он ни изобретал, чтобы стимулировать их умственную деятельность, ни один не принес удовлетворения ни им, ни ему. Сам он понимал: виновата система, внушавшая только инерцию. Даже те крохи знаний, какими он обладал, давали право утверждать, что ему самому даже больше, чем студентам, нужны борьба, состязание, споры. Необходимо знать, на каком месте его имя стоит в таблице успеваемости. Реформу преподавания он начал бы с лекционного зала, с профессорской кафедры, посадив напротив себя другого доцента —

соревнователя, вменив ему в обязанность только одно: высказывать противоположные мнения. И это, как ничто иное, заинтересовало бы и преподавателя, и студентов. Из всех возможных университетских изысков ни одно отступление от принятых правил так не накаляло интеллектуальную атмосферу, как споры или состязание между преподавателями. В этом отношении система обучения в университете тринадцатого века стоила всего преподавания в современном учебном заведении.

В итоге из-за отсутствия должной системы в обучении все его попытки вызвать борьбу мнений среди студентов ни к чему не привели. Ни одна из них не содействовала задачам обучения. Несмотря на реформы, осуществленные ректором Элиотом, и щедрую, широкую поддержку всему новому с его стороны, система оставалась непомерно дорогой, тяжеловесной и бесплодной. При огромных затратах времени и денег результаты, которые давал университет — такой, каким его представлял Генри Адамс, — не стоили того, чтобы их добиваться.

Воспользовавшись опытом двух неудачных лет в Германии, Адамс попытался привить студентам полученные там знания и неожиданно для себя оказался в русле моды. Немцы как раз короновали нового императора в Версале, украшая его чело нимбом Пипина и Мервига, короля Отто и Барбароссы. Некто Джеймс Брайс даже обнаружил во тьме веков Римскую империю. Германия находилась в расцвете своего могущества, а у доцента Гарвардского университета ничего иного в запасе не было. Германию он вбивал студентам в головы железной рукой. Все шло прекрасно, если не считать, что иногда его охватывало сомнение, так ли уж они будут ему за это благодарны. По чести говоря, ни то, чему он их учил, ни то, как он учил, его не удовлетворяло. Семь лет, потраченных на преподавание, казались ему потерянными.

Непостижимы превратности судьбы! Адамс считал свою преподавательскую деятельность неудачной. И без ложной

скромности полагал, что знает, почему это так. Ни одно из множества предпринятых им начинаний не удалось. Он рухнул под тяжестью системы. Ничего не сделал из того, что пытался. Он считал принятую систему неверной, пагубной — даже более для преподавателя, чем для студентов, — ошибочной от начала до конца. И в итоге в 1877 году ушел из университета с ощущением провала и уверенностью, что, если бы не любезное и постоянно доброжелательное отношение к нему со стороны всех, от ректора до пострадавших от него студентов, он крайне болезненно переживал бы свою неудачу.

Так чувствовал Адамс; в университете, однако, его чувств, по-видимому, не разделяли. С поразительной нелюбовностью, которая так удивляла Адамса еще в бытность студентом последнего курса, в университете держались обратного мнения. Джон Фиск зашел даже так далеко, что в статье о семье Адамсов, помещенной в «Эпплтонской энциклопедии», утверждал, будто Генри Адамс оставил по себе в Гарварде непреходящую память — утверждение, свидетельствующее о личном мнении Фиска, за которое Адамс его сердечно поблагодарил, отнеся эти великодушные похвалы на счет *camaraderie*¹. Однако и сам ректор — а это уже совсем иное дело — предлагал Адамсу отметить его заслуги перед университетом. Признательный за редкую благожелательность, породившую этот комплимент, Адамс готов был рыдать на ректорском плече, но предложения не принял: не мог же он допустить, чтобы его коллеги сочли, будто он возомнил себя достойным отличия. Нет и нет! К тому же его неудачи относились к числу заслуживающих уважения, и он мог признаться в них с поднятой головой. Но самым обидным в жизненной сутолоке и суете было для него то, что именно Гарвардский университет, который он без конца критиковал и поносил, бросил и забыл, оказался тем единственным учреждением, которое предложило ему деньги и должность,

¹ Чувство товарищества (*фр.*).

выразив внимание и радушие. При всех своих недостатках Гарвард по крайней мере искупил грехи Америки: он оставался верен себе — оставался тем, чем был.

Единственное звено в процессе воспитания, которое доцент Адамс признавал успешным, были студенты. Их общество доставляло ему удовольствие. Примерно одного духовного склада, без бурных чувств или сантиментов, они, если не считать легкого налета американских привычек, мало что знали из того, о чем веками думало и мечтало человечество, зато их ум, как цветы навстречу солнцу, широко раскрывался на зов мысли. Они откликались мгновенно, легко поддавались лепке и не знали усталости. Их вера в образование была исполнена такого энтузиазма, что просто не хватало духу спросить: каких особенных благ они от него ждут? Когда Адамс все же решился задать этот вопрос одному из своих питомцев, то, к своему удивлению, услышал: «В Чикаго степень, полученная в Гарвардском университете, будет для меня дороже золота». Этот ответ расходился с его собственным опытом: в Бостоне и Вашингтоне ученая степень расценивалась скорее как недостаток. В данном случае ответ прозвучал определенно и разрешал все сомнения. Адамсу нечего было возразить: он потратил на свое образование двадцать лет, но был так же далек от результата, как и они. Ему все еще приходилось принимать как аксиому многие положения, которые вовсе не были для них обязательны, — в частности, что от его преподавания студентам больше пользы, чем вреда. Правда, сам он считал, что принес бы им куда больше пользы, если бы вовсе не раскрывал рта. Да, этим юношам нужна была огромная вера; огромнейшая — если их ждала долгая жизнь.

Терзались ли его коллеги сомнениями касательно приносимой ими пользы, Адамс так и не удосужился выяснить. В отличие от него они более или менее знали свое дело. Он не мог сказать студентам, что история блистает общественными добродетелями; преподавателя химии ни на йоту, ни

на химический атом не заботило, добродетельно общество или нет. Адамс не мог утверждать, что средневековое общество претерпело эволюцию; преподаватель физики чихал на эволюцию. Адамс рьяно подчеркивал добродетели церкви и успехи искусства; для преподавателя политической экономии они были напрасной тратой сил. Коллеги Адамса знали, чему учить студентов; он — нет. Если они и были шарлатанами, то сами того не сознавая; Адамс же это вполне сознавал. Нет, он ничему не мог научить студентов; он только сам учился за их счет.

Образование, как и политика, сложная штука, и наставнику, словно жрецу, приходится кое на что закрывать глаза и уметь придержать язык. Только студенты радовали Адамсу душу. Им казалось, они что-то приобретают. Возможно, так оно и было, ибо даже в Америке и даже в двадцатом веке жизнь не сводилась только к техническому прогрессу. Адамс горячо желал и надеялся, что они останутся им довольны. Ну а если лет через двадцать они все-таки ополчились бы на него так же яростно, как он на своих бывших учителей, — что он мог бы им сказать? Университет признал себя виновным и пытался провести реформы. Адамс с самого начала признал себя виновным, но его реформы потерпели неудачу еще до того, как университет приступил к своим.

Если от лекционного зала было мало проку, то с преподавательской дело обстояло еще хуже. Американское общество, грозившее вот-вот рухнуть под натиском партийно-кланового правления, напрасно искало бы спасения у ученых мужей. Адамс видел в роли спасателей и профессоров, и конгрессменов и предпочитал конгрессменов. Такая же несостоятельность отмечала и университетское общество. Кембридж объединял несколько десятков самых просвещенных, самых обаятельных и, казалось бы, самых общительных в Америке людей, но все вместе они создали ледяную пустыню, где от одиночества взвыл бы даже белый медведь. Джеймс Рассел Лоуэлл, Фрэнсис Дж. Чайлд, Луи Агассис,

его сын Александр, Герни, Джон Фиск, Уильям Джеймс и дюжина других — все люди в высшей степени энергичные и обаятельные, которых в Лондоне или Париже носили бы на руках, старались изо всех сил вырваться из порочного круга и быть как все, но общество называло их профессорами, и профессорами им приходилось быть. Все эти блестящие ученые жаждали товарищеского общения и страдали от его отсутствия. Но в обществе являли собой кафедру только без кафедральных дел. Все элементы, необходимые для образования общества, отсутствовали, но общество, увы, создается не из элементов — людей, умеющих молчать, когда сказать им нечего, — а элементы разбредались по углам, когда от них требовалось что-то сказать.

Таким образом, получилось, что из всех поприщ, на которых Адамс пытался образовать себя, учительское оказалось самым бедным. Но ему пришлось констатировать, что редакторское в известном смысле еще беднее. У редактора доставало времени только на редактирование и не было ни минуты на то, чтобы писать самому. Правда, если на очередной номер не хватало материала, Адамсу ничего не оставалось, как наспех строчить рецензию на книгу о добродетелях англосаксов или пороках римских пап: об Эдуарде Исповеднике или Бонифации VIII он знал больше, чем о президенте Гранте. За семь лет он ничего не написал; «Ревью» существовал за счет железнодорожных очерков его брата Чарлза. Редактор мог помогать другим, но для себя сделать ничего не мог. Уже через год редакторской работы Адамса как писателя полностью забыли, а как редактор он не мог найти автора, который писал бы вместо него о политике и текущих делах. «Ревью» стал преимущественно историческим журналом. Литературный раздел сохранялся благодаря Расселу Лоуэллу и Фрэнку Палгрейву. Редактор таскал на себе весь воз, успех же, когда он его добивался, доставался авторам, зато неуспех грозил разорить его самого. Журнал можно было с подкупающей легкостью превратить в источник боль-

ших доходов. Секрет успеха познавался легко: редактору нужно было раздобывать рекламные объявления. Десять страниц рекламы обеспечивали редактору успех, пять говорили, что он на грани краха. Литературные достоинства и недостатки почти не влияли на дела журнала, если только содержание статей не навлекало на него гонения.

Год-другой в редакторском кресле почти полностью утолили аппетит Адамса к этого рода занятию; вкусив от сего плода, он больше его не касался. У него было только одно желание: усадить в свое кресло кого-нибудь другого, а самому получить возможность писать. Грубо говоря, он вел собачью жизнь, когда что-то не удавалось, и немногим лучше, когда все шло хорошо. У преподавателя была хотя бы радость общения со студентами; редактор жил жизнью совы. Преподаватель в итоге становился либо настоящим педагогом, либо педантом; редактор превращался в эксперта по части рекламных объявлений. В целом Адамс предпочел бы мансарду в Вашингтоне. Он получил свою толику воспитания! Невежество оплачивалось не в пример лучше; по крайней мере пятьдесят долларов в месяц были гарантированы при полном невежестве.

На этом воспитание Генри Адамса при его вступлении в жизнь закончилось, и началась сама жизнь. Ему надлежало как можно лучше с нею справиться, располагая тем случайным воспитанием, какое даровала ему судьба. Сам он считал, что так не должно быть и что, если бы ему пришлось начать сначала, он нашел бы иные, лучшие пути и лучшую систему. Ему казалось, что он почти знает какую. В то время Александр Агассис еще не вынырнул на поверхность, чтобы служить ему образцом, как произошло два или три десятка лет спустя. Все же редактирование «Норт Америкен ревью» имело одно преимущество: Адамс познакомился, правда заочно, почти со всеми теми американцами, кто умел писать, и теми, о ком стоило писать. Ему особенно льстило, что эти умнейшие, высокообразованные люди принимали его

как своего и разговаривали с ним на равных. Но среди них лишь один выделялся как человек исключительный, как тип и образец того, каким Адамс сам хотел бы быть и каким, на его взгляд, следовало быть американцам, но какими они не были.

Благодаря статье о Чарлзе Лайелле геологи видели в Адамсе друга, и его слабые познания в области геологии значили для них куда меньше, чем дружеское расположение: геологи, как и сам Адамс, были люди, не избалованные достатком, и друзей у них было обидно мало. Один из товарищей раннего детства Адамса и ближайший его сосед по Куинси, Фрэнк Эммонс, став геологом, поступил в Государственную геологическую службу 40-й параллели. Еще зимою 1869/70 года столкнувшись с Адамсом в Вашингтоне, Эммонс пригласил его участвовать в любой из летних экспедиций. Взяв на себя «Ревью», Адамс, разумеется, предоставил его страницы к услугам Геологической службы, сожалея, что ничем иным не может быть другу полезен. И вот, когда первый год его преподавания и редактирования наконец миновал и июльский номер «Норт Америкен» увидел свет, Адамс, облегченно вздохнув, сел в поезд, отбывающий на Запад. О проделанной за год работе не ему было судить. Он превратился в пружину большого механизма, и его работа вошла долей в общую сумму; но все кругом относились к нему предупредительно, и даже в Бостоне он чувствовал себя как дома. Сунув в карман июльский номер «Норт Америкен» с очерком профессора Дж. Д. Уитни о деятельности Геологической службы 40-й параллели, Генри отправился в прерии и Скалистые горы.

В 1871 году Запад был еще диким, «Юнион пасифик» существовала без году неделя. По ту сторону Миссури еще чувствовалось присутствие индейцев и бизонов. Попадались последние следы прежнего уклада, которым стоило — ох как стоило — заняться, но Адамс не искал встреч с прошлым — он, если угодно, прибыл исследовать страну будущего. Иногда,

на случай столкновений с враждебными индейцами, экспедиции прибегали к услугам ближайшего гарнизона, но в основном топографы и геологи интересовались минералами, а не остатками племени сиу. Их молоточкам были подвластны тысячи миль скрывающей свои богатства земли со всеми ее нераскрытыми тайнами и неразведанными кладами. Будущее, как им казалось, было у них в руках.

Поисковая партия Эммонса находилась вне пределов досягаемости в горах Юинта, но в Ларамии спустилась за припасами группа Арнолда Хейга, который взял Адамса с собой. Походы и похождения его группы не имеют отношения к рассказу о воспитании, но сами геологи имеют. Группу Хейга составляли бывалые альпинисты и топографы, воспринимавшие трудности кочевой жизни как само собой разумеющиеся и, в отличие от англичан или шотландцев, не докучавшие друг другу набившими оскомину рассказами об охоте на крупного зверя. Иногда действительно они доставляли себе удовольствие ходить на медведя, постоянно, в силу необходимости, стреляли канадского оленя, но единственными дикими тварями, опасными для человека, были в этих местах гремучая змея и скунс. Геологи охотились ради удовольствия, а разговаривать предпочитали о других предметах.

Охотиться на крупного зверя Адамс шел с наслаждением, но терпеть не мог разделять тушу, а потому редко снимал с плеча карабин, который его некоторым образом обязали носить. Он любил разъезжать в одиночку на своем муле, сидеть целый день с удочкой у горного ручья, исследовать какую-нибудь лошину. Однажды утром, когда геологи стояли лагерем на Лонгз-Пик высоко над Эстес-Парк, Адамс, разжившись удочкой, по крутой тропе верхом спустился туда за форелью. День выдался великолепный, в воздухе висело дымное марево: где-то за тысячу миль горели леса; парк — олицетворение идеала английской живописности — простирает свои естественные ландшафты и вековой покой до самого

подножия окружавших его гор; в ручье плескалось достаточно рыбы, чтобы надолго засесть на его берегу. Час за часом солнце двигалось на запад, рыба уплывала на восток или просто исчезла в глубине, и, когда наш рыбак наконец взнуздal своего мула, солнце оказалось куда ближе к горизонту, чем он предполагал. Темнота настигла его прежде, чем он выехал на тропу. Не имея желаний свалиться в расщелину футов пятьдесят глубиной, Адамс предпочел «счесть» себя заблудившимся и повернул назад. Через полчаса горы остались позади и над ним засияла звезда Эстес-Парка, но надежды на кров и стол было мало.

Эстес-Парк — место достаточно большое, чтобы летней ночью в нем могло выспаться целое полчище профессоров и доцентов, но с ужином дело обстояло труднее. Единственный домишко стоял где-то при въезде в долину, и Адамс вовсе не был уверен, что сумеет его разыскать; оставалось положиться на мула, которого он считал умнее себя, да и контуры гор, расплывчато обозначавшиеся на фоне неба, уберегали от ошибки. Терпеливый мул трусил и трусил, не разбирая дороги, по пологому склону, и часа два спустя вдаль показался огонек. Наконец мул остановился у дверей убогой хибарки, откуда высыпало несколько человек — посмотреть, кто прибыл.

Одним из них был Кларенс Кинг, державший путь в свой лагерь. Адамс бросился к нему в объятия. Дружба с Кингом, как большинство душевных привязанностей, никогда не нуждалась ни в развитии, ни в подтверждении. Дружеские узы завязываются в запредельных мирах и формируются, как *Pteraspis* в силуре; они не зависят от случайностей в пространстве и времени. В тот день Кинг в легкой повозке поднялся из Грили по тропе, по которой с трудом проходил интендантский мул, в чем Адамс не замедлил убедиться, проделав в той же повозке обратный путь. В хибарке имелась для гостей одна клетушка и одна кровать. Друзья разделили клетушку и кровать и проболтали до зари.

Все в Кинге интересовало и восхищало Адамса. Он лучше Адамса знал поэзию и искусство; знал Америку, в особенности, как никто, Америку западнее сотого меридиана; знал профессуру во всех ее ипостасях, а конгрессменов и того лучше. Он даже в женщинах знал толк, даже в американках, даже в американках из Нью-Йорка, а это далеко не о каждом можно сказать. Ко всему прочему он даже слишком хорошо разбирался в практической геологии и видел по крайней мере на поколение вперед по сравнению с тем, что значилось в книгах. Другое дело, насколько правильно он видел. Но в мире, как известно, ни один человек от века еще никогда ничего не видел правильно. Кинг видел все, что видят другие, и многое сверх того, и в этом таилось его очарование. Остроумие и чувство юмора, кипучая энергия, вовлекавшая каждого, кто с ним соприкасался, в сферу его интересов; очарование молодости и прекрасных манер; способность давать и брать — будь то мысли или деньги — широко и щедро, как сама природа, — все это выделяло Кинга среди американцев, делая его почти исключением. В нем было что-то от древнего грека — Алкивиада или Александра. На свете существовал только один Кларенс Кинг.

Новый друг — всегда чудо, а в тридцать три года видеть, как эта райская птица вдруг подымается из полыни, — все равно что зреть воочию воплощение божества. Один друг — уже много; два — великое множество; три — почти несбыточная мечта. Для дружбы необходим определенный параллелизм жизненных путей; сродство мыслей; состязательность цели. Кинг, подобно Адамсу, достиг критической точки в своем развитии. И вот они встретились, один, шедший с Запада, весь пронизанный солнцем Кордильер, другой, двигавшийся с Востока, весь пропитанный лондонскими туманами. Но обоим предстояло решать одни и те же задачи — теми же средствами — на том же поле деятельности и, сверх того, преодолевать те же препятствия на своем пути.

Кинг в компании был бесподобен, но не это качество так привлекало в нем Адамса, да и состязаться с ним на этой почве Генри никак не мог. Адамс не умел рассказывать, главным образом из-за того, что забывал, о чем нужно рассказать; и остроумием он также не блистал, разве только случайно. Влияние Кинга и его сотоварищей по «40-й параллели» сказалось на Адамсе с иной, более существенной стороны. Их жизненные пути — его и Кинга, сходились, но Кинг построил свою жизнь логично, на научной основе — так, по мнению Адамса, следовало строить жизнь всей Америке. Кинг обеспечил себе образование в одной области — цельное, но широкое. Теперь, дойдя до середины своего жизненного пути, он мог оглядеть его назад и вперед по прямой, а основой ему служили научные знания. Жизнь Адамса, прошедшая и будущая, слагалась из ряда крупных поворотов или волн, а основы не было никакой. Сверхчеловеческая энергия Кинга уже завоевала ему небывалый успех. Никто из его сверстников не успел совершить так много, причем в одиночку, и не мог рассчитывать оставить по себе такой же глубокий след. Кинг сумел вдохновить конгресс чуть ли не на первый его законодательный акт. Он организовал гражданскую — а не военную — геологическую службу. Он проложил в геологии пути, равные по значению континентальной железной дороге, — подвиг, который пока еще никто не повторил ни в одной другой стране, где, как правило, не приходится разведывать целые континенты. А сейчас он работал над одним из классических трудов века. И имелись все основания полагать, что, когда ему захочется оставить государственную службу, он, воспользовавшись доходами от найденных им золота и серебра, угля и меди, с легкостью составит себе любое состояние. Не было такого приза — в науке и общественной жизни, литературе и политике, — который он при желании не мог бы получить, и он знал это, и знал, как получить их один за другим. При обычном везении он мог прожить лет до восьмидесяти

и умереть богатейшим и всестороннейшим гением своих дней.

При всем том Кинг так мало был заражен эгоизмом, что товарищи не завидовали его исключительному превосходству; они скорее благоговели перед ним, а женщины ревновали к той власти, какую он имел над мужчинами. Но женщин было много, а Кинг — один. Мужчины преклонялись не столько перед ним, сколько перед идеалом американца, каким каждому хотелось быть. Женщины же ревновали еще и потому, что в душе Кинг не слишком-то жаловал американок: ему нравились женщины другого типа — подороднее и покрепче.

Молодые геологи из «40-й параллели» по духу были калифорнийцы — братья Брет-Гарта. Теории Лайелла и Дарвина не встречали у них сочувствия: они не видели доказательств, подтверждающих медленные и незаметные изменения в природе; для них законом изменения была катастрофа; их занимало не простое, а сложное, но сложное в природе, а не в Нью-Йорке, и даже не в долине Миссисипи. Кинг обожал парадоксы и сыпал ими как из рога изобилия, не придавая им значения и тут же забывая. Но Адамсу они чрезвычайно нравились: ко всему прочему, парадоксы Кинга помогали ему утверждаться в мысли, что история увлекательнее любой естественной науки. Правда, открытым оставался вопрос, которая из наук лучше оплачивается.

В лагере Эммонса, разбитого высоко в горах Юинты, споры на эту и другие темы продолжались до крутых морозов. История и наука, открывая каждому из них свои горизонты, вели к теперь уже не столь дальним целям. Годы воспитания для обоих закончились. Им предстояло, такими, какие есть, испытать свои возможности в окружающем их мире. И, возвращаясь в Кембридж, чтобы вновь приняться за обязанности учителя и редактора, Адамс знал — он впрягается в свой воз. Воспитание, систематическое ли, случайное, сделало свое черное дело. Впредь он будет покорно тащить этот воз.

21. СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ (1892)

Эта книга — позволю себе повторить — не о приключениях, а о воспитании! Ее назначение в том, чтобы помочь молодым людям — точнее, тем из них, кто, обладая достаточным интеллектом, ищет помощи, — но не в том, чтобы их развлекать. Как кто употребил, и употребил ли полученное им воспитание, — вопрос, которого не стоит касаться исследователю: это личное дело каждого, и судить его — бестактно. Возможно, Генри Адамса вовсе и не стоило воспитывать — ведь, по мнению проницательных судей, лишь одна голова из ста способна с большим или меньшим результатом реагировать на окружающий мир, да и то половина из этих избранных реагирует на него неправильно. Воспитание преследует цель научить реагировать живо и экономно. Человечество в целом всегда неизбежно будет намного отставать от такого активного интеллекта, поживая, как, например, в случае Генри Адамса, на мягких подушках инерции. Воспитание же ставит себе целью по возможности убирать основные препятствия на пути человека, уменьшать трение, заряжать его энергией и учить его ум реагировать не случайно, а выборочно, именно на те явления, которые более всего его привлекают. Знания, которые приобретаются человеком в юности, немногого стоят; знает тот, кто знает, как узнавать. На протяжении всей человеческой истории шла безмерная растрата ума, а общество — как должна показать эта книга — всеми силами лишь способствовало этой растрате. Главная вина за это, без сомнения, лежит на учителе, но за ним, увы, стоит весь мир, сбивая учащегося с правильного пути. Только самые энергичные, самые способные, самые удачливые преодолевают сопротивление и силу инерции, тратя на это три четверти своей энергии и сил.

Был ли Адамс человеком способным к наукам или нет, но в 1871 году он поставил точку на своем воспитании и, подобно ближним своим, принялся применять его в практических целях. Потратив на учение двадцать лет, он счел свое воспитание законченным и подвел итог. Если говорить о людях, его окружавших, он ни на кого не мог бы пожаловаться. Все — мужчины и женщины — были к нему расположены; он ни разу не столкнулся с недоброжелательностью, неприязнью или даже невоспитанностью и никогда не знал тяжести дразг и ссор. Ему не довелось испытать ни подлости, ни неблагодарности. В молодежи он встретил желание следовать его советам, что в его глазах было даже много больше того, что он мог ожидать. И, зная, как охотно люди жалуются на мир, так и не мог понять, почему ему самому не на что жаловаться.

За прошедшие двадцать лет он, исполняя желание ближних, написал много книг — больше, чем они, надо думать, когда-либо удосужатся прочесть, и больше, чем от него требовалось. Только напечатанного им было столько, что казалось даже забавным, какая уйма томов с его именем заполняет полки публичных библиотек. Правда, он так и не узнал, в какой мере его труды служили полезной цели, — ведь он работал вслепую. Но точно так же трудилось и большинство его сотоварищей, включая и художников, из которых ни один не считал, что ему удалось поднять нравственный уровень общества, и ни один не испытывал почтения к методам и нравам своего времени, ни у себя на родине, ни за ее пределами, хотя все они так или иначе пытались исправить нравы. Старшее поколение — как это видно на примере Хантов — изнурило себя этими усилиями, поколение же, вступившее в жизнь после 70-х годов, сыграло более важную роль — не в отношении увеличения материальных богатств или численности населения, а в утверждении своей личной человеческой ценности. Значительное число тех, кто родился в 30-е годы, прославили свои имена — Филлипс Брукс,

Брет-Гарт, Генри Джеймс, Г. Г. Ричардсон, Джон Ла Фарж, и список этот, при желании, можно сделать гораздо длиннее. А из их школы вышли другие, родившиеся в сороковых, — Огюст Сент-Годенс, Макким, Стэнфорд Уайт и десятки других, кого считали значительной силой даже в пору полной интеллектуальной инерции шестидесяти, если не восьмидесяти миллионов американцев. Среди всех этих замечательных и незамечательных людей Кларенс Кинг, Джон Хей и Генри Адамс вели свою скромную жизнь, пытаясь заполнить собой одну из лакун в социальном классе, который все еще отличался малочисленностью и недостаточной сплоченностью своих рядов. Их триумвират не сулил чересчур блестящих побед, но они держались вместе целых двадцать лет, своего союз вел к славе или власти, пока Генри Адамс не счел, наконец, свои обязанности перед обществом выполненными и счеты с ним поконченными. Он вполне наслаждался своим образом жизни и не променял бы его ни на какой другой, но по причинам, не имевшим отношения к воспитанию, почувствовал, что устал. Его нервная энергия почти иссякла, и, словно лошадь, надорвавшаяся в беге, он сошел с беговой дорожки, покинул стойло и потянулся на пастбище, по возможности дальше от знакомых мест. Воспитание завершилось для него в 1871 году, жизнь пришла к концу в 1890-м, дальнейшее уже мало что значило.

После многих бесплодных попыток где-нибудь отдохнуть он, как уже не раз случалось, оказался в Лондоне, и перед ним со всей неизбежностью встал вопрос о необходимости возвратиться домой. Это было в январе 1892 года; он лежал один в больничной палате, затянутой сероватой зимней дымкой. Близился день его рождения; ему исполнилось пятьдесят четыре года, а на Пэлла-Мэлла его уже успели забыть, как забыли поколение его отца. Он не бывал в Лондоне добрых двадцать лет, и мысль, что мир для него теперь ограничивался постелью, а вид на него — полоской знакомого черного тумана в окне, даже как-то забавляла.

От горящих в камине углей веяло домашним теплом, а туман нес с собой вкусный запах юности. Так или иначе, он не был выброшен на пустынную Вигмор-стрит; он мог сколько угодно развлекать себя воспоминаниями о собственной юности и вновь дефилировать по Оксфорд-стрит далекого 1858 года, когда жизнь была еще впереди и представлялась куда завлекательнее, чем обернулась потом.

Будущее меньше его занимало. За неделю, проведенную в постели, он не раз задумывался над тем, чем заняться впредь. Он только что вернулся из южного полушария, где плавал вместе с Джоном Ла Фаржем, который по окончании их путешествия с большой неохотой потащился в Нью-Йорк, чтобы вновь, засев в своей студии, вернуться к повседневным трудам, хотя жизнь уже шла на убыль. Адамс с радостью, для разнообразия, отправился бы на Восток, чтобы, убаюканный пассатами, заснуть там навсегда под южными звездами, блуждающими над мрачным лиловым океаном, с мрачным чувством пустоты и одиночества. Не то чтобы он гонялся за острыми ощущениями, но это было самое неземное из всех доступных ему чувств. Он еще не видел киплингowskiй «Мандалей», но, как и миллионы скитальцев, которые, пожалуй, одни только и чувствуют мир таким, каков он действительно есть, знал поэзию южных стран еще прежде, чем успел прочесть это стихотворение. Меньше всего Адамса привлекала мысль начать свое воспитание сначала. Полученное им было достаточно скверным, а новое только умножило бы его недостатки. Жизнь распалась надвое, и прожитая половина со всем, что в ней было, включая и воспитание, уже иссякла, не оставив ствола, чтобы привить к нему свежий росток.

Новый мир, каким он предстал перед Адамсом в Париже и Лондоне, показался ему химерическим. Он был готов признать его реальным — в том смысле, что тот существует вне его сознания, — но признать разумным не мог. В Париже при виде унылых балетов в Гранд-Опера и неистребимых

водевилей в старом Пале-Рояль у него просто скребло на сердце. Но кроме них, ничто уже не напоминало *его* Париж. Париж Второй империи исчез с лица земли, как и Париж Наполеона I. В картинных галереях и на выставках Адамса раздражали потуги художников казаться оригинальными, и, когда однажды Джон Ла Фарж, после долгих раздумий, спросил, неужели из живописи навсегда исчезла простота, Адамс только покачал головой. В его глазах мир утратил простоту и потому разучился выражать себя просто: этот мир выражал себя таким, каким был, и ни Адамс, ни Ла Фарж его не понимали.

Как только на него дохнуло жаром плавильной печи, огни на его алтаре, по-видимому, погасли. Генри Адамс не чувствовал ничего общего с этим миром, с тем, каким он обещал быть. Он был готов его оставить, и легчайший путь вел на Восток, но туда он не осмеливался поехать один, а добрый спутник — редчайший на свете зверь. Надо было вернуться в Америку и найти себе спутника. А пока в ожидании Адамс рассчитывал написать еще кое-что из истории и на случай такой последней, быть может, возможности распорядился, скорее по привычке, скопировать все, что успел набрать по архивам. И вот он двинулся домой — так, должно быть, лошадь возвращается в свое стойло, не зная иного места, куда ей брести.

Домой — означало в Вашингтон. Как только, в 1877 году, администрация Гранта ушла в отставку и Эвартс занял пост государственного секретаря, Адамс вернулся в Вашингтон — частично для того, чтобы вновь приняться за свои исторические сочинения, но главным образом потому, что семь лет наполненного трудами изгнания в Бостоне убедили его: если у него есть назначение в жизни, то лишь одно — быть добрым другом и товарищем государственным деятелям, хотя бы они того или нет. Примерно одновременно с ним вернулся в Вашингтон и Джордж Банкрофт, да и Джон Хей решил, ради мистера Эвартса, принять должность помощника государст-

венного секретаря и остаться в столице с целью написать «Жизнеописание Авраама Линкольна». В 1884 году Адамс вместе с Джоном Хеем поручили Ричардсону построить им два особняка рядом на Лафайет-сквер. Особняк на Лафайет-сквер должен был стать Адамсу домом. Туда он предполагал вернуться, ибо ничего другого у него не было — никакого статуса, никакого положения в мире.

Итак, в родное стойло! Ни одно решение не принимал он с такой неохотой. Родители его умерли. Братья и сестры жили каждый собственной жизнью. Кроме двух-трех знакомых, которые даже не были уверены, останутся ли они в Вашингтоне, его приезд там никого не волновал, и меньше всех его самого. Да и о чем было волноваться! Все заняты делами, все, по-видимому, вполне довольны. С 1871 года ничто не колыхало поверхности американской жизни, и даже в Европе начавшийся был процесс деевропеизации утратил исходное неистовство.

Проскучав январь в Париже и исчерпав все возможные предлоги затянуть отъезд, Адамс наконец переправился через Ла-Манш и еще неделю, пока на Западе, словно предостерегая его от поездки домой, бушевали штормы, провел со старым другом, Милнсом Гаскеллом, в Торне. Йоркшир в январе совсем не то, что остров в южных морях. У него мало общего с Таити, едва ли много с Фиджи или Самоа, но, как уже бывало не раз, этот суровый край подарил Адамсу передышку на пути от прошлого к будущему, и за это он был ему благодарен.

Наконец 3 февраля он отплыл на «Тевтонике» вниз по Ирландскому морю. Двенадцать лет Адамс не пересекал Атлантику и еще не видел океанского судна нового типа. Ни во Франции, ни в Англии никаких особых новшеств или разительных перемен он не наблюдал. Поезда стали ходить быстрее, но по части комфорта в них ничего не изменилось. Уровень остался прежним. Переправа через Ла-Манш с 1858 года если в чем-то и улучшилась, то не настолько, чтобы

это обратило на себя внимание. Европа, по всей видимости, двадцать лет топталась на месте. И в глазах человека, который, как и Европа, топтался на месте, «Тевтоник» выглядел чудом. Не чудо ли, что неделю бешеных штормов он мог как ни в чем не бывало обедать. И то, что в каюте был свежий воздух и при желании можно было, пользуясь электрическим светом, читать хоть всю ночь напролет, вызывало удивление, какого он еще не испытывал в мире, существовавшем по старым канонам. «Ниагара» была по отношению к «Тевтонику» — как 1860 год к 1890-му — тем же, чем «Тевтоник» и 1890 год, вероятно, будут по отношению к следующему периоду. Ну, а дальше? Очевидно, вопрос этот касался только Америки. Западная Европа не задавала подобных загадок. Там, правда, тоже все увеличивалось в масштабах, но в Европе поспешали постепенно, не выходя за известные рамки.

Судьба улыбнулась пассажиру «Тевтоника». Не кто иной, как Редьярд Киплинг, который благодаря посредничеству Генри Джеймса совершал свадебное путешествие в Америку, обрушил на него неиссякаемый поток веселья и остроумия — и засохшую, увядшую бегонию словно обдали из садового шланга благодатной струей. Киплингу и в голову не могло прийти, сколько душевного спокойствия он ему подарил, ибо сам он вряд ли в такой степени нуждался в этом спокойствии. И все же, бесконечно наслаждаясь его неисчислимыми шутками и выдумками, Адамс вновь и вновь возвращался к старой загадке. В чем-то где-то Киплинг и он, американец, не сочетались, и соединить их было нельзя. Адамс чувствовал, что изъян — коль скоро это был изъян — в нем. Такое же чувство охватывало его в присутствии Суинберна, а позже Роберта Льюиса Стивенсона, даже под пальмами Вайлимы, но он не считал, что дело в нем самом — до такого уничижения он не доходил. Каков бы ни был этот изъян, им страдали все американцы, он был для них типичен, был у них в крови. Какое бы свойство в Кип-

линге и других ни вынуждало его сохранять дистанцию, оно отличало англичан и тоже было у них в крови; ведь в обществе кельтов оно ему не мешало, и на острове Фиджи среди каннибалов не томило ни их, ни его. Кларенс Кинг любил шутить, что всему виною различие в длине волн, испускаемых атомами человека, — правда, при этой теории возникали трудности с измерениями. Пожалуй, истина крылась в ином: гений всегда парит. Но и эта теория также имела свои темные закоулки. Всю жизнь Адамс видел, как Америка стояла на коленях перед литературной Европой; и на протяжении многих предшествующих поколений — чуть ли не две сотни лет — европейцы смотрели на американцев сверху вниз и разговаривали с ними покровительственно. Это было в порядке вещей. Нет, Киплинг не смотрел сверху вниз и не разговаривал покровительственно; он веселился от души и был само добродушие, но, вероятно, первым понял бы, о чем идет речь. Гений вынужден, даже сам того не желая, относиться к себе с почтением.

В середине февраля 1892 года Адамс оказался в Вашингтоне. Ни в Париже, ни в Лондоне ему не встретилось ничего, что побуждало бы вернуться к жизни, да и в Вашингтоне ему по множеству причин захотелось остаться мертвецом. Город сильно изменился, во многом улучшился; с годами — за много лет — он сумел превратиться в удобное, по современным меркам, место обитания; но все, кого знал Адамс, либо умерли, либо разъехались кто куда, и он чувствовал себя здесь таким же чужим, как в Бостоне или в Лондоне. Понемногу какое-то общество образовалось вокруг правительства; появились открытые дома; давалось много званных обедов, без конца отдавали друг другу визиты, оставляли визитные карточки, но одинокий мужчина ценился меньше, чем в 1868 году. Очевидно, обществу приходилось немногим лучше, чем Генри Адамсу. Белый дом и конгресс держались весьма отчужденно. Те, кто составлял общество, не имели доступа к тем, кто был в правительстве. Члены правительства

не видели необходимости прислушиваться к кому-либо из принадлежащих к обществу. Общество перестало интересоваться политикой, а политики — опираться на общество. Ветераны Гражданской войны — Джордж Банкрофт, Джон Хей, например, — старались удержаться на плаву, но без большого успеха. Им не мешали говорить и делать все, что они хотели, только тому, что они говорили или делали, не придавалось никакого значения.

В ноябре должны были состояться президентские выборы, но их результат мало кого интересовал. Оба кандидата отличались большими странностями, и о них ходила шутка, что у одного нет друзей, а у другого есть только враги. Калвин Брайс, острейший и умнейший среди тогдашних членов сената, имел обыкновение пространно живописать мистера Кливленда в самых радужных выражениях, провозглашая его самой возвышенной натурой, самым благородным характером от античности до наших дней, но в заключение неизменно добавлял: «Что до меня, я предпочту наблюдать за его деятельностью с безопасной вершины какой-нибудь соседней горы». То же можно было сказать и о мистере Гаррисоне. В этом отношении они оба были величайшими президентами, ибо вред, который они причинили своим врагам, не шел ни в какое сравнение со смертоносными ранами, нанесенными ими своим друзьям. От обоих бежали, словно от дурного глаза. С точки зрения американского народа, оба кандидата, вместе с их партиями, друг друга стоили и ни тот, ни другой не перевешивал на чаше весов. Мистер Гаррисон был превосходным президентом, человеком недюжинных способностей и силы — возможно, лучшим президентом из всех, кого республиканская партия выдвигала на этот пост после смерти Линкольна. Но Адамсу все же в целом был на волос милее президент Кливленд, не в силу личных качеств, а потому, что, в глазах Адамса, демократы представляли последние остатки восемнадцатого века, являясь чем-то вроде ветеранов «Корнуоллисов» из

«Записок Биглоу» и единственным оплотом против Олимпа банкиров, которые в течение двадцати пяти лет приобретали все больше и больше власти в эзоповом царстве лягушек. В нем не к чему было и квакать, разве только подавая голос за короля Бревно или — за отсутствием аистов — Гровера Кливленда, да и то без уверенности, что откуда-нибудь не вылезет король Банкир. Политическое воспитание стоило непомерно больших денег, и это обернулось равнодушием к политике. Правда, не все его разделяли. Кларенс Кинг и Джон Хей оставались верны идеалам республиканской партии и даже на минуту не позволяли себе подумать, что можно обнаружить какие-то достоинства и в других взглядах. Что касается Кинга, то его приверженность республиканцам объяснялась любовью к первобытным расам, сочувствием неграм и индейцам и соответственно неприязнью к их врагам; у Хей верность партии стала частью его существования, чем-то вроде верности своей церкви высокообразованного священника. Он видел все недостатки республиканской партии и еще лучше — недостатки ее сторонников, но не мог без нее жить. Для Адамса что демократы с Запада или республиканцы с Запада, что демократы из промышленных городов или республиканцы из тех же городов, что У. К. Уитни или Дж. Г. Блейн — все были на одно лицо, и он оценивал их только по тому, в какой мере они могут быть полезны целям Кинга, Хей и его самого. Они делились на друзей и врагов, а не на республиканцев или демократов. Хей различал в них еще людей достойных и недостойных.

С 1879 года Кинг, Хей и Адамс были неразлучны. Постепенно их отношения становились все теплее и теснее, побуждая скорее избегать, чем домогаться общественного положения, и к 1892 году ни один из них уже не занимал никаких государственных должностей. Во время президентства Хейса друзья Кинга, в том числе Абрам Хьюит и Карл Шурц, ценой больших усилий добились указа об объединении всех геологических разведок в единое управ-

ление и поставили во главе него Кинга, но Кинг, дождавшись, чтобы работа была налажена, ушел с этого места и занялся собственными делами на Западе. Хей, исполнявший обязанности помощника государственного секретаря то время, пока на этом посту при президенте Хейсе находился Эвартс, также настоял на отставке с целью засесть вместе с Николоем за «Жизнеописание Авраама Линкольна». Адамс не занимал никакой должности, а когда его спрашивали, почему он не служит, не входя в долгие объяснения, предпочитал отговариваться тем, что ни один президент его служить не приглашал. Ответ этот звучал благовидно, к тому же почти соответствовал истине, хотя оставлял место для сомнения касательно способностей и нравственности самого Адамса. Почему все-таки ни один президент не взял его к себе на службу? Вопрос, требовавший целого тома сложных объяснений. Адамс не мог назвать в своей жизни дня, когда бы отказался выполнить обязанности, возлагаемые на него правительством, — только американское правительство, насколько Адамсу было известно, никогда никаких обязанностей на него не возлагало. Впрочем, так вопрос и не ставился ни в отношении Адамса, ни в отношении кого-либо другого. Правительство предлагало кандидатам на должности самим их домогаться, а функции Белого дома сводились к тому, чтобы принять услуги или отказаться от них. Такая пассивная тактика приводила к некоторым осложнениям в светских отношениях. Любой общественный деятель, который, скажем, несколько лет проживал в доме приятеля, как в своем, получив влиятельную должность, непременно чувствовал себя обязанным задать радушному хозяину, прямо или косвенно, вопрос, не может ли быть тому в чем-нибудь полезен, что было равнозначно вежливому сообщению о разрыве, поскольку, облеченный властью, он уже не считал для себя удобным сохранять прежние отношения. Лучшую формулу из всех возможных изобрел Ламар, произнесший в высшей степени учтливую, на южный манер, фразу:

«Разумеется, мистер Адамс знает: все, что в моей власти, к его услугам!» A la disposicion de Usted! ¹ Форма, очевидно, была правильная, поскольку облегчала положение обеих сторон: мистер Адамс и впрямь все знал; поклон и светская улыбка покончили с этим делом; оба чувствовали себя польщенными.

Человек, оказавшийся у власти, близким приятелем быть уже не мог. Обязанности и дела поглощали его целиком, сказываясь на душевном равновесии. Если друг не служил его политическим целям, дружба становилась ему в тягость. Тот, кто не писал в газетах, не выступал с предвыборными речами, не рвался давать деньги на предвыборные кампании и как можно реже появлялся в Белом доме, ставил себя вне круга полезных людей и делал это с полным сознанием того, что делает. Он не мог рассчитывать, что президент пожелает воспользоваться его услугами, и не видел причины, почему тому следовало бы их желать. Что касается Генри Адамса, то, прожив в Вашингтоне без малого пятьдесят лет, он первый был бы несказанно удивлен, если бы хозяин Белого дома попросил его даже о такой малости, как пересечь Лафайет-сквер. Только конгрессмены из Техаса, воображая, что президент нуждается в их услугах в одном из отдаленных консульств, месяцами надоедали ему просьбами найти им соответствующее местечко.

В Вашингтоне, где это правило или обычай принимался как должное, репутация человека нисколько не страдала, если он не занимал официальной должности. Никто не шел на государственную службу, если ему не хотелось, но, с другой стороны, от того, кто стоял в стороне, не требовалось ни участия в партийных делах, ни денежных взносов. Не видя должности по душе, Адамс всерьез считал, что лучше выполнит свой гражданский долг, не занимая никакой должности. Он по крайней мере мог выступать в роли публики, а

¹ В вашем распоряжении! (исп.).

в те дни в Вашингтоне публика набиралась с трудом даже для небольшого театрика. Адамса вполне удовлетворяло быть зрителем, и порою ему казалось, что актеров можно покритиковать, но, находя свое положение нормальным, он так и не мог взять в толк, какое место в Вашингтоне занимает Джон Хей. Лидеры республиканской партии обращались с Хеем как с человеком равного с ними ранга и пользовались его услугами и деньгами с такой свободой, что даже выдавшего вида наблюдателя брала оторопь, но соответствующей должности для него у них не находилось. А между тем Хей был единственным в Вашингтоне знатоком в вопросах дипломатии. По возможности быть полезным он соответствовал лорду Гранвиллу, который в Лондоне добрых сорок лет служил спасительным клапаном поочередно в каждом либеральном правительстве. Если бы полезность для общественного блага ставилась во главу угла, Хей выполнял бы поручения первостепенной важности при Хейсе, входил бы в кабинет при Гарфилде и снова оказался бы в нем при Гаррисоне. Эти джентльмены без конца выезжали на нем, без конца прибегали к его услугам и без конца тянули из него деньги.

Ни политика, ни политики не вызывали у Адамса восторга, в чем он откровенно признавался, хотя, даже в припадке крайнего раздражения, не применял к ним таких выражений, какими сами политики широко награждали друг друга. Адамс объяснял это так же, как некогда истолковывал характер Гранта: это явление более или менее типическое. Единственное, что не укладывалось в его ум, — терпимость и добродушие, с которыми Джон Хей позволял себя использовать. И не только в политике. Казалось, Хей нравился, когда на нем ездят, и в этой черте заключалось главное его очарование, но в политике подобное добродушие требует сверхчеловеческой терпимости. Какие бы невероятные оплошности по части светских условностей ни совершались политиками, Хей только от души хохотал и с неизменным удо-

вольствием рассказывал об этом очередной анекдот, выставляя в забавном виде самого себя. Подобно большинству американцев, ему нравилось играть в игру «я делаю президентов», но в отличие от большинства американцев он смеялся не только над президентами, которых помогал «делать», но и над самим собой за то, что над ними смеялся.

Только богач, да еще родом из Огайо или Нью-Йорка, может позволить себе потакать столь разорительным наклонностям. Другие деятели, с обоих политических флангов, занимались тем же, и занимались с успехом, и не столько ради эгоистических целей, сколько из удовольствия вести игру; но только Хей жил в Вашингтоне, находясь в центре идущих из Огайо влияний, которым тридцать лет подчинялась политика республиканской партии. В целом эти влияния носили пристойный характер, и, если Адамс не интересовал чикагских политиков ни с какой, даже с финансовой, стороны, Хей мог — что он и показал — играть в их делах значительную роль, когда им хватало ума воздать ему должное. Американские политики сплошь и рядом давали повод для смеха; Хей смеялся, а вместе с ним, не имея лучшего повода, смеялся и Адамс; но, возможно, не что иное, как раздражение, охватившее Адамса при виде того, как президент Гаррисон разыгрывает свои карты, побудило его приветствовать возвращение в Белый дом Кливленда.

Во всяком случае, что касается мистера Гаррисона, то, голосуя за него или против в 1892 году, Хей, Кинг и Адамс ничего не приобретали; что касается мистера Кливленда, к ним его избрание, очевидно, имело еще меньше касательства. Так же, по всей видимости, смотрела на предстоящие выборы и вся страна. Сплошное болото! Даже Хей впал в такую же апатию и равнодушие, как Адамс. К этому времени оба остались без занятий. Свою литературную деятельность как тот, так и другой завершили. «Жизнеописание Авраама Линкольна» было начато, закончено и опубликовано одновременно с «Историей Джефферсона и Медисона» —

друзья вдвоем написали почти всю историю США, стоившую того, чтобы о ней писать. А оставшийся вне их поля зрения межумочный период требовал и межумочной трактовки. Хей и Адамс вряд ли сумели бы заполнить пробел от Джеймса Медисона до Авраама Линкольна. Оба автора смертельно устали от Америки, и сама Америка, по видимому, устала не меньше, чем они. Но что еще хуже, неумная энергия американцев, находившая спасительное занятие для их свободных от мыслей умов, как и процесс созидания новой общественной силы и применение ее растущей власти по всем признакам выдохлись. Уже годом ранее, в 1891-м, в далеком Тихом океане стал ощущаться своего рода застой — прогрессирующий паралич — ропот среди владельцев судовых компаний и производителей, — распространившийся на все южное полушарие. Проблемы, связанные с обменом валюты и свободной чеканкой серебряных денег, принимали угрожающие размеры. Кредиты были подорваны, а приход к власти другой партии грозил подорвать их в самом Вашингтоне. Адамса это не касалось: он и так не пользовался кредитом; он был богачом, когда богатые становились бедняками; тем не менее устойчивый кредит помогал сдерживать колебания в обществе.

Сколько все трое — Кинг, Хей и Адамс — ни старались разобраться в балансе доходов и расходов за минувшие двадцать лет, итог на год 1892-й оставался крайне неясным. Из их жизни ушло двадцать лет, и что же они приобрели? Друзья не раз возвращались к этому вопросу. И стоило Хею, обладавшему редкостной памятью на лица, увидеть из окна, как какой-нибудь бывший полковой командир или адмирал времен Гражданской войны тащится через Лафайетсквер в свой клуб, чтобы сыграть партию в вист или выпить любимого коктейля, как он немедленно обрывал нить беседы.

— Вон ползет старина Имярек — тот, что прорвал фронт мятежников у города Такого-то! Подумать только, какой грозой он был в войну!

Или, что даже больше действовало на Адамса:

— Вон трюхает Бутвелл — ишь припрыгивает старый проказник, совсем как расшалившийся мальчишка!

Да, это были они! Люди, определившие путь Америки, и вместе с ним путь Хея, Кинга и Адамса, и теперь котиrowавшиеся меньше, чем шедший за их спиной дутый конгрессмен, который вряд ли мог отличить генерала от Бутвелла, а Бутвелла от генерала. Они удостоились высшего из всех возможных успехов! Но невольно вставал вопрос: во что они ценили свой успех? Не говоря о личном тщеславии, за сколько они бы его продали? Отказался бы хоть один из них, начиная с президента и ниже, от десяти тысяч в год взамен того признания, которым мир награждал его за успех?

Признание все же ценилось. И когда на Адамса напала хандра, ему нравилось поучать Огюста Сент-Годенса, насколько оно выгодно.

— Честно говоря, вы должны согласиться, что, даже если ваша работа не окупается, вы все равно выгадываете, делая ее на совесть. Очень вероятно, что кое-кто из действительно преуспевающих американцев пожелает видеть вас у себя за обедом, если вы не станете являться слишком часто. А вот приглашать ли Хея, они дважды подумают, тогда как обо мне и речи быть не может.

Забывтые государственные деятели вовсе не котировались, отставные генералы и адмиралы ценились невысоко, историки — очень низко, лучше всего было художникам, и, разумеется, вне всяких сравнений шло богатство, ибо оно выступало в роли судьи, и судья этот, конечно, соглашался с тем, что признание, отмечая человека положительно, придает ему некоторую ценность, но вряд ли равнозначную доходу в десять — даже пять — тысяч в год.

Хей и Адамс пользовались преимуществом наблюдать через окно парад великих старцев на Лафайет-сквер, сознавая, что у них самих есть все, чем владеют другие;

все, чем способен наделить мир; все, чего им в жизни хотелось, включая и то, что их имена значатся на десятке-другом титульных листов и в нескольких биографических справочниках. Но все это не означало признания, и, так же как Бутвелл или Сент-Годенс, они не знали, называть ли это успехом. Хей потратил десять лет на написание книги о жизни Линкольна, и президенту Линкольну его труд, скорее всего, пошел на пользу, но что получил от него Хей, оставалось неясным — разве только привилегию наблюдать, как популярные борзописцы воруют из его книги и, прикрывая разбой, ругают автора на всех углах. Адамс отдал десять — если не все двенадцать — лет Джефферсону и Медисону, войдя в такие расходы, которые в любом торговом заведении исчислялись бы круглой цифрой в сто тысяч долларов, и это при жалованье пять тысяч в год; а когда он спросил себя, какое же возмещение получил за издержки, стоившие содержания целой конюшни скаковых лошадей, то оказалось, что ровным счетом никакого. Исторические труды никогда не окупаются. Даже Фрэнк Паркмен не печатал первого издания своих относительно дешевых и популярных книг в количестве, превышающем семьсот экземпляров, и изменил этому правилу только в конце жизни. Тысяча экземпляров при цене двадцать долларов и выше — предел, на который мог рассчитывать автор; две тысячи — фантастическая цифра, если только издание не обеспечивалось подпиской. У Адамса, насколько ему было известно, нашлось три серьезных читателя — Абрам Хьюит, Уэйн Макуэй и сам Хей. В высшей степени удовлетворенный их вниманием, он мог обойтись без признания остальных пятидесяти девяти миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи американцев. Но во всем другом ни он, ни Хей ничего не достигли, и главным основанием требовать себе признания оставалось закрепленное за ними право глядеть из окна на великих мира сего, живых и мертвых, обре-

тавшихся на Лафайет-сквер, — привилегия, не имевшая никакого отношения к их сочинениям.

Мир искони отличался добродушием и приветливостью — любил, чтобы его потешали, открывал объятия каждому, кто его потешал, терпел любого, кто не становился на его пути и не стоил денег; но это не давало признания, тем паче власти в конкретных формах ее проявления, а скорее относилось к успеху, выпадавшему на долю комического актера. Разумеется, редкий голос — сопрано или тенор — награждался, даже в Америке, бесконечно более долгими аплодисментами, поскольку давал бесконечно большее наслаждение. Но каждый выбирает себе занятие согласно средствам, отпущенным ему природой, и, подводя итог, рассчитывает лишь получить разумную прибыль с капитала. Хей и Адамс никогда не шли на риск и не играли по высоким ставкам. Кинг избрал путь, на котором было где разгуляться его честолюбию. Он ставил на миллионы. И не раз уже вплотную приближался к грандиозному успеху, но конечный результат все еще оставался под сомнением, а пока лучшие годы своей жизни он проводил под землей. Для дружбы его почти не существовало.

Итак, в 1892 году ни Хей, ни Кинг, ни Адамс не могли сказать, добились ли они успеха, ни как его оценивать, ни что считать успехом; да и американский народ, по всей видимости, имел об этом не менее смутное представление. Вернее, не имел никакого, блуждая по пескам, более зыбким, чем в пустыне под Синаем сыны Израилевы, с той разницей, что у них не было для поклонения ни змея, ни золотого тельца. Американцы уже ничему не поклонялись, ибо представление, будто они поклоняются деньгам, по всей видимости, иллюзорное. Поклонение деньгам — черта, свойственная Старому Свету; здоровый аппетит сродни поклонению богам или поклонению силе в любой конкретной форме. Американцы сорили деньгами с невиданной прежде беспечностью, с меньшим смыслом,

чем расточительная придворная аристократия; не имея понятия об относительной ценности вещей, они, получив деньги, не знали, что с ними делать, кроме как употребить на то, чтобы «делать» их еще или транжирить. Человеческое общество, пожалуй, за всю свою историю не видывало такого диковинного зрелища, как особняки миллионеров на Ноб-хилл в Сан-Франциско. Если не считать железных дорог, несметные богатства, полученные из недр, начиная с 1840 года пошли прахом. Весь край к западу от Аллеганских гор мог быть либо опустошен, либо возрожден за год-другой даже в лучшем виде. Деньги как таковые имели для американца меньшую цену, чем для жителей Европы или Азии; он несравненно легче переносил их потерю, но, нацеленный на погоню за деньгами, уже не мог свернуть на иной путь. Приверженность идеалам вызывала в нем опасения, недоверие, неприязнь, и, как ни один житель планеты за всю историю мира, он был полным невеждой во всем, что касалось прошлого.

В силу некоторых обстоятельств Адамс близко столкнулся именно с этой американской чертой. Вернувшись в Вашингтон, он сразу же отправился на кладбище Рок-Крик, чтобы взглянуть на заказанное им Сент-Годенсу бронзовое надгробие — статую, которую тот выполнил в его отсутствие. Естественно, Адамса интересовала в ней каждая деталь, каждая линия, каждый художественный штрих, каждое сочетание света и теней, каждая пропорция, каждая возможная погрешность против безукоризненного вкуса и чувств. С наступлением весны он стал бывать там часто, подолгу сидя перед статуей и вглядываясь в нее, чтобы уловить, что нового она могла ему сказать, но что бы это ни было, ему и в голову не приходило задаваться вопросом, что она означает. Для него она означала самое обычное — древнейшую идею из всех известных человечеству. Он был уверен: спроси он об этом любого жителя Азии — будь то мужчина, женщина или ребенок, с Кипра или с Кам-

чатки, — тому для ответа достаточно было бы одного взгляда. От египетского сфинкса до камакурского Дайбуцу, от Прометея до Христа, от Микеланджело до Шелли искусство вкладывало себя в эту вечную фигуру, словно больше ему не о чем было сказать. Интересным было не ее содержание, а тот отклик в душе, какой она вызывала у каждого, кто на нее смотрел. И вот пока Адамс сидел у надгробия, взглянуть на него приходили десятки людей: по-видимому, оно стало своего рода туристской достопримечательностью, и всем неизменно нужно было выяснить, что оно означает. Большинство принимало его за скульптурный портрет; остальные, за отсутствием личного гида, оценок не давали. И ни один не почувствовал то, что ребенку-индусу или японскому рикше подсказал бы врожденный инстинкт. Исключение составляли священники — вот кто преподавал Адамсу бесценный урок! Они приходили один за другим, обычно в обществе собратьев, и, явно под воздействием собственных измышлений, разражались яростной бранью, изобличая то, что казалось им пластическим выражением отчаяния, безверия и нигилизма. Подобно всем людям, слуги божии видели в бронзовой статуе лишь то, что несли в себе. Подобно всем великим художникам, Сент-Годенс преподнес им зеркало, и ничего больше. Американская паства утратила идеалы, американские пастыри утратили веру. И те и другие были типичными американцами — типичнее даже, чем наивная до глупости солдатня былых времен, негодовавшая, что кто-то тратил на могилу деньги, которые можно было бы пропить.

Оказавшись один, всеми брошенный и забытый, в центре этого неоглядного моря самодовольства, Адамс отмечал единственный ярко выраженный интерес, который, подчиняя себе остальные, поглотил всю энергию без малого шестидесятимиллионного американского народа, причем поглотил до такой степени, что ни на что иное, реальное или мнимое, у него уже не оставалось сил. С 1870 года сеть железных

дорог необычайно увеличилась. Добыча каменного угля достигла 160 миллионов тонн, почти догоняя 180 миллионов добываемых в Британской империи; невольно перехватывало дыхание при мысли, что вот-вот произойдет еще недавно казавшееся несбыточным пересечение двух путей и главенство Америки. Для историка такой момент не имеет себе равных! Но железные дороги как таковые уже не сосредоточивали на себе столько внимания, сколько в 1868 году: они не сулили больших прибылей в будущем. Адамс был сверстником железных дорог: он родился одновременно с ними, проехал по ним вдоль и поперек, пылливо изучая каждую милю, и знал о них, как о ближайших соседях, решительно все. Тут ему нечему было учиться. И хотя строительство железнодорожной сети еще не закончилось, железные дороги, по-видимому, в целом удовлетворяли нужды общества — во всяком случае, лучше, чем любая другая часть общественного механизма. На данном этапе общество было ими довольно: и тем, как оно их построило, и тем, что их построило. Но ничего нового сделать или познать в связи с ними было нельзя, и мир поспешил заняться телефоном, велосипедом и трамваем. В пятьдесят с лишком лет Адамс всерьез и упорно учился ездить на велосипеде.

К другим совершенствам новой жизни он так и не приобщился. Ничего интересного не подворачивалось, сколько бы он ни искал. Впрочем, он не жаждал перемен. Протянув в Вашингтоне до весны он вновь отправился в Англию, где провел лето на берегах Ди. В октябре, вернувшись в Вашингтон, он, дожидаясь избрания Кливленда, набрел на не слишком глубокую идею набросать кое-какие заметки, и они, как ни странно, были признаны выдающимися. Адамс уже достаточно повидал мир, чтобы соблюдать осторожность. К тому же он испытывал тягостное чувство недоверия к финансистам и банкирам. Может же и мертвец относиться к кому-то предвзято!

22. ЧИКАГО (1893)

В стоячих водах fin-de-siècle¹ — а в последнее десятилетие все без конца говорили о fin-de-siècle и каждый ощущал себя его частью — где ни одно дуновение не тревожило праздный дух воспитания и умственное оцепенение самодовольства, жизнь Адамса протекала в одиночестве. Он давно перестал появляться в свете и годами не обедал вне дома; в обществе его не знали в лицо так же, как канувших в Лету государственных деятелей. Опыт подсказывал ему, что полугодовое забвение равнозначно извещению в газетах о смерти, а из мертвых воскресают редко. Нет ничего легче, как при желании обрести покой — глубокий, словно могила.

Друзья из жалости иногда навещали его — кто, чтобы разделить с ним обед или ужин, кто, чтобы провести вечер по пути на север или на юг, — но в целом он вел, как ему казалось, чрезвычайно одинокое существование. Ни с одним из светских львов, оживлявших застолья и залы конгресса — тогда ими числились Том Рид, Берк Кокрен и Эдуард Уолкот, — он не водил знакомства. Шесть лет его ближайшим соседом был Калвин Брайс, принимавший в своем доме с невиданным доселе в Вашингтоне размахом, но Адамс ни разу не переступил его порога. Уильяма К. Уитни, который соперничал в радушии с сенатором Брайсом, Адамс знал еще по эре реформ, но и с ним встречался не чаще, чем с его шефами, президентом Кливлендом или президентом Гаррисоном, государственными секретарями Байардом, или Блейном, или Олни. Бывать надо везде или нигде. Нельзя выбирать между домами, отдавая предпочтение одному перед другим, как нельзя, пользуясь госте-

¹ Конец века (*фр.*).

примством соседей, не отвечать им тем же. Адамс любил одиночество не больше других людей, но не имел сил заниматься светской филантропией, а потому предпочел кануть во тьму.

К счастью для таких одиноких горемык, мир еще не оскудел не только снисходительностью, но даже дружески-любимым и великодушным. Мир любит прощать, когда прощения не требуют по праву. Адамс немало грешил против правил светскости, но сам же признавал свою вину, и двери нескольких домов оставались для него открытыми: он мог являться туда не докладываясь и уходить не прощаясь. Один из них был домом Джона Хея, другой — Кэбота Лоджа, посещение третьего вылилось для Адамса в тесную дружбу, которая имела для него особые последствия, коротко познакомив с тем самым классом американских политиков, чьими усилиями были воздвигнуты главные преграды на подготовленном ему пути. В 1880 году сенатор Камерон из Пенсильвании женился на юной племяннице сенатора Джона Шермана из Огайо, создав таким образом династический союз в политике, а в обществе — империю, в которой все шестнадцать лет ее существования безраздельно царствовали миссис Камерон и миссис Лодж, блистая, как ни одна женщина ни до них, ни после, и словно солнце озаряя Вашингтон ярким светом. Обе дамы были неизменно расположены к Адамсу, и двенадцать лет соседства и дружеской близости сделали его у них своим человеком, как в доме Хея. В тесном светском кругу такие узы имеют политическое и общественное значение. Они невольно сами собой определяют общественный статус. Каких бы мнений вы ни придерживались в вопросах политики, но если ваш дом затесался между особняками сенатора Камерона, Джона Хея и Кэбота Лоджа, где запросто бывает Теодор Рузвельт, а Сесил Спринг Райс объединяет их всех, отдавая дань привычкам каждого, вы непременно оказываетесь связанными с республиканской партией. Друзья встречались

ежедневно, и их союз не нарушала ничья властная или покровительственная рука, поскольку Гаррисон, как и мистер Кливленд, не тяготел ни к обществу, ни к интересам этой особой группы своих сторонников, чьи отношения с Белым домом носили подчас комический характер, но никогда не бывали короткими.

В феврале 1893 года сенатор Камерон отправился с семьей в Южную Каролину, где купил старую плантацию, расположенную на мысе Коффин острова Св. Елены, и Адамс, в качестве члена семьи, отправился вместе с ними за новыми ощущениями. Затем они вместе посетили Гавану и возвратились на мыс Коффин, где прожили почти до апреля. В мае сенатор повез жену и детей на выставку в Чикаго, и Адамс увязался за ними. В начале июня вся компания отплыла в Англию и, наконец, в середине июля оказалась в Швейцарии — сначала в Пренге, а потом в Шамуни и Церматте. 22 июля они переправились через Фуркский перевал и поездом доехали до Люцерна.

Месяцы тесного общения неизбежно раскрывают характер человека, если он вам интересен, а люди того типа, к которым относился Камерон, вызывали у Адамса острый интерес еще с тех пор, когда в лице генерала Гранта перечеркнули его предполагаемую карьеру. Возможно, своей неукротимой энергией тип этот был обязан шотландской крови; возможно, крови Адама и Евы — примитивной породе человечества; возможно, крестьянской крови, противящейся влиянию горожан, — но так или иначе тип этот подкупал своей простотой. Ум пенсильванца по сравнению с другими не отличался сложностью; пенсильванец редко рассуждал, был скуп на слова, но в практических делах вел себя последовательнее любого другого американца и был, пожалуй, самым деятельным и, несомненно, надежным.

Эти общие сведения Адамс уже сделал достоянием публики, напечатав их в своих книгах, но пока случай еще не сводил его с пенсильванцем, которого стоило бы описать,

те же двое, что вошли в историю — Бенджамин Франклин и Альберт Галлатин, — были, как известно, первый родом из Бостона, а второй — из Женевы. Впрочем, Альберту Галлатину Адамс посвятил обширное исследование, написав подробный его портрет с единственной целью — показать, что если Галлатина и можно считать американцем, то скорее ньюйоркцем кальвинистского толка, но никак не коннектикутцем или пенсильванцем. Истинный пенсильванец отличался более узким умом и ограниченностью, как все пресвитериане; боялся ограниченности в других, как янки, и, как фермер-пуританин не видел дальше собственного носа. Только пенсильванец был в его глазах белым. Всех прочих — китайцев, негров, даго, итальянцев, англичан, янки — он, в глубине сознания, относил к одной категории. Его интеллектуальный механизм мог работать, лишь следуя тому курсу, который он принимал за американский. Адамсу тип этот был хорошо знаком еще с 1869 года, когда ему довелось наблюдать президента Гранта, но в 1893 году, как и в 1869-м, тип этот продолжал играть значительную роль и был полезен тем, кто держался одного с ним курса. Вступая в деловой союз, пенсильванец отрешался от своих предрассудков и, как бы в глубине души ни относился к партнерам, был покладистым в делах и широким во взглядах. Когда его признавали правым — то есть соглашались с ним, — он чувствовал себя американцем из американцев. В качестве союзника он стоял выше всех остальных, так как понимал людей своего типа — каковых подавляющее большинство — и умел обходиться с ними, как ни один уроженец Новой Англии. Если требовалось продвинуть какое-то дело в конгрессе, мудрый человек избегал обращаться к представителю Новой Англии. А вот пенсильванец не только мог все сделать, но и делал — охотно, практично и умно.

Ни в одной области человек типа Камерона не доверял человеку типа Адамса, и наоборот. Но, как ни странно, они

почти всегда действовали заодно. Людей типа Камерона, с точки зрения Адамсов, отличал в политике тяжкий порок: Камероны шли к цели, не гнушаясь никакими средствами. Безупречная чистота и высокие обеты не входили в число добродетелей пенсильванского механизма. Он работал грубыми средствами ради грубой выгоды, однако достигал практических успехов, которые на протяжении всей американской истории оставались любопытнейшим предметом для изучения. Подводя итоги пенсильванскому влиянию, историк невольно приходил к мысли, что именно Пенсильвания учредила правительство в 1789 году, спасла его в 1861-м, создала всю американскую систему, развила чугунолитейную и угледобывающую промышленность, построила гигантскую сеть железных дорог. Продолжая исследование американского характера в том же направлении, Адамс приходил к выводу — для него парадоксальному, — что именно сочетание положительных и отрицательных свойств Камерона и делало его полезнейшим из всех членов сената.

Увлечшись предоставившейся ему наконец возможностью изучать совершенный и подходящий для анализа образец того типа американца, который неизменно подавлял его собственный, Адамс не сразу заметил, что попал под сильное влияние Камерона, тогда как никаких следов обратного воздействия — то есть своего на Камерона — обнаружить не мог. Ни одно его мнение или воззрение никак не отражалось в высказываниях Камерона, ни одного выражения, употребленного Адамсом, ни одного упомянутого им факта тот не повторил ни разу. А между тем разница в годах была незначительной, а в воспитании и образовании — ничтожной. С другой стороны, Камерон произвел огромное впечатление на Адамса, и прежде всего той позицией, какую занял по отношению к предмету острейшей дискуссии 1893 года — к вопросу о серебряном стандарте.

Проблема эта до поры до времени не интересовала Адамса; он почти ничего о ней не знал — разве только, что

его приятель Дана Хортон слегка на ней помешался и изводил всех скучнейшими разговорами. Но когда Адамсу волею-неволей пришлось делать выбор между серебряным стандартом и золотым, он высказался за серебро. Все политические идеи, все личные пристрастия, каким он когда-либо был привержен, побуждали его к этому выбору, воздвигая преграду между ним и золотом. Он превосходно знал все, что можно было сказать в пользу золотого стандарта, более выгодного для экономики. Но он никогда в жизни не занимался политикой ради выгоды. Либо политика ради политики, либо политика ради выгоды, а совмещать и то и другое никому не дано. Английская школа считала это положение ересью, американская — законом. Он также знал все, что можно сказать о нравственной стороне этого вопроса, и сознавал, что личные его интересы, как утверждали в Бостоне, связаны с золотым стандартом. Но будь это десять раз так, он все равно не стал бы, обеспечивая себе выигрыш, помогать банкирам и крупье наливать игральные кости свинцом и подтасовывать карты. Он должен был по крайней мере — так он считал — выступить против. Его нравственные принципы всегда, сколько он себя помнил, противостояли его интересам, хотя он твердо знал закон, по которому жили все остальные: люди, в подавляющей массе, устанавливают нравственные нормы, следуя своим интересам. Нравственность — личная и очень дорогая роскошь! В выборе между серебряным стандартом или золотым вопросы нравственности решались всеобщим голосованием, а результат всеобщего голосования решался своекорыстным интересом, в зависимости от того, который из этих стандартов служил интересам большего числа лиц. Интерес Адамса был политического свойства. В этом выборе он видел, возможно, последний в своей жизни шанс встать на защиту дорогих ему принципов восемнадцатого века — прочных нравственных устоев, ограниченной власти, Джорджа Вашингтона, Джона Адамса и всего остального. Всю жизнь он пусть в полсилы, но боролся против

Стейт-стрит, банков и капитализма в целом, каким наблюдал его в старой и Новой Англии, и теперь ему было суждено оказать сопротивление на последнем рубеже — в борьбе за серебряный стандарт.

Почему Адамс принял такое решение, было ясно, и если он ошибался, то ошибался вместе с девятью из каждых десяти вашингтонцев, ибо, по существу, различие между серебром и золотом было не столь велико. Разумеется, он разобрался бы во всем задним числом. Иначе, по-видимому, дело обстояло с Камероном — типичным пенсильванцем, практическим политиком, которого все реформаторы, в том числе и Адамсы, всегда обвиняли в служении интересам финансовых акул и политических выжиг. Камерон, несомненно, должен был встать на сторону банков и корпораций, которые сделали его политиком и поддерживали. Он же, напротив, оказался на Востоке главным поборником серебра. Реформаторы, которых представляли «Ивнинг пост» и Годкин, ратовавшие из личных интересов за золото, немедленно заключив, что, коль скоро сенатор Камерон выступает за серебро, значит, им руководит корыстный интерес, принялись клеймить его за коррупцию, да с таким жаром, словно схватили за руку при получении взятки.

Адамса во всем этом деле волновал не столько серебряный или золотой стандарт, сколько нравственный. В его личных интересах было поддерживать золото, но он встал за серебро; «Ивнинг пост» и Годкин были заинтересованы в золотом стандарте, о чем говорили открыто; тем не менее они не стеснялись, преследуя свои интересы, возводить их в ранг высокой политики. Интересы Камерона всегда были связаны с корпорациями; тем не менее он поддерживал серебряный стандарт. Таким образом, согласно существующей морали, Адамса, который шел против собственных интересов, полагалось осудить; Годкина, который защищал свои интересы, считать добродетельным, а Камерона в любом случае ославить мерзавцем.

Допустим, один из этих троих был нравственный урод. Но который — Адамс, Годкин или Камерон? Там, где синедрион, или папа, или конгресс, или газета, или глас народный в сомнительных случаях решает, что нравственно, а что нет, отдельные личности могли и ошибаться, особенно опуская деньги в собственный карман, но в демократических государствах любой закон принимается большинством. Каждому, кто знал об обратной зависимости популярности Камерона и Годкина, идея решить разногласие между ними с помощью *vox populi*¹ казалась исключительно забавной. Но в результате *vox populi* высказался против Камерона, в пользу Годкина.

Бостонский моралист и реформатор продолжал по обыкновению, подобно доктору Джонсону, сердито топать на ближних ножкою, следуя своим пристрастиям и антипатиям, меж тем как истинные американцы, медленно усваивающие новые и сложные идеи, по-прежнему блуждали в потемках, не умея сообразить, который из двух стандартов сулит им больше выгоды. Как всегда, надлежащий урок им преподали банки. На протяжении полувека банки успели преподать этим козявкам не один мудрый урок, и они, козявки, должны быть им бесконечно благодарны. Но из всех уроков, какие банки преподали Адамсу, ни один не мог сравниться по драматическому эффекту с тем, какой ожидал его 22 июля 1893 года, когда, проговорив все утро о свободной чеканке серебра с сенатором Камероном, пока, сидя вместе на имперiale почтовой кареты, они через Фуркский перевал не прибыли во второй половине дня в Люцерн, где он и вскрыл письмо от братьев, в котором те просили его немедленно вернуться в Бостон: город сотрясали банкротства, и Адамс, возможно, был уже нищим.

Быстрейшего способа усвоить жизненный урок, как получить его в виде известия, которое словно обухом бьет

¹ Глас народный (*лат.*). Здесь: общенародное голосование.

по голове, Адамс не знал, а потому поразился собственной тупости: он никак не мог взять в толк, что нанесло ему удар. Страдая много лет бессонницей, он прежде всего испугался за свои бедные нервы — как-то скажется на них беда? — и приготовился провести ночь без сна; однако, сколько ни бился над задачей, каким образом человек, уже несколько месяцев как уплативший до единого доллара все известные ему долги, мог оказаться банкротом, вынужден был отступить от такой неразрешимой загадки и искать утешения в мысли, что новая беда вряд ли ударила по нему сильнее, чем по другим, более достойным членам общества, и, успокоившись на этом и чувствуя себя добрым гражданином, заснул, чтобы на следующий день отплыть в Куинси, куда и прибыл 7 августа.

Чтобы воспитывать себя заново в пятьдесят пять лет, трудно предложить лучшее начало, чем оказаться перед обрушившейся на вас бедой, когда в течение нескольких месяцев вы находитесь на грани банкротства, не понимая, каким образом попали в такое положение и как из него выпутаться. Мало-помалу создавшаяся ситуация приняла в представлении Адамса следующие очертания: оказывается, банки ссудили ему, в числе прочих, некую денежную сумму — скажем, несколько тысяч миллионов (при банкротстве сумма не имеет значения), — за которую он, в числе прочих, нес ответственность, о чем, как и прочие, ничего не знал. Смешная сторона этой бесподобной ситуации казалась ему очевиднее трагической, и он искренне смеялся над собой, как не смеялся уже много лет. Насколько он мог судить, он не терял ничего, чем действительно дорожил, банки же лишались своего существования. Для него деньги мало что значили, для банков же были вопросом жизни. Впервые банки оказались в его власти. Он мог позволить себе смеяться — как, впрочем, и все общество, хотя мало кто смеялся. Люди осаждали банки, пытались выяснить, что те собираются делать. Адамсу вся эта ситуация казалась фар-

сом, и чем больше он ее наблюдал, тем меньше в ней разбирался. Другие — он был уверен — разбирались в ней не лучше его. Какая-то мощная сила, действовавшая вслепую, совершала нечто, чего никто не хотел. Адамс отправился в банк снять со счета сто собственных долларов, кассир отказался выдать ему больше пятидесяти, и Адамс, не проронив ни слова протеста, взял пятьдесят — ведь он тоже отказывал банкам в тех сотнях и тысячах, которые им принадлежали по праву. Каждый жаждал помочь другому, но и те и другие отказывались платить долги, и Адамс не находил ответа на вопрос, кто же повинен в создавшемся положении, ибо и должники и займодавцы составляли одну корпорацию и были, в социальном смысле, одним лицом. Очевидно, они оказались во власти одной и той же силы; она действовала автоматически; ее эффективность была пропорциональна мощности ее действия, но никто не знал, что она из себя представляет, и большинство людей видело в ней вспышку эмоций — панику, — а это ничего не объясняло.

От непосильного напряжения люди мерли как мухи, и Бостон сразу состарился, обветшал, опустел. Только Адамс лоснился от жира и чувствовал себя вполне счастливым: наконец-то он вновь обрел себя и мог заняться своим прерванным на двадцать лет воспитанием. Стоит ли его завершать, он не задумывался — лишь бы оно его занимало; но впервые с 1870 года у него появилось ощущение, что в мире совершается нечто новое и любопытное. С 1870 года значительные перемены произошли в самих действующих силах; старая машина уже не справлялась со своими функциями; где-то, как-то она неминуемо должна была сломаться, а если это произошло бы, задев его непосредственно, ему открылись бы тем большие возможности для изучения всего механизма.

Впервые за много лет, оказавшись в Куинси, Адамс проводил много времени с младшим братом Бруксом и,

к своему удивлению, обнаружил, что их волнуют одни и те же проблемы. Брукс, которому тогда уже перевалило за сорок пять, был серьезный историк и глубокий мыслитель. Постоянно нарушая условности бостонского света, он совершенно не вписывался в его атмосферу. Но братьям для беседы не требовалось светской атмосферы: они привыкли обходиться аудиторией из одного слушателя. Брукс открыл и развил исторический закон, согласно которому любая цивилизация следует интересам биржи, и, разработав его для Средиземноморья, теперь разрабатывал для Атлантики. По открытому Бруксом закону, все в Америке, как и в Европе и в Азии, было неустойчиво, постоянно стремясь к новому равновесию и по необходимости его обретая. Любитель парадоксов, Брукс, употребив с пользой десять лет на изучение своего предмета, сумел прийти к новому образу мышления, он сумел очистить свою науку от тьмы дребедени, но, столкнувшись с повседневной действительностью, заключил, что она парадоксальнее любого парадокса. Его мысль не попевала за событиями. Неустойчивость превосходила все расчеты, а темп ускорения выходил за пределы возможного. Среди прочих общих законов он вывел парадокс, гласящий, что дисгармония между трудом и капиталом в конечном итоге приведет не к коллективизму, а к анархии — мысль, которую Адамс сочтет стоящей изучения.

Когда 19 сентября он возвратился в Вашингтон, буря в основном уже улеглась и жизнь приняла новое обличье, причем столь интересное, что он решил отправиться в Чикаго, чтобы еще раз ознакомиться со Всемирной выставкой, и последующие две недели был полностью поглощен ею. Ее экспонатов хватило бы ему для изучения на сто лет, и проблемы воспитания погрузились в страшный хаос. Ему вдруг стало казаться, что в этом году с этой свихнувшейся проблемой он справиться не сможет. Вопрос о свободной чеканке серебра, при всей его щекотливости, был прост, как односложное слово по сравнению с проблемами кредита

и обмена, которыми он постепенно оброс; но когда Адамс прибыл в Чикаго, надеясь там от него отдохнуть, то задачи, связанные с воспитанием, обступили его со всех сторон и тут же, словно кролики, выскочившие из сотни норок, бросились врассыпную прежде, чем Адамс смог проследить, куда они скрылись. Уже сама выставка бросала вызов любой философии. Можно было бранить ее с открытия до закрытия, но это ничего не объясняло из того, что требовало объяснений. По зрелищности она оставляла далеко позади Парижскую, но еще больше чем зрелищностью она поражала самым фактом своего существования — больше чем любая достопримечательность американского континента, включая Ниагарский водопад, Йеллоустонские гейзеры и сеть железных дорог, ибо все они были творениями природы и человека в должном месте; тогда как выставка являла собой нечто совсем иное: со времен Ноева ковчега ничего похожего на этот Вавилон столь беспорядочных и плохо сочетаемых, столь смутных и дурно претворенных, столь разрозненных идей, полуидей и экспериментальных потуг не нарушало водной глади Великих озер.

Изумление от первого посещения усиливалось с каждым днем. Помимо того, что как итог естественного развития Северо-Запада выставка являла собой ступень эволюции, которая ошеломила бы самого Дарвина, она выражала и кое-что иное, и это наводило на мысль, казавшуюся еще более ошеломляющей. И даже если это было не так — если считать, что Всемирная выставка была всего лишь своего рода итогом индустриального и научного развития *Beaux Arts*, вынужденных по эстетическим мотивам провести лето на берегу озера Мичиган, — напрашивался вопрос: в какой мере она была там на месте? Мог ли американец чувствовать себя в ее залах на месте? По правде говоря, он разгуливал по ним с довольным видом, как если бы все выставленное в них принадлежало ему; он понимал, что выставка хороша; он гордился ею и по большей части изображал человека,

всю жизнь занимавшегося пейзажными садами и декоративной архитектурой. А если не занимался сам, то знал в них толк и умел заказать, что ему требуется, как сумел заказывать туалеты для жены и дочерей у Уорта и Пакена. Другое дело, сумел бы он устроить такую выставку сам. Пожалуй, не сумел бы. Но в следующий раз он устроит ее без посторонней помощи и покажет собственные недочеты. Однако в данный момент он, казалось, минуя Лондон и Нью-Йорк, совершил прыжок прямо из Коринфа, Сиракуз и Венеции, чтобы навязать податливому Чикаго их классические образцы. Критики всегда поругивали классицизм, но все купеческие города неизменно проявляли купеческий вкус, и, по мнению строгого ревнителя христианской веры, не было искусства менее выразительного, чем венецианская готика. Купеческий вкус всегда тяготел в набору безделушек. В Чикаго по крайней мере попытались придать своему вкусу вид единства.

Ну как тут было не опуститься на ступени под куполом, воздвигнутым Ричардом Хантом, чтобы предаться раздумьям не менее глубоким, чем на ступенях Арачели! И все о том же! Здесь был разрыв непрерывности — брешь в исторической последовательности! Может быть, это Адамсу только померещилось? От ответа на этот вопрос зависел весь его внутренний мир. Если такой разрыв действительно существовал и новое американское общество оказалось способным совершить крутой и осознанный поворот к идеалам, его, Адамса, личные друзья наконец-то выходили победителями в скачках американских колесниц за славой. Если американцы Северо-Запада и впрямь умели отличить красоту, когда ее видели, то когда-нибудь они заговорят о Ханте и Ричардсоне, Ла Фарже и Сент-Годенсе, Бернхеме, Маккиме и Стэнфорде Уайте, меж тем как имена политиков и миллионеров будут преданы забвению. Сами художники и архитекторы — создатели выставки — не давали основания для таких надежд: они высказывались достаточно вольно — правда, не в таких выра-

жениях, какие хотелось бы цитировать, — и, по их мнению, в искусстве на Северо-Западе ничего не понимали. Послушать их, они работали исключительно для себя: словно искусство для американцев Запада сводилось к театральной декорации, бриллиантовой запонке, бумажному воротничку. Впрочем, надо думать, архитекторы из Пестума и Гиргенти рассуждали сходным образом, а греки еще две тысячи лет назад произносили примерно те же слова, говоря о семитском Карфагене.

Бросаясь от надежды к сомнениям, Адамс искал опору в экспонатах выставки и находил ее. Технические школы пытались научить слишком многому и в слишком быстром темпе, и их старания шли прахом. Миллионы людей, к ним непричастных, чувствовали себя и вовсе беспомощными; из них только немногие жаждали овладеть знаниями, а в глазах большинства беспомощность выглядела естественной и нормальной: они с детства привыкли смотреть на паровой двигатель и динамо-машину как на такую же естественную часть бытия, как солнце, полагая, что ни то, ни другое им познать не дано. Только от историка выставка требовала серьезных усилий. Экспонатов, демонстрировавших исторический процесс, было достаточно, правда, они не уходили в глубину времен и ни один не был как следует разработан. К лучшим следовало отнести модели пароходов фирмы «Кьюнард», но и тут историку, жадному до результатов, приходилось исписать не один карандаш и целую стопку бумаги, чтобы рассчитать, когда, согласно данному увеличению мощности, тоннажа и скорости, океанский пароход достигнет предела в своем развитии. По цифрам это приходилось на 1927 год; должно было пройти еще целое поколение, прежде чем сила, пространство и время встретятся в одной точке. Океанский пароход шел в будущее по самой верной триангуляционной линии, ибо он раньше, чем какое-либо другое творение человечества, мог привести людей к единению; железные дороги сулили меньше возможностей: они уже,

по-видимому, завершили свое развитие и могли расти разве только числом; наибольший интерес вызывали взрывчатые вещества, но, чтобы в них разобраться, требовалась армия химиков, физиков и математиков; меньше всего знаний можно было извлечь из динамо-машины, которая только-только входила в период младенчества; однако, если ей предстояло и впредь развиваться в том же темпе, как и в недавние десять лет, она уже при жизни ближайшего поколения неизбежно стала бы весьма дешевым источником энергии. Адамс подолгу простаивал у динамо-машин: они занимали его как новое явление, открывавшее в истории новую фазу. Ученым никогда не понять невежества и наивности историка, который, столкнувшись с новым источником энергии, естественно, задается вопросом, что это такое. Толкает или тянет? Винт или поршень? Течет или вибрирует? Передается по проводам или является математическим рядом? И еще десятки вопросов, на которые он ждет ответа, но, к своему удивлению, так и не получает.

В Чикаго воспитание трещало по всем швам — по крайней мере для тех отсталых субъектов, которые впервые столкнулись с конкретным воплощением очень многих явлений и ничего о них не знали. Этим людям, совершенно невежественным в сотнях вещей — никогда не управлявшим паровым двигателем, самым простым из всех источников энергии, — ни разу не повернувшем рукоятку рычага — не державшим в руках батарейки — в жизни не разговаривавшим по телефону и не имевшим и тени представления, какое количество силы или мощности составляет *ватт*, или *ампер*, или *эрг*, или любая другая единица измерения энергии, введенная за последние сто лет, — не оставалось иного выбора, как, опустившись на ступени, предаться усиленным размышлениям, каким вряд ли предавались — студентами или преподавателями — на скамьях Гарварда, и ужасаться тому, что говорили и делали все эти годы, испытывая жгучий стыд за детское невежество и болтливую праз-

ность общества, которое им это позволяло. Ум историка оценивает явления только применительно к историческим процессам, и, наверное, за все время существования историков Адамс был первым, беспомощно взиравшим на явления технического развития. Большинство историков не раз оказывались беспомощными перед явлениями метафизического, теологического или политического развития, и единственное, чему они до сих пор доверяли, была консолидация сил природы.

Понимал ли Адамс сам, что имел в виду? Разумеется, нет! Если бы у него хватило знаний, чтобы поставить вопрос правильно, его воспитание можно было бы тотчас считать законченным. В 1893 году в Чикаго впервые встал вопрос: знает ли американский народ, куда он идет? Адамс честно отвечал — не знаю, но пытаюсь понять. И, сидя под сенью архитектурного творения Ричарда Ханта, он, по зрелом размышлении, пришел к выводу, что и американский народ, скорее всего, не знает ответа на этот вопрос, но тем не менее идет, или, лучше сказать, бессознательно движется к какой-то точке в мышлении, как, говорят, движется к некоей точке в пространстве наша солнечная система, и, если бы появилась возможность наблюдать это движение со стороны, можно было бы определить и эту точку. В Чикаго американская мысль впервые выразила себя как единство; и отсюда следовало начинать.

Второй раз это случилось в Вашингтоне. Когда Адамс возвратился в Вашингтон, сессия конгресса, созванная, чтобы отклонить Акт о свободной чеканке серебра, шла полным ходом. Меньшинство, ратовавшее за серебро, упорно старалось помешать этому, подавляющее же большинство их противников проявляло умеренное рвение. На едином золотом стандарте настаивали только банки и биржевые дельцы; политические партии делились, согласно своим капиталистическим и географическим интересам, причем сенатор Камерон был здесь единственным исключением. Однако все общались меж-

ду собой, проявляя необычайное добродушие и крайнюю снисходительность к поступкам и мотивам друг друга. Борьба велась с куда меньшим ожесточением, чем обычно в таких случаях, и закончилась фарсом. Когда вечером по окончании последнего голосования сенатор Камерон вернулся из Капитолия вместе с сенатором Брайсом, сенатором Джонсом, сенатором Лоджем и Мортонем Фрюином, все пятеро были в наипрекраснейшем расположении духа, как люди, сбросившие с себя тяжелый груз ответственности. У Адамса, наблюдавшего все перипетии голосования со стороны, тоже было легко на душе. Что ж, он защищал свой восемнадцатый век, свою конституцию 1789 года, Джорджа Вашингтона, Гарвардский университет, Куинси и плимутских отцов-пилигримов, пока кто-то защищал их вместе с ним. Он еще двадцать лет назад объявил это дело безнадежным, но отстаивал его в силу привычки и склонности, пока не остался в одиночестве. Он держался своей давней неприязни к банкирам и капиталистическому обществу, пока не почувствовал, что превращается чуть ли не в маньяка. Он давным-давно уже знал, что придется принять новый порядок вещей, как знал о неприятной неизбежности и многого другого — старения, одряхления и смерти, с которыми каждый борется, сколько может. Вопрос этот в конечном итоге решил народ. В течение ста лет — с 1793-го по 1893-й — американский народ раздумывал, сомневался, колебался, делая то шаг вперед, то назад, между двумя путями: первый — просто индустриальный, второй — капиталистический с присущей ему централизацией и механизацией. В 1893 году вопрос решался на уровне единого золотого стандарта, и в результате большинство высказалось, раз и навсегда, за капиталистическую систему со всем необходимым для нее механизмом. Все друзья Адамса, все лучшие граждане, реформаторы, церковь, университеты, образованные классы — все присоединились к банкам, чтобы вынудить Америку пойти капиталистическим путем — принуждение, которое давно уже можно было вывес-

ти из закона массы. Из всех форм общества или правления именно эта менее всего была по вкусу Адамсу, но его вкусы так же устарели, как выдвинутая некогда мятежниками теория суверенных прав Штатов. Америка приняла капиталистическую систему, а раз так, то управлять ею должен был капитал на основе капиталистических методов. Трудно было вообразить себе что-либо абсурднее, чем попытка передать управление столь сложного, требующего централизации механизма в руки южных и западных фермеров вкупе с городскими чернорабочими — гротескный союз? — попытка, которую уже тщились осуществить при несравненно более простых обстоятельствах в 1800-м, а затем в 1828 году и которая оба раза провалилась.

На этом воспитание Адамса в области внутренней политики застопорилось. Остальное сводилось к вопросам техническим — к управлению системой, к экономике — и не касалось спорных принципов. Общественный механизм должен действовать эффективно, и, согласившись с этим, общество может позволить себе дискутировать, в чьих интересах этот механизм будет действовать, но в любом случае оно должно обеспечить концентрацию усилий. Великие перевороты оставляют, как правило, горький след, и, пожалуй, ничто так еще не поражало Адамса в политике, как то, с какой легкостью он и его друзья перемахнули через пропасть и оседлали золотой стандарт и капиталистическую систему со всеми ее методами, протекционным тарифом, трестами и корпорациями, тред-юнионами и неизбежно сопутствующим им социалистическим патернализмом — всю механическую консолидацию сил, беспощадно вытаптывавших тот класс, к которому Адамс принадлежал по рождению, но создавших монополии, способные контролировать новый порядок вещей, столь пришедшийся по сердцу Америке.

Общество, смахнув в кучу золу и пепел, оставшиеся от ложно направленного воспитания, вкушало покой. И историку, вместе с ним испытывавшему энергичный толчок, ничего не

оставалось, как задаваться вопросом — надолго ли и в каких пределах?

23. МОЛЧАНИЕ (1894—1898)

После катаклизма 1893 года его жертвы так и остались барахтаться в застойных водах, а многие пути воспитания оказались перечеркнутыми. Пока страна напрягалась в неимоверных усилиях, отдельный человек, как мог, ползал среди развалин, убеждаясь, что тьма жизненных ценностей превратилась в ничто. Четыре последующих года, с 1894 по 1897-й, почти ничего не внесли — разве только как связующее звено между веком девятнадцатым и веком двадцатым — в драму воспитания, и их можно было бы опустить. Многие из того, что составляло радости жизни между 1870 и 1890 годами, погибло в крушении, и одним из первых рухнуло благосостояние Кларенса Кинга. Из его краха можно было извлечь любой урок, но Адамсу история Кинга представлялась особенно знаменательной — над ней стоило подумать. В 1871 году воспитание и образование, полученные Кингом, были в глазах Адамса идеальными. Ни один молодой американец не мог и мечтать о таком букете свойств — физическая выносливость и энергия, положение в обществе, широкий ум и превосходная интеллектуальная подготовка, острый язык, доброе сердце и научные знания — все истинно американские и необоримо сильные качества. Рядом с Кингом мог стать только Александр Агассис, и, по мнению их сотоварищей, вряд ли кто-либо другой мог соперничать с этими двумя на беговой дорожке к успеху. И вот после двадцати лет непрерывных усилий оказалось, что теория научного воспитания несостоятельна, и по той же причине, по которой терпят крах большинство теорий, — из-за недостатка в деньгах. Но даже Генри Адамс, который, как ему мнилось, остерегался

малейшего риска в финансовых делах, попал в 1894 году в переплет и несколько месяцев провисел на волоске над морем банкротств, спасшись только благодаря тому, что весь класс миллионеров потерял — кто больше, кто меньше — свои капиталы, а вместе с крысами банкам пришлось выпустить и мышшь. В целом человека, чьим единственным достоянием было образование, ничего не стоило схватить за горло и заставить изрыгнуть все им приобретенное, а сознание, что грабят его непреднамеренно и что он страдает наравне со всеми, вряд ли служило ему утешением. Происходило ли так по чьей-то злой воле или просто автоматически само собой, результат, по которому оценивалось образование, оставался тот же. Несостоятельность расчетов на научное образование из-за отсутствия денег — вот что сокрушало! Расчет на научное образование был здравым только в теории, на практике научные знания сами по себе, если у ученого не было достаточно денег, ничего не решали. Человека с тощим кошельком, по собственному его выражению, отовсюду «выпирали». Образование должно было соответствовать сложным условиям нового общества, постоянно наращивающего темпы развития, и соответствие это поверялось жизненным успехом. Кто же из образованных сверстников Адамса — из поколения родившихся в тридцатых и подготовленных для занятий интеллектуальным трудом — мог служить примером успеха? Среди ближайших знакомых Адамса таких было трое: Джон Хей, Уитлоу Рид и Уильям Уитни, и все трое были обязаны карьерой отнюдь не образованию, которое служило им лишь украшением, а удачной женитьбе. Среди этих троих в 1893 году наиболее популярным типом мог считаться Уильям Уитни.

Хотя газеты вздохнули — пока не истощался запас банальностей — верещали о богачах и богатстве, редкий американец завидовал миллионерам из-за тех благ, какие те могли иметь за свои деньги. В Нью-Йорке к ним, случалось, относились с опаской, но чаще смеялись, а то и потешались над ними. Даже самым богатым не просто было занять положение в

обществе, или быть избранными на должность, или попасть в члены привилегированного клуба только благодаря своим капиталам. Исключая считанные единицы — как Пьерпонт Морган, чье общественное положение не определялось большим или меньшим состоянием, — американцы не завидовали богатству из-за тех радостей, какие оно несло с собой, а Уитни даже не был очень богат. Тем не менее ему завидовали. И не без основания. Уже в 1893 году, удовлетворив все возможные честолюбивые помыслы и чуть ли не распорядившись по собственному усмотрению всей страной, он вдруг ушел из политики, отказавшись от целей, обычно преследуемых честолюбцами, и, сделав это с необыкновенной легкостью — словно стряхнул пепел от выкуренной сигареты, — предпочел развлечения совсем иного рода: ублажил все свои вкусы, утолил все свои желания, сорвал все цветы удовольствия, какие только мог предоставить Нью-Йорк, а затем, еще не насытившись, перенес свою деятельность на зарубежную арену, и нью-йоркцы уже не знали, чему им больше дивиться — его лошадям или его особнякам. Уитни преуспел именно там, где Кларенса Кинга постигла неудача.

Прошло без малого сорок лет с тех пор, как все они пустились в погоню за могуществом, и теперь результаты их забега определились окончательно. Однако в 1894 году, как и в 1854-м, никто по-прежнему не знал, какого рода воспитание и образование требовалось американцу, чтобы рассчитывать на успех. Если даже допустить, что образованность — те же деньги, ее ценность была весьма относительной. В Америке насчитывалось несколько десятков людей с состоянием в пять и более миллионов, и почти все они вели жизнь, стоившую не более чем жизнь их поваров, хотя задача «делать деньги» воздвигала перед ними больше трудностей, чем задача, выполняемая Адамсом, — давать образование, равнозначное деньгам. Общественное положение, по-видимому, все еще ценилось высоко, образование же ни во что не ставилось. Математики, лингвисты, инженеры-электрики, инженеры-ме-

ханики могли в лучшем случае рассчитывать на десять долларов в день. Администраторы, управляющие, менеджеры, отличавшиеся типично средневековыми достоинствами — энергией и волей — и не имевшие никакого образования, кроме как в своей узкой сфере деятельности, вероятно, оценивались в десять раз дороже.

Общество так и не сумело определить, какого рода образование его больше всего устраивало. Богатство ценилось наравне с положением в свете и классическим образованием, а женщины так пока и не знали, чему отдать предпочтение. Оглядываясь вокруг, Адамс заключал, что может быть доволен своим положением, как если бы его образование вполне отвечало современным требованиям; Кларенс Кинг, чье образование в теории полностью им соответствовало, напротив, потерпел фиаско, тогда как Уитни, получивший образование не лучшее, чем Адамс, достиг феноменального успеха.

Если бы Адамс начинал свой жизненный путь не в 1854 году, а в 1894-м, он, вероятно, повторил бы сказанное им сорок лет назад: все, что должно дать образование, — это умение свободно владеть четырьмя традиционными орудиями: математикой, французским, немецким и испанским языками. С их помощью он всегда найдет путь к любому предмету, оказавшемуся в поле его зрения, и будет иметь решительное преимущество над девятью из десяти возможных соперников. Государственный деятель или юрист, химик или инженер-электрик, священник или университетский преподаватель, соотечественник или иностранец — ему никто не был бы страшен.

Крах Кинга, физический и финансовый, обернулся для Адамса прямой выгодой: оправившись от болезни, Кинг соблазнил его поехать вместе на Кубу, куда они и отправились в январе 1894 года и где поселились в небольшом городке Сантьяго. Колоритное кубинское общество, с которым Кинг был хорошо знаком, проводило время веселее, чем любое другое, известное Адамсу до тех пор, но отнюдь не стреми-

лось чему-либо учить — разве только кубинскому диалекту испанского языка и *danza*¹; но Адамс не искал в нем ни для себя, ни для Кинга более высокой науки, чем наблюдать, как парят над равниной канюки, уносясь вместе с пассатом к Дос Бокасу, или, взобравшись на Гран Пьедра, смотреть, как в лучах восходящего солнца меняются краски на берегу и на море. Однако, словно повторяя те годы, когда им обоим было всего по двадцать, а революция так же юна, как они, кубинское государственное здание, и прежде не отличавшееся прочностью, рухнуло им прямо на головы и увлекло за собой в океан бед. Во второй половине века — с 1850-го по 1900-й — государственные здания то и дело рушились людям на голову, и из всех возможных уроков эти беспрерывные политические конвульсии были самыми бесплодными. Со времен Рамсеса революции неизменно порождали сомнений больше, чем их разрешали, но иногда имели то достоинство, что заставляли тех, кто их пережил, сменить точку зрения. Так, благодаря кубинскому восстанию порвалась последняя нить, связывавшая Адамса с администрацией демократов. Адамс полагал, что, исполни президент Кливленд свой долг, он мог бы уладить кубинский вопрос, не развязывая войны. Такого же мнения придерживалась и демократическая партия в целом, и это вкупе с напряженностью в экономике и принятием золотого стандарта развалило старый порядок вещей, не оставляя выбора между партиями. Новый американец, осознанно или неосознанно, поворачивался спиной к девятнадцатому веку, даже не дожидаясь его конца; золотой стандарт, протекционные тарифы и законы массы вряд ли могли привести к иному итогу, и, как это почти всегда происходило и прежде, движение, ускорившееся с целью противостоять попыткам его задержать, приобрело дополнительную жестокую черту: оно сметало все на своем пути — доброе, равно как и злое.

¹ Танец (*исп.*).

Это был давний урок — столь давний, что уже успел приестся. Его усвоили с самого детства и были сыты им по горло. Тем не менее Адамса еще год кружило по окраинам охваченной вихрем зоны — среди примитивных обитателей Земли, еще не втянутых в общее коловращение и особенно привлекательных именно тем, что они застыли в своем развитии. Проведя зиму вместе с Кингом на островах Вест-Индии, лето он провел в Йеллоустонском парке вместе с Хеєм, хотя ничего стоящего изучения там не оказалось. Гейзеры никому не были внове, о реке Снейк успели уже опубликовать все статистические данные — исключая разве число переправ; даже тетоны демонстрировали тихий и приятный нрав, а вапити и медведи, не имеющие пристрастия к тайной войне, ни на кого не нападали исподтишка. В свою очередь нагрянувшая в Йеллоустон компания обращалась с его обитателями очень нежно. Никогда еще менее кровавая и кровожадная команда не фланировала по крыше американского континента. Хею, как и Адамсу, всегда претило свежевать и разделявать туши убитых животных; даже охота на уток — это солидное, созерцательное развлечение пожилых — не доставляла ему удовольствия, так же как и ловля форели, которую он считал слишком легкой добычей. Сам Холлет Филлипс, возглавлявший экспедицию, хотя и любил изображать из себя индейца-охотника, охотился разве только на полевых мышей; геологу Иддингсу пришлось ограничиться дичью, необходимой для еды, и лишь простодушный лепет Билли Хофера напоминал о прелестях естественной жизни. По сравнению со Скалистыми горами, где Адамс побывал в 1871 году, Йеллоустонский парк уже утратил свою первозданность, и никаких опасностей — разве только сломать себе шею, гоняясь за серой лисицей, — в нем не обозначалось. Лишь умницы пони нет-нет да и нюхали воздух, чуя запах дружелюбного и общительного медведя.

Когда компания покинула Йеллоустон, Адамс один направился в Сиэтл и Ванкувер, чтобы ознакомиться с только

что построенной, но еще не введенной в действие веткой американской железной дороги. Оба города мало что могли ему открыть, и, едва завершив свой разгул по северно-западным долам и весям Америки, он с неутолимой жадой исчерпать ее просторы двинулся в Мексику и Мексиканский залив, заглянув и в район Карибского моря, и, таким образом, охватил за шесть-восемь месяцев не меньше двадцати тысяч миль американских земель и вод.

По возвращении в Вашингтон он пришел к мысли, что достаточно насмотрелся на окраины жизни — тропические острова, отшельничество в горах, архаический уклад и допотопные человеческие типы. Все это было бесконечно интереснее и несравненно живописнее, чем цивилизованный мир, но служило воспитанию исключительно художников, а на шестидесятом году жизни художник в Адамсе уже угасал; сохранилась лишь некая острая рассудочная неугомонность, и его носило по свету от одного воплощения прекрасного к другому, словно искусство было рысистой скачкой. К такой возрастной неумности он был в какой-то мере подготовлен: образ непоседливого старика живет на сцене с тех пор, как появилась драма. Смущало другое — почему подводит противоположная или механическая сторона его «я», где не требовалось ничего, кроме чисто рассудочного усилия.

Полагая, что полным антиподом искусству является статистика, Адамс ударился в статистику, надеясь найти в ней прочный фундамент для воспитания. Наука эта оказалась легчайшей из всех, за какие он брался. Само правительство охотно публиковало статистические данные — бесконечные колонки цифр, неиссякаемые «средние» в неограниченном количестве, по первому требованию. Уоррингтон Форд из Статистического управления снабжал любым материалом, каким только любопытство ни пожелало бы заполнить дыры, образованные невежеством, да еще учил латать их с помощью фактов. На минуту показалось, что под ногами появилась твердая почва и выведенные «средние», приобретя силу зако-

нов, ведут прямо в будущее. Смущало, однако, — и, пожалуй, более всего — отношение к своей науке самих статистиков, которые отнюдь не проявляли горячей приверженности собственным цифрам. Им следовало бы черпать в них твердую уверенность, они же рассуждали как люди сторонние, малосведущие. Метод не давал веры. На самом деле с каждым увеличением массы — объема и скорости — появлялись, очевидно, какие-то новые элементы, и ученый-статистик, твердо усвоивший арифметику, но не знавший алгебры, впадал в мистический ужас перед непостижимой для него сложностью — разобраться в нагромождении фактов. Концы не сходились с концами. В принципе, опираясь на цифры, ничего не стоило провозгласить как расцвет общества, так и его распад. Невозможно было представить сколько-нибудь убедительные возражения ни против созидательной концепции Адама Смита, ни против уничтожающей критики Карла Маркса, ни против анархистских воплей Элизе Реклю. Зато можно было сколько угодно наслаждаться картиной гибели любого общества в прошлом или радоваться, доказывая неизбежность крушения любого общества, какое могло возникнуть в будущем. А пока эти самые общества вопреки всем законам — нравственным, арифметическим, экономическим — не только воспроизводили друг друга, но с каждым разом создавали новые сложности, а с каждой новой сложностью содействовали развитию массы.

Если говорить о людях, дело обстояло еще хуже. Со времени ошеломляющего открытия в 1867 году Pteraspis ничто так не ошеломляло, как поведение человечества в годы, названные *fin de siècle*. Казалось, никого не волновало ни настоящее, ни будущее — разве только анархистов, да и то из чувства острой неприязни к настоящему. Адамс также испытывал — и не меньшую, чем они, — неприязнь к современному обществу, да и интерес к будущему в нем почти угас, и единственное, что поддерживало у него желание жить, так это раздражение по поводу того, какую бессодержатель-

ную жизнь он ведет. А пока он наблюдал, как человечество шагает вперед, подобно веренице выючных лошадей вдоль Снейк-ривер, попадая из одной трясины в другую и затевая — в короткие промежутки между маршами — по примеру Каина братоубийственные войны. С 1850 года боины следовали одна за другой, но общество почти не обращало на них внимания — разве только число жертв, как в Армении, превышало сотни тысяч; войны в мире почти не прекращались; война вот-вот грозила разразиться на Кубе, вспыхнуть в Южной Африке и, возможно, прокатиться по Манчжурии, и это при том, что все беспристрастные судьи считали войны не только ненужными, но безрассудными, вызванными алчностью самого низменного класса, который, как во времена фараонов и римлян, рвался грабить своих соседей. Грабеж — еще куда ни шло — был делом, возможно, естественным и неизбежным, но убийства казались чем-то в высшей степени допотопным.

В минуту растерянности, не зная, как объяснить такую кровожадность в человечестве — как черту, унаследованную от *Pteraspis* или акулы и сохранившуюся, по-видимому, вопреки нравственному совершенствованию общества? — Адамс принялся изучать религиозную прессу. Возможно, сдвиги в человеческой натуре обнаружат себя в ней? Увы. Корить ее он не считал нужным, но в качестве движущей силы предпочел энергию акулы, имевшей шансы измениться к лучшему. К тому же он сильно сомневался — с болью отмечая отсутствие религиозного чувства, — что значительная часть общества питает интерес к загробной жизни или к настоящей лет тридцать спустя. Ни в поступках, ни в высказываниях, ни в художественных образах не обнаруживалось и тени скрытой веры или надежды.

Цель воспитания, таким образом, менялась. Многие годы люди учили и учились тому, чем мир перестал интересоваться, и если бы можно было построить воспитание на новых началах, следовало прежде всего выяснить, чем

же интересуется основная масса человечества. Религия, политика, статистика, путешествия ни к чему пока не привели. Случайное воспитание также не могло дать плодов: человеческий ум и так уже был безнадежно забит и захламлен миллионами случайных впечатлений, в беспорядке осевших в памяти. Таким способом можно было с тем же успехом воспитывать и образовывать песчаный карьер. Бессмысленная задача. Но самого ученика она смущала даже меньше, чем открытие, что, продолжая решать ее, он сам себе становится смешон. Ничто так не утомляет, как вышедшие из моды методы овладения знаниями.

Но тут, как уже не раз бывало прежде, избавление принесла ему женщина. В середине лета 1895 года миссис Кэбот Лодж, собравшаяся вместе с мужем-сенатором и двумя сыновьями посетить Европу, предложила Адамсу присоединиться к ним. Изучение истории уже тем полезно историку, что открывает ему, как мало известно о женщинах, и это особенно очевидно всякому, кто достаточно знаком с так называемыми историческими источниками: женщин прошлых веков, о которых хоть что-то известно, можно перечесать по пальцам. К тому же все, что мы знаем о женщине от мужчины, неверно, а среди женщин лишь одна-две, подобных мадам де Севинье, оставили свой портрет. Что касается американской женщины девятнадцатого века, то она предстанет только такой, какой ее видели мужчины; возможно, ее будут знать даже меньше, чем американок восемнадцатого века, — ведь ни одна из потомства Абигайл Адамс не стала нам такой же близкой, как она, благодаря своим письмам; и это большая утрата для истории, ибо американки девятнадцатого века умели куда лучше поддерживать беседу, чем их соотечественники-мужчины, и, возможно, куда лучше, чем их бабушки. С миссис Лодж и ее мужем, сенатором с 1893 года, у Адамса сложились давние отношения, в которых он играл роль старшего брата или дяди еще с тех пор, когда, положив на стол доцента Гарвардского универ-

ситета Адамса свои экзаменационные листы, студент Кэбот Лодж перешел улицу, чтобы венчаться в церкви Спасителя города Кембриджа. С самим Лоджем — историком, коллегой по университету, соредактором по «Норт Америкен ревью» и реформатором 1873—1878 годов — Адамс шел рука об руку, но с Лоджем — политическим деятелем последующих лет — у него было мало общего; а так как Лодж имел, по мнению Адамса, несчастье стать не просто сенатором, а сенатором от штата Массачусетс — звание, которое, как Адамс знал по опыту, роковым образом сказывалось на дружбе, — суеверный ученый, хорошо знакомый с законом исторической неизбежности, мог отнести его только к числу врагов. Но, исключая это обстоятельство, Адамс высоко ставил Лоджа, а в пустыне человеческой посредственности неизменно ценил приветливый оазис его дома. Сближаться с сенаторами всегда опасно, но с сенатором — мужем замечательной женщины и отцом замечательных сыновей, которые не питают почтения к сенаторам как таковым, — можно иногда, пока они держат его в узде, сблизиться и безнаказанно.

Туда, куда звала миссис Лодж, следовали за ней с благодарностью, итак, волею случая, в августе 1896 года Адамс впервые очутился в Нормандии — Кане, Кутансе и Мон-Сен-Мишеле. Если в истории имелась глава, которую, как ему казалось, он знал назубок, то это были двенадцатый и тринадцатый века; но потрудиться — не значит постичь, и то, что до сих пор составляло для него плацдарм для построения лекционного курса, теперь, не без воздействия глаз помоложе и умов посвежее, чем его собственные, превратилось в девственные леса, шумящие зеленой и сочной листвой. Как же, должно быть, искажило его восприятие в юности пристрастие ко всему немецкому! Молодые Лоджи в мгновение ока увидели то, что в его глазах не представляло ценности как не немецкое. Они купались в атмосфере Нормандии 1200 года — и этот их восторг, вероятно, их отцу-сена-

тору показался бы безвкусным и бессмысленным, ибо он принадлежал к людям, всю жизнь старавшимся убедить себя, что могут дышать только воздухом американских метелей. Тем не менее атмосфера Нормандии постепенно выявляла подсознательные свойства сенатора. Попав по воле прихотливой судьбы в тринадцатый век, даже сенатор становился естественным, простым, увлеченным, утонченным, артистичным, широким — человеком с умом и сердцем.

Старые проблемы, которые Адамс теперь увидел заново, сквозь призму видения Лоджей, осветились по-новому и обрели остроту, избавившись от наслоений немецкого гелертерства. Сначала он не понимал, в чем состоит эта новизна; внешне все оставалось прежним, с тем же комплексом эмоций, как тогда, когда он знакомился с Уэнлокским аббатством или Pteraspis, но, сам того не замечая, он раз и навсегда избавился от пристрастия к архаическому ради архаического и антикварианизма и возвратился в Вашингтон, обретя новое чувство истории. Снова его понесло на юг, и в апреле он вместе с Камеронами побывал в Мексике, где с наслаждением предался изысканиям по части pulque¹ и архитектуры в стиле «чурригереско». В мае он уже колесил вместе с Хеем по Европе, добравшись на юге до Равенны. На этом их поездка закончилась. Проехав, таким образом, за 1896 год тысячи миль по старым своим следам, Адамс в октябре прибыл домой, чтобы вместе со всеми избрать президентом Маккинли и начать строить мир заново.

По старому миру — его общественным деятелям и их свершениям начиная с 1870 года — Адамс слез не лил. В недрах ли этого мира или вне его, за время его бытия или после, участником или историком, он не видел в нем ничего достойного похвал и ничего, что хотелось бы сохранить. И в этом отношении лишь отражал настроение всего народа, который, склоняясь на сторону то одной, то другой

¹ Пульке (мекс.) — напиток из сока агавы.

равно непопулярных партий, четко проявлял отсутствие симпатии к обеим. Даже среди самых высоких должностных лиц, стоящих у власти в том поколении, Адамс не знал ни одного, кто помянул бы эти годы добрым словом. Такой бездарной политики Америка не видела с того момента, когда Христофор Колумб нарушил гармонию ее первобытного существования. И это отсутствие интереса к общественным делам в столь узком кругу, как вашингтонский, естественно, привело нашего праздного наблюдателя к тому, что он оказался в полной зависимости от своих личных знакомств. Ему ничего не оставалось, как, тащась по длинной перспективе Пенсильвания-авеню, оглядываться исключительно на своих друзей и не смотреть ни на кого иного. С годами его жизнь все больше сужалась, все больше концентрировалась вокруг нескольких домов на Лафайет-сквер, обитатели которых уже не принимали прямого и личного участия в администрации — разве только мистер Блейн, чья крикливая борьба за существование ставила его в особое положение. Не успел мистер Маккинли разместиться в Белом доме, как тотчас наложил свою тяжелую руку на этот обособленный кружок. Мгновенно все гнездо, так медленно свивавшееся, разрушилось и развеялось по свету. Адамс остался совсем один. Джон Хей принял назначение в Лондон. Рокхилл отбыл в Афины. Сесил Спринг Райс похоронил себя в Персии. Камерон отказался от всякой общественной деятельности как в Америке, так и за границей, и его дом на Лафайет-сквер опустел. Только Лоджи и Рузвельты не покинули насиженных мест, но даже их немедленно поглотил водоворот борьбы за власть. Равного по силе катаклизма американское общество не испытывало с 1861 года.

Но это было еще не самым худшим. Тому, чьи интересы лежали главным образом в сфере внешней политики и кто остро ощущал, каким трагическим хаосом оборачивались события на Кубе, Гавайях и в Никарагуа, человек, возглавив-

ший государственный департамент, казался важнее хозяина Белого дома. Адамс не знал никого в Соединенных Штатах, кто в тот момент, перед лицом враждебной Европы, с честью справился бы с этой должностью и не рискнул бы называть для нее кандидата. Как же он был ошарашен, услышав, что президент прочит в государственные секретари сенатора Джона Шермана с целью освободить его место в сенате для мистера Ханна. Даже Грант не позволил бы себе ничего подобного по отношению к человеку, прожившему достаточно долгую жизнь, чтобы разбираться если не в том, в чем состоит суть данной должности, то, уж во всяком случае, в том, как можно ее использовать, чтобы расплатиться со своими сторонниками. Джон Шерман, который в иных обстоятельствах как нельзя лучше подошел бы для этого поста и чье благотворное влияние длилось сорок лет, был, увы, уже слабым и дряхлым стариком, так что вся эта затея выглядела в глазах Адамса надругательством над старым другом, а заодно и над государственным департаментом. Можно было бы только пожимать плечами, назначь президент государственным секретарем мистера Ханна; но, если мистеру Ханну и недоставало должного опыта, он был человеком с огромным весом, и выбор много худший часто оборачивался удачей. Что же касается Джона Шермана, его это назначение неотвратимо доконало бы.

На этот раз не только политическая перспектива, но и сами люди выглядели отвратительно. Можно спокойно перенести, когда коррупцией заражены враги, но не друзья! Адамсу торговля должностями представлялась явлением в сто крат более тлетворным, чем мелкое взяточничество, на разоблачениях которого делали свой бизнес газеты. Положение не менялось к лучшему от того, что, по слухам, президент намеревался, как только Джон Шерман подаст в отставку, сделать главой государственного департамента Джона Хея. Напротив, если бы Хей — пусть неосознанно — принял участие в подобной интриге, этим он навсегда по-

ложил бы конец любому интересу своего друга к общественным делам. Однако даже без этого сокрушительного удара Вашингтон становился местом, непригодным для обитания. В нем оставалось только размышлять в одиночестве, наблюдая за деятельностью Маккинли, которая «радовала» так же, как и деятельность его предшественников, или господ сенаторов, не вносивших ничего нового в то, что по-французски выразительно называется *embêtement*¹, или за деятельностью бедняги Шермана, которая могла лишь навлечь неприятности на его друзей. Приходилось снова уезжать!

Ничего не было легче! Сколько уже раз начиная с 1858 года, с небольшими перерывами, Адамс собирал свой чемодан, как и сейчас — в марте 1897-го. И все же, потратив шесть лет драконовых усилий на то, чтобы образовать себя на новых началах, он не мог рекомендовать свой путь молодежи. Путь этот не сулил надежды. С каждым разом — с тех пор, как в 1860 году шумливый дух гражданского права был заперт в темном чулане, — цель путешествия становилась все туманнее. А между тем даже Ноев голубь не искал на свете пристанища столь рьяно и столь безуспешно. Но голубя, искавшего место для отдыха, устраивало любое место на воде или суше. А какой насест мог устроить голубя шестидесяти лет, одинокого, невежественного, утратившего вкус даже к оливкам? Правда, такая доля не заказана и молодому человеку; но, пожалуй, молодым людям весьма полезно заранее знать, что в преклонном возрасте они вряд ли найдут на этой планете и десяток мест, где смогут провести в отшельничестве, не умирая от тоски, неделю, и ни одного, где выдержали бы год.

Мир не приемлет такого рода жалобы, с раздражением отвечая: в шестьдесят лет незачем обременять собою землю. И это, несомненно, верно, хотя и не оригинально. Но и шести-

¹ Досада (фр.).

десятилетний, с присущей его возрасту раздражительностью, не остается в долгу. С какой стати, заявляет он, на него взваливают задачу очищать мир от падали? Нет уж, раз он живет на свете, то имеет право требовать свою долю радостей — или по крайней мере жизненных уроков, поскольку они никому ничего не стоят, а мир, который не способен ничему научить и не хочет ничем порадовать, да к тому же безобразен, — такой мир имеет еще меньше прав на существование, чем он сам. Обе точки зрения, по-видимому, справедливы; но мир устало негодует на эпитеты, к которым общество прибегает на практике, — разумеется, кому же приятно, чтобы его в лицо называли скучным, невежественным, да еще и безобразным! — и, не имея доводов в свою защиту, огрызается: подобные вольности простительны юноше, а человеку в шестьдесят разумнее попридержать язык. Что верно, то верно! Но только слишком верно: это правило в силе и для тех, кому лишь вполовину лет. Только самым юным дозволено высказывать свое невежество и дурное воспитание. Пожилые, как правило, достаточно умудрены опытом, чтобы не выдавать себя.

Исключений из этого правила хватает в любом возрасте, о чем лучше всего знает многострадальный сенат. Но в молодости или в старости, женщины или мужчины, люди единодушны в одном: каждый хвалит молчание в других. Из всех свойств человеческой природы эта черта одна из самых неизменных. Достаточно лишь мельком взглянуть на то, что в человеческой истории было сказано о молчании глупцами и не сказано мудрыми людьми, чтобы убедиться: мнения по этому поводу — редчайший случай! — не расходятся. «И глупец, когда молчит, — сказал мудрейший из людей, — может показаться мудрецом». И это так; но чаще всего мудрейшие из людей, высказывая высокие истины, казались глупцами. Что молчание — золото, всегда признавали в других. О молчании с похвалой отзывался Софокл, чем, надо думать, немало удивлял афинян, для которых эта истина была

новне. Но в последнее время ее столько повторяли, что она уже приелась. Молчанием громогласно восторгался Томас Карлейль, Мэтью Арнолд считал его лучшей формой выражения (а Адамс считал форму выражения Мэтью Арнолда лучшей в его время). Алджернон Суинберн назвал молчание благороднейшим из всех поэтических средств. А у Альфреда де Виньи умирающий волк возглашал:

Постигни до конца тщету существования
И знай: все суетно, прекрасно лишь молчанье¹.

Даже Байрон, которого последующая эра, более обильная гениями, кажется, объявила равнодушным поэтом, не преминул заявить:

Не ближе ль к небу Альпы, чем жерло,
Дающее исход ужасной лаве².

а это вместе с другими его строками означает, что слова — лишь «преходящее томительное пламя», а уж кому, как не ему, это знать. Таково свидетельство поэтов, и вряд ли можно сыскать что-либо сильнее, чем эти две строки:

Нам на уста года кладут печать
Сегодня лучшим выпало молчать.

Никто из упомянутых здесь великих гениев не выказал веры в молчание как в лекарство от собственных недугов, зато все они, а вслед за ними и философия утверждали: ни один человек, включая шестидесятилетних, не достиг знания, и лишь немногим удалось постичь собственное невежество, что, в сущности, одно и то же. Более того, в любом обществе, достойном так называться, человека в шестьдесят всегда поощряли взять за обыкновение «поменьше знать,

¹ Перевод Ю. Б. Корнеева.

² Перевод О. Н. Чюминой.

побольше молчать», поскольку таким путем легче всего от него избавиться. В Америке молчание угнетало даже больше, чем незнание; но, возможно, где-то в мире все же существовал такой уголок — уголок стихийного молчания, хотя его, сколько ни искали, еще не нашли. И Адамс вновь пустился в путь!

Первый шаг привел его в Лондон, где, как он знал, обосновался Джон Хей. В Лондоне успело смениться столько американских посланников, что сам камергер двора потерял им счет; да и ничего нового ни для ума, ни для сердца британская столица не сулила. Тем не менее 21 апреля 1897 года Адамс прибыл в Лондон, где тридцать шесть лет миновали словно тридцать шесть дней: все еще царствовала королева Виктория, и на Сент-Джеймс-стрит не наблюдалось почти никаких перемен. Правда, на Карлтон-хаус-террас, совсем как на улицах Рима, на каждом шагу скрежетали зубами и хохотали призраки, и, проходя по ней, Адамс чувствовал себя словно Одиссей, теснимый со всех сторон тенями прошлого, и цепенел от «леденящего ужаса». Но весна в Лондоне всегда хороша, а май 1897 года выдался особенно светлый; все улыбались возвращению к жизни после тянувшейся с 1893 года зимы. Финансовые дела и у Адамса, и у его друзей вновь выправились.

Но радостное настроение быстро улетучилось: Адамс оказался старейшим англичанином среди англичан; он слишком хорошо знал семейные дразги, о которых лучше было не знать, и старые предания, которые лучше было забыть. Какому морщинистому Тангейзеру, возвратившемуся в Вартбург, нужна морщинистая Венера, чтобы понять, насколько он там чужой, и что даже его самобичевание воспринимается как самовосхваление. И Адамс перекочевал в Париж, где, обосновавшись в Сен-Жермене, принялся учиться и учить французской истории рой племянниц, которые, слетевшись под вековые кедры Павильона-д'Ангулем, резвились, разъезжая по густым аллеям Сен-Жермена и Марли. Время от времени из

Лондона приходили сдобренные юмором жалобы Хея, но ничто не могло нарушить летний покой согбенного Тангейзера, постепенно пришедшего к мысли, что во Франции он чувствует себя по-настоящему дома — лучше, чем в какой-либо другой стране. Подобно всем мертвым американцам, он, за неимением другого места, обрел свое пристанище в Париже. Там он и жил, пока в январе 1898 года в Париж не прибыли мистер и миссис Хей, и миссис Хей, вот уже двадцать лет его неизменный и верный союзник, не предложила ему отправиться вместе с ними в Египет.

Адамса мало прельщала еще одна поездка в Египет, но общество Хея его прельщало, и он охотно согласился последовать за ним и его женой на берега Нила. То, что они там видели и о чем беседовали, не внесло ничего нового в воспитание Адамса. Но однажды вечером в Ассуане, когда они любовались закатом солнца над Нилом, Спенсер Эдди принес телеграмму, сообщавшую о гибели броненосца «Мэн» на рейде Гаваны. Такого урока жизнь не преподносила с 1865 года. Только что нового можно было из него извлечь? Прислонившись к обломку колонны в зале Карнакского храма, Адамс наблюдал за шакалом — как тот крадется среди развалин. И шакалы предки, несомненно, так же кралась вдоль той же стены, когда была она частью здания. А как шакал оценивает молчание? Лежа в глубоких песках, Адамс изучал выражение лица сфинкса. Адамс помнил, чему учил его Брукс: отношения между цивилизациями зиждутся на торговле. И Генри двинулся дальше — или, может быть, его понесло вихрем? — вдоль побережья. Пытался обнаружить следы древней гавани в Эфесе. Поехал в Афины и, навестив Рокхилла, подбил его отправиться на поиски гавани в Тиренсе; затем в Константинополе они исследовали стены, воздвигнутые Константином, и купол, построенный при Юстиниане. Теперь его коньком стал верблюд, и он верил, что, если ехать долго-долго, храня молчание, где-нибудь на великих торговых путях, может быть, отыщется наконец и город мысли.

24. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (1898—1899)

Лето испано-американской войны пришлось на золотую осень Адамса, когда ему в его шестьдесят лет хотелось только одного — пожинать плоды, возвращенные за годы жизни. Он имел все основания испытывать удовлетворение. С 1864 года у него не было такого сознания силы и духовного подъема, такого числа друзей, разделявших его чувства. Чувство солидарности вызывает огромное удовлетворение и, что важнее, приносит сознание одержанной победы, и в этой связи в Лондоне 1898 года последнему оставшемуся в живых члену американской миссии 1861 года открывалось исключительно интересное зрелище. Пожалуй, он был единственным на свете, кто мог в полной мере насладиться драмой, разворачивавшейся на его глазах. В памяти запечатлелись все ее перипетии, начиная от закона о гербовом сборе, — и все полуторасотлетнее, с 1750 года, упорное непокорство его непокорных предков, как и собственное ничтожество в Гражданскую войну, — каждый шаг, имевший целью включить Англию в американскую систему мироздания. Ради этого его предки сочинили тома — целые библиотеки — аргументов и протестов, вели войну за войной, распалившись сами и ожесточив незлобивую и многотерпеливую пуританскую натуру своих потомков до такой степени, что даже личные секретари иногда позволяли себе быть почти несдержанными на язык. И вдруг, по чистой случайности, судьба сооблаговолила остановить свой выбор на Хее. После двухсот лет слепоты, порожденной алчностью и тупостью, — слепоты, от которой не спасали ни доводы, ни насилие, англичане наконец прозрели в тот самый момент, когда, не случись этого, на Хее обрушилась бы лавина копившихся веками бед. Хей и сам вряд ли понимал, как должен быть благодарен судьбе: всё переменялось без малейших усилий с его стороны. Хей видел

только ступени, которые неизбежно вели к этому, и полагал, что события разворачиваются естественным ходом; Адамсу, все еще жившему в атмосфере Пальмерстона и Джона Рассела, внезапное появление на мировой арене Германии, которая за двадцать лет достигла того, чего Адамсы тщетно добивались двести, — бросила испуганную Англию в объятия Америки, — происходящее казалось исполненным не меньшего драматизма, чем былые коварные деяния Наполеона Бонапарта. И при виде триумфа дипломатических усилий всей своей семьи с момента ее существования, наконец-то увенчавшейся успехом и к тому же принесшей пользу его старейшему и ближайшему другу, Адамс мог чувствовать только удовлетворение.

Все это касалось истории, а не воспитания. Тем не менее происходящее позволяло сделать серьезные — пожалуй, даже более того — глобальные выводы, если только урок этот заслуживал доверия. Впервые за все годы жизни Адамсом владело сознание, что в истории возможно движение к определенной цели. Никому другому на всей земле — даже Хею — триумф американской дипломатии не доставил такого ни с чем не сравнимого личного удовлетворения, но, сидя за столом у Хея и прислушиваясь к высказываниям очередного члена британского кабинета — все они казались Адамсу на одно лицо, — рассуждавшего о Филиппинах как о вопросе баланса сил на Востоке, он убеждался, что полтора десятилетия усилий его семьи вдруг привели к величайшей перспективе создания подлинной империи, к построению которой Хей приступил теперь с артистическим блеском. Старинный грубый фундамент выглядел крепче и основательнее благодаря изяществу и прочности воздвигнутой на нем аркады. В длинном списке американских посланников ни один не сумел придать всему строению такой утонченности, гармонии и бесподобной легкости, какое оно получило в руках Хея.

Никогда прежде Адамсу не удавалось обнаружить в истории действие закона, и по этой причине он не мог учить исто-

рии — хаосу учить нельзя; но теперь ему казалось, что в доказательстве последовательности и разумности человеческих дел есть и доля его заслуг, которую никто не имеет права оспаривать; и, вознесенный этим личным триумфом, он был равнодушен к другим дипломатическим результатам войны. Он знал, что Порто-Рико вот-вот падет, но был бы рад, если бы Филиппины избежали той же участи. Помимо того что ему, как никому, было известно, чего стоили острова в Южных морях, он хорошо знал Вест-Индию и был убежден: что бы ни считали и ни говорили американцы, им рано или поздно придется стать там жандармами — и не из-за Европы, а защищая как ее интересы, так и свои собственные. Из уроков, полученных на окраинах цивилизации, извлечь удастся не слишком много, но уж этому-то они учат. Адамс не испытывал желания взваливать себе на плечи груз архипелагов в чужом полушарии — и без того приходилось напрягаться изо всех сил, чтобы справиться с грузом архипелагов в своем. Но в Америке решили иначе, и он легко с этим согласился: в конце концов, дело американцев, сколько груза им нести; в Лондоне обсуждали лишь вопрос о балансе сил на Востоке, и, с какой стороны ни возьми, Адамсу оставалось радоваться результатам войны, как если бы он разделял ее опасности, а не был только заинтересованным зрителем, наблюдавшим за событиями на достаточно далеком от них расстоянии.

В июне, когда борьба интересов достигла критической точки, в Англию прибыли Камероны и, арендовав в графстве Кент прелестное старинное поместье, превратили его в своего рода резиденцию для сотрудников посольства. Кент не уступает Шропширу в очаровании, и немного найдется мест — даже рядом с множеством живописных уголков, разбросанных вдоль границ с Уэльсом, — которые были бы красивее и уютнее Саррендена с его саксонским наследием, аллеями, террасами, оленьим парком, огромной грядой холмов — царством покоя, и прекрасным видом, открывающимся на то, что некогда именовалось Андеридским лесом. Заполненный неис-

сякаемым потоком гостей, дом, казалось, только ждал случая открыть свои двери американцу, чьи действия получили в мире широкий резонанс, и, пожалуй, у телеграфиста глухого кентского местечка не было столько работы со дня битвы при Гастингсе. Именно там жарким днем — а точнее, 4 июля 1898 года — группу американцев, в тени деревьев ожидавшую новостей, известили о гибели Испанской армады, как могли бы известить в 1588 году королеву Елизавету; и туда же, несколько позже, пришло послание, в котором Хею предлагалось принять государственный департамент.

Хея вовсе не прельщал пост государственного секретаря. Он предпочел бы остаться послом, и его друзья встретили это новое назначение холодно. Им, как никому другому, было известно, сколько сил отнимает работа государственного секретаря и как мало их в запасе у Хея. Даже Сарренден он выдерживал с трудом и был бы рад найти достаточно веский повод для отказа. Вопрос подвергся серьезнейшему обсуждению со стороны всего конклава, и окончательное решение было таково: будь Хей обыкновенным соискателем должности, он, несомненно, мог бы отклонить предложенное повышение, но как член правительства права на это не имел. Ни один серьезный политический деятель не имеет права ни принимать награды, ни отказываться служить. Хей, разумеется, мог отказаться, но в этом случае он должен уйти в отставку. «Делать» президентов очень заманчивое развлечение для праздных американских рук, но, как всякая черная магия, эта забава имеет свойственные чертовщине темные стороны: тот, кто вызывает духа, обязан ему служить, пусть даже ценою гибели души и тела. Хею эта служба, несмотря на все ее тяготы, могла принести какую-то пользу; его друзьям, единоклассникам в своем бескорыстном приговоре, — одни утраты. Адамс от огорчения просто помешался. Он знал по опыту — из этого малярийного болота никто еще не выходил невредимым. В его представлении должность была ядом: она разъедала тело и душу, убивала в физическом и социальном смысле.

Должность отравляла сильнее, чем сан священника или преподавательская кафедра, так как давала значительно больше власти. Но яд, о котором говорил Адамс, источало не честолюбие; Адамс не разделял запоздалого покаяния кардинала Уолси, бичевавшего себя за то, что он обладал этим здоровым стимулом к деятельности. Речь шла о поражении воли — искажении зрения — извращении ума — деградации нервной ткани — огрублении вкуса — утрате чувства жалости к запертой в клетке крысе. Хей не нуждался в должности, чтобы пользоваться влиянием. Оно и так валялось у него под ногами — нагнись и подбери. И власти у него было предостаточно без всякой должности. При его положении в обществе, богатстве, политическом опыте, постоянном пребывании в центре политической жизни и связях с партийными лидерами он не мог не иметь влияния. Он стремился к иному — не иметь неприятностей, и полностью отдавал себе отчет, что в свои шестьдесят лет, тяжело перенося физическое напряжение и еще тяжелее жестокость, мстительность и предательство, берется исполнять обязанности государственного секретаря, рискуя собственной жизнью.

Ни Хей, ни окружавшие его в Саррендене друзья даже не делали вида, будто рады его новому назначению, и, хотя он держался весело и мило шутил, его одолевали мрачные мысли, отнюдь не светлевшие от того, что сдобривались юмором; подчиняясь президентскому приказу, Хей давал согласие с тяжелым сердцем и в самом подавленном настроении, какое когда-либо скрывал за улыбкой. Адамса также одолевали мрачные мысли, но не столько из-за перспектив Хея, сколько из-за собственных: если Хею этим назначением по крайней мере оказывали честь, его друзьям оно ничего хорошего не сулило. Но на Хея, как всегда в важных делах, подобные соображения действовали меньше всего, да и Гражданская война, оставив неизгладимый след на всех, кто ее прошел, выработала у них определенные привычки. Надев на плечи свой солдатский ранец, Хей двинулся домой. Адамс не со-

бирался терять друга без борьбы, хотя не помнил случая, когда подобная борьба кончалась успехом. Шансы на победу равнялись нулю, тем не менее он не мог ими пренебречь и, как только общество в Саррдене рассеялось, 17 октября приготовился к отъезду и уже 13 ноября без особой радости вновь обзирал из своего окна Лафайет-сквер.

Итак, он снова взял в жизни неверный курс, потеряв еще два года, только на этот раз ему не было оправданий — ничто, ни политика, ни общество никуда его не сбивали. С политической деятельностью Хейя — как внутренней, так и внешней — он не имел ничего общего и никогда не выражал одобрения взглядам или методам своего друга, да и Хейя не интересовало, одобряют ли их его друзья или порицают. Их круг объединяло стремление помогать друг другу справляться с жизненными обстоятельствами и сохранять личные отношения. Даже в этом Адамса постигла бы неудача, если бы не миссис Хей: поняв, что мужу необходимо отвлекаться от дел, она приучила его делать днем перерыв и отправляться с другом на часовую прогулку, за которой следовала чашка чая в обществе миссис Хей и легкий разговор с каким-нибудь случайным гостем.

На ближайшее время, таким образом, дружеские отношения сохранялись, по крайней мере внешне, и Адамс мог вернуться к собственным занятиям, которые мало-помалу приобретали определенное направление. Слово «занятия» было здесь, пожалуй, не совсем уместно, так как, по правде говоря, целенаправленно он ничем не занимался, а переходил от предмета к предмету — к тому, что его привлекало. Началась очередная сессия конгресса, вашингтонский кружок распался, и 22 марта Адамс вместе с Лоджами отплыл в Европу, чтобы провести апрель на Сицилии и в Риме.

Путешествие с Лоджами неизменно давало богатую пищу уму. За сорок лет от того Палермо, который Адамс юношей увидел при Гарибальди в 1860 году, почти ничего не осталось, но Сицилия во все века преподносила один и тот

же урок — урок на тему: насилие и катастрофы, иступленно и безудержно развивая ее еще с тех пор, когда Улисс причалил к острову, привлеченный единственным глазом Циклопа. В уроках анархии, в которых невозможно усмотреть и тени исторической последовательности, Сицилия не знает себе равных и полностью отрицает эволюцию. Сиракузы учат большему, чем Рим. Но и Рим не был безгласен, а церковь Арачели, казалось, еще сильнее стягивала в единый узел все нити мысли, и каждое новое путешествие — в Карпак, Эфес, Дельфы, Микены, Константинополь, Сиракузы — все возвращало Адамса на ее ступени, все лежало на его пути в Капитолий. Какие интеллектуальные богатства таились в этих путешествиях, определить пока было трудно, но нравственных выводов набралось великое множество, а больше всех их поставлял Нью-Йорк, ибо Америка за сорок лет сделала такой гигантский шаг в сторону империи, что мир 1860 года отодвинулся к далекому горизонту и маячил где-то в одной плоскости с римской республикой Брута и Катона, так что школьникам, читавшим об Аврааме Линкольне, он казался таким же древним, как Юлий Цезарь. Огромное число американцев знали о Гражданской войне из учебников истории, как знали о мятеже Кромвеля или речах Цицерона, зато имели достаточное представление о политических убийствах, как если бы жили при Нероне. Империя явно и неуклонно, год за годом, приближалась к критическому рубежу, и порою казалось, что президент ее был Сулла, а Маккинли — консулом.

Ничто так не раздражало американцев, как эта простая и очевидная — ни в коей мере не оскорбительная — истина, и, встречаясь с соотечественниками на Капитолии, об этом лучше было молчать. К счастью, Лоджи, желая завершить свое образование, предприняли паломничество в Ассизи с целью проинтервьюировать Франциска Ассизского, чьи решения загадок истории — истории казались наиболее достоверными — или приемлемыми — по сравнению со всеми предложенными; они стояли того, чтобы потратить на их изучение еще сорок

лет, — стоили большего, чем вся премудрость Гиббона или даже св. Августина, св. Амвросия или св. Иеронима. На бывшего доцента этот новый взгляд на историю произвел ошеломляющее впечатление, вызванное поразительным контрастом между тем, чему он учил в 1874 году, и тем, что, смущенный, пытался познать теперь, двадцать пять лет спустя, — между его представлением о двенадцатом веке в тридцать и в шестьдесят лет. Тогда, в Гарварде, устав блуждать по пустыням англосаксонской юриспруденции, он нет-нет да раздражался насмешкой над тем, как льет кровь за высокие истины феодального права.

Hic jacet
 homunculus scriptor
 Doctor Barbaricus
 Henricus Adams
 Adae filius et Evae
 primo explicuit
 Socnam¹

Латынь этой эпитафии имела такое же отношение к двенадцатому веку, как и упомянутый в ней закон. Адамс просто иронизировал, делая вид, будто посягает на право считаться первым истолкователем его юридического значения. Правда, любой немецкий профессор не задумался бы принять его сатиру за чистую монету и возмутиться бесстыдством и сомнением ее автора, претендующего на бессмертие. Впрочем, в 1900 году все это уже не имело значения. Закон феодального землевладения открыли, или вывели, сэр Генри Мейн и Рудольф Зом; Адамс же, убедившись, что изучение религии не ведет к познанию исторического развития, а изучение политики ведет только к хаосу, уцепился за законы,

¹ Здесь покоится / человечешко пишущий / ученый варвар / Генрикус Адамс / потомок Адама и Евы / первый объяснивший / право феодального землевладения (*лат.*).

подобно тому как его слушатели цеплялись за Юридическую школу, не видя иного пути обрести профессию.

Законы оказались таким же негодным ориентиром, как политика и религия и любая другая нить, сплетенная пауком-схоластом; в них обнаруживалось не больше преемственности, чем в архитектуре или нумизматике. Франциск Ассизский презрел их все, решив проблему преемственности крайне просто — оставил ее без внимания. Сломленный и убитый, Адамс вернулся в Париж, готовый признать, что прожил бессмысленную жизнь, сознавая, что впереди его ничего не ждет. Лето он провел в одиночестве, грустно сравнивая его С минувшим, проведенным в Саррдене. Но одиночество пошло ему на пользу, побудив и принудив сделать то, что в обществе было невозможно, — разобраться в собственном невежестве. И в итоге он занялся последним делом своей жизни. Умирая от *ennui*¹, от которой он не знал уже куда деваться, Адамс, чтобы лето не пропадало зря, взялся за методическое исследование — триангуляцию — двенадцатого века. Тема эта позволяла заняться изучением таких чисто французских притягательных свойств, впрочем Францией давно утраченных, как умиротворенность, ясность, простота выражения, решительность в поступках, разнообразие местного колорита, по сравнению с которым краски современного Парижа выглядели блекло. Каким блаженством было погружаться в летние дни в атмосферу зеленых лесов и вечный покой приютившихся в них серых церквушек двенадцатого века, таких же непритязательных, как усеявший их стены мох, и столь же уверенных в своем назначении, как их круглые арки. Но церковей было много, а лето быстротечно, и Адамсу волей-неволей пришлось возвратиться на парижские набережные и довольствоваться фотографиями. Так он и жил, неделями не обмениваясь ни с кем словом.

¹ Скука (*фр.*).

В ноябре его одиночество нарушилось: случай занес в Париж Джона Ла Фаржа. Встреча с Ла Фаржем в этот момент имела для Адамса неоценимое значение. Начиная с 1850 года Ла Фарж оказывал огромное влияние на своих друзей; что же касается Адамса, который с 1872 года смотрел на него с благоговением, то на вопрос, чем он обязан Ла Фаржу, он мог ответить только так: нет той меры, какой он мог бы это измерить! Из всего круга его друзей только Ла Фарж обладал достаточно независимым и сильным умом, чтобы противостоять банальности американского единообразия, озадачивая этим большинство американцев, с которыми соприкасался. Американский ум — будь то ум бостонца, южанина или жителя Запада — идет к своей цели напролом, утверждая или отрицая что бы то ни было как непреложный факт; американцам свойствен традиционный подход, традиционный анализ, традиционные выводы и традиционная форма выражения, хотя они громогласно повсюду заявляют о своем пренебрежении к традициям. Ла Фарж в этом отношении был полной противоположностью своим соотечественникам. Он подходил к предмету неспешно, окольными путями, обнимая его со всех сторон и не отрывая от окружающей среды; Ла Фарж гордился тем, что верен традициям и обычаям; он никогда не торопился с выводами и терпеть не мог споров. Его манеры и образ мыслей оставались неизменны независимо от того, болтался ли он в вельботе посреди океана и, изнемогая от морской болезни, пытался рисовать морские этюды, или, чтя японский официальный ритуал, участвовал в церемонии *cha-no-yu*¹, или, согласно обряду, потягивал каву из кокосовой чаши в кругу самоанских вождей, или же предавался раздумьям под священным деревом в Ана-радждпуре.

Никогда не было уверенности, что вы полностью уловили смысл его высказывания — разве только, когда отвечать уже

¹ Чайная церемония (*яп.*).

было поздно. Его ум охватывал явление во всех его противоречивых оттенках. Мысль Ла Фаржа, пользуясь словами, сказанными им о своем друге Окауре, «текла словно речка в траве — ее не видно, но она тут», и часто нелегко было определить, в каком направлении она движется — ведь даже в противоречии Ла Фарж видел лишь еще одну характерную черту, дополнительный цвет, существование которого не станет отрицать ни один мыслящий художник. Споров Ла Фарж не признавал. «К чему столько доводов, Адамс!» — неизменно останавливал он друга, даже если речь шла о рисе и манго, составлявших их ужин теплыми вечерами на Таити. С равным успехом он мог бы укорять Адамса в том, что тот родился в Бостоне! Любовь к спорам — свидетельство недостаточно развитого ума, а совершенный ум Адамс не встречал никогда!

Эксцентричность, по мнению Ла Фаржа, означала банальность: истинно эксцентрический ум себя не выдает. Он проявляется в тоне, в оттенках — в *nuance*¹, — и чем неуловимее, тем подлиннее. Все художники, разумеется, в своем искусстве придерживаются на этот счет более или менее той же точки зрения, но очень немногие переносят ее на повседневную жизнь, и контраст между их художественными произведениями и высказываниями по большей части весьма ощутим. Как-то вечером Хамфрис-Джонстон, большой поклонник Ла Фаржа, пригласил его отужинать с Уистлером, намереваясь их познакомить. Ла Фарж чувствовал себя больным — хуже обычного при его слабом здоровье, — тем не менее непременно захотел встретиться с Уистлером, искусством которого интересовался и восхищался. Случилось так, что Адамса посадили с ними рядом и он невольно слышал все, о чем они говорили, — впрочем, не слышать, что говорил Уистлер, было невозможно, так как тот гремел на весь стол. Англичане в то время вели войну с бурами, которые неистово им сопротивлялись, а Уистлер, как известно, неистовствовал

¹ Ньюанс (*фр.*).

по поводу этой войны пуще самих буров. Битый час он клял Англию — остроумно, с пафосом, не стесняясь в выражениях, зло, забавно и шумно, — но по сути не сказал ничего, кроме общих мест, — одни прописные истины! Иными словами, его слушателям, включая Адамса и, насколько тому известно, Ла Фаржа, оставалось лишь соглашаться с тем, что он говорил, как с само собой разумеющимся. А Ла Фарж молчал, и в этой разнице в выражении своих чувств заключалась и разница в подходе к искусству. В искусстве Уистлер превзошел то чувство оттенка и тона, которых достиг, или только пытался достичь, Ла Фарж, но в высказываниях он обнаруживал стремление казаться эксцентричным, хотя подлинной эксцентричности — разве лишь в переливах настроения — тут не было и следа.

Страстность, которую Уистлер никогда не проявлял в живописи, Ла Фарж излил, по-видимому, в своих работах по стеклу. Адамс был некомпетентен судить об истинном месте его витражей в истории художественного стекла, да и сами художники, как ни странно, были обычно в этой области даже менее компетентны, чем он. Но как бы там ни было, именно этот вид искусства толкнул Адамса в глубь веков — в двенадцатое столетие и шартрские соборы, где Ла Фарж чувствовал себя как дома, в некотором смысле даже хозяином. Другим американцам, за исключением принадлежащих к церкви или работавших по стеклу, вход туда был заказан. Адамс и сам выступал в роли незваного гостя, которого Ла Фарж терпел только в силу долгой дружбы и зная его как человека благожелательного, хотя, увы, и бостонца. Но Адамсу больше ничего и не требовалось; дожив без малого до шестидесяти лет, не ведая, что такое художественное стекло и Шартр, он жаждал заполнить этот пробел, и помочь ему в этом мог только Ла Фарж. Один лишь Ла Фарж умел работать по стеклу, как мастера тринадцатого века, — это Адамс понимал! В Европе искусство стекла уже много веков как умерло, а современное стекло имело жалкий вид. Даже

Ла Фарж относился к средневековым витражам скорее как к документу, чем к исторически оправданной форме выражения эмоций, и из сотни окон в Шартре, Бурже и Париже Адамс не видел почти ни одного, которым витражи Ла Фаржа уступали бы по силе цветовой гаммы. В беседе у Ла Фаржа словно опал, переливался бесконечными оттенками, световыми бликами и приглушенными до тончайших нюансов красками. Его искусство витража было самобытно, ренессансно; он утверждал свое особое видение через беспримерную глубину и буйство красок. Казалось, он поставил себе задачу сокрушить любое соперничество.

Общение с Ла Фаржем рассеивало даже мглу парижского декабря, окутавшую отель «Елисейский дворец», и воспитание Адамса шагнуло в глубь веков — в Шартр. Но здоровье Ла Фаржа все больше внушало тревогу, и Адамс облегченно вздохнул лишь 15 января, когда благополучно доставил его в Нью-Йорк, а сам поспешил в Вашингтон: ему не терпелось узнать, как обстоят дела у Хей. Ничего хорошего он не ждал: тяжелые времена для Хей только начались — тяжелее, чем он предполагал. Помощи ему, как видел Адамс, да и сам Хей, ждать было неоткуда, но говорить с ним об этом Адамс не стал. Он опасался, что у Хей не хватит сил, что президент вопреки первоначальным намерениям его не поддержит, а товарищи по партии предадут. Но еще больше, чем дела Хей, Адамса волновала война Англии с бурами. Он видел в ней политическую проблему, превосходившую по значению все прочие, с какими сталкивался со времени «зимы предательства» 1860—1861 годов. К его величайшему удивлению, американцы не разделяли его взгляда: их враждебность к Англии не выходила за пределы брюзжания, вызванного дурным настроением; Адамса же эта война задевала чуть ли не лично, доводя до ярости. С детских лет ему внушали — даже в Англии, — что его пращур и их сподвижники 1776 года раз и навсегда установили свободы для британских независимых колоний, и его не устраивало, чтобы через сто пятьдесят

лет, после того как Джон Адамс начал действовать в этом направлении, его правнук был вынужден вновь обороняться и доказывать, апеллируя к закону и фактам, что Георга III можно считать кем угодно, но Джордж Вашингтон преступником не был. Вопрос о преступности Джона Адамса он по причинам сугубо личным наотрез отказывался обсуждать. Более того, считал себя обязанным пойти даже дальше и во всеуслышание заявить: если Англия когда-либо займет против Канады такую же позицию, какую заняла против буров, Соединенные Штаты в силу своей репутации сочтут своим долгом вмешаться и настоятельно требовать соблюдения принципов, установленных в 1776 году. По мнению Адамса, Чемберлен и его коллеги вели сугубо антиамериканскую политику, что ставило Хея в чрезвычайно затруднительное положение.

Приученный с юности в условиях Гражданской войны держать язык за зубами и помогать хоть как-то управляться с политической машиной, которая никогда хорошо не работала, Адамс не обсуждал с Хеем свои теоретические разногласия с практическими действиями того, хотя и размышлял об этом постоянно. Хей, ожидавшего благоприятного поворота судьбы, могли выручить только терпение и добродушие. Адамса же, который никогда не игнорировал и не отрицал очевидные факты, с точки зрения политического воспитания все это волновало в высшей степени. Но практическая политика как раз в том и состоит, чтобы закрывать глаза на факты, а воспитание и политика — вещи разные и противоположные. В данном случае, по-видимому, диаметрально противоположные.

К политике Хея — как внутренней, так и внешней — Адамс отношения не имел. Хей принадлежал к нью-йоркской школе, из которой вышли Абрам Хьюит, Эвартс, У. Уитни, Сэмюэл Тилден — люди, участвовавшие в политической игре из честолюбия или ради удовольствия, хотя вели ее куда лучше профессиональных политиков и, ставя перед собой цели значительно более широкие, чем те, не питали большой любви к мелкой повседневной деятельности. В свою очередь

профессиональные политиканы не питали большой любви к ним и при первой же возможности старались их устранить. Однако ньюйоркцы контролировали денежные средства, поэтому обойтись без них не могли; но даже это не всегда помогало им проводить свою точку зрения. История Абрама Хьюита показательна для одного типа деятелей этого ряда, карьера Хей — для другого. Президент Кливленд устранил первого; президент Гаррисон — второго. «Политикой тут и не пахнет» — так прокомментировал он назначение Хей на пост государственного секретаря. Хей придерживался противоположного мнения и согласился служить Маккинли, чье суждение о людях отличалось не в пример большей проницательностью, чем это было свойственно американским президентам. Мистер Маккинли подошел к решению вопроса об американской администрации по-своему, явно отдалившись от тех принципов, в каких был воспитан Генри Адамс, — но, по-видимому, весьма практично и чисто по-американски. Он задался целью собрать всех предпринимателей в общий трест, куда все они принимались, по сути дела, без разбора, и надеялся, что сама масса даст, под его руководством, огромный эффект. Он добился весьма значительных результатов. Правда, они дорого обошлись. Но когда народ доведен до последней грани, а страна стоит перед лицом хаоса, последствия, пожалуй, могут обойтись дороже.

Сам отменный руководитель, Маккинли подобрал себе в помощь несколько человек, обладавших не меньшим организаторским даром; одним из них был Хей, но, к несчастью, сил у него было меньше, а задача труднее, чем у остальных. Объединить американские корпорации было делом не столь сложным — стоило только оценить каждую по достоинству. Но то, что помогало в одном случае, вредило в другом — например, во внешних отношениях Хей считал, что Америке следует прежде всего объединиться с Англией; однако Германия, Россия и Франция объединились в то время против Англии, и война с бурами их в этом оправдывала. Программу

Хей ни внутри страны, ни вне ее не поддерживал никто, кроме Паунсфота, и Адамс был убежден, что только благодаря Паунсфоту Хей и держится.

При всем том трудности во внешней политике не шли ни в какое сравнение с препятствиями, на которые Хей наталкивался в самой Америке. Сенат становился все более и более неуправляемым, каким не был со времени Эндрю Джонсона, и вина за это лежала не столько на сенате, сколько на самой системе.

«При нормальном положении вещей, — сетовал Хей, — мирный договор ратифицируют единогласно за двадцать четыре часа. На прения вокруг нынешнего сенат потратил шесть недель, а ратифицировали его большинством в один голос. Сейчас ждут решения пять, даже шесть договоров. Я могу заключить их с честью и выгодой для Америки, но, как утверждают ведущие члены сената, ни один из них при обсуждении в сенате там не пройдет. Чтобы их ратифицировать, требуется иметь большинство, а оппозиционно настроенная треть непременно их провалит. Вот к какому чудовищному итогу мы пришли из-за ошибки, первоначально допущенной в конституции. Причем, пойми, в сенате будет отвергнуто не только *мое*, а любое решение. Например, любой договор с Англией по любому вопросу. Любой серьезный договор с Россией или Германией также вряд ли будет принят. Недовольную треть составляют разные лица, но она неизменно есть и всегда голосует против. Так что практически обязанности государственного секретаря сведены к трем пунктам: отклонять любые требования со стороны других государств; отстаивать любые более или менее мошеннические требования со стороны наших граждан к другим государствам; находить для друзей сенаторов доходные должности, даже когда их нет. Ну скажи, стоит ли мне продолжать эту никчемную деятельность?»

Десятки известных Адамсу и Хейу лиц сражались с теми же врагами, и вопрос этот был чисто риторическим. Все, что

Адамс мог бы по его поводу сказать, он уже сказал в добром десятке томов, посвященных истории столетней давности. Нынешняя казалась ему настолько знакомым зрелищем, что порою выглядела даже смешной. Интриги велись совершенно открыто, и это делало их неинтересными. Давление на прессу и сенат со стороны немецкого и русского посольств, как и партии Клан-на-гэл, откровенно ничем не маскировались. Обаятельный русский посланник, граф Кассини, идеальный дипломат по своим манерам и воспитанию, чуть ли не каждый день обращался через прессу к американцам с осуждением их правительства. Немецкий посланник фон Холлебен держался осторожнее, но занимался тем же, и, разумеется, каждый их шепоток тут же доводился до сведения государственного департамента. Три эти силы вместе с постоянной оппозицией и прирожденными обструкционистами могли в любое время парализовать деятельность сената. Творцы конституции ставили целью несколько ограничить деятельность правительства, и это им удалось, но созданный ими механизм не предназначался для общества мощностью в двадцать миллионов лошадиных сил — общества двадцатого века, где большую часть работы требуется делать быстро и эффективно. Единственным оправданием системы могло служить правительство, которое за неспособностью управлять хорошо лучше не управляло бы вовсе. Но правительство, по правде говоря, делало превосходно все, что ему давали делать, и даже если бы обвинение в неспособности было справедливо, в этом отношении оно в равной степени могло быть отнесено к человеческому обществу в целом. И все же, выражаясь понятиями, принятыми в механике, нужное количество работы должно быть сделано, а плохой механизм лишь создает избыток трения.

Человек всегда бескорыстный, великодушный, снисходительный, терпеливый и верный, Хей смотрел на мир как на единое целое, не расщепляя его на куски, чтобы избавиться от недостатков; он любил его таким, какой он есть; смеялся над

ним и принимал его; он не знал, что значит быть несчастным, и охотно повторил бы свою жизнь заново в точности такой, какой она сложилась. Вся нью-йоркская школа отличалась таким же налетом юмора и цинизма, более или менее явным, но в основном незлобным. Тем не менее и самый жизне-радостный нрав от постоянного трения в конце концов портится. Старая дружба быстро увядала. Привычка оставалась, но душевная близость, беспечная веселость, искрометная шутка, равенство бескорыстных отношений — все это тонуло в рутине служебных обязанностей; душа госсекретаря не покидала департамента; мысль целиком ушла в дела; остроумие и юмор чахли в глухих стенах политики, а поводы для взаимного раздражения появлялись все чаще. Главу министерства подобный результат, надо думать, только возвышал.

В аспекте воспитания это была давно изученная область — изученная лучше, чем двенадцатый век. Но задача установить закономерности, общие для двенадцатого и двадцатого веков, еще никем не ставилась. Для решения ее требовалось, чтобы политические, социальные и научные величины двенадцатого и двадцатого веков оказались связанными между собой каким-то математическим соотношением — пусть даже весь мир считал, что это невозможно, а познания Адамса в математике не выходили за пределы школьной формулы $s = \frac{gt^2}{2}$. Но если Кеплер и Ньютон позволяли себе вольности с Солнцем и Луной, почему бы некой безграмотной личности, затерявшейся в далеких джунглях Лафайетсквер, не позволить себе вольности по отношению к конгрессу и не попытаться вывести для него формулу, помножив половину ускорения его падения на время его существования, взятое в квадрате. Оставалось только найти величину — пусть сколь угодно малую — для ускорения его падения на рассматриваемом отрезке времени. Создать историческую формулу, согласующуюся с законами Вселенной. Такая возможность сильно волновала Адамса. Но тут он не мог рассчитывать

ни чью-либо помощь — он мог рассчитывать лишь на всеобщее осмеяние.

Коллеги-историки единодушно осудили подобную попытку, найдя ее не только тщетной и чуть ли не безнравственной, но вообще несовместимой с разумной исторической концепцией. Адамса же в ней привлекала прежде всего ее несовместимость с той историей, которой он некогда учил; он начал заново с иного конца именно потому, что, куда бы ни привел его новый путь, прежний был неверен. Он забивал себе голову миражами, а для знаний места там не оставалось. Начав сначала и приняв за отправную точку положения сэра Исаака Ньютона, он стал искать себе учителя, но тщетно. Среди ученых, обитавших в Вашингтоне, немногие стремились выйти за пределы школьной науки, а прославленнейший из них — Саймон Ньюком — был слишком основательным математиком, чтобы отнестись к идеям Адамса всерьез. Другой крупнейший, судя по рангу в науке, ученый — Уиллард Гиббс — не бывал в Вашингтоне, и Адамс так и не представился случай с ним познакомиться. Вслед за Гиббсом в ряду крупнейших значился Ленгли из Смитсоновского института; он был доступен, и Адамс неоднократно к нему обращался, чувствуя потребность облегчить груз собственного невежества. Ленгли выслушивал его головомольные вопросы внешне спокойно; он и сам как истинный ученый был подвержен сомнениям и испытывал сентиментальную потребность напоминать об этом. К тому же ему был свойствен общий для всех естествоиспытателей недостаток: заявлять, что ничего не знает, — правда, иногда у него бывали прозрения. Подобно большинству мыслителей, Ленгли не знал математики, но, как и большинство физиков, верил в физику. Упрямо отказывая себе в удовольствии заниматься философией — иначе говоря, предлагать невразумительные объяснения неразрешимых проблем, — он все же знал эти проблемы, но предпочитал шествовать мимо, любезно улыбаясь и даже раскланиваясь издали, словно признавая их существование,

сомневался в их солидности. Он великодушно позволял другим сомневаться в том, что считал своим долгом утверждать, и, едва познакомившись с Адамсом, вручил ему «Понятия современной физики» Джона Сталло — книгу, вокруг которой много лет существовал заговор молчания, каким непременно окружают всякий революционный труд, опрокидывающий традиционные положения и механизм обучения. Адамс прочел «Понятия», но ничего не понял; задал Ленгли вопросы, но ответа ни на один не получил.

Возможно, в этом и заключалось образование. Пожалуй, это было единственное научное образование, доступное ученику в шестьдесят с лишком лет, желавшему знать — или, лучше сказать, так же мало знать — о мире, как астроном о Вселенной. Отдельные факты, накопленные наукой, для него ничего не значили: он хотел охватить все в целом. Солнце всегда греет либо недостаточно, либо чересчур жарко. Кинетическая энергия атома приводила только к движению, но не давала ни направления, ни прогресса. От разнообразия исторической науке не было пользы, ей требовалось единство. Необходимо было начертать общую линию движения, найти новые, еще не исследованные миры, и, подобно Расселасу, Адамс вновь отправился в путь, а 12 мая уже поселился в двух шагах от «Трокадеро».

25. ДИНАМО-МАШИНА И СВЯТАЯ ДЕВА

(1900)

До тех пор пока в ноябре не закрылась Всемирная выставка, Адамс пропадал на ней целыми днями, снедаемый жадной знания, но неспособный его обрести. Адамса волновал вопрос: что мог бы почерпнуть на этой выставке наиболее информированный человек в мире? Пока он созерцал хаос, в Париж прибыл Ленгли и сразу все поставил на свои места. Стоило ему шевельнуть пальцем — и с экспонатов спали

многочисленные покровы, и они предстали перед Адамсом в обнаженном виде — Ленгли знал, что стоило изучать, почему и как; сам же Адамс мог бы с тем же успехом созерцать по ночам Млечный Путь. И все же ничего нового Ленгли ему не сообщил — ничего такого, чего нельзя было бы извлечь из трудов лорда Бэкона триста лет назад. Но хотя трактат «Развитие науки» полагалось знать не хуже «Комедии ошибок», простое чтение без умного наставника, объяснявшего, как применить полученные знания, ничего не стоило. Бэкон еще в начале семнадцатого века потратил бездну усилий, вразумляя Якова I и его подданных, в том числе и американских, что истинная наука развивает и учит рационально использовать силы природы; тем не менее и в 1900 году пожилой американец ничего не смыслил ни в формулах, ни и этих силах, как не умел уяснить себе, что на Парижской выставке его задача как историка — фиксировать развитие и рациональное использование сил начиная с 1893 года, когда эта проблема впервые привлекла его внимание в Чикаго.

Самый поразительный феномен образования — это огромный груз невежественности, которое оно накапливает в виде мертвых фактов. На своем веку Адамс пересмотрел чуть ли не все произведения искусств, скопившиеся в хранилищах, именуемых художественными музеями; однако он не знал, как смотреть на художественные экспонаты выставки 1900 года. Он изучал Карла Маркса и его исторические доктрины с глубочайшей тщательностью; однако не умел применить их в Париже. С легкостью великого мага-экспериментатора Ленгли тут же сбросил со счетов все экспонаты, не демонстрировавшие новые достижения науки, и, естественно, в первую голову все художественные разделы выставки. Равным образом не удостоились его внимания разделы, посвященные развитию промышленности. Он повел своего ученика прямо к техническим новинкам. Главным образом Ленгли интересовали новые моторы — поскольку открывали ему возможность построить летательный аппарат, — и он

объяснил Адамсу удивительное по сложности устройство мотора Даймлера и автомобиля в целом — этого кошмара, с 1893 года несшегося по дорогам мира со скоростью 100 километров в час, — изобретения столь же пагубного, как трамвай, который был всего на десять лет старше его, и грозившего превратиться в столь же необоримую силу, как паровоз, который был ровесником Адамса.

Затем Ленгли привел своего подопечного в зал динамо-машин, где разъяснил ему, как мало тот знает об электричестве и любом другом виде энергии, даже светящем над его головой солнце, которое дает непостижимое для человеческого разума количество тепла, хотя может, насколько ему, Ленгли, известно, в любой момент дать тепла больше или меньше вопреки его личной в нем, то есть солнце, уверенности. Для Ленгли динамо-машина означала не более чем искусное устройство для передачи тепловой энергии, скрытой в нескольких тоннах жалкого угля, сваленного кучей в каком-нибудь тщательно спрятанном от глаз специальном помещении, Адамс же видел в динамо-машине символ бесконечности. По мере того как он привыкал к огромной галерее, где стояли эти сорокафутовые махины, они становились для него источником той нравственной силы, каким для ранних христиан был крест. Сама планета Земля с ее старозаветным неспешным — годичным или суточным — вращением казалась тут менее значительной, чем гигантское колесо, которое вращалось перед ним на расстоянии протянутой руки с головокружительной скоростью и мерным жужжанием, словно предостерегая своим баюкающим шепотом, не способным разбудить и младенца, что ближе подходить опасно. Хотелось молиться на это чудище: врожденный инстинкт диктовал этот естественный для человека порыв — преклоняться перед немой и вечной силой. Пусть среди тысячи символов бесконечной энергии динамо-машина была менее ошеломляющим, чем некоторые другие, зато казалась самым выразительным.

Все же динамо-машина вслед за паровой была на выставке самым знакомым экспонатом. Ее значение в решении задач, поставленных перед Адамсом, заключалось главным образом в таинственности ее механизма. С точки зрения историка, разрыв между динамо-машиной, выставленной в павильоне, и паровой, работающей в каком-нибудь специальном помещении, был подобен бездонной пропасти. Между паром и электричеством обнаруживалось не больше связи, чем между крестом и собором. Обе эти силы были взаимозаменяемы, даже взаимообратимы, но об электричестве — как и о вере — Адамс мог сказать только *fiat*¹. Тут ему не мог помочь и Ленгли. Ленгли и сам, казалось, испытывал тревогу, так как то и дело называл новые силы анархическими и особенно усердно отрещивался от новых лучей, считая их злую суть чуть ли не убийственной для науки. Открытые им лучи, с помощью которых он расширил солнечный спектр, были, напротив, совсем безобидные и благотворные, тогда как радий отрицал собственно бога, или — что для Ленгли означало то же самое — истины его науки. Это была совершенно новая сила.

Историк, жаждавший знать хотя бы столько, чтобы быть не более бесполезным, чем Ленгли или Кельвин, делал в этом направлении быстрые успехи, вовлекаясь в несусветную путаницу идей, пока наконец не достиг своеобразного блаженства невежественности, весьма утешительного для его угасающих чувств. Он по уши увяз в лучах и волнах и воспылал бы нежной любовью к Маркони и Бранли, случись ему их встретить, как уже пылал к динамо-машине; но, увы, никак не мог справиться с цифрами, пытаясь вывести зависимость между открытиями и рациональным использованием сил. Формы использования новых видов энергии, как и новые открытия, были чем-то запредельным, сверхчувственным, непостижимым, не поддающимся определению в лошадиных

¹ Да будет! (лат.).

силах. Какое, например, математическое описание мог он предложить, чтобы оценить когерер Бранли? Для сжиженного воздуха или электрической печи, несомненно, существовала какая-то шкала измерений — достаточно было изобрести соответствующий термометр, но рентгеновские лучи человеческий разум объять не мог, да и сам атом казался фикцией воображения. За прошедшие семь лет человек шагнул в новый мир, где не было общей шкалы измерений со старым. Человек вступил в сверхчувственный мир, где ничего не мог измерить — разве только, когда движения, не воспринимаемые человеческими чувствами и даже, возможно, построенными человеком приборами, приходили в случайное взаимодействие; но воспринимаемые друг другом, они улавливались каким-нибудь уже известным лучом на самом конце существующей шкалы. Ленгли, казалось, был готов ко всему — даже к открытию неисчислимого ряда миров. Физика свихнулась в метафизику.

Историки берутся излагать события в последовательности — создавать так называемые рассказы или истории, — молчаливо допуская существование причинно-следственных отношений. От этих историй, пылящихся в недрах библиотек, порою захватывает дух, но все они бессмысленны и наивны, притом в такой степени, что, если бы какой-нибудь придиричивый критик вытащил их на свет божий, историкам, наверное, ничего бы не осталось, как в один голос оправдываться — они-де понятия не имели, что обязаны знать, о чем повествуют. Адамс, например, при всем старании так и не уяснил себе, что хотел сказать в своих писаниях. А ведь он опубликовал добрый десяток томов по истории Америки, но написал их с единственной целью — удовлетворить свое любопытство по части того, способен ли он, излагая голые факты, по возможности без комментариев, причем только такие, которые казались ему достоверными, и только в том порядке, в каком они, по его мнению, происходили, установить для известного момента последовательность в челове-

ческом развитии. Результат удовлетворил его не больше, чем преподавание в Гарварде. Там, где он видел последовательность, другие видели нечто совсем иное, и каждый предлагал собственную единицу измерения. Адамс трезво оценивал проводимые им эксперименты, еще более трезво — государственных деятелей, о которых писал и которые казались ему такими же невеждами, как он сам, только куда менее честными. Однако он упорно доискивался причинно-следственной связи и, если не мог вывести ее с помощью одного метода, прибегал ко всем, какие только известны науке. Удостоверившись, что выводить последовательность на уровне отдельных людей бесполезно, а на уровне общественных групп — тем более; что последовательность времен — правило искусственное, а последовательность идей выливается в хаос, он обратился к последовательности сил природы и, таким образом, после десяти лет усиленных трудов оказался распространителем «Галереи машин» Всемирной выставки 1900 года. Нечего и говорить, что, попав под внезапный поток совершенно новых открытий, он как историк сломал себе шею.

Никто кругом особенно не волновался, и пожилому джентльмену, не обремененному иными заботами, тоже вряд ли стоило так уж тревожиться. Год 1900-й был отнюдь не первым, нарушившим покой школьных наставников и учителей. В 1600-е годы многие из них сломали себе шею на открытиях Коперника и Галилея, а в 1500-е Колумб перевернул весь мир. Но ближайшим аналогом крутого поворота 1900 года был год 310-й, когда император Константин утвердил христианство в качестве официальной религии. Лучи, от которых отрекался Ленгли, и лучи, отцом которых себя признавал, были одинаково непостижимы, сверхчувственны, иррациональны; они являли собой открытие таинственной силы — такое же откровение, как явившийся Константину крест, то, что на языке древневековой схоластики называлось непосредственными атрибутами божественной субстанции.

Как историк Адамс достиг предела своих возможностей. Совершенно ясно: если ему необходимо выразить все эти силы с помощью какой-то известной величины, такую величину можно вывести, только измерив воздействие этих сил на его разум. Он должен трактовать их так, как воспринимает, считая, что их можно преобразовывать, заменять, замещать другими силами, воздействующими на человеческую мысль. И Адамс решил на это пойти — рискнуть трактовать лучи так, как трактуют веру. Подобный процесс преобразования одной силы в другую, надо думать, сильно позабавил бы химика, но и химик не станет отрицать, что он, как и его коллеги-физики, подвержен воздействию обеих сил. Когда Адамс был мальчишкой, лучший аптекарь в его округе если и слышал о Венере, то только в связи с чем-то скандальным, а о Мадонне — только как о католическом идоле. Тем не менее его ум был готов к восприятию всех этих сил, хотя рентгеновские лучи для человечества еще не родились, а Венера и Мадонна уже умерли.

Здесь открывалась возможность для новых познаний, представлявших, пожалуй, наибольшую опасность. Острие ножа, по которому Адамсу, как некогда сэру Ланселоту, предстояло пройти, разделяло два царства сил, не имевших ничего общего, кроме воздействия на человеческий ум и сердце. Они отличались друг от друга, как магнит от земного притяжения, если, конечно, полагать, будто нам известно, что такое магнит, или притяжение, или любовь. Сила, таившаяся в Святой Деве, все еще ощущалась в Лурде и была, по видимому, столь же могущественной, как сила рентгеновских лучей. Правда, в Америке ни Венера, ни Мадонна как сила не воспринимались — в лучшем случае они вызывали сентиментальное чувство. Американцам не довелось испытать настоящего страха ни перед той, ни перед другой.

Вопрос о движущей силе общественного развития ставил американского историка в крайне затруднительное положение. Некогда Женщина властвовала над миром; во Франции

она, по-видимому, все еще сохраняла свое могущество, и не как возбудитель сентиментального чувства, а как сила. Почему же в Америке не желали ее знать? В Америке явно стыдились женщины, да она и сама себя стыдилась — иначе зачем бы американцам так обильно прикрывать ее фиговыми листками? Когда Женщина была настоящей силой, фиговых листков для нее не требовалось. Но американская Ева, создаваемая американскими женскими ежемесячными журналами, не обладала ни одной чертой, по которой Адам мог бы ее признать. Особенность эта, широко и печально известная, нередко доходила до комизма, тем не менее все, кто был воспитан в пуританской вере, твердо знали: всякое плотское влечение, сиречь секс, есть грех. Во все прежние времена секс был силой. Тут не требовалось ни искусства, ни красоты. Всем, даже пуританам, известно, что Диане Эфесской, как и другим богиням Востока, поклонялись вовсе не за красоту. Богиней Диану делала сила: она была одушевленным генератором, динамо-машиной, воспроизводительницей рода — величайшей и самой таинственной из всех энергий. Единственное, что от нее требовалось, — плодовитость. Примечательно, что ни в одной из многочисленных школ, где Адамс пытался получить образование, его внимание ни разу не привлекли к начальным строкам Лукрециевой поэмы «О природе вещей» — быть может, прекраснейшим во всей латинской поэзии, — тем самым, в которых поэт взывает к Венере, как позднее Данте к Святой Деве:

Quae quoniam rerum naturali sola gubernas ¹.

Венера эпикурейской философии уцелела в Мадонне из произведений мастеров старой школы:

Donna, sei tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia, e a te non ricorre,
Sua disianza vuol volar senz'ali ².

¹ Ибо одна ты в руках своих держишь кормило Природы. — Перевод Ф. Петровского.

² Ты так властна, и мощь твоя такая,

Но для американской мысли всего этого словно и не существовало. Истинный американец еще кое-как осведомлен о фактах, но чувства для него — закрытая область; в законе он почитает букву, а не дух. Перед этим провалом в историческом познании человек типа Адамса чувствовал себя беспомощным и только поворачивался от Святой Девы к динамо-машине, как когерер Бранли. С одной стороны, в Лувре и в Шартре, где он созерцал совершенную красоту, все еще стоявшую у него перед глазами, находился источник величайшей энергии и духа, когда-либо известный человечеству, сотворившей четыре пятых произведений высочайшего искусства, оказавшего неизмеримо больше воздействия на человеческие умы, чем все паровые и динамо-машины, мыслимые и немислимые. Но американскому уму энергия эта была неизвестна. В Америке Святая Дева не осмелилась бы властвовать, Венера — существовать.

Коль скоро эта проблема, которая, вероятно, не интересовала среднего американца девятнадцатого века, как, впрочем, и Адамса, все же возникла, он счел себя обязанным заняться ею самым усердным образом. И тут ни Ленгли, ни Герберты Спенсеры, ни динамо-машины помочь ему не могли. Образ Мадонны уцелел лишь в искусстве. Там он сохранил свое естество — как будто художник и сам был женщиной. И Адамс стал вспоминать, кто из американских деятелей искусства утверждал силу земной любви, но смог назвать лишь Уолта Уитмена, да еще Брет-Гарта, в той мере, в какой ему позволяли журналы; и еще один-два художника не боялись писать обнаженную натуру. Все остальные если и говорили о любви, то только как о сентиментальном чувстве, и никакой силы за ней не признавали. Для них Ева была нежный цветок, а Иродиада — чудовище, в котором не было

Что было бы стремить без крыл полет —
Ждать милости, к тебе не прибегая ¹.

¹ Данте. Рай, глава 33. Перевод М. Лозинского.

ничего женского. Американское искусство, как и американский язык и американское воспитание были полностью очищены от всего, связанного с интимной жизнью. И в этой победе над половым влечением общество видело величайшее свое достижение, а Адамс как историк охотно с этим соглашался; нравственный итог не интересовал того, кто изучал взаимодействие безнравственных сил.

Ощупью отыскивая ключ к заинтересовавшей его проблеме, Адамс бродил по залам художественных разделов выставки и неизменно останавливался перед сент-годенсовской статуей генерала Шермана, которая занимала среди экспонатов самое почетное место, Сент-Годенс в это время был в Париже, ежедневно, как всегда, внося в свою скульптуру бесконечные «последние» штрихи и выслушивая противоречивые, как всегда, советы братьев-скульпторов. Из всех американских художников, вдохнувших в семидесятых годах в американское искусство живую струю, Сент-Годенс был, пожалуй, самым приятным, но, несомненно, и самым косноязычным. По сравнению с ними даже генерал Грант или Дон Камерон могли считаться ораторами. Все остальные — оба Ханта, Ричардсон, Джон Ла Фарж, Стенфорд Уайт — отменно владели словом, только Сент-Годенс не умел ни рассуждать о своих чувствах, ни объяснять, почему выразил их в своей скульптуре в той или иной форме. Он не устанавливал никаких законов, не капризничал и, сталкиваясь с жестокостями, не ожесточался. Он не нуждался в фимиаме, не был сосредоточен на себе, отличался чрезмерным простодушием и полной неспособностью к подражательству: своим творением он мог придать лишь ту форму, какую создавала его рука. Редкий человек чувствовал силу другой личности так, как он, но даже мысль, что этот другой может на него воздействовать, не приходила ему в голову.

Летом 1900 года Сент-Годенсу нездоровилось, и он часто находился в подавленном настроении. Для человека в таком состоянии Адамс был не лучшей компанией, им и самим не

владела та веселость, которую французы называют *folle*¹. Тем не менее он нет-нет да и наведывался в студию на Монпарнасе, чтобы вытащить приятеля на прогулку в Булонский лес или, если было настроение, вместе пообедать. Со своей стороны Сент-Годенс тоже иногда приглашал Адамса провести время в его обществе.

Однажды он взял Адамса с собой в Амьен, куда отправился с компанией французов осмотреть собор. И вот, когда они стояли перед западным порталом, любуясь скульптурой, Адамсу вдруг подумалось, что самым интересным для него является не собор, а стоящий перед собором Сент-Годенс. Перед великими памятниками великие люди высказывают великие истины — если полагают, что их не будут воспринимать чересчур серьезно. Адамс никогда не упускал случая процитировать фразу, произнесенную его кумиром Гиббоном о готических соборах: «Я снисходительно взглянул на эти величественные памятники суеверия». Даже в сносках к собственным трудам Гиббон не проявил своей человеческой сути так, как в этом высказывании, и Адамс дорого дал бы, чтобы взглянуть на фотографию кругленького маленького историка на фоне собора Амьенской богоматери, пытающегося убедить читателей — или самого себя? — что он снисходительно смотрел на этот памятник суеверия, тогда как на самом деле испытывал к нему лишь чувство благоговения, какое все люди широких познаний и острого ума испытывают перед замечательными творениями. Но кроме человеческой сути его автора, в этом высказывании слышался еще отзвук времени. Гиббон поворачивался спиной к Мадонне, потому что в 1789 году религиозные памятники были не в чести. Но в 1900 году его слова, простые и свежие, как молодая трава, особенно поразили того, чей слух привык к другим, по большей части не столь свежим и, без сомнения, менее естественным высказываниям, повто-

¹ Безумная (*фр.*).

рвавшимся на протяжении последних ста лет. Во всяком случае, эта фраза Гиббона была куда поучительнее целой лекции Рёскина. Каждый человек видит то, что несет в себе, а Гиббон в ту пору носил в себе идеал Французской революции. Рёскин же — реакцию на революцию. Сент-Годенс обретался в другом мире. Величественные памятники привлекали его куда больше, чем писания Гиббона или Рёскина; ему нравилось их величие, художественное единство, размах, гармоничность линий, игра света и теней, декоративная скульптура; но, пожалуй, он еще меньше, чем Гиббон и Рёскин, осознавал силу, которая все это создала, — силу Святой Девы, силу Женщины, — верой в которую воздвигались «эти величественные памятники суеверия» и через которые она была выражена. Возможно, Сент-Годенс увидел бы больше в рогатой Изиде из Эдфу, воплощавшей ту же идею. Искусство сохранилось, но энергия, заключенная в нем, до конца не воспринималась даже художником.

По духу и нраву Сент-Годенс принадлежал к 1500 году, на нем лежала печать Ренессанса, и было странно, почему он не носит образок мадонны на шее или, подобно Людовику XI, приколотым к шляпе. Время превратило его в потерянную душу, случайно оказавшуюся в двадцатом веке и забывшую, откуда она пришла. Он, как и Адамс, мучительно переживал свое невежество, но совершенно по-другому. Сент-Годенс был дитя Бенвенуто Челлини, задохнувшееся в колыбели американской действительности, Адамс — квинтэссенцией Бостона, снедаемой желанием мыслить как Челлини. Искусство Сент-Годенса морили голодом с рождения; творческий инстинкт Адамса изводили с младенчества. У каждого осталась лишь половина дарованного природой, и теперь, когда они вместе стояли перед амьенской мадонной, им следовало бы почувствовать в ней ту силу, которая могла бы их объединить. Но этого не произошло. Для Адамса она более чем когда-либо стала источником силы; для Сент-Годенса по-прежнему осталась источником красоты.

В качестве символа мощи Сент-Годенс избрал коня, что ясно видно по скульптуре «Победа Шермана». Шерман его несомненно бы одобрил. Этот символ полностью выражал дух Америки, и почти сорок лет Адамс представить себе не мог, сообразуясь со здравым смыслом, никакого иного решения. Сколько же лет понадобилось ему, чтобы осознать, о чем говорят своим искусством Микеланджело и Рубенс? Он не мог ответить на этот вопрос. Он знал, что только с 1895 года стал воспринимать Святую Деву и Венеру как силу, да и то не всегда. В Шартре — да; возможно, в Лурде; пожалуй, в Книде, если бы время сохранило там божественную наготу Праксителивой Афродиты, а дальше ему, наверное, пришлось бы в поисках силы обратиться к богиням индийской мифологии. У англичан и немцев сама эта идея давно уже бесследно исчезла. В Амьене Сент-Годенс оказался не более восприимчив к силе Женщины, чем Мэтью Арнолд в Гран-Шартрезе. Ни тот, ни другой не воспринимали богинь как силу; они видели в них воплощение чувств, человечности, красоты, чистоты, вкуса, но не сочувствия. Сила была заключена для них, скажем, в локомотиве, и оба, как и все другие художники, постоянно сетовали на то, что мощь, заключенную в локомотиве, не передать в искусстве. Воистину все запасы энергии пара в мире не могли, подобно Святой Деве, «воздвигнуть» соборы Шартра.

И все же в механике, что бы ни думали сами механики, оба этих вида энергии воздействовали на человека как взаимозаменяемые силы, а всякая известная сила может быть так или иначе измерена по ее воздействию на человека. Практически лишь некоторые ученые оценивают ее в других измерениях. Допустив, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, ни один серьезный математик не станет отрицать ни одного утверждения, которое отсюда вытекает, как не станет отвергать ни одной идеи или символа, недоказанного или недоказуемого, которые помогают ему завершить исследование. Этим символом была сила, и

ничего нельзя достичь, пренебрегая ее значением. Как символ или как энергия, но Святая Дева оказала величайшее из всех известных воздействий на западный мир, побуждая человека к деятельности больше, чем любая другая сила, естественная или сверхъестественная. Задача историка, следовательно, заключалась в том, чтобы проследить развитие этой энергии; найти, откуда она появлялась и куда уходила; обнаружить ее сложный источник и каналы распределения; определить ее значения, эквиваленты и превращения. Вряд ли она была сложнее радия! Вряд ли, трансформируясь, поляризуясь, поглощаясь, ставила перед человеческим умом загадки более ошеломляющие, чем энергия других излучающих веществ. Адамс о них ничего не знал, все они относились к непостижимым, оккультным явлениям, но интересовали его в качестве математической задачи, рассматривающей их влияние на человеческий прогресс; а самой же легкой из этих задач ему представлялась та, что касалась Святой Девы.

Путь к решению этой задачи оказался долгим и мучительным и в конце концов завел его в необъятные дебри схоластической науки. Спотыкаясь, продираясь он сквозь них от Зенона к Декарту рука об руку с Фомой Аквинским, Монтемом и Паскалем, как если бы все еще был студентом и Германии в далеком 1860 году. Только чувство крайнего отчаяния могло подвигнуть его вторгнуться в эти вековые чащобы невежества, да еще после того, как он получил поворот от десятка куда более многообещающих и доступных ворот. Но до сих пор ни один путь его никуда не привел — разве только обеспечил весьма скромными средствами к существованию. Сорок пять лет занятий наукой оказались совершенно бесплодными с точки зрения обретения мощи: в 1900 году он обладал столь же малыми возможностями, как и в 1850-м, хотя возможности, которыми обладало общество, во много раз увеличились. Секрет воспитания все еще не был раскрыт, ключ к нему лежал где-то за пределами царства невежества, и искал его Адамс по-прежнему вслепую и

неумело. В подобных лабиринтах посох нужнее ног, а перо служит своего рода собакой-поводырем слепцу, уберегая от падения в канавы. Перо работает само по себе, действуя, словно рука, которая мнет и мнет глину, пока не придаст ей наилучшую форму. Форма эта никогда не бывает произвольной, она — и это превосходно знает любой художник — наращается, словно кристалл, хотя нередко карандаш, или перо, вдруг уклоняется на боковые тропинки — в бесформенность, теряет необходимые связи, застревают на месте или увязает в болоте. Тогда приходится отыскивать собственный след и возвращаться, коль скоро это возможно, к своей силовой линии. Результат работы за целый год зависит больше от того, что вычеркнуто, чем от того, что осталось; от выверенной последовательности главных линий, а не от их игры или разнообразия. Вынужденный вновь искать опору именно в этом, Адамс испещрил тысячи страниц значками и выкладками, похожими на алгебраические формулы, старательно что-то вычеркивая, изменяя, сжигая и экспериментируя. А тем временем закончился 1900 год, давно закрылась Всемирная выставка, подошла к концу зима, и 19 января 1901 года он отплыл из Шербура домой.

26. СУМЕРКИ

(1901)

Пока та часть человечества, которая считает свое поведение ветреным и покорно выслушивает упреки в праздности, толкалась на Парижской выставке, задевая локтями творения Сент-Годенса, Родена и Бенара, другая, мнящая себя солидной и проявляющая хотя и иные, но безошибочные признаки подступающего умственного пароксизма, занималась в Пекине и еще кое-где деятельностью настолько пагубной, что и сама содрогалась от ужаса. Из всех областей познания наука оценивать людей и их поступки, исходя из их относи-

тельной значимости, наименее постижима. В течение трех, если не четырех поколений общество единодушно клеймило презрением и позором наглую суетность мадам де Помпадур и мадам дю Барри; однако попытайтесь приобрести на аукционе любую безделушку, пришедшуюся некогда по вкусу одной из этих особ, и вы немедленно убедитесь, что легче купить полдюжины вещей, связанных с именем Наполеона, Фридриха или Марии Терезии вкупе со всей философией и науками их периода, чем оставить за собой стул с плетеным сиденьем, на котором восседала одна из двух помянутых дам. То же, только в обратном смысле, можно сказать о Вольтере, тогда как общеизвестно, что цена на любой мазок кисти Ватто или Хогарта, Наттье или сэра Джошуа совершенно несоразмерна значению этих художников. Обществу, видимо, доставляло удовольствие авторитетно рассуждать о серьезных предметах и платить бешеные деньги за самые бесполезные. Драма, развернувшаяся в Пекине летом 1900 года, была в глазах историка серьезнейшей из всех, какие могли привлечь его внимание: в Пекине шла неизбежная борьба за господство над Китаем, от исхода которой, по его мнению, зависело господство над миром. Однако и в Париже и Лондоне падение Китая рассматривалось главным образом в свете того, как оно скажется на стоимости китайского фарфора. Цена на вазу эпохи Мин казалась важнее угрозы мировой войны.

Публика проявляла жгучий интерес к судьбе иностранных миссий в Пекине — словно речь шла о героях романов Александра Дюма. А между тем эта драма представляла собой куда больший интерес совсем с другой стороны: ею определялось будущее. О событиях в Пекине Адамсу было известно очень мало — столько же, сколько самым осведомленным государственным чиновникам. Как и они, он не сомневался, что над миссиями учинена зверская расправа и что Джона Хея, который по-прежнему стоял за «административную целостность» Китая, ждет такая же расправа, поскольку ему останется только наблюдать, как Россия и Германия

расчлняют Китай, Америку же запрут в стенах собственного дома. В Европе девять из десяти государственных деятелей заранее считали такой финал неминуемым и не видели путей его избежать. Не видел их и Адамс и поэтому посмеивался над беспомощностью друга.

Когда же, не посчитавшись с руководящей ролью Европы, Хей неожиданно взял руководство в собственные руки, освободил миссии и спас Китай, Адамс, вместе с Европой, лишь удивленно захлопал глазами — разве что не с таким глупым видом, поскольку как историк был в этих делах достаточно сведущ. Но такого молниеносного маневра американская дипломатия еще не знала. Вернувшись 30 января 1901 года в Вашингтон, он обнаружил, что и весь мир, за редкими исключениями, повергнут в изумление, хотя и реагирует на это разумнее обычного. Действительно, когда Хей, отгеснив Европу, поставил в главе цивилизованных стран Вашингтон, мир на мгновение оторопел, но, подчиняясь инстинкту послушания, согласился принимать и исполнять его указания; когда же первый шок прошел, общество, почувствовав силу и изощренность осуществленного хода, разразилось бурными аплодисментами. И тотчас вся дипломатия девятнадцатого века с ее стычками и драчками отошла в область предания, и теперь американцы краснели, когда им напоминали о недавнем подчиненном положении. История вступила в новую эру.

Натура артистическая, Хей не мог не почувствовать, с каким артистизмом провел свой маневр, и успех не замедлил сказаться на его самочувствии, зарядив свежими силами: успех был для него, как и для большинства людей, тонизирующим средством, а неудача — ядом; но неприятностями, как всегда, дарила его Америка. Успех удвоил напряжение. При президенте Маккинли дипломатический корпус стал самым многочисленным в мире; поддержание дипломатических связей требовало все больше усилий, но штаты госдепартамента лучше работать не стали, а трения в сенате

усилились. Вооружившись «Дневниками» Джона Куинси Адамса, которые тот вел восемьдесят лет назад, Хей подсчитал, что сопротивление сенаторов, если мерить его потраченными на пустые дебаты днями и усилиями, возросло примерно в десять раз. А ведь государственный секретарь Дж. К. Адамс считал, что с ним дурно обходятся! Хей радостно заявил, что его попросту убивают, и всеми силами это доказывал: иной раз даже не выходил на прогулку.

Но в настоящее время дела шли отменно, и неуправляемая команда Хея не слишком ему досаждала: Паунсфот по-прежнему тянул воз, благополучно минуя крутые повороты, Кассини и Холлебен помогали сенату чинить неприятности, где только можно, правда, без особого вреда, а ирландцы в силу своей неумной кельтской природы противодействовали даже самим себе. Благодаря добродушному нраву любезные ирландцы не умели подолгу вести войну, зато немцы, по-видимому, делали все возможное, чтобы напитать политическую атмосферу недоброжелательностью и даже ненавистью, а это ни в коем случае не входило в планы Хея. Ему и без того приходилось напрягать все силы, чтобы преодолеть внутренние трения, и он меньше всего желал ссориться с иностранными державами. Правда, в пользу иностранцев можно было по крайней мере сказать, что они, как правило, чиня демарши, знали, почему это делают, и не сворачивали с избранного пути. Кассини, например, много лет, и в Пекине и в Вашингтоне, никак не маскируясь, проводил свою политику — политику, столь же мало соответствующую линии его шефа, как и Хея; выступая с возражениями, он придерживался всегда одного и того же курса, преследовал одни и те же неблагоприятные цели. А вот сенаторы могли обосновать свои возражения крайне редко. На каждую сотню людей всегда находится несколько упрямцев, которые обязательно выступают против чего-то, а причину для своего протеста изобретают задним числом. Сенат в этом смысле ничем не отличался от университетского совета, с той лишь

разницей, что там приток новых членов, как правило, мешает подобным деятелям превратиться в диктаторов, препятствующих осуществлению необходимых мер. В сенате же одним-единственным голосом можно было приостановить принятие закона, а в комитетах закрыть дебаты.

Политика Хей, стремившегося разрешить одно за другим все разногласия и прекратить все споры с иностранными державами, неизменно вызвала обструкцию, и преодолеть ее можно было — если вообще можно было преодолеть — лишь долготерпением и поддержкой со стороны президента. Победа доставалась не слишком дорогой ценой, если не считать физической усталости, которой она стоила Хейю и Паунсфоту, Руту и Маккинли. О серьезных взаимных обязательствах не могло быть и речи: ни один сенатор не пожертвовал бы и пятью долларами в своем штате ради того, чтобы в соседнем приобрели пятьсот тысяч. Правда, когда иностранная держава изъявляла готовность предложить благоприятные условия, у Хейя появлялся шанс представить на рассмотрение сената очередной договор. Во всех таких случаях приходилось тратить бездну времени и сил.

«Жизнь весела и ужасна! — смеялся Хей. — Шеф обещал сенаторам места во всех наших консульствах. Теперь они явятся ко мне и ни за что не поверят, что вакансий нет и не было. В отместку они зарежут мне все договоры — один за другим. Тридцать четыре процента — крикуны и горлопаны — проголосуют против. У меня есть лишь одно спасение: сказаться больным на весь оставшийся срок. Я у критической черты, и *culbute*¹ для меня уже не за горами».

Хей не раз вспоминал своего приятеля Блейна, а мог бы вспомнить и всех остальных своих предшественников: все одинаково пострадали. Но для Адамса как историка в их страданиях заключался главный интерес — единственный яркий и трагический элемент в политической жизни, невольно

¹ Падение (лат.).

заставлявший изучать такие фигуры, как Аарон Бэрр и Уильям Б. Джайлс, как Колхун, Уэбстер и Самнер вкупе с сэром Могучим Мозгляком — Джеймсом М. Мэзоном и театральными гаерами вроде Роско Конклинга. Сенат вполне заменял Шекспира, предлагая вниманию публики подлинных Брутов и Боллингброков, Джеков Кедов, Фальстафов и Мальволио — бесконечный ряд разновидностей человеческой природы, каких больше нигде не увидишь, захватывающе интересных и тогда, когда они убивали друг друга, и тогда, когда вели себя с наивностью школьников. «Жизнь весела и ужасна!» Хей сохранил чувство юмора, хотя смеялся все реже и реже; он сознавал всю сложность и сопротивление той громадной массы, которой пытался управлять. И горько сетовал, что под ее воздействием превращается в истукана — фигуру истинно сенаторскую, но лично ему противную. Старого друга Адамс терял; оставался наставник, у которого от сложностей и многообразия нового мира и у самого ум заходил за разум.

Для человека, который в возрасте за шестьдесят все еще жаждет воспитать и образовать себя, подобные несообразности, мелкие и крупные, не имели большого значения — разве только как мера массы и движения. Практический ум и практический человек, считал Адамс, в силу своей природы не загадывает о предстоящих переменах в политике или экономике дальше ближайших пяти-десяти лет. Во всей Америке едва насчитывалось с полдюжины имен тех, кто слыл смотрящим хотя бы на десяток лет вперед. Историк же, желающему исследовать прошлое и будущее, необходимо иметь обзор по крайней мере на два поколения. А если он хочет исследовать будущее, ему необходимо представить себе некий мир, который будет существовать спустя полстолетия после того, в каком живет сам. А потому каждый историк — иногда бессознательно, но всегда неизбежно — задается вопросом: сколько еще способна продержаться та или иная устаревшая система? Ему необходимо охватить

мысленным взглядом по крайней мере одно поколение, чтобы отразить последствия изменившихся условий в полном объеме. Таким образом, цель историка — произвести триангуляцию на возможно более широкой основе до той дальней точки, которую он в состоянии различить. А это всегда уводит далеко за видимую линию горизонта.

Человеку практического склада подобная задача кажется абсурдом, и на сегодняшний день он, возможно, прав; но как бы то ни было, у историка нет иного выбора, кроме как следовать в одиночестве избранным путем. Даже среди собратьев по профессии мало кто может ему помочь, и вскоре он оказывается одиноким путником на стезе, уводящей его все глубже и глубже в чащу, где сумерки коротки, а тени густы. Хей буквально падал с ног от усталости. Но Кинг, измотанный еще сильнее, свалился первым. Весной он остановился на час в Вашингтоне повидаться с друзьями. Был весел, шутил, что врачи ссылают его из-за легких в Аризону. Все трое знали, что близится конец, и только не знали, кто будет первым; но устраивать театр и делать вид, будто готовы умереть, не хотели, поэтому единственный выход, как это ни глупо, видели в стоицизме. *Non dolet, Paete*¹. Что уж тут лицедействовать — стыдно!

Ни для Адамса, ни для Хей жизнь уже не сияла радостью, и часть ее совсем померкла, когда Кинг ушел от них навсегда. Но у Хей была семья и честолюбивые помыслы, Адамс же мог лишь одиноко влачиться — беспомощный, усталый, с затуманенными от слез глазами — по еле заметной тропе в темнеющих прериях воспитания. Единственное, что двигало и м, — желание успеть, прежде чем свалится сам, достичь той точки, откуда он сможет заглянуть на много лет вперед. Ему смертельно хотелось увидеть немного света в конце пути, словно не было этих тридцати лет блуждания во тьме, и у входа в последнее и единственное в жиз-

¹ Не больно, Пэт (лат.).

ни пристанище вновь попасть в объятия Кинга. Время сокращалось с ужасающей быстротой, и сознание, что он знает так мало, а другие так много, убивало надежду.

Надо было избрать новое направление. Но какое? Сидя за письменным столом, Адамс наугад вытягивал нити из запутанного клубка наук — может быть, обнаружится, связаны ли они между собой и почему. Из всех известных, но неразгаданных им загадок самая простая была заключена в обыкновенной детской игрушке — волшебном магните, которым он забавлялся с младенческих лет. Он разложил на столе магниты и с помощью компаса провел силовые линии. Затем прочитал все доступные ему книги по физике. Но сколько ни старался, проведенные им силовые линии не совпадали с теми, что были в книгах. Книги сбивали его с толку. Должно быть, он чего-то не понимал! Речь шла о весьма конкретном явлении природы, таком же, как притяжение, которому оно не поддавалось, о силе, которая, вероятно, с начала бытия, если не раньше, безостановочно излучала энергию и, надо полагать, будет ее излучать и после того, как солнце уйдет в землю, но при этом никто не знал, почему, как или что именно излучается, и излучается ли вообще. Эта сила — возможно, первая из всех вслед за солнечной энергией известная человеку, — по-видимому, ни у кого не вызывала интереса, пока какой-то моряк не сообразил, что с ее помощью можно определить направление. Понадобилась еще тысяча лет, чтобы другой смысленный человек использовал ее в насосе, в подающем трубопроводе, фильтре, аккумуляторе для накопления электричества, все еще не зная, как она действует и что собою являет. Историк опыты Фарадея или изобретение динамо-машины кажутся невыносимыми по особой причине: в них открывается такая бездна невежества и беспомощности человеческого разума перед силами природы, что ум отказывается верить. Не может быть, что во всем мире нет человека, способного объяснить, что такое магнетизм! Надо только отыскать нужную книгу! Но, увы,

приходилось признать, что и в том, что касается притяжения, флюоресценции или запахов человечество проявляло такую же беспомощность. Адамс никак не мог взять в толк, почему открытие радия следовало считать революцией в науке, тогда как с незапамятных времен каждому ребенку был известен магнит, который действовал так же, как радий. Ведь дело, конечно же, не в характере излучения, а прежде всего в том, что это за энергия, которая излучается, и что это за субстанция, которая дает излучение. К сложностям химии или царства микробов Адамс даже не осмеливался подступиться, коль скоро в детской игрушке — магните — обнаруживалось столько сложностей, что его мозги туманились больше, чем от рентгеновских лучей. А что, если наш мозг, вообразил себе Адамс, есть некое излучающее вещество, посредством которого человек всегда перегонял некую утонченную субстанцию?

Во всех этих праздных рассуждениях Адамса волновал не магнит и не лучи, не микробы и даже не собственная беспомощность перед силами природы. Ко всему этому он привык с детства. Проблема магнита волновала его в новом аспекте — она стала свидетельством все возрастающей сложности, многообразия и даже противоречивости бытия, значительно изменявшим его требования к новому воспитанию и образованию. От этого урока он не мог отмахнуться. В политике или в науке стояла та же проблема и, куда бы он ни сворачивал, на каждом шагу камнем лежала у него на пути. Да, он наталкивался на нее в политике, набредал в науке, наткался в повседневной жизни, словно все еще был Адамом, разрывавшимся в саду Эдема между Богом, являвшим собою гармонию и единство, и Сатаной, воплощавшим противоречивость и разрозненность, и не располагавшим данными, чтобы решить, на чьей стороне истина. Все та же проблема! Она стояла перед Адамом, стояла перед Маккинли, перед сенатом, она же стояла перед Сатаной. Она неизбежно должна была сокрушить Хея, как сокрушила Адамса и Кинга.

Человек всегда сражался за гармонию и единство, и единство всегда побеждало. В Америке общенациональное правительство и национальное единство одолело все виды сопротивления, и эволюционисты — последователи Дарвина восторжествовали над всеми церковниками. Но странное дело: чем больше крепло единство и чем большую обретало силу, тем хуже все запутывалось и тем больше возрастало трение. Человек покорно склонял голову перед железными дорогами, банками, корпорациями, и трестами, и даже перед *vox populi* и соответствии с собственными представлениями об этом понятии — но тщетно: многообразие бесконечного единства все увеличивалось и грозило выйти за разумные пределы. Адамс пожертвовал всеми дорогими его сердцу привязанностями, отказался даже от критики, исключая только любимую свою забаву — нападки на сенат, служившие ему тонизирующим и стимулирующим средством, необходимым для здоровья. Он принял униформизм Лайелла, и существо по имени *Pteraspis*, и ледниковый период, и трамвай, и телефон. И вот теперь — когда он был готов увенчать себя триумфальным венком ввиду завершения своего воспитания и образования и считать, что достиг совершенства, — наука заявляла ему: остерегись! все нужно начинать сначала!

Перебирая на столе магниты, Адамс вспомнил, что полвека назад начал свою бурную деятельность написанной по просьбе Чарлза Лайелла статьей о новых воззрениях в геологии и что, пожалуй, стоит взглянуть на нее, хотя бы для того, чтобы укрепиться в своей позиции. Перечитав статью, он нашел, что она написана им лучше, чем получилось бы сейчас — в шестьдесят три. Но зрелые умы шире охватывают предмет, и прежние сомнения теперь усилились. Ему захотелось узнать, что нового было сказано по затронутому вопросу после 1870 года. Геологическая разведка предоставила ему стеллажи томов, чтения которых хватило ему на несколько месяцев без перерыва, и чем больше он читал, тем больше размышлял, удивлялся и недоумевал. Ин-

интересно, что бы сказал обо всем этом его добрый старый друг — сэр Чарлз Лайелл!

Воистину животное, которое хотят приучить к единству, следует отлавливать молодым. Единство — это видение, и, вероятно, этому надо учиться, как учатся видеть. Чем старше человек, тем сильнее укоренилось в нем сознание сложности, и чем дольше он смотрит на мир, тем больше видит, пока даже звезды не начинают множиться у него в глазах, и он видит их целый сонм там, где ребенок видит одну. Адамсу хотелось выяснить, двигалась ли геология к единству или ко множеству решений, но он чувствовал, что само это движение зависит от возраста человека, который тоже движется.

В поисках объективного критерия он решил поинтересоваться, что за эти годы произошло с его старой приятельницей и родственницей ганоидной рыбой — *Pteraspis* — из Ладлоу и Уэнлокка, с которой он так мило порезвился, когда геология переживала пору своей юности; они словно и не расставались, разыгрывая маску «Комус» в замке Ладлоу и повторяя хором: «О, как прекрасна божественная философия!» И вот он не без горечи узнал, что стараниями Уолкота, упоенно исполнявшего роль Комуса, ганоидная рыба препровождена в далекое Колорадо, в нижнюю часть Трентонских известняков, а *Pteraspis* стала современницей жительницы реки Миссисипи — рыбы сарган, у которой отыскивались предки на заре органической жизни. Что касается самих ганоидов, то несколько тысяч футов известняка не портили им настроения, но униформистов погребли заживо под грузом их собственного униформизма. Ни за какие блага, ни за каких ганоидных рыб, сколько бы их ни обитало на свете, осмотрительный историк теперь не осмеливался, даже тайно, высказать мнение о Естественном отборе путем Постепенных Изменений в Условиях Единообразия. Нет и нет! Потому что знал о них не больше, чем остальные, то есть равным счетом ничего. Но естественный отбор, который ничего не отбирал, — эволюция, завершив-

шаяся прежде, чем началась, — постепенные изменения, которые за целый геологический период ничего не изменили, — вышний класс фауны, о происхождении которого ничего не было известно, — единообразие, в условиях которого мир от начала творения полностью преобразился, — все это не вошло покоя в сознание честно мыслящего, хотя и мало-сведущего историка. Ему требовались доказательства естественного отбора, а не слепая вера в него. Пусть покажут, как благодаря естественному отбору и постепенным изменениям химическая и механическая энергия в условиях единообразия превратилась в мысль! Пример ганоидной рыбы, по-видимому, доказывал — во всяком случае, Адамсу — лишь обратное: никаких новых форм и новых сил в ходе веков не появилось, и правыми, по-видимому, оказались церковники, считавшие, что сила возрастает по величине и интенсивности лишь с помощью вмешательства извне. По мнению Адамса, ганоиды только сбивали с толку, и, хотя дарвинистов ни это его мнение, ни ганоиды не волновали, именно на примере ганоидов было видно, что дарвинизм, по-видимому, сохранил сторонников только в Англии. Но какая другая доктрина его заменила, выяснить не удавалось. Все доктрины претендовали на непреложную истинность. Даже теория внезапных катаклизмов, вызванных некоей самопроизвольно действующей жизненной силой и физически никак не объяснимых, снова вылезла на свет. Того и гляди вновь окажется в силе старая концепция неизменности видов.

Что обо всем этом думали метафизики, дело метафизиков, так же как и воззрения теологов на теологию, — ведь никаких сложностей в картине мира для них не существует. Но историку, который считал своей первейшей задачей определить направление развития мысли и в 1867 году стал убежденным сторонником Дарвина и Лайелла, вопрос об этом направлении представлялся жизненно важным. С каким радостным чувством вступал он тогда в распахнувшийся для него ледниковый период и взирал на Вселенную, в которой

царили единство и единообразие. В 1900 году его взгляд охватывал неизмеримо большую картину Вселенной, где шли проложенные во всех направлениях дороги — шли пересекаясь, разветвляясь, дробясь, резко обрываясь и постепенно исчезая, а от них уходили боковые тропинки, которые куда не вели, и громоздились результаты, которые никак не доказывались. Геологи стали по большей части узкими специалистами, которые занимались исследованиями в слишком узкой сфере, чтобы быть доступной дилетанту, хотя начинающие все еще пользовались старыми формулами, которые служили им так же, как тогда, когда были внове.

Так, ледниковым периодом по-прежнему распоряжались Лайелл и Кролл, хотя Гейки уже выявил в недавнем геологическом периоде с полдюжины промежуточных похолоданий, причем только в северном полушарии; по поводу же южного ни один геолог не брал на себя смелость утверждать, что оледенение происходило там даже в более далекие времена. Континенты неизвестно почему то подымались, то погружались, хотя венский профессор Зюсс уже опубликовал свой эпохальный труд, где показал, что континенты, подобно кристаллам, твердо закреплены, а подымаются и опускаются не они, а океаны. Гениальное открытие Лайелла — униформизм, — видимо, все еще оставалось гениальным, поскольку никакие другие его не вытеснили, хотя в промежутке гранит помолодел, а открытие гигантских взбросов перевернуло представление о геологических механизмах. Авторы учебников отказывались даже касаться каких-либо теорий и, подняв руки вверх, открыто проповедовали, что прогресс геологической науки заключается в изучении каждой отдельной породы и установлении для нее закона как такового.

В истинность научных теорий Адамс мог входить не больше, чем рыба сарган или акула, поскольку он не считал себя вправе об этом судить, и только нахальство заставило его спорить и дискутировать о принципах той или иной науки. История человеческого духа — вот что касалось его как исто-

рика, и только историка, а все остальное было для него вторично, тем паче, что он не видел, о каких изменениях в человеческом теле мог бы сообщить. Что же касается мысли, то схоласты, как и церковь, возвысили невежество до веры и низвели догму до ереси. Эволюция же, подобно трилобитам, существовала в веках, не эволюционируя; однако это не мешало эволюционистам занимать повсюду главенствующие позиции, и они даже настолько расхрабрились, что восстали против самодержавного указа лорда Кельвина, запрещавшего им распространять свои эксперименты на период в более чем двадцать миллионов лет. Разумеется, геологи, погоревав, подчинились этому суровому запрету, наложенному на них первосвященником новейшей религии — физики, и лишь кротко оправдывались, что не в силах заключить геологические данные в указанные рамки; тихо бормоча про себя *Ignoramus*¹, они ни разу не осмелились признаться в *Ignorabimus*², которое готово было сорваться у них с языка.

И все же признание это было, пожалуй, не за горами. Эволюция превращалась в изменение формы по прихоти силы — то ее калечили смущающие разум соблазны, то коржило и крючило под воздействием космической, химической, солнечной, сверхчувственной, электролитической — и еще неведь какой силы, неподвластной науке и опровергающей все известные законы природы, и, чтобы восстановить порядок в этой анархии, даже мудрейшим из мудрейших ничего не оставалось, как идти дорогой, указанной церковью, или звать к помощи «высшего синтеза». Историки тоже стремились к высшему синтезу, но, долго конфликтуя с различными геологическими школами, навлекли на себя тьму бед и теперь опасались с такой же готовностью довериться науке. Там, где дело касается человечества, вероятно, всегда легко дойти до точки, где «высший синтез» есть самоубийство.

¹ Мы не знаем (*лат.*).

² Мы не будем знать (*лат.*).

Как политика, так и геология равным образом указывали на то, что стремительно возрастающая сложность мира ведет к высшему синтезу. Но Адамс как старый человек знал: изменение может произойти только в нем самом. И все же любому исследователю в любом возрасте, если, разумеется, его занимает работа мысли вообще, а не только собственная, должно быть в радость поворачиваться на сто восемьдесят градусов и стараться овладеть обратным движением — как в радость ему весна, которая всех, даже усталого и брюзжащего политика, дарит цветением вишни, персика и кизила — высшим синтезом, — доказывая, что брюзжать глупо. Но, с другой стороны, какой школьник не знает, что сумма знаний не спасает от порки; и возраст тоже не спасает: ни один из них — ни Кинг, ни Хей, ни Адамс — не избежал блужданий по коридорам хаоса, который воцарился к концу их жизни. Правда, они могли бы плыть по течению, только не знали, куда их занесет. Адамсу хотелось бы снова плескаться вместе с *Limulus* и *Lepidosteus* в водах Брейнтри, откуда рукой подать до Адамсов и Куинси и Гарвардского университета, неизменных и неизменяемых с незапамятных времен. Только чему бы это послужило? Какой цели? Искателю истины — или иллюзии? — будь он даже акулой — не дано обрести покой!

27. ТЕЙФЕЛЬСДРЕК

(1901)

Манил Париж — неизбежный Париж, и по мере того как истощался запас лет, сопротивляться его зову становилось все бесполезнее: в мире нет второго такого места для всестороннего воспитания. В двадцатом веке, даже больше, чем в двенадцатом, Париж был школой, с которой не могла сравниться ни одна другая ни по разнообразию направлений, ни по запасу духовной энергии. Никаких специальных знаний человек,

обогатившийся лишь тем немногим, чем в девятнадцатом веке одарил его случай, приобрести уже не мог: науки ушли далеко за пределы его горизонта, а средством их выражения стала математика; но во все, даже самые смутные, времена можно было развлекать себя привычными с детства средствами — фарфором эпохи Мин, художественными салонами, оперой и драмой, изящными искусствами и готической архитектурой, богословием и анархией; можно было в любое время флиртовать с Джо Стикни, беседуя о греческой философии и новейшей поэзии, или слушать «Луизу» в «Опера комик», или спорить об очаровании юности и Сены с Беем Лоджем и его прелестной молодой женой. Париж оставался Парижем при всех обстоятельствах — хозяином самому себе и после того, как пал Китай. Десятки людей искусства — скульпторы и живописцы, поэты и драматурги, ювелиры и золотых дел мастера, художники по тканям и по мебели, сотни ученых — химики, физики, даже философы, филологи, медики и историки — трудились здесь в тысячу раз усерднее, чем когда-либо прежде, и плоды их труда, обильные и оригинальные, могли бы наводнить любой предшествующий век, как почти уже затопили нынешний. Но результатом был только хаос, и Адамс взирал на него с той же растерянностью, что на хаос в Нью-Йорке. Сам он беспокоился лишь об одном — удержаться на гребне движения и, если понадобится, содействовать хаосу. Это молодым можно плестись в хвосте — у них еще есть время!

От студенческих развлечений пришлось отказаться: ни один кулачный бой не требует такой выносливости, какая необходима бледному обитателю Латинского квартала для набегов на Монмартр или Монпарнас, где, сидя за пивом в открытом кафе, сильно за полночь нужно быть свежим как огурчик даже после четырех часов сидения на спектакле с Муни Сюлли в «Комеди-Франсез». Эти области воспитания можно было считать закрытыми. Моды тоже не могли уже преподавать ничего существенного человеку, который, стоя на

пороге мира иного, полагал, что этот окидывает уже прощальным взглядом. Правда, увиденное теперь было куда более занимательным, чем все, что Адамс наблюдал в прежние годы активной жизни, хотя и более — бесконечно более — хаотическим и запутанным.

Хаос хаосом, но надо было чему-то учиться, и тут, как всегда, помощь пришла от женщины. Уже лет тридцать Адамс твердил себе, что нужно побывать в Байрейте. И вот на горизонте появилась миссис Лодж и пригласила его туда. Вместе со всем семейством, родителями и детьми — неизменно зоркими и любознательными ценителями всего прекрасного, — к которым он присоединился в Ротенберге-на-Таубе, Адамс отправился на Байрейтский фестиваль.

Тридцать лет назад он, побывав на фестивале, много вынес бы для себя, а дух великого мастера открыл бы ему огромный новый мир. Но в 1901 году впечатления оказались совсем не в духе великого мастера. В 1876 году Байрейт с его строениями в стиле рококо создавал, надо думать, соответствующую атмосферу для Зигфрида и Брунгильды, даже для Парсифаля. Но все это время Байрейт — тихий, сонный, захолустный городок — оставался вне мира, который к 1901 году сильно изменился. Вагнер же был неотъемлемой частью этого изменившегося мира, столь же привычной, как Шекспир или Брет-Гарт. Рококо звучало диссонансом. Даже воды Гудзона и Саскуэханна — пожалуй, и самого Потомака — то и дело вздымались, чтобы смыть с земли богов Валгаллы, а в Нью-Йорке среди толп упоенных молодых энтузиастов почти невозможно было слушать «Гибель богов», не испытывая нервного потрясения. В Байрейте оно быстро рассасывалось в атмосфере музыкального филистерства, и, казалось, речь идет не о судьбе богов, а о баварских композиторах. Пусть Нью-Йорк или Париж были — как кому угодно — корыстными, развратными, вульгарными, но там общество на гнили своего распада возвращало семена брожения и принимало их всходы за искусство. Возможно, они

и были таковыми; во всяком случае, Вагнер в первую голову нес ответственность за пробуждение нового эстетического чувства. В Нью-Йорке Вагнера понимали лучше, чем в Байрейте, а в легкомысленном Париже он не раз заставлял вздыматься воды Сены, чтобы смыть Монмартр или Этуаль, и заодно и магию честолюбия, опутавшую волшебными чарами его героя. Париж по-прежнему льстил себя мыслью, что только он и может стать ареной последней трагедии богов и людей, а чтобы она разразилась в Байрейте — такого никто не мог и подумать и, если бы это даже случилось, не повернул и его сторону головы. Париж кокетничал с катастрофой, как со старой любовницей, и взирал на нее смеясь — как поступал уже не раз: ведь они знали друг друга от века, еще с тех пор, когда Рим принялся грабить Европу. Иное дело Нью-Йорк. Там катастрофы встречали с онемелым ужасом, словно неотвратимое землетрясение, и внимали Тернине, которая ее возвещала, с дрожью и трепетом, каких не испытывали с того давнего времени, когда народные ораторы кричали о добродетели народа. Лесть утратила свои чары, но Fluchmotif¹ доходил до сознания каждого.

Адамса несло по течению, пока Брунгильда не стала привычкой, а Тернина — союзницей. Он тоже играл в анархию, но отвергал социализм, который, по мнению его молодых друзей, пестовавших свои эстетические чувства под куполом Пантеона, отдавал буржуазностью, низшими средними классами. Бей Лодж и Джо Стикни задумали основать совершенно новую и небывалую по оригинальности партию — консервативно-христианских анархистов, — целью которой было возродить истинную поэзию, вдохновенную «Гибелью богов». Подобная партия не могла найти вдохновение в Байрейте, где и пейзаж, и история, и люди отличались — относительно — солидностью и тяжеловесностью и где единственным духовным интересом был музыкальный дилетантизм, которого

¹ Мотив проклятия (нем.).

великий мастер не переносил.

При всем том пребывание в Байрейте не было лишено удовольствия даже для члена партии консервативно-христианских анархистов, особенно такого, которого не больше, чем «Grane, mein Ross»¹, волновало, фальшивят ли певцы, но крайне интересовал вопрос, что, по мнению самого композитора, тот хотел поведать миру. Выяснив это благодаря милостивому содействию фрау Вагнер и святого духа, Адамс счел, что пора продолжать свой путь, и тут сенатор Лодж, жаждавший вернуться к изучению предметов солидных, обратил его взоры к Москве. Много лет наставляя американскую молодежь, Адамс всегда советовал ей путешествовать в обществе сенатора, который даже в Америке мог оказаться весьма полезен, а уж в России, где в 1901 году анархистов — даже консервативных, даже христианских — отнюдь не жаловали, и подавно.

Прочем, новое крыло анархистов состояло всего из двух членов — Адамса и Бея Лоджа. Консервативно-христианский анархизм как партия родился из учений Гегеля и Шопенгауэра, правильно понятых, и в соответствии с собственными философскими воззрениями каждый член этого содружества считал другого недостойным его высокой цели и неспособным ее понять. Разумеется, о третьем члене не могло быть и речи, поскольку великий закон противоречия выражается с помощью лишь двух противоположностей, привести к согласию которые невозможно, ибо анархия уже, по определению, есть состояние хаоса и столкновений, подобное тому, в каком, если верить кинетической теории, находятся частицы идеального газа. С другой стороны, закон противоречия, несомненно, есть и согласие, ограничение личной свободы, несовместимое с таковой; но «высший синтез» допускает согласие, при условии, что оно строго ограничено целями высшего противоречия. Таким образом, великая цель всей философии — «высший

¹ Гране, конь мой (нем.).

синтез» — все же достигалась, но процесс этот требовал времени и сил, и, когда Адамс, как старший член сообщества, решился провозгласить этот принцип, Бей Лодж, как и следовало ожидать, тотчас отверг как решение, так и принцип, чтобы подтвердить его истинность.

В конечном синтезе, как провозгласил Адамс, порядок и анархия были едины, но единство это — хаосом. В качестве анархиста консервативно-христианского толка он не видел для себя иной задачи, как идти к конечной цели и ради быстрее-го ее достижения содействовать ускорению поступательного движения, концентрации энергии, аккумуляции мощи, умножению и интенсификации сил, уменьшению трения, увеличению скорости и количества движения отчасти потому, что, как разъясняет наука, таков механический закон Вселенной, он делал это отчасти в силу необходимости покончить с существующим положением дел, которым крайне тяготились художники, и не только художники, и, наконец, — и главным образом — потому, что без этого, согласно философии, нельзя шагнуть в запредельные сферы и реализовать предначертанную человечеству судьбу, достигнув высшего синтеза в его конечном противоречии.

Недоучившийся критик, разумеется, тут же возразил бы, что в подобной программе нет ничего ни от консерватизма, ни от христианства, ни от анархии. Но такое возражение означает лишь, что этому критику не грех сесть за парту в начальной школе и выучить азбучную истину: анархия не терпит логики; где начинается логика, кончается анархия. В глазах консервативного критика-анархиста душеспасительные доктрины Кропоткина не более чем сентиментальные идеи, возникшие на почве русской духовной инерции и прикрытые именем анархии с целью замаскировать их наивность, а излияния Элизе Реклю — разбавленные абсентом идеалы французского *ouvrier*¹, ведущие к буржуазной мечте о поряд-

¹ Рабочий (*фр.*).

ке и инерции. Ни то, ни другое не ставит своей целью добиваться анархии, разве только кратковременной, на пути к установлению порядка и единства. Ни тот, ни другой не создали никакой концепции мироустройства, кроме унаследованной от класса священников, к которому явно принадлежали по духу. Им, как и социалистам, и коммунистам, и всевозможным коллективистам, чуждо следование природе; а если анархистам надобен порядок, пусть вернуться в двенадцатый век, где подобные идеи господствовали уже добрых тысячу лет. Таким образом, у консервативно-христианского анархиста не могло быть ни соратников, ни ближайшей цели, ни веры — разве только в торжество природы самой природы, а его «высший синтез» страдал лишь одним недостатком: это было настолько непреложное учение, что даже высочайшее понятие о долге не могло заставить Бея Лоджа отвергнуть его, чтобы это доказать. Лишь самоочевидная истина, что ни одна философия порядка, исключая разве церковь, еще не сумела удовлетворить философов, побуждала консервативно-христианских анархистов отстаивать неуязвимость собственной философии.

Эти идеи, естественно, значительно опережали свой век, и понять их, как Вагнера или Гегеля, дано было лишь очень немногим. Именно по этой причине со времен Сократа мудрый человек, как правило, опасается утверждать, будто в этом мире что-либо понимает. Но подобная утонченность к лицу древним грекам или нынешним немцам, а практичного американца все это волнует мало. Он готов допустить, что на данный момент сгущается тьма, но не станет утверждать, даже перед самим собой, будто «высший синтез» непременно обернется хаосом, поскольку тогда ему пришлось бы равным образом отрицать и хаос. А пока поэт вслепую нащупывал чувство. Игра мысли ради мысли почти прекратилась. Шипение пара мощностю в пятьдесят — сто миллионов лошадиных сил, каждые десять лет удваивавшее свою мощь и деспотически попиравшее мир, как не смогли бы все лошади,

какие когда-либо существовали на свете, со всеми всадниками, каких они когда-либо носили в седле, заглушало и рифму и мысль. И винить за это было некого, ибо все равным образом служили этой силе и трудились лишь для того, чтобы ее умножать. Но перед консервативным христианским анархистом забрезжил свет.

Итак, ученик Гегеля собрался в Россию, чтобы расширить свое понимание «синтеза» — ему это было более чем необходимо! В Америке все были консервативными христианскими анархистами; эта догма соответствовала ее национальным, расовым, географическим особенностям. Истинный американец не видел никаких достоинств ни в одном из бесчисленных оттенков общественного устройства между анархией и порядком и не находил среди них пригодного для человечества или себя лично. Он никогда не знал единой церкви, единого образа правления или единого образа мысли и не видел в них необходимости. Свобода дала ему смелость не бояться противоречий и достаточно ума, чтобы ими пренебречь. Русские развивались в диаметрально противоположных обстоятельствах. Царская империя являла собой фазу консервативно-христианской анархии, не в пример более интересную с точки зрения истории, чем Америка с ее газетами, школами, трестами, сектами, мошенничествами и конгрессменами. Последние были порождением природы — чистой и анархической, такой, какой ее понимал консервативный христианский анархист: деятельной, подвижной, по большей части бессознательной, мгновенно реагирующей на силу. В России же все впечатления — от первого взгляда, брошенного из окна вагона рано утром на какой-то станции на польского еврея в странном обличье, до последнего — на русского мужика, зажигающего свечу и целующего икону божьей матери на вокзале в Санкт-Петербурге, — все говорило об укладе логичном, консервативном, христианском и анархическом. Россия не имела ничего общего ни с одной из древних или современных культур, какие знала история. Она была древнейшим источником

европейской цивилизации, но для себя не сохранила никакой. Ни Европа, ни Азия не знали подобной фазы развития, которая, по всей очевидности, не соответствовала ни одной линии эволюции и казалась столь же необычной исследователю готической архитектуры двенадцатого века, как и исследователю динамо-машины двадцатого.

В чистом свете доктрины консервативно-христианской анархии Россия стала высветляться, пуская, как соли радия, невидимые лучи — правда, негативного свойства, словно субстанция, из которой всю энергию уже высосали, — инертные отходы, где движение сохраняется только по инерции. За окном вагона проплывали застывшие валы кочевой жизни — пастухи, покинутые жокаками и стадами, — разгульная волна, остановившаяся в своем разгуле, — замершие в ожидании, когда то ли ветры, то ли войны, вернувшись, двинут их на Запад — племена, которые, разбив, подобно киргизам, становища на зиму, утратили средства передвижения, но привычки к оседлости не обрели. Они ждали и мучились: люди в бездействии, не на своем месте, и их образ жизни вряд ли когда-либо был нормальным. Вся страна являла собой нечто вроде копилки энергии, подобно Каспийскому морю, а ее поверхность сохраняла единообразие покрова из льда и снега. В одном мужике, целующем в кремлевском соборе икону в день своего святого, воплощались все сто миллионов ее жителей. Желаящему изучать Россию не было нужды листать Уоллеса или перечитывать Толстого, Тургенева и Достоевского, чтобы освежить в памяти язвительнейший анализ человеческой инерции, когда-либо выраженный словом. Достаточно было Горького, хватало и Кропоткина, который вполне соответствовал этой цели.

Русские, вероятно, никогда не менялись — да и могли ли они меняться? Преодолеть инерцию расы в таком масштабе или дать ей иную форму — возможно ли это? Даже в Америке, где масштабы бесконечно меньше, это вопрос давний и нерешенный. Все так называемые первобытные расы или

те, что недалеко ушли от примитивного образа жизни, неизменно ставят под сомнение положительный ответ на этот вопрос вопреки упрямой убежденности эволюционистов. Даже сенатор лишь неуверенно качал головой и, вдоволь налюбовавшись Варшавой и Москвой, отбыл в Санкт-Петербург, чтобы задать этот вопрос графу Витте и князю Хилкову. Беседа с ними породила новые сомнения, ибо при всех громадных усилиях и невероятных тратах, на которые они шли, результаты их деятельности для народа были пока весьма расплывчаты, даже для них самих. Десять, если не пятнадцать лет интенсивного стимулирования, по-видимому, ни к чему не привели: с 1898 года Россия плелась в хвосте.

Понаблюдав и поразмыслив, наш любознательный турист решил спросить сенатора Лоджа: считает ли тот возможным, что поколения через три русские вольются в общественные движения Запада? Сенатор полагал, что трех поколений, пожалуй, мало. Адамсу нечего было на это сказать. По его убеждению, всякий вывод, основанный на фактах, неизбежно оказывался ложным, потому что собрать все факты никак невозможно, а тем паче установить связи между ними, число которых бесконечно. Весьма вероятно, что именно в России внезапно появится самая блестящая плеяда личностей, ведущих человечество к добру на всех predetermined для этого этапах. А пока можно оценить ее движение как движение инерции массы. И предположить лишь медленное ускорение, в результате которого разрыв между Востоком и Западом к концу нынешнего поколения останется примерно таким же.

Наглядевшись вдоволь на Россию, Лоджи заключили, что для нравственного совершенства им необходимо посетить Берлин. Но так как даже сорок лет разнообразных впечатлений не похоронили воспоминаний Адамса об этом городе, он предпочел любой ценой не добавлять к ним новых и, когда Лоджи двинулись в Германию, сел на пароход, отплывавший в Швецию, а дня через два благополучно сошел с него в Стокгольме.

Пока нет полной уверенности, что поставленная задача выполнима, мало проку упорствовать в ее решении. А разбирался ли сам граф Витте, или князь Хилков, или любой из великих князей, или император в стоящей перед ним задаче лучше своих соседей, весьма сомнительно. Впрочем, если бы даже в Америке кто-либо из знакомых Адамсу государственных деятелей — министр финансов, президент железнодорожной компании или президент Соединенных Штатов — попытался бы предсказать, какой Америке быть в следующем поколении, он слушал бы их с немалой долей недоверия. Сам факт, что человек делает подобные прогнозы, свидетельствует о его некомпетентности. Однако Россия была слишком огромной силой, чтобы позволить себе не думать о ней. Эта инертная масса представляла три четверти рода человеческого, не говоря уже обо всем прочем, и, вполне возможно, именно ее размеренное движение вперед, а не стремительное, лихорадочно-неустойчивое в своем ускорении движение Америки было истинным движением к будущему. Кто мог сказать, что для человечества лучше. И наш турист, хранивший в памяти строки Лафонтена, ловил себя на том, что рассуждает то как мартышка великого баснописца, то как его медведь — смотря по тому, в какое зеркало смотрится.

«Доволен ли я собой?» — спрашивал он себя.

Moi? pourquoi non?

N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres?

Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché;

Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché;

Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre ¹.

¹ А почему же нет. <...>

Я, кажется, ничем других не хуже.

А в медведе все настолько неуклюже,

Что братцу моему дала бы я совет,

Чтоб он не позволял писать с себя портрет!»

(Перевод О. Н. Чюминой)

Допуская, что брату-медведю недостает совершенства во многих статях, маргышка, однако, не могла не признать, что и сама не являет собой фигуры идеальной и блестящей, а какой станет в следующем поколении, и вовсе не могла сказать. А уж на три поколения вперед Адамс и подумать не смел. Кто же в мире мог предугадать, как скажутся на нем мотор Даймлера и рентгеновские лучи! В одном сомнений не было: маргышка и мотор до крайности боялись медведя — в какой степени, знали лишь те, кто был близок к министерствам иностранных дел. Нашей же маргышке, теперь глядевшей на Россию через дали Балтийского моря с крепких бастионов Стокгольма, она казалась еще грознее, чем с башен Кремля.

Она выглядела бескрайним ледником, стеной из древнего льда — крепкой, первозданной, вечной, подобно стене вечных льдов, сковавших океан всего в нескольких милях к северу, который в любой момент мог тронуться с места. Скандинавия всегда жила под его угрозой. В этом отношении в Европе ничего не менялось. Воображаемая линия, разрезавшая равнинную часть континента от Балтийского моря до Черного, изогнулась лишь на севере. К западу от нее поляки и венгры все еще пытались противостоять русской инерции — инерции расы, — сохраняя свою энергию в тех же самых условиях, которые породили инерцию по другую сторону границы. Раса определяла условия бытия, а условия вряд ли воздействовали на расу, и никто не брался объяснить терпеливому туристу, что такое раса и как ее изучать. Историки, употребляя слово «раса», лишь неопределенно улыбались, эволюционисты и этнографы оспаривали само ее существование, никто не знал, что с нею делать, а между тем без ключа к этой загадке история оставалась сказкой для детей.

Немцы, скандинавы, поляки и венгры при всей их бурной энергии не могли устоять перед инерцией разнородной массы, именуемой Россией, и дрожали от страха всякий раз, когда она приходила в движение. Из Стокгольма она казалась ледниковым покровом, и Стокгольм веками напряженно следил

за ним. После угрюмых русских лесов и строгих проспектов Санкт-Петербурга столица Швеции смотрелась южным краем, а Швеция манила туриста вдаль. Поддавшись соблазну, Адамс двинулся на север и, миновав веселые, совсем как в Новой Англии, пейзажи ясной осени, очутился в Тронхейме, где ему открылась Норвегия. Новое и неизвестное обступило его со всех сторон, пока он проводил триангуляцию этих исторических просторов, о которых рассказывал студентам, всю жизнь черпая сведения из книг. Он убедился, что ничего о них не знал. А когда историк убеждается в своем невежестве — что нередко случается с американцами, — он становится несносен самому себе даже больше, чем остальным, ибо его naïveté¹ не знает границ. Адамс долго не мог прийти в себя, а ведь он с самого начала всегда стоял за скандинавскую гипотезу и никогда не жаловал столь обожаемые Фрименом тупые, налитые пивом саксонские туши, которые, к отчаянью науки, произвели на свет Шекспира. Одно лишь соприкосновение с Норвегией рождало целые потоки мыслей, и, полностью отдавшись их течению, Адамс поспешил сесть на отправлявшийся на север пароход, который 14 сентября доставил его в Хаммерфест.

Вряд ли можно было бы назвать пустым времяпрепровождение непоседливого туриста, проплывавшего в осеннем сумраке мимо белевших пятнами снега берегов, с которых последние лопари и их олени следили за лавирующим в извилистых проливах судном, как следили их предки за первыми норвежскими рыбаками, постепенно узнавая их ближе. Но не лопари, не снега, не арктическая белесая тьма притягивали к себе воображение нашего путешественника, его поражало совсем иное — огни электромагнитной цивилизации и ее разительный контраст с Россией, то, что, все настойчивее выдвигаясь на первое место, требовало внимания историка. Здесь как нигде новые силы решительно исправляли ошибки старых

¹ Наивность, простодушие (*фр.*).

и эффективно восстанавливали равновесие эклиптики. Судно приближалось к краю света — к тому месту, достигнув которого семьдесят лет назад остановился карлейлевский праздничный герой — Тейфельсдрек, — остановился и задал праздный вопрос: есть ли граница у этого неоглядного безмолвия? — но, по-видимому, с тех пор неоглядное безмолвие успело научиться говорить и, став болтливым, если не сказать развязным, болтало не переставая. Электрический свет и телефон позволяли туристам путешествовать до кромки полярных льдов, за пределы магнитного полюса, и, попав туда, Тейфельсдрек новой формации онемел от изумления и только молчал, глаза на немеркнущие электрические огни Хаммерфеста.

Для такого изумления у него были веские причины — более веские, чем те, какие Тейфельсдрек 1830 года, при всем богатстве его шотландской фантазии, мог бы себе вообразить, а простой смертный — предвидеть. Недельное плавание в туманных северных морях, без знания языка, в постоянном сумраке арктического пояса не могло не настроить путешественника на угрюмый, даже мрачный лад. К тому же перед самым отъездом из Стокгольма, завтракая в ресторане, Адамс случайно бросил взгляд на заголовок в шведской газете, лежавшей на соседнем столике, и разобрал, что в ней сообщается о покушении на жизнь президента Маккинли. На всем пути — от Стокгольма до Тронхейма и дальше в Хаммерфест — день за днем поступали бюллетени о состоянии здоровья президента, о действиях и выступлениях Рузвельта и Хея, пока на одной из стоянок не стало известно, что несколько часов назад президент скончался. Смерть Маккинли и возвышение Рузвельта задели Адамса, но чувства, которые они вызвали в его душе, не могли сравниться с переполнявшим его изумлением, когда он ежечасно выслушивал сообщения от ближайших друзей, посланные в царство ночи. Мир, оснащенный электричеством, динамо-машиной и службой связи, функционировал исправнее, чем солнце.

В таких необычных обстоятельствах еще не оказывался до сих пор ни один историк, и на мгновение вся философия Адамса — его концепция консервативного анархизма — утратила смысл. Акселерация шла семимильными шагами, ведя к единению. Чтобы увидеть хаос, надо было устремить взор на другую сторону залива — к России, и разрыв между нею и Европой внезапно, казалось, превратился в бездну. Россия была бесконечно далеко. Но и здесь, с той стороны пролива, прямо на глазах, ледяная шапка угрожала Адамсу с прибрежных скал, и, глядя на сумрачное, маслянисто поблескивавшее море, омывавшее призрачные острова, нельзя было не проникнуться сознанием — еще день пути на север, и пароход уткнется в кромку льда, готового в любой момент стронуться с места. Дальше туристам не было хода — у этой преграды давным-давно остановились и лопари со своими оленями, и скандинавские рыбаки, да так давно, что изгладилась даже память об их происхождении. Адамс никогда еще не доходил до такого рода *ne plus ultra*¹ и не знал, что можно из этого извлечь, но по крайней мере он испытал те чувства, какие, надо полагать, владели его норвежскими предками — рыбацким племенем, насчитывавшим, несомненно, сотни тысяч, — когда они оказались здесь, прижатые к морю. С севера им угрожали льды, со спины — ледник русской инерции, и по сравнению с этой угрозой льды казались детской игрушкой. С того самого дня, когда они двинулись вслед за отступающим ледником вокруг Нордкапа, и до настоящего времени перед ними стояли все те же проблемы.

Новый Тейфельсдрек — даром, что намного старше прежнего, — не лучше его разбирался в прошлом и прозревал будущее, но испытывал такое же полное замешательство. От векового ледяного барьера до Каспийского моря с тех пор, когда впервые необоримой стеной стали ледник и инерция,

¹ Крайние пределы (*лат.*).

тянулась, рассекая Европу, длинная линия, рассекая и его собственные силовые линии.

Чем меньше турист знает, тем меньше наделает ошибок: ведь не станет же он рассчитывать, что сумеет толковать о том, чего не знает. В прошлом веке он возил с собой рекомендательные письма и стремился как можно больше узнать; сегодня он знает, что никто ничего не знает; ему нужно знать слишком много, а незнание — мать учения. И Адамс вновь отправился на юг, а по пути заехал в Киль, Гамбург, Бремен и Кёльн. Достаточно было взгляда, чтобы убедиться — перед ним была Германия, какой ее еще не знало человечество. Гамбург стал вполне американским городом, почти таким же, как Сент-Луис. За сорок лет по-сельски зеленый Дюссельдорф пропитался угольной пылью не хуже Бирмингема. Рейн 1900 года так же мало походил на Рейн 1858-го, как на Рейн времен салических франков. В Кёльне, теперь крупнейшем железнодорожном узле, возвышался собор, который по своей безликости вполне годился для Чикаго. Тринадцатый век, тщательно отчищенный, каталогизированный и запертый на замок, демонстрировался туристам в качестве редкого экспоната, на манер находок из времен неандертальского пещерного человека. Рейн выглядел современнее Гудзона, и это неудивительно: угля на Рейне добывалось во много раз больше. Но все это мало что значило по сравнению с теми коренными изменениями, которые произошли в германских силовых линиях.

В 1858 году североευропейская равнина и область Дуная на юге еще носили явные следы того, что по ним проходили доисторические пути из Азии к Атлантическому океану. Торговые пути шли по дорогам вторжений, и Кёльн все еще был местом привала между Варшавой и Фландрией. Повсюду на севере Германии ощущалась близость России — даже больше, чем Франции. В 1901 году русский дух полностью испарился, не пахло и Францией, тем паче Англией или Америкой. Пахло только углем — угольный дух, такой же, как в Бирмингеме

и Питтсбурге, царил над всем Рейном и проник уже в Пикардию — Рейн производил ту же силу, а сила эта производила таких же людей — такой же образ мышления — те же потребности и желания. Для шестидесятитрехлетнего человека, не питавшего даже надежды заработать себе на жизнь, эти три месяца воспитания и образования оказались самыми насыщенными и трудными за всю его жизнь, а Россия — самым крепким орешком из всех, какие он пытался раскусить. Но результат, каким он виделся ему из Кёльна, представлялся стоящим потраченных усилий: картина прояснилась. От Хаммерфеста до Шербурга на одном берегу Атлантического океана, от Галифакса до Норфолка — на другом раскинулась великая империя, и правил ею великий император — Уголь. Политические и личные амбиции могли рвать ее на части и делить на куски, но власть и империя оставались едины. Здесь воцарилось единство. А за пределами этой империи лежала Россия, где господствовала более древняя и, возможно, более надежная сила, опиравшаяся на вечный закон инерции.

Соотношение этих двух сил с каждым годом представляло для Адамса, даже в личном плане, все больший интерес. Вся масса русской инерции неудержимо двигалась на Китай, а Джон Хей стоял у нее на пути. Пока кормило власти оставалось в руках графа Витте, Хей был в безопасности. Но если Витте падет, зашатается и Хей. Оставалось только сидеть смирно и наблюдать за политикой графа Витте и господина Плеве.

28. НА ВЕРШИНЕ ПОЗНАНИЯ

(1902)

В Америке всегда легко переживали трагедию. Американцы слишком заняты, чтобы останавливать работу своего общества мощностью в двадцать миллионов лошадиных сил,

и попросту закрывают глаза на трагические события, которые в средние века надолго омрачили бы сознание людей; мир учится видеть в политическом убийстве своеобразную форму истерии, а в смерти — невроз, который следует лечить покоем. Три чудовищных политических убийства, которые повергли бы в ужас и кровожадных Евменид, лишь легким облачком коснулись Белого дома.

Год 1901-й был годом трагедий, и, как казалось Хею, он стоял в самом центре ужасных событий. Сначала летом погиб его сын Дел. Вслед за трагедией с сыном произошло покушение на президента, смерть которого казалась «тем более ужасной, что все были совершенно уверены в его выздоровлении». Мир вдруг превратился в кладбище. «Для меня стало привычным хоронить». «Умирает Николай. Вчера, когда я навестил его, он меня не узнал». Среди потока писем с выражением соболезнования было и письмо от Кларенса Кинга из Пасадены, «щемяще трогательное и нежное — в его старой манере», сам же Кинг «попросту ждет, кто победит — его воля или злые силы». На Хея трагедия Кинга произвела огромное впечатление.

«Вот злая ирония судьбы! — сетовал он. — Лучший, ярчайший в своем поколении человек, одаренный столькими талантами, что никому из современников с ним не сравниться, такой неумейной энергией, что от его деятельности порою мутилось в голове, — всем, кроме слепой удачи. Несчастья преследовали его с колыбели, а радостей жизни, для которых он был создан, он так и не знал. И теперь он умирает в невыразимых страданиях — один, без ухода, в какой-то калифорнийской гостиничке. *Sa vous amuse, la vie*»¹. Первый пригласительный билет, врученный Адамсу еще до того, как 29 декабря он сошел на нью-йоркский пирс, был на похороны Кларенса Кинга, и после траурной церемонии ему не оставалось иного — более радостного — пути, чем в Вашингтон,

¹ Жизнь забавна, не правда ли? (*фр.*).

где в результате крутой перемены большинство его сверстников мгновенно оказались в разряде стариков, а в первые ряды выдвинулось поколение тех, кто в его глазах все еще оставался мальчишками. И все это неизбежно разрушало социальные связи, всех их прежде соединявшие.

Sa vous amuse, la vie? Честно говоря, преподносимые жизнью уроки становились чересчур банальными. Хей, кажется, впервые в жизни был почти рад, когда Рузвельт пожелал оставить его на занимаемом посту, хотя бы потому, что тяготился бы отставкой. Адамса же ждали одни утраты. Правда, с этой стороны воспитания он был прекрасно знаком еще со школьной скамьи. Друзья у власти были для него потеряны, и он достаточно хорошо знал, что такое жизнь, чтобы не предпринимать попыток сохранить их, рискуя потерпеть полное фиаско.

Что касается Рузвельта, дело было абсолютно безнадежным. Шестидесятитрехлетние не могли принимать всерьез сорокатрехлетнего Рузвельта в его прежней ипостаси и не смогли обрести наново в нынешней. Власть в руках человека, наделенного выходящей за пределы нормы энергией, — не шутка, а кому как не друзьям Рузвельта было известно, что его неуемная, бьющая через край энергия далеко выходила за пределы нормы. Рузвельт, более чем любой другой человек, пользовавшийся известностью, выказывал признаки особого примитивного свойства, присущего и высшей материи, — свойства, которое средневековая теория приписывала богу: он был само действие. Теперь, когда он оказался в Белом доме, облеченный неограниченной властью, сочетающейся с безграничной энергией, их отношения старшего с младшим, учителя с учеником были совершенно неприемлемы; иные же были просто невозможны. Даже отношения Рузвельта с Хеем приобрели оттенок фальши, с Адамсом они прекратились сами собой. Исторические параллели не имеют нынче большой цены, но кое-какие из своих первозданных и непреложных законов человеческая природа сохранила,

а даже мудрейший из «царедворцев» — сам Луций Сенека, — вероятно, не совсем ясно представлял себе, какую пользу мог бы извлечь из власти своего друга и ученика Клавдия Нерона, пока Нерон, как добрый сын и ученик, не предложил ему, джентльмену за шестьдесят, самому покончить счеты с жизнью. К широкому кругу его познаний добавилось последнее: друг у власти уже не друг — и забывать об этом не следует. А наш седовласый мотылек, порхавший во времена многих мотыльковых правлений, лишь слегка опалив себе крылышки при каждом из них, теперь — хотя и пребывал в состоянии спячки девять из двенадцати месяцев в году — обрел наконец чувство самосохранения, которое, удерживая его на северной стороне Лафайет-сквер, пресекало всякое желание якшаться с президентами и сенаторами, благо он на них достаточно насмотрелся.

Те, кто стремится извлечь уроки познания в сфере моральных обязательств, неизбежно обманываются, полагая, будто власть в руках друзей принесет им пользу. Если бы Адамса попросили поделиться опытом по этой части, он счел бы своим долгом заявить, что он от подобных ситуаций только проигрывал. Власть — это яд. Ее воздействие на любого президента всегда было пагубно, главным образом потому, что сначала сказывалось в почти болезненном возбуждении, а затем приводило к реакциям и похуже, но также и потому, что ни один человеческий разум не является столь гармоничным, чтобы выдержать напряжение, которое создает обладание неограниченной властью, когда нет ни привычки к ней, ни знания, что это такое, да еще обнаруживается, что на нее посягают своры голодных волков и собак, чья жизнь целиком зависит от того, урвут ли они себе кусок. Рузвельт отличался на редкость прямым характером и руководствовался честными намерениями, но, естественно, жил в состоянии постоянного возбуждения, которое большинство людей вымотало бы за месяц. Первый год своего президентства он находился в такой непрерывной лихорадке, что

другу за него становилось страшно. Проблема воздействия неограниченной власти на ограниченный ум президентов стоит внимания: ведь тот же процесс происходит и с другими членами общества, а власть над самим собой, вероятно, имеет свой предел.

В этом, по-видимому, и заключался первый и последний урок, который надлежало извлечь отсюда, но здесь мы сталкиваемся уже с психологией, а эта область уходит далеко в глубь истории и научных знаний и предстанет перед нами в иных формах. Генри Адамс извлек для себя личный урок. Рузвельт как друг был для него потерян, но это, полагал Адамс, вовсе не означало, что он непременно потеряет Хея и Лоджа, хотя результат можно было вывести с математической точностью. Что касается Хея, силы его таяли, и их приходилось экономить; в отношении Лоджа действовали иные причины — закон политики. Лодж уже не подчинялся самому себе: друг президента и одновременно независимый политик, он очутился в ложном положении и, вероятно, чувствовал себя неуверенно как в том, так и в другом качестве.

По мнению Адамса, Кэбот Лодж занимал значительное место в государственной машине — гораздо более значительное, чем просто сенатор, — но его значение зиждилось не на том, что он обладал контролем над исполнительной властью, а на той роли, какую играл в делах Массачусетса; но в самом Массачусетсе его положение было весьма шатким. Ни в одном другом американском штате общество не отличалось такой сложностью, а перемены не происходили с такой стремительностью. Бостонцы всегда страдали неким свойством, которое можно было бы определить словом «бостонит» и которое в своей изначальной пуританской форме происходило от слишком большой осведомленности относительно жизни своих соседей и слишком высокого мнения о себе самих. Еще много лет назад Уильям М. Эвартс разъяснил Адамсу, что Новую Англию невозможно привести к единству под эгидой уроженца Новой Англии. Эта особен-

ность имела свои положительные последствия — например, Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона там обожали, — но в целом была обременительной: правила жизни и критерии Новой Англии были многообразны, плохо сочетались друг с другом и постоянно множились в числе, так что в конце концов стало невозможным поддерживать между ними какое-то равновесие. И старые правила были неимоверно сложны: Стейт-стрит и банки придерживались одного кодекса; старое конгрегационное духовенство — другого; Гарвард, у которого было мало голосов на выборах, зато сильное общественное влияние, — третьего; пришлый элемент, главным образом ирландцы, держался особняком и редко выражал одобрение кому бы то ни было; новый класс приверженцев социализма, быстро разраставшийся, обещал стать еще более обособленным, чем ирландцы. Новая сила разъединяла общество, вводя в действие независимые противоборствующие центры, пока деньги не приобрели власть делать на них все возможное, чтобы механизм не развалился. Кто же мог с полным правом представлять это общество как единое целое?!

Лодж, конечно же, был в высшей степени по душе Адамсу, однако дать ему верную оценку было куда сложнее, чем его ближайшему другу и сотоварищу, президенту. Как тип для изучения или модель для воспитания Лодж из них двоих представлял собою наибольший интерес. Рузвельтами рождаются, и воспитание тут ни при чем, тогда как Лодж был продукт воспитания — воплощенный Бостон — дитя взрастившей его среды, и, пока честолюбие толкало его вверх, он в достижении своих целей, хотя и добропорядочных, был, насколько Адамс мог судить применительно к себе, неумен. Блестящий собеседник, ненасытный книголюб, остроумный полемист, великолепный оратор, человек с ясным умом и цепкой памятью, он никогда не чувствовал себя легко и свободно и, на какой бы почве ни стоял, беспрестанно менял точку опоры, иногда мучительно напрягая мышцы, и никогда не знал, в какой выступить роли — бескомпромиссно-

го янки, или истинного американца, или патриота в еще более «истинно американской» атмосфере, нагнетаемой ирландцами, немцами и евреями, или ученого и историка из Гарвардского университета. Англичанин до мозга костей, насквозь пропитанный английской литературой, английскими традициями и английскими вкусами, он питал отвращение к порокам и большей части достоинств французов и немцев, да и ко всему европейскому в целом, зато чувствовал себя на месте и был совершенно счастлив среди пороков и несообразностей шекспировских героев. Руководствуясь в своей деятельности то светскими правилами, то политическими нуждами; перед кем-то преклоняясь, а кого-то проклиная; возмущаясь откровенной безнравственностью, но и сам не гнушаясь вольностями политических нравов, порою злой и разочарованный, чаще любезно-добродушный, но неизменно умный политик, Лодж обладал редким достоинством — с ним было интересно. Обыкновенные деятели держались стаями, словно вороны — черные и однообразные. Лодж выделялся ярким оперением, которое, как и его полет, выдавало породу. В его словах и поступках чувствовалось сознание того, что за ним и его семьей есть прошлое, пожелай они только сказать это вслух, а возможно, и будущее, сумей они только его предугадать.

Адамс тоже был бостонцем, и бостонская раздвоенность была присуща ему так же, как и Лоджу. Только бостонец способен понять бостонца и отнестись с сочувствием к непоследовательности бостонского ума. Теория у бостонца всегда расходилась с практикой. В теории он проповедовал неприятие английского образа мышления и отзывался об английской философии как о куче антикварных безделушек, в которой хотя и попадаются ценные вещицы, но слишком хрупкие. По мнению бостонца, уважения заслуживали лишь греческие, итальянские или французские образцы, а варвар-Шекспир приводил его в такой же ужас, как Вальтера. Однако так было в теории и не сказывалось на практике.

Адамс знал, что его художественный вкус — иллюзия, навязанная ему умом; что английская неупорядоченность ближе к истине, коль скоро истина существует, чем французская соразмерность, итальянская линия или немецкая логика. Он читал Шекспира как евангелие консервативно-христианской анархии, не слишком консервативное или христианское, зато насквозь анархическое. Ему нравилась грубость английского искусства и общества, он любил Чарлза Дикенса и Джейн Остин — не за примеры нравственности, а за чувство юмора. Он без укоров совести пренебрегал последовательностью и отвергал постоянство — но он не был сенатором.

Раздвоенность в принципах служит источником вдохновения для поэтов и писателей, но может иметь роковые последствия для политика. Адамсу не приходилось беспокоиться насчет того, встречаются ли его принципы всеобщее одобрение, да и других это тоже не беспокоило. Но Рузвельт и Лодж вели такую игру, при которой зыбкие пески общественного мнения могли в любую минуту разверзнуться у них под ногами. Их пожилой друг давно уже познакомился с этой игрой — в том объеме, в каком ему хотелось. Ему она не представлялась привлекательной — развлечение вроде бокса или акробатических упражнений. Чтобы влезть в нее как следует, надо было окунуться с головой во все подробности и расхождения интересов и честолюбивых замыслов весьма мелкотравчатой публики. Иное дело — внешняя политика, ведшаяся на уровне единиц крупного масштаба. Это позволяло Адамсу поддерживать личные отношения с Хеєм и делало их невозможными с Рузвельтом и Лоджем. В чисто воспитательных целях то, о чем здесь идет речь, заслуживает внимания молодых людей, втянутых в политику. Внутреннее развитие страны осуществляется при помощи различных видов механической энергии — пара, электричества, энергии, даваемой печами, и тому подобным, — управлять которыми должны десяток-другой лиц, проявивших к этому делу способности. Внутренней функцией государственной власти ста-

новится задача контролировать этих людей, которые в социальном отношении столь же недоступны, как языческие боги, единственно достойные познания и тем не менее непознаваемые, и при всем желании ничего не могут сказать по политическим вопросам. Большинству из них вообще нечего сказать; они так же немые, как их динамо-машины, поглощенные производством или экономией энергии. Их можно считать попечителями общества, и, поскольку общество признает их деятельность, оно должно даровать им этот титул; но энергия остается такой же, как и прежде, независимо от того, кто ею управляет, и она будет господствовать над обществом так же беспристрастно, как общество господствует над своими истопниками и рудокопами. Современная политика по существу является борьбой энергий, а не людей. Люди с каждым годом все в большей степени превращаются в создания энергии, сосредоточенной в главных энергостанциях. Борьба идет уже не между людьми, а между двигателями, которые правят людьми, а последние склонны подчиняться действию этих движущих сил.

Такова мораль, которую люди никак не хотят признать, особенно в таких средневековых областях деятельности, как политика и поэзия, и учителю не к чему доводить ее до их сознания. Единственное, на чем он настаивает, — в делах внутренней политики каждый работает ради какой-то близкой цели, как правило, решая частную задачу, к тому же неизменно в пределах непосредственной видимости, тогда как во внешней политике взгляд направлен далеко вперед, обнимая поле деятельности, широкое как мир. В этой области любой ученый может увидеть, что ему делать. И поэтому для истории международные отношения являются единственным верным критерием движения, единственной основой для систематизации фактов. Адамс всегда утверждал, что единственной твердой основой для создания исторических схем являются международные отношения.

Адамс не стремился убеждать кого-либо в справедливости

вости такой точки зрения, но долг наставника обязывал искать ей объяснение, а чувство дружбы подтверждало правильность принятого решения. Государственный секретарь, как и историк, всегда обречен на одиночество. Призванный видеть многое вокруг себя, он соизмеряет силы, о которых партийные вожди не имеют понятия, и знает, что конгресс со дня своего основания всегда был более или менее ему враждебен. Государственный секретарь существует единственно для того, чтобы помнить о существовании мира, который конгресс предпочел бы игнорировать, соблюдать обязательства, выполнению которых конгресс по возможности всячески противится, заключать соглашения, которые конгресс подвергает сомнению и пытается обратить в свою пользу или просто нарушить. Что же касается сената, то этот верховный орган неизменно начинал против государственного секретаря тайную войну, когда тому приходилось использовать свои полномочия для решения вопросов, выходящих за рамки обычного назначения консулов.

Таковы уроки истории, и ваше право принимать их или оспаривать. Но престарелому ученику она позволила изучить дополнительный материал, ибо сделала Хей его лучшим наставником начиная с 1865 года. Хей оказался самой замечательной фигурой из всех, когда-либо занимавших пост государственного секретаря. Он пользовался влиянием, каким на этом посту еще никто не обладал, благо за ним стояла нация, какой еще не знала история. Ему не приходилось писать правительственные ноты; он не нуждался в помощи и обходился без советов и рекомендаций; но внимательному ученику, жаждавшему знаний, мог быть полезен, как ни один наставник в мире. А Адамс жаждал знаний — хотя бы для того, чтобы составить схему путей международного развития лет этак на пятьдесят вперед, произвести триангуляцию в будущее, определить размах и ускорение движения в политике начиная с 1200 года, как пытался определить его применительно к философии и физике, финансам и энергии.

Хей уже так долго стоял во главе департамента иностранных дел, что в конце концов события сами повернули в нужном ему направлении. Ценой бесконечных усилий ему удалось одержать невиданную дипломатическую победу — добиться того, чтобы сенат разрешил Великобритании — всего при шести голосах против! — отказаться, без соответствующего возмещения, от предоставленных ей по договору прав, за которые она зубами и когтями цеплялась целых пятьдесят лет. Этот беспрецедентный успех в отношениях с сенатом позволил Хею продвинуться еще на шаг в его усилиях добиться всеобщего мира. Сенат уже не мог блокировать дальнейшие переговоры с Англией, Англия сложила оружие, и неприятностей можно было ждать только от Канады. Следующим трудным шагом было добиться согласия Франции, и тут сенат встал-таки на его пути, но это дело взяла на себя Англия и благодаря политическим переменам во Франции достигла результата, который еще в 1901 году был бы немислим. Следующим, и значительно более трудным шагом было ввести в этот сплав Германию, а затем двинуться к самой дальней цели — удовлетворить и обезоружить наиболее несговорчивую из всех держав, Россию. Хей руководствовался в политической игре инстинктом, который можно было бы назвать маккинлизмом, — система промышленных объединений, фондов и трестов, созданная в Америке, могла быть создана в масштабах всего мира.

В этой системе историку, вскормленному на идеях восемнадцатого века, нечего было делать, да у него и не было ни малейшего желания в ней участвовать; но ничто не мешало ему ее изучать, и тут он, к своему удивлению, обнаружил, что этот капиталистический проект объединить правительства, словно железные дороги или плавильные печи, по своим возможным последствиям мало чем отличается от социалистических идей Жореса и Бебеля. Что не кто иной, как Джон Хей, принялся проводить социалистическую политику, казалось еще большей нелепостью, чем идея консервативно-

христианской анархии, но именно парадокс стал важнейшей основой для принятия решений и в политике, и в науке. Достаточно было взглянуть на мир, чтобы убедиться: у Хей не было иного пути, как не было его и у Бебеля. Германии предстояло либо раздавить Англию и Францию, чтобы создать новую коалицию в системе «континент против континента», либо действовать с ними сообща. Оба плана поочередно приписывались кайзеру; один из них ему предстояло принять; достоинства как того, так и другого в равной мере были сомнительны, однако, допуская, что оба они выполнимы, Хей и Маккинли остановились на политике, цель которой была убедить кайзера вступить в так называемую коалицию угольных держав, вместо того чтобы создавать противоположный союз — коалицию пушечных держав, — растворив Германию в России. Таким образом, Бебель и Жорес оказались в одном лагере с Хеем и Маккинли.

Задача была интереснейшей, даже захватывающей, а бывшему солдату дипломатической службы времен Гражданской войны казалась такой же четкой, как геометрическое доказательство. Как последний, возможно, урок в его жизни, она была по-своему бесценна. Если воспитание не стоит на обеих ногах — теории и практике, — оно может только подвести, но Хей, пожалуй, лучше любого из своих современников владел и тем и другим, к тому же ни о чем, кроме политики, не думал.

Пожалуй, тут открывалась та вершина познания, какой только можно было достичь. Адамс имел возможность наблюдать своих наставников из правительственных сфер как раз в то время, когда правительство достигло вершин высочайшей активности и влияния. Начиная с 1860 года, несмотря на величайших учителей и огромнейшие затраты общества, делалось все мыслимое и неммыслимое, чтобы научить их двоих — его и Хей — различать и понимать все пружины в механизме международных отношений; и весь политический аппарат нескольких великих держав служил лишь для того, чтобы

снабжать их свежайшей и точнейшей информацией. Больше в смысле воспитания и образования сделать уже невозможно.

К тому, как это сказалось на Хее, Адамс не имел отношения, но на нем самом преподанные им обоим уроки сказались самым чудовищным образом. Никогда еще он не чувствовал себя таким полным, таким непоправимым невеждой. Казалось, он не знает ровным счетом ничего — блуждает во мраке — проваливается в бездну, а что еще хуже — им владело убеждение, что никто ничего не знает. Его по крайней мере поддерживала механическая вера в ценность некоторых ориентиров, на которые он полагался, — скажем, относительная энергия так называемых «угольных» держав или относительная инерция «пушечных», хотя ему было ясно: знай он относительную цену каждому человеку, как знал сокровенные мысли собственного правительства — окажись и царь, и кайзер, и микадо добрыми наставниками, каким оказался Хей, и примись учить его всему, что знали с а м и , — он все равно ничего бы не знал. Потому что они и сами ничего не знали. И только уровнем их незнания мог он оценить меру своего собственного.

29. В БЕЗДНЕ НЕЗНАНИЯ

(1902)

Мчались годы, и времени оглянуться назад почти не оставалось. Так всегда бывает — несколько месяцев, обильные переменаи, пробегают прежде, чем ум успевает их воспринять. Истаяла зима, расцвела весна, и Париж вновь раскрыл Адамсу свои объятия — правда, ненадолго. Из Америки прибыл Камерон и, сняв на три месяца замок Инверлоки, позвал своих друзей на постой. Но Лохбер редко кого дарит улыбкой, разве только собственных отпрысков — Камерона,

Макдональдов, Кэмпбеллов и прочих детей тумана, — а летом 1902 года Шотландия даже менее обыкновенного была склонна играть улыбками. Со времени страшного неурожая 1879 года, когда и склоны Шропшира лишь кое-где покрылись весьма чахлыми всходами, в Британии не помнили такого хмурого лета. Даже когда его жертвы сбежали в Швейцарию, само Женевское озеро и Рейн показались им не такими уж ласковыми, и Адамс наконец решил ехать назад — в Париж, под сень Булонского леса, и, подобно кукушке, пристроиться в чужое гнездо. У дипломатов свои привычки! Рейнолдс Хит, которого перевели в Берлин, предоставил Адамсу свою мансарду, и он затаился там на долгие месяцы, пестуя свое невежество.

Жизнь сама собой вывела его на рабочую колею. После стольких лет бесплодных усилий найти нужное течение, течение само подхватило его и, неся то назад, то вперед, неуклонно повлекло к океану. Уроки, преподнесенные летом, проверяются зимой, и Адамсу оставалось лишь наблюдать за движением звезд, угадывая по ним свой угол склонения, — процесс, доступный лишь тем, чье самостоятельное движение уже исчерпалось. Для него так и осталось тайной, каким образом, ничего не зная о Фарадее, он стал имитировать Фарадеев фокус с силовыми линиями и увидел их вокруг себя, там, где прежде видел лишь линии воли. Возможно, незнание математики содействует тому, что разум рождает фигуры — образы — фантомы, — ведь ум наш в лучшем случае — неверное зеркало. Однако отраженный образ быстро становился простым, а силовые линии превращались в линии притяжения. Сила отталкивания воспринималась как борьба сил притяжения. Таким путем ум воспринимал механистическую теорию Вселенной, еще ее не зная, и тем самым открывал для себя новую фазу самовоспитания и образования.

Все это было воздействием двух факторов — динамо-машины и Мадонны. Для Адамса, как и для его учителей, чей

список вел начало с того момента, как человек стал мыслить, камнем преткновения была вечная тайна движущей силы — зияющий провал всей науки. На протяжении тысячелетней истории человечества эта сила играла роль таинственной приманки, воплощенной в любви к богу и жажде могущества в будущем мире. После 1500 года, когда эта приманка стала терять свою силу, философы прибегли к некоей *vis a tergo*¹ — чувству неведомой угрозы, подобной дарвиновской теории выживания наиболее приспособленных, а один из величайших мыслителей прошлого между Декартом и Ньютоном — Паскаль — полагал, что движущей силой в человеке является *ennui*. Чем не научная гипотеза! «Как я уже говорил, все беды человека от того, что он не умеет сидеть смиренно». Действие рождается от беспокойства.

«Так проходит вся человеческая жизнь. Мы преодолеваем препятствия, дабы достичь покоя, но, едва справившись с ними, начинаем тяготиться этим покоем, ибо, ничем не занятые, попадаем во власть мыслей о бедах уже нагрывших или грядущих. Но будь мы защищены от любых бед, томительная тоска, искони коренящаяся в человеческом сердце, пробилась бы наружу и напитала бы ядом наш ум»².

Коль доброта не приведет его, так подтолкнет

Ко мне тоска и злая скука.

Ennui, не хуже естественного отбора, служило объяснением перемен, однако не могло объяснить направление этих перемен. И тут на помощь пришла сила притяжения — сила, воздействующая извне, формирующее влияние. Паскаль, как и все философы прошлого, именовал эту силу богом или богами. Совершенно безразличный к тому, каким именем ее называть, и желая только одного — установить, что это за сила, Адамс обратился непосредственно к мадонне Шартрской и попросил ее дать ему возможность узреть бога воочию,

¹ Невидимая сила (лат.).

² Перевод Э. Линецкой.

лицом к лицу, как святому Бернару. Мадонна ответствовала, как всегда ласково, словно современная молодая мать, терпеливо снисходящая к мужской бестолковости:

— Знаешь ли ты сам, добрый мой отшельник, чего ищешь? Дом сей — церковь Христова! Если ты пришел сюда в поисках Христа, то, праведник ты или грешник, двери тебе открыты. Я и он — едины. Мы — Любовь. Другие энергии, коих у бога бесчисленное множество, нас не касаются, главным образом потому, что забота наша целиком о человеке, а человеку бесконечное должно оставаться неведомым. Но если ты тяготишься своим незнанием, взгляни вокруг, сколько здесь ученых мужей древности. Поговори с ними!

Таков был ее ответ. Так же отвечала и британская наука, повторявшая со времен Бэкона, что человеку не должно пытаться познавать непознаваемое, хотя и выше его сил отказаться от этого. Но слова Мадонны звучали убедительнее: как всякую женщину, ее интересовали не абстрактные совершенства, а лишь ее собственные, и это было честнее, чем следовать совету мадонны, и Адамс обратился со своим вопросом к Фоме Аквинскому, который в отличие от современных ученых не замедлил дать ему ясный и четкий ответ:

«Христос и Богородица суть одна Сила — Любовь, простая, единственная в своем роде и способная удовлетворить все человеческие желания; но Любовь есть страсть и даже обычного человека заставляет действовать только пристрастно, так что тебе и мне как философам лучше от нее отказаться. Поэтому мы обращаемся к Христу и схоластической философии, которые представляют все остальные силы. Мы имеем дело с множественностью, которую именуем Богом. После того как Мадонна с присущей ей Силой — Любовью — искупила все, что можно было искупить в человеке, схоластическая философия занялась всем остальным и придала ему форму, единство и мотивацию».

Такую концепцию силы было постичь легче, чем любую другую; оставалось только произвести то, что всегда обещала сделать церковь: изъять одним махом из этого построения не только человека, но и самое церковь, планету Земля, другие планеты и Солнце, что, очистив атмосферу, никак не задело бы средневековую науку. Искатель познания чувствовал себя в полном праве сделать то, что грозила совершить церковь: упразднить солнечную систему, чтобы полагать бога воистину сущим, непрерывным движением, всеобщей первопричиной и силой в бесконечном множестве взаимозаменяемых форм. Это был пантеизм, но схоластические доктрины не были чужды пантеизма, по крайней мере пантеизма в том виде, в каком он представлен в Energetik у немцев, а их обязанностью было открытие конечной энергии, где мысль и действие сливались воедино.

С избавлением от человека и его разума универсум Фомы Аквинского казался даже более научно обоснованным, чем у Геккеля или Эрнста Маха. Называя Противоречие противоречием, Притяжение притяжением, Энергию энергией, идея Бога у святого Фомы обладала своими достоинствами. Современная наука не предлагает никакого доказательства, никакой теории, связывающей открытые ею силы, никакой системы, сочетающей духовное и физическое, тогда как у Фомы Аквинского все части вселенского механизма по крайней мере соединялись между собой. В тринадцатом веке, насколько мог судить поверхностный взгляд, полагали, что разум есть некий вид силы, восходящей к интеллектуальному перводвигателю, и источник всякой формы и последовательности во Вселенной — а потому только в нем и заключается доказательство единства. Без мышления не может быть единства — правильной последовательности или упорядоченного общества. Только мышление создает Форму. Разум и Единство благоденствуют вместе и вместе погибают.

От такого вывода становилось не по себе даже человеку, довольный потолкавшемуся на доброй полусотне дорог к позна-

нию во всех частях света; ибо, если он считал себя обязанным отстаивать свой универсум, то, видимо, неизбежно попал на путь, ведущий в церковь. Современная наука не давала гарантии единства. Искатель знания, подобно всем его предшественникам, чувствовал себя загнанным в угол, пойманным в ловушку, запутавшимся в вечных тенетах религии.

Правда, на практике эту дилемму ничего не стоило обойти, для чего возможны были два пути: первый — ее игнорировать, как чаще всего и поступали с большинством дилемм; второй — помнить, что церковь не приемлет пантеизм, считая его еще худшим, чем атеизм, злом, а потому ни за какие блага не станет иметь дело с пантеистом. Блуждая в дебрях незнания и псевдознания, нельзя было не встретить знаменитого медведя, так напугавшего играющих детей; но даже прояви матерый зверь больше логики, чем его жертвы, всем нам еще из Сократа известно: больше всех ловушек опасайся ловушки, расставленной логикой — этим зеркалом ума. Тем не менее поиски единицы силы вели в катакомбы человеческой мысли, где сотни тысяч искавших знания нашли свой конец. Поколение за поколением ученые, старательные и честные, попав в эти лабиринты, со спокойной совестью оставались там навсегда и молча продолжали — вместе со знаменитейшими наставниками — идти путем псевдознания. Ни один из них так и не нашел дороги к выходу.

Удастся ли ему самому на нее выйти, Адамса заботило меньше всего, но одно ему было ясно: он не останется в катакомбах ради удовольствия пребывать в обществе Спинозы и Фомы Аквинского. Да, только церковь обеспечивала какое-то единство, но только историк знал, сколько крови и каких сокровищ это стоило человечеству. Был и другой, противоположный путь, на котором утверждение единства означало отрицание его; и отрицание это требовало усвоения новых уроков, нового воспитания и образования. В шестьдесят пять лет новое воспитание не сулило дать результаты лучшие, чем старое.

Современные законодатели и судьи не обладают уже, пожалуй, достаточными знаниями, чтобы обходиться с противниками единства так, как церковь, — разве только дело доходит до бомбы; и ни один наставник не умел объяснить, что сам понимает под отрицанием единства. Общество, несомненно, карало бы этих возмутителей спокойствия, если бы в его среде нашелся хоть кто-то сведущий и понимающий, чем такое отрицание грозит. Что касается философов, то их, как правило, не слишком заботило, какие принципы общество принимает, а какие отменяет, ибо каждый философ исходит из той точки зрения, что если ему, возможно, и посчастливилось сказать нечто верное хотя бы по одному вопросу, то в комплексе мнений отдельных личностей все заведомо неверно; но, игнорируя то, что высказывалось обществом, сам философ не уходил от него далеко. У нигилизма нет дна! Веками философы толпились на берегу этого мрачного моря, то и дело ныряя в его воды в надежде добыть жемчужину, но так ни одной и не добыли. Было очевидно, что дна они не достигают и им остается только признаться в этом. Нашла эту жемчужину, или, во всяком случае, так об этом заявляла, церковь, но начиная с 1450 года появлялось все больше оснований для более широкого и глубокого толкования Единства, чем церковное, и этим наряду с церковью и государством, несмотря на строжайший запрет, занялись в университетах и школах.

Подобно большинству своих современников, Адамс принял на веру слово науки, что новая исходная сущность все равно что найдена. Это не был разум — вряд ли сознание, — но нечто вполне подходящее. Прошло, однако, шестьдесят лет ожидания, и, обзрев наконец видимые дали науки, Адамс пришел к выводу, что конечным ее синтезом и наивысшим триумфом является кинетическая теория газов, распространяющаяся, по-видимому, на все движение в пространстве и позволяющая отсчитывать время. Согласно этой теории, насколько он мог судить, любая часть пространства наполнена

молекулами газа, которые, двигаясь по прямой со скоростью до мили в секунду, попеременно сталкиваются друг с другом до 17 750 000 раз в секунду. Вся материя — если только он правильно понимал — распадалась до этого предела, и единственное, в чем различие мнения ученых, — это возможно ли расщепить атом до такого состояния, когда он целиком превратится в движение.

Таким образом, — если он не ошибался в своем понимании движения (что вполне могло быть) — научный синтез, обычно именуемый единством, был не что иное, как научный анализ, обычно именуемый множественностью. Оба сливались в одно, все формы бытия оказывались сменными фазами движения. Допустим, мир есть океан сталкивающихся друг с другом атомов, последняя надежда человечества. Что же будет, если человек выпустит из рук свой лот и уронит его в эту бездну? Полностью отказаться от единства? Что оно есть — единство? Зачем человеку нужно его утверждать?

Вместо ответа все только разводили руками. Наука, по-видимому, удовлетворялась сочетанием слов «всеобщий синтез», которое ее вполне устраивало, но в делах человеческих означало хаос. Собственно говоря, все были бы только рады поставить точку, не задаваясь больше этим вопросом, но анархист, вооруженный бомбой, требовал найти решение — с бомбой шутки плохи. Ставить точку было нельзя — нельзя, даже при всем удовольствии, какое доставляла чудо-картина идеального газа, где мириады атомов, словно автомобили в Париже, сталкивались по семнадцать миллионов раз в секунду. Наука сама завела себя на край бездны, и ее усилия не свалиться вниз были столь же жалкими, как попытки через нее перепрыгнуть, а старый невежда не чувствовал ни малейшего побуждения утруждать себя поисками выхода. Он понимал: единственный выход, какой ему оставался, был в *vis a tergo*, обычно называемой словом «смерть». Он вновь принялся за своего Декарта, углублялся в Юма и Беркли, с трудом продирался сквозь Канта, подолгу задумывался над

Гегелем, Шопенгауэром, Гартманом, чтобы потом успокоить сердце любимыми греками — все с той же целью: выяснить, что же такое единство и что случится, если человек отвергнет его.

Единство, по всей очевидности, никем и не отвергалось. Напротив, все философы, как разумные, так и безумные, утверждали его без всяких сомнений. Даже анархисты в своих крайних суждениях не отказывались признавать два начала — добро и зло, свет и тьму, — составляющих единство. Даже пессимизм, каким бы черным его ни изображали, довольствовался тем, что вместил весь противоречивый мир в человеческое сознание как единую волю и трактовал его как «представление». Метафизика неизменно повторяла, что мир есть единое сознание, а сознание — единый мир, и философы соглашались, что, как в кинетической теории газов, мир можно рассматривать как движение духовного начала и поэтому как единство. Мир можно познать лишь через собственное «я», а это уже была психология.

Из всех форм пессимизма наименее привлекательна для историка онтологическая. Из всех исследований менее всего он хотел бы заниматься изучением собственной души. Ничто не оборачивалось такой мучительной трагедией, как выворачивание себя наизнанку, тем более что в этом деле — как сказал Мефистофель о Маргарите — он не был бы первым. Чуть ли не все величайшие умы, какие знает история, подвергали себя интроспекции, и те, кто по толстокожести вынесли эту пытку, не сообщили миру ничего такого, что повлияло бы на других. Поколение Адамса не составило здесь исключения. Уже с 1870 года его друзья десятками пали жертвами этого поветрия. За двадцать пять лет накопилась целая библиотека подобных исследований. Гарвардский университет стал их центром, Франция открывала для них клиники, Англия — специальные журналы. Ничего не могло быть проще, как вынуть из себя душу и спросить друзей-психологов, что с нею делать; тем паче что такое исследование ни для той, ни для

другой стороны не имело ровным счетом никаких последствий: души, хорошие или дурные, давно уже ничего не отражали, а жалкий их остаток при всем желании ничего нового не воспринимал. Тут важно было другое — выяснить, что они рассчитывают с нею сделать.

Увы, к этому времени молчаливое блуждание усталого пилигрима по путям незнания завело его в такие дебри, что он уже не различал ни единой тропы, не разобрал ни единой вехи. Измерить глубины новой психологии оказалось ему не по силам, и он лишний раз убеждался, что в этой области, как и в области математики, его умственные способности, коль скоро таковые у него вообще наличествовали, атрофировались. И поскольку оценить новую науку он не мог, ему оставалось лишь задать простейший вопрос: признает ли она ψυχή — то есть душу или сознание — субстанцией? Из прочитанного в книгах напрашивался вывод, что в некоторых случаях психологи различали у души несколько ипостасей, каждая из которых сознавала себя отдельно и была устойчива, индивидуальна и неповторима. Этот факт никого не мог поразить: с самых ранних исторических времен это свойство считалось привычным для души, и теперь было известно любому из знакомых Адамса, кто хоть раз принимал наркотик, горел в лихорадке или просто съел гренок с сыром на ночь. Естественно, никто не мог уследить за всеми перипетиями какого-нибудь яркого сна, но и не нуждался в разъяснениях, будто действующие лица, вызванные к жизни его сознанием, не суть он сам или не имеют отношения ко всему, что он признает за собой. Новая психология шла еще дальше и полагала, что ей удалось расщепить личность не просто надвое, но на несколько сложных групп — нечто вроде телефонных узлов или систем, где каждая ячейка может по желанию быть изолирована или включена в сеть и чьи физические действия являются оккультными, так как не вызваны известными формами силы. Дуализм стал, по-видимому, таким же общим местом, как двойные звезды. Раздвоенные личности попа-

дались на каждом шагу, и даже среди ближайших знакомых. Приводимые факты выглядели достоверными или, во всяком случае, не менее достоверными, чем все прочие; они нуждались только в объяснении.

Последнее не касалось нашего невежественного пилигрима, который никоим образом не считал себя к этому причастным. В его представлении конгломерат под названием ψυχή выступал в виде велосипедиста, который автоматически сохраняет равновесие, подавляя все низменные стороны своей души, но неизбежно летит вниз — в хаос подсознания, как только позволяет хоть одной из них себя оседлать. Единственной абсолютной истиной был хаос подсознания — и это мог ощутить каждый, стоило только захотеть.

Так ли понимала это наука психология или иначе, не имело большого значения для историка, который в силу своей профессии занимался исследованием собственного «я». Тем не менее новые открытия произвели на него огромное впечатление. Он просыпался в ужасе: ему казалось — он свалился с велосипеда. Если его сознание наподобие магнита и в самом деле во сне рассеивает силовые линии, а бодрствуя, дает им нужное направление — какое же из этих двух состояний для него нормально? Душа, подобно телу, сохраняет единство, если не теряет равновесия. Однако профессор физики, растянувшийся на тротуаре и расшибивший себе лоб, знает немногим больше идиота, который сбил его с ног. Правда, профессор все-таки знает — а идиот не знает! — что нормальным состоянием для него является идиотизм или отсутствие равновесия, тогда как здоровая психика — искусственное, неустойчивое состояние. Нормальным для мышления является дисперсия, сон, греза, алогичность, одновременное действие разных мыслительных центров без центрального контроля. Искусственное равновесие — благоприобретенное свойство. И сам он — акробат, который с карликом на спине идет через пропасть по канату и, как правило, ломает себе шею.

На этом пути — пути новейшей науки — никакого единства впереди не было видно — ничего, кроме распадающегося разума, — и историк чувствовал себя отброшенным назад к концепции постоянной Силы, без таких факторов, как Раса, Пол, Школа, Страна или Церковь. К этому неизменно приходили все сколько-нибудь серьезные мыслители, и это неизменно служило к их вящей славе — так было с Гиббоном, Боклем и Огюстом Контом. Благодаря их методу в исторической науке был сделан пусть небольшой, но все же рывок вперед. Они по крайней мере вывели закон, согласно которому, если история имеет в виду исправлять допущенные ею отдельные ошибки, ей необходимо обрести шкалу ценностей для всего процесса в целом. И сколько бы те или иные историки ни пренебрегали этим выводом в своих оценках, необходимость такой шкалы для оценки деяний человеческих, как и для пространства и времени, не подлежит сомнению, и без нее историк всегда останется в науке младенцем.

Любому школьнику ясно: если полагать, что человек есть сила, то измерять ее следует движением относительно точки покоя. Психология помогла здесь тем, что подсказала отправную точку — момент в истории, когда человек видел в себе перл творения и считал себя частицей единого мироздания. Восемь, а то и десять лет занятий историей привели Адамса к заключению, что таким периодом в жизни человечества был промежуток между годами 1150-м и 1250-м, воплотившийся в Амьенском соборе и трудах Фомы Аквинского, и что именно эту эпоху следует взять за начало отсчета, от которого, не углубляясь в детали, а лишь устанавливая необходимые соотношения, можно измерять движение человечества вплоть до его, Адамса, времени. Изучать это движение можно в двух аспектах одновременно — в его философском и механическом развитии. Поставив себе задачу, Адамс приступил к написанию книги, которую мысленно озаглавил «Мон-Сен-Мишель и Шартр. Исследование единства тринадцатого века». Отсюда, как ему казалось, он мог сделать шаг к следующей точке,

которую предполагал, скорее всего, назвать «Воспитание Генри Адамса. Исследование множественности двадцатого века». С помощью этих двух отправных точек он рассчитывал наметить свои ориентиры, предоставляя любому более, чем он, сведущему человеку вносить в них свои коррективы. На этом он и отплыл домой.

30. VIS INERTIAE ¹

(1903)

Вашингтон всегда вызывал к себе интерес, но в 1900 году, как, впрочем, в 1800-м, главное его достоинство состояло в той дистанции, что отделяла его от Нью-Йорка. Нью-Йорк стал вселенским городом — почти неуправляемым, — и назначение Вашингтона в 1900 году, как, впрочем, и в 1800-м, состояло в том, чтобы все же им управлять. В прошлом веке Вашингтон мало в этом преуспел, и не было оснований ждать успехов в будущем.

Для исследователя, чьи лучшие годы прошли в размышлениях над политическими концепциями Джефферсона, Галлатина и Медисона, задача, за которую теперь взялся Рузвельт, представляла несомненно исторический интерес, хотя результата можно было ожидать не ранее чем через полвека. Измерить силы, как и понять их расстановку, на данный момент было невозможно: пока они даже никак не определялись, разве только в области иностранных дел; поэтому при поисках разумного пути Вашингтон можно было как бы и не принимать во внимание. Президент не мог оказывать серьезного влияния на ход иностранных дел, правда, мог за ними по крайней мере более или менее пристально следить.

Хей достиг вершины своей карьеры, но понимал, что силы его на исходе. Выполняя взятую на себя задачу держать

¹ Сила инерции (*лат.*).

двери Китая «открытыми», он чувствовал, что они вот-вот закроются. Практически он единственный во всем мире выступал за политику «открытых дверей», хотя и знал, что они же его и прихлопнут. Но удача сопутствовала ему и на этот раз. Даже когда в мае 1902 года умер сэр Джулиан Паунсфот, исполнявший свои обязанности с таким блеском, что бывший личный секретарь 1861 года только диву давался, его преемником назначили Майкла Герберта, стоившего двух обычных дипломатов, — Хею повезло и здесь. Дружеские отношения — лучший способ ослабить трение, а в политике потери от трения самые тяжкие. Перед Гербертом и его женой широко распахнулись двери и сердца в домах-близнецах на Лафайет-сквер — в этом маленьком мирке, придерживавшемся единого взгляда на внешнюю политику, — супруги стали там своими, и симпатия к ним продлила Хею жизнь, избавив от ненужного напряжения, но в то же время привела к крутому повороту в политике Германии. Вплоть до этого момента кайзер слыл — верно или неверно? — союзником русского царя по всем вопросам, связанным с Востоком. Холлебен и Кассини считались единой силой в восточных делах, и этот предполагаемый альянс внушал Хею немалую тревогу и причинял ему достаточно хлопот. И вдруг Холлебен, который, казалось, не имел иных помыслов, как любой ценой предупреждать малейшие желания кайзера, получил телеграмму, предписывавшую ему, сославшись на болезнь, немедленно возвратиться в Германию, что он и выполнил в двадцать четыре часа. Меры, применявшиеся германским министерством иностранных дел в отношении своих сотрудников, всегда были крутыми, даже безжалостными, но, как правило, подкреплялись теми или иными убедительными доводами. На сей же раз никаких видимых причин для немилости кайзера к Холлебену не было, и его отставку можно было истолковать только желанием немецкого государя иметь представителем в Вашингтоне более близкого себе человека. Вопреки установившемуся порядку он прислал в Вашингтон Шпека

фон Штернберга, который должен был противостоять Герберту.

Шпека встретил вполне теплый прием, а его присутствие в Вашингтоне оказалось полезным Хею, но не в личном плане — здесь выигрыш был невелик, — в политическом. Об официальных делах Хея Адамс знал не больше любого газетного репортера, но что касается дипломатического самообразования, последовательные шаги на этом поприще привели его к значительным успехам. Впрочем, он изучал ситуацию не ради Хея, а для собственных нужд. Он видел, как в 1898 году Хей склонил Англию к союзу с Америкой; он видел, как постепенно и неуклонно подводили Францию к решению вернуться в содружество атлантических стран; а теперь на его глазах произошел внезапный поворот Германии к Западу — бросок, рассчитанный с математической точностью. Хотел того кайзер или нет, но создавалось впечатление, что он намеренно демонстрирует свою независимость от России; Хею такое изменение фронта играло на руку. Этот поворот в политике Германии, по-видимому, изолировал Кассини и обнажал намерения России в отношении Маньчжурии, которые с каждым месяцем становились все более угрожающими.

Излишне говорить, что кайзеровский *coup d'état*¹ открывал историку целые неведомые континенты. При всей тщательности, с какой он следил за карьерой Вильгельма, ему и в голову не могло прийти, что тот способен на столь тонкие ходы, которые сильно повысили оценку его интеллектуальных данных в глазах историка и нарушили традиционную расстановку сил в искусстве управлять государством. То, что Германия так стремительно отказалась от ряда отдельных притязаний и была готова присоединиться к странам Атлантики, казалось парадоксом более убедительным, чем те, какими был усыпан жизненный путь Адамса, состоявший почти из одних парадоксов. Если бы удалось удержать Германию

¹ Переворот (*фр.*).

в системе стран Атлантики, мир был бы избавлен от разногласий лет на сто. За это не жалко было заплатить любую цену, хотя конгресс, скорее всего, не стал бы раскошелиться. Так или иначе, кайзер одним энергичным поступком полностью развязал Хею руки, и теперь перед государственным секретарем оставалась лишь одна проблема — Россия.

Россия, несомненно, представляла собой проблему неизмеримо более сложную. За два прошедших столетия Европе удалось выявить всего один-два аспекта русского вопроса. Год, проведенный юным Адамсом в Берлине, не дал ему знаний по части гражданского права, зато открыл глаза на существование русской загадки, над которой немецкие и французские историки, подавленные ее гигантскими масштабами, бились почти с мистическим ужасом. Из всех стран загадка эта больше всего волновала Германию, но весной 1903 года даже перед глазами затворника с Лафайет-сквер, занятого исключительно попытками измерить движение исторического развития после крестовых походов, встала пугающая картина будущего миропорядка — или анархии? — перед которой будут бессильны его телескопы и теодолиты.

С каждым днем развертывающаяся в мире драма становилась все более захватывающей: в русском правительстве обнаружались явные признаки разногласий; распоряжения, исходившие от Ламсдорфа и Витте в отношении Маньчжурии, не исполнялись. Историки и исследователи не имеют права на симпатии и антипатии, но у Адамса были личные основания хорошо относиться к русскому царю и его народу и желать им добра. В нескольких подробно и тщательно разработанных главах написанной им истории он уже рассказал, как в 1810 году благожелательность Александра I определила судьбу Дж. К. Адамса, заложив основу для его блестящей дипломатической карьеры, которая в итоге привела его в Белый дом. У самого Адамса — человека, ведшего незаметное существование, — также имелись достаточно веские причины испытывать благодарность к Александру II,

чья политика твердого нейтралитета в 1862 году уберегла его от многих гнетущих дней и ночей. К тому же он немало повидал в России и теперь радовался железным дорогам, прокладываемым Хилковым, и промышленным предприятиям, возводимым графом Витте. По мнению Адамса, последним и величайшим триумфом в истории было бы присоединение России к странам Атлантики и честный и справедливый раздел зон влияния в мире между цивилизованными державами. Если бы их объединение продолжалось в том же темпе, в каком шло после 1840 года, эта цель могла быть достигнута в ближайшие шестьдесят лет и Адамс мог бы уже сейчас составить предположительную карту-схему международного единства. Однако на данный момент картину застилал туман глубочайших сомнений и неведения. Никто, по видимому, ничего не знал — ни царь, ни дипломаты, ни кайзер, ни микадо. Отдельные русские были видны насквозь: их дипломатические ходы не отличались глубиной, и Хей, возможно, потому и покровительствовал Кассини, что тот не умел скрывать свои чувства и почти открыто сожалел, что, двигая на Китай гигантский вал русской инерции, он тем самым двинул его против Хейя. Куда охотнее он двинул бы его против Ламсдорфа и Витте. Политическая доктрина Кассини, как и всех русских, состояла из единственной идеи: Россия должна наступать и силой своей инерции крушить все, что окажется у нее на пути.

Для Хейя, как и для его политики блоков, унаследованной от Маккинли, непреодолимость русской инерции означала провал его идеи американского лидерства. Когда русский вал накатывался на соседний народ, он поглощал его энергию, вовлекая в развитие собственных нравов и собственной расы, которые ни царь, ни народ не могли, да и не хотели, перестраивать на западный образец. В 1903 году Хей видел, что Россия сметает последние преграды, на пути движения ее необъятной массы к Китайскому морю. Стоило гигантской силе инерции, именуемой Китаем, слиться с огромным ко-

лоссом — Россией — в единое целое, их совместное движение уже не могла бы остановить никакая, даже сверхмощная, новая сила. И тем не менее, даже если бы русское правительство в момент высочайшего озарения воспользовалось для этой цели десятком-другим людей типа Хилкова и Витте, да к тому же позаимствовало ресурсы своих европейских соседей, ему вряд ли оказался бы по плечу подобный груз; впрочем, оно и не пыталось взвалить его на себя.

Таковы были основные пункты, которые вашингтонский комарик нанес в свою схему политического единения весной 1903 года и которые казались ему незыблемыми. Россия крепко зажала в кулак Европу и Америку, а Кассини — Хея. С открытием Транссибирской железной дороги любое противодействие России стало нереальным. Японии оставалось лишь смириться, выговорив по возможности лучшие для себя условия. Англии — пойти на уступки. Америке и Германии — наблюдать за продвижением лавины. Стена русской инерции, отгородившая Европу от Балтики, неизбежно должна была отгородить и Америку от Тихого океана, а политика «открытых дверей», проводимая Хе е м , — потерпеть крах.

Таким образом, несмотря на блестящий ход кайзера, игра казалась проигранной, а движение России на восток должно было в силу одной своей массы увлечь за собой Германию. На взгляд скромного историка с Лафайет-сквер, проигрыши в игре Хея били только по Хею, для него самого главный интерес заключался в игре, а не в ставках, и так как он питал отвращение к газетам, просеянным цензурой — поскольку предпочитал отсеивать сообщения с а м , — ему так или иначе необходимо было провести какое-то время в Сибири или в Париже, а подбить свои бесконечные столбцы вычислений он мог с равным успехом в любом из этих мест. Его схема опиралась не на цифры, а на факты, и он стал решать следующее свое уравнение. Атлантике предстояло иметь дело с огромной континентальной массой, наступавшей на нее подобно леднику, причем наступавшей осознанно, а не только

движимой силами механического тяготения. Именно такой видела себя Россия, и такой следовало видеть ее американцу; ему оставалось лишь измерить, если это было в его возможностях, ее массу. Что было в ней сильнее — объем или сила движения? Чем и где была *vis nova*¹, которая могла устоять под натиском этого необъятного ледника *vis inertiae*? Что представляло собой движение инерции и каковы его законы?

Разумеется, законов механики Адамс не знал, но, полагая, что может в них разобраться, обратился к книгам. Оказалось, что силой инерции занимались люди помудрее, чем он. Словарь определял инерцию как свойство материи оставаться в состоянии покоя, пока она находится в этом состоянии, а находясь в движении, двигаться по прямой. Однако его собственный ум отказывался вообразить себя в состоянии покоя или движения по прямой, и Адамсу, как всегда, пришлось позволить ему вообразить нечто третье, а так как дело касалось ума, то есть сознания, а не материи, он по собственному опыту знал, что его ум никогда не бывает в покое, а — в нормальном состоянии — всегда движется относительно чего-то, называемого им мотивом или импульсом, и не движется без мотивов или импульсов, приводящих его в движение. Пока мотивы эти привычны, а интерес к ним носит постоянный характер, производимый результат можно для удобства назвать движением по инерции в отличие от движения, вызываемого новым и более сильным интересом. Но чем больше масса, которую нужно привести в движение, тем больше должна быть сила, чтобы придать ей ускорение или его погасить.

Это казалось просто, как течение воды; но простота — самая коварная из всех возлюбленных, когда-либо водивших за нос мужчину. Год за годом и ученики и учителя жаловались на то, что человеческие умы инертны по-разному. Различия доходили до полных противоположностей. Одни

¹ Новая сила (*лат.*).

откликались только на привычное, другие — только на новое. Тип мышления классифицировался по расам. Ум и способности классифицировались баллами в классных журналах. Нет двух людей, мыслящих одинаково, ни среди мужчин, ни среди женщин, а женщины в целом думают иначе, чем мужчины.

Инерция расы была, по-видимому, постоянным свойством и в случае русских составляла главную трудность для их будущего. История уходила от ответа на вопрос, удавалось ли преодолеть инерцию расы, воссоздавая ее заново, не разрушив при этом самой расы. Преодолеть инерцию пола не удавалось никогда. Из всех видов этой инерции самыми типичными были материнство и продолжение рода; свойство женщины идти по этому пути, данному ей навсегда, оставалось неизменным, связывая историю человечества единой, непрерывной и непрерываемой последовательностью. Все что угодно могло иссякнуть, но женщина должна была продолжать род, как продолжала его в силурийском царстве *Pteraspis*; пол — важнейшее условие существования жизни на Земле, раса — преходящее. Если законы инерции и должны где-либо непременно существовать, так это в женском уме. Американцы всегда подчеркнуто игнорировали аспект пола, и в американской истории почти не упоминалось женских имен, в английской же к ним проявляли предельную осторожность, словно речь шла о новом, пока еще не описанном наукой виде живых существ. Однако если проблема инерции суммирует основные трудности для расы, то для пола она имеет еще большее значение, в особенности у американцев. Задача проследить за ускорением или замедлением в развитии американской женщины представляла для Адамса несравненно больший интерес, чем задача изучить развитие любой расы, будь то русская, китайская, азиатские или африканские.

В отношении этого предмета, равно как сената и банков, Адамс придерживался мнения, явно уведившего в восемна-

дцатый век. С годами его все меньше интересовали социальные устои прошлого, зато женщина прошлого стала для него своего рода страстью. Без понимания того, как развивались взаимоотношения между мужчиной и женщиной, история, с его точки зрения, была пустой проформой. Мысль о роли женщины в развитии человечества стала навязчивой идеей и так его захватила, что, беседуя с женщинами, он только об этом и говорил, а исходя из того, что женский ум сильнее в своей подсознательной сфере и чрезвычайно чувствителен ко всякого рода намекам, использовал всевозможные уловки и приемы, чтобы заставить его раскрыться. Женщина редко осознает ход своих мыслей, но ей так же любопытно понять самое себя, как мужчине понять ее, и она намного быстрее мужчины реагирует на неожиданную мысль. Иногда на званом обеде, улучив момент, когда общая беседа затухала, Адамс предлагал какой-нибудь очаровательной соседке неожиданный вопрос, придав ему наиболее мягкую форму. Не может ли она объяснить ему, спрашивал он, почему американская женщина так и не состоялась. Ответ следовал без промедления и был почти всегда неизменен: «Потому что не состоялся американский мужчина». Вот так-то!

Американской женщине Адамс был обязан больше, чем всем известным ему соотечественникам-мужчинам, и не испытывал ни малейшего желания заступаться за свой пол, который и сам умел за себя постоять. Все же ему было любопытно узнать, в какой мере женщина здесь права, и, продолжая выпытывать, он обычно пускал в ход еще одну уловку — утверждал, что женщина духовно выше мужчины. Если это и не было полной правдой, то по крайней мере комплиментом, который он считал своим долгом сказать. Иногда эти его эскапады в застольных перестрелках кончались весьма рискованными выпадами по адресу известных лиц или его самого. Так, весной 1903 года, как раз накануне намечавшегося в мае отъезда в Европу, он получил записку от невестки — миссис Брукс Адамс, где сообщалось,

что она вместе со своей сестрой, миссис Лодж, и сенатором придут к нему на прощальный обед; такая же записка пришла от Бея Лоджа и его очаровательной жены; затем к этой компании присоединились миссис Рузвельт и, наконец, Майкл Герберт, решивший развеять тоску, которая терзала его в отсутствие дражайшей половины. Все собравшиеся за столом Адамса были людьми настолько близкими, что могли вести себя вполне свободно, а потому, естественно, не отказали себе в удовольствии пройтись насчет излюбленной их хозяином темы. Адамс тоже не остался в долгу.

«Да, американский мужчина не состоялся! Все вы не те — не то! — запальчиво заявил он. — Разве у моей невестки не больше здравого смысла, чем у моего брата Брукса? Разве Бесси не стоит двоих таких, как ее муж Бей? Разве мы не предпочли бы выбрать сенатором миссис Лодж, а не Кэбота? Был бы у президента хоть малейший шанс им стать, если бы его соперником была миссис Рузвельт? Не хотите ли по пути домой завернуть в посольство и осведомиться, кто бы вел там лучше дела — мистер Герберт или его жена?»

Мужчины посмеялись — немного! Каждый, надо полагать, соглашался в душе, что его жена и впрямь незаурядная, даже выдающаяся женщина. Кто-то даже возразил, что присутствующие за столом дамы не подходят под «статистическое среднее». Но и присутствующие там мужчины, парировал Адамс, много выше «средних», и, более того, он, пожалуй, не возьмется назвать и полудюжины равных им личностей.

В шутку или всерьез, проблема эта всегда задевала всех за живое. Чем умнее была женщина, тем острее она сознавала незавидность своего положения. Тем больше горечи испытывала в душе. Даже семью ей не удавалось сохранить: дети разлетались, едва успев опериться. Семья, как и рыцарство, ушла в небытие. Американской женщине не только не удалось создать новое общество, которое бы ее удовлетворяло, но и отстоять свое место в старом, где господство-

вали государство и церковь; ей в основном предоставили лишь возможность украшать собою театральные ложи и уличную толпу. Она могла ослеплять знаменитыми бриллиантами и блистать остроумием, сверкающим, как драгоценные камни, в залах великолепнее богатейших атриумов Рима в лучшие его времена, но встречалась только с представительницами собственного пола — правда, достаточно образованными, чтобы стоило среди них сиять, и достаточно понимающими, чтобы ее должным образом оценить. Ей позволялось идти своим путем без принуждения или ограничений, но она не знала, что ей делать со своей свободой. Никогда еще мир не знал такой умелой и преданной матери, но к сорока годам эта ее миссия была исчерпана, и ей не оставалось иных занятий, как исполнять прежние домашние обязанности или посещать вашингтонское общество, где уже сто лет ей были предоставлены все возможности, но ничего не удалось создать, кроме пестрой толпы, в которой девять из десяти мужчин не желали, вопреки ее стараниям, следовать хорошим манерам, а с десятым ей было смертельно скучно.

Высказывая мнение по какому-нибудь предмету, следует опираться на науку, но в данном случае суждение сенатора или профессора, председателя государственного комитета или президента железнодорожной компании стоило меньше, чем мнение дамы с Пятой авеню. В этой, важнейшей из всех, социальной проблеме мужчины явно разбирались хуже женщин, поскольку ни одна женщина в мире со времен пресловутого змия не питает ни малейшего почтения к ученым суждениям. К тому же и собственные научные интересы Адамса были от всего этого достаточно далеки. Он изучал законы движения и за этим занятием натолкнулся на две существенно важные для Америки проблемы — инерции расы и инерции пола. Видя, как на протяжении последних двадцати лет граф Витте и князь Хилков обрушивали на русскую инерцию искусственно выработанную энергию стоимостью примерно в три тысячи миллионов долларов, он непременно

желал знать, какой это дало эффект. Он видел, как начиная с 1840 года искусственно вырабатываемая в Америке паровая энергия мощностью в двадцать — двадцать пять миллионов лошадиных сил, и еще много больше сэкономленной, расходовалась, в социальном смысле, на американскую женщину, которая составляла главную статью социальных расходов, и домашнее благоустройство — единственный предмет американской расточительности. Какой же результат, согласно научным представлениям об инерции и силе, это должно было дать?

В России из-за ее расовых особенностей и гигантских размеров результат еще не дал себя знать, но в Америке был уже очевиден и неоспорим. Американская женщина стала свободной — ничем не связанная, она металась в разные стороны, словно молекулы в Максвелловом идеальном газе, и почти уже дошла до состояния, грозившего взрывом. Она стала свободной! Чтобы убедиться в этом, достаточно было провести неделю во Флориде или на борту любого океанского лайнера, пройтись по Вандомской площади или отправиться с туристской группой в Иерусалим. Скопища женщин! Такие же эфемерные, как тучи мотыльков, роящихся летом и исчезающих вместе с ним. В Вашингтоне роились другие скопища — всевозможные комитеты дам и дочерей американской революции, относившихся к себе чрезвычайно серьезно, или хороводы юных жен, помахивавших свежеотросшими крылышками. Но эти преходящие видения лишь весьма поверхностно приоткрывали суть явления. За ними во всех городах теснились мириады женщин нового типа: секретарши-машинистки и стенографистки, телефонистки и телеграфистки, продавщицы и швей-мотористки — миллионы и миллионы женщин, о которых как о классе ни они сами, ни историки ничего не знали. Даже школьные учительницы разводили руками. Все эти новые женщины начали появляться после 1840 года, и к 1940-му им предстояло показать, что они такое.

Такие или иные, они не чувствовали удовлетворения, доказательством чему служили их порханье и суета, к тому же продолжали жить иллюзиями, упиваясь ими даже больше, чем церковь на четвертый век своего существования, и это, вероятно, помогало им выжить, но не позволяло увидеть будущее. Вопрос — способно ли движение по инерции с определенной заранее функцией принять иное направление — оставался нерешенным. А решить этот, насущнейший из всех, вопрос необходимо было в течение жизни одного поколения американских женщин.

Американская женщина в лучшие свои годы — как и все женщины — обладала притягательностью для мужчины, но не той, какая исходит от примитивной женщины. Американка сформировалась в результате целого ряда самопожертвований, и ее главное очарование таилось именно в том, чем она жертвовала. Присмотревшись к ней поближе, нетрудно было убедиться, что она, по-видимому, из последних сил старается во всем следовать мужчине, чей ум и руки отданы механизмам. Типичный американский мужчина не выпускал из рук руля и не сводил глаз с петляющей дороги; вся его жизнь зависела от того, сумеет ли он мчаться по ней со скоростью сорок миль в час, повышая ее до шестидесяти, восьмидесяти и даже ста, и ему было не до чувств, томлений или безумной любви, как было не до виски или других возбуждающих средств, если он не хотел сломать себе шею. Одновременно заниматься машиной и женщиной он не мог, и ему пришлось предоставить женщине, даже собственной жене, самой выбирать себе дорогу, и она — чему весь мир свидетель — пыталась найти ее там же, где и мужчина.

Чаще всего это приводило ее к трагическому результату, что в истории женщины не ново. Трагедия — удел женщины, начиная с Евы. Ей всегда недоставало физической силы — ее сила заключалась в том, олицетворением чего была Венера. Сила женщины состояла также в инерции вращения, а осью ее вращения были колыбель и семья. Мысль, будто

женщина слаба, поставила историю человечества с ног на голову. Это была палеонтологическая ложь, над которой посмеялась бы даже самка обезьяны эпохи эоцена. Однако зерно истины тут, несомненно, было: если женская сила не будет прилагаться к своей извечной оси, она неизбежно найдет себе новую область применения, поплатится же за это семья. Преуспевая на новом поприще, женщина станет бесполой, подобно рабочей пчеле, и утратит энергию инерции в продолжении рода.

Старая как мир история! Женщины всегда восставали. Они делали своим оплотом религию — уходили в монастыри, в самопожертвование, в добрые дела — или дурные. Изучая женщину двенадцатого века или четвертого, времен Гомера или первобытных времен, историк видел одну и ту же женщину, вдохновенную иллюзиями рая или ада — тщеславием, интригами, ревностью, любовью к чудесам. Но американская женщина не знала ни иллюзий, ни тщеславных стремлений, ни новых источников брожения; у нее не было против чего восставать — разве только против материнства. Тем не менее с каждым годом восставших становилось все больше, пока они не заполнили все пути к восстанию. Даже поприще добрых дел по сравнению с двенадцатым веком сильно сузилось. Социализм, коммунизм, коллективизм, анархизм, сулившие блаженство на земле любому представителю мужского пола, отрезали женщине и те немногие пути, которые ей открыл капитализм, и она увидела перед собой будущее, где ей было уготовано место только в качестве штампованной фабричным способом обобществленной самки.

Рассчитывать на помощь мужчины ей не приходилось: инстинкт силы делал его слепым. Церковь знала о женщине больше, чем когда-нибудь будет знать наука, и историку, изучавшему истоки христианства, порою невольно приходило на ум, что церковь — создание женщины и что она создала ее как протест против засилья мужчины. Порою Адамс готов был утверждать, что причина, по которой мужчина

ниспроверг церковь, таилась в ее женском начале. Но когда церковь была ниспровергнута, у женщины не осталось иного прибежища, кроме того, которое создал для себя мужчина. Она была свободна; ее разум больше не туманили иллюзии; ее не тяготили требования, предъявляемые к ее полу; она отбросила все, что могло не нравиться мужчине, и, хотя втайне сожалела об отброшенном, знала, что обратного пути у нее нет. Ей оставалось, подобно мужчине, прилепиться к механизмам. Американец уже не раз с удивлением отмечал, что не пользуется репутацией привлекательного мужчины; американка, напротив, неоднократно, к собственному удивлению, отмечала, что стяжала себе славу привлекательной женщины.

Честный историк не вправе ни восхвалять, ни поносить те силы, которые изучает. Исследуй он даже вымирание рода человеческого, он обязан относиться к этому как к факту, который надлежит классифицировать наряду со всеми прочими. В обществе, без сомнения, горячо обсуждался женский вопрос, хотя бы потому, что им интересовался президент, и видимое течение общественного мнения с такой же силой устремлялось в одну сторону, с какой неслышная подспудная деятельность влеклась в другую, истина же таилась в глубине подсознания женской души. Что мог здесь сделать престарелый джентльмен, пытающийся лишь познать закон инерции и установить пределы социальных отклонений? Склонить начальника статистического управления раздать анкеты всем женщинам с вопросом, хотят ли они иметь детей и сколько? Потребовать, чтобы сенат, где заседали восьмидесятилетние старцы, издал закон, обязующий всех женщин, замужних и незамужних, под страхом пожизненного одиночного заключения родить до тридцати лет не менее одного ребенка, содержание которого возьмет на себя казна? Нет, это было ему не под силу. А между тем именно к этому зывали статистические данные, и именно это требовалось для основания полноценного общества в будущем. В своих выводах

Адамс целиком опирался на цифры рождаемости. С самими женщинами он, разумеется, не мог обсуждать этот важный вопрос, хотя они-то были как раз не прочь это сделать, — Фауст бессилен помочь женщине в ее трагедии. Он ничего не может ей предложить. Маргарита будущего сама должна была решить, лучше ей или хуже, чем Маргарите прошлых веков: сама сделать выбор, чьей жертвой предпочтет она быть: мужа, церкви или машины.

Перед лицом эти двух различных форм раз и навсегда данной инерции — пола и расы — исследователь множественности склонялся к мысли, что — хотя он ничего не знает ни о той, ни о другой — проблема России все же решается легче, чем проблема Америки. Преодоление инерции расы и необъятной массы требовало огромной силы, и все же со временем их, возможно, удастся преодолеть. Но преодолеть инерцию пола, не уничтожив расу, было невозможно; тем не менее огромная сила, удваивающаяся каждые несколько лет, неуклонно стремилась ее преодолеть. Оставалось только в немом ужасе взирать на океан полнейшего невежества, уже захлестнувшего общество. Вряд ли можно было назвать второй такой же большой центр скопления человеческой энергии, который жил бы ослепленный столь глубокими и архаичными иллюзиями, как Вашингтон с его наивными деревенскими критериями, его южным и западным жизненным укладом и обычаями, его этическими нормами и представлениями об истории. Но даже в Вашингтоне общество, ощущая какое-то стеснение, понимало, что движений и брожений с него хватит. Ах, если бы стать рыбой-мечехвостом в заливе Куинси! Ах, если бы знать, что все неизменно — что ничто никогда не меняется — и что женские особи будут плавать в океане будущего точно так же, как плавали в прошлые времена, вместе с сарганом и акулой, и никогда не смогут измениться.

31. ГРАММАТИКА НАУКИ

(1903)

Из всех путешествий, предпринятых человеком после Данте, эта новая экспедиция вдоль берегов океана Множественности и Сложности обещала быть самой длительной, хотя пока еще не коснулась даже двух более или менее знакомых морей — Расы и Пола. Даже в этих небольших сравнительно водах наш навигатор потерял ориентир и отдался воле ветров. Совершенно случайно на помощь ветрам пришел Рафаэль Пампелли, который, оказавшись в Вашингтоне на пути в Центральную Азию, часто беседовал с Адамсом на волновавшие обоих философские темы и однажды обронил, что, по мнению Уилларда Гиббса, тот много вынес из книги под названием «Грамматика науки», принадлежавшей перу Карла Пирсона. Уиллард Гиббс, на взгляд Адамса, стоял в одном ряду с немногими величайшими умами своего столетия, и то, что ученый такого ранга «много вынес» из какой-то книги, крайне поразило Адамса. Получив из магазина названный том, он тут же за него засел. С того времени, как он отплыл в Европу и поселился в своем убежище на авеню дю Буа и вплоть до 26 декабря, когда вновь пустился из Шербура в обратный путь, Адамс только тем и занимался, что пробовал установить, чему Карл Пирсон мог научить Уилларда Гиббса.

И тут, более чем когда-либо прежде, роковым препятствием встало незнание математики. Дело было даже не в том, что Адамс не владел этим необходимым орудием познания, а в том, что не мог судить о полученных с его помощью результатах. Не зная в совершенстве французского и немецкого и часто ошибаясь в толковании изощренной мысли, скрытой в путанице языкового узора, все же можно схватить общую тенденцию, которая подводит к пониманию сложнейших значений даже у Канта и Гегеля, но там, где орудием

мысли является алгебра, у исследователя нет права даже на малейшую ошибку. В тех частях «Грамматики», в которых Адамс сумел разобраться, он видел всего лишь развитие мыслей, выраженных в двадцатилетней давности книге Сталло, и так и не понял, чему же она могла научить такого титана науки, как Уиллард Гиббс. Тем не менее значение «Грамматики» далеко выходило за рамки ее научного содержания: она была своего рода исторической вехой. До сих пор ни один англичанин не осмелился на подобный шаг. Успехом «Грамматики» измерялся прогресс науки в эпоху, когда книгу Сталло в течение двадцати лет намеренно игнорировали, окружив обычным заговором молчания, неизбежным всякий раз, когда дело касалось мысли, требующей нового мыслительного механизма. Науке требуется время, чтобы, преобразовав свои орудия, следовать за революцией в пространстве; некоторое отставание всегда неизбежно; даже самые быстрые умы не способны мгновенно свернуть с накатанного пути. Однако значение подобных революций неопределимо, и даже падение или возникновение полудюжины империй вызвало бы меньший интерес у историка, чем книга, подобная «Грамматике науки», — в особенности у Адамса, потому что влияние Ленгли подготовило его к тому, что следует ожидать от ее появления.

Уже несколько лет Ленгли публиковал в «Докладах Смитсоновского института» различные революционные по духу статьи, предсказывавшие ломку научной догмы девятнадцатого века, и среди первых — знаменитое «Обращение» Уильяма Крукса по вопросу об исследованиях в области психики, вслед за которым увидела свет серия статей о Рентгене и супругах Кюри, и каждая такая статья постепенно выводила законодателей науки от Единства на открытые просторы. Однако только Карл Пирсон собрал их всех в кучу и отдал на растерзание. Эта фраза — отнюдь не преувеличение по сравнению с той, с которой начинается его «Грамматика науки».

«Трудно даже вообразить что-либо более беспомощное в своей алогичности, — бросает он вызов своим ученым-коллегам, — чем положения о силе и материи, обычно приводимые в элементарных учебниках по физике», и далее объясняет, что главным автором этих «элементарных учебников» является не кто иной, как сам лорд Кельвин. Пирсон изгоняет из науки все, что внес в нее девятнадцатый век. Он заявляет своим ученикам, что им придется удовлетвориться лишь частицей Вселенной — причем крайне малой ее частицей, — тем ее крохотным участком, который объемлют их чувства, единственным, где причинно-следственная связь может считаться достоверной. Так глубоководная рыба признает достоверным лишь тот крохотный участок моря, на который падает от нее же исходящий луч. «Порядок и разумность, красота и доброта суть свойства и понятия, присущие лишь человеческому разуму». Это утверждение как общая истина вызывает, однако, сомнение, поскольку и в «разуме» кристалла, как подсказывают наши ощущения, по-видимому, присутствует и гармония, и красота. Однако, с точки зрения историка, интерес представляет здесь не общая истина, которую приписывают положениям, высказываемым Пирсоном, или Кельвином, или Ньютоном, а то направление или течение, которому они следуют; Пирсон же неуклонно утверждает, будто все наличные концепции должны быть упразднены, ибо: «Мы не можем с научной точки зрения выносить их за пределы наших чувственных восприятий». И далее: «В хаосе, существующем за пределами наших чувств, в «запределье» чувственных восприятий, мы не можем предполагать наличие необходимости, порядка, системы, ибо все это — понятия, созданные человеческим разумом по эту сторону чувственных восприятий».

Следовательно, для всего, что находится за пределами наших восприятий, мы должны предполагать наличие хаоса:

«Короче, хаос — вот все, что наука может логически вывести для того, что находится за пределами наших чувственных восприятий».

Кинетическая теория газа является подтверждением конечного хаоса. Проще говоря, хаос есть закон природы, порядок — лишь мечта человеческая.

Никто не говорит все, что думает, и все же некоторые поступают именно так: ведь слова — уклончивы, а мысли — эластичны. Со времен Бэкона и Ньютона английская наука неустанно и страстно призывала не пытаться познавать непознаваемое, хотя в то же время требовала непрестанно думать о нем. Результатом явился хаос — словно в идеальном газе. Но научная мысль как таковая не интересовала Адамса. Он стремился обнаружить ее направленность и знал, что вопреки всем английским ученым, когда-либо жившим на свете, ему не миновать хаоса за пределами наших чувств: без этого он не сможет выяснить, чем стала британская наука, да и вообще всякая наука. Впрочем, так поступали все — от Пифагора до Герберта Спенсера, — хотя обычно наука исследовала сей безбрежный океан, предпочитая рассматривать его как упорядоченное Единство или Вселенную, и называла Гармонией. Даже Гегель, учивший, что каждое понятие включает в себя собственное отрицание, использовал это отрицание в целях достижения синтеза на более высокой ступени, пока не достигал универсального синтеза, где «конечный дух» познает самого себя, противоречие и все прочее. Только церковь решительно утверждала, что анархия не есть гармония, что дьявол не есть бог, что пантеизм хуже атеизма, а единство не выводится из противоречий. Карл Пирсон, по-видимому, соглашался с церковью, тогда как все остальные, включая Ньютона, Дарвина и Кларка Максвелла, с энтузиазмом пускались по океану сверхчувственного, называя его

Единый бог, единая система,
послушная единому закону,
к которой движется все сущее на свете.

И вдруг, в 1900 году, наука, осмелев, заявила, что все не так.

Впрочем, была ли эта перемена и в самом деле столь внезапной, как казалось? То, что она произошла, не вызывало сомнений: достаточно было открыть любую газету. И менее всего мог отрицать неизбежность перемены тот, кто наблюдал ее приближение, считая эту перемену интереснее для истории, чем для самой науки. Размышляя об этом, Адамс вспомнил, что волны нового прилива зародились по крайней мере двадцать лет назад; что о них заговорили еще в 1893 году. Каким же глубоким сном должен был спать в своем кресле ученый, который не вскочил как ужаленный, когда в 1898 году мадам Кюри бросила ему на стол свою метафизическую бомбу, названную ею радием! Ведь теперь не осталось и щелочки, куда можно было спрятаться. Даже метафизика двинула на науку зеленые воды из глубин океана сверхчувственного, и никто уже не мог питать надежды отгородиться от непознаваемого, ибо непознаваемое было познано.

Пришлось признать, что униформисты, царившие в науке в дни юности Адамса, оплели вселенную тенетами противоречий — полагая, правда, что это временная мера, с помощью которой будет достигнут «высший синтез», — и стали тихо его дожидаться, но так и не дождались. Они отказались выслушать Сталло. Не проявили интереса к Круксу. В конце концов, их вселенная развалилась под действием рентгеновских лучей, и Карл Пирсон одним ударом пустил развалившуюся посудину по воле волн, оставив науку плавать на сенсуалистском плотике среди хаоса сверхчувственного. Простому пассажиру всеобщее смятение казалось страшнее, чем кризис 1600 года, когда астрономы перевернули мир; пожалуй, оно скорее напоминало конвульсии, сотрясавшие Европу в 310 году, когда *Civitas Dei*¹ освободилось от *Civitas Romae*² и христианский крест занял место римских легионов;

¹ Государство божие (*лат.*).

² Государство римское (*лат.*).

но историк относился ко всем этим событиям с равным интересом. Он знал: его мнения никто не спрашивает; правда, в последнем случае он и сам оказался на плоту, и от того, куда этот плот понесет, зависело его личное и финансовое благополучие.

В английской научной мысли всегда царили хаос и разлад, и на этом фоне шаг, предпринятый Карлом Пирсоном, означал все же какой-то прогресс. Зато немецкая мысль всегда блистала системой, единством и абстрактной истиной, причем до такой степени, что даже терпеливейшему иностранцу это действовало на нервы. Тем не менее именно к Германии, как к последнему прибежищу, обратился наш путешественник по неизведанным морям мысли в надежде вновь почувствовать себя молодым. Повернувшись спиной к Карлу Пирсону и Англии, он устремился в Германию, но не успел переправиться через Рейн, как на него обрушились целые библиотеки новых трудов, на титулах которых стояли имена Оствальда, Эрнста Маха, Эрнста Геккеля и других, менее знаменитых ученых, среди которых Эрнст Геккель казался наиболее доступным, не только потому, что был самым старым, ясным и последовательным представителем механистической концепции XIX века, но и потому, что в 1902 году выпустил очередной труд, в котором со страстью пересмотрел свою веру. В этой книге только один параграф касается историка — тот, в котором Геккель, понизив голос почти до религиозного шепота, не без усилия над собой возвещает, что «подлинная сущность субстанции казалась ему все более и более чудесной и загадочной, по мере того как он все глубже постигал ее атрибуты — материю и энергию — и постепенно узнавал их бесчисленные проявления и их эволюцию». Поскольку Геккель, очевидно, все же пустился в путешествие по множественности, куда Пирсон запретил вход англичанам, он, несомненно, должен быть надежным лоцманом, по крайней мере на пути к подлинной «сущности субстанции», выраженной в ее атрибутах — материи и энергии; но Эрнст Мах пошел еще

дальше: он вовсе отказался от материи, признавая только два процесса в природе — перемену места и взаимозаменяемость форм. Иными словами, материя есть движение, движение есть материя — ОНО движется.

Историку не было нужды вникать в научные идеи этих величайших умов; он лишь стремился понять соотношение их идей с теми, какие исповедовали их деды, и теми, какие должны родиться у их внуков, — общее направление. Он уже давно, вместе с Геккелем, достиг пределов противоречия, и Эрнст Мах не внес и толику разнообразия в положение о единстве противоположностей, но оба, по-видимому, соглашались с Карлом Пирсоном, что вселенная есть нечто сверхчувственное, а следовательно, непознаваема.

С глубоким вздохом облегчения наш путник вернулся во Францию. Здесь он чувствовал себя на твердой почве. Французы, исключая Рабле и Монтеня, никогда не проповедовали анархии — разве только как путь к порядку. В Париже хаос — даже порожденный гильотиной — всегда был единством. И дабы доказать это с математической точностью, высочайшим научным авторитетом Франции был признан господин Пуанкаре, член Французской академии наук, который в 1902 году опубликовал сравнительно небольшую книжицу под названием «La Science et l'Hypothese»¹, обещавшую быть более или менее удобочитаемой. Доверившись ее внешнему виду, Адамс покорно ее приобрел и тут же с жадностью проглотил, не поняв целиком ни единой страницы, но схватив общий смысл нескольких предложений, потрясших его до самых глубин невежественного ума, ибо они, насколько он мог судить, свидетельствовали, что и господина Пуанкаре занимают те же исторические вехи, которые и самого Адамса либо вели к желаемой цели, либо от нее уводили. «[В науке] мы вынуждены поступать т а к , — заявляет Пуанкаре, — как

¹ «Наука и гипотеза» (*фр.*).

если бы простой закон при прочих равных условиях имел большую вероятность сравнительно со сложным законом.

Полвека назад человечество было убеждено, что природа любит простоту. С тех пор она то и дело нас опровергала. Ныне мы уже не приписываем такой тенденции природе и сохраняем от этой тенденции лишь то, что необходимо, чтобы наука не отклонялась от своего пути».

Наконец-то Адамс почувствовал под ногами твердую почву! История и математика сошлись. Прояви Пуанкаре вкус к анархии, его свидетельство имело бы меньше веса, но он, видимо, был единственным крупным ученым, в душе которого царили те же чувства, что и у историка: он понимал необходимость единства для вселенной.

«В итоге, — писал он, — произошло приближение к единству; правда, движение было не таким быстрым, как этого ожидали пятьдесят лет назад; самые его пути не всегда совпадали с ожидаемыми; но в конце концов приобретения оказались весьма значительными».

Подобное заявление казалось нашему невежественному путешественнику самым ясным и убедительным свидетельством прогресса, какие он до сих пор слышал. Однако он тут же наткнулся на другое высказывание, показавшееся ему совершенно несовместимым с первым:

«Нет сомнения, что, если бы наши методы исследования становились все более и более глубокими, мы открывали бы простое под сложным, потом сложное под простым, потом опять простое под сложным и так далее, причем предвидеть конечную стадию нам никогда не будет дано».

Математику такой математический рай бесконечных перестановок сулил вечное блаженство, историка же поражал ужасом. Удрученный незнанием математики, Адамс порывался спросить: а знает ли господин Пуанкаре историю? Потому что в том, что касалось истории, он явно исходил из ложной посылки, утверждая, будто прошлое демонстрирует постоянное чередование фаз простого и сложного — вопрос, над

которым Адамс бился пятьдесят лет и был вынужден оставить его без ответа! — даже допуская такую же чересполосицу в будущем, которая в представлении этого усталого адепта единства мало чем отличалась от картины идеального газа согласно кинетической теории.

С того времени, когда обитавшие на деревьях обезьяны научились чесать языками, ни человеку, ни зверю не приходило в голову отрицать или брать под сомнение Множественность, Многообразие, Сложность, Анархию, Хаос. Всегда и везде Сложное было истиной бытия, а Противоречие — ее законом. С этого началась мысль. Сама математика началась со счета один, два, три, а затем воображение подсказало бесконечность этой последовательности, что и сам господин Пуанкаре, иссушая себе мозги, стремился доказать и защитить.

«В итоге можно сказать, — заключал он, — что разум обладает способностью создавать символы; благодаря этой способности он построил математическую непрерывность, которая представляет собой лишь особую систему символов».

Тем же легким прикосновением — разрушительнее сильнейших ударов англичан и немцев! — он ниспровергает саму относительную истину. «Как я отвечу на вопрос, является ли Евклидова геометрия верной? — спрашивает господин Пуанкаре и отвечает: — Вопрос этот лишен смысла!.. Евклидова геометрия есть и всегда будет наиболее удобной».

Даже в Париже был хаос — особенно в Париже, — как был и в Книге бытия. Однако все мыслящие существа в Париже и вне Парижа, не щадя усилий, доказывали, что в мире есть Единство, Бесконечность, Цель, Порядок, Закон, Истина, Универсум, Бог. Поначалу это считалось аксиомой, но затем, к величайшему смятению большинства, обнаружилось, что кое-кто это отрицает. Однако при всем том направление человеческой мысли с начала исторических времен оставалось неизменным. В своем «я» она создала универсум, сущностью которого была Абстрактная Истина, Абсолют, Бог! Для Фомы Аквинского универсум еще был личностью;

для Спинозы — субстанцией; для Канта Истина была сущностью «я», синтетическим априорным суждением, категорическим императивом; для Пуанкаре она стала «удобством», а для Карла Пирсона — средством обмена.

Историк не переставал повторять себе, что он в этом ничего не смыслит, что он лишь измерительный прибор — барометр, педометр, радиометр; и что все его участие в этом деле ограничивается измерением движения мысли, как оно представлено выдающимися мыслителями. Их высказывания он принимал как данность. Сам он знал не больше, чем светлячок о рентгеновских лучах — или о расе — или о поле — или об *enunci* — или о такте в музыке — или о муках любви — или о грани мускуса — или о фосфоре — или о совести — или о долге — или о значении Евклидовой геометрии — или неевклидовой — или о свете — или об осмосе — или об электролизе — или о магните — или об эфире — или о *vis inertiae* — или о земном притяжении — или о сцеплении — или об эластичности — или о поверхностном натяжении — или о броуновском движении — или о десятках, сотнях, тысячах и миллионах химических реакций, происходивших в нем самом и вне его, — короче говоря, о той Силе, которая, как ему доверительно поведали, носила с десяток разных названий в различных учебниках, по большей части противоречащих друг другу и полностью, в чем он был убежден, недоступных его уму. Ясно же ему было лишь одно — что, согласно выводам новейшей и высочайшей науки, Движение, по-видимому, есть Материя, а Материя, по-видимому, есть Движение, хотя «мы, скорее всего, неспособны обнаружить», что есть каждое из них. Истории ни к чему знать, чем является каждое из них; ей необходимо знать, признает ли человек свое невежество — факт множественности, который не дается науке. Правда, наука оспаривала сам этот факт, но радий почему-то излучал нечто такое, что, очевидно, взорвало научные арсеналы и вызвало застой в научной мысли. Впрочем, с точки зрения истории в движении мысли

открытие радия было лишь очередным этапом, в равной мере уже знакомым и необъяснимым, с какими человечество неоднократно имело дело, начиная со времени Зенона и его стрелы, — этапом в развитии, непрерывном от начала времен и прерывающемся в каждой последующей точке. История занесла этот новый этап на свои скрижали, проложила курсом на своей карте и стала ждать, чтобы ей еще раз указали, по какому пути — неважно, верному или неверному, — ей дальше двигаться.

Историку, если он дорожит своей честностью, заказано искать истину: гоняясь за тем, что кажется ему истиной, он наверняка станет фальсифицировать факты. Законы истории лишь повторяют силовые линии и линии мысли. А историк, будь у него даже железная воля, сам того не желая, не тут, так там поддается, в особенности под влиянием страха, слабостям своей человеческой — или обезьяньей — натуры. Движение мысли можно уподобить полету снаряда, каким его видит наблюдатель, в чью сторону он летит и которому кажется, что снаряд приближается к нему по прямой. На самом же деле движение происходит по параболе, и она видна нам на глубину в пять тысяч лет. Первое сильное ускорение, приданое этому движению в исторические времена, закончилось катастрофой 310 года. Следующее отклонение от заданного курса произошло около 1500 года. Затем усилиями Галилея и Экона парабола сместилась вновь, что изменило все ее значения; но ни одна из этих трансформаций не нарушила непрерывности движения. И только в 1900 году непрерывность пересеклась. Сознвая, хотя и смутно, что произошел катаклизм, ученый мир отнес его начало к 1893 году — открытию рентгеновских лучей — или к 1898 году — открытию радия супругами Кюри. Но в 1904 году Артур Бальфур заявил от имени британской науки, что вплоть до последнего года предшествующего века человеческая раса жила и умирала в мире иллюзий. Что ж, примем эту дату: она удобна, а то, что удобно, есть истина.

Итак, ребенок, родившийся в 1900 году, вступит в новый мир, который будет уже не единой, а многосложной структурой — мультиструктурой, так сказать. Адамс пытался представить себе этот мир и воспитание, которое бы ему соответствовало. Воображение перенесло его в край, куда никто еще не ступал, где порядок был лишь случайностью, противной природе, лишь вынужденной мерой, тормозящей движение, против которого восставала вся свободная энергия и который, будучи только случайным, в конечном итоге сам возвращался в состояние анархии. Адамс не мог отрицать, что закон этого нового универсума — вернее, мультиверсума — объяснял многое, что прежде оставалось непонятным, и прежде всего: почему человек беспрестанно обращался с другим человеком как со злейшим врагом? почему общество беспрестанно старалось установить законы и беспрестанно восставало против законов, которые само же установило? почему оно, беспрестанно создавая власть с помощью силы, беспрестанно прибегало к силе, чтобы ее же свергнуть? почему, беспрестанно превознося высший закон, руководствовалось низшим? почему торжество принципов свободы беспрестанно оборачивалось их перерождением в принципы насилия? Но самой ошеломляющей показалась Адамсу открывшаяся ему перспектива — картина деспотизма с его искусственным порядком, враждебным и ненавистным природе. У физиков на этот счет был свой афоризм, вряд ли понятный непосвященным.

«Итак, чего мы достигли? Вступили в битву — заранее проигранную — с необоримыми силами, таящимися в глубинах природы».

Чего достиг историк? К чему пришел? К неудержимому желанию бежать. Он понимал: воспитание его завершилось, и сожалел лишь о том, что когда-то за него принялся. Сам он, несомненно, предпочитал свой восемнадцатый век, когда бог был человеку отцом, а природа — матерью, и все было к лучшему в этой объясненной наукой вселенной. Он полностью

отказывался участвовать в жизни нового мира, каким тот сулил быть, и только никак не мог установить, где начиналась и где кончалась его ответственность за сей грядущий мир.

В период новой истории человеческий ум вел себя наподобие жемчужницы, которая, укрывшись в раковине, созидает отвечающий ее требованиям мир, пока не покроет обе створки слоем пасты¹, воплотив в нем свое представление о совершенстве. Человек считал своей мир истинным, потому что сам его создал, и по той же причине любил его. Он принес в жертву миллионы жизней, добываясь в нем единства, и, достигнув его, по праву счел величайшим произведением искусства. В особенности много сделала женщина, создавая свои божества, оказавшиеся на порядок выше тех, которые создал мужчина, и заставив его в конечном итоге признать богиню охранительницей мужского бога. В своей собственной вселенной мужчина играл второстепенную роль, главной же завладела женщина, которая чем только не жертвовала, чтобы сделать мир пригодным для обитания, когда мужчина не мешал ей в редкие промежутки между войнами и недородами. Только одного она сделать не могла — обеспечить защиту от сил природы. И она вовсе не считала, что мир ее — плотик с налипшими со всех сторон ракушками, спасающимися от бушующей стихии сверхчувственного хаоса. Напротив, для нее сама она и ее семья были центром и цветом вселенной, которая, без сомнения, была единой: ведь она создала ее по образу плодоносной продолжательницы рода. И это ее творение сияло красотой и совершенством, без сомнения существовавшими в реальности, потому что она сотворила их в своем воображении.

И перед этой ее духовной победой, благоговей, восторгаясь и любуясь, склонились даже суровые философы-мужчины, а величайший из них воспел ее в прекраснейших стихах.

¹ Перламутр (*фр.*).

Alma Venus, coeli subter labentia signa
Quae mare navigerum, quae terras frugiferentis
Concelebras ...
Quae quoniam rerum naturam sola gubernas,
Nec sine te quidquam dias in luminis oras
Exoritur, neque fir laetum neque amabile quidquam;
Te sociam studeo! ¹

Ни мужчины, ни женщины никогда не изъявляли желания покидать рай, который сами себе выдумали, да и не могли бы покинуть его по собственному почину, как не может жемчужница выскользнуть из своей раковины. Но хотя жемчужнице и дано вбирать в себя или обволакивать собой занесенную между створок песчинку, превращая ее в жемчуг, ей все равно суждено погибнуть — либо в разгулявшейся стихии урагана, либо при вулканических сдвигах дна. Так ее убивает ее же сверхчувственный хаос.

Вот такой представала теория исторического процесса, предлагаемая наукой поколению, родившемуся после 1900 года. Ответственным за эту теорию Адамс себя не чувствовал. Даже как историк он всегда ставил себе в обязанность говорить с уважением обо всем, что когда-либо считалось достойным уважения, кроме разве отдельных государственных деятелей, но при этом всю жизнь подчинялся силе и намеревался поступать так впредь, готовый принимать ее в будущем, как и в прошлом. Все его усилия были направлены на то, чтобы правильно определить ее русло. Он не изобретал факты;

¹ О, благая Венера! Под небом скользящих созвездий
Жизнью ты наполняешь и все судоносное море
И плодородные земли...
Ибо одна ты в руках своих держишь кормило природы,
И ничего без тебя на божественный свет не родится,
Радости нет без тебя никакой и прелести в мире.
Будь же пособницей мне при создании этой поэмы.

(Перевод Ф. Петровского)

их поставляли ему авторитетные источники, которые он находил. Что касается его самого, то, следуя Гельмгольцу, Эрнсту Маху и Артуру Бальфуру, он впредь должен был считать себя неким шариком, наделенным сознанием и постоянно находящимся в колебательном движении, которое на всех направлениях пересекали линии вращения и колебания, — шариком, катящимся, не выходя из своей парижской мансарды, то у ног Мадонны из Шартра, то господина Пуанкаре, центром некоего сверхчувственного хаоса. Открытие это нимало не огорчало Адамса. Одиному старику в шестьдесят пять, если не более, лет, сиротливо слонявшемуся по готическим соборам или по своей парижской квартире, нечего печалиться по поводу нескольких — одной больше или меньше — иллюзий. Ему следовало усвоить этот урок пятьдесят лет назад: времена, когда алчущий познания мог остановиться перед бездной — хаоса или порядка, — давно миновали; теперь у него не было иного выбора, как шагать в ногу вместе со всем миром.

Тем не менее он не стал бы утверждать, что подобный научный взгляд льстит его уму. Какой повествователь не слогал историй о том, как человеческий ум, подобно птице в клетке, всегда отчаянно бился, стремясь вырваться из обступившего его хаоса, как — внезапно и необъяснимо появляясь на свет из неведомой и невообразимой пустоты, проводя полжизни в хаосе сна, а в остальное время являясь жертвой собственной неразумности, болезни, старости, внешних обстоятельств и собственных вожелений; сомневаясь в своих ощущениях и, в конце концов, доверяясь лишь приборам и средним величинам, — как после шестидесяти-семидесяти лет непрестанно возрастающего удивления тем, что творится вокруг, наш ум наконец просыпается, чтобы оказаться лицом к лицу с зияющей пустотой смерти. Оставалось делать вид, что доволен таким положением вещей — а большего нельзя было и требовать даже по высочайшим меркам хорошего воспитания, потому что, если бы человеческий ум и

впрямь испытывал удовлетворение, следовало бы говорить не об уме, а о слабоумии.

Удовлетворение вряд ли будут испытывать и грядущие поколения, ибо даже когда человеческий ум обитал в им самим же придуманном универсуме, то и тогда не чувствовал себя легко и привольно. И если исходить из оценки состояния нынешней науки, человеческий ум только и делал, что приспособлялся к новым веяниям, прибегая к бесконечному ряду бесконечно утонченных приспособлений, навязанных ему бесконечным движением в бесконечном хаосе движения, то вовлекаясь в неведомое и невообразимое, то пытаясь выкарабкаться и вновь вернуться в пределы собственных чувств, пока наконец в 1900 году на него не обрушилась новая лавина неведомых сил, для управления которыми требовался новый мыслительный механизм. А если эта картина верна, то ни бегство, ни борьба не приведут человеческого ум к успеху; ему должно либо смешаться со своим сверхчувственным мультиверсумом, либо полностью ему покориться.

32. VIS NOVA

(1903—1904)

В середине лета в Париже остается только трудящаяся беднота, которой разъезжать не по карману. Но Адамс не знал другого места, откуда лучше просматривался бы ход истории, к тому же на Елисейских полях царил такая глубокая тишина, что, когда графа Витте, повысив в чине, отстранили от должности, никто даже шепотом не назвал это повышение пощечиной, и именно молчание, окружавшее повторную оккупацию Маньчжурии заместником Алексеевым, должно было подсказать, что Россия ввела туда свои войска исключительно для выполнения договорных обязательств. Но иной раз заговор молчания равенствен преступлению. Никогда еще обществу Запада не предлагалось решить столь важ-

ную и животрепещущую задачу, но общество предпочло закрыть на нее глаза. Маньчжурия жила ожиданием войны; Япония закончила свои приготовления; Алексеев сконцентрировал армию и флот в Порт-Артуре, приведя пушки в боевую готовность и сделав огромные запасы в преддверии ожидаемого нападения; от Иокагамы до Иркутска весь Восток практически уже был на военном положении; в Европе же ничего не знали. Банки не выказывали и тени тревоги, в прессе на этот счет не говорилось ни слова, и даже в посольствах упорно молчали. Правда, анархисты в Европе вдруг оживились и стали сбиваться в группы, но в отеле «Риц» царила тишина, и заполонившие его великие князья в один голос уверяли, что, по сведениям, полученным прямо из Зимнего дворца, войны не будет.

Адамс по обыкновению был так же слеп, как наиболее информированные государственные деятели. Однако на этот раз его не оставляло чувство, что их слепота наигранная. Несмотря на свой почти пятидесятилетний опыт наблюдателя, он не мог понять, каким образом удастся так хорошо разыгрывать все ту же комедию. Еще в ноябре дипломаты с полной серьезностью спрашивали каждого встречного и поперечного, что он думает, хотя собственные соображения держали при себе, высказывая только те, которые непосредственно санкционировались из Санкт-Петербурга. Адамс ничего не мог понять. Он столкнулся с новой проблемой — последствиями русской инерции — и вряд ли мог бы понять, даже если бы его допустили в Зимний дворец, что было действительно опасным, а что — игрой. Порою у него возникало сомнение — а понимают ли это великие князья или даже сам царь? Но давняя искушенность в дипломатических делах не допускала подобной наивности и простодушия.

Таково было положение дел в канун рождества, когда Адамс покинул Париж. 6 января он прибыл в Вашингтон, и его поразила царившая там совершенно новая атмосфера: впервые он почувствовал, что его страна считает себя великой

державой. Вашингтоном владела настороженность, и причиной тому, несомненно, были ходы японской дипломатии, хотя ее успехи, казалось бы, должны были насторожить не Америку, а Европу. И совсем необъяснимой представлялась инертность русских дипломатов. Впрочем, понятие правительство, действующее по инерции, всегда было труднее всего. Так или иначе, но создавалось впечатление, будто Кассини не получал никаких указаний от своего правительства, а Ламсдорф ничего не знал о том, что делается в его собственном департаменте. Однако впечатление это было заведомо ложным. Правда, Кассини не стеснялся прибегать к весьма прозрачной *blague*¹: «Японцы совсем потеряли голову — лезут воевать! Что они могут? Сидели бы на пятках и молились Будде». Этот старейший и безупречнейший дипломат вряд ли стал бы доводить до всеобщего сведения, что ему нечем вести игру, будь у него на руках хотя бы какие-то козыри. «Пусть хоть один японец, — заверял он, — сунется в Маньчжурию, живым ему оттуда не выйти». Инертность Кассини, на самом деле одного из энергичнейших дипломатов, крайне заинтересовала Адамса, давно уже иссушавшего себе мозги в попытке изобрести весы для измерения могущества и силы.

Русское правительство на фоне Белого дома выглядело весьма фальшиво, и это впечатление особенно усиливалось полной откровенностью американского президента. Об умолчании здесь не было и речи. Все в Америке понимали, что за счет ли России или Японии, но в истории США близится одно из решительнейших сражений и играть в секретность или безразличие сейчас просто нелепо. События возбуждали острый интерес, за ними следили с напряженным вниманием, тем более что никто не знал, каковы намерения и желания русского правительства, тогда как война стала вопросом дней. Для объективного историка, которому все еще было неясно, действует ли царь сознательно или по инерции, открытые

¹ Выдумка, ложь (*фр.*).

заявления Рузвельта имели особую цену — они были для него эталоном. Случилось так, что почти сразу по возвращении домой Генри пришлось отправиться вместо Брукса на дипломатический прием и в качестве его полномочной замены ужинать за столом президента, сидя рядом с секретарем Рутот с одной стороны, мисс Чемберлен — с другой и самим президентом напротив. Говорил, естественно, президент, а гости слушали, и Адамсу, только что наблюдавшему европейский заговор молчания, казалось, словно он глотнул свежего воздуха после духоты. Рузвельт, как известно, умел говорить увлекательно и слыл одним из самых откровенных среди государственных деятелей своего времени, исключая разве кайзера Вильгельма и Джозефа Чемберлена, отца его гостей; а в этот вечер он не щадил никого. Широко пользуясь *quos ego*¹, что свойственно темпераментным деятелям, он высказал в полный голос, не утруждая себя выбором выражений, все, что думает о русских и японцах, а заодно о бурах и британцах, к вящему удовольствию двадцати слушателей, и закончил заявлением, что война вот-вот начнется, но ее нужно остановить и можно остановить. «Я мог бы это сделать. Даже завтра», — заключил он и тут же стал излагать причины, по которым воздерживается.

Что он поступает верно и что не далее как в следующем поколении его преемник сможет осуществить то, что хотелось бы сделать Рузвельту, не вызывало у Адамса и тени сомнения, хотя еще не так давно — когда Адамс в последний раз ужинал в Белом доме в президентство Хейса — подобное заявление прозвучало бы верхом бахвальства. Нашего историка, однако, взволновало не столько подтверждение мощи его страны, сколько убедительность позиции Рузвельта. Все сказанное было очевидной истиной, заведомой, даже, если угодно, банальной, но она шла не от инерции, и предполагаемые меры тоже никак нельзя было считать инертными.

¹ А вот я тебя, уже тебе (*лат.*).

Впрочем, и силу, двигавшую Японию, даже на мгновение нельзя было отнести на счет инерции, хотя японцы готовили свое наступление так методически — с таким математическим расчетом, — словно доказывали Евклидову теорему, и, по мнению Адамса, имей они дело не с Россией, а с любой другой страной, непременно проиграли бы в дебюте. Каждый день весил неизмеримо много на весах истории, а все события, вместе взятые, делали «грамматику» новой науки не менее поучительной, чем «Грамматика» Пирсона.

Приведенные в движение силы непременно должны были прийти в равновесие, которое так или иначе разрешило бы возникшую проблему, и поэтому война не имела для Адамса личного значения, разве только в том смысле, что давала Хею шанс на последний в его жизни триумф. Хей вел свое нескончаемое состязание с Кассини с бесподобным искусством, и никто даже не подозревал, с каким совершенством делает он свои дипломатические ходы, не совершая при этом ни единой ошибки. Впрочем, на дипломатическом поприще только тогда и возможен успех, когда работа никому не видна, и победа Хея в конечном итоге обеспечивалась умным расчетом, а не действиями. Сам он ничего не мог предпринять, да если бы и попытался, вся Америка на него бы обрушилась. Его политику «открытых дверей» спасли Япония и Англия, выигравшие ему сражение. Хею оставалось помочь заключить мир, и Адамс от души желал — и ради Хея, и ради России, — чтобы мир был заключен как можно скорее. Ему казалось, что это удастся сделать за одну кампанию, тем более что падение Порт-Артура неизбежно должно было привести к мирным переговорам, и все считали само собой разумеющимся, что вести их будет Хей. Но для него скачки подходили к концу, а пока война с каждым днем все набирала силы, силы же Хея с каждым днем убывали.

Прибыл Сент-Годенс, чтобы лепить его голову, Сарджент писал с него портрет — еще две значительные ступени к бессмертию, которые Хей преодолел с достаточной покорно-

стью. Но, когда президент предложил ему поехать в Сент-Луис, чтобы выступить на открытии выставки, Хей разворчался не на шутку, и миссис Хей попросила Адамса отправиться вместе с ними, постаравшись извлечь из поездки, если удастся, какую-то пользу и для себя. Большой энтузиаст Всемирных выставок, без которых, по его мнению, современное образование зашло бы в тупик, Адамс с готовностью принял предложение миссис Хей, тем более что оно помогало слить воедино два пути его воспитания. Однако и теория и практика подверглись в Сент-Луисе тяжелому испытанию. Прошло десять лет с тех пор, как Адамс в последний раз пересек Миссисипи, и все тут было ему внове. В этом огромном крае, от Питтсбурга и Огайо до Индианы, сельское хозяйство уступило место индустриальному — господином положения стал пар. Со всех сторон горизонт прорезали высокие трубы, изрыгавшие дым, а грязные окраины, усеянные кучами старого железа, старой бумаги и золы, составляли обрамление городов. Чистоплотность явно не входила в число добродетелей нового американца. Но вопрос о том, что считать ненужным, не имел прямого отношения к мере силы, тогда как фабричные трубы и шлаки касались ее непосредственно, и на месте государственного секретаря Адамс выходил бы на каждой станции, чтобы спросить — кто там, что за люди? Потому что исконные американцы здесь, по-видимому, вымерли вместе с индейцами племени шони и бизонами.

Кто они, эти люди? Щекотливый вопрос! Истории почти нечего было сказать о миллионах немцев и славян, возможно называвшихся и как-то иначе, что запрудили весь этот край, словно Рейн и Дунай повернули свои воды в Огайо. Джон Хей чувствовал себя на Миссисипи чужим, будто никогда и не рос на ее берегах, а город Сент-Луис, повернувшись к этому прекраснейшему творению природы спиной, отдал великую реку на разорение. Новый американец с гордостью демонстрировал то, что его породило, — он был дитя пара и брат динамо-машины. Меньше чем за тридцать лет этой разнородной

человеческой массе, которую пригнал сюда пар, уминая ее и прессуя, придали некое подобие формы; создали продукт мощностью в некое количество механической силы, лишенный любых отличительных черт, кроме машинного клейма. Новый американец, подобно новому европейцу, был слугой электростанции, как европеец двенадцатого века был слугой церкви, и их человеческие качества определялись их происхождением.

Выставка в Сент-Луисе была первой международной выставкой в двадцатом веке и по этой причине особенно интересной. Третьестепенный город с полумиллионным населением, которое не могло похвастать ни своей историей, ни знаниями, ни единством, ни искусством, город отнюдь не богатый, не отличавшийся даже естественными достопримечательностями — разве только рекой, которой усердно пренебрегал, — Сент-Луис взялся сделать то, за что побоялись бы взяться Лондон, Париж или Нью-Йорк. Этот новый социальный конгломерат, спаянный только энергией пара, да и то не очень прочно, бросил тридцать, если не сорок миллионов долларов на пышное представление, столь же эфемерное, как поднятие государственного флага. Такого фантазмагорического зрелища еще не видывал мир: даже раскаленные пески Аравии не отсвечивали ночью столь удивительным светом, каким сияли стоящие длинными рядами белые дворцы, причудливо освещенные тысячами электрических свечей, — изящные, роскошные, реальные в своей осязаемой глубине. В гробовом молчании, в полном безлюдье, они прислушивались, не раздастся ли чей-то голос, не прозвучат ли шаги, не плеснет ли весло. Казалось, сам эмир Мирза показывал гостю богатства Медного города, и не было ничего прекраснее этой иллюминации с ее необозримым белым монументальным безлюдством, залитым чистым светом заходящих солнц.

Посетители выставки испытывали безудержный восторг, но не столько от обилия экспонатов, сколько потому, что их было мало. Не будь их совсем, выставка вызвала бы еще больший восторг.

Воспитание нашло здесь новую пищу. То, что силы были растрчены впустую, искусство блистало равнодушием, а экономика терпела крах, лишь умножало интерес. Хаос в воспитании походил на сон. Невольно возникал вопрос: что отражает это расточительство — пережитое прошлое или воображаемое будущее, является ли эта выставка созданием старой Америки или прообразом новой? Ни одному пророку, как известно, верить нельзя, но облеченный властью паломник мог позволить себе в отсутствие лъстивой клаки отдаться надежде. Разве выставка не открывала приятную перспективу? Казалось, тут были налицо почти все предпосылки мощи, почти расчерченный путь к прогрессу. Еще полвека, и жители центральных районов смогут бросить на ветер сотни миллионов долларов с еще большей легкостью, чем пустили десятки в 1900 году. К тому времени они, возможно, будут знать, что им требуется и, быть может, даже, как им этого достичь.

Однако эту надежду оптимиста разделяли лишь немногие паломники по всемирным выставкам, массы же откровенно ее отбросили, и к востоку от Миссисипи выставку обходили полным молчанием, которое убивало оптимистическую мечту о будущей силе американского самовыражения. Когда 24 мая супруги Хей и Адамс вернулись в Вашингтон и Адамс, перед тем как отплыть в Европу, как-то теплым вечером отправился с прощальным визитом в Белый дом, он оказался первым и, насколько ему известно, последним, кто убеждал миссис Рузвельт посетить выставку в Сент-Луисе, чтобы полюбоваться ее красотой.

Покинув сент-луисский храм промышленности 22 мая, Адамс уже 5 июня был в Кутансе, где много веков назад, примерно в 1250 году, жители Нормандии воздвигли свой храм, который до сих пор превозносят архитекторы и посещают туристы, ибо, по всеобщему мнению, сила и милосердие мадонны нашли в нем неповторимое выражение. Воскресенье 5 июня пришлось на местный церковный праздник — Fête

Dieu¹; на улицах возвышались алтари мадонне в цветах и зеленых ветках; тротуары устилали листья и прочие дары весенней природы; в соборе, заполненном до отказа, служили мессу. Все это было пленительно. Святая Дева не закрывала свой храм ни по воскресеньям, ни в другие дни недели — даже перед американскими сенаторами, которые закрыли перед ней — или для нее — свой в Сент-Луисе, и бродяга-историк с восторгом поставил бы в ее честь свечку — что свечку, шандал! — только бы она научила его своему отношению к божественности сенаторов. Сила Мадонны была всеядина и охватывала всю человеческую деятельность, сила сената, или его божества, казалось, стыдилась человека и его труда. Все это вряд ли вызывало хоть какой-то интерес с точки зрения выяснения умственных процессов в головах сенаторов, каковые, пожалуй, еще меньше, чем жрецы того божества, которому они, по собственному убеждению, поклонялись, могли дать о нем четкое представление — даже если бы это входило в их намерения. Мадонна или ее сын не обладали уже, по всей очевидности, достаточной силой, чтобы возводить храмы, в которые бы стремился народ, но владели достаточной силой, чтобы их закрывать. Сила эта была реальной, серьезной и в Сент-Луисе получала точную оценку в фактической денежной стоимости.

Доказательством реальности и серьезности этой силы во Франции, как, впрочем, и в сенате США, могло служить хотя бы то, что Адамс приобрел автомобиль — прямое свидетельство ее воздействия, ибо изо всех средств передвижения именно это было самым ему ненавистным. Но он решил отвести лето на изучение силы Мадонны, не в смысле религиозного чувства, а той движущей силы, которая воздвигла столько памятников, разбросанных по всей Европе и нередко труднодостижимых. Только пользуясь автомобилем, можно было соединить их все в какой-то разумной последовательнос-

¹ Праздник господний (фр.).

ти, и, хотя сила автомобиля, предназначенного для целей коммивояжера, не имела, казалось бы, ничего общего с той силой, которая вдохновляла на создание готических соборов в двенадцатом веке, Мадонна, вероятно, равно оделяла всех своими милостями и указывала путь как бродячему торговцу, так и архитектору, а в двадцатом — разведчику истории. На его взгляд, перед ним стояла та же проблема, что и перед Ньютоном: проблема взаимного притяжения, которая и в его случае укладывалась в формулу $S = \frac{gt^2}{2}$, и ему оставалось лишь подтвердить ее на опыте. Самому ему никаких доказательств того, что притяжение существует, не требовалось: стоимость автомобиля говорила сама за себя, но как учитель он должен был представить доказательства — не себе, а другим. Для него Мадонна была обожаемой возлюбленной, посылавшей автомобиль и его владельца, куда ей вздумается — в прекрасные дворцы и замки, из Шартра в Руан, а оттуда в Амьен и Лаон и в десятки других мест, повсюду любезно его принимая, развлекаая, завлекая и ослепляя — словно она и не Мадонна даже, а Афродита, которая стоит всего, о чем может мечтать мужчина. Адамс никогда не сомневался в ее силе, ощущая ее всеми фибрами своего существа, и был не менее уверен в воздействии этой силы, чем силы притяжения, которую знал лишь как формулу. Он с несказанной радостью отдавался — нет, не чарам Мадонны и не религиозному чувству, — а творческой энергии, физической и интеллектуальной, воздвигшей все эти храмы — эти всемирные выставки силы тринадцатого века, перед которыми бледнели Чикаго и Сент-Луис.

«Они были боги, но вера в них и ссыкла», — сказано Мэтью Арнолдом о греческих и скандинавских божествах; историю важно знать, почему и как и ссыкла. Что же касается Мадонны, вера в нее далеко не и ссыкла; она убывала чрезвычайно медленно. Верный поклонник Мадонны, Адамс преследовал ее достаточно долго, достаточно далеко, видел достаточно много

проявлений ее силы и вполне мог утверждать, что равной ей нет в целом мире ни по значению, ни по образу, и тем более мог утверждать, что энергия ее отнюдь не иссякла.

И он продолжал увиваться вокруг Мадонны, счастливый от мысли, что наконец нашел даму сердца, которой безразличен возраст ее воздыхателей. Ее собственный возраст не измерялся временем. Уже много лет Адамс, воодушевленный Ла Фаржем, посвящал летние занятия изучению витражей в Шартре или каком-нибудь другом месте, и если автомобиль обладал, среди прочих, в высшей степени полезной *vitesse*¹, то эта была *vitesse* «историческая» — столетие в минуту, перемещение без остановки из века в век. Столетия, словно осенние листья, только успевали падать на дорогу, а мчавшего по ним лихого автомобилиста никто не штрафовал за слишком быструю езду. Когда выдохся тринадцатый век, ему на смену пришел четырнадцатый, а там уже маячил шестнадцатый. В погоне за витражами с изображением Мадонны открывались богатейшие сокровища. Особенно в шестнадцатом веке поклонение христианским святыням неистовым всплеском выразилось в искусстве. Безбрежное религиозное чувство, охватившее тогда Францию, пролилось над ее городами и весями метеоровым дождем, повсюду рассыпав свои брызги, и почти не было такого отдаленного селения, где бы они не сверкали драгоценными камнями, глубоко упрятанными в расселинах забвения и покоя. У кого хватило бы духу миновать церквушку в Шампани или Тюрени, не остановившись, чтобы поискать окно из кусков разноцветного стекла, запечатлевших младенца Христа, лежащего в яслях, над которыми склонилась голова его пестуна-осла, чьими длинными ушами играет купидон, свесившись с балюстрады венецианского палаццо, охраняемого фламандским *Leibwache*², безногим, в экстравагантном наряде, но со сломанной алебардой, — все, вымоленное по обету изображенными

¹ Скорость (*фр.*).

² Телохраниль (*нем.*).

тут же дарителями и их детьми, достойными кисти Фуке или Пинтуриккио, в красках таких же свежих и живых, как если бы стекла сложили вчера, с чувством, все еще утешающим верующих в их скорби по раю, который они оплатили и утратили. Франция изобилует витражами шестнадцатого века. В одном только Париже их целые акры, а в его окрестностях на пятьдесят миль вокруг стоят десятки церквей, войдя в которые так и тянет, унесясь на триста лет назад, опуститься на колени перед Мадонной в цветном окне, возопить «аз грешен», бия себя в грудь, признать свои исторические грехи, отягощенные невесть какой чужью, накопившейся за шестьдесят шесть прожитых лет, и подняться, безрассудно надеясь, что кое-что еще поймешь в этой жизни.

Кое-что Адамс понимал, хотя не так уж много. Шестнадцатый век обладал собственной ценностью, словно единичное уступило место множественности; оно как бы утроилось, хотя множественность и не проявилась в полной мере. Витражи уводили назад — в Римскую империю, и вперед — на Американский континент; в них обнаруживалась симпатия к Монтеню и Шекспиру, но главное место по-прежнему занимала мадонна. В церкви св. Стефана города Бовэ есть превосходное генеалогическое «Древо Христово» — творение Анграна Ле-Пренса, исполненное им примерно в 1570—1580 годах, — на чьих ветвях расположены четырнадцать предков Пречистой девы, три четверти которых наделены чертами королей Франции, в том числе Франциска I и Генриха II, чьи жизни вряд ли можно считать поучительнее жизней царей израильских и, уж во всяком случае, сомнительным источником божественной чистоты. Должны ли мы объявить, что это древо означает прогресс по сравнению с еще более знаменитым Шартрским древом, которое относят к 1150 году? И если это прогресс, то в каком направлении? Тут, пожалуй, можно говорить о движении к Сложности, к Множественности, даже о шаге в сторону Анархии. Но есть ли здесь шаг в сторону Совершенства?

Однажды вечером в разгар лета, когда наш паломник шел по улицам Труа, погруженный в дружески-доверительную беседу с Тибо Шампанским и его высокоумным сенешалем Жаном де Жуанвиллем, его внимание вдруг привлекли несколько зевак, разглядывавших газетную вырезку в окне. Подойдя поближе, Адамс прочел, что в Петербурге убит министр Плеве. Все перемешалось в мыслях — Россия и крестоносцы, ипподром и Ренессанс, и Адамс поспешил укрыться в стоящей неподалеку очаровательной церковке св. Пантелеона. Мученики и мучители, всевозможные цезари, святые и убийцы — одни в витражах, другие в газетах — какая хаотическая смесь времен, мест, нравов, силы, побуждений! Кружилась голова. Неужели ради этого вся его жизнь прошла на ступенях Арачели? Неужели убийство всегда было, есть и будет последним словом прогресса? Никто кругом не выказал и знака протеста; в нем самом ничего не шевельнулось; прелестная церковь с ее бесподобными витражами, в которой в виде исключения не толпились туристы, дышала небесным покоем, не нуждаясь ни в каких контрастах и уж меньше всего в таких, как взрыв бомбы. Что ж, консервативно-христианский анархист получил свое. Только кем был он сам — убийцей или убиенным?

А Мадонна? Никогда еще она не была столь привлекательна — божественная мать-богородица, — как сейчас, когда ее милосердие оказалось столь скандально несостоятельным. За чем же она существовала, если через девятнадцать столетий в мире лилось крови даже больше, чем когда она родилась? Вопиющая несостоятельность христианства тяжким бременем лежала на истории. Частичное единение и согласие ничего не решали; даже если их удавалось добиться, всякое движение вперед теряло смысл. Но усталому искателю знаний мысль о том, что пора прекратить заниматься этим вопросом, казалась свидетельством собственной дряхлости. Нет, пока он в силах дышать, он будет продолжать, как начал, наотрез отказываясь предстать перед своим творцом с признанием того, что ничему не научился в мире его творений, разве только что

квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен чему-то там еще. Каждый человек, достаточно уважающий себя, чтобы жить полезной жизнью, пусть даже автоматически, должен быть в ответе перед самим собой и, если обычные формулы оказались несостоятельными, вывести собственные для своей вселенной. На этом воспитание человека, завершившись или нет, должно окончиться. Создав свою формулу, нужно было проверить ее на деле.

Приступать следовало немедленно, так как времени почти не оставалось. Старые формулы себя не оправдали, новые еще предстояло создать, но, в конце концов, такая задача вовсе не была чем-то непосильным или эксцентричным. Он не искал абсолютной истины. Он искал лишь бобину, на которую можно было бы намотать нить истории, ее не порвав. Среди всевозможных орбит он искал ту, которая бы наилучшим образом соответствовала изучаемому движению некой кометы, появившейся в 1838 году и обыкновенно именуемой Генри Адамс. Для воспитания в духе девятнадцатого века требовалось привести к общему знаменателю несколько исторических периодов. Подобная задача была по плечу и школьнику, если ему давали право самому определить ее условия.

А потому, когда холода и туманы вынудили Адамса прекратить расправу с веками и вновь заперли его в парижской мансарде, он, словно усердный школьник, засел выводить свои положения для Динамической теории истории.

33. ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИСТОРИИ

(1904)

Динамическая теория, подобно большинству теорий, начинается с постулата — с определения Прогресса как развития и экономии сил. Далее следует определение силы: это то, что выполняет или способствует выполнению определенного количества работы. Человек есть сила; и солнце — сила; силой

является и математическая точка, хотя она не имеет измерений и вообще является абстракцией.

Человек, как правило, принимает за аксиому, что силы ему подвластны. Динамическая теория, исходя из того что противодействующие тела обладают силой притяжения, принимает за аксиому, что человек подвластен силам природы. Сумма сил притягивает; ничтожный атом, или молекула, именуемый человеком, притягивается; он подвержен воспитанию или развитию; его тело и мышление — продукты воздействия природных сил; движение этих сил направляет прогресс его мышления, ибо сам он ничего не может познать, кроме движений, воздействующих на органы его чувств и составляющих его воспитание.

Воспользуемся для наглядности сравнением, представив себе человека в образе паука, зависшего посреди своей паутины в ожидании добычи. Перед его сетью пляшут, словно мухи, силы природы, и при малейшей возможности он затягивает их к себе, совершая, одна ко, — при том, что теория силы, которой руководствуется, верна, — немалое число роковых ошибок. Постепенно его паучий ум обретает способность хранить впечатления — память, а вместе с ней и особое свойство — умение анализировать и синтезировать, разъединяя и соединяя в различных сочетаниях ячейки своей ловушки. Поначалу человек не обладал способностью анализа и синтеза даже в той мере, в какой это свойственно пауку или хотя бы медоносной пчеле, зато обладал острой восприимчивостью к высшим силам природы. Огонь открыл ему тайны, которые ни одно другое живое существо не могло постичь; еще больше он познал, наблюдая за течением воды — первые уроки, полученные им в области механики; свою лепту в его обучение внесли и животные, которые, отдавшись ему в руки ради пищи, несли на себе его ношу и снабжали одеждой; а травы и злаки оказались для него высшей школой познания. Таким образом, почти без особых стараний со стороны человека сами силы природы формировали его мышление, побуждали к деятельности и даже выпрямили ему спину.

Его воспитание завершилось задолго до начала письменной истории, ибо, чтобы вести записи событий, надо было научиться записывать. Универсум, сформировавший человека, отразился в его уме как свойственное ему единство, вобрав в себя все силы, кроме него самого. Раздельно, группами или все вместе, силы природы неизменно воздействовали на человека, увеличивая диапазон его ума, как увеличивается поверхность ботвы у созревающего корнеплода, и человеческому уму достаточно было лишь реагировать на притяжение со стороны сил природы, как реагируют на них леса. Восприимчивость к высшим силам есть высочайший дар; умение произвести среди них отбор — величайшая наука; в целом же они — главный воспитатель. Человек непрестанно совершал, да и сейчас совершает, глупейшие промахи при выборе и оценке сил, произвольно выхватывая их из общей массы, но он ни разу не ошибся в определении значения целого, осознав его символически как единство и поклоняясь ему как богу. Он и поныне не изменил своих представлений, хотя наука уже не может дать силе правильное имя.

Функция человека как одной из сил природы заключалась в том, чтобы усваивать внешние силы, как усваивается им пища. Сознавая себя слабым, он обзаводился ослом или верблюдом, луком или пращой, чтобы расширить границы своих возможностей, как искал себе кумира или божество в ином, запредельном мире. Его мало заботила их непосредственная польза; он не мог позволить себе отказаться даже от самой малости — ни от чего, что, как ему представлялось, могло иметь хоть какую-то цену в его земном или потустороннем существовании. Он ждал, не подскажет ли ему сам предмет, на что тот пригоден или непригоден. Но процесс этот происходил медленно, и человек ждал, возможно, сотни тысяч лет, когда природа откроет ему свои тайны. Соперникам его среди обезьян она не открыла больше ничего, хотя некоторые силовые линии все же оказали воздействие на отдельных человекообразных, и из них были автоматически отобраны типы расы или исходные особи

для последующих изменений вида. Индивид, отозвавшийся или прореагировавший на воздействие новой силы в те далекие времена, был, возможно, сродни индивиду, который реагирует на нее теперь, и его представление о единстве, по-видимому, так и не изменилось вопреки все увеличивающемуся многообразию вновь открытых сил. Но теория изменчивости принадлежит не истории, а другим наукам и не имеет отношения к динамике. Индивид или раса оставались в плену своих иллюзий, которые, если верить Артуру Бальфуру, не претерпели сколько-нибудь значительных изменений вплоть до 1900 года.

Наиболее привлекательную энергию человек назвал божественной, а для управления ею создал науку, которую нарек религией, словом, означающим тогда и поныне поклонение оккультной силе, как в единичных случаях, так и в целом. Не умея дать определение силы как единства, человек придал ей значение символа и пытался постичь ее проявления как в себе самом, так и в бесконечности — так появились философия и теология, а поскольку человеческий ум сам по себе является одной из изощреннейших среди всех известных сил, изучение им самого себя неизбежно привело к созданию науки, особое значение которой заключалось в том, что она уже на начальной стадии подняла его воспитание до уровня тончайшего, изощреннейшего и широчайшего овладения анализом и синтезом; так что, если судить по языку, человек уже на заре своей истории достиг высочайшего развития заложенных в нем возможностей, хотя импульсом к развитию по-прежнему служила примитивная жажда мощи — так, например, ненасытная утроба племени научила его загонять в ловушку слона. Голод — будь то физический или духовный — приводит в движение все многообразие и беспредельность мысли, а верная надежда обрести частицу беспредельной мощи в вечной жизни подвигает большинство умов на усилие.

Человек достиг высокого уровня совершенства уже пять тысяч лет назад и в течение долгого времени ничего не добавил к тому, что знал о силах природы. Природа в своей массе почти

не привлекала его к себе, и на протяжении веков его дальнейшее развитие едва можно различить. Только необычайно сведущий историк осмелится сказать, в какие именно десятилетия между 3000 годом до н. э. и 1000 годом н. э. Европа переживала период наибольшего развития; но и тот прогресс, который совершался в мире, происходил скорее за счет экономии энергии, чем ее развития; это подтверждается развитием математики, представленной именами Архимеда, Аристарха, Птолемея и Евклида; или гражданского права, представленного десятками имен, которые Адамс в свое время так и не удосужился выучить; или чеканкой монет, таких великолепных в начале и таких безобразных в конце; или постройкой дорог, размером судов и устройством портов; или, наконец, использованием металлов, инструментов и письменности — все они свидетельствуют о разумном сохранении силы, порою даже более значительном, чем сами силы, которые они помогали сохранять. Но по дорогам по-прежнему неспешно двигались лошади, ослы, верблюды и рабы; суда по-прежнему шли под парусами или на веслах; все возможности механики ограничивались употреблением рычага, пружины и винта.

То же самое можно сказать применительно к силам религии и сверхъестественным силам. Вплоть до 300 года христианской эры в них не происходило почти никаких перемен и, несмотря на усилия Платона и скептиков, они оставались царством полнейшего хаоса. Правда, опыт, накопившийся за три тысячи лет, научил человеческое общество ощущать необъятность природы и беспредельность ее запасов энергии, но даже это не вызвало пока существенных изменений в методах их использования и изучения.

На этом рубеже западный мир пребывал до 305 года н. э. — даты отречения императора Диоклетиана. Вот тут-то Адамс и рухнул на ступени Арачели, потому что уперся в скандальное крушение цивилизации — крушение в тот момент, когда она достигла полного успеха. В 305 году империя решила проблемы, стоящие перед Европой, намного полнее, чем они когда-либо

решались впоследствии. *Pax Romanae*¹, гражданское право и свободная торговля, казалось, должны были за четыреста лет продвинуть Европу далеко за пределы того, что современное общество достигло в четыреста лет после 1500 года, когда условия существования стали намного сложнее. Но этого не произошло.

Попытки объяснить или оправдать этот скандальный срыв предпринимались бесчисленное множество раз, но Адамса ни одна из них не удовлетворяла, разве только экономическая теория неадекватного товарообмена и истощенности минеральных ресурсов. Однако народы не погибают из-за неадекватного товарообмена, а ресурсы свои Рим отнюдь не истощил. Напротив, империя осваивала свои ресурсы и мощности с поразительной интенсивностью. Ни в один другой четырехсотлетний период до 1800 года в Европе не наблюдалось ничего подобного; и хотя ряд свершений тех времен, как, например, создание гражданского права, постройка дорог, акведуков и гаваней, служили скорее экономии, а не развитию силы, тем не менее в одной только северо-западной части Европы империя заложила основы трех государств — Франции, Англии и Германии, — способных править миром. Беда, по-видимому, заключалась скорее в том, что империя развила слишком большую энергию и в слишком бурном темпе.

Согласно динамическому закону, две массы — природа и человек — существуют во времени, беспрестанно воздействуя друг на друга, как солнце и комета, и взаимодействие это никогда не прекращается и не прерывается. В свете этой теории для объяснения распада Римской империи, которая — по законам механики — должна была от ускорения развалиться на куски, требовался скорее избыток, чем недостаток действия. Если исследователь пожелает сам вывести динамический закон, пусть определит значения сил притяжения, вызвавших крах, а в данном случае они очевидны. При той строжайшей логике,

¹ Римский мир (*лат.*).

которая отличала римскую мысль, империя, установившая единство на земле, не могла не установить единства в небесах. Римской империи в силу собственных надобностей приходилось урезать число богов.

Церковь всегда возражала против обвинения, будто христианство разрушило Римскую империю, и с присущей ей страстностью настаивала на том, что только внесенные ею перемены и спасли государственность. Любая динамическая теория охотно это допускает. Все, чего она добивается, — выяснить и проследить, какая из сил притяжения тут действует. Церковь настаивает, что этой силой является крест, и историку остается лишь проследить его воздействие. Империя громогласно заявила о своих мотивах. И было бы нарушением хорошего вкуса утверждать, будто Константин Великий, подобно биржевому маклеру, спекулировал на ценностях, о которых в лучшем случае знал, что их имеется достаточное количество; или будто он объединил все темные силы в единый трест и, нажив на этом капитал, выбросил свои акции на рынок. Но обо всем этом Константин и сам сказал в Миланском эдикте 313 года, которым он включил христианство в Трест государственных религий. В переводе на язык постановлений конгресса в нем сказано следующее:

«Мы приняли решение даровать христианам, равно как и всем прочим, право исповедовать ту религию, которую они предпочитают, дабы любое божество или небесная сила, существующая на свете, помогали и благоприятствовали нам и всем, находящимся под эгидой нашей власти».

Империя искала в христианстве могущества — не только духовного, но и физического — в том смысле, в каком оно за год до эдикта определено в воинском приказе Константина перед сражением у Мильвийского моста: *In hoc signo vinces!*¹, где кресту отведена роль своего рода артиллерийской батареи, чем он, по мнению Константина, и был. Общество принимало

¹ Под этим знаменем победишь! (*лат.*).

его в том же качестве. Восемьдесят лет спустя император Феодосий шел на бой против своего соперника Евгения с крестом, Евгений же, отстаивавший язычество, нес стяг с изображением Геркулеса, а их сторонники наблюдали за битвой, как за состязанием призовых борцов, в котором окончательно должно было решиться, какая из этих божественных сил могущественнее. Церковь была бессильна внушить высокие идеалы. То, что сейчас понимается под религией, почти не оказывало воздействия на общественное сознание в древнем мире. Паства, народ, миллионы, почти все до единого, делали ставку на богов, как иные ставят на лошадь.

Церковь, несомненно, делала все возможное, чтобы очистить христианство от чужеродных примесей, но общество почти целиком оставалось во власти язычества и тянулось к христианству главным образом потому, что в системе его понятий крест воплощал все прежние представления о силе-фетише. Он являл собой квинтэссенцию сил природы — энергию современной науки, — и общество верило, что он существует реально, как для нас существуют рентгеновские лучи. Кто знает, возможно, так оно и было! Императоры использовали крест в политике вместо пороха, целители применяли его, как рентгеновские лучи, в медицине, умирающие припадали к нему как к квинтэссенции силы, способной защитить их от сил зла на пути в мир иной.

На протяжении первых четырех веков новой эры империя знала, что церковь разрушает ее экономику — ведь даже падение стоимости языческих благовоний сказывалось на конъюнктуре рынка. Но кто мог позволить себе покупать или строить дорогостоящие и сложные машины, когда можно было за бесценок приобрести оккультную силу! Сила-фетиш стоила дешево и до поры до времени вполне удовлетворяла. Тюрго и Огюст Конт уже давно отметили эту стадию в развитии экономики как необходимую фазу в воспитании общества, и историки, по-видимому, теперь согласны считать их вывод единственным значительным завоеванием, сделан-

ным до сих пор на пути созидания истории как науки. Огромное число людей — пожалуй, большинство — все еще привержены их методу и более или менее точно его повторяют — правда, до последнего времени никакой другой заявлен не был. Единственная оккультная сила, которой располагал человек, была идолопоклонничество. И с нею не могла состязаться никакая известная ему механическая сила, разве только в самых узких пределах.

Вне этой оккультной фетишизированной силы римский мир был на редкость беден. Единственная производящая энергия, которой там располагали, были рабы. Скольконибудь значительная искусственно производимая сила не применялась ни для производства продукции, ни для ее транспортировки, а поскольку политическая и социальная стороны жизни общества развивались чрезвычайно быстро, у него не оставалось иных средств поддерживать экономику на должном уровне, как всемерно развивать рабовладельческую систему и систему фетишей.

Результат можно было определить по математической формуле, составив ее еще во времена Архимеда, за шестьсот лет до падения Рима. Экономические потребности стремительно централизованного общества неизбежно вынуждали его постоянно расширять рабовладельческую систему, пока она не поглотила себя самое, а заодно и империю, не оставив обществу никаких ресурсов, кроме расширения его религиозной системы в попытке компенсировать себя за утраты и ужасы, вызванные упадком империи. С точки зрения математики этот порочный круг приблизился к совершенству. Не хватало только Ньютона, чтоб придать динамическому закону притяжения и отталкивания форму алгебраического выражения.

Наконец в 410 году н. э. Аларих опустошил Рим, и западная часть империи с ее аграрной, рабовладельческой, сугубо некоммерческой экономикой, то есть более бедная и менее христианизированная ее половина, полностью развали-

лась. Но какое бы потрясение ни испытало общество, подвергшись ужасам, причиненным полчищами Алариха, оно еще болезненнее переживало разочарование в новом фетише — кресте, — который оказался неспособным защитить христианскую церковь. Возмущение приняло такие размеры, что ее верный защитник пером — епископ Августин из Гиппона, городка между Алжиром и Тунисом, — счел нужным написать свой знаменитый трактат, и поныне изучаемый каждым историком, в котором он весьма неубедительно защищал механическую ценность креста как символа, аргументируя тем, что и языческие символы в подобных случаях себя не оправдывали, но настаивал на его высокой духовной ценности в *Civitas Dei*, пришедшей на смену *Civitas Romae*.

«Пусть мы потеряли все, что имели! — восклицал Блаженный Августин. — Разве мы потеряли веру? Разве потеряли благочестие? Разве потеряли богатство души, коим человек славен перед богом? А ведь это и есть те сокровища, коими богаты христиане!»

Civitas Dei в свою очередь стало центром притяжения западного мира, хотя и страдало теми же слабыми сторонами, какие послужили причиной падения *Civitas Romae*. Блаженный Августин вместе со всей своей паствой погиб в Гиппоне в 430 году, а общество к этому времени уже весьма вяло реагировало на новое притяжение.

Тем не менее притяжение это отнюдь не утратилось. Удовольствие, получаемое человеком, когда он экспериментирует с очередной оккультной силой, бесконечно велико, и свободные человеческие умы, очевидно, не могут себе в нем отказать. Впрочем, боги сделали свое дело, и история не имеет к ним претензий. Они руководили людьми, воспитывали их, формировали разум, давали знания, выявляли невежество, побуждали к усилиям. Но о человеческом уме, о его развитии в социальном, расовом, половом, наследственном отношениях, о его материальной и духовной стороне, об уме животного, растительного и минерального мира настолько

мало известно, что история предпочитает не касаться этого предмета. Правда, ничто не мешает — удобства ради — допустить, что ум, подобно желудку, способен усваивать преподносимую ему пищу, накапливая новые силы и, словно лес, разрастаясь за счет накопленного. Мозг еще не раскрыл нам таинственный механизм своего серого вещества. С христианством природа впервые предложила ему такой мощный стимулятор, как возможность обрести бесконечное могущество в вечной жизни, и, естественно, понадобилось тысячелетие длительного и углубленного экспериментирования, чтобы проверить истинную ценность данного импульса. В течение этого тысячелетия, обычно именуемого средними веками, западная мысль реагировала на данный ей импульс разнообразно и многосторонне, проявляя себя самыми различными средствами — в романской и готической архитектуре, в витражах и мозаиках, в искусстве войны, любви и многом другом, что немалому числу из ныне живущих представляется высочайшими творениями человеческого духа, так что и сегодня толпы невежественных зевак-туристов едут из дальних стран, чтобы полюбоваться Равенной и собором Сан-Марко, Палермо и Пизой, Ассизи, Кордовой и Шартром, имея весьма смутное понятие о создавшей их силе, но не переставая удивляться тому факту, что их тени все еще хранят в себе отголоски общественного духа, движимого неповторимой энергией и верой в единство.

Значительно реже посещают туристы Константинополь и куда меньше интересуются архитектурой Святой Софии, но в тех случаях, когда это происходит, они без труда улавливают, что на Востоке действовали несколько иные силы. Юстиниану не свойственна простота Карла Великого. Для Восточной Римской империи характерны активность и многообразие, которыми Европа времен античности не обладала. Флот, построенный в десятом веке Никифором Фокой, за полчаса уничтожил бы любые военные суда, когда-либо спущенные на воду со стапелей Карфагена, Афин или Рима. Ди-

намическая теория исходила из весьма смелого утверждения, что со времен египетских пирамид (3000 г. до н. э.) и вплоть до распространения христианства (300 г. н. э.) никакая новая сила не оказывала воздействия на развитие Европы, хотя историки — собиратели фактов и фактиков легко могут это оспорить. Однако вряд ли удастся опровергнуть, что главной побудительной силой — какие бы формы или размеры она ни принимала, на каком бы отдалении ни действовала, — этой силой, новой или старой, воздвигшей и пирамиды, и Святую Софию, и Амьенский собор, было стремление обрести могущество в будущей жизни. Вот почему ни одно событие так не озадачило историков, как внезапное, ничем не объяснимое появление по крайней мере двух новых, впервые за человеческую историю исторгнутых у природы сил, сыгравших огромную роль в области механики. Обе эти силы буквально свалились с неба в тот самый момент, когда христианство, с одной стороны, а мусульманство, с другой, провозгласили окончательную победу *Civitas Dei*, каждая своего. Если бы манихейская доктрина о добре и зле как двух противоборствующих божественных началах была бы признана ортодоксальной, ею вполне можно было бы объяснить этот одновременный триумф на земле двух враждебных сил.

Что касается компаса, то, рассматривая его как одно из проявлений действия динамического закона, можно утверждать, что открытие это больше, нежели любая другая сила, свидетельствовало о расширении диапазона человеческого разума, ибо ничто так не увеличило возможности изучения природы. Компас служил воспитанию ума. Одно это уже доказывает, что доказательства тут излишни.

Этого, пожалуй, не скажешь о греческом огне и порохе, так как они связаны с тяжкими событиями, вызванными неистовством религиозных чувств. Оба эти открытия принадлежат к спиритуалистической сфере, к шаткой почве магии, место которой где-то между добром и злом. Появлением этих

сил человечество обязано химии; это — взрывчатые вещества, которые сыграли и продолжают играть чрезвычайно важную и жестокую роль в развитии или воспитании человека, который всегда и с полным основанием их боялся, числа за дьяволом, и, хотя позволял себе немало вольностей по отношению к другим, более сердобольным наставникам своего младенчества, перед взрывчатыми веществами неизменно испытывал малодушный страх. Жан де Жуанвилль оставил нам описание того, какое сильное впечатление сравнительно безобидный греческий огонь произвел на умы крестоносцев-французов и какой незабываемый преподнес им урок в 1249 году, когда они однажды попытались под покровом ночи овладеть Каиром. При каждой огненной вспышке король Людовик Святой вместе со всеми военачальниками бросался на колени и молил: «О господи, смилуйся над нами!» И пожалуй, с самым полным основанием, так как все религиозные войны между сарацинами и христианами не шли ни в какое сравнение с тем уроком, который должно было извлечь из сражения между силой креста и силой пороха.

Компас и порох, тащившие и направлявшие Европу через зловещие трясины познания, развеяли миф о том, будто человеческое сообщество само себя воспитывает, или, иными словами, движется к осознанной цели. На первых порах из-за недостатка количественного объема обеих новых энергий сдвиг задержался на один-два века, завершивших великие эпохи религиозного чувства созданием готических соборов и схоластической теологии. Период этот возвысился до эллинской красоты и более чем эллинского единства, но длился недолго; и еще последующие век-другой западный мир парил в пространстве без видимого движения. Однако силы притяжения, существующие в природе, оказывали свое воздействие, и тяга к образованию усилилась, как никогда прежде. Общество сопротивлялось, но отдельные его члены, не ведая, что творят, проявляли все большее упорство. Когда в 1453 году воины, осененные полумесяцем, с позором изгна-

ли из Константинополя воинов, осененных крестом, Гутенберг и Фуст набирали в городе Майнце первое печатное издание Библии с твердой верой, что служат делу креста. Когда в 1492 году Колумб открыл Вест-Индские острова, церковь увидела в этом победу креста. Когда полвека спустя Лютер и Кальвин перевернули всю Европу вверх дном, они, подобно Блаженному Августину, имели в виду поставить *Civitas Dei* на место *Civitas Romae*. Когда в 1620 году пуритане пустились через океан в Новую Англию, они тоже имели в виду основать *Civitas Dei* на Стейт-стрит, а когда в 1678 году Джон Бэньян издал свой «Путь паломника», он повторил св. Иеронима. Даже когда, после нескольких веков распушенности, церковь принялась наводить порядок и, чтобы доказать серьезность этого шага, в 1600 году сожгла Джордано Бруно, а в 1630-м вдобавок осудила Галилея — о чем мужи науки не забывают нам ежедневно напоминать, — осуждала она не атеистов, а анархистов. Все они — и Галилей, и Кеплер, и Спиноза, и Декарт, не говоря уже о Лейбнице и Ньюtone, — так же мало, если вообще сомневались в единстве или божестве, как сам Константин Великий. Крайним пределом, до которого они доходили в своих ересьях, было разве что отрицание его бытия как личности.

Эта устойчивая инерция в мышлении есть главная идея в новой истории. У человека нет оснований допускать существования ни единства вселенной, ни высшей субстанции, ни пускового двигателя — разве только как отражение собственного сознания. В конечном итоге наиболее активные — или реактивные — мыслители устали от априорного признания единства, и лорд Бэкон взялся с ним покончить. Он принялся убеждать человечество отказаться от посылки, выводящей вселенную из духовного, и попробовать вывести духовное из материальной вселенной. Человеческий разум, утверждал он, должен наблюдать и регистрировать свои наблюдения над силами природы. Точно так же, как Галилей перевернул представления о взаимоотношении Земли и Солн-

ца, Бэкон перевернул представление о связи между мыслью и силами природы. Разуму впредь надлежало следить за движениями материи, а единство пусть заботится само о себе!

Революция во взглядах совершалась, казалось, по воле человека, на самом же деле она была такой же самопроизвольной, как падение пера. Человек здесь был ни при чем. После 1500 года поступательное движение приобрело скорость, намного превышающую возможности человека, и вызвало всеобщую тревогу; казалось, движение происходило с ускорением падающего тела, как, впрочем, согласно динамической теории, оно и было. Лорд Бэкон взирал на него с не меньшим удивлением, чем церковь, и с полным на то основанием. Общество вдруг почувствовало, что его вовлекают в ситуации совершенно новые и анархические — ситуации, на которые оно не могло воздействовать, но которые воздействовали на него, причем весьма болезненно. Инстинкт подсказывал ему, что вселенная, которую он создал в своих мыслях, неизбежно окажется в опасности, если позволить ее отражению раствориться в пространстве. Опасность усугублялась еще и тем, что ученые мужи прикрывали ее разговорами о «высшем синтезе», а поэты выставляли еретиков-астрономов безумцами. Общество же оставалось при своем мнении. Однако телескоп хочешь не хочешь ставил вселенную с ног на голову; микроскоп открывал миры, не воспринимаемые человеческими чувствами; порох уничтожал целые народы, отставшие в своем развитии; компас понуждал даже самого невежественного морехода вести судно, исходя из несуразнейшей идеи, будто Земля круглая; газеты распространяли в Европе анархизм. Сознвая, что ее ставят в неловкое положение и тащат по неведомым путям, Европа, словно попавшаяся на крючок рыба, отчаянно сопротивлялась. Сопротивление это принимало когда кровавый характер, когда комический, но ни на минуту не прекращалось. Его затейливые извороты лучше всего прослеживаются в сарказмах Вольтера, но и вся история, вкупе с философией, начиная от Монтеня и

Паскаля и кончая Шопенгауэром и Ницше, только этим и занималась. И все же, несмотря ни на что, открытый Бэконом закон оставался в силе: не мысль развивает природу, а природа — мысль. Однако ни один значительный ученый так и не осмелился оценить новый поток мысли, а тех, кто, подобно Франклину, действовал как своего рода электрический проводник новых сил от природы к человеку, насчитывалось десяток-другой, да и то в нескольких западноевропейских городах. Азия наотрез отказалась влиться в этот поток, а Америка, исключая Франклина, держалась в стороне.

Прирост новых сил, открываемых химией и механикой, шел чрезвычайно медленно, однако мало-помалу их накопилось в достаточном числе, чтобы вытеснить старую, замешанную на религии науку, заменив те соблазны, которыми притягивало человека *Civitas Dei*, но сам процесс оставался неизменным. Природа, а не мысль совершала то, что совершает Солнце по отношению к планетам. Человек теперь все меньше и меньше зависел от собственных сил и все больше и больше — от инструментов, которые превосходили возможности его чувств. Бэкон предсказывал такое положение дел: «Голыми руками, как и разумом самим по себе, многого не сделаешь. Только с помощью инструментов и разных приспособлений сдвигают горы». Ну а коль скоро горы были сдвинуты, ум вновь предался иллюзиям, а общество забыло о скудости своих сил. Бэкон знал, с чем имеет дело, и для истинности его последователей наука всегда означала сдержанность в оценках, подчинение, постоянное сознание импульса извне. «*Non fingendum aut excogitandum sed inveniendum quid Natura faciat aut ferat*»¹.

Успех подобного метода кажется невероятным, и даже сегодня история видит в нем чудо роста, подобного мутациям в природе. Появились, очевидно, люди с новым типом ума.

¹ Не предположение или домысел, а исследование выявляет деяния природы (*лат.*).

Они просто выставляли руку — как, скажем, Ньютон, когда наблюдал за падением яблока, или Франклин, когда запускал змея, или Уатт, когда кипятил в чайнике воду, — и силы природы летели к ним в ладонь, словно она, матушка, играла с ними в мяч. Правительства только чинили препятствия. Даже порох и артиллерия — важнейшее оружие правительств — не получали должного развития между 1400 и 1800 годами. Общество держалось к науке враждебно или равнодушно, о чем с горечью говорили и Пристли, и Дженнер, и Фултон, жившие в наиболее развитых странах, ну а в тех, где господствовала церковь, все новое встречало самый враждебный прием, пока человечество, разбившись на всевозможные группы и подгруппки, не поддалось наконец силе притяжения, которой подчинились даже вожди этих групп, как подчиняются силе тяготения планеты, а деревья — свету и теплу.

Приток новой силы происходил почти спонтанно. Человеческий разум, по всей видимости, реагировал на массу природы не более, чем комета на солнце, и, случись, что этот спонтанный приток силы почему-либо в Европе иссяк, общество, скорее всего, остановилось бы в своем развитии или покатило бы вспять, как это произошло в Азии и Африке. Только сохранение существующих сил расценивалось бы как новая сила, чем общество было в высшей степени довольно — ведь представление, будто новая сила всегда благо, есть лишь инстинкт, присущий животному или растению. На самом деле, по мере того как природа развивала скрытые в ней виды энергии, они постепенно приобретали разрушительный характер. Сама мысль оказалась зажатой в тисках, постоянно подвергаясь, несмотря на сопротивление, возмущение и боль, давлению нового метода.

Бешеное ускорение, начавшееся в 1800 году, закончилось в 1900-м с открытием нового класса сверхчувственных сил, которые поначалу ввергли жрецов науки в такое же состояние замешательства и беспомощности, как жрецов Изиды крест Христовый.

Так, или примерно так, выглядела бы динамическая формула истории. Однако любой школьник достаточно сведущ, чтобы тотчас возразить: да это же самая старая и универсальная из всех теорий! Церковь и государство, теология и философия всегда именно ее и провозглашали, разнясь только в том, как распределяли энергию между богом и природой. Как бы ни называлась энергия притяжения — Бог или Природа, механизм неизменно оставался одним и тем же, а история не призвана решать, стремится ли Высшая сила к какой-либо цели и существует ли одна высшая энергия или несколько. Принято считать, что воля есть свободное выражение силы, обыкновенно направляемой побудительными причинами, и никто не станет спорить, что существуют достаточно веские побудительные причины, чтобы направлять волю, даже когда она их не сознает. Наука доказала, что силы, как воспринимаемые нашими органами чувств, так и выходящие за их пределы, физические и метафизические, элементарные и сложные, всегда окружая нас в природе, пересекаются, вибрируют, вращаются, отталкиваются и притягиваются; что наши органы чувств способны воспринимать лишь малую их толику, но что с самого начала своего существования человеческое сознание расширялось, обогащалось, обучалось в аспекте чувственного восприятия; что развитие способностей человека от более низкой к более высокой степени восприимчивости, от более узкого до более широкого диапазона, скорее всего, обусловлено их функцией ассимилировать и аккумулировать внешнюю силу или силы. Нет ничего антинаучного в тезе, что наряду с силовыми линиями, воспринимаемыми нашими органами чувств, вселенная, возможно, представляет собой — и всегда представляла — либо сверхчувственный хаос, либо воплощенное в божестве единство, которое непреодолимо притягивает к себе человека и постижение которого может даровать ему как жизнь, так и смерть. До этого предела и религия, и философия, и наука идут, по-видимому, рука об руку. И только далее между ними

начинается жестокая и непримиримая борьба. На ранних стадиях прогресса силы, которые требовалось ассимилировать, были элементарными и легко усваивались, но с расширением своих возможностей человеческий ум расширял область сложного — направление, в котором должен двигаться и впредь, проникая даже в хаос, пока не будут исчерпаны существующие резервуары чувственной или сверхчувственной энергии, или же перестанут воздействовать на него, или пока он сам не падет под их обилием.

Применительно к истории прошлого такой способ классификации ее развития может быть пригоден для составления схемы взаимосвязей, хотя не исключено, что любому серьезному исследователю придется изобрести иную методику, чтобы выявить и скорректировать допущенные в ней ошибки; но история прошлого имеет ценность только для будущего, и ценность эта заключена в «удобстве», которое может быть проверено лишь экспериментальным путем. Любой закон движения, чтобы стать «удобством», должен, как в механике, включать в себя формулу ускорения.

34. ЗАКОН УСКОРЕНИЯ

(1904)

Образы — не аргументы, и на них не построишь доказательства, но разуму они милы, а в последнее время даже взыскательные экспериментаторы не прочь употреблять по двадцать образов там, где хватило бы и одного, в особенности если они противоречат друг другу — недаром человеческий разум научился играть противоречиями.

В нашем случае необходимо представить себе образ нового центра или доминирующей массы, искусственно внедренной на Землю в систему сил притяжения с уже установившимся между ними равновесием, которая постоянно вынуждена ускорять свое движение, пока не установится

новое равновесие. Такова формула динамической теории, исходящей из того, что, зная факты, можно свести к ней всю историю, земную и космическую, механическую и интеллектуальную.

Остановимся, удобства ради, на первом пришедшем в голову избитом образе — скажем, на комете или метеорном потоке вроде Леонид или Персеид, являющихся совокупностью малых метеорных тел, которые реагируют на воздействие внутри и извне и управляются суммой сил притяжения и отталкивания. Ничто не мешает допустить, что наш человек-метеорит способен, подобно желудю, расти, поглощая свет, тепло, электричество — или мысль: в последнее время идея о подобного рода превращении энергии стала общим местом. Но простейший образ — идеальная комета, скажем комета 1943 года. Падая на Солнце из космического пространства по прямой с постоянным ускорением, она приближается к Солнцу, и, повращавшись вокруг него с огромной скоростью при температуре, от которой неизбежно уничтожится любая известная нам субстанция, она вопреки закону природы вдруг отрывается от Солнца и, невредимая, возвращается на прежнюю свою орбиту. Можно по аналогии представить себе человеческий разум в виде такой кометы, тем паче что и ему свойственно действовать законам вопреки.

Движение — главный объект исследования науки, и для его изучения выработано множество критериев; для мысли же, как и для материи, истинной мерой является масса в ее астрономическом значении — то есть сумма или разность сил притяжения. У науки хватает хлопот с измерением материальных движений, и она отнюдь не рвется помогать историку. Впрочем, ему вовсе и не требуется большая помощь, чтобы оценить некоторые виды социального движения, особенно в девятнадцатом веке, относительно которого общество уже единодушно согласилось считать мерилом прогресса добычу угля. А степень возрастания количества потребляемой энергии угля может служить динамометром.

Между 1840 и 1900 годами мировая добыча угля и его потребление в виде энергии удваивались, грубо говоря, каждые десять лет, и в 1900 году тонна угля давала в три-четыре раза больше энергии, чем в 1840-м. Такой скачок кажется чересчур стремительным, однако есть тысячи способов проверить эти цифры, и они ненамного будут снижены. Пожалуй, проще всего взять в качестве примера океанский пароход, воспользовавшись силой пара которого мощностью в 30 000 лошадиных сил, в 1905 году любой житель планеты может за умеренную плату пересечь океан. Уменьшая эту цифру вдвое для каждого предшествующего десятилетия, получим на 1835 год 234 лошадиные силы, что для историка-исследователя составит достаточно точный результат. По правде говоря, главная трудность состоит не в том, чтобы проследить рост количества потребляемой энергии, а рост ее эффективности, поскольку для этого нет достаточной базы. Человек во все периоды своей истории был знаком с высокими температурами, используя их в плавильной печи, зажигательном стекле, паяльной лампе, но ни в одном человеческом сообществе высокие температуры не применялись еще в таких масштабах, как сейчас, и непрофессионалу невозможно судить, какие температуры теперь в ходу. Однако, зная в общих чертах, что нынешней науке практически доступен весь диапазон, от абсолютного нуля до 3000° по Цельсию, можно, ради удобства, допустить, что измеренный по десятилетиям рост тепловой энергии приемлем, во всяком случае на данный момент, и для исследования ее эффективности. При этом все еще остается нерешенным вопрос о росте потребления других видов энергии. С 1800 года были открыты десятки ее новых видов, а уже известные доведены до более высоких мощностей; появились целые новые области в химии, связанные с новыми областями в физике. В течение последних десяти лет с открытием радиации был обнаружен новый мир неведомых сил. Понятие сложности охватило огромный круг явлений, распространившись до необъятных горизонтов,

и четырьмя арифметическими действиями здесь уже не обойтись. Эта сила подобна скорее взрыву, нежели тяготению; тем не менее и для нее, по-видимому, вполне подходит деление на десятилетние периоды. Если же тот, кто взялся делать расчеты, ошеломлен открывшимися ему физическими силами и интеллектуальной сложностью поставленной задачи, ему следует остановиться на 1900 годе.

Таким образом, взяв за точку отсчета 1900 год, ничего не было проще, как двинуться по десятилетиям вспять вплоть до 1820 года — правда, дальше этой даты статистика уже ничего не могла предложить, и помощи приходилось ждать только от математики. Лапласу, надо думать, ничего не стоило определить долю участия в прогрессе математической науки Декарта, Лейбница, Ньютона и себя самого. Уатт мог бы сосчитать в переводе на фунты, какие преимущества дало увеличение мощности парового двигателя от Ньюкоменовского до его собственного. Вольт и Бенджамин Франклин определили бы, что ими сделано в абсолютных единицах мощности. Дальтон мог бы со скрупулезной точностью измерить, в чем он продвинулся по сравнению с Бургаве. Даже Наполеон, надо думать, имел некоторое представление о том, в каком цифровом соотношении его величие находится к величию Людовика XIV. Ни один из участников революции 1789 года не сомневался в прогрессе силы, и меньше всего те, кому это стоило головы.

В ожидании, пока вышеназванные авторитеты придут к согласию, теория может использовать в качестве единицы для исчисления ускорения произвольный отрезок времени — скажем, для восемнадцатого века пятьдесят или двадцать пять лет, так как здесь важен не сам период, а ускорение как таковое. Решить этот вопрос в отношении семнадцатого века даже занимательнее, чем для восемнадцатого, поскольку Галилей и Кеплер, Декарт, Гюйгенс и Исаак Ньютон положили гигантские усилия, чтобы вывести законы ускорения для движущихся тел, а лорд Бэкон и Уильям Гарвей потру-

дилься экспериментально засвидетельствовать факт ускорения в приобретении знаний. Суммируя полученные ими результаты, современный историк, надо полагать, не устоит перед соблазном вывести аналогичное соотношение для движения человечества вплоть до 1600 года, предоставив статистикам вносить в него свои поправки.

Математики могли бы довести свои расчеты до четырнадцатого века, когда в Западной Европе впервые стали применять алгебру для нужд механики, потому что не только Коперник и Тихо Браге, но даже художники, такие, как Леонардо, Микеланджело и Альбрехт Дюрер, создавали свои произведения, используя математические методы, а их свидетельства, вероятно, дали бы более точные результаты, чем показания Монтеня или Шекспира. Но, дабы упростить дело, рискнем применить и к 1400 году то же соотношение ускорения — или замедления, прибегнув к помощи Колумба или Гутенберга. Таким образом, мы принимаем единый временной показатель для четырех (с 1400 по 1800 год) веков и предоставляем статистикам вносить исправления.

До 1400 года этот процесс, несомненно, тоже имел место, но продвижение вперед шло настолько медленно, что его вряд ли можно измерить. Что было приобретено человечеством в Азии или в других частях света, скорее всего, неустановимо; силы же, условно называемые греческим огнем или порохом, а также такие приспособления, как компас, паяльная лампа, часы, очки, и такие материалы, как бумага, вошли в употребление в Европе с тринадцатого века; Европа познакомилась с арабскими цифрами и алгеброй, тогда как метафизика и теология явились сильным стимулом для развития ума. Архитектор, надо думать, обнаружит связь между собором св. Петра в Риме, Амьенским собором, соборами в Пизе, Сан-Марко в Венеции, святой Софии в Константинополе и церквями Равенны. Историк же осмелится лишь утверждать, что факт преемственности, несомненно, имеет место, а раз так, то он вправе, представляя тот или иной факт,

пользоваться установленным соотношением и для ранних веков, хотя у него и нет для этого точного численного выражения. Что касается человеческого разума, который рассматривается здесь как движущееся тело, то задержка в ускорении его в средние века только кажущаяся; сила притяжения воздействовала на него опосредованно, как Солнце воздействует через свет, тепло, электричество, тяготение — и невесть что еще — на различные органы чувств с различной степенью восприимчивости, но согласно неизменному закону.

Научные познания доисторического человека не представляют собой никакой ценности — разве только как доказательство того, что действие выведенного здесь закона уходит в глубокую древность. Каменный наконечник подтверждает это так же, как и паровой двигатель. Сто тысяч лет назад ценность орудий труда была очевидна не меньше, чем сейчас, и они так же были распространены по всему миру. Пусть в те далекие времена прогресс был крайне медленным, но он все же шел, и доказать обратное невозможно. Комета Ньютона в афелии также движется медленно. Оставим же эволюционистам процесс эволюции; историков интересует одно — закон взаимодействия различных сил — разума и природы, — закон прогресса.

Деление истории на фазы, предложенное Тюрго и Контом, впервые подтвердило основные положения этого закона, показав единство прогресса, ибо ни на одной исторической фазе развитие не прерывалось, а в природе, как известно, существует бесчисленное множество подобных фаз. В результате использования энергии угля в течение девятнадцатого века появились первые методики более точной оценки элементов роста, а открытие на рубеже веков сверхчувственных сил сделало такие подсчеты насущной необходимостью, и с тех пор каждая последующая ступень приобретает исключительно важное значение.

Вряд ли можно предположить, что закон ускорения — неизменный и нерушимый, как всякий закон механики, —

ослабит свое действие ради удобства человека. Кому же придет в голову предлагать теорию, согласно которой природа сообразуется с удобствами человека или какого-либо иного из своих творений, — разве только пресловутой Terebratula. Во все времена человек горько, и с полным основанием, сетовал на то, что природа торопит его и подгоняет, а инертность почти неизменно приводит к трагедии. Сопротивление — закон природы, но сопротивление превосходящей массе бесплодно и губительно.

Пятьдесят лет назад в науке считалось непреложной истиной, что в том же темпе ускорение долго продолжаться не сможет. Как люди ни забывчивы, они и сегодня сохраняют привычку исходить в своих расчетах из уверенности, что потребление остается почти стабильным. Два поколения, включая Джона Стюарта Милля, упорно держались веры в стабильный период, за которым должен был последовать взрыв новой мощи. Те, кто в сороковые годы были пожилыми людьми, умерли в этом убеждении, а следующее поколение состарилось, сохраняя те же взгляды, которые, впрочем, их вполне устраивали; наука же все эти пятьдесят лет охотно допускала и даже поощряла мысль, что силы природы ограничены. Подобная инертность мышления характеризовала науку и на протяжении восьмидесятых годов, пока не обозначились признаки перелома, и не что иное, как радий, окончательно открыло обществу глаза на то, что давно уже стало очевидным: силы природы бесконечны. Однако даже тогда научные авторитеты продолжали яростно сопротивляться.

Подобного революционного переворота не совершалось в мире с 300 года н. э. Человеческая мысль неоднократно вынуждена была полностью перестраиваться, но еще ни разу ее не уносило в водоворот бесконечных сил и не крутило там во все стороны. Каждый атом источал энергию, и ее столько бесплодно истекало из всех пор материи, что хватило бы на весь подзвездный мир. Человек уже не мог с нею совладать.

Силы били его по рукам, словно он схватился за обнаженный электрический провод или бросился останавливать мчащийся автомобиль. Впрочем, так оно и было для некоего пожилого и не слишком уверенного в себе одинокого джентльмена, обретавшегося в Париже, где всякий раз, выезжая на Елисейские поля, он опасался стать жертвой несчастного случая, которые наблюдал повседневно, а оказавшись вблизи государственного чина, ожидал взрыва бомбы. Ведь пока прогресс шел в том же темпе, эти бомбы, по закону ускорения, должны были неизменно удваиваться в мощи и числе!

На свете уже не было ничего невозможного. То, что прежде считалось невозможным, теперь улаждало жизнь. Только за первые шесть лет после рождения Генри Адамса четыре изобретения из числа неосуществимых стали реальностью — океанский пароход, железная дорога, беспроводный телеграф и дагерротип, и Генри так и не выяснил, которое из них ускорило появление остальных. На его веку добыча угля в Соединенных Штатах выросла от нуля до трехсот миллионов тонн, если не больше. Но что еще важнее, на его веку число умов, занятых поисками новых сил, увеличилось — верное свидетельство притягательности! — от нескольких десятков и сотен в 1838 году до десятков тысяч в 1905-м, — умов, натренированных до такой степени цепкости и остроты, какой еще никто никогда не достигал, и, вооруженных инструментами и приборами, превосходящими органы чувств по своей неисчерпаемой мощности и точности восприятия, с помощью которых они отыскивали энергию в таких тайниках природы, где сама она не подозревала о ее существовании, проводили анализы, опровергавшие самое бытие, и достигали синтезов, угрожавших самим стихиям. Теперь уже никто не мог сказать, что общественный разум не интересуется новой силой, даже когда она его пугает. Сопротивлялась яростно природа, ежедневно учиняя так называемые несчастные случаи с огромными материальными потерями и человеческими жертвами и насмехаясь над

человеком, который беспомощно стонал, вопил, содрогался, но остановиться все равно не мог. Одни только железные дороги уносили столько жизней, что почти сравнялись с кровавой войной; автомобили и огнестрельное оружие нанесли обществу такой огромный урон, что землетрясения стали для натянутых нервов чуть ли не облегчением. Колоссальные объемы силы высвобождались из неизвестного доселе мира энергии, и еще большие запасы, видимо неисчерпаемые, постепенно открывались человечеству, притягивая к себе упорнее, нежели все Понтийские моря, и божества, и золото, и иные приманки. И этому не было конца.

В 1850 году в науке лишь посмеялись бы над подобными фантазиями, но в 1900-м большинству ученых, насколько мог судить историк, было уже не до смеха. Но если бы какой-нибудь растерявшийся, но усердный последователь великих умов нашел в себе достаточно смелости спросить своих собратьев, куда их несет, то, скорее всего, получил бы ответ, что они и сами не знают — куда-нибудь между миром анархии и порядка. Но в будущем им, как никогда прежде, надлежало быть честными перед самими собой, иначе их ждали потрясения даже большие, чем их последователей, когда те дойдут до конца. Если рассуждения Карла Пирсона о вселенной были справедливыми, Галилею, Декарту, Лейбницу, Ньютону и иже с ними следовало остановить прогресс науки еще до 1700 года. В 1900 году ученые были попросту вынуждены вернуться к единству, так никем и не доказанному, и порядку, ими же нарушенному. Они свели мир к ряду связей с собственным сознанием. Они свели свое сознание к движению в мире движения, происходящем в том, что их касалось, с головокружительным ускорением. Оспаривать правильность выводов науки история не имела права: наука вступила в такие области, где едва ли сотня-другая умов во всей вселенной могли разобраться в ее математических процессах. Но бомбы хоть кого научат, и даже беспроволочного телеграфа и воз-

душного корабля было вполне достаточно, чтобы сделать необходимым преобразование общества. Человеческий ум — коль скоро возможна аналогия между ним, с одной стороны, и законами движения, с другой, — вошел в сверхмощное поле притяжения, из которого ему необходимо было немедленно вырваться, обретя состояние нового равновесия, подобно комете Ньютона, чтобы затем полностью разрушиться, подобно метеоритам в земной атмосфере. Раз человеческий ум стал вести себя как взрывчатое вещество, ему необходимо было восстановить равновесие; раз он стал вести себя как растительный организм, ему необходимо было достичь пределов своего роста; раз он стал вести себя как первые создания мировой энергии — ящеры и акулы, он, стало быть, уже достиг пределов своего распространения. Если сложности, встающие перед наукой, будут расти вдвое или вчетверо каждые десять лет, то вскоре даже математика не сможет этого выдержать. Средний человеческий ум не выдерживал уже в 1850 году, а в 1900-м и вовсе не понимал стоящей перед ним задачи.

К счастью, историк не нес ответственности за эти проблемы; он принимал их так, как предлагала наука, и ждал, когда его научат. Ни с наукой, ни с обществом у него не было разногласий, и на роль авторитета он не претендовал. Он так и не сумел обрести знаний, тем паче кому-то их передать; и если порою расходился во мнениях с американцами девятнадцатого века, с американцами двадцатого он не расходился ни в чем. Этим новым существам, родившимся после 1900 года, он не годился ни в наставники, ни даже в друзья и просил лишь об одном — чтобы самого его взяли в ученики, обещая быть на этот раз во всем послушным, даже если его будут попирать и топтать ногами, ибо видел, что новый американец — детище энергии угля, явно неисчерпаемой, и химической, и электрической, и лучевой, и других новых видов энергии, еще не получивших наименования, — по сравнению со всеми иными прежними создани-

ями природы есть не иначе как бог. И при современном темпе развития начиная с 1800 года все американцы, дожившие до 2000 года, надо полагать, будут уметь справляться с беспредельными мощностями. Все они смогут разобраться в сложнейших явлениях, не доступных даже воображению нынешнего и более раннего человека. Они будут решать задачи, далеко выходящие за пределы компетентности общества нынешнего и более ранних периодов. Деятнадцатый век будет восприниматься ими в той же плоскости, что и четвертый — оба в равной мере младенческие, — и вызывать удивление тем, что жившие тогда люди при всей скудости своих познаний и ограниченности средств сумели столь многое сделать. Возможно, им даже захочется вернуться назад, в год 1864-й, и посидеть с Гиббоном на ступенях Арачели.

А пока Адамс не упускал возможности взять у жизни еще несколько уроков. В этом учитель, не сумевший дать образование и воспитание даже поколению 1870 года, не мог ему помешать. Обучали новые силы. История видела в прошлом лишь считанные уроки, которые могли быть полезны для будущего. Но один урок по крайней мере она сумела извлечь. Вряд ли можно было найти что-либо несуразнее, чем попытка американца 1800 года воспитать американца 1900 года, а с 1800 года силы, действующие в мире, возросли и числом и сложностью не меньше чем в тысячу раз. Следовательно, попытка американца 1900 года воспитать своего потомка 2000 года будет, вероятно, совсем бессмысленной — бессмысленнее даже, чем деятельность конгрессменов в 1800 году, исключая разве ту, в которой им открывалась вся степень их невежества. На протяжении миллиона, а то и двух миллионов лет поколение за поколением надрывались, не щадя собственных жизней, чтобы овладеть энергией, не переставая при этом дрожать от страха и ужаса перед той самой энергией, которую создавали. Что мог делать учитель 1900 года? Безрассудно смелый —

содействовать; непроходимо глупый — сопротивляться; осмотрительный — балансировать между тем и другим, что испокон веку чаще всего пытались делать и умные и глупые. Но что бы они ни делали, сами силы будут продолжать воспитывать человека, а человеческий ум — на них реагировать. Все, на что мог рассчитывать учитель, — это учить, как реагировать.

Но и эта задача сопряжена с огромными трудностями. Даже простейшие учебники обнаруживали несостоятельность прежних орудий мышления. Глава за главой заканчивались фразами, каких прежде не встречалось в подобной литературе: «причина этого явления остается непонятной», или «наука не рискует трактовать причины», или «первые шаги в истолковании причины этого явления еще предстоит сделать», или «мнения тут полностью расходятся», или «вопреки имеющимся противоречиям», или «наука развивается единственно благодаря тому, что допускает различные теории, нередко противоречивые». Воистину новому американцу придется мыслить, оперируя противоречиями, и, в отличие от четырех знаменитых кантовских антиномий, в новой вселенной не будет ни одного закона, верность которого нельзя было бы доказать от обратного.

Воспитание — начиная с воспитания самого себя — было главным делом Генри Адамса на протяжении шестидесяти лет, и трудности в этом деле возрастали вместе с удвоением добычи угля, пока перспектива дожидаться следующего десятилетия, чтобы в очередной — седьмой — раз убедиться в удвоении существующих сложностей, уже перестала манить воображение. Закон ускорения действовал исправно, и для его изучения вовсе не требовалось еще одного десятилетия, разве только, чтобы удостовериться, что он остается в силе. Никакой программы новому американцу Адамс предложить не мог, а заниматься выискиванием ошибок или сетованиями по их поводу было ни к чему; к тому же, по всей очевидности, очередной огромный приток новых сил

был не за горами, а вместе с ним и новые формы воспитания, которые обещали быть принудительными и жесткими. Движение от единства к множественности, происходившее между 1200 и 1900 годами, шло непрерывно, отличаясь стремительным нарастанием ускорения. Уже через поколение, и даже при нынешнем, если жизнь его продлится, оно потребует иных форм воспитания. Мышление, словно поваренная соль, брошенная в некий раствор, должно будет вступить в новую фазу, где будут действовать новые законы. И так как до сих пор в течение пяти или десяти тысяч лет человеческий ум справлялся со стоящими перед ним сложностями, ничто не вызывало опасений, что он сумеет делать это и впредь — только ему придется совершить скачок.

35. NUNC AGE ¹ (1905)

Почти сорок лет прошло с тех пор, как бывший личный секретарь бывшего посланника Адамса вместе с ним самим и историком Мотли спустился по трапу в Нью-Йорке, и американское общество представилось их взору огромным караваном, чей хвост затерялся в прериях. Теперь, 5 ноября 1904 года, когда Генри Адамс вновь сошел на тот же берег, — стариком, которому было больше лет, чем его отцу и Мотли в 1868 году, — он увидел перед собой картину потрясающую — удивительную — не похожую ни на что виденное человеком доселе, и меньше всего на то, что он хотел бы видеть. Силуэт города вздымался нагромождением чудовищ, неистовствовавших в попытке объяснить то, что попирало смысл. Казалось, какая-то тайная сила вышла из повиновения и обрела полную свободу. Гигантский цилиндр

¹ Теперь иди (лат.).

взорвался, и огромные массы камня и пара взметнулись в небо. Во всем городе — в его облике и движении — присутствовало что-то истерическое, и его жители в гневе и страхе требовали на все лады, чтобы на новые силы любой ценой надели узду. Процветание, о котором даже не мечталось, могущество, какое и не снилось человеку, скорость, какой достигали разве только небесные тела, сделали мир раздражительным, взвинченным, бранчливым, неразумным и напуганным. Нью-Йорк нуждался в новых людях, и новые силы, спрессованные в корпорации и тресты, нуждались в человеке нового типа — человеке в десять раз выносливее и энергичнее, крепче волей и быстрее умом, чем прежний, — и за такого человека охотно заплатили бы миллионы. Трясаясь по мостовым и читая вчерашние газеты, нельзя было не прийти к заключению, что этот новый тип человека вот-вот объявится, потому что старый уже полностью выдохся, и его неспособность идти в ногу с веком стала катастрофической. Все это видели, и на всех муниципальных выборах царил хаос. Из окна клуба на Пятой авеню наш путешественник по магистральным трассам истории взирал на суету внизу, и ему казалось, будто он в Риме, в годы правления Диоклетиана — видит анархию, сознает насилие, жаждет хоть какого-нибудь избавления, но не может понять, откуда грянет очередной удар и какое окажет действие. Две тысячи лет несостоятельности христианской веры бушевали внизу на Бродвее, а Константина Великого нигде не было видно.

Не имея иного занятия, наш путешественник отправился в Вашингтон — ждать конца. В Вашингтоне Рузвельт обучал Константинов и боролся с трестами. Борьба с трестами вызывала у Адамса полное сочувствие, и не только как делу политическому и общественному, но и как способу движения. Тресты и корпорации стояли, как правило, за новую силу, рвущуюся к власти с 1840 года, и внушали отвращение своей неумной и беззастенчивой энергией. Они круто ломали прежнее, круша все вековые устои и ценности, как винты океан-

ского парохода — сельдяной косяк. Они разрывали общество на клочки и топтали его ногами. Одна из первых жертв, гражданин города Куинси, 1838 года рождения, давно уже научился подчиняться и молчать: он знал, что, согласно законам механики, всякое изменение в движении действующих сил может только ухудшить положение. Но при всем при том ему было крайне любопытно увидеть, появится ли в результате этого столкновения сил человек нового типа, ибо никаких иных энергий, способных произвести его на свет, по-видимому, уже не оставалось. Новый человек мог родиться только из связи между новыми энергиями и старыми.

И те и другие, как видно из всего здесь сказанного, были знакомы Адамсу с детства, и ни те, ни другие не склоняли его как судьбу на свою сторону. А если у какого-нибудь судьи имелись основания быть беспристрастным, то им был Адамс. Ничто так не интересовало его и не вызывало симпатии, как новый человек, однако чем дольше он вглядывался в происходящее вокруг, тем меньше ему удавалось этого нового человека различить. Что касается сил, стоящих за трестами, то они были более или менее на виду: тресты обладали крепкой организацией, оснащенной школами, соответствующей подготовкой, средствами и четкой задачей. Что же касается сил, поддерживающих Рузвельта, то тут почти ничего не было известно: ни крепкой спаянностью, ни правильной подготовкой, ни ясными целями они похвастать не могли. Народ не имел ни малейшего понятия, какой практической системы ему добиваться и какого рода люди могли бы ею управлять. Главная задача заключалась не столько в том, чтобы контролировать тресты, сколько в том, чтобы создать общество, способное ими управлять. Новый американец мог быть только либо порождением новых сил, либо случайной мутацией в природе. Увлечение механической энергией уже достаточно исковеркало мышление американца, и Рузвельт, предпринимавший героичес-

кие усилия, чтобы вернуть ему прежний прямой ход, несомненно, заслуживал активной поддержки и всеобщей симпатии, и прежде всего со стороны тех же трестов, если в них сохранилось хоть что-то человеческое. Тем не менее по-прежнему открытым оставался вопрос: что является главным фактором воспитания — человек или природа, разум или движение? Механическая теория, в основном принятая наукой, по-видимому, требовала, чтобы правил закон массы. А если так, поступательное движение будет продолжаться, как прежде.

Так или иначе, воспитание по канонам девятнадцатого века было теперь так же бесполезно, даже превратно, каким было бы воспитание по канонам восемнадцатого века для ребенка, родившегося в 1838 году. Но у Адамса находились и более веские причины придержать язык. Динамическая теория истории волновала его теперь не больше, чем кинетическая теория газов. Однако, пожалуй, с ее помощью все же можно было оценить движение человечества, а чтобы выяснить, верна она или неверна, требовалось тридцать лет. При подсчитанном ускорении голова метеорного потока должна была скоро пройти перигелий. А потому спорить казалось бессмысленным, дискутировать — бесполезным, и молчание, как и добрый нрав, являлось выражением здравого смысла. Если ускорение, измеряемое развитием и рациональным использованием сил, будет происходить в том же темпе, в каком шло начиная с 1800 года, математику 1950 года не составит труда начертить орбиту для прошлого и будущего движения человеческой расы с не меньшей точностью, чем для ноябрьского потока метеоритов.

Подобная точка зрения, естественно, раздражала участников игры, как решение судьи нередко возмущает зрителей. Сверх того, такая точка зрения была глубоко аморальна и вела к отказу от усилий. Но, с другой стороны, она поощряла предвидение и помогала избавиться от тщетной работы ума. Пусть это еще не было воспитанием, но здесь

открывался путь к рациональному использованию сил, необходимых для воспитания нового американца. И на этом Адамс мог считать свое дело конченным.

На этом с жизнью тоже было кончено. Природа сама воспитала своего рода сочувствие к смерти. В Антарктике на леднике, поднимавшемся на пять тысяч футов над уровнем моря, капитан Скотт обнаружил мертвых тюленей: животные, собрав последние силы, выбросились на ледяное поле, чтобы спокойно умереть. «Если бы мы не видели эти останки собственными глазами, — записал Скотт, — то ни за что бы не поверили, что умирающий тюлень мог протаскаться пятьдесят миль по бугристому крутому склону ледника», но «тюлени перед смертью, видимо, часто выползают на берег или на лед — возможно, из инстинктивного страха перед морскими хищниками». В Индии Пуран Дасс, завершив свою политическую деятельность, предпочел уединиться и умереть среди ланей и обезьян, а не среди людей. Даже в Америке золотая осень жизни, как и само это время года, должна быть немного солнечной и немного грустной, со всем богатством и глубиной тонов, — только не суетной. Вот почему Адамсу нередко казалось, что его пассивное существование в неизвестности ближе природе, чем популярность Хея. У нормального животного инстинкт охоты в крови, и историки не являются здесь исключением: каждому хочется травить своих медведей, но и тюлень в свою очередь не испытывает ни малейшего желания быть в старости замученным тварями, у которых нет ни силы, ни зубов, чтобы покончить с ним разом.

Прибыв в Вашингтон 14 ноября 1904 года, Адамс тотчас увидел, что Хею необходимо отдохнуть. Миссис Хей также просила Адамса быть готовым помочь ей сразу по окончании сессии конгресса вывезти мужа в Европу, и, хотя сам он вначале заявлял, что об этом не может быть и речи, силы его с каждым днем таяли, спорить он уже не мог и в конце концов сдался без боя. Он охотно оставил

бы свой пост и ушел на покой, подобно Пурану Дассу, не восстань против этого президент и пресса. Тем не менее он то и дело заговаривал об отставке, а друзья не могли посоветовать ему ничего определенного. Адамс и сам, горячо желавший, чтобы Хей завершил свою карьеру заключением мира на Востоке, мог только убеждать его, что честолюбие попирается честолюбием и что венок миротворца стоит креста мученика, но крест был у всех на виду, а будет ли венок — оставалось неизвестным. Адамс находил, что выведенная им формула русской инерции, к сожалению, оказалась справедливой. России, насколько он мог судить, следовало начать переговоры о мире сразу после падения Порт-Артура 1 января 1905 года, но у нее, очевидно, не хватало энергии, и она продолжала ждать — ждать уничтожения своего флота. Задержка эта длилась ровно столько времени, сколько было отпущено Хею.

К концу сессии, которая закрылась 4 марта, силы Хей были уже совсем на исходе, и 18 марта он с трудом поднялся на борт парохода, отправлявшегося в Европу, однако уже на полпути заметно ожил и держался так же весело, как в ту пору, когда сорок четыре года назад впервые вошел в Марко-хаус на К-стрит. Облака вокруг заходящего солнца не всегда окрашены в мягкие тона, в особенности на взгляд тех, чьи глаза прикованы к вечности; во всяком случае, для них это зрелище овеяно грустью. Друзей провожают до последнего порога жизни и говорят «до свидания» с улыбкой. Скольких Адамс уже проводил! Хей медленно гулял по палубе; он не питал никаких иллюзий, твердо знал, что уже не вернется к работе, и легко говорил о смерти, которая могла настичь его в любой час, рассуждая то о политике, то о вечности; лихорадка власти отпустила его, разве только угнетала мысль, что он оставит после себя несколько незавершенных дел.

Тут ничего не стоило, даже не кривя душой, ему помочь. Достаточно было, искренне смеясь над дюжиной до-

говоров, лежащих замороженными в комнате сенатских комиссий, словно бараньи туши в мясной лавке, напомнить ему о том, чего он достиг. За восемь лет пребывания на посту государственного секретаря Хей разрешил почти все проблемы, издавна стоявшие перед американской администрацией, и не оставил почти ни одной, которая могла бы вызвать неудовольствие у его преемника. Усилиями Хей великие атлантические державы объединились, составив рабочий механизм, и даже Россия, по всей очевидности, была близка к тому, чтобы войти в это сообщество разумного равновесия, основанного на разумном распределении сфер деятельности. Впервые за пятнадцать столетий истинный римский рах¹ был не за горами, и, если бы удалось добиться такого положения, это была бы заслуга Хей. Единственное, что он мог еще сделать, — это заключить мир в Маньчжурии, но, случись даже самое худшее, и континент пошел бы на континент войной, Хейю не стоило жалеть, что не придется стать свидетелем этой катастрофы.

Подобный взгляд сквозь розовые очки помогал утишить боль, которую испытывает каждый уходящий в отставку государственный деятель, — и обычно с полным основанием. И сейчас не к чему было вписывать точные цифры в дебет и кредит. К чему раздувать стихии сопротивления и анархии? И без того, пока «Кретик» приближался к Марокко, кайзер уже спешил умножить свои цифры. И не только кайзер; всех, казалось, охватила паника. Хаос только ждал, когда Хей спустится на берег.

А пока, прибыв в Геную, путешественники укрылись на две недели в Нерви, и Хей, который не занимался, да и не чувствовал потребности заниматься делами, быстро набирал силы. Потом друзья перебрались в Наугейм, где Хей чувствовал себя не хуже. Пробыв там несколько дней, Адамс отбыл в Париж, оставив Хей принимать курс лечения. Врачеб-

¹ Мир (*лат.*).

ные прогнозы звучали обнадеживающе, а письма Хея — как всегда, юмористически и беспечно. До последнего дня в Наугейме он с неизменной радостью сообщал, что дела его идут на поправку, и шутивно, с легкой иронией описывал своих врачей. Но когда три недели спустя он, кончив курс лечения, появился в Париже, с первого взгляда было видно, что он не восстановил силы, а возвращение к делам и необходимость давать интервью быстро его доконают. Он и сам признавал это, и в последнем разговоре перед тем, как отплыть в Лондон и Ливерпуль, подтвердил, что считает свою деятельность конченной.

— Вам нужно еще продержаться ради мирных переговоров, — возразили ему.

— У меня уже нет времени, — сказал он.

— Ну, на это потребуется совсем немного, — прозвучало в ответ.

И то и другое было верно.

Но тут все кончилось. Сам Шекспир не нашел ничего, кроме избитых слов, чтобы выразить то, что невозможно выразить: «Дальнейшее — молчанье!» Обычные слова из самых обиходных в речи, передающих самую банальную мысль, послужили Шекспиру, и лучше пока еще никто не сумел сказать. Несколько недель спустя, направляясь в «Арменонвиль», чтобы пообедать в тени деревьев, Адамс узнал, что Хея больше нет. Он ждал этого известия и, думая о Хее, был даже рад, что его друг умер так, как дай-то бог умереть каждому, дома или за границей, — в зените славы, оплакиваемый целым миром и не утративший власти до самого конца. Сколько императоров и героев увядали в ничтожестве, забытые еще при жизни! По крайней мере этой участи для друга он мог не опасаться. Нет, не внезапность удара и не чувство пустоты заставили Адамса погрузиться в гамлетовскую бездну молчания. Кругом веселым половодьем разливался вольный Париж — любимое пристанище Адамса, — где земная тщета достигла высшей точки своей суетности

за всю человеческую жизнь и где теперь ему слышался тихий зов — дать согласие на отставку. Пора было уходить. Трое друзей начали жизнь вместе, и у последнего из троих не было ни основания, ни соблазна продолжать жить, когда другие ушли из жизни. Воспитание завершилось для всех троих, и теперь лишь за далеким горизонтом можно было бы оценить, чего оно стоило, или начать его сначала. Быть может, когда-нибудь — скажем, в 1938 году, в год их столетия, — им позволят всем вместе провести на земле хотя бы день, чтобы в свете ошибок своих преемников уяснить себе, какие ошибки они совершили в собственной жизни; и, быть может, тогда впервые, с тех пор как человек, единственный из всех плотоядных, принялся за свое воспитание, они узрят мир, на который ранимые и робкие натуры смогут смотреть без содрогания.

ЖИВОЙ СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ США

Наряду с прославленными жанрами романа, поэмы, драмы издавна существует жанр более скромный, но не менее почтенный. Это мемуары — повествование о реальных событиях и людях прошлого на основе личных впечатлений. Начало этой традиции восходит к воспоминаниям древнегреческих историков. Целые эпохи общественного и литературного развития различных стран запечатлены в воспоминаниях Бенвенуто Челлини, Сен-Симона, Гёте, Стендаля, Гейне, Франса, Роллана, Тагора и многих других писателей, известных русскому читателю в переводах.

В России книги подобного жанра, весьма многообразного в своей эстетической и повествовательной манере, особое значение приобретают начиная с прошлого века. Здесь и «Былое и думы» Герцена, и воспоминания декабристов, «Семейная хроника» Аксакова, литературные мемуары Панаевых, Тургенева, Гончарова и других, «История моего современника» Короленко и автобиографическая трилогия Горького.

В Америке мемуарный жанр зародился в сочинениях первых писателей-хроникеров XVII века, формировался в зна-

менитой «Автобиографии» Бенджамина Франклина, пережил расцвет в XIX столетии, когда вышли многочисленные воспоминания об американской революции и Гражданской войне, а в XX веке ознаменовался появлением писательских воспоминаний, среди которых выделяются книги «Праздник, который всегда с тобой» Э. Хемингуэя, «История рассказчика» Ш. Андерсона, «Это я, господи» Р. Кента, «Воспоминания» У. Дюбуа. Одной из наиболее признанных книг американской мемуаристики давно считается «Воспитание Генри Адамса» (1907) — автобиография писателя, историка и публициста, написанная в третьем лице.

Чем явилась книга Адамса для Америки и чем она интересна сегодня? Адамс стал одним из первых выразителей «американской мечты» — понятия, в котором переплелись иллюзии и надежды американского народа на счастливое будущее.

На американский континент съезжались люди, нередко обиженные судьбой у себя на родине. Они везли с собой надежду обрести «новое небо и новую землю», мечту о процветании, о всеобщем благоденствии. Эта мечта, в основе своей демократическая, нашла отражение во многих книгах американских писателей. Однако единой «американской мечты» не существует. В истории США и их общественной мысли всегда существовало две мечты: буржуазно-апологетическая и демократическая. С одной стороны, мечта американских трудящихся о равенстве и братстве, мечта негритянского населения и других национальных меньшинств о гражданских правах; с другой стороны, провозглашение «американского образа жизни» подлинным выражением «американской мечты». Подобно тому как «царство разума» просветителей оказалось «идеализированным царством буржуазии», а «вечная справедливость» обернулась буржуазной юстицией, так «американская мечта» низведена ныне до рекламы американской буржуазной демократии.

Г. Адамс выступил провозвестником «американской меч-

ты» как национальной идеи американского народа. Хотя сам термин получил права гражданства лишь в 1931 году в книге американского историка Джеймса Т. Адамса «Эпос Америки», идея «американской мечты» была сформулирована еще Р. У. Эмерсоном в книге «Черты английского народа» (1856). Рассказывая о своей поездке в 1848 году в Европу, он вспоминает, что там ему как-то задали вопрос: «Существует ли американская идея и есть ли у Америки подлинное будущее?» В тот момент Эмерсон подумал не о лидерах партий, не о конгрессе и даже не о президенте и правительстве, а о простых людях Америки. «Бесспорно, существует, — отвечало н. — Однако те, кто придерживается этой идеи, — фанатики мечты, которую бесполезно пытаться объяснить англичанам: она не может не показаться им смешной. И все же только в этой мечте заключена истина»¹.

Идеи Эмерсона были восприняты Адамсом в новых исторических условиях, когда США вступали в эпоху империализма, когда пересматривались прежние концепции американской истории и создавалось новое понимание американизма, в чем он принял самое непосредственное участие. В 1884 году он писал, что американский демократ «живет в мире мечты и принимает участие в событиях, исполненных поэзии в большей степени, чем все чудеса Востока»². Развивая эту мысль, Адамс склоняется к идее избранности американского народа и утверждает, что американцам уготовано «управление миром и руководство природой более мудрым способом, чем когда-либо прежде в истории человечества».

И поныне Адамс является для Америки одним из исконных выразителей «американской мечты», провозгласивших

¹ Emerson R. W. The Complete Works. N. Y., Current Opinion Edition, 1923, vol. 5, p. 286—287.

² Adams H. The Formative Years. A History of the United States During the Administrations of Jefferson and Madison. Ed. by H. Agar. Boston, Houghton Mifflin Co., 1947, v. 1, p. 90.

(вслед за Г. Мелвиллом, У. Уитменом) особый характер американского народа и особую миссию, предназначенную ему в истории.

Именно эти настроения и в то же время разочарование в «американской мечте» получили свое выражение в «Воспитании Генри Адамса». По словам американского литературоведа Роберта Спиллера, для более молодого и менее разочарованного поколения американцев, чем то, к которому принадлежал сам Адамс, его книга «превратилась в Библию», ибо в ней они обнаружили свой собственный голос, свои представления о прошлом, настоящем и будущем Америки.

Со временем «Воспитание», как всякое значительное произведение литературы, стало объектом мифологизации, в него вкладывалось читателями представление об «американской мечте» в наиболее полном виде. Произошло определенное переосмысление книги, превратившее ее в памятник литературы, исполненный некоего скрытого, эзотерического смысла. Это и позволило американцам воспринимать ее в наше время как произведение, несущее «сверхтекстовое» содержание. При этом пессимизм и разочарования Адамса как бы сбрасывались со счетов, так же как и его вывод о деградации американской буржуазной демократии.

Генри (Брукс) Адамс (1838—1918) родился в Бостоне в семье, давшей Америке двух президентов, посла в Англии и целую плеяду историков — самого Генри Адамса и его двух братьев Чарлза и Брукса. Прадед писателя Джон Адамс был участником американской революции, избирался делегатом первого и второго Континентальных конгрессов (1774—1777) и стал вторым президентом страны. Дед — Джон Куинси Адамс — умерший, когда мальчику исполнилось десять лет, был шестым президентом США (1825—1829), а ранее первым американским посланником в России, дипломатические отношения с которой установились в 1809 году.

Пребывание в президентской должности стало своего рода семейной традицией Адамсов, а Белый дом считался в

семье чем-то вроде родового поместья, в котором чуть было не поселился и третий представитель этого рода — отец писателя. Когда Генри был ребенком, ирландец-садовник как-то сказал ему: «Небось думаешь, тоже выйдешь в президенты!» Для мальчика было открытием, что в этом можно сомневаться.

Жизнь в таких условиях с детства была наполнена историческими реминисценциями. Дом Адамсов в Бостоне как бы застыл в новоанглийском пуританизме XVIII века, его традициях и преданиях. В гостях часто бывали те, кто занимал видное место в политической истории Америки прошлого века.

Осенью 1858 года Адамс, проучившийся четыре года в Гарвардском университете, отправился в Берлин изучать гражданское право, хотя ни он, ни его родители не знали, что такое гражданское право и зачем оно ему. В Берлине обнаружилось, что он плохо знает немецкий. Пришлось взяться за его изучение, но оказалось, что он не обладает способностью к языкам. Друзья, в которых у Генри никогда не было недостатка, увлекли его в пивные, музыкальные и танцевальные залы.

Оставив помыслы о гражданском праве, Адамс отправился с друзьями в прогулку по Тюрингии, провел несколько весенних дней в Дрездене и два года туристом путешествовал по Германии, Бельгии, Голландии, Италии, Франции. Особенно запомнился ему майский вечер 1860 года в Риме, когда он с путеводителем в руках сидел на ступенях церкви Санта-Мария ди Арачели, где за столетие до того Эдварду Гиббону, которого Адамс почитал величайшим английским историком, пришла мысль написать историю упадка и разрушения Римской империи.

Этот вечер Адамс считал решающим в своем духовном развитии и не раз возвращался к нему в автобиографической книге, написанной в старости. Однако восприятие окружающего Адамсом было совсем иным, чем у Гиббона: английский

историк смотрел на римские развалины, думая о том, что над ними восторжествовало христианство; американского туриста волновал вопрос о неизбежном крахе нынешней цивилизации. «Ведь стоило поставить слово «Америка» на место слова «Рим», и вопрос этот становился личным».

Вернувшись осенью 1860 года в США, Адамс стал секретарем своего отца-конgressмена, стремившегося в то напряженное время изыскать компромисс, позволяющий сохранить единство Союза штатов. Тогда же в бостонских газетах появляются первые политические статьи Генри Адамса, не привлекавшие, правда, к себе особого внимания.

В канун Гражданской войны, в марте 1861 года, президент Линкольн назначает отца Генри Адамса послом в Англии. Отец взял с собой сына в Лондон в качестве секретаря, так же как когда-то его отец, Джон Куинси, назначенный посланником в России, взял его с собой в Петербург. Генри отправился с отцом в Англию уже после начала Гражданской войны. Проведенные в Англии семь лет — самый интересный и, может быть, самый важный период его жизни.

Еще до отъезда в Англию Генри договорился, что будет посылать корреспонденции для газеты «Нью-Йорк таймс», которые затем сыграли определенную роль в поддержке многогранной миссии его отца. Английское правительство, объявив формально нейтралитет, на деле признавало мятежных южан воюющей стороной и оказывало им поддержку. Таково было положение, когда американский посол с сыном-секретарем высадились на английском берегу.

В Англии Генри познакомился со многими знаменитостями того времени, встречался с геологом Чарлзом Лайеллом, беседовал с экономистом Джоном Стюартом Миллем, писателями Ч. Диккенсом, Р. Браунингом, А. Суинберном.

Как секретарь американского посла, он видел, какой ненавистью пылали правительственные сферы Англии к борьбе Севера за единство штатов и к Линкольну, главному

поборнику этой идеи. В Лондоне «придумали некое чудище и придали ему образ Авраама Линкольна», писал Адамс. Ослабление Соединенных Штатов виделось английским государственным деятелям желанным итогом Гражданской войны, который позволил бы им сохранить свое превосходство. Французский император Наполеон III шел еще дальше. Он предлагал вернуть всю Америку в прежнее, зависимое от Европы положение.

Когда летом 1868 года Генри Адамс наконец вернулся в Америку, то испытал глубокое разочарование, ибо страна стала иной, а он, «пережиток восемнадцатого века» (как сам называл себя), всегда на полвека отставал от современности. Ему пришлось постигать все заново и в атмосфере, враждебной полученному им в Англии воспитанию. Тем не менее пружины власти в США предстали перед Адамсом во всей их неприглядности.

Коррупция администрации Гранта и его преемников на посту президента потрясла Адамса, если вообще что-либо могло потрясти столь рационально и научно-исторически мыслящего человека, каким был Адамс. Администрация Гранта губила людей тысячами, а пользу из нее извлекали единицы.

С убийственным сарказмом говорит Адамс о периоде Реконструкции, последовавшем за Гражданской войной: «Прочтите список конгресса и тех, кто служил в судебных и исполнительных органах в течение двадцати пяти лет с 1870 по 1895 год, и вы почти не найдете имен людей с незамазанной репутацией. Период скудный по целям и пустой по результатам». Девять десятых политической энергии, свидетельствует Адамс, растрачивалось на пустые попытки подправить, подновить политический механизм всякий раз, когда он давал сбой.

В 1870 году Адамс становится профессором Гарвардского университета и редактором журнала «Североамериканское обозрение», в котором он постоянно печатался. Ему при-

надлежат биографии Альберта Галлатина, министра финансов при президенте Джефферсоне (1879), виргинского политического деятеля Джона Рэндолфа (1882), поэта Джона Кэбота Лоджа (1911), статьи по истории, политике и экономике. Однако как историк Адамс снискал известность прежде всего своей 9-томной «Историей Соединенных Штатов во времена правления Джефферсона и Медисона» (1889—1891), после выхода которой он был избран президентом Американской исторической ассоциации.

Идеи ранних работ Адамса-историка существенно отличались от его поздних концепций, выраженных в «Истории» и особенно в «Воспитании». Советский историк И. П. Дементьев отмечает, что Г. Адамс первоначально выступил пропагандистом «тевтонской теории» в США. В 1873/74 академическом году он вел в Гарвардском университете семинар по изучению англосаксонских институтов, а два года спустя опубликовал работу «Очерки англосаксонского права», где рассматривал некую общность, якобы имевшуюся у народов тевтонского происхождения.

Существенное влияние на концепцию Адамса оказала книга английского историка Э. Фримена «Сравнительная политика и единство истории» (1873; рус. пер. 1880), которая дала толчок развитию американской интерпретации доктрины англосаксонизма. Односторонне применяя методы сравнительного литературоведения и мифологии, Фримен рассматривал политические институты вне социально-экономических условий, их породивших, а сходные черты политического устройства в разных государствах в различные исторические периоды объяснял расовой общностью. Особыми способностями к созданию конституционных учреждений обладало, по его мнению, тевтонское племя, англосаксы, перенесшее в V веке свои политические институты на Британские острова. Протестанты, колонизировавшие Новую Англию в XVII веке, передали тевтонское политическое наследство Америке. С наибольшей силой тевтонский характер проявился не в Гер-

мании, считал Фримен, где мешало влияние романской расы, а в Англии и США.

Обращение американских историков англосаксонской школы к тевтонской теории и «сравнительной политике» было продиктовано прежде всего стремлением найти более убедительное обоснование «исключительности» американских конституционных учреждений, нежели объяснение, выдвинутое ранее школой Дж. Банкрофта. Историки школы Банкрофта, господствовавшей в американской историографии до последней трети XIX века, ссылались на волю божественного провидения, которое помогало утвердить демократию на американском континенте. «Сравнительная политика давала дополнительные аргументы для традиционной апологетики буржуазной демократии, относя ее происхождение в глубь веков»¹.

История как наука находилась в то время в Америке на уровне занимательного повествования о делах минувших дней. Развлекательное начало явно преобладало над научным. Адамс не без основания писал, что после английского историка Э. Гиббона, жившего в XVIII веке, «история потеряла всякий стыд. Она на сто лет отстала от экспериментальных наук. Несмотря на все свои поуги, она давала меньше, чем Вальтер Скотт и Александр Дюма».

В обращении к Американской исторической ассоциации «Тенденции в изучении истории» (1894) Адамс выступил с утверждением, что история должна основываться на достижениях естественных наук, что смысл и значение история получает лишь тогда, когда обращается к обобщениям, плодотворным и поучительным не только для рассматриваемой цепи исторических событий. Все последующие годы Адамс неустанно пытался приложить опыт физики и других естест-

¹ Дементьев И. П. Идеиная борьба в США по вопросам экспансии (на рубеже XIX—XX вв.). М., МГУ, 1973, с. 66.

венных наук к всеобщей истории и истории Соединенных Штатов.

Обращаясь к художественному изображению американской жизни, писатель преодолевал узконационалистическую трактовку «американской мечты» как мира чудес, в котором якобы живет американский демократ. В романе «Демократия» (1880), напечатанном анонимно из-за содержащихся в нем разоблачений правящей американской верхушки (авторство Адамса стало известно только после его смерти), показана коррупция Вашингтонских властей, мошенничества при выборе президента. В книге описаны реальные факты жизни Белого дома и его окружения.

В образе делового и решительного сенатора Рэтклифа, типичного американского политического деятеля, современники угадывали сенатора Джеймса Блейна, замешанного в скандальных сделках с железными дорогами, из-за чего он не прошел в президенты в 1876 году. Позднее Адамс кратко, но выразительно обрисовал его в «Воспитании».

Роман «Демократия» открывает литературную традицию низведения с пьедестала «отца отечества» Джорджа Вашингтона и других деятелей американской революции, продолженную в наше время в романах Гора Видала. Непривлекательные личные качества первого президента США противостоят в романе хрестоматийному облику Вашингтона, издавна принятому в Америке. Беспринципный сенатор Рэтклиф пытается даже приспособить образ Вашингтона к политическим нравам своего времени: «Если бы Вашингтон был теперь президентом, он должен был бы выучиться нашим порядкам или потерять свое место на следующих выборах».

Вместе с тем американский литературовед демократической направленности В. Л. Паррингтон довольно скептически характеризовал роман Адамса, «этого завсегда светских салонов, который, будучи вхож в политический мир Вашингтона, обольщал себя мыслью, что ему известны все хитро-

сплетения политических интриг»¹. Однако к этому следовало бы добавить, что неудавшееся в области романа Адамсу удалось успешно осуществить в сложном жанре мемуарной философской публицистики — «Воспитании Генри Адамса».

Второй роман Адамса — «Эстер» (1884), — посвященный конфликту между наукой и религией, представляется еще менее художественно выразительным. Адамс выпустил его под псевдонимом Фрэнсис Сноу Комптон и ради эксперимента решил обойтись без какой-либо книготорговой рекламы, чтобы испытать достоинства самого романа. Результаты были весьма плачевны, в чем автор с его опытом политической рекламы в жизни США мог, собственно, и не сомневаться. Книга не раскупалась. Очевидно, роман не был жанром, в котором Адамс умел раскрыть свое дарование, хотя «Демократия» пользовалась успехом у современников, а два русских журнала («Русский вестник» и «Изящная литература») напечатали в 1883 году перевод этого политического романа.

С тех пор наследие Генри Адамса не привлекало к себе серьезного внимания в нашей стране ни переводчиков, ни исследователей. А между тем Адамс — один из интересных и глубоких критиков этических и социальных ценностей, лежащих в основе американской общественно-политической системы.

С наибольшей глубиной эта сторона дарования Адамса проявилась в его центральной книге «Воспитание Генри Адамса». В основе этого обширного автобиографического повествования лежит идея о том, что развитие человечества шло от целостности и единства человеческого сознания и бытия в прошлом (в эпоху средневековья) к множественности и раздробленности сознания и бытия людей в XX столетии. Два последних значительных произведения Адамса, «Мон-Сен-Мишель и Шартр» (которое Адамс называл обычно про-

¹ Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. Т. 3, М., 1963, с. 226.

сто «Шартр») и «Воспитание Генри Адамса», стали наиболее полным выражением взглядов мыслителя.

Путешествуя летом 1895 года по западной Франции вместе с Генри Кэботом Лоджем и его семьей, Адамс восхищался разноцветными витражами Шартрского собора, готической архитектурой и выразил свои мысли в опубликованной в 1904 году частным образом книге. Хвалебная песнь во славу средневековья, пропетая Адамсом в «Шартре», вызвала возражения некоторых критиков. Одно из наиболее решительных прозвучало в выступлении представителя антиромантической критики Айвора Уинтерса, который обвинил Адамса в том, что тот с позиций пессимистического детерминизма пытается доказать неизбежность упадка и разрушения вселенной как единого механизма. С этой точки зрения всё предшествующее лучше настоящего, и Адамс искусно подбирает исторические факты, подтверждающие это его положение. «Концепция средневековья у Адамса, воспринятая Т. С. Элиотом и его последователями, является всего лишь вариантом «золотого века» у романтиков. Тот тринадцатый век, который им виделся, никогда в действительности не существовал, а их убежденность, что великие духовные свершения возможны лишь в условиях подобной Утопии, способны только парализовать творческую энергию человечества»¹.

Адамс не считал, что XIII век был всецело един, он лишь утверждал, что XIII век достиг единства символического выражения мира, которое стало распадаться впоследствии. Вместе с тем Адамс действительно предвосхитил мысль Элиота, высказанную им в статье «Традиция и индивидуальный талант», о том, что прошлое всегда присутствует в настоящем, накладывает на него свой отпечаток.

«Воспитание Генри Адамса» было написано как продол-

¹ Winters Y. The Anatomy of Nonsense. Norfolk (Conn.), New Directions, 1943, p. 64.

жение «Шартра» в 1903—1906 годах и в начале 1907 года отпечатано частным образом в количестве 40 экземпляров для рассылки друзьям и знакомым, упоминаемым в книге, чтобы получить их замечания и поправки. Затем было допечатано еще 60 экземпляров и снова разослано, но мало кто вернул книгу со своими пометками.

В письмах тех лет Адамс сетует, что друзья не хотят возвращать ему «Воспитание»: «Подчас такие разбойники, как Теодор Рузвельт, даже говорили мне, чтобы я и не надеялся получить обратно книгу». Через два года в письме к своему бывшему ученику Г. О. Тейлору 22 ноября 1909 года Адамс делает весьма характерное замечание: «Все экземпляры книги должны были вернуться ко мне для исправлений, но по мере того, как проходит время, я все больше сомневаюсь, надо ли делать эти исправления. Ведь единственная цель этой книги состояла в том, чтобы воспитать самого себя...»¹

И все же к 1915 году Адамс подготовил новое, переработанное издание «Воспитания», которое должно было выйти после его смерти. Он написал в 1916 году и новое предисловие, а подписать его согласился Генри Кэбот Лодж — его друг и ученик. 27 марта 1918 года Адамс умер, а осенью того же года Массачусетское историческое общество выпустило издание с предисловием Адамса, подписанным Лоджем. С тех пор «Воспитание Генри Адамса» стало классикой американской литературы.

Что понимал Адамс под воспитанием? Прочитав книгу, можно сказать, что воспитание в понимании Генри Адамса — это опыт всей его долгой жизни, история его сердца и ума. Вместе с тем он говорит, что практическая ценность воспитания, длившегося семьдесят лет, весьма сомнительна, как все ценности, о которых люди не перестают спорить.

Продвинувшись в автобиографическом повествовании от 1838-го года своего рождения — до 1892 года, когда после

¹ Adams H. Letters (1892—1918). Ed. by W. Ch. Ford. Boston, Houghton Mifflin Co., 1938, vol. 2, p. 526.

двадцатилетнего перерыва Адамс возобновил свой рассказ (пропущенной оказалась история семейной трагедии Адамса — самоубийство его жены после тринадцати лет супружеской жизни), писатель вновь обратился к своему пониманию воспитания.

В понятие «воспитание» Адамс вкладывает особый смысл — науку понимать смысл жизни и политики с трезвых, реалистических позиций. Как будто новый американский Франклин во всеоружии науки и философии XIX века взялся продолжить неоконченную автобиографию столетие спустя. При этом Адамс не без иронии замечает, что пример подобного «воспитания» преподавал ему английский канцлер казначейства Уильям Гладстон.

Правящие круги Англии — премьер-министр Пальмерстон, министр иностранных дел лорд Расселл, Гладстон — поддерживали мятежных южан во время Гражданской войны в Америке лишь с одной целью: содействовать разделению США на два государства, поскольку единый Союз был постоянной угрозой могуществу Англии. Они жаждали провозгласить Конфедерацию «нацией», хотя даже сами лидеры Юга не питали на это никаких надежд.

Уроки политического воспитания, преподанные ему Гладстоном, Расселлом и Пальмерстоном, были горьки, но необходимы. «Все поименованные джентльмены принадлежали к высшей знати — выше некуда. Если нельзя верить им, правда в политике — химера, которой незачем придавать значение».

Исследователь творчества Адамса литературовед Роберт Спиллер считал, что «Генри Адамс поставил центральный вопрос века и бился над ним с неиссякаемой энергией. Почему человек снова потерпел крушение? Какие новые условия вновь предопределили тщетность мечты о совершенстве?»¹

¹ Литературная история Соединенных Штатов Америки. Т. 3, М., «Прогресс», 1979, с. 174.

Очевидно, дело не сводилось лишь к разочарованию в пределах американской демократии как в самой стране, так и во внешней политике. Подобные разочарования испытали еще писатели-романтики. Для Адамса все обстояло гораздо сложнее. Ему показалось, что человек вступил в сверхчувственный мир, что человеческий разум дошел до своих пределов, ибо недавно открытые рентгеновские лучи или идею расщепления атома он объять не может.

Адамс один из первых заговорил о «кризисе» современного естествознания. И один из первых оказался в плену идей, порожденных этим кризисом. Растерявшись перед открытиями естественных наук на рубеже XIX—XX веков, он попытался осмыслить новое в науке в любимых им понятиях и представлениях прошлого. Вскормленному на идеях XVIII века Адамсу было нелегко освоиться с новой действительностью. Свой идеал он видел в «универсуме Фомы Аквинского» и в сочетании современного естествознания с «просто-той и единством» средневековья.

С глубоким пониманием читал Адамс книгу немецкого естествоиспытателя Э. Геккеля «Мировые загадки», о значении которой в борьбе материализма с идеализмом и агностицизмом в те годы писал В. И. Ленин: «Сотни тысяч экземпляров книги, переведенной тотчас на все языки, выходящей в специально дешевых изданиях, показали воочию, что книга эта «пошла в народ», что имеется масса читателей, которых сразу привлек на свою сторону Э. Геккель. Популярная книжечка сделалась орудием классовой борьбы»¹.

Адамс пытался примирить различные философские мировоззрения. Прямо от материализма Геккеля он переходит к эмпириокритицизму Эрнста Маха, который, по его словам, «пошел еще дальше: он вовсе отказался от материи». Истинный смысл подобной эклектики в философии (одним из

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 370.

выразителей которой был и Адамс), как известно, рассмотрен и определен В. И. Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм».

Еще в 1859 году Адамс прочитал «Происхождение видов» Дарвина. Много лет спустя в обращении к Американской исторической ассоциации он заявил, что Дарвин дал мощный толчок к развитию естественных наук и он надеялся, что историкам это послужит стимулом для создания науки истории. «Но годы проходили за годами, и мало что делалось в этом направлении»¹. История оставалась во власти эмпирических описаний.

Для позитивизма Адамса вполне логична попытка объяснить историю с помощью биологии и физики. Он находился как бы между двумя полюсами: динамо-машина, которую ему довелось увидеть на Чикагской всемирной выставке в 1893 году, а позднее на Парижской выставке 1903 года, стала символом множественности и бесконечности энергии XX столетия; с другой стороны, Мадонна как символ единства в XIII веке, человечность которой представлялась даже выше единства святой Троицы.

Динамо-машина виделась Адамсу как воплощение целой эпохи. Доживи он до конца XX века, он избрал бы другой символ, возможно, атомную энергию, но смысл символа остался бы тот же: множественность.

В начале XX века Г. Адамс был близок к группе Т. Рузвельта, Г. Лоджа, Дж. Хейя, Б. Адамса, определявшей теорию и практику американского экспансионизма. Генри Кэбот Лодж выступал ведущим оратором экспансионистов в сенате, требовал строительства сильного флота. Инициатором агрессивной доктрины «открытых дверей» в Китае стал друг

¹ Adams H. The Degradation of the Democratic Dogma. N. Y., Smith, 1949, p. 126.

Г. Адамса, государственный секретарь Джон Хей. Теоретиком, обосновывающим принципы и планы внешнеполитической экспансии США, был Брукс Адамс, брат Генри. Всех их связывала тесная дружба и даже родственные отношения (Лодж и Брукс Адамс были женаты на сестрах друг друга).

В сентябре 1899 года Дж. Хей обратился к великим державам с нотой, провозглашающей политику «открытых дверей» в Китае. Америка требовала для себя «равных возможностей» в Китае, чтобы, опираясь на свое финансовое и экономическое превосходство, занять на китайском рынке монопольное положение. Политика России, сохранявшей после подавления в 1901 году «боксерского восстания» в Китае свои войска в Маньчжурии, вызвала обострение отношений между США и Россией, которую Соединенные Штаты считали своим главным соперником в Китае. США примкнули к англо-японской группировке и вместе с ней выступили против России на Дальнем Востоке. Душой этой политики был госсекретарь Джон Хей.

Как пишет исследователь дальневосточной политики США А. Добров, заключение англо-японского договора 1902 года, направленного против России, было встречено в Вашингтоне с одобрением, о чем сообщал русский посол А. П. Кассини. «Президент Т. Рузвельт и госсекретарь Хей были готовы присоединиться к этому союзу. Но дружественные отношения, давно существовавшие между русским и американским народами, а также сильное изоляционистское крыло в американском конгрессе делали затруднительным заключение формального союза США с Англией и Японией против России»¹.

«Воспитание Генри Адамса» завершается смертью летом 1905 года его друга Дж. Хейя, который во время русско-

¹ Добров А. Дальневосточная политика США в период русско-японской войны. М., Госполитиздат, 1952, с. 116. См. также кн.: Белявская И. А. Буржуазный реформизм в США в начале XX в. (1900—1914 гг.). М., «Наука», 1968.

японской войны организовал финансовую и экономическую помощь Японии. Теодор Рузвельт в своем стремлении помочь Японии дошел до того, что готов был направить тихоокеанскую эскадру США, чтобы блокировать Владивостокский флот.

Однако несмотря на антирусскую кампанию американской прессы, американский народ сохранил традиционные дружеские чувства к русскому народу. Хей писал одному из своих друзей: «Я получаю письма, проклинающие меня за то, что я являюсь «орудием Англии против нашего доброго друга — России»¹. Таков был итог политической деятельности одного из ближайших друзей Генри Адамса, разделявшего его внешнеполитические взгляды и действия.

Россия постоянно влекла к себе мысли Адамса, считавшего, что эта страна и ее будущее чрезвычайно важны для Америки. В письме Г. К. Лоджу 4 августа 1891 года, утверждая, что Россия вся насквозь прогнила и вот-вот рассыплется, он выражает мысли, столь близкие экспансионистским взглядам самого Лоджа: «Если этот крах можно было бы задержать лет на двадцать пять, то мы успели бы американизировать Сибирь и это стало бы единственным делом, достойным американских капиталовложений»².

В канун русско-японской войны Адамс заявил в одном из писем из Вашингтона: «Я боюсь и страшусь, что ныне Россия движется прямо к новой французской революции. Это может нарушить жизнь всей Европы и Америки. Серьезные беспорядки в России могут смести весь цивилизованный мир... Россия полностью сошла с ума»³.

Адамс опасался, что поражение России в русско-японской войне «оставит нас всех с грудой разбитых черепков». «Ничто уже не сможет спасти Россию. Она подобна тонущему

¹ Там же, с. 313.

² Adams H. Letters, vol. 1, p. 511.

³ Ibid., vol. 2, p. 419.

кораблю и громоздит ошибки на ошибки, пока не погубит самое себя»¹. Так воспринималась русская революция глазами престарелого Адамса, чьи предки в течение полутора столетий жили перспективой «создания подлинной империи», к построению которой теперь «с аристократическим блеском» приступил его друг Джон Хей. История, однако, показала, что некоторые из его современников в Америке, такие писатели, как Джек Лондон, а затем Джон Рид, лучше понимали тенденции всемирного исторического развития. Приверженность имперским стремлениям особенно ощущается в последних главах «Воспитания».

В молодости Адамс читал книгу «Демократия в Америке» французского социолога и историка Алексиса де Токвилля, путешествовавшего в 1831—1832 годах по США в целях изучения американских тюрем. Второй том своей книги Токвилль завершил известным сравнением Америки и России: «В настоящее время существуют на земле два великих народа, которые, начав с различных точек, приближаются, по-видимому, к одной цели: это русские и англо-американцы. Оба они выросли незаметно, и, когда взоры людей были обращены в другую сторону, они вдруг заняли место в первом ряду между нациями, так что мир почти в одно время узнал об их появлении и об их величии»².

Книга Токвилля зародила в Адамсе желание побывать в России. Индивидуализму, господствующему в Америке, Токвилль противопоставляет общественное начало, преобладающее в России: «Англо-американец полагается в достижении своих целей на личный интерес и дает полную волю свободному проявлению силы и здравого смысла народа; русский видит всю силу общества в его единении и единоначалии».

¹ *Ibid.*, p. 421—422.

² Токвилль А. О демократии в Америке. Пер. В. Н. Линд. М., 1897, с. 340.

Именно англо-американский индивидуализм считает Токвиль носителем свободы и благоразумия в мире. Напротив, Россия виделась ему как воплощение тирании общества над индивидуумом. Подобное противопоставление стало общим местом в рассуждениях иностранцев о России. Отдал ему определенную дань и Адамс, хотя акценты у него поставлены на ином. В «Воспитании», как бы перефразируя Токвиля, он писал об американце: «Он никогда не знал единой церкви, единого образа правления или единого образа мысли и не видел в них необходимости... Русские развивались в диаметрально противоположных обстоятельствах. Царская империя являла собой фазу консервативно-христианской анархии, не в пример более интересную с точки зрения истории, чем Америка с ее газетами, школами, трестами, сектами, мошенничествами и конгрессменами». Россия, по мнению Адамса, не имела ничего общего ни с одной из древних или современных культур. Она была древнейшим источником европейской цивилизации, но для себя не сохранила никакой. Таков был подход Адамса к феномену России.

У Адамса существовали личные основания хорошо относиться к русскому народу. Как он рассказывал в своей «Истории», благожелательность Александра I к его деду Дж. К. Адамсу, первому посланнику в России, заложила основу его блестящей дипломатической карьеры, которая в итоге привела его в Белый дом. У самого Адамса тоже имелись достаточно веские причины испытывать благодарность к России, чья политика твердого нейтралитета во время Гражданской войны «уберегла его от многих гнетущих дней и ночей».

Как известно, в 1863 году Россия направила две военные эскадры — в Нью-Йорк под командованием контр-адмирала С. С. Лесовского и в Сан-Франциско под командованием контр-адмирала А. А. Попова — как демонстрацию поддержки борющегося Союза штатов, которому угрожала английская военно-морская мощь. Ветеран Гражданской войны Роберт Фрай писал в первые годы Советской России В. И. Ленину

о том визите русской эскадры в Нью-Йорк: «Это было такой неожиданностью для британского флота, занявшего нью-йоркскую гавань для бомбардировки Нью-Йорка, что он поднял якоря и ушел. Широкие массы Америки не забыли этого»¹.

В заключительных главах «Воспитания» Адамс развивает идеи о деградации буржуазно-демократической системы, обосновывает теорию инерции как главной исторической силы в развитии общества.

Научное понятие расы, ставшее популярным в конце XIX века, Адамс связывает с понятием инерции, то есть массы (населения страны), находящейся в движении, которое ничто не может остановить. Приверженец революции в естествознании видел исторические силы инерции в расе и женщине как символе плодородия. Таким образом, инерция расы определяется инерцией пола как выражения материнства и продолжения рода, хотя американцы всегда подчеркнуто игнорировали аспект пола и в американской литературе, по словам Адамса, почти не упоминалось женских имен, а в английской к ним проявляли предельную осторожность, словно речь шла о новом, пока еще не описанном наукой виде живых существ.

Адамс рассказывает, как однажды на званом обеде он предложил своей очаровательной соседке неожиданный вопрос. Не может ли она объяснить ему, почему американская женщина так и не состоялась. Ответ последовал без промедления: «Потому что не состоялся американский мужчина».

Размышления об инерции пола в американской культуре Адамс резюмирует в главе «Динамо-машина и Мадонна»: «Американское искусство, как и американский язык и американское воспитание, были полностью очищены от всего,

¹ Ленинский сборник. Т. 35, М., Госполитиздат, 1945, с. 293.

связанного с интимной жизнью. И в этой победе над половым влечением общество видело величайшее свое достижение, а Адамс как историк охотно с ним соглашался». Адамс мог видеть и констатировать ханжескую мораль буржуазного общества, но бороться с нею было выше его сил. Да и стал ли бы он бороться, если бы смог представить, что станет с его пуританской Америкой через каких-нибудь полвека, какое бурное развитие получит здесь сексуальная революция?

Свою теорию инерции Адамс прилагает и к рассмотрению вопросов, связанных с Россией, где он побывал летом 1901 года вместе с семейством Лоджей. Главы «Воспитания» (27 и 30), в которых речь идет об этой поездке, во время которой Адамс посетил Москву и Петербург, содержат, как обычно у Адамса, не путевые зарисовки и воспоминания, а раздумья о судьбах Америки и России.

Россия привлекала внимание Адамса и потому, что он стремился приложить к анализу ее современного состояния свою теорию расы. Как представитель литературы американского натурализма, Адамс придавал понятиям, заимствованным из естественных наук, свой историко-социологический смысл. Сила, инерция, раса — важнейшие термины натуралистической философии истории Адамса. Сила — это природа, человек, солнце и даже математическая точка, не имеющая измерений. Применив к истории принцип физики, что в основе всех явлений лежит сила, энергия, Адамс создал свою «динамическую теорию истории».

Россия представляется Адамсу подвластной закону инерции, некоей огромной «копилкой энергии, подобной Каспийскому морю», и, чтобы изучить ее и понять, не было нужды перечитывать Толстого, Тургенева и Достоевского, чтобы освежить в памяти «язвительнейший анализ человеческой инерции, когда-либо выраженной словами». Достаточно было прочесть Горького, считал Адамс.

Раса, полагал Адамс, дала России не только будущее, но и ее прошлое, которого у Америки по-настоящему не было.

Ибо зачем же еще потомку американских пуритан и наследнику американской революции искать своих предков в древней Нормандии? Чтобы отыскать их там, и совершил Адамс свое воображаемое путешествие в средневековье в книге «Шартр».

Читатели Адамса не могут не поражаться остроте его исторического пророчества относительно России и Америки как двух великих держав будущего. Однако деловитость Америки вызвала чувство беспокойства у Адамса: «Непреодолимость русской инерции означала провал идеи американского лидерства».

Примечательно суждение о будущем России, появившееся, очевидно, под впечатлением первой русской революции, во время которой создавалось «Воспитание»: «Весьма вероятно, что именно в России внезапно появится самая блестящая плеяда личностей, ведущих человечество к добру на всех предопределенных для этого этапах». И далее: «Эта инертная масса представляла три четверти рода человеческого, не говоря уже обо всем прочем, и, вполне возможно, именно ее размеренное движение вперед, а не стремительное, лихорадочно-неустойчивое в своем ускорении движение Америки было истинным движением к будущему».

В письмах о России Адамс высказывался еще более откровенно: «Россия — это великая новая стихия, которая за последние полтора века вызвала все главные перемены в мире»¹. Или в другом письме: «В грядущем будут две великие державы, и Америка достигнет этого первой. Но когда-нибудь, лет через сто, Россия поглотит даже ее. Но это уже не при моей жизни»².

Россия, по признанию Адамса, произвела на него столь большое впечатление, что стала «самым крепким орешком

¹ Samuels E. Henry Adams. The Major Phase. Cambridge (Mass.), Belknap Press, 1964, p. 142.

² *Ibid.*, p. 200.

из всех, какие он пытался раскусить». Следуя традиции европейских историков, Адамс вместе с тем говорит о «русской загадке», «русском наступлении», «русском вале», «русском натиске». Здесь уже ощущается предвестие тех трактовок России, которые получили распространение в Америке после смерти Адамса.

Последним главам «Воспитания» присуща умозрительность, когда бескрайняя любознательность автора («ум Адамса никогда не бывает в покое») сочетается подчас с дилетантизмом в науке. И наряду с этим Адамс одним из первых обосновал закон ускорения развития науки и техники как общую закономерность развития человечества. Книга Генри Адамса стала неотъемлемой частью литературы и культуры США не только благодаря своим литературным достоинствам. Она выразила сокровенные мысли и стремления американцев на пороге XX столетия, их веру в способность народа преодолеть стоящие на пути препятствия, верность идеалам демократии, как ее понимали лучшие умы Америки.

Вместе с тем книга Адамса учила личной ответственности за происходящее. В благоденствующей Америке нашего времени это напоминание об ответственности звучит особенно своевременно. У. Фолкнер, перечисляя великих американцев, посвятивших жизнь служению народу, истине и демократии, в своем «Обращении», произнесенном в 1952 году в Делта-колледже, упомянул имя прадеда Генри Адамса: «Я отказываюсь верить, что единственными наследниками Буна и Франклина, Джорджа и Букера Т. Вашингтонов, Линкольна и Джефферсона, Адамса и Джона Генри, Пола Баньяна и Джонни Яблочное Зерно, Ли и Крокетта, Хейл и Элен Келлер являются люди, чьи имена мелькают сегодня на страницах газет среди сообщений о норковых шубах, нефтяных танкерах и федеральных исках по поводу коррупции в государственных учреждениях. Я верю, что истинные наследники наших суровых предков еще в состоянии проявить чувство ответственности и самоуважения — если, конечно,

они вспомнят, что это такое»¹. Одним из таких предков, преподавших урок ответственности человека перед страной, народом, был и Генри Адамс.

В многоплановой книге «Воспитание Генри Адамса», проникнутой подчас скепсисом и горьким разочарованием в реальных плодах «американской мечты», живут устойчивые общечеловеческие ценности, которые передаются от поколения к поколению и запечатлены на лучших страницах художественной литературы Соединенных Штатов.

А. Николоюкин

¹ Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма. М., «Радуга», 1985, с. 39.

КОММЕНТАРИЙ

Русский перевод «Воспитания Генри Адамса» сделан по изданию: Henry Adams. Education of Henry Adams. N. Y., 1964. При составлении примечаний были использованы комментарии Эрнеста Сэмюэlsa к изданию, опубликованному «Хьютон Мифлин компани» в 1974 году.

«Воспитание Генри Адамса», которое сам писатель рассматривал в качестве экспериментального продолжения, имеющего самостоятельное значение, трех последних философских глав его сочинения «Мон-Сен-Мишель и Шартр» (1904), при жизни Г. Адамса вышло небольшим тиражом один раз — в виде частного издания 1907 года. Подготовленное автором — дополненное и исправленное — издание 1918 года увидело свет в соответствии с пунктом завещания после кончины автора в том же году. Оно почти сразу стало национальным бестселлером и получило в 1919 году Пулитцеровскую премию. Отобранное для перевода издание 1964 года в целом представляет собой воспроизведение текста, опубликованного в 1918 году, в котором из-за срочного ха-

рактера редакторской подготовки авторская правка, выполненная Г. Адамсом на одном из экземпляров книги 1907 года издания, была учтена лишь частично. Поэтому перевод был сверен по изданию 1974 года и по полным спискам вариантов и авторских помет, содержащимся в приложении к данному изданию.

С. 6

...ученику приходится возвращаться, минуя Жана Жака, к Бенджамину Франклину — имеются в виду «Исповедь» Руссо и неоконченная «Автобиография» Б. Франклина, впервые опубликованная полностью в 1818 году и сразу получившая мировую известность.

С. 7

16 февраля 1907 года — день рождения Г. Адамса, когда ему исполнилось 69 лет.

С. 8

Бостонский Стейт-хаус — так называемый «дом штата», «ратуша» или «капитолий» штата Массачусетс, принадлежащий законодательным органам штата. Символ административной власти.

Хэнкок, Джон (1737—1793) — крупный американский судовладелец и торговец колониального периода, один из организаторов и активистов борьбы за независимость английских колоний в Северной Америке.

Бикон-хилл — административный центр Бостона, возвышенность, на которой расположен капитолий штата Массачусетс.

Унитаризм (от лат. *unitas* — единство) — протестантское движение XVI—XX веков, приверженцы которого отрицают догмат троицы, а также вероучение о грехопадении и таинстве. С XIX века международным центром унитаризма стали Гарвардский университет и церкви Бостона.

С. 9

Адамс, Джон (1735—1826) — американский политический и государственный деятель. Был первым посланником США в Великобритании (1785—1788). С последнего десятилетия XVIII века — один из лидеров партии федералистов, представлявшей интересы консервативного крыла американской буржуазии. В 1789—1797 годах — вице-президент, в 1797—1801 годах — 2-й президент США. Его правление отмечено принятием ряда законов против революционной эмиграции из Европы, а также закона о «подстрекательстве», предусматривавшего тюремное заключение за критику правительства.

С. 10

...не каждому дано похищать колокола из Собора Парижской богородицы — имеется в виду эпизод из романа *Ф. Рабле* (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532—1552).

С. 11

Клей, Генри (1777—1852) — американский политический деятель, уроженец Виргинии, переехавший в Кентукки и занимавший умеренную позицию по вопросу о рабстве, один из инициаторов так называемых «Компромиссов 1820 и 1850 годов».

Полк, Джеймс Нокс (1795—1849) — американский политический и государственный деятель, 11-й президент США (1845—1849) от Демократической партии. Активный приверженец политики экспансионизма, приведшей к Американо-мексиканской войне (1846—1848), в результате которой США захватили почти половину территории Мексики.

С. 16

Стейт-стрит — одна из центральных улиц Бостона, символ деловой и административно-политической власти штата Массачусетс.

Адамс, Джон Куинси (1767—1848) — американский государственный деятель и дипломат. Первый посланник США в России (1809—1814), содействовал упрочению русско-американских отношений. В 1817—1824 годах государственный секретарь. В 1825—1829 годы 6-й президент США. Представитель умеренного крыла противников рабства.

С. 18

...панели из красного дерева времен королевы Анны или стулья и диваны эпохи Людовика XVI — имеются в виду стиль рококо в западноевропейском интерьере первой половины XVIII века, а также ранний французский ампир последней четверти XVIII века. *Анна (1665—1714)* — королева Великобритании и Ирландии с 1702 года. *Людовик XVI (1754—1793)* — король Франции в 1774—1792 годах. Казнен по приговору Конвента в январе 1793 года.

С. 24

«Перигрин Пикль» (1751) — роман английского писателя-просветителя *Тобиаса Смоллета (1721—1771)*.

«Том Джонс» («История Тома Джонса, найденьши») (1749) — роман *Генри Филдинга (1707—1754)* — один из лучших образцов английского реализма эпохи Просвещения.

Мор, Ханна (1745—1833) — английская писательница, автор мелодрам, трагедий и религиозно-моралистических трактатов.

С. 25

Освободительная война — американская революция, или война за независимость американских колоний против британского господства (1775—1783).

...в 1790 году, как только создано правительство США — имеются в виду первые прямые президентские выборы в Соединенных Штатах, на которых победу одержал герой

войны за независимость, главнокомандующий американской армией генерал Джордж Вашингтон.

Ромни, Джордж (1734—1802) — английский портретист, популярный в среде британской знати благодаря своей изысканной стилистике и идеализации изображаемых лиц.

...Абигайл, знаменитая женщина Новой Англии — Адамс, Абигайл Смит (1744—1818) — жена Джона Адамса. В прошлом веке в США было опубликовано несколько биографий, освещающих жизнь этой энергичной, волевой женщины, которая считалась олицетворением «настоящей американки», — добродетельной супруги и матери, превосходной хозяйки и одновременно одной из первых поборниц за женское равноправие.

С. 26

...после низложения партии федералистов — имеется в виду победа на президентских выборах 1800 года и период правления (1801—1809) Томаса Джефферсона (1743—1826) — лидера республиканцев.

Адамс, Чарлз Фрэнсис (1807—1886) — американский государственный деятель, посол США в Англии, сын президента Джона Куинси Адамса, отец Генри Адамса.

С. 27

...при дворе Регента — принц Уэльский, будущий английский король Георг IV (1762—1830) правил Великобританией как регент (1811—1820) в связи со слабоумием его престарелого отца Георга III.

Ф-стрит — столица США г. Вашингтон строилась по специальному плану: прямые улицы и проспекты, расходящиеся от Капитолия, были названы буквами латинского алфавита, а пересекающие их улицы — цифрами.

Монро, Джеймс (1758—1831) — американский государственный деятель, 5-й президент США (1817—1825). В период его президентства был декларирован принцип взаимного

невмешательства стран американского и европейского континентов во внутренние дела друг друга и принято решение о признании независимых государств Латинской Америки.

...так как в 1833 году ее муж вернулся в конгресс — дата ошибочна: Джон Куинси Адамс вновь был избран в конгресс в 1831 году.

С. 28

Банкер-хилл — возвышенность близ Чарлстауна (ныне — район Бостона), где 17 июня 1775 года произошло сражение между ополчением колонистов и воинскими частями английской регулярной армии под командованием генерала Гейджа. Английские войска, имевшие почти двукратное численное превосходство при поддержке артиллерии из Бостона и с английской эскадры, после многочисленных атак с большими потерями преодолели сопротивление американцев, занимавших высоту, и принудили их отступить. Это сражение показало возможность успешного сопротивления повстанцев регулярным войскам и содействовало подъему морального духа американской армии.

С. 29

Доктор Паркмен — по-видимому, имеется в виду врач *Джордж Паркмен* (годы жизни неизвестны), подаривший Гарвардскому университету земельный участок для строительства медицинского факультета, дядя американского историка *Фрэнсиса Паркмена* (1823—1893).

Дегранд, Питер Пол Фрэнсис (умер в 1855 году) — банкир из Филадельфии.

Стюарт, Джилберт (1755—1828) — американский портретист, автор знаменитого портрета Джорджа Вашингтона и портретов обоих президентов из семьи Адамсов.

...проповедником аскетического интеллектуального типа, каких школа Бакминстера и Чаннинга унаследовала от старого конгрегационалистского клира — Бакминстер, Джо-

зеф Стивенс (1784—1812), *Чаннинг, Уильям Эллери* (1780—1842) — новоанглийские священники, проповедовавшие унитарийские взгляды и выступавшие против ортодоксального кальвинизма. *Конгрегационалисты* — члены протестантских общин, признающие догматы кальвинизма, но выступающие за автономность каждой общины, наделенной правом выбирать руководителей и пастора, принимать и исключать членов, не имея стоящей над ней церковной власти. Г. Адамс считает, что американские унитаристы в отличие от европейских, полемизируя с кальвинизмом, унаследовали тем не менее их отношение к церковному красноречию, нравственный аскетизм, а также отдельные формы местной обрядности богослужения.

С. 30

Эверет, Эдуард (1794—1865) — американский государственный деятель, дипломат, оратор, теолог и ученый. В 1835—1839 годах — губернатор Массачусетса, ректор Гарвардского университета (1846—1849), государственный секретарь США (1852—1854).

...тьень грядущей Гражданской войны — имеется в виду война между Севером и Югом США (1861—1865) за отмену института рабства и сохранение государственного единства.

...истории Флоренции — сравнение подразумевает долгую и жестокую борьбу между флорентийскими гвельфами и гибеллинами в XIII—XIV веках, а также бесконечные кровавые войны и интриги, затеваемые династией Медичи во время их трехсотлетнего правления Флоренцией.

Хартфордская конвенция — объединение наиболее консервативных федералистов в период войны с Великобританией (1812—1814), выступавших против политики администрации президента Медисона и требовавших отделение северо-восточных штатов (Новой Англии) от федерации.

С. 32

Фротингем, Натаниэль Лэнгдон (1793—1870) — бостонский священник и религиозный писатель-унитарист.
Адамс, Джон Куинси-младший (1833—1894), Адамс, Чарлз Фрэнсис-младший (1835—1915) — братья Генри Адамса.

С. 33

Джэксон, Эндрю (1767—1845) — американский военный и государственный деятель, 7-й президент США (1829—1837). Политическая группировка, которая объединила сторонников Джэксона, положила начало Демократической партии США, опиравшейся на союз мелких и крупных землевладельцев. При Джэксоне утвердилась практика раздачи официальных должностей сторонникам партии, одержавшей победу на президентских выборах.

Уэбстер, Дэниел (1782—1852) — американский политический деятель, сенатор от штата Массачусетс. Обладал исключительным красноречием, один из основателей в 1834 году партии вигов.

С. 34

Сьюард, Уильям Генри (1801—1872) — сенатор от штата Нью-Йорк, гибкий политик, сторонник сохранения целостности США. Несмотря на свои аболиционистские убеждения, голосовал на президентских выборах 1848 и 1852 годов за кандидатов, выдвинутых вигами. В начале 60-х годов стал лидером новой партии — Республиканской. Госсекретарь в кабинете Линкольна.

С. 35

Год 1848-й во многом повторял год 1776-й — обострение противоречий внутри американского общества в середине XIX века Г. Адамс сравнивает с ситуацией, сложившейся в первые годы войны за независимость.

...противники рабства, собравшись в Буффало на съезд, учредили новую партию — имеется в виду массовая радикально-демократическая партия в США 40—50-х годов (оформилась в 1848 году), получившая название Партии фрисойлеров. Фрисойлеры выступали за бесплатную раздачу земли из общественного фонда переселенцам и запрещение продажи земли капиталистическим компаниям, против распространения рабства на новые территории. После создания в 1854 году Республиканской партии фрисойлеры вошли в состав ее левого радикально-демократического крыла.

Ван Бюрен, Мартин (1782—1862) — американский государственный деятель голландского происхождения, один из лидеров Партии фрисойлеров, 8-й президент США (1837—1841).

С. 37

Полфри, Джон Горэм (1796—1881) — американский богослов и историк, главный редактор журнала «Норт Америкэн ревью».

Уокер, Джеймс (1794—1874) — священник унитарийской церкви, профессор теологического факультета Гарварда, в 1853—1860 годы — его ректор.

Эмерсон, Ралф Уолдо (1803—1882) — американский философ-трансценденталист, публицист и поэт-романтик.

Паркер, Теодор (1810—1860) — основатель Бостонского общества конгрегационалистов — религиозной организации, противостоявшей американскому унитаризму и выдвигавшей требования социально-политических преобразований.

Брукфарм — экспериментальное поселение (1841—1847), созданное неподалеку от Уэст-Роксбери (Массачусетс) и основанное на принципах общей собственности и коллективного труда.

Философия Конкорда — философско-литературное течение, известное под названием «трансцендентализм». Его

название восходит к имени клуба — «Трансцендентальный клуб», — основанного в 1836 году Р. У. Эмерсоном, Г. Торо, Д. Рипли, Т. Паркером и др. Миру стяжательства и суесть трансценденталисты противопоставили самоусовершенствование, духовную свободу личности, достигаемые через пантеистическое чувство природы и освоение гуманитарных наук.

С. 38

Тикнор, Джордж (1791—1871) — американский филолог, специалист по романской культуре, автор много-томной истории испанской литературы (1849).

Прескот, Уильям Хиклинг (1796—1859) — американский историк, автор исследований по истории Мексики и Перу.

Лонгфелло, Генри Уодсворт (1807—1882) — американский поэт, автор «Песни о Гайавате» (1855).

Мотли, Джон Лотрон (1814—1877) — американский политический деятель и историк, автор исследования по истории Голландии.

Холмс, Оливер Уэнделл (1809—1894) — влиятельный литературный деятель Новой Англии, поэт, прозаик и критик, считавшийся законодателем литературных мнений и вкусов Бостона.

С. 39

Уитрон, Роберт Чарлз (1804—1894) — консервативный американский политический деятель, выходец из семьи первых поселенцев в Новой Англии, выступавший за сохранение института рабства на Юге во имя сохранения единства Соединенных Штатов.

Гаррисон, Уильям Ллойд (1805—1879) — главный редактор основного печатного органа американских аболиционистов — газеты «Либерейтор», где регулярно печатались его темпераментные выступления, а также статьи его соратников и единомышленников.

Филлипс, Уэндел (1811—1884), Куинси, Эдмунд (1808—1877) — общественные деятели США, публицисты, называвшие американскую конституцию документом, охраняющим интересы рабовладельцев, и требовавшие незамедлительного освобождения рабов.

Дана, Ричард Генри-младший (1815—1882) — юрист и литератор, автор книги «Два года у мачты» (1840), активный аболиционист, безвозмездно защищавший в суде беглых рабов.

Самнер, Чарлз Ф. (1811—1874) — сенатор от Массачусетса, сторонник освобождения негров, лидер «радикальных республиканцев».

С. 40

«*Атенеум*» — английский клуб деятелей литературы, науки и искусства, организованный Вальтером Скоттом и Томасом Муром в 1824 году.

Тринити-колледж — один из колледжей Оксфорда.

Эвартс, Уильям М. (1818—1901) — бостонский адвокат, политический деятель Республиканской партии, занимавший в 1877 году пост государственного секретаря США.

...*заявляя когда-нибудь место на мешке с шерстью* — то есть стать лордом-канцлером в палате лордов в английском парламенте. Мешок с шерстью — набитая шерстью красная подушка, — олицетворявший экономическое могущество Великобритании, с конца XIV века традиционно служил сидением для лорда-канцлера палаты лордов.

С. 41

Берк, Эдмунд (1729—1797) — английский публицист и политический деятель, выражавший взгляды либеральной аристократии, один из самых влиятельных политических ораторов своего времени. В последние годы жизни напуганный Великой французской революцией пришел к крайне консервативным политическим воззрениям.

Рассел, Джордж Р. (1816—1890) — один из лидеров партии фрисойлеров.

Лодж, Джон Элerton (1807—1862) — бостонский коммерсант, сторонник социально-экономических реформ.

С. 42

...*мистер Адамс* взялся издавать газету — имеется в виду бостонская газета «Бостон дейли виг».

Одновременно мистер Адамс выпускал «Труды» своего деда — 10-томное издание сочинений Джона Адамса было опубликовано в 1850—1856 годах.

С. 43

Novanglus — псевдоним, которым Джон Адамс подписывал свои антибританские статьи в «Бостон газет», полемизируя с лоялистскими публикациями, выходящими под псевдонимом *Massachusettsensis*, по-видимому, принадлежащим Д. Леонарду.

Харви, Питер (1810—1877) — состоятельный коммерсант, активист партии вигов. В списке пожертвователей перечислены фамилии крупнейших бостонских промышленников, банкиров и купцов.

С. 44

Луи-Филипп (1773—1850) — французский король (1830—1848), прозванный «королем банкиров».

Гизо, Франсуа (1787—1874) — премьер-министр Франции, по образованию историк. Выступал в защиту интересов крупной буржуазии.

Токвиль, Алексис де (1805—1859) — французский аристократ, министр внутренних дел в правительстве Луи-Филиппа. Автор знаменитого сочинения «Демократия в Америке» (1835).

Пиль, Роберт (1788—1850) — премьер-министр Великобритании (1834—1835), лидер консерваторов, способство-

вавший укреплению английской финансово-промышленной олигархии.

Маколей, Томас (1800—1859) — английский общественный деятель либерального направления, известный историк, автор классического труда «История Англии» (1849—1851).

Милль, Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ и экономист, автор многочисленных работ, среди которых особой известностью пользовался его трактат «О свободе» (1859).

Карлейль, Томас (1795—1881) — английский писатель-публицист, выступавший за нравственное возрождение современного ему общества. Вел многолетнюю переписку со своим американским другом и единомышленником — «конкордским мудрецом» Р. У. Эмерсоном.

С. 45

«*Когда бы бездны золота и силы...*» — отрывок из стихотворения Г. У. Лонгфелло «Арсенал в Спрингфилде» (1845).

С. 47

Фротингем, Октавиус (1822—1895) — унитарийский священник, выступивший против основных догматов унитаризма. Автор книги «Трансцендентализм в Новой Англии: история» (1876).

С. 48

Манн, Хорейс (1796—1859) — просветитель Новой Англии, реформатор системы школьного образования и воспитания.

«*Записки Хоси Биглоу*» (1848) — произведение Джеймса Рассела Лоуэлла, представляющее собой цикл стихотворных посланий от имени главного героя, в которых на новоанглийском диалекте, распространенном в сельской

местности, высмеиваются пороки рабовладельческой системы и захватническая война против Мексики.

Теннисон, Альфред (1809—1892) — английский поэт, чье творчество отмечено сильным влиянием поэтики позднего романтизма.

Поп, Александр (1688—1744) — английский поэт-классицист.

Джонсон, Сэмюэл (1709—1784) — английский просветитель, литературный критик, лексикограф, писатель и эссеист.

Грей, Томас (1716—1771) — английский поэт-сентименталист.

Вордсворт, Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик.

Юм, Дейвид (1711—1776) — английский философ, сформулировавший основные принципы новоевропейского агностицизма и феноменализма, а также историк, экономист и публицист.

С. 52

Бульвер-Литтон, Эдвард Джордж (1803—1873) — английский политический деятель, писатель и драматург.

«*Квентин Дорвард*», «*Айвенго*», «*Талисман*» — исторические романы В. Скотта (1771—1832).

Королева Виктория (1819—1901) — королева Великобритании с 1837 года, последняя представительница Ганноверской династии. В литературе ее имя приобрело характер символа, олицетворяющего преуспеяние, самодовольство и чопорное ханжество английских господствующих классов периода мировой торгово-промышленной гегемонии Великобритании.

С. 55

...словно он побывал на месте маршала *Тюренна* и *Генриха IV* — то есть совершил подвиги, достойные этих прославленных воинов. *Маршал Тюренн (1611—1675)* — главнокомандующий французской армии, участвовал во многих сражениях

во время Тридцатилетней войны и в последующий период, когда кардиналы Ришелье и Мазарини стремились осуществить стратегический план укрепления Франции за счет ослабления соседних государств. *Генрих IV* (1367—1413) — основатель династии Ланкастеров, силой оружия захвативший английский трон в 1399 году.

...на полях сражений в Виргинии и Мэриленде — имеются в виду бои в период Гражданской войны между Севером и Югом. Томас Марвин и Джеймс Сэвидж погибли в Виргинии в первые годы войны.

Закон о беглых рабах — был утвержден конгрессом США как компромисс между Севером и Югом в 1850 году. Согласно этому закону, беглые негры должны были насильственно возвращаться владельцам даже из тех штатов, в которых рабство было запрещено. 26 мая 1854 года многочисленная толпа бостонцев пыталась освободить арестованного на основании этого закона беглого раба Энтони Бернса и правительство штата Массачусетс распорядилось ввести в гавань для охраны судебных исполнителей регулярные армейские части.

Восстание против гербового сбора — закон о нотариальном налоге при оформлении всех видов документов в североамериканских колониях, принятый английским парламентом в 1765 году, явился первой акцией прямого налогообложения жителей колоний в пользу метрополии, вызвавшей резкое недовольство местного населения.

Бостонское чаепитие — 16 декабря 1773 года группа бостонцев, возмущенных введением со стороны английского правительства налога на ввозимый в колонии чай, переодевшись индейцами, пробралась на стоявшие в гавани корабли и выбросила за борт ящики с чаем.

Бостонская бойня — инцидент, имевший место 5 марта 1770 года, когда английские солдаты, окруженные враждебно настроенной толпой жителей Бостона, открыли огонь по безоружным людям, убив четверых и ранив еще нескольких человек.

С. 57

...незаконченный квадратный мраморный обелиск — памятник Джорджу Вашингтону, начатый в 1848 году и законченный в 1884 году.

С. 59

Колхун, Джон Колдуэл (1782—1850) — вице-президент в администрации Джона Куинси Адамса, идеолог сторонников рабовладения.

Конклинг, Роско (1829—1888) — сенатор от штата Нью-Йорк, известный своими демагогическими речами.

...любовался «треской» в палате представителей — резное деревянное изображение «священной трески» — основы материального благополучия Массачусетса в XVII веке — висело в зале заседаний палаты представителей штата.

С. 60

Тейлор, Закари (1784—1850) — американский военный и государственный деятель, главнокомандующий американской армии во время войны с Мексикой (1846—1848), 12-й президент США (1849—1850).

Горэм, Натаниэль (1738—1796) — прадед Г. Адамса по материнской линии, в 1786 году был избран президентом Континентального конгресса.

С. 62

Джефферсон, Томас (1743—1826) — американский политический и государственный деятель либерально-демократического направления, дипломат. В администрации Джорджа Вашингтона занимал пост госсекретаря; 3-й президент США (1801—1809).

Медисон, Джеймс (1751—1836) — американский государственный деятель, активный участник войны за независимость, автор проекта американской конституции 1787 года, 4-й президент США (1809—1817).

Франклин, Бенджамин (1706—1798) — американский политический и общественный деятель, публицист, ученый, писатель. Был первым послом США в Париже. Его популярность в высших кругах европейского общества способствовала росту интереса к борьбе английских колоний в Северной Америке.

Маршалл, Джон (1755—1835) — американский юрист, председатель Верховного суда США, в значительной мере определивший его статус в системе управления страной.

С. 63

Уид, Терлоу (1797—1882) — один из самых влиятельных деятелей аболиционистского движения в США, издатель «Олбени джорнел» (1830—1863), активно поддерживал партию вивгов, затем республиканскую.

Уилсон, Генри (1812—1875) — вице-президент США (1873—1875), *Эллей, Джон Бассетт (1817—1896)* — конгрессмен от штата Массачусетс, *Бермингем, Энсон (1820—1870)* — конгрессмен от штата Массачусетс, посол США в Китае (1861—1867) — активисты антирабовладельческой группировки в партии фрисойлеров. Будучи недостаточно влиятельными для того, чтобы проводить самостоятельную политику, с готовностью пользовались тактикой временных союзов, коалиций и блоков с целью противодействия закону о беглых рабах и поддержки требований о нераспространении рабства за пределами рабовладельческих штатов. В 1855 году Г. Уилсон был избран в сенат США благодаря тому, что за его кандидатуру проголосовали демократы Массачусетса.

С. 64

Бутвелл, Джордж Сьюэлл (1818—1905) — губернатор Массачусетса в 1851—1852 годах, министр финансов в администрации Гранта (1869—1873).

Таммани-холл — общество «Таммани-холл» или «Колумбийский орден» — организация, основанная 12 мая 1789 года ветераном войны за независимость Уильямом Муни как «брат-

ство патриотов, посвящающих свою жизнь независимости, свободе народа и государственной целостности Соединенных Штатов». В первой половине XIX века общество играло заметную роль в защите конституционных прав рядовых граждан США.

С. 65

Кашинг, Калев (1800—1879) — американский политический деятель, поддерживавший до начала Гражданской войны сторонников сохранения рабства на Юге.

С. 66

Четырехлетняя война — имеется в виду Гражданская война (1861—1865).

С. 70

Агассис, Александр (1835—1910) — сын швейцарского геолога, ихтиолога и физиолога *Луи Агассиса (1807—1879)*, преподававшего в Гарвардском университете. Александр впоследствии сам стал крупным геологом и горным инженером, составившим значительное состояние на исследовании и разработке природных ископаемых Северной Америки. По его советам, Г. Адамс закупал акции горнодобывающих компаний, благодаря чему в 70-е годы его годовой доход вырос до 25 000—50 000 долларов.

Брукс, Филлипс (1835—1893) — влиятельный бостонский священник.

Ричардсон, Генри Гобсон (1838—1886) — американский архитектор.

Холмс, Оливер Уэнделл-младший (1841—1935) — сын писателя О. У. Холмса, американский юрист и публицист, член Верховного суда (1902—1925).

С. 72

Ли, Роберт Эдвард (1807—1870) — американский военачальник, генерал, главнокомандующий армии южан во время Гражданской войны в США.

С. 75

Скотт, Уинфилд (1786—1866) — главнокомандующий армии США в 50-е годы, участвовал в многочисленных сражениях против англичан, индейцев и мексиканцев.

С. 76

Конт, Огюст (1798—1857) — французский философ-позитивист и социолог.

С. 77

Лоуэлл, Джеймс Рассел (1819—1891) — американский поэт, преподаватель литературы в Кембридже.

Арнолд, Мэтью (1822—1888) — английский поэт, литературный критик и публицист.

Ренан, Эрнст (1823—1890) — французский историк и философ.

С. 78

Вторая Империя — правление (1852—1870) Наполеона III, низложенного после поражения французской армии в период Франко-прусской войны в результате Сентябрьской революции 1870 года.

С. 79

...мрачные дни 1856 года — имеется в виду обострение политической обстановки в США в связи с попытками крупных землевладельцев распространить рабство на территорию ряда юго-западных штатов. Эти попытки привели, в частности, к вооруженным столкновениям в Канзасе.

С. 80

Фелтон, Корнелиус (1807—1862) — преподаватель древнегреческого языка, ректор Гарварда (1860—1862).

С. 81

Ла Фарж, Джон (1835—1910) — американский художник-монументалист.

Сент-Годенс, Огюст (1848—1907) — американский скульптор.

Кинг, Кларенс (1842—1901) — американский геолог и горный инженер, сыгравший значительную роль в истории геологического изучения Северной Америки и промышленной разработки ее полезных ископаемых.

Хей, Джон (1838—1905) — американский юрист, дипломат, литератор и государственный деятель. В 1860—1865 годах выполнял обязанности личного секретаря А. Линкольна, государственный секретарь США (1896—1905) в администрации Т. Рузвельта.

С. 86

«Маисовый пудинг» — студенческий драматический кружок в Гарвардском университете, названный так по одноименной поэме Дж. Барлоу (1793); участие в нем в XIX веке считалось весьма престижным.

Триденский собор (или Триентский) — вселенский собор католической церкви, заседавший в 1545—1547, 1551—1552, 1562—1563 годах в г. Триент (лат. Tridentum). Был создан в связи с успехами Реформации. Его постановления закрепили все традиционные догматы католического верования, укрепили организационно католическую церковь, усилили власть епископов и дисциплину монашеских орденов. Важнейшим результатом деятельности собора стало усиление гонений на протестантов, введение строгой церковной цензуры и подчинение духовной жизни в ряде государств Европы католической церкви. Решения Триденского собора надолго определили деятельность католической церкви эпохи Контрреформации. Сравнение Г. Адамса — классический риторический прием преувеличения, поскольку для протестантов Триденский собор стал символом смертельной опасности.

Сэр Энтони Абсолют — персонаж комедии английского драматурга Ричарда Шеридана «Соперники» (1775).

Доктор Оллапод — персонаж пьесы английского драматурга Джорджа Колмена «Бедный джентльмен» (1801).

С. 89

Джеймс, Джордж Пейн Рейнсфорд (1799—1860) — популярный английский романист, автор пародий на произведения У. Теккерея.

С. 90

Крошка Нелл — героиня романа Ч. Диккенса «Лавка древностей» (1840).

...взирая на разгром своих полков — имеется в виду неудачная вылазка, предпринятая королевскими войсками 24 сентября 1645 года из Честера, осажденного армией парламента.

«Черный район» — промышленная зона Англии, простирающаяся к северо-западу от Бирмингема и изобилующая шахтами и металлургическими заводами.

Бауэн, Фрэнсис (1811—1890) — американский философ и экономист, критиковавший позитивистскую философию и социалистические учения.

...его сатанинское величество, рыцарь свободной торговли Джон Стюарт Милль — метонимия обыгрывает популярность социально-экономического учения Милля в земном «аду» — в среде промышленников и привилегированной части пролетариата «Черного района».

С. 91

Стрэнд — фешенебельная улица в центре Лондона между Трафальгарской площадью и Флит-стрит.

С. 92

Ван Остаде, Адриан (1610—1685), Теньерс, Давид (1610—1690) — нидерландские художники.

Герцог Альба (1508—1582) — испанский наместник Нидерландов, главнокомандующий испанской армии, усмирившей эту восставшую провинцию Испании.

«Снятие с креста» — полотно Петера Пауля Рубенса (1577—1640), украшающее Антверпенский собор.

С. 93

Гай (или Кай) (II век н. э.) — крупный древнеримский юрист, автор ряда теоретических сочинений по юриспруденции: «Институты», «Эдикты правителей», «Комментарии к двенадцати таблицам» и др. Его биография и даже полное имя нам неизвестны. Работы Гая были утрачены и обнаружены лишь в 1816 году и в течение всего XIX века использовались в университетах Западной Европы в качестве учебных пособий.

С. 94

Пандекты — 50 книг основных законоведческих положений, составленных по требованию византийского императора Юстиниана I (VI век) и составивших основу римского гражданского права.

С. 95

Унтер-дер-Линден — главный проспект Берлина, на котором располагались дворцы, музеи, министерства, университет и иностранные посольства.

«*Вильгельм Телль*» (1829) — опера Россини по мотивам одноименной трагедии Шиллера.

С. 96

Вильгельм I (1797—1888) — регент с 1858 года и король Пруссии с 1861 года.

Фридрих Вильгельм IV (1795—1861) — прусский король (1849—1858).

С. 102

Корреджо, Антонио (1489—1534) — итальянский художник, глава пармской школы живописи.

С. 105

Макиавелли, Никколо (1469—1527) — государственный деятель периода Флорентийской республики (1498—1512),

политический мыслитель и писатель. Его знаменитое сочинение «Государь» (1513) — первый в истории европейской мысли образец политического реализма, в котором особое внимание уделяется реальным обстоятельствам, человеческой психике, побудительным причинам, законам общественного развития, в свое время наделало много шума, и Макиавелли, не разобравшись в существе вопроса, стали считать проповедником аморализма, выражавшегося в прагматизме, коварстве, себялюбии, ловкости и жестокости в политике. Именно в данной связи Г. Адамс и приводит имя Н. Макиавелли. Интересно отметить, что в 1559 году католическая церковь внесла сочинения Макиавелли в «Индекс запрещенных книг».

С. 107

«Инициалы» (1850) — исторический роман в духе В. Скотта, сочиненный баронессой Таульфезус.

С. 108

Пампелли, Рафаэль (1837—1923) — американский геолог и путешественник, друг Г. Адамса с университетской скамьи.

С. 112

Риенци, Кола ди (1313—1354) — вождь народных масс, свергнувших в 1347 году власть римской аристократии. Через несколько лет сам был убит толпой как тиран.

Гарибальди, Джузеппе (1807—1882) — вождь итальянских патриотов, восставших против австрийского владычества.

Гракс, Тиберий (162—133 гг. до н. э.) — римский народный трибун, сумевший провести законопроект о земельной реформе в пользу мелких землевладельцев. Был убит толпой, подстрекаемой знатью, которая обвинила его в стремлении к царской власти.

Аврелий, Марк (212—275) — римский император и писатель, приверженец стоической школы. В философском сочинении «Наедине с собой» выражал стремление к моральному самоусовершенствованию и неверие в возможность улучшения политического строя.

Гиббон, Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор классической работы «История упадка и разрушения Римской империи».

С. 113

Тацит (55—117) — древнеримский историк, крупнейший представитель «серебряного века» римской историографии.

Кавур, Камилло (1810—1861) — премьер-министр Италии с 1852 года до конца своей жизни.

Пальмерстон, Генри Темпл (1784—1865) — премьер-министр Великобритании с 1855 года. Г. Адамс был резко настроен против Пальмерстона за непоследовательность политики его кабинета по отношению к Северу во время Гражданской войны в США.

Уайлд, Гамильтон (1827—1884) — американский живописец, переехавший на постоянное жительство в Европу. Его мастерская была излюбленным местом встреч американцев, путешествующих или проживающих за границей.

С. 114

Браунинг, Роберт (1812—1889) — английский поэт постромантического направления. *Пиппа* — персонаж драматической поэмы Р. Браунинга «Пиппа проходит» (1841).

Белгрейвия — фешенебельный район Лондона.

Франциск Ассизский (1182—1226) (настоящее имя — *Джованни Бернардоне*) — итальянский религиозный деятель, поэт, посвятивший себя с 1206 года проповедованию евангельской бедности. Отказался от отцовского наследства. В 1207—1209 годы основал общество «меньших братьев»

(миноритов), преобразованное во францисканский монашеский орден. В качестве странствующего проповедника побывал в Провансе, Испании, Египте и Палестине.

Стори, Уильям Уэстмор (1819—1895) — американский скульптор неоклассицистического направления в архитектуре США XIX века.

Момзен, Теодор (1817—1903) — немецкий археолог и историк, изучавший историю Древнего Рима.

С. 115

Гарибальди со своей «тысячей» двинулся на Палермо — начало восстания краснорубашечников, как называли отряд добровольцев под командованием Гарибальди, насчитывал в своем составе 1070 человек. Г. Адамс неточен: город Палермо был взят 25 мая 1860 года.

С. 117

Кондотьер — командующий профессиональных наемных войск, услугами которых в XIV—XVI веках широко пользовались итальянские города-республики, а также многочисленные итальянские правители.

Июльскую жару — следует читать: «июньскую». В июле 1860 года Г. Адамс был уже в Париже.

С. 118

...вкус к бордо и бургундскому, к разным приправам... — Г. Адамс называет самые известные французские вина, самые дорогие парижские рестораны, лучшие театры и самых выдающихся французских актеров, певцов и танцоров того времени.

С. 119

Линкольн, Авраам (1809—1865) — американский политический и государственный деятель, выразивший интересы наиболее прогрессивной части американской буржуазии, 16-й президент США (1861—1865).

С. 120

Сецессия (от лат. *secessio* — уход, удаление) — в Древнем Риме — выход плебеев из состава римской общины, оставлявший город фактически без военной защиты. По аналогии в период, предшествовавший Гражданской войне в США и во время этой войны сторонники отделения рабовладельческих штатов от федерации несколько помпезно называли свое движение «сецессией» и соответственно сами получили прозвище «сецессионисты».

Блэкстон, Уильям (1723—1780) — юрист, автор «Комментариев к законам Англии» (1765—1768). Это сочинение долгое время служило пособием по изучению курса общего права в Великобритании и США.

С. 122

Оксеншерн, Аксель Густафссон (1583—1654) — шведский аристократ, государственный деятель периода Тридцатилетней войны: канцлер с 1612 года, главнокомандующий шведской армии после гибели Густава Адольфа в 1632 году.

С. 123

Уошберн, Израэл (1813—1883) — конгрессмен от штата Мэн, один из создателей Республиканской партии США в 1854 году.

С. 124

Кинг, Престон (1806—1865) — сенатор-республиканец от штата Нью-Йорк.

Девис, Генри Уинтер (1817—1865) — юрист из Балтимора, лидер группировки «независимых конгрессменов».

Лавджой, Оуэн (1811—1864) — священник, конгрессмен от штата Иллинойс, активно боровшийся против рабовладения.

Реймонд, Генри (1820—1869) — видный деятель Республиканской партии, один из основателей и издатель газеты «Нью-Йорк таймс», вице-губернатор штата Нью-Йорк.

С. 125

Бентон, Томас Харт (1782—1858) — американский политический деятель, единомышленник президента Эндрю Джэксона, стремившегося форсировать освоение американского Запада.

Конклинг, Роско (1831—1902) — сенатор от штата Нью-Йорк, активист Республиканской партии.

Годкин, Эдвин Лоренс (1831—1902) — журналист, специализировавшийся в области внутренней и внешней политики США, издатель и редактор журнала «Нейшн».

Мальволио — персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь».

С. 128

Хилдрет, Ричард (1807—1865) — американский политический деятель, историк — автор многотомной «Истории Соединенных Штатов Америки» (1849—1856) — и писатель. Из его литературных произведений особую известность получил роман «Белый раб» (1837).

С. 129

...рабовладельческие штаты силились вырвать Виргинию из Союза — штат Виргиния по вопросу о рабстве занимал промежуточную компромиссную позицию: с одной стороны, рабство в самом штате было юридически закреплено, с другой — здесь не имелось крупных хлопковых плантаций, нуждавшихся в дешевой рабочей силе закабаленного негритянского населения.

С. 133

Грей, Хорейс (1828—1902) — бостонский юрист, с 1881 года — член Верховного суда США.

«Глубокоуважаемые лорды и джентльмены...» — Адамс имитирует обращение к читателям из Введения У. Блэкстона к его «Комментариям».

С. 134

...голова монаха Бэкона возвестила — имеется в виду комический эпизод из пьесы Роберта Грина «Досточтимая история монахов Бэкона и Бангея» (1594).

С. 135

Уилсон, Чарлз Лаи (1816—1878) — редактор «Чикаго дейли джорнел».

С. 136

...разразившаяся 13 апреля буря — имеется в виду захват 13 апреля 1861 года форта Самтер войсками южан-конфедератов, что послужило поводом к началу Гражданской войны в США.

Дюпон, Сэмюэл Фрэнсис (1803—1865) — американский адмирал, командующий эскадры в Южной Атлантике. В ноябре 1861 года успешно атаковал прибрежный город в штате Южная Каролина — Порт-Ройал.

С. 137

...необычайно опасной дипломатической миссией, увенчавшейся беспрецедентным успехом — в 1778 и 1780 годах Джон Адамс вел переговоры в Париже, добиваясь от французского правительства реальной помощи восставшим североамериканским колониям Великобритании. В начале 1780-х годов он также представлял Континентальный конгресс США в Лондоне как делегат «мятежников». Благодаря активной деятельности Джона Адамса Голландия в 1782 году официально признала Соединенные Штаты независимым суверенным государством.

...Джон Куинси Адамс... возвратился почти с таким же успехом — Джон Куинси Адамс был первым американским послом в России, способствовавшим укреплению русскоамериканских отношений, и главой делегации США в Генте при заключении в 1814 году мирного договора с Великобританией.

С. 138

Клей, Кассиус Марселлас (1810—1903) — американский политический деятель из Кентукки, активист аболиционистского движения.

...семья ранних христиан-мучеников, готовых к тому, что их бросят на съедение львам под ликующим взором Тиберия — Пальмерстона — Г. Адамс сравнивает премьер-министра Великобритании с древнеримским императором Тиберием Клавдием Нероном (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.), вошедшим в историю как кровавый тиран и гонитель христиан.

С. 139

Дэвис, Джефферсон (1808—1889) — президент Конфедеративных Штатов Америки в 1861—1865 годах, т. е. объявивших себя независимыми от федерального правительства южных штатов.

Гладстон, Уильям Юарт (1809—1898) — министр финансов в кабинете Пальмерстона, впоследствии — премьер-министр Великобритании.

Расселл, Джон (1792—1878) — английский политический и государственный деятель.

С. 142

Даунинг-стрит — улица, на которой расположена резиденция премьер-министра Великобритании.

С. 143

Сент-Джеймский клуб — аристократический клуб, где собирались английские и аккредитованные в Лондоне иностранные дипломаты.

Мисс Бердет-Кутс (1814—1906) — богатая и влиятельная английская аристократка, известная своими светскими приемами и филантропической деятельностью.

Герцогиня Сазерлендская (Гарриет Элизабет Джорджиана Ливсон-Гауэр) (1806—1868) — придворная дама и близкая подруга королевы Виктории, опубликовавшая в 1853 году

протест английских дам против американского института рабовладения.

Молодой герцог (Джордж Гренвилл Уильям Сазерленд Ливсон-Гауэр) (1828—1882) — сын герцогини Сазерлендской.

С. 144

...у другой вдовствующей герцогини — Сомерсетской, когда эта престарелая дама... — имеется в виду мать Первого лорда Адмиралтейства Эдварда Адольфа, герцога Сомерсетского, которой в 1861 году было около 70 лет.

Первое сражение при реке Булл-Ран (21 июля 1861 года) закончилось паническим бегством необученных частей северян-федералистов через Потомак. Войска конфедератов едва не захватили в это время столицу США — г. Вашингтон.

С. 145

...телеграмма агентства Рейтер о захвате Мэзона и Слайделла на борту английского судна — 8 ноября 1861 года капитан американского военного корабля «Сан Хасинто» Чарлз Уилкс остановил английское почтовое судно «Трент» и арестовал посланников правительства южных штатов Джеймса Мюррея Мэзона, плывшего в Лондон, и Джеймса Слайделла, направлявшегося в Париж. Буря возмущения, вызванная в Великобритании захватом английского корабля, улеглась, когда вашингтонское правительство 26 декабря 1861 года официально осудило действия Чарлза Уилкса и освободило посланников.

Милнс, Монктон, барон Хьютон (1809—1885) — политический деятель и литературный меценат, опубликовавший в молодости несколько сборников своих стихотворений и биографию Джона Китса.

Форстер, Уильям Эдуард (1818—1886) — английский промышленник и политический деятель, решительно поддерживавший американский Север. Милнс и Форстер независимо друг от друга утверждали, что старший Адамс воспри-

нял известие о захвате южан-посланников совершенно невозмутимо.

В этот момент... заболел и умер принц-консорт — принц Альберт (1819—1861) — муж королевы Виктории.

С. 146

Паркс, Джозеф (1796—1865) — английский юрист и политический деятель.

С. 147

Уилкс, Чарлз (1798—1877) — американский морской офицер и исследователь, участник Гражданской войны.

Делейн, Джон Таддеус (1817—1879) — редактор лондонской газеты «Таймс».

С. 148

Стёргис, Рассел (1805—1887), Пибоди, Джордж (1795—1869), Морган, Юниус Спенсер (1813—1830), Бейтс, Джошуа (1788—1864) — английские банкиры, выходцы из Новой Англии, оказывавшие Северу в период Гражданской войны финансовую и политическую поддержку.

Беринг, Томас (1799—1873) — английский банкир, член парламента.

С. 149

...эти «медянки», как их называли в Америке — так в период Гражданской войны презрительно называли жителей центральных, северных и западных штатов, симпатизировавших южанам.

С. 151

За маской чуть ли не Фальстафа и смехом Силена... — *Фальстаф* — комический персонаж пьес Шекспира «Генрих IV», «Генрих V» и «Виндзорские проказницы» — олицетворение вульгарно-материалистического, чувственного, бездуховного начала. *Силен* — сатир в греческих мифологических преданиях, постоянный спутник бога вина Дионисия. Смех Силена символизировал беззаботный сенсуализм.

Брум, Генри (1778—1868) — крупный английский юрист, один из основателей влиятельного журнала «Эдинбург ревью» (1805) и постоянный ее корреспондент, лорд-канцлер в 1830—1834 годах.

Мейфер — фешенебельный квартал Лондона, прилегающий к Гайд-парку.

Хейуорд, Эйбрехем (1801—1884) — английский журналист.

Винеблз, Джордж Стоувин (1810—1880) — английский писатель и юрист.

Рив, Генри (1813—1895) — английский журналист и литератор, главный редактор «Эдинбург ревью» с 1855 года.

С. 152

Арнолд, Джейн Марта (1821—1899) — сестра Мэтью Арнолда, дочь священника-педагога Томаса Арнолда.

Брайт, Джон (1811—1889) — английский политический деятель, сторонник политики свободной торговли и парламентских реформ, превосходный оратор.

Кобден, Ричард (1804—1865) — английский политический деятель, боровшийся за снижение торговых налогов.

С. 153

...проход палаты общин — свободное пространство в зале заседаний, отделяющее скамьи лояльно настроенных по отношению к правительству парламентариев от членов оппозиции.

Купер, Энтони Эшли, граф Шефтсбери (1801—1885) — английский государственный деятель, поддерживавший американских аболиционистов до начала Гражданской войны. Во время войны он стал выступать за прекращение боевых действий между Севером и Югом, считая войну бесполезной бойней. Его взгляды разделяли многие политические деятели Великобритании, названные здесь Г. Адамсом «группой».

Кемпбелл, Джордж Дуглас, герцог Аргайлский (1823—1900) — политический деятель Великобритании, один из лидеров либеральной партии, известный публицист.

Его жена — Ливсон-Гауэр, Элизабет (1824—1878) — дочь герцогини Сазерлендской.

С. 154

Лорд Кавендиш, Фредерик Чарлз (1836—1882) — личный секретарь лорда Грэнвилля, племянник герцогини Сазерлендской.

Стэнли, Эдвард Люлф (1839—1929) — младший сын баронессы Олдерли, член одного из самых богатых семейств английских лендлордов, приумножавший свое состояние за счет дивидендов от промышленных предприятий, политический деятель, сторонник реформы английской системы образования.

Маркиз Лорн, Джон Дуглас Сазерленд Кемпбелл (1845—1914) — сын герцога Карлайльского, английский политический деятель.

Тревелиян, Чарлз Эдвард (1806—1886) — губернатор Мадраса, министр финансов Индии, активный сторонник социальных реформ.

Лайелл, Чарлз (1797—1875) — английский геолог, в период Гражданской войны в Северной Америке симпатизировавший федералистам.

Хьюз, Томас (1822—1896) — английский политический деятель, активист движения христианских социалистов, убежденный сторонник Севера, автор популярного в то время дидактического романа «Школьные годы Тома Брауна» (1857).

С. 156

Генерал Маккеллан, Джордж Бринтон (1826—1885) — по приказу президента А. Линкольна был назначен в 1861 году главнокомандующим сухопутных войск северян. В период

весенней кампании 1862 года он не смог взять Ричмонда — столицы Конфедерации — и был снят с должности главнокомандующего.

Пэлл-Мэлл — фешенебельная улица Лондона, на которой расположены многочисленные клубы, где в XIX веке собиралась английская аристократия, в целом враждебно настроенная по отношению к федералистам.

...известие о втором Булл-Ране — сражение произошло 29—31 августа 1862 года и вновь закончилось крупным поражением северян.

С. 157

...копши с целой горы аффидевитов о крейсерах мятежников — по тайному договору с конфедератами Великобритании помогала южным штатам прорывать морскую блокаду, организованную флотом северян. Несколько боевых и транспортных судов были проданы с разрешения правительства английскими судовладельцами южанам, один броненосец строился на британской верфи по специальному заказу Конфедерации и, кроме того, для перевозки оружия и боеприпасов в южные штаты из Европы использовались английские корабли.

Дадли, Томас Хейнс (1819—1893) — американский государственный деятель, представитель одной из старейших семей бостонских первопереселенцев. В 1861—1872 годах был американским консулом в Ливерпуле. Он докладывал, что в период Гражданской войны из этого порта в южные штаты было отправлено не менее 130 пароходов.

С. 158

...некое чудище в образе Авраама Линкольна — в начале Гражданской войны в Северной Америке Линкольн у англичан был весьма непопулярен в связи с тем, что возложил на себя полномочия диктатора, т. к. это привело к ряду нарушений в области демократических свобод и конституционных прав граждан: к незаконным арестам, заключениям и т. п.

Государственный секретарь США Сьюард в начале войны позволил себе несколько открыто враждебных по отношению к Великобритании высказываний, часть из которых просочилась в английскую прессу.

Холланд, Генри (1788—1873) — лечащий врач королевы Виктории.

Хэмpton, Сара Бакстер (1833—1862) — У. Теккерей встретился с ней в 1852 году в Нью-Йорке. Она умерла в Колумбии (Южная Каролина). *Этель Ньюком* — героиня романа Теккерей «Ньюкомы» (1855).

С. 159

...отвечали молчанием на грубые шотландские остроты Карлейля — имеются в виду антифедералистские высказывания Т. Карлейля, опубликованные английской печатью в 1862 году.

С. 160

Великий Лама (иначе Далай-Лама) — глава буддийской секты Сакья-ба, религиозный и светский правитель Тибета.

...в известном меморандуме от 12 августа 1850 года... — в заявлении от 12 августа 1850 года королева Виктория потребовала, чтобы премьер-министр Пальмерстон «по своему усмотрению не изменял» санкционированные ею решения.

С. 161

Бруннов, Филлипп Иванович (1797—1875) — русский дипломат, посол в Великобритании с 1860 года. Г. Адамс неверно передает его титул: Ф. И. Бруннов был графом, а не бароном.

С. 163

Бортвик, Алджернон (1830—1908) — владелец газеты «Морнинг пост».

Смех, которым он смеялся в 1810 году и на Венском конгрессе — Г. Адамс имеет в виду участие Пальмерстона в переговорах с Наполеоном по так называемому «голландскому вопросу» в 1810 году. Венский конгресс 1814—1815 гг., созванный по окончании наполеоновских войн, вошел в историю как символ политического стяжательства и цинизма. Победители, вновь устанавливая европейские границы, старались урвать у соседей лишние куски территории.

Питт, Уильям (1759—1806) — английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1790-е годы.

Уэлсли, Артур, герцог Веллингтон (1769—1852) — английский полководец, одержавший ряд побед над наполеоновскими войсками в Испании, главнокомандующий союзных армий в битве при Ватерлоо (1815).

С. 164

Джослин, Фрэнсис Элизабет (1819—1900) — дочь леди Пальмерстон.

Г. Адамс перечисляет послов иностранных государств, аккредитованных в Лондоне в начале 1860-х годов: турецкого — *Константин Музурус (1807—1891)*, итальянского — *маркиз д'Азелио (1816—1890)*, австрийского — *Рудольф Анпони (1812—1876)*, бельгийского — *Сильвен Ван де Вейер (1802—1874)*, датского — *Торбен ван Билле*, греческого — *Спиридон Трикупи (1788—1873)*.

С. 165

Трафальгарская битва — крупнейшее сражение английского флота в период наполеоновских войн под командованием адмирала Нельсона состоялось 21 октября 1805 года и закончилось разгромом военно-морских сил наполеоновской Франции.

Батлер, Бенджамин Франклин (1818—1893) — военный комендант Нового Орлеана после захвата его войсками федералистов в мае 1862 года. В связи с многочисленными инци-

дентами издал приказ, что с любой дамой, проживающей в Новом Орлеане, оскорбляющей честь и достоинство военнослужащих армии северян, следует обращаться как с публичной женщиной. В свою очередь президент Конфедерации Южных Штатов Джефферсон Дэвис огласил заочный смертный приговор генералу Батлеру.

С. 168

Стёрлинг, Максвелл, Уильям (1818—1878) — политический деятель Великобритании, историк, автор ряда работ по историографии Испании.

Олифант, Лоренс (1829—1888) — первый секретарь английского представительства в Японии в 1861 году, автор популярного в то время сатирического романа «Пиккадили» (1870) и записок путешественника, вышедших отдельными изданиями.

С. 169

...сотрудничал в журнале «Сова» — Г. Адамс неточен: журнал «Сова», основанный Э. Бортвиком, начал выходить в 1864 году, то есть через два года после описываемого им знакомства.

Стивенсон, Роберт Льюис (1850—1894) — английский писатель и поэт неоромантического направления в литературе рубежа веков, автор всемирно известного «Острова сокровищ». Г. Адамс встретился с ним в 1890 году на Самоа.

Свинберн, Алджернон Чарлз (1837—1909) — английский драматург, критик, поэт, экспериментировавший с просодией, стихотворными формами и жанрами.

С. 170

...американо-германский варвар — шутовское сочетание двух образных стереотипов того времени: «простака-американца за границей» и «дикого германца» периода захвата англосаксами Британских островов.

С. 171

Стаббс, Уильям (1825—1901) — приходской священник, историк. В период обучения в Оксфорде Суинберн был командирован в приход Стаббса — по английским понятиям в глухую провинцию — для чтения курса лекций по современной истории. Он прибыл на место в воскресенье утром, и Стаббс, учитывая, что гость устал с дороги, освободил его от посещения воскресной проповеди. Облачившись в алый халат и расшитые золотом красные шлепанцы, Суинберн вышел на крыльцо посмотреть на местных прихожан, направлявшихся в церковь. Вокруг него быстро собралась толпа, и они молча разглядывали друг друга до тех пор, пока Стаббс, уставший ждать свою паству, не велел вновь ударить в колокол.

С. 172

Вальпургиева ночь — ночь перед языческим праздником начала весны, на который, по немецкому поверью, ежегодно собираются все ведьмы и колдуны. Названа по имени средневековой немецкой монахини, мощи которой по преданию предохраняли от колдовских чар.

Комета Энке — комета, орбита которой была вычислена немецким астрономом Иоганном Францем Энке (1791—1865).

Мюссе, Альфред де (1810—1857) — французский поэт и драматург-романтик.

С. 173

Лэндор, Уолтер Сэвидж (1775—1864) — английский поэт и прозаик романтического направления.

Женевская конференция — международный арбитраж, на котором в 1872 году рассматривался иск США к Великобритании. Главой американской делегации был отец Г. Адамса. Суть иска состояла в том, что в период Гражданской войны боевой корабль конфедератов — броненосец «Алаба-

ма» — заходил в английские порты. Конференция признала иск правомочным и вынесла решение, согласно которому Великобритания должна была выплатить США компенсацию в размере 15 миллионов долларов.

С. 174

Пикеринг, Бэзил Монтегю (1836—1878) — первый издатель поэтических произведений Суинберна.

Адамс одним из первых приобрел экземпляр у Моксона — «Стихи и баллады» (1866) Суинберна были опубликованы издательством «Дж. Б. Пейн и Артур Моксон».

С. 175

Эшли, Энтони Ивлин (1836—1907) — английский общественный деятель и литератор, автор биографии лорда Пальмерстона.

С. 179

Бетелл, Ричард, лорд Уэстбери (1800—1873) — английский аристократ, канцлер и верховный судья. Один из самых консервативных политиков в кабинете Пальмерстона.

Дизраэли, Бенджамин (1804—1881) — писатель и государственный деятель Великобритании викторианского периода, оппонент Пальмерстона, дважды занимавший пост премьер-министра.

Сесил, Роберт Артур Тобот Гаскойн (1830—1903) — английский экономист, политический деятель консервативного направления.

С. 180

Парижская декларация — заявление, принятое при подписании Парижского мирного договора по окончании Крымской войны (1856). В декларации устанавливались границы территориальных вод государств в военное и мирное время, гарантировалась безопасность торговым судам нейтральных стран, запрещалась контрабандная поставка оружия воюющим государствам и т. д. В 1861 году по предложению государств

венного секретаря Сьюарда США вслед за многими другими государствами решили подписать Парижскую декларацию. Правительство Великобритании, однако, при этом выдвинуло условие, чтобы действие соглашения не распространялось на поставку оружия Конфедерации Южных Штатов, поскольку данная война носит не международный, а внутренний характер.

Палмер, Ранделл, лорд Селборн (1812—1895) — английский государственный деятель.

С. 181

Ливсон-Гауэр, Джордж, лорд Гранвилл (1815—1891) — английский дипломат и государственный деятель — президент Государственного совета.

Броненосец «№ 290» — по прибытии в Северную Америку этот корабль получил название «Алабама».

Кольер, Роберт Поррет (1817—1886) — английский адвокат, юрисконсульт Адмиралтейства.

С. 187

Клинтон, Генри, герцог Ньюкасл (1819—1873) — английский государственный деятель, внук генерала Генри Клинтона, командовавшего британской армией во время войны за независимость в Северной Америке.

Весть о сражении при Антьетаме и отступлении генерала Ли в Виргинию — 17 сентября 1862 года войска конфедератов потерпели первое ошутимое поражение и были вынуждены оставить Мэриленд.

Прокламация об освобождении рабов — 22 сентября 1862 года Линкольн ознакомил членов своей администрации с проектом закона об освобождении всех рабов на территории США. Закон вступил в силу с 1 января 1863 года.

С. 188

...риск вызвать бурю нетерпения в текстильных городах Ланкашира — в течение почти всего XIX века американский

Юг был основным поставщиком хлопка для английской промышленности. Морская блокада портов Конфедерации во время Гражданской войны приводила к срыву поставок сырья и сокращению производства в текстильной промышленности Великобритании.

С. 190

Льюис, Джордж Корнуэлл (1806—1863) — английский лингвист, историк и публицист, государственный деятель. В описываемое время военный министр в кабинете Пальмерстона (1861—1863).

С. 191

Лорд Лайонс, Ричард Бикертон Пемел (1817—1887) — английский государственный деятель и дипломат, посол Великобритании во Франции, сторонник строгого нейтралитета в период Гражданской войны в США.

С. 193

Грей, Джордж (1799—1882) — английский государственный деятель, министр внутренних дел в кабинете Пальмерстона.

С. 194

Морли, Джон (1838—1923) — английский политический деятель, журналист и литератор, автор ряда жизнеописаний (Гладстона, Кобдена, Уолпола) и работ о французских просветителях-энциклопедистах. Биография Гладстона была опубликована им в 1903 году.

С. 197

Джеймс, Генри (1843—1916) — американский писатель, друг Г. Адамса, автор социально-психологических романов, в которых анализируются противоречия сознания и тончайшие оттенки душевных побуждений героев. Кроме того, психологи-

ческий анализ у Г. Джеймса осложнен техническим приемом освещения событий и героев с точки зрения одного или нескольких наблюдателей.

С. 198

«Панч» — английский иллюстрированный юмористический журнал-еженедельник, основанный в 1841 году и выходящий до настоящего времени.

С. 203

Высокая церковь — это понятие появилось во второй половине XVI века. Первоначально означало принадлежность к государственной англиканской церкви в противовес независимым или сектантским общинам, а также связанным с ними учениям, широко распространенным в нижних слоях английского народа. По окончании революции 1640—1649 годов, приведшей к законодательному признанию всех протестантских вероучений, не нарушающих юридические и моральные установления, понятие «Высокая церковь» стало синонимом консервативного течения в самой англиканской церкви — организации, субсидируемой правительством и имеющей многочисленные связи с государственным аппаратом.

С. 205

Виксбург — город на реке Миссисипи, расположенный между Мемфисом и Нью-Орлеаном. В период Гражданской войны имел важное стратегическое значение. Осада хорошо укрепленного города войсками северян под командованием генерала Гранта началась 18 мая 1863 года, и 4 июля гарнизон конфедератов численностью 37 000 солдат был вынужден капитулировать. Главное сражение в период войны между Севером и Югом произошло под Геттисбергом (июль 1863 года) и закончилось полным поражением армии генерала Р. Ли.

С. 207

Стентон, Эдвин Макмастерс (1814—1869) — военный министр в администрации Линкольна.

С. 209

...«отданы распоряжения воспрепятствовать выходу двух броненосных судов из Ливерпуля» — броненосцы строились на верфи компании «Уильям Лэрд и сын» в Беркенхеде, порт — Ливерпуль.

С. 210

Норт, Фредерик, граф Гилфорд (1732—1792) — премьер-министр в период царствования английского короля Георга III. В 1773—1777 годах проводил политику силы по отношению к североамериканским колониям Британии. В 1777 году после капитуляции английской армии под Саратогой ушел в отставку.

Каннинг, Джордж (1770—1827) — английский министр иностранных дел, чья политика привела к вооруженному конфликту и войне между Великобританией и США (1812—1814).

С. 213

Фирма «Лэрд» строила суда... — в Парижской декларации не имелось параграфа, запрещающего строительство военных судов для одной из воюющих стран по контракту на нейтральной территории. Кроме того, вопрос о заказе на броненосцы рассматривался в парламенте на одном из заседаний палаты общин и получил официальную поддержку.

С. 218

Созерн, Эдуард Эскью (1826—1881) — английский комический актер, исполнявший роль лорда Дандрери в комедии Тома Тейлора «Наш американский кузен» (1856).

С. 222

Диссентеры — члены протестантских общин, не входящих в англиканскую церковь.

Шефтсбери, Энтони Эшли Купер (1801—1885) — английский аристократ, занимавшийся филантропической деятельностью.

Бакстон, Томас Фауэл (1837—1915) — президент английской антирабовладельческой лиги.

С. 223

...в ричмондском правительстве — г. Ричмонд (Виргиния) в 1861 году был объявлен столицей Конфедерации Южных Штатов.

Кокберн, Александр Джеймс Эдмунд (1802—1880) — верховный судья Великобритании. На Женевской конференции представлял английское правительство — выступал ответчиком по иску США о возмещении ущерба. Раздражительность Кокберна настроила против него многих членов экспертной комиссии.

Ламар, Люциус (1825—1893) — конгрессмен в 1857—1861 годах. До России он не доехал, так как в Париже узнал, что сенат Конфедерации Южных Штатов не утвердил его назначения. С 1888 года — член Верховного суда США.

С. 224

Линдсей, Уильям Шоу (1816—1877) — английский политический деятель, член палаты общин.

С. 225

Робак, Джон Артур (1801—1879) — член палаты общин, представлявший Шеффилд. Выступал с предложением о признании Конфедерации Южных Штатов независимым государством.

С. 227

Робак, который уже впал в детство — явное преувеличение: в это время Робаку исполнилось 62 года, и он продолжал заниматься политической деятельностью после дебатов о Конфедерации еще в течение пятнадцати лет.

С. 228

Бизли, Эдвард Спенсер (1831—1915) — английский политический и общественный деятель, близкий к радикальным и фабианским кругам, профессор истории, автор цикла «Писем к рабочему классу».

...объединить Брайта и тред-юнионы на американской платформе — то есть добиться для парламентской оппозиции, представляемой Брайтом, поддержки со стороны деятелей профсоюзного движения и промышленных рабочих Великобритании по внешнеполитическому вопросу о сохранении нейтралитета и непризнании Конфедерации в период Гражданской войны в США.

С. 229

...рассорившись с тред-юнионами — хотя Брайт довольно последовательно выступал в защиту всеобщих политических и гражданских прав, он резко критиковал верхушку английских профсоюзов за их политику ограничения свободы торговли.

Мильтон, Джон (1609—1674) — великий английский поэт, публицист и государственный деятель периода Английской буржуазной революции и правления Кромвеля (1641—1658).

Адамсу захотелось познакомить нового посланника со своими старыми друзьями — Джеймс Рассел Лоуэлл в 1880 году был переведен из Испании в Великобританию.

С. 230

Доиль, Фрэнсис Гастинг Чарлз (1810—1888) — препода-

даватель литературы в Оксфорде, автор ряда поэтических сборников.

Канлиф, Роберт Альфред (1839—1905) — английский аристократ, политический деятель либерального направления. *...реформа уголовного кодекса, которой противились судьбы* — Брайт выступал за отмену смертной казни.

С. 231

...только радуга еще спасает ее от повторения такого же бедствия — имеется в виду библейская легенда о вселенском потопе. Радуга — символ вечного примирения создателя со своим творением.

Ньюмен, Джон Генри (1801—1890) — англиканский священник, обратившийся в католичество и в 1879 году ставший кардиналом, автор религиозно-дидактических сочинений.

Рёскин, Джон (1819—1900) — английский искусствовед, литературный критик и публицист.

С. 232

...вся школа вигского доктринерства — партия вигов сложилась в конце XVII века и выступала в противовес политике консерваторов (тори) с программой реформы избирательного права и усиления полномочий парламента. К середине XIX века эта программа в целом была выполнена и на политической арене функции вигов взяла на себя Либеральная партия, опирающаяся на более широкие социальные слои.

Палгрейв, Фрэнсис Тернер (1824—1897) — английский литературный критик и поэт.

...все знали, что без миссис Грот «не было бы слова „гротеск“» — Гарриета Грот — жена известного историка, специалиста по Древней Греции *Джорджа Грота (1794—1871)*. В высшем английском обществе было принято подшучивать над пристрастием Гарриеты Грот к ярким нарядам. В данном эпизоде имеется в виду каламбур писателя Сидни Смита:

увидев миссис Грот в ярко-розовом тюрбане, Смит вслух заявил, что теперь он понимает значение слова «гротеск».

Как поживает ученый Гротуис? — вслед за Сидни Смитом Генри Рив попытался, но неудачно, еще раз обыграть фамилию Джорджа Грота, назвав его «Гротуисом» — именем крупного голландского ученого, литератора и общественного деятеля XVIII века *Гуго де Гроота Гроция (Гротуиса)* (1583—1645), широко известного в английских научных и литературных кругах XIX века.

Пуфендорф, Самуил (1632—1694) — немецкий ученый, последователь Гроция в области теории международного права.

Форен, Жан Луи (1852—1931) — художник, автор язвительных карикатур на французских буржуа.

Гревиль, Чарлз Кавендиш Фалк (1794—1865) — выходец из старинного английского дворянского рода, служивший в канцелярии Тайного совета и нелегально ведший в этот период дневниковые записи. Королева Виктория выразила недовольство «бестактностью» Генри Рива и «неблагодарностью» Чарлза Гревилля, когда в 1868 году Рив опубликовал первую часть дневника.

С. 233

...с какой внезапностью старая Европа, а за нею старая Англия исчезнет в 1870 году — имеется в виду Франко-прусская война 1870 года, усиление и объединение Германии, приведшее к перераспределению экономических и политических сфер влияния европейских государств, а также форсированное развитие империализма в последней четверти XIX века.

...словно он был старым моряком, а они ископаемыми ихтиозаврами... — реминисценция из поэмы С. Т. Кольриджа «Песнь старого моряка» (опубликована в 1798 году).

С. 234

Стэнли, Эдвард, герцог Дерби (1799—1869) — английский политический и государственный деятель, лидер консервативной партии (1846—1868), премьер-министр трех кабинетов. Один из самых знаменитых парламентских ораторов Великобритании. В период правления Пальмерстона и Рассела — глава консервативной оппозиции.

С. 235

...принц Уэльский был еще очень молод — старшему сыну королевы Виктории, будущему Эдуарду VII в 1863 году исполнилось 22 года.

С. 236

Балморал — в 1852 году королева Виктория приобрела для личного пользования замок Балморал в Шотландии, проявив таким образом свой персональный вкус или, как считает Г. Адамс, его полное отсутствие.

«Камелия» — это название дорогой куртизанки стало употребительным после выхода в 1848 году романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями».

Роттен-Роу — часть парковой зоны (Гайд-парка) в Лондоне, специально предназначенная для верховой езды. Была открыта для общественности в 10-е годы XVII в. До сих пор считается излюбленным местом для прогулок лондонских поклонников верховой езды.

Каннинг, Маргарет Деборо (1837—1888) — первая жена Уэнтворта Бомонта, барона Оллендейла.

С. 238

Копли, Джон Синглтон, барон Линдхёрст (1772—1863) — английский государственный деятель, юрист.

барон Кэмпбелл, Джон (1779—1861) — верховный судья и лорд-канцлер в 1850-е годы. Упомянут А. Герценом в «Былом и думах», ч. VI, гл. IV «Дуэль».

Тейлор, Ричард (1826—1879) — сын президента Закари Тейлора, во время Гражданской войны сражался в армии конфедератов в чине генерала.

Смолли, Джордж Уошберн (1833—1916) — военный корреспондент газеты «Нью-Йорк трибюн», автор репортажей и очерков о сражениях в период Гражданской войны в Северной Америке, а также Австро-прусской и Франко-прусской войн.

С. 239

Девоншир-хаус — особняк герцога Девонширского в Лондоне — превосходный образец дворцовой архитектуры того периода.

Верасес, Виргиния, графиня ди Кастилионе (1835—1899) — жена графа Франческо ди Кастилионе, придворного короля Сардинии Виктора Эммануила, с 1856 года блиставшая в Париже.

Веронезе, Паоло (1528—1588) — художник венецианской школы живописи. Ряд его картин написан на евангельские мотивы и сюжеты. В данном случае Г. Адамс, вероятно, имеет в виду картину «Свадьба в Кане».

С. 241

Артур Пенденнис, Барнс Ньюком — герои романов У. М. Теккерея «История Пенденниса» (1850) и «Ньюкомы» (1855).

Патти, Аделина (1843—1919) — знаменитая оперная певица.

Гантер — основной поставщик провизии для лондонских ресторанов.

С. 242

Король Артур — герой средневековых легенд и рыцарских романов бретонского цикла. Его двор, заседания совета и пиры за Круглым столом, символизировавшим равенство всех

участников, воплощали идеалы рыцарской доблести, справедливости и учтивости.

С. 243

«*Иисус*» *Ренана* — сочинение французского историка и философа Жозе Эрнста Ренана (1823—1890) «Жизнь Иисуса» (1863).

Смит, Сидни (1771—1845) — светский остроумец и писатель религиозного направления.

Джуэтт, Бенджамин (1817—1893) — преподаватель древнегреческого языка в Оксфорде, переводчик «Диалогов» Платона.

Милмен, Генри Харт (1791—1868) — священник, преподаватель литературы и истории в Оксфорде, автор «Истории христианства в период Римской империи» (1840).

Фруд, Джеймс Энтони (1818—1894) — автор книг по истории Великобритании.

Уилберфорс, Сэмюэл (1805—1873) — церковный и общественный деятель Великобритании, пытавшийся полемизировать с учением Ч. Дарвина.

С. 244

«...в мире, где все букашки...» — источник этого афоризма не установлен.

С. 246

Милнс, Гаскелл Чарлз (1842—1919) — английский писатель и политический деятель.

Милнс, Гаскелл, Джеймс (1810—1873) — государственный деятель Великобритании.

Эверет, Уильям (1839—1910) — сын Эдуарда Эверета, кузен Г. Адамса. По окончании Гарвардского университета учился в Кембридже по курсу классической филологии.

С. 247

...еще при гептархии — (букв. «семь царств»), т. е. в эпоху ранней англосаксонской государственности, начиная с

захвата германскими племенами Британских островов в 449 году и кончая временем объединения королевств в 829 году.

С. 248

Хеллам, Артур Генри (1811—1833) — английский литератор, друг А. Теннисона.

Мэннинг, Генри Эдуард (1808—1892) — участник оксфордского движения до обращения в католичество. Впоследствии архиепископ Вестминстерский и с 1875 года — кардинал.

С. 249

Уинн, Шарлотта Уильямс (1807—1869) — дочь Чарлза Уотсона Уильямса Уинна. Известна как автор «Мемуаров Ш. Уильямс-Уинн», опубликованных в 1877 году.

С. 250

Чосер, Джеффри (1320—1400) — английский поэт периода позднего средневековья, автор «Кентерберийских рассказов» и других произведений.

С. 251

Герцог Гамильтон (1845—1895) — английский аристократ, один из самых одиозных представителей «золотой молодежи» Великобритании последней трети XIX века.

Кора Перл (псевдоним Эммы Элизабет Кроуч) (1842—1886) — куртизанка при дворе Наполеона III.

Весть об убийстве президента Линкольна — 14 апреля 1865 года А. Линкольн был смертельно ранен во время спектакля актером Д. Бутсом.

С. 252

Джонсон, Эндрю (1808—1875) — американский юрист и политический деятель, вице-президент во втором кабинете Линкольна, ставший 17-м президентом США после его гибели (1865—1868).

С. 253

Рид, Уитлоу (1837—1912) — американский дипломат и журналист, сотрудничавший в газетах «Газетт» (Цинциннати) и «Нью-Йорк трибюн», главным редактором которой он стал в 1872 году.

Барлоу, Фрэнсис Чэннинг (1834—1896) — участник сражения под Геттисбергом, в 1870-е годы был генеральным прокурором штата Нью-Йорк.

Барлет, Уильям Фрэнсис (1840—1876) — герой Гражданской войны, ставший инвалидом и умерший в бедности.

Майлс, Нельсон Эплтон (1839—1925) — генерал, участник сражений с индейцами, командовавший армией США во время войны с Испанией (1898).

Хиггинсон, Генри Ли (1834—1919) — крупный бостонский банкир.

С. 256

Тёрнер, Джозеф М. (1775—1851) — художник-пейзажист, один из создателей романтической школы в английской живописи.

Рен, Кристофер (1631—1723) — английский архитектор, сыгравший значительную роль в создании архитектурного облика Лондона.

«*Сотби*» (иначе «*Садебиз*») — известная лондонская аукционная фирма, продает произведения древнего и современного искусства, старинные книги и т. п.

С. 257

Хант, Уильям Моррис (1824—1879) — американский художник, близкий друг Генри и Уильяма Джеймсов.

С. 258

Палгрейв, Фрэнсис Тернер (1824—1897) — сын английского историка, хранителя государственного архива. Получил известность как автор ряда поэтических сборников, литера-

турно-критических эссе и прежде всего как составитель антологий английской поэзии.

Хант, Уильям Холмен (1827—1910) — английский художник, принадлежавший к школе Прерафаэлитов.

С. 259

Грин, Джон Ричард (1837—1883) — английский священник, библиотекарь архиепископа Кентерберийского, автор «Краткой истории английского народа» (1874).

Вулнер, Томас (1825—1892) — английский поэт и скульптор, член Братства Прерафаэлитов, выступавших против академизма и бездуховности современного им искусства.

Брук, Стопфорд Август (1832—1916) — английский священник и литературовед, автор «Истории английской литературы» (1892).

С. 260

«*Кристи*» — лондонская аукционная фирма по продаже произведений искусства, основанная в 1766 году.

Уэстком, Энтони (умер в 1752 году) — английский коллекционер.

С. 262

Рид, Джордж (1819—1887) — хранитель рукописей и первопечатных изданий в собрании Британского музея, специалист по итальянской гравюре XV века.

«*Парнас*» — имеется в виду фреска работы Рафаэля в Ватикане, на которой изображены знаменитые античные поэты.

С. 263

Реймонди, Маркантонио (1475—1534) — один из самых выдающихся гравюров итальянского Возрождения, делал гравюры с произведений Рафаэля, Дюрера и других художников своего времени.

Либри, Гульельмо (1803—1869) — итальянский математик и библиограф, осужденный в Италии как антимоноархист и иммигрировавший в Англию. Г. Адамс решил по неведению, что «Либри» — это должность человека, к которому его направляли, — нечто вроде «хранителя к н и г», — а не фамилия.

С. 265

Уистлер, Джеймс Эббот (1834—1903) — американский художник, покинувший США. В последние десятилетия XIX века его творчество вызвало резкие споры из-за смелого экспериментирования с линией и колоритом.

С. 266

Гёртин, Томас (1775—1802), Котмен, Джон Селл (1782—1842) — английские художники-пейзажисты.

Бокль, Генри Томас (1821—1862) — автор «Истории английской цивилизации» (1857—1861), впервые в европейской исторической науке применивший метод статистического и социологического анализа, считал природную среду — климат, почву, питание — основными движущими факторами исторического развития.

С. 267

Кинглейк, Александр Уильям (1809—1891) — автор беллетризованных исторических сочинений и книг о путешествиях.

Сайлас Вэгг — персонаж романа Ч. Диккенса «Наш общий друг» (1865).

С. 268

Принцесса Покахонтас — дочь вождя индейского племени, на землях которого виргинские колонисты основали первое английское поселение в Северной Америке. В своей книге о Виргинии Джон Смит повествует о романтической привязанности к нему принцессы Покахонтас. Эта история стала

достоянием англоязычной литературы, получив, в частности, обработку в романе Теккерея «Виргинцы» (1857). В публикации Г. Адамса повествование Смита оценивается как чистый художественный вымысел, хотя в настоящее время исследователи в целом пришли к выводу, что сюжетная канва рассказа исторически достоверна.

Смит, Джон (1579—1631), чаще всего упоминаемый как «капитан Джон Смит» — английский военный служащий, географ и картограф. Исполнял обязанности губернатора Виргинской колонии в 1608—1609 годах. Опубликовал при жизни несколько книг своих воспоминаний, литературно обработанных корабельных журналов, дневниковых записей и описаний открытых земель.

Нортон, Чарлз Элиот (1827—1908) — американский журналист, писатель и искусствовед.

С. 270

Тиндалл, Джон (1820—1893) — английский ученый, популяризатор науки.

Гексли (иначе Хаксли), Томас Генри (1825—1895) — английский биолог и палеонтолог, последователь и популяризатор дарвинизма.

С. 271

Спиноза, Бенедикт (1632—1677) — голландский философ-пантеист.

С. 274

Кэтрин Олни — героиня романа *Джейн Остин (1775—1817)* «Нортенгерское аббатство» (1798).

Замок Ладлоу — архитектурный комплекс XII века, в XVI—XVII веках служивший резиденцией генерал-губернаторов Уэльса. Ко второй половине XIX века от него остались лишь живописные руины.

Стоксей — замок неподалеку от Шрусбери. Известен тем, что имеет уступчатую линию внешней стены из-за вынесенных вперед бойниц П-образной формы.

Боскобель — отдельно стоящий особняк, в котором в 1651 году тайно останавливался сын казненного Карла I — будущий английский король Карл II.

Юриконум — руины древнеримского города.

Римская Кампанья — сельская местность вокруг Рима.

Билдоус — монастырь цистерцианского ордена, закрытый в 1534 году и пришедший в полное запустение.

С. 275

Карактакус — король древних бриттов (I век н. э.).

Оффа — король Мерции (вторая половина VIII века н. э.).

...без зазрения совести мера время по фальстафовым шрусберийским часам — имеется в виду эпизод из первой части исторической хроники У. Шекспира «Генрих IV». Хвастун Фальстаф, приписывая себе убийство Хотспера — одного из вождей мятежных феодалов, в действительности поверженного принцем Генрихом, — заявил, что удар принца оказался не смертельным, что Хотспер вновь поднялся и ему, Фальстафу, пришлось сражаться с ним «битый час по шрусберийским часам».

Марчисон, Родерик (1792—1871) — шотландский геолог, друживший с Лайеллом, автор научного труда «Силурианская система» (1838).

С. 276

Лафонтен, Жан (1621—1695) — французский поэт и драматург. Международную известность ему принес его сборник «Басни».

В обоих нас я вижу... — цитата из произведения Лафонтена «Товарищи Одиссея», предворяющего сборник басен в качестве посвящения герцогу Бургундскому.

С. 277

Пейли, Уильям (1743—1805) — английский теолог. Сравнение творца с часовых дел мастером содержится в его сочинении «Естественная теология» (1802).

С. 282

Уитни, Уильям Коллинс (1841—1904) — влиятельный нью-йоркский юрист, крупный финансист и государственный деятель.

Маккинли, Уильям (1843—1901) — губернатор штата Огайо, 25-й президент США (1895—1901).

Ханна, Марк Алонсо (1837—1904) — крупный американский промышленник и политический деятель из штата Огайо; в свое время спас от банкротства Уильяма Маккинли и помог ему одержать победу на президентских выборах.

С. 285

«*Бреверт-хаус*» — фешенебельный отель Нью-Йорка.

С. 286

...запоздалым гулякой или цыганом-философом *Мэтью Арнолда* — имеются в виду стихотворения М. Арнолда «Заблудившийся гуляка» (1849) и «Цыган-философ» (1853).

Десбросис-стрит и Пятая авеню — центр торгово-финансовой деятельности Нью-Йорка.

С. 287

Вандербильт, Корнелиус (1794—1877) — могущественный владелец железных дорог и пароходств, начинал свою жизнь простым лодочником.

Гулд, Джей (1836—1892) — американский миллионер-нувориш, сколотивший огромное состояние на акциях железнодорожных компаний и ставший членом правления многих американских железных дорог, почти столь же влиятельным, как и Вандербильт.

С. 291

...все к лучшему... — цитирование широко известной фразы из философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), в которой автор высмеивал философские концепции Лейбница.

Аткинсон, Эдуард (1827—1905) — бостонский бизнесмен, публицист, выступавший за социально-экономические реформы.

С. 293

Грили, Хорейс (1811—1872) — журналист, политический деятель, основавший в 1841 году газету «Нью-Йорк трибюн».

Дана, Чарлз Андерсон (1891—1897) — американский литератор, государственный деятель и журналист, редактор и совладелец газеты «Нью-Йорк сан». Требовал от своих сотрудников демократизации издания — четкости идей, ясности и доступности изложения материала.

Беннет, Джеймс Гордон (1795—1872) — американский журналист, основатель газеты «Нью-Йорк геральд» в 1835 году.

Брайант, Уильям Каллен (1794—1878) — американский поэт-романтик и журналист, редактировавший с 1829 года «Ивнинг пост».

С. 294

Шерман, Уильям Текумсе (1820—1891) — генерал, герой Гражданской войны, прямой потомок семьи массачусетских первопереселенцев — пассажиров корабля «Мейфлауэр», родившийся и выросший на Западе США.

С. 295

«Деревня» — район в г. Вашингтоне.

С. 297

Маккаллок, Хью (1808—1895) — американский финансист и государственный деятель.

С. 299

Уокер, Фрэнсис (1840—1897) — политэкономист, занимавшийся статистикой, впоследствии — ректор Массачусетского технологического института.

...как это уже было в 1789 году — имеются в виду бурные дебаты по поводу принятия конституции США и процесс формирования конкретных форм правления в ситуации, когда противоречия между старой системой хозяйствования и управления и новой социально-экономической ситуацией, постепенно накапливавшиеся в период войны за независимость и первые годы после ее окончания, проявились с особой остротой и страстью.

С. 300

Кертис, Бенджамин (1809—1874) — американский юрист, член Верховного суда США.

С. 301

Чейз, Сэлмон Портленд (1808—1873) — американский юрист, председатель Верховного суда США (1864—1873).

С. 304

Конной статуи Эндрю Джэксона — массивный бронзовый памятник президенту Джэксону, выполненный американским скульптором Кларком Миллсом (1815—1883) в манере итальянских конных памятников кондотьерам.

Хупер, Сэмюэл (1808—1875) — крупный американский коммерсант и политический деятель 60—70-х годов прошлого века.

Маллет, А. Б. (1834—1893) — американский архитектор, испытавший влияние французского помпезного архитектурного стиля, сложившегося в период царствования Наполеона III. В здании, построенном Маллетом в виде стилизованного замка для военного министерства, о котором пишет Г. Адамс, в настоящее время размещается ЦРУ.

С. 305

Уорд, Сэмюэл (1814—1884) — американский финансист. В 1870-е годы его называли «королем лобби».

Смитсоновский институт — музей истории и науки в Вашингтоне, основанный в 1846 году и со временем превратившийся в крупный научный центр.

Грант, Улисс Симпсон (1822—1885) — американский военный и государственный деятель, главнокомандующий армии федералистов в 1863—1865 годах, 18-й президент США (1869—1877).

С. 306

Чарльз Нордхофф (1830—1901), Мюрэт Холстед (1829—1908), Генри Уотерсон, Сэмюэл Баулз (1826—1878) — журналисты, владельцы и редакторы крупных американских газет.

С. 307

Мадам де Струве — жена русского поверенного в делах в Швейцарии А. Струве (1798—1867).

С. 308

Стори, Мурфилд (1845—1925) — американский юрист, политический деятель, автор ряда работ по юриспруденции, один из редакторов журнала «Америкен ло ревью».

Гор, Сэмюэл (1845—1904) — один из самых преуспевающих адвокатов Бостона. *Гор, Эбенезер Роквуд (1816—1895)* — член Верховного суда штата Массачусетс, председатель Верховного суда США (1869—1877).

Дьюи, Джордж (1837—1917) — морской офицер, в период Испано-американской войны 1898 года — адмирал, командующий тихоокеанским соединением боевых кораблей США, разгромившим неподалеку от Филиппин флот испанцев.

С. 311

«*Правде всегда стоять на Эшафоте...*» — не вполне точная цитата из стихотворения Д. Р. Лоуэлла «Нынешний кризис» (1845).

С. 312

...*сумел учредить правительство и отыскал джефферсонов и гамильтонов* — имеется в виду то обстоятельство, что в правительстве Джорджа Вашингтона, не окончившего даже среднюю школу, были подобраны наиболее образованные деятели южных и северных штатов Америки: Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Д. Медисон и др.

«*Будем жить в мире*» — этой фразой У. Грант ответил на официальное выдвижение 29 мая 1868 года его кандидатуры от республиканской партии на пост президента США.

С. 313

Гарфилд, Джеймс Абрам (1831—1881) — американский военный и государственный деятель, 20-й президент США (1881).

Блейн, Джеймс Гилести (1830—1893) — американский политический деятель, государственный секретарь США в администрации Гарфилда (1881) и в 1889—1892 годах.

С. 315

Фиш, Гамильтон (1808—1893) — губернатор штата Нью-Йорк, сенатор, государственный секретарь США (1869—1877).

Кокс, Джейкоб Долсон (1827—1900) — губернатор штата Огайо, сторонник финансово-экономических реформ, предлагавшихся Гарфилдом, вынужденный уйти в отставку с поста министра внутренних дел в администрации У. Гранта через год после назначения в 1869 году из-за оппозиции в сенате.

С. 316

Бадо, Адам (1831—1895) — американский военнотружующий, дипломат и литератор, генеральный консул США в Великобритании; автор книг «Военная деятельность У. С. Гранта» (1885) и «Грант в мирное время» (1887).

Вест-Пойнт — военная академия, одно из самых привилегированных высших учебных заведений США.

Роллинз, Джон Аарон (1831—1869) — начальник штаба генерала У. Гранта, с марта по сентябрь 1869 года — военный министр.

С. 317

...величайшего полководца, которого мир знал после Наполеона — это не мнение самого Г. Адамса, а невыделенная цитата — газетный стереотип, распространявшийся прессой США в 1860-е годы.

С. 322

Эклиптика — имеется в виду крен в 23 градуса по отношению к плоскости орбиты Земли вокруг Солнца — причина смены времен года и различия в климатических условиях.

С. 323

...классическая афера Джея Гулда — президент железнодорожной компании Эри Джей Гулд использовал капитал компании для личных финансовых махинаций, в частности для скупки золота с целью установления завышенных фиксированных цен на драгоценные металлы. Золотая лихорадка, начавшаяся вследствие этих операций, заставила президента У. Гранта дать личное указание министру финансов Бутвеллу сбить инфляцию доллара путем выпуска на рынок части золотого запаса казны. Предупрежденный заранее о мерах, предпринимаемых правительством, Джей Гулд начал продавать золото, не сообщив об этом своему сообщнику финансисту *Джеймсу Фиску* (1834—1872).

С. 325

...по завету Эмерсона, последовал за путеводной звездой реформы — вольное изложение высказывания Р. У. Эмерсона из эссе «Цивилизация»: «Пристегни свою повозку к звезде».

С. 329

...президента Гранта, настаивающего на политике присоединения Вест-Индских островов, — политике, никогда не пользовавшейся успехом у американцев северо-восточных штатов — договор о присоединении к США Санто-Доминго был подписан президентом У. Грантом, но на заседании сената 30 июня 1869 года под влиянием Самнера, выступившего против договора, он не получил поддержки большинства. Разгневанный Грант приказал государственному секретарю Фишу отозвать протееже Самнера (посла Мотли) из Лондона.

Бухта Самана — залив на острове Санто-Доминго.

С. 330

Дэвис, Джон Чэндлер Банкрофт (1822—1907) — американский юрист и дипломат, в указанный период — помощник государственного секретаря США.

С. 331

Талейран, Шарль Морис (1754—1838) — французский дипломат, государственный деятель, министр иностранных дел в правительстве Наполеона I. Его имя стало нарицательным, как образец умного, ловкого, беспринципного политика и дипломата.

...по одежде, если верить Карлейлю — имеются в виду многочисленные рассуждения Т. Карлейля по поводу так называемой «философии Одежды», создателем которой пред-

ставлен герой его книги «Sartor Resartus. Жизнь и мысли герра Тойфельсдрека» (1831).

Кардинал Ретц (1614—1679) — автор «Мемуаров», в которых описывается жизнь двора Людовика XIV. Г. Адамс в данном случае имеет в виду рассуждение Ретца о личности нового римского папы на основании того факта, что тот в течение двух лет пользовался одним и тем же пером.

Ссора... разразилась в июле 1870 года — время, когда президент У. Грант отдал приказ об отзыве посла Мотли из Великобритании.

С. 333

Сполдинг, Элбридж Джерри (1809—1897) — американский банкир и политический деятель, один из инициаторов проекта выпуска в период Гражданской войны бумажных денег, не обеспечиваемых золотым запасом, автор книги «Военные ресурсы: История выпуска залоговых банковских билетов» (1869).

С. 335

Полковник Малберри Селлерс — персонаж сатирического романа Марка Твена и Ч. Уорнера «Позолоченный век» (1873).

С. 338

Уэллс, Дэвид Эймс (1828—1898) — американский экономист, государственный деятель.

Кокс, Сэмюэл Салливен (1824—1889) — американский политический деятель и журналист, получивший прозвище «Сансет Кокс» за пристрастие к описаниям вечернего ландшафта.

Герин, Морис де (1810—1839) — французский поэт и прозаик-романтик. Г. Адамс цитирует его выражение из прозаического произведения «Кентавр» (опубликовано в 1845 году).

С. 340

Гладстон ниспроверг ирландскую церковь... пытался про-
вести Акт об образовании — в июле 1869 года Гладстон из-
дал декрет о роспуске синода церкви Ирландии и об отмене
всех ранее получаемых ею государственных субсидий. Он
также добился отмены вступительного экзамена по слову
божьему в ирландские университеты, на котором выявлялась
религиозная принадлежность абитуриентов. Однако его план
основать в Ирландии объединенный католически-протестант-
ский университет в парламенте поддержки не получил. Ир-
ландский земельный акт от 1870 года ограничивал право
ленд-лордов изменять условия аренды земли в период до-
говорного срока.

С. 341

Билль об образовании, исходящий от У. Э. Форстера,
казался Адамсу гарантией против всякого образования —
начальный этап реформы английского образования с целью
превращения его во всеобщее и обязательное (введено в
1876 году) предусматривал расширение системы государ-
ственных школ за счет специального образовательного
фонда и дополнительного налога.

...весь мир рухнет и погребет его под собой — имеется
в виду Франко-прусская война 1870 года и ее воздействие
на политическую жизнь Европы: выход объединенной Гер-
мании на европейскую политическую арену и ее борьба за
зоны влияния и за передел мира.

С. 342

Чипсайд — деловая часть Лондона неподалеку от собора
Святого Павла.

С. 343

Баньи-ди-Лукка — знаменитый горный курорт на ми-
неральных водах вблизи Пизы.

С. 346

...*Европа уже была ввергнута в хаос войны* — пытаюсь помешать процессу объединения германских государств под эгидой Пруссии и не допустить Германию к разделу мира, правительство Наполеона III в 1860-е годы постоянно оказывало политический нажим и организовывало различного рода интриги, сталкивая интересы Пруссии и Австро-Венгерской империи, а также поощряя сепаратистские настроения среди владетельных князей западных германских государств. В качестве официального предлога объявления войны Пруссии французское правительство воспользовалось спором об испанском наследстве — Франция и Пруссия поддерживали противоборствующие кандидатуры на испанский престол.

С. 347

Людювик XIV (1638—1715) — король Франции с 1643 года, чье правление обычно связывается с расцветом французского абсолютизма.

Франциск I (1494—1547) — король Франции из династии Валуа, правил с 1515 года.

Мейербер, Джакомо (1791—1864) — немецкий композитор, постановки опер которого отличались особой пышностью.

Тьер, Луи Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, лидер либеральной оппозиции внешнеполитическому курсу правительства Наполеона III. Тьер протестовал против объявления войны Пруссии, вел переговоры о перемирии и об условиях заключения мира. В качестве главы первого правительства Третьей республики разгромил Парижскую коммуну (1871).

Гамбетта, Леон (1838—1882) — французский юрист, государственный деятель. Во время осады Парижа войсками прусского короля выехал из столицы и сумел организовать две армии сопротивления. Продолжения войны, однако,

не последовало, так как верхушка военного командования меньше опасалась немецких оккупантов, чем французских социалистов.

С. 348

Всего несколько иноков, уцелевших от жестокой расправы Генриха VIII, — несколько молодых англичан обитали в его стенах во главе с Милсом Гаскеллом вместо настоятеля — шутливое описание беззаботного времяпрепровождения компании молодых людей в загородном доме семейства Гаскелл; упоминается декрет английского короля Генриха VIII, объявившего в 1534 году о закрытии всех монастырей на территории Англии и о конфискации всех их земель и имущества.

Элиот, Чарлз Уильям (1834—1926) — ректор Гарвардского университета с 1869 года.

С. 349

Хау, Тимоти Отис (1810—1892) — американский политический деятель. «Висконсин Стейт Джорнел» 7 октября 1870 года опубликовал статью Т. О. Хау, в которой имелся следующий пассаж: «Утверждают, что автор... принадлежит к семейству, в котором интерес к политической деятельности передается по наследству наподобие того, как лист бегонии, сохраняя свое тождество, постоянно меняет цвет».

С. 350

Герни, Эфраим Уитни (1829—1886) — американский историк, будущий свояк Г. Адамса.

С. 352

Хьюит, Абрам Стивен (1822—1903) — магнат американской сталелитейной промышленности, политический деятель, активно поддерживавший социально-политические реформы последней четверти XIX века.

С. 353

Шерман, Джон (1823—1900) — сенатор, автор известного антитрестовского закона 1890 года.

Пендлтон, Джордж Хант (1825—1889) — американский сенатор, добившийся утверждения в 1883 году положения, согласно которому на должности в правительственный аппарат могли назначаться только лица, сдавшие специальные экзамены.

Артур, Честер Алан (1830—1886) — вице-президент США в администрации Д. Гарфилда; в 1881—1885 годах после убийства Гарфилда — 21-й президент США.

Фрелингюсен, Фридерик Теодор (1817—1885) — государственный секретарь США (1881—1885).

Байард, Томас Фрэнсис (1828—1898) — американский дипломат и политический деятель, сенатор, государственный секретарь (1885—1898).

С. 357

Кембриджпорт — небольшое селение, ставшее впоследствии окраиной Кембриджа, где расположен Гарвардский университет.

Адамс, Брукс (1848—1927) — младший сын Чарлза Фрэнсиса Адамса, брат Генри Адамса — американский историк и социолог. Ряд его сочинений был переведен на немецкий, французский и русский языки, в частности работа «Новая держава». М., 1910.

Деннет, Джон Ричард (1838—1874) — американский литературовед и критик, сотрудничавший в журнале «Нейшн».

Райт, Чонси (1830—1875) — американский психолог и философ, учение которого развил и обобщил Уильям Джеймс.

Уортон, Фрэнсис (1820—1889) — преподаватель права, автор теоретических работ по юриспруденции.

Фиск, Джон (1842—1901) — американский философ и историк-позитивист.

С. 358

Торри, Генри Уоррен (1814—1893) — преподаватель истории в Гарвардском университете (1844—1886).

С. 359

Англосаксонская хроника — рукописный свод летописей на древнеанглийском и латинском языках, скомпилированный многими поколениями английских монастырских книжников и доведенный до середины XII века.

Достопочтенный Беда (673—735) — английский средневековый теолог и писатель, автор латиноязычных сочинений.

Ламарк, Жан Баттист (1744—1829) — французский натуралист, создатель теории биологической эволюции.

Линней, Карл (1707—1778) — шведский натуралист, автор системы классификации растений.

С. 360

Мейн, Генри (1822—1888) — английский юрист, автор исследования «Древнее право» (1861).

Тэйлор, Эдуард Бернет (1832—1917) — основоположник английской научной антропологии, разработавший сравнительно-этнографический метод анализа формаций, автор знаменитого труда «Первобытная культура» (1871).

Макленнан, Джон Фергюсон (1827—1881) — шотландский социолог, изучавший историческую эволюцию института брака.

С. 363

Немцы как раз короновали нового императора в Версале — король Пруссии *Вильгельм I* (1797—1888) был провозглашен императором Германии в оккупированном немецкой армией Версале 18 января 1871 года.

Пипин (умер в 768 году) — король франков.

Мервиг — предполагаемый основатель первой династии франкских Меровингов.

Отто I Великий (912—973) — германский король с 936 года, император Священной Римской империи с 962 года.

Фридрих I Барбаросса (1125—1190) — германский король с 1152 года, император Священной Римской империи с 1155 года — один из самых знаменитых императоров западноевропейского средневековья. Перечисление имен этих монархов в книге Г. Адамса подчеркивает историческую значительность происходившего.

Брайс, Джеймс, виконт (1838—1922) — английский государственный деятель и историк, автор многочисленных исторических и юридических сочинений. В данном случае Г. Адамс имеет в виду его эссе «Священная Римская империя» (1864).

С. 366

Чайлд, Фрэнсис Джеймс (1825—1896) — американский профессор, специалист по истории англоязычных литератур, составитель монументального собрания «Английские и шотландские баллады» (1857—1859).

С. 367

Джеймс, Уильям (1842—1910) — выдающийся американский философ и психолог, автор «Основ психологии» (1890) и «Прагматизма» (1907).

Эдуард Исповедник (1004—1066) — английский король, один из последних представителей англосаксонских династий.

Бонифаций VIII (1235—1303) — римский папа, стремившийся стать не только духовным, но и мирским владыкой монархов Западной Европы.

С. 369

Эммонс, Сэмюэл Франклин (1841—1911) — американский геолог, работавший совместно с Кларенсом Кингом.

Уитни, Джошуа Дуайт (1819—1896) — профессор геологии в Гарвардском университете.

«Юнион Пасифик» — железная дорога, соединившая Атлантическое побережье США с Тихоокеанским. Регулярное движение на ней было открыто в 1869 году.

С. 370

Ларами — форт на северо-востоке штата Юта.

С. 372

Он даже в женщинах знал толк, даже в американках, даже в американках из Нью-Йорка — намек на державшийся в то время в секрете ближайшими друзьями Кларенса Кинга его гражданский брак с негритянкой из Нью-Йорка.

Алкивиад (450—404 гг. до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель, считавшийся красивым мужчиной и уделявший большое внимание своей внешности. *Александр* — имеется в виду покоритель мира царь Македонии *Александр Великий (356—323 гг. до н. э.)*. Сравнение с этими прославленными древнегреческими полководцами подчеркивает яркость, одаренность Кларенса Кинга, его энергию и эффектную внешность.

С. 376

Старшее поколение — как это видно на примере *Хантов* — имеются в виду братья *Уильям Моррис Хант (1824—1879)* — американский художник — и *Ричард Моррис Хант (1828—1895)* — модный американский архитектор своего времени.

С. 377

Макким, Чарлз Фоллен (1847—1909) — американский архитектор, по его проектам построены Публичная библиотека Бостона, а также ряд зданий для Всемирной ярмарки в Чикаго (1893).

Уайт, Стэнфорд (1853—1906) — американский архитектор, сотрудничавший с Ч. Маккимом во многих проектах, получил известность за свои талантливые стилизации под Ренессанс.

С. 378

Он еще не видел киплингowski «Мандалей» — популярное стихотворение Р. Киплинга, впервые опубликованное в сборнике «Баллады казармы» (1892).

С. 379

Банкрофт, Джордж (1800—1891) — американский государственный деятель, историк, автор классической многотомной «Истории Соединенных Штатов Америки» (1834—1876). Уйдя в отставку с поста посла США в Германии, Д. Банкрофт до конца своих дней жил в Вашингтоне и, будучи родственником жены Г. Адамса, внимательно следил за историческими работами автора мемуаров.

С. 380

«Жизнеописание Авраама Линкольна» — десяти томная биография «Авраам Линкольн: Жизнеописание», написанная Джоном Хеєм в соавторстве с Джоном Николеєм, была опубликована в 1890 году.

С. 381

...даже под пальмами Вайлимы — небольшое поселение на горном шельфе в Самоа, где Р. Л. Стивенсон провел последние годы своей жизни.

С. 383

Брайс, Калвин (1845—1898) — влиятельный сенатор от штата Огайо, некоронованный король западных железных дорог США.

Кливленд, Гровер (1837—1908) — 22-й президент США (1885—1888 и 1893—1896).

Гаррисон, Бенджамин (1833—1901) — 23-й президент США (1889—1892).

...чем-то вроде ветеранов «Корнуоллисов» из «Записок Биглоу» — имеются в виду ежегодные смотры ополчения в штате Массачусетс, проводившиеся в первые десятилетия после окончания войны за независимость. «Корнуоллисы» представляли собой костюмированные спектакли под открытым небом, многотысячные толпы участников изображали сцены капитуляции армии лорда Корнуоллиса под Йорктауном.

С. 384

...в эзоповом царстве лягушек — имеется в виду басня Эзопа, повествующая о том, как Зевс внял бесконечным мольбам лягушек, уставших от нескончаемых распрей и междуусобиц, возникавших по причине республиканских форм правления в их болоте, и бросил им сверху обычное бревно, объявив его царем. Через некоторое время лягушки вновь стали проявлять недовольство, заявляя, что их царь ничего не делает. Разгневанный Зевс заменил бревно аистом, который и разделался с вечно недовольными лягушками.

Хейс, Ратерфорд Берчард (1822—1893) — 19-й президент США (1877—1881).

Шури, Карл (1829—1906) — американский политический деятель, участник Гражданской войны, министр внутренних дел в администрации Хейса.

С. 391

Паркмен, Фрэнсис (1823—1893) — американский историк романтического направления, автор беллетризованных исторических произведений.

Макуэй, Айзек Уэйн (1833—1917) — американский государственный деятель, дипломат.

С. 392

...а пока лучшие годы своей жизни он проводил под землей — шутивное сопоставление внешне неприметной деятельности Джона Хея за кулисами политической борьбы с работой Кинга в рудниках и шахтах.

...у них не было для поклонения ни змея, ни золотого тельца — имеются в виду библейские легенды — о медном змее Моисея, лицезрение которого якобы исцеляло от укуса ядовитых змей пустыни, и о золотой статуе тельца, которую Аарон по требованию возроптавшего народа сделал во время отсутствия Моисея.

С. 393

...заказанное им Сент-Годенсу бронзовое надгробие — памятник, поставленный Г. Адамсом на могиле его жены, покончившей жизнь самоубийством 6 декабря 1885 года. В туристских справочниках эта статуя получила название «Горе».

С. 394

Камакурский Дайбуцу — огромная бронзовая статуя Будды в Камакуру (Япония).

С. 396

Рид, Томас Брэггетт (1839—1902) — американский политический деятель, спикер конгресса, известный по прозвищу «царь Рид».

Кокрен, Уильям Берк (1854—1923) — американский конгрессмен, славившийся своим красноречием.

Уолкот, Эдуард Оливер (1848—1905) — американский политический деятель, сенатор от штата Колорадо.

Олни, Ричард (1835—1917) — американский юрист и политик, государственный секретарь США (1895—1897).

С. 397

Лодж, Генри Кэбот (1850—1924) — американский поли-

тический деятель, публицист и историк. С 1893 года — член сената США.

Камерон, Джеймс Доналд (1833—1918) — президент правления Северной Центральной железной дороги, военный министр в администрации У. Гранта, сенатор.

Камерон (Шерман), Элизабет (1857—1944) — вторая жена сенатора Д. Камерона, первая красавица Вашингтона, близкая приятельница Г. Адамса, которую он неоднократно сопровождал во время поездок в Париж.

Рузвельт Теодор (1858—1919) — 26-й президент США (1901—1909).

Райс, Сесил Артур Спринг (1859—1918) — посол Великобритании в США (1913—1918).

С. 399

Галлатин, Альберт (1761—1849) — американский государственный деятель, министр финансов в администрациях Т. Джефферсона и Д. Медисона (1801—1813). В 1879 году были опубликованы «Сочинения Альберта Галлатина», вышедшие под редакцией Генри Адамса, и в том же году появилась книга самого Г. Адамса «Жизнь Альберта Галлатина».

Янки — первоначальное оскорбительное прозвище жителей Новой Англии — от искаженного голландского «Ян Киз» («Джон Сыр»). Со временем окончание «s» стало восприниматься как окончание множественного числа.

Даго — оскорбительное прозвище в США для лиц испанского и латиноамериканского происхождения, несколько позднее стало употребляться также по отношению к итальянцам.

С. 400

...к вопросу о серебряном стандарте — имеются в виду правительственные дебаты по предложению чеканить серебряные монеты в номинальную стоимость их веса, с тем чтобы золотой запас не являлся единственной гарантией платежеспособности государственных банковских билетов. Отсюда понятие «биметаллизм». Считалось, что, если правительство обя-

жет при заключении всех торговых договоров на территории США обе стороны определенный процент суммы вносить в серебре, американский рынок перестанет испытывать столь непосредственное воздействие от спекуляции золотом и от международной финансовой конъюнктуры, учитывая депрессию 1893 года в связи с банкротством крупного лондонского банка «Братья Бэриг» в 1891 году.

С. 401

Хортон, Сэмюэл Дана (1844—1895) — американский экономист, сторонник введения биметаллизма как средства ускорения социального прогресса.

С. 403

...подобно доктору Джонсону, сердито топая на ближних ножкою, следуя своим пристрастиям и антипатиям — имеется в виду известный литературный анекдот о том, что доктор Сэмюэл Джонсон, когда его попросили опровергнуть главный постулат учения Джорджа Беркли, утверждавшего, что окружающий нас мир существует лишь в нашем восприятии, пнул ногою камень, «доказывая» реальность его существования и независимость от нашего восприятия.

С. 406

Всемирные выставки — международные выставки, организуемые для демонстрации разносторонней деятельности народов в области экономики, науки, техники, культуры и искусства. Всемирные выставки подразделяются на универсальные и специализированные. Первой Всемирной выставкой принято считать международную промышленную выставку в Лондоне, состоявшуюся в 1851 году. Строго определенной периодичности выставки не имели и устраивались с промежутками от 2 до 7 лет. Всего с 1851-го по 1904 год было организовано 18 Всемирных выставок.

С. 408

Уорт и Пакен — крупнейшие парижские дома моделей конца XIX века.

Бернхем, Дэниел Хадсон (1846—1912) — американский архитектор, автор проекта Чикагской Всемирной выставки 1893 года, плана комплексной застройки Чикаго и создатель первого в мире здания повышенной этажности, получившего у современников название «небоскреб».

С. 409

Пестум и Гиргенту — древнегреческие города-колонии в Южной Италии.

С. 412

Джонс, Джон Персиваль (1829—1912) — американский угольный магнат и политический деятель, активно ратовавший за введение биметаллизма.

Фрюин, Мортон (1853—1924) — английский политический деятель, активный сторонник введения системы биметаллизма в Великобритании и США. Голосование по этому вопросу в сенате США состоялось 30 октября 1893 года.

С. 413

...как выдвинутая некогда мятежниками теория суверенных прав штатов — имеются в виду различные этапы борьбы местных органов самоуправления (администраций штатов) с концентрацией власти в руках федерального правительства. Особой остроты эта борьба достигла в конце XVIII века в связи с установлением президентской формы правления, ограничившей полномочия штатов в области национальных финансов и внешнеполитических проблем, во время Англо-американской войны 1812—1814 годов, когда политические деятели северных штатов выступали за ее немедленное прекращение, а правительство, состоящее в основном из южан, не принимало требований Великобритании, а также в начале 60-х годов XIX века из-за стремления южных штатов создать

собственную конфедерацию, сохраняющую институт рабовладения.

...попытка, которую уже тщились осуществить при несравненно более простых обстоятельствах в 1800-м, а затем в 1828 году и которая оба раза провалилась — Г. Адамс указывает годы президентских выборов, закончившихся избранием соответственно Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона, которые пытались расширить социальную базу своих политических программ за счет привлечения свободных фермеров и промышленного пролетариата.

Патернализм (от лат. *paternus* — отцовский) — особая форма трудовых отношений, при которых власть лиц, руководящих производством, как бы уподобляется власти отца над находящимися на его попечении детьми. Администрация в теории патернализма изображается как общественный орган, заботящийся не только о производстве и своих личных целях, но и о нуждах занятых в данном производстве рабочих.

С. 418

...кубинское государственное здание... рухнуло им прямо на голову — имеется в виду вооруженное национально-освободительное восстание кубинского народа против испанских колонизаторов (1895—1897), в результате которого 25 ноября 1897 года испанское правительство предоставило Кубе автономии. Кубинский народ, однако, сражавшийся за полную независимость, продолжил борьбу, и к концу 1897 года большая часть страны, за исключением портовых городов, была очищена от испанских войск.

Со времени Рамсеса — по-видимому, Г. Адамс подразумевает самого известного из древнеегипетских фараонов Рамсеса II (XIV—XIII вв. до н. э.), то есть «со времен египетских фараонов».

С. 419

Тетоны — одно из индейских племен, входившее в состав племенного союза индейцев сиу.

Филлипс, Уильям Холлет (1853—1897) — вашингтонский адвокат, симпатизировавший революционному движению на Кубе.

Иддингс, Джозеф Паксон (1857—1920) — коллега К. Кинга, преподаватель геологии в Чикагском университете.

С. 420

Форд, Уоррингтон Чонси (1858—1941) — директор бюро статистики в госдепартаменте, историк и экономист, консультировавший Г. Адамса по экономическим вопросам.

С. 421

...созидательная концепция Адама Смита — Смит, Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ, представитель классической буржуазной политической экономии. В его основном произведении «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) проводилась мысль о национальном богатстве как суммарном результате созидательной трудовой деятельности всех поколений общества, овеществленной в материальном продукте и имеющей меновую и потребительскую стоимости.

Реклю, Жан Жак Элизе (1830—1905) — французский географ, автор фундаментальной «Географии мира» в 19 томах, участник Парижской коммуны, друг Кропоткина и один из лидеров движения французских анархистов.

С. 422

...разве только число жертв, как в Армении, превышало сотни тысяч — имеется в виду массовое уничтожение армян-христиан турками в 1894—1896 годах.

С. 423

Мадам де Севинье (Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье) (1626—1696) — французская аристократка, славившаяся при дворе Людовика XIV своим интеллектом и

образованностью. Ее эпистолярное наследие — письма к дочери были опубликованы посмертно.

С. 425

...в стиле «чурригереско» — испанский барочный стиль, связанный с именем архитектора *Жозе Чурригера (1650—1723)*.

...чтобы вместе со всеми избрать президентом Маккинли и начать строить мир заново — победа Уильяма Маккинли на президентских выборах 1896 года обычно связывается историками США с открытым подчинением политики правительства интересам трестов и монополий, со стремительным ростом промышленного производства и ослаблением позиций финансовой олигархии.

С. 426

Рокхилл, Уильям Вудвилл (1854—1914) — американский дипломат и государственный деятель; в 1894—1897 годах — помощник государственного секретаря, с 1897 года — посол США на Балканах.

С. 429

О молчании с похвалой отозвался Софокл — Г. Адамс имел в виду высказывания по этому поводу героев трагедий Софокла «Антигона» и «Царь Эдип».

С. 430

В тексте приводится цитата из произведения французского романтика *Альфреда Виктора де Виньи (1797—1863)* «Смерть волка» (1843).

С. 431

...словно Одиссей, теснимый со всех сторон теньми прошлого — имеется в виду эпизод посещения Одиссеем загробного мира.

Какому морицинистому Тангейзеру, возвратившемуся в Вартбург, нужна морицинистая Венера — ссылка на сюжет оперы Вагнера «Тангейзер» — возвращение рыцаря Тангейзера в Тюрингию после многих лет скитаний.

С. 432

...подобно всем мертвым американцам — ссылка на шуточное высказывание, принадлежащее американскому художнику и литератору, основателю Бостонского музея изобразительных искусств Томасу Г. Алтону (1812—1884): «Когда умирают добродетельные американцы, они отправляются в Париж».

Эдди, Спенсер (1874—1939) — личный секретарь посла Джона Хея, впоследствии государственный служащий и дипломат.

...гибель броненосца «Мэн» на рейде Гаваны — боевой американский корабль «Мэн», направленный правительством США на Кубу и 24 января 1898 года бросивший якорь в Гаванском порту с согласия испанских властей на Кубе, в ночь на 15 февраля 1898 года был потоплен мощным взрывом. Причины этого взрыва до сих пор остались невыясненными. Из всего экипажа «Мэна» в живых осталось менее 150 человек.

Константин I (272—337) — древнеримский император, принявший христианство и утвердивший его в качестве государственной религии Римской империи; считается также основателем Константинополя.

Юстиниан I (483—565) — византийский император, в период царствования которого был собран свод римского права, а также построен Софийский собор в Константинополе.

С. 434.

...к величайшей перспективе создания подлинной империи, к построению которой Хей приступил теперь с артистическим блеском — имеется в виду так называемая доктрина англосаксонского мира, содержащаяся, в частности, в речи Джона Хея от 1897 года, произнесенной им при вступлении в долж-

ность посла США в Великобритании. В этой речи Хей высказался за единство «англосаксонской нации», за тесное сотрудничество между странами английского языка «во имя свободы и прогресса».

С. 435

Он знал, что Порто-Рико вот-вот падет, но был бы рад, если бы Филиппины избежали той же участи — Порто-Рико — так до 1932 года в США неправильно называли остров Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико — бывшая колония Испании — был оккупирован американскими войсками в июле 1898 года. Филиппины же были аннексированы по договору 1898 года, заключенному в ноябре.

С. 436

...битва при Гастингсе — разгром в 1066 году армии англосаксонского короля нормандскими завоевателями, резко изменивший ход английской истории, в результате которого на английском троне оказалась династия Плантагенетов.

...известили о гибели Испанской армады, как могли бы известить в 1588 году королеву Елизавету — уничтожение испанского флота, несравненно более слабого, чем военноморские силы США, в начале июля 1898 года Г. Адамс несколько неожиданно сравнивает с разгромом испанской Великой армады, предназначавшейся для захвата Британских островов, — эскадрой наскоро собранных и перееснащенных английских пиратских и торговых кораблей.

С. 437

Уолси, Томас (1475—1530) — кардинал, советник английского короля Генриха VIII, имевший почти неограниченную светскую и церковную власть в Англии в 1510—1520 годах.

С. 439

...с тех пор, когда Улисс причалил к острову, привлеченный единственным глазом Циклопа — имеется в виду эпизод из

«Одиссеи» Гомера: попав на острове Сицилия в плен к циклопу Полифему, Одиссей напоил его и лишил единственного глаза с помощью горящего бревна, то есть ответил насилием и хитростью на насилие.

...*римская республика Брута и Катона* — то есть последние десятилетия в жизни Римской республики перед ее гибелью и началом эпохи Римской империи. *Брут, Марк Юний* (85—42 гг. до н. э.) — древнеримский политический и военный деятель, участник заговора и убийства Юлия Цезаря. *Катон* (95—46 гг. до н. э.) — древнеримский философ-стоик, непримиримый республиканец, боровшийся против Цезаря.

Кромвель, Оливер (1599—1658) — вождь индепендентов, командующий кавалерией в армии парламента в период Английской буржуазной революции (1641—1649). В середине 1650-х годов объявил себя лордом-протектором Англии, сосредоточив в своих руках всю полноту власти.

Сулла (138—78 гг. до н. э.) — древнеримский полководец, ставший консулом в 80 году до н. э. и объявивший себя диктатором. Он считается первым в истории Европы правителем, опубликовавшим список своих политических противников, объявившим их вне закона и призвавшим сограждан убить их.

С. 440

Св. Августин, Аврелий (354—430) у католических богословов получил имя Августин Блаженный. Римский теолог, возведенный в сан епископа, и писатель, чьи сочинения оказали глубокое воздействие на формирование всей догматики католицизма.

Св. Амвросий (340—397) — епископ Милана, один из раннехристианских отцов церкви, уточнивший ряд догматов христианского учения, позднее ставших каноническими.

Св. Иероним (340—420) — раннехристианский религиозный деятель, филолог и археолог, осуществивший один из наиболее известных переводов Библии на латинский язык.

Зом, Рудольф (1841—1917) — немецкий ученый-юрист.

С. 442

Анараджпура — священный город буддистов на Цейлоне (ныне Шри-Ланка).

С. 443

Оакура (Какуцо) (1862—1913) — японский искусствовед, с которым Г. Адамс и Ла Фарж познакомились в Японии в 1885 году. Автор «Пробуждения Японии» (1904) и «Книги о чае» (1906), посвященной Ла Фаржу.

Хамфрис-Джонстон, Джон (1857—1941) — художник-символист, владелец большой художественной коллекции, составлявшейся в его доме в Венеции.

Англичане в то время вели войну с бурами — имеется в виду Англо-бурская война 1899—1902 годов.

С. 445

...со времени «зимы предательств» 1860—1861 годов — стремясь ослабить США, Великобритания, по мнению Г. Адамса, «предавала» единство стран английского языка, оказывая поддержку Конфедерации Южных Штатов. Англо-бурская война в свою очередь подрывала англосаксонскую солидарность, так как вызывала у американцев антианглийские настроения.

С. 446

Чемберлен, Джозеф (1836—1914) — министр колоний Великобритании, проводивший политику всемерного укрепления Британской империи.

Тилден, Сэмюэл Джонс (1814—1886) — американский юрист, государственный деятель, один из активистов Партии фрисойлеров, губернатор Нью-Йорка с 1874 года.

С. 448

Паунсфот, Джулиан (1828—1902) — английский посол в США (1893—1902).

С. 449

Клан-на-гэл — революционная организация ирландцев, имевшая штаб-квартиру в Нью-Йорке. Провозгласила своей первоочередной задачей свержение британского господства в Ирландии.

Кассини, Артур Павлович (род. 1835) — русский посол в Вашингтоне (1897—1904). В США был переведен из Пекина, а затем отправлен в Мадрид. Умер, по-видимому, в Париже, куда эмигрировал в связи с революционными событиями в России.

Холлебен, Альберт Людвиг Карл (1835—1906) — немецкий дипломат, посол Германии в США.

С. 450

Кеплер, Иоганн (1571—1630) — немецкий астроном, открывший законы планетарного движения.

С. 451

Ньюком, Саймон (1835—1909) — американский астроном, преподаватель математики и астрономии в университете Джона Гопкинса.

Гиббс, Джосиа Уиллард (1839—1903) — преподаватель Йельского университета, один из основоположников современной физической химии, автор монографии «Равновесие гетерогенных субстанций» (1878).

Ленгли, Сэмюэл Пьерпойнт (1834—1906) — американский астроном и авиаконструктор.

С. 452

Сталло, Джон Бернгард (1823—1900) — немецкий ученый, принявший американское подданство, специализировался в химии, физике и юриспруденции. Его труд «Понятия и теории современной физики» (1882) в основном посвящен проблемам гносеологии — анализу принципов и границ человеческого познания в свете физических открытий конца XIX века.

Расселас — герой одноименного философского романа Сэмюэла Джонсона, опубликованного в 1759 году.

...в *двух шагах от «Трокадеро»* — то есть в одном из самых фешенебельных районов Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни.

...пока в ноябре не закрылась *Всемирная выставка* — Всемирная выставка была открыта в Париже 15 апреля 1900 года.

С. 453

Бэкон, Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, государственный деятель, поэт, автор многочисленных научных трудов, в том числе сочинения «Развитие науки» (1605), в котором он отстаивал опытно-экспериментальные методы познания и пытался заложить основы новой, неаристотелевой натурфилософии.

«*Комедия ошибок*» — одна из ранних пьес Шекспира (1594).

Яков I — английский король (1603—1625), родоначальник династии Стюартов на английском троне.

С. 454

Даймлер, Готтлиб (1834—1900) — немецкий инженер, изобретатель одного из первых малогабаритных высокооборотных двигателей внутреннего сгорания, запатентованного им в 1887 году.

С. 455

...усердно *открещивался от новых лучей* — имеются в виду радиоактивные излучения, открытые супругами Кюри в 1898 году.

Открытые им лучи, с помощью которых он расширил солнечный спектр — с помощью изобретенного С. П. Ленгли боллометра он измерил диапазоны невидимых глазу солнечных лучей в инфракрасном спектре.

Томсон, Уильям, барон Кельвин (1824—1907) — английский математик и физик, работавший в области электродинамики и термодинамики.

Маркони, Гульельмо (1874—1937) — итальянский физик, радиотехник и предприниматель. В западноевропейской науке считается изобретателем «беспроволочного телеграфа» (радио). Изобретенный им аппарат был запатентован в Великобритании в 1896 году. В 1901 году он осуществил первый трансатлантический сеанс радиосвязи. Лауреат Нобелевской премии (1909).

Бранли, Эдуард (1846—1940) — французский физик, создатель пеленгатора — «когерера Бранли».

С. 457

Галилей, Галилео (1564—1642) — итальянский астроном и физик, усовершенствовавший телескоп и подтвердивший расчетами правильность гелиоцентрической теории Н. Коперника. Разработал принципы фиксации результатов физических экспериментов с помощью математической базы и поэтому считается одним из «отцов современной науки».

...когда император Константин утвердил христианство в качестве официальной религии — Г. Адамс несколько округляет даты: время обращения Константина I в христианство — 313 год, а Колумб «перевернул весь мир» в 1492 году.

...как явившийся Константину крест — греческий историк Евсевий в «Жизнеописании Константина» сообщает, со слов самого императора, что накануне сражения с войсками Максенция (28 октября 312 года) Константин видел крест на небе с надписью «Нос vince» («Сим победиши») в присутствии всей своей армии; то же явление повторилось императору во сне и рассеяло его сомнения. Приблизительно так же писали Лактанций и Руфин, ограничивая, впрочем, видение сном. *Миланский эдикт* — решение, принятое на съезде в Милане зимой 312/313 года, где состоялось соглашение Константина с Лицинием о совместных действиях против Максимиана.

С целью привлечь на свою сторону христиан Константин и Лициний опубликовали эдикт о веротерпимости.

С. 458

Острие ножа, по которому Адамсу, как некогда сэру Ланселоту, предстояло пройти — имеется в виду эпизод из рыцарского романа Кретьена де Труа «Ланселот» (XII век), в котором герой пробирается в замок по острию переброшенного через ров меча. *Лурд* — знаменитая рака на юго-западе Франции, посвященная деве Марии. *Рака* — обычно большой ларец в форме саркофага, сундука, в данном случае — целое архитектурное сооружение, очень богато украшенное и предназначенное для хранения мощей девы Марии.

С. 459

Лукреций (ок. 99—55 гг. до н. э.) — древнеримский философ эпикурейской школы и поэт, автор натурфилософской поэмы «О природе вещей».

С. 460

Спенсер, Герберт (1820—1893) — английский философ, применивший к социологии эволюционные методы анализа, автор фундаментальной «Системы синтетической философии» (1862—1893).

Уитмен, Уолт (1819—1892) — американский поэт, автор поэтического сборника «Листья травы» (1855), протестовавший против лицемерия и ханжества американской общественной морали второй половины XIX века.

Брет-Гарт (1836—1902) здесь упоминается как создатель юмористических образов золотоискателей, картежников, проституток.

...еще один-два художника не боялись писать обнаженную натуру — Г. Адамс, вероятно, имеет в виду известную картину Уильяма Морриса Ханта (1824—1879) «Купальщики».

Иродиада — библейский персонаж: жена царя Ирода, ненавидевшая Иоанна Крестителя и сумевшая хитростью добиться от мужа его казни.

С. 463

...в рогатой Изиде из Эдфу — изображение древнеегипетской богини плодородия Изиды с коровьими рогами на голове из храма в Эдфу — в 80 километрах к югу от Луксора.

Людовик XI (1423—1483) — король Франции из династии Валуа (1461—1483). В данном случае имеется в виду его демонстративная набожность, так как, по историческим источникам, особой религиозностью он не отличался.

Челлини, Бенvenuto (1500—1571) — итальянский скульптор и ювелир, ученик Микеланджело.

С. 464

Книд (Книдос) — древнегреческий город-колония на территории Малой Азии, где, по историческим источникам, находилась статуя Афродиты, созданная Праксителем-старшим. До наших дней дошли только копии этой скульптуры, одна из которых хранится в художественном собрании Ватикана.

С. 465

Зенон (366—264 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, основоположник стоицизма как философского учения.

Декарт, Рене (1596—1650) — французский математик и философ. Разработанное им философское учение (картезианство) лежит в основе современных неорационалистических теорий.

Фома Аквинский (1225—1274) — итальянский философ-схоласт, крупнейший теолог средневековья, основатель томизма.

Монтень, Мишель (1533—1592) — французский философ-скептик и писатель, автор прославленных «Опытов» (первое издание — 1580 год).

Паскаль, Блез (1623—1662) — французский математик, физик, философ и писатель. Считается создателем метода математической индукции, а также классической гидростатики. Место Паскаля в истории философии и культуры определяется тем, что это был первый мыслитель и художник, прошедший через опыт механистического рационализма и поставивший вопрос о границах «научности».

С. 466

Роден, Огюст (1840—1917) — французский скульптор. На Всемирной выставке 1900 года он впервые демонстрировал свои самые знаменитые произведения — «Мыслитель» и «Поцелуй».

Бенар, Поль Альберт (1849—1934) — французский художник-импрессионист.

С. 467

Маркиза де Помпадур (1721—1764), графиня дю Барри (1746—1793) — фаворитки французского короля Людовика XV.

Фридрих Великий (1712—1786) — король Пруссии.

Мария Терезия (1717—1780) — эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Богемии.

Ватто, Жан Антуан (1684—1721) — французский художник-классицист.

Хогарт, Уильям (1697—1764) — английский художник реалистического направления.

Наттье, Жан Марк (1685—1766) — придворный портретист Людовика XV.

Рейнолдс, Джошуа (1723—1792) — английский художник-портретист периода позднего классицизма.

Драма, развернувшаяся в Пекине летом 1900 года — имеется в виду так называемое «восстание боксеров», выступавших за изгнание европейцев из Китая и громивших посольства европейских государств. В конце лета восстание

было подавлено объединенной армией интервентов, в составе которой был и американский полк.

Эпоха Мин — в историографии Китая период царствования династии Мин (XIV—XVII века).

С. 470

Рут, Илиу (1845—1937) — американский юрист и государственный деятель, военный министр в администрациях У. Маккинли и Т. Рузвельта, реорганизовавший армию США и создавший Генеральный штаб.

С. 471

Бэрр, Аарон (1756—1836) — американский военный и политический деятель, вице-президент (1801—1804) в администрации Т. Джефферсона.

Джайлс, Уильям (1762—1830) — американский сенатор, губернатор Виргинии.

...*вкуне с сэром Могучим Мозгляком* — не вполне точное цитирование Шекспира («Генрих IV», часть вторая, акт III, сцена II).

...*предлагая вниманию публики подлинных Брутов и Боллинброков, Джеков Кедов, Фальстафов и Мальволио* — хотя данный список включает не только вымышленных, но и подлинных лиц, Г. Адамс имеет в виду лишь персонажей произведений Шекспира.

С. 472

«*Не больно, Пэт!*» — восклицание Аррии — жены древнеримского сенатора Цецины Пэта, приговоренного императором Клавдием к самоубийству. Показывая пример мужу, Аррия с этими словами закалывает себя кинжалом (см. Письма Плиния-младшего, III, 16).

С. 473

Фарадей, Майкл (1791—1867) — английский физик и химик, открывший в 1831 году закон электромагнитной индукции.

С. 476

Маска «Комус» (от англ. masque) — особый жанр, существовавший в придворных театрах Англии и Франции XVI—XVII веков — пьеса Джона Мильтона с элементами оперы и балета на музыку Генри Лоеса, поставленная в 1634 году в парке замка Ладлоу. В XIX веке эта маска часто ставилась самостоятельными студенческими театрами Великобритании и США. Комус — персонаж пьесы, олицетворение вульгарного материализма и гедонизма.

С. 478

Кролл, Джеймс (1821—1890) — шотландский геолог.

Гейки, Джеймс (1839—1915) — шотландский геолог, автор монографий «Великий ледниковый период» (1874) и «Доисторическая Европа» (1881), в которых доказывал, что на территории Британских островов выделяются следы пяти межледниковых периодов.

Юсс, Эдуард (1831—1914) — австрийский геолог и палеонтолог, автор многотомного труда «Лик Земли» (1885—1901).

С. 479

...восстали против самодержавного указа лорда Кельвина — в середине прошлого века лорд Кельвин высказался против гипотез Лайелла и униформистов, измерявших возраст Земли несколькими миллиардами лет. Сам Кельвин считал, что планете не больше 20 миллионов лет. Используя свой научный авторитет, он добился коллективного осуждения их позиции. Последующие исследования ученых XIX века, однако, вскоре опровергли мнение лорда Кельвина.

С. 480

Диоген Тейфельсдрек — герой произведения Томаса Карлейля «Сартор Резартус» — немецкий философ, прошедший путь от абсолютного скептицизма к абсолютному жизнеутверждению и страстной вере.

С. 481

Стикни, Джозеф Трамбелл (1874—1904) — американский поэт.

«Луиза» — опера Гюстава Карпентьера (1860—1956).

Лодж, Джордж Кэбот (1873—1909) — сын сенатора Генри Лоджа, приятель Джозефа Стикни, вместе с которым они учились в Гарвардском университете, проживали в Париже и занимались поэзией.

Латинский квартал — район между Сорбонной и собором Сен-Жермен-де-Пре, где в основном снимали жилье студенты университета.

Монмартр — расположенный на холмах район Парижа, откуда открывается панорама всего города.

Монпарнас — примыкающий к Латинскому кварталу район Парижа, где в многочисленных кафе любили собираться французские художники и писатели.

Сюлли, Жан Муни (1841—1916) — популярный французский актер.

С. 482

Байрейтский фестиваль — ежегодный фестиваль вагнеровской музыки в театре Байрейта, построенном в 1876 году баварским королем Людвигом специально для постановок опер *Рихарда Вагнера* (1813—1883).

Зигфрид и Брунгильда — персонажи оперы Р. Вагнера «Кольцо нибелунгов» (1853—1874). *Парсифаль* — герой одноименной музыкальной драмы — оперы-мистерии Вагнера (1882).

«Гибель богов» (1870—1874) — последняя часть тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунгов».

С. 483

Тернина, Милка (1864—1941) — знаменитая певица, исполнявшая женские партии в операх Вагнера.

Пантеон — выстроенное неподалеку от Латинского квар-

тала здание, в котором находятся гробницы Руссо, Вольтера, Гюго и многих других знаменитых французских деятелей литературы, науки, искусства.

С. 484

Шопенгауэр, Артур (1788—1860) — немецкий философ, один из основоположников пессимистического, антирационалистического направления в современной буржуазной философии.

С. 488

Уоллес, Дональд Маккензи (1841—1919) — английский журналист, автор монографии «Россия» (1877).

С. 489

Витте, Сергей Юлиевич (1849—1915) — русский министр финансов (1892—1903), а затем — председатель совета министров, способствовавший индустриализации России, привлечению иностранных инвестиций. Пытался осуществить некоторую либерализацию внутренней политики царского правительства.

Хилков, Михаил Иванович (1834—1909) — русский аристократ, инженер, работавший в Великобритании, Венесуэле, Болгарии и США. Освоил множество специальностей: от рабочего до управляющего производством. В должности министра путей сообщения и связи обеспечивал строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.

С. 492

Скандинавская гипотеза — предположение о том, что в средневековой Европе утвердились социально-политические институты, первоначально сложившиеся на территории современных Скандинавских стран. Варяжская версия происхождения русской государственности — часть скандинавской гипотезы.

Фримен, Эдуард Огастес (1823—1892) — английский историк, автор исследования «История норманнского завоевания» (1867—1879).

С. 493

...при всем богатстве его шотландской фантазии — в данном случае Г. Адамс имеет в виду не литературного героя, а его автора — шотландца Т. Карлейля.

С. 496

Плеве, Вячеслав Константинович (1846—1904) — реакционный государственный деятель царской России, шеф жандармерии, член Государственного совета, с 1902 года — министр внутренних дел России. Проводил политику русификации национальных меньшинств, выступал за оккупацию Маньчжурии и Кореи и за жесткие меры по отношению к трудящимся массам, проявляющим недовольство. В 1904 году был убит эсером Е. Сазоновым.

С. 497

Три чудовищных политических убийства, которые повергли бы в ужас и кровожадных Евменид... — Г. Адамс имеет в виду убийства американских президентов: А. Линкольна (1865), Д. Гарфилда (1881), У. Маккинли (1901). *Евмениды*, или *фурии*, в древнегреческой мифологии — разъяренные бессмертные духи, преследующие преступников. Обычно изображались в облике неистовых женщин с крыльями и со змеями.

Хей, Эдельберт Стоун (1877—1901) — сын Джона Хейя, трагически погибший на 24-м году жизни, выпав из окна колледжа.

С. 499

Сенека, Луций (4 г. до н. э. — 65 г.) — древнеримский философ-стоик, государственный деятель и драматург.

С. 503

Остин, Джейн (1775—1817) — английская писательница, произведения которой отмечены точностью владения словом, меткостью психологических наблюдений и тонким чувством юмора.

С. 506

...сенат разрешил Великобритании... отказаться, без соответствующего возмещения, от предоставленных ей по договору прав, за которые она зубами и когтями цеплялась целых пятьдесят лет — имеется в виду договор Клейтона-Бульвера 1850 года о планировании строительства Панамского канала. В 1901 году этот договор был заменен договором Хей-Паунсфота, согласно которому США полностью взяли строительство канала и соответственно гарантию свободного судоходства по нему в свои руки.

...неприятностей можно было ждать только от Канады — имеются в виду проводившиеся в то время переговоры о границе между Канадой и Аляской.

Жорес, Жан Леон (1859—1914) — французский социалист.

Бебель, Август (1840—1913) — немецкий социал-демократ, государственный деятель и публицист.

С. 507

Кайзер Фридрих Вильгельм II (1859—1941) — император Германии, король Пруссии, проводивший активную политику роста военно-политического могущества страны.

С. 508

Микадо — японский император Муцухито (1852—1912).

С. 509

Хит, Рейнолдс (1876—1938) — американский дипломат, второй секретарь посольства США в Берлине.

С. 511

Св. Бернар (1091—1153) — французский теолог-мистик, выступавший против рационалистической философии, один из инициаторов Второго крестового похода.

С. 512

Energetik — основная категория в немецкой естественно-научной философии конца XIX века (Оствальд, Хелм и др.), в которой стало преобладать мнение, что первоосновой бытия является не материя, а энергия.

Геккель, Эрнст Генрих (1834—1919) — немецкий биолог и философ.

Мах, Эрнст (1838—1916) — австрийский физик и философ, субъективно-идеалистические взгляды которого были подвергнуты резкой критике В. И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1908).

С. 513

...нельзя было не встретить знаменитого медведя, так напугавшего играющих детей — ссылка на английскую сказку «Золотые лютики и три медведя», сюжет которой довольно близок к русской сказке «Три медведя».

С. 514

...начиная с 1450 года — имеется в виду собор католической церкви, созданный римским папой Евгением IV в 1450 году и подтвердивший истинность католических догматов, подвергавшихся критическому обсуждению со стороны европейских гуманистов. Г. Адамс также принимает эту дату в качестве условной начальной точки отсчета истории современной науки, приведшей к переосмыслению и отрицанию многих средневековых христианских постулатов.

С. 516

Гартман, Эдуард (1842—1906) — немецкий философ-идеа-

лист, развивший учение А. Шопегауэра в области натурфилософии, автор сочинений «Философия бессознательного» (1869) и «Мировоззрение новейшей физики» (1902). Получил резко критическую оценку в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

...как сказал *Мефистофель о Маргарите*... — в первой части «Фауста» Мефистофель, успокаивая раскаивающегося героя, цинично заявил, что Маргарита не была первой из всех соблазненных женщин.

С. 521

Выполняя взятую на себя задачу держать двери Китая «открытыми» — то есть не допускать договорного раздела сфер влияния и рынка Китая между Великобританией, Германией, Россией, Францией и США.

Герберт, Майкл Генри (1857—1903) — английский дипломат, посол Великобритании в США (1902—1903).

Шпек, Герман, барон фон Штернберг (1852—1908) — немецкий дипломат, посол Германии в США (1903—1908).

С. 522

...*намерения России в отношении Маньчжурии* — имеются в виду колониальная политика аннексий на Дальнем Востоке со стороны царского правительства и оккупация русскими войсками Маньчжурии.

С. 523

Ламсдорф, Владимир Николаевич (1845—1907) — русский министр иностранных дел, поддерживавший политический курс С. Ю. Витте и пытавшийся вопрос о Маньчжурии и Корее решить путем мирных переговоров с Японией.

С. 524

...*испытывать благодарность к Александру II, чья политика твердого нейтралитета в 1862 году*... — сильные анти-

французские и антибританские настроения, распространившиеся в России в связи с Крымской войной (1853—1856), обусловили благожелательное отношение царского правительства к американскому Северу в период Гражданской войны и активное противодействие политике Великобритании и Франции, стремившихся к расколу и ослаблению США.

С. 530

...ни одна женщина в мире со времен пресловутого змия — имеется в виду эпизод библейского мифа о соращении Евы Сатаной, явившимся перед ней в облике змея.

С. 531

Максвелл, Джеймс Кларк (1831—1879) — английский физик, создатель классической электродинамики и кинетической теории газов.

С. 536

...по мнению Уилларда Гиббса — в издании 1918 года, по которому переводится текст, Адамс спутал американского физика *Уилларда Гиббса* (1839—1903) с американским физиком *Уолкоттом Гиббсом* (1822—1908).

Пирсон, Карл (1857—1936) — английский математик. Упомянутая в книге монография «Грамматика науки» вышла в 1899 году — классический труд по релятивистской натурфилософии рубежа XIX—XX веков.

С. 537

Крукс, Уильям (1832—1918) — английский физик и химик, главный редактор журнала «Куортерли джорнел оф сайенс» — основного научного периодического издания Великобритании во второй половине XIX века. В книге Г. Адамса имеется в виду его статья, опубликованная в «Докладах Смитсоновского института» (30 июня 1899 года), в которой

Крукс заявил, что наука подошла к границе исследования «невидимого мира» — явлений телепатии, парапсихологии и т. д.

С. 539

Стихотворная цитата представляет собой строки из эпилога поэмы «In memotiam» А. Теннисона.

С. 540

...о них заговорили еще в 1893 году — память несколько подводит Г. Адамса, и он неверно датирует открытие рентгеновских лучей; следует читать: «в 1895 году».

...чем кризис 1600 года, когда астрономы перевернули мир — Г. Адамс ссылается на распространение в начале XVII века учения Н. Коперника о строении Солнечной системы, на астрономические гипотезы Джордано Бруно и открытия Иоганна Кеплера и Галилео Галилея.

...оно скорее напоминало конвульсии, сотрясавшие Европу в 310 году, когда Civitas Dei освободилась от Civitas Romae и христианский крест занял место римских легионов — обр-разное описание утверждения христианства в качестве официальной религии Римской империи (313 год) и последовавшей за ней христианизации языческой Европы — устроения на земле идеального «царства божия» вместо империи, даже в теории опиравшейся исключительно на силу оружия и силу законов.

С. 541

Оствальд, Вильгельм (1853—1932) — немецкий ученый, специалист в области физической химии, автор ряда натур-философских сочинений.

С. 542

Пуанкаре, Жюль Анри (1854—1912) — французский математик.

С. 546

...начиная со времени Зенона и его стрелы — этапом в развитии, непрерывном от начала времени и прерывающемся в каждой последующей точке — имеется в виду один из самых знаменитых парадоксов (апорий) древнегреческого философа Зенона (IV—III вв. до н. э.), наглядно доказывавшего противоречивый характер и необъективность «естественного» восприятия и понятия движения. В апории о стреле Зенон утверждал, что, исходя из наших представлений о движении, стрела не должна догонять убегающую лань, поскольку за то время, пока стрела пролетит расстояние от охотника до цели, лань успеет пробежать некоторое расстояние, и, пока стрела будет преодолевать эту вторую дистанцию, лань опять-таки успеет изменить позицию, и так до бесконечности, хотя величины расстояний и будут приближаться к бесконечно малым значениям. Парадокс демонстрирует непрерывный характер движения как явления, которое нельзя мысленно останавливать и рассматривать в виде суммы пространственных точек.

...закончилось катастрофой 310 года — имеется в виду конец язычества в истории Западной Европы.

Бальфур, Артур (1848—1930) — английский государственный деятель и философ, президент Ассоциации британских ученых, автор труда «Защита философского сомнения» (1879), в котором обобщаются основные положения современного неоскептицизма.

С. 550

Гельмгольц, Герман (1821—1894) — немецкий ученый-физиолог, изучавший оптические принципы функционирования органов зрения у живых организмов. В данном случае имеются в виду его работы по электромагнитной индукции и распределению энергии в механических системах.

С. 551

Алексеев, Михаил Васильевич (1857—1918) — генерал

русской армии. С октября 1904 года занимал должность генерал-квартирмейстера 3-й маньчжурской армии. Один из руководителей контрреволюции в 1917—1918 годах.

С. 554

...в качестве его полномочной замены ужинать за столом президента — брат Генри — публицист и политический обозреватель Брукс Адамс был близким другом и неофициальным советником президента Т. Рузвельта.

Чемберлен, Мэри Эндикотт — дочь Джозефа Чемберлена, подавшего в 1903 году в отставку из-за несогласия с колониальной политикой своего кабинета. Поскольку его жена была американкой, Мэри часто навещала родину матери.

С. 555

Сарджент, Джон Сингер (1856—1925) — американский художник.

С. 556

...когда президент предложил ему поехать в Сент-Луис... — Всемирная выставка 1904 года была проведена в Сент-Луисе в честь 100-летней годовщины со времени приобретения Соединенными Штатами (1803) западной части старой Луизианы у Франции.

С. 557

Казалось, сам эмир Мирза показывал гостю богатства Медного города — ссылка на эссе Джозефа Аддисона «Видения Мирзы» (1710).

С. 562

Фуке, Жан (1416—1480) — придворный художник Людовика XI, писавший портреты, алтари и книжные миниатюры.

Пинтуриккио — прозвище итальянского художника *Бернардино ди Бетти (1454—1513)*, расписывавшего алтари

и стены храмов. Для его стиля показательна тщательность детализировки, особенно в изображении лиц.

Анран Ле-Пренс (ум. 1530) — принадлежал к знаменитому семейству французских художников Ле-Пренс. Они считаются авторами цветных витражей в храмах города Бовэ (Северная Франция).

...в том числе *Франциска I и Генриха II — Франциск I* (1494—1547) — французский король, воевавший против императора Карла V из сугубо честолюбивых побуждений. *Генрих II* (1519—1559) — французский король, сын Франциска I — религиозный ханжа, преследовавший гугенотов с целью конфискации их имущества и прибегавший к принудительным займам для пополнения королевской казны. «*Древо Христо-во*» — средневековый анахронизм — чисто феодально-геральдическое изображение «родословной» Христа от царя Давида.

С. 563

Тибо IV (1201—1253) — король Наварры и граф Шампанский, участник крестового похода против альбигойцев. Французский лирический поэт куртуазной школы.

Де Жуанвиль, Жан (1224—1317) — французский аристократ, уроженец города Труа, автор знаменитой хроники царствования Людовика IX. Во главе своего отряда в 700 всадников-рыцарей Жуанвиль сопровождал Людовика Святого во время седьмого крестового похода.

...все перемешалось в мыслях — *Россия и крестоносцы, ипподром и Ренессанс...* — упоминая ипподром в сочетании с крестоносцами, Г. Адамс, по всей видимости, подразумевал захват Константинополя во время четвертого крестового похода (1202—1204), когда столица Византии была частично сожжена и почти полностью разграблена. Крестоносцы вывезли с константинопольского ипподрома все статуи, в том числе и знаменитую бронзовую четверку коней, которая в настоящее время находится в Венеции, украшая площадь св. Марка.

С. 568

Аристарх Самосский (III в. до н. э.) — древнегреческий астроном, рассчитавший расстояния от Земли до Луны и Солнца и определивший их диаметры.

Птолемей Клавдий (II в. н. э.) — древнегреческий астроном, живший в Александрии. Создал математическую геоцентрическую систему астрономии и географии, признанную католической церковью. С опровержением системы Птолемея в XVI веке первым выступил польский ученый Николай Коперник.

Диоклетиан (245—313) — древнеримский император, приказавший в 303 году осуществить массовые преследования христиан с целью упрочения язычества, бывшего в то время государственной религией Римской империи.

В 305 году империя решила проблемы, стоящие перед Европой, намного полнее, чем они когда-либо решались впоследствии — имеется в виду административное и экономическое объединение Европы в рамках Римской империи, полное прекращение боевых действий на ее территории и создание единой системы законов.

С. 570

...перед сражением у Мильвийского моста — с этого старинного римского моста через Тибр в 312 году был сброшен в реку, несмотря на оказанное сопротивление, главный политический противник Константина I — Максентий.

С. 571

Феодосий (346—395) — древнеримский полководец и император Восточной Римской империи, разгромивший в 394 году армию претендента на константинопольский трон *Евгения* — ставленника вождя франков Арбогаста.

Тюрго, Робер Жак (1727—1781) — французский государственный деятель, экономист.

С. 572

Аларих (376—410) — вождь вест-готов, прошедший боевую выучку под командованием Феодосия. В 410 году Аларих захватил Рим.

С. 573

Епископ Августин из Гиппона — так иногда называли Августина Блаженного.

С. 574

Святая София — величайший памятник византийской храмовой архитектуры (VI век), одно из «семи чудес света». В 1453 году после захвата Константинополя турками собор был превращен в мечеть.

Карл Великий (или Шарлемань) (742—814) — король франков, ставший императором созданной им Священной Римской империи.

Никифор Фока (912—969) — византийский военачальник, сражавшийся с арабами; император Византии в 963—969 годах.

С. 575

...манихейская доктрина о добре и зле — религиозное течение, сформировавшееся в христианстве в III веке н. э. и получившее название по имени Мани — своего первоучителя. Манихейство отвергало христианский монизм (всемогущество бога), рассматривало мир, а также душу каждого человека как арену непрекращающейся борьбы между силами добра и зла. В V веке манихейство было объявлено ересью и сурово преследовалось вплоть до XIII века.

С. 576

...урок в 1249 году, когда они однажды попытались под покровом ночи овладеть Каиром — во время седьмого крестового похода крестоносцы, подбиваемые венецианцами,

обеспечившими их кораблями, по пути следования в Палестину грабили африканские владения Византии. В хронике Жуанвилля повествуется о неудачном штурме Каира, во время которого обороняющиеся использовали самовоспламеняющуюся от воздуха смесь — отдаленный прототип современного напалма, — известную в то время под названием «греческий огонь».

С. 577

Гутенберг, Иоганн (1400—1468) — немецкий типограф, с именем которого связывается изобретение плоскочечного станка с наборным шрифтом.

Фуст, Иоганн (ум. 1466) — немецкий типограф, коллега и помощник И. Гутенберга.

Когда полвека спустя Лютер и Кальвин перевернули всю Европу вверх дном — имеется в виду начало массового движения протестантизма (так называемая «эпоха Реформации»), связанного с именами многих религиозных и политических деятелей различных государств Европы XVI—XVII веков. *Мартин Лютер (1483—1546)* — немецкий теолог, и *Жан Кальвин (1509—1564)* — французский священник, живший в Женеве, — наиболее влиятельные теоретики протестантских вероучений в начальный период эпохи Реформации, создавшие соответственно лютеранство и кальвинизм.

Бэньян, Джон (1628—1688) — английский общественный деятель и писатель, автор религиозно-аллегорического сочинения «Путь паломника», опубликованного в 1678 году.

...он повторил св. Иеронима — сопоставление Бэньяна со св. Иеронимом весьма неконкретно. По-видимому, в сознании Г. Адамса их имена были связаны тем, что св. Иероним, по его собственному рассказу, так же, как впоследствии Паломник Джона Бэньяна, испытал под влиянием пророческого сна внезапное чудодейственное прозрение, неистребимую тягу

к новой жизни, к самоусовершенствованию и духовным исканиям.

Лейбниц, Готтфрид (1646—1716) — немецкий математик и философ, создатель теории гармонического мироздания как системы взаимодействия силовых центров, или «монад».

С. 580

Пристли, Джозеф (1733—1804) — английский священник и естествоиспытатель, открывший кислород. Его неортодоксальные материалистические воззрения на природу вызывали недовольство церковных и светских властей Великобритании, в результате чего ему было запрещено участвовать в экспедиции капитана Кука по Южным морям в качестве астронома и картографа.

Дженнер, Эдуард (1749—1823) — изобретатель вакцины против оспы, впервые примененной им в 1796 году. Столкнулся с враждебным отношением окружающих его людей к практике вакцинации как к богохульству и опасному чудачеству.

Фултон, Роберт (1765—1815) — американский инженер, построивший в 1807 году первый рабочий образец парохода (знаменитый «Клермонт»). К удивлению Фултона, его изобретение вызвало многочисленные насмешки и издевательства, а «Клермонт» получил прозвище «придурь Фултона».

С. 585

Лаплас, Пьер (1749—1827) — французский астроном и математик. Его объяснение причин «неправильности» орбит Сатурна и Юпитера считалось современниками самым крупным открытием в астрономии со времени И. Ньютона.

Ньюкомен, Томас (1663—1729) — один из соавторов первого парового двигателя (запатентован в 1705 году), конструкция которого оказалась нерентабельной из-за низкого коэффициента полезного действия. Паровой двигатель Ньюкомена в его время использовался для откачки воды из шахт.

Вольта, Алессандро (1745—1827) — итальянский физик, создавший первые образцы электрической батареи. Его именем названа единица измерения напряжения электрического тока.

Дальтон, Джон (1766—1844) — английский химик, исследовавший атомарную природу вещества и создавший новаторскую для своего времени теорию строения атома, опубликованную им в сочинении «Новая система химической философии» (1810).

Бургава, Германн (1668—1738) — выдающийся голландский медик и естествоиспытатель, с деятельностью которого связано превращение Лейденского университета в центр европейской медицинской науки первой половины XVIII века.

Ни один из участников революции 1789 года — имеется в виду Великая французская революция 1789—1794 годов, начавшаяся стихийно с захвата восставшим народом королевской тюрьмы — Бастилии 14 июля 1789 года, принятия Учредительным собранием 26 августа «Декларации прав человека и гражданина» и создания Национальной гвардии — народного ополчения.

Гюйгенс, Христиан (1629—1695) — голландский физик и астроном, открывший кольца Сатурна и выдвинувший волновую теорию света.

Гарвей, Уильям (1578—1657) — английский физиолог и врач, изучивший систему кровообращения в живых организмах.

С. 586

Браге, Тихо (1546—1601) — датский астроном, обнаруживший неравномерный характер вращения Луны.

С. 590

...протягивая к себе упорнее, нежели все Понтийские моря... — *Понтийское море* — греческое название Черного моря (также — *Понт*). Реминисценция легенды о плавании

аргонатов в Колхиду за золотым руном. Возможно, представляет собой неточную цитату из Шекспира: «Как в Черном море / Холодное течение день и ночь / Несется неуклонно к Геллеспонту...» («Отелло», III. 3, 450—452).

С. 593

Воистину новому американцу придется мыслить, оперируя противоречиями, и, в отличие от четырех знаменитых кантовских антиномий, в новой вселенной не будет ни одного закона, верность которого нельзя было бы доказать от обратного — в «Критике чистого разума» (1781) немецкий философ Иммануил Кант (1724—1804), исследуя законы нашей логики, пришел к выводу, что для человеческого мышления показательны четыре основные антиномии — сосуществование прямо противоречащих друг другу философских посылок, истинность каждой из которых может быть доказана логически.

С. 595

В Вашингтоне Рузвельт ... боролся с трестами — опираясь на Верховный суд США, президент Т. Рузвельт стремился ограничить власть монополий, устанавливающих договорные фиксированные уровни цен на рынке и поэтому препятствующих свободной торговле. В 1904 году в США было зарегистрировано 27 судебных исков к администрациям трестов от имени генерального прокурора кабинета Т. Рузвельта.

С. 598

Скотт, Роберт Фолкон (1868—1912) — английский полярный исследователь, достигший в январе 1912 года южного полюса Земли и погибший в Антарктиде.

Пуран Дасс — герой рассказа Р. Киплинга «Чудо Пурана Бхагата» — премьер-министр одного из индийских княжеств, добровольно решивший стать странствующим богомольцем.

С. 599

...ждать уничтожения своего флота — имеется в виду Цусимское морское сражение, завершившееся разгромом соединения кораблей Тихоокеанских эскадр в мае 1905 года.

С. 601

«Арменонвилль» — дорогой парижский ресторан в Булонском лесу.

В. ОЛЕЙНИК

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- св. Августин, Аврелий (Блаженный) 440, 573, 577
Аврелий Марк 112
Агассис, Александр 70, 282, 366, 367, 414
Агассис, Луи 76, 273, 366
Адамс, Абигайл Браун Брукс 20, 32, 350
Адамс, Абигайл Смит 25, 423
Адамс, Брукс 124, 357, 358, 405—406, 432, 554
Адамс, Джон 16, 23, 34, 42—43, 61, 121, 128, 136—137, 401, 446
Адамс, Джон Куинси 16—20, 22, 23
Адамс, Джон Куинси-младший 32, 47, 290
Адамс, Луиза Кэтрин 32, 47, 105—107, 343—344
Адамс, Луиза Кэтрин Джонсон 16, 22, 24—25, 56
Адамс, Сэм 30
Адамс, Чарлз Фрэнсис 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37—39, 41—42, 48, 55, 60, 62, 87, 109, 120, 128, 132, 134, 135, 139—142, 144, 145, 148, 150, 152, 156, 164—166, 175, 181, 183, 186, 198, 199, 202, 203, 208, 209, 213, 234, 256, 278, 308, 322, 350, 354, 523
Адамс, Чарлз Фрэнсис-младший 32, 54, 110, 136, 146, 156, 253, 289, 290, 324, 343, 350, 354, 367
Адамс, Эвелин Дэвис 528
д'Азелио 164,
Аларих 572
Александр Великий 319, 372
Александр I 137, 523
Александр II 523
Александр III 524, 553
Алексеев М. В. 551—552
Алкивиад 568
Альба, герцог 92
св. Амвросий 440
Андерсон, Николас Лонуорт 72
Аппоньи, Рудольф 164
Апторп, Роберт 95, 99
Аристарх, Самосский 568
Арнолд, Джейн Марта 152
Арнолд, Мэтью 77, 133, 152, 219, 231, 243, 286, 430, 464, 560

- Артур, Честер Алан 353
 Архимед 568
 Аткинсон, Эдуард 291
- Бадо, Адам 316, 317
 Байард, Томас Фрэнсис 353, 396
 Байрон, Джордж Ноэль Гордон 283, 430
 Бакминстер, Джозеф Стивенс 29
 Бакстон, Томас Фауэл 222
 Бальзак, Оноре де 78
 Бальфур, Артур 546, 550, 567
 Банкрофт, Джон 101
 Банкрофт, Джордж 379, 383
 Барлоу, Фрэнсис Чэннинг 253, 299
 Барлетт, Уильям Фрэнсис 253, 299
 Батлер, Бенджамин Франклин 165, 167, 199
 Баулз, Сэмюэл 306
 Бауэн, Фрэнсис 90
 Бебель, Фердинанд Август 506, 507
 Беда Достопочтенный 359
 Бейтс, Джошуа 148
 Бенар, Поль Альберт 466
 Беннет, Джеймс Гордон 293
 Бентон, Томас Харт 125
 Бердет-Кутс 143, 238
 Беринг, Томас 148
 Берк, Эдмунд 41
 Беркли, Джордж 515
 Бермингем, Энсон 63, 123
 св. Бернар 511
 Берхнем, Дэниел Хадсон 408
 Бетелл, Ричард 179, 180, 183, 213
 Бетховен, Людвиг ван 99, 100, 102, 106
 Бизли, Эдуард Спенсер 228
 Билле, Торбен ван 164
 Бисмарк, Карл Отто фон Шёнгаузен 10, 96, 346
- Блейн, Джеймс Гилеспи 313, 335, 336, 337, 353, 384, 396, 426, 470
 Блэкстон, Уильям 120, 130, 134
 Бокль, Генри Томас 266, 360, 519
 Бонифаций VII 367
 Бортвик, Алджернон 163
 Браге, Тихо 586
 Брайант, Уильям Коллен 293
 Брайс, Джеймс 363
 Брайс, Калвин 383, 396, 412
 Брайт, Джон 152, 153, 161, 221, 222, 225, 226, 227—231, 340
 Бранли, Эдуард 455, 456, 460
 Браун, Абигайл 32
 Браунинг, Роберт 114, 243
 Брет-Гарт, Фрэнсис 311, 374, 377, 460, 482
 Брук, Стопфорд Август 259, 265
 Брукс, Питер Чардон 17, 18, 23, 31, 32
 Брукс, Сидни 116
 Брукс, Филлипс 70, 282, 376
 Брум, Генри 151, 222, 233, 238
 Бруннов, Ф. И. 161, 164, 165
 Бруно, Джордано 577
 Брут, Марк Юний 439
 Бульвер-Литтон, Эдвард Джордж 52, 243
 Бургаве, Герман 585
 Бутвелл, Джордж Сьюэлл 64, 315, 320, 322, 325, 326, 334, 337, 356, 390, 391
 Бьюкенен, Джеймс 135
 Бэкон, Фрэнсис 134, 453, 539, 546, 577, 578, 579, 585
 Бэньян, Джон 577
 Бэрр, Аарон 471
- Вагнер, Рихард 100, 482, 483, 486
 Ван Бюрен, Мартин 35, 60
 Ван де Вейер, Сильвен 164
 Вандербильт, Корнелиус 287
 Ван Остаде, Адриан 92

- Вагто, Жан Антуан 467
 Вашингтон, Джордж 61, 62, 64, 66, 312, 322, 401, 412, 446, 500
 Вашингтон Марта 62
 Верасес, Виргиния 239
 Веронезе, Паоло 239
 Виктория 52, 235, 431
 Вильгельм I 96, 363, 522, 554
 Вильгельм II 507
 Вильгельм IV Фридрих 96
 Винеблз, Джордж Стоувин 151, 243
 Витте С. Ю. 489, 490, 496, 523—525, 530, 551
 Вольта, Алессандро 585
 Вольтер 170, 467, 502, 578
 Вордсворт, Уильям 48
 Вулнер, Томас 259, 260, 264, 265
- Галилей, Галилео 457, 546, 577, 585, 590
 Галлатин, Альберт 399, 520
 Гамбетта, Леон 347
 Гамильтон 251
 Гантер 241
 Гарвей, Уильям 585
 Гарibaldi, Джузеппе 112, 113, 115, 116, 117, 239, 240, 317
 Гаррисон, Бенджамин 383, 387, 388, 396, 398, 447
 Гаррисон, Уильям Ллойд 39, 55
 Гартман, Эдуард 516
 Гарфилд, Джеймс Абрам 313, 335, 336, 337, 338, 353, 387
 Гегель, Георг Вильям Фридрих 100, 181, 484, 486, 487, 516, 536, 537
 Геккель, Эрнст Генрих 512, 541—542
 Гексли (Хаксли), Томас Генри 270
- Гейки, Джеймс 478
 Гейне, Генрих 94, 99
 Гельмгольц, Герман 550
 Генрих II 562
 Генрих IV 55
 Генрих VIII 347
 Георг IV 27, 283, 340
 Герберт, Майкл Генри 521—522, 529
 Герин, Морис де 338
 Гери, Эфраим Уитни 350, 351, 358, 367
 Гёте, Иоганн Вольфганг 78, 101
 Гёртин, Томас 266
 Гиббон, Эдуард 112—114, 360, 440, 462, 463, 519, 592
 Гиббс, Джосиа Уиллард 451
 Гиббс, Оливер Уолкотт 536, 537
 Гизо, Франсуа 44
 Гладстон, Уильям Юарт 139, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199—200, 201, 203, 207, 210, 211, 212, 213, 216, 218, 219, 222, 224, 231, 243, 248, 315, 340, 346
 Годкин, Эдвин Лоренс 125, 293, 331, 336, 402, 403
 Гор, Сэмюэл 308
 Гор, Эбенезер Роквуд 308, 315, 321, 325, 333, 334, 335, 338
 Горький А. М. 488
 Горэм, Натаниэль 60
 Грах, Тиберий 112
 Грант, Улисс Симпсон 305, 306, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 325, 326, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 356, 367, 387, 398, 399, 427, 461
 Гревиль, Чарлз Кавендиш Фалк 232
 Грей, Джордж 193, 222

- Грей, Томас 48
Грей, Хорейс 133
Грили, Хорейс 293
Грин, Джон Ричард 259
Грот, Гарриета 232
Грот, Джордж 243
Гулд, Джей 323, 324, 325, 326, 338, 343, 356
Гутенберг, Иоганн 577, 586
Гюго, Виктор 170, 172—173, 240
Гюйгенс, Христиан 585
- Дадли, Томас Хейнс 157
Даймлер, Готтлиб 454
Дальтон, Джон 585
Дана, Ричард Генри-младший 39, 40, 41, 42, 47, 48
Дана, Чарлз Андерсон 293
Данте, Алигьери 170, 459, 536
Дарвин, Чарлз Роберт 243, 269, 270, 271, 275, 277, 319, 340, 374, 407, 475, 477, 539
Девис, Генри Уинтер 124
Дегранд, Питер Пол Фрэнсис 29
Делейн, Джон Таддеус 147, 151, 163, 205, 206, 207
Декарт, Рене 465, 510, 515, 577, 585, 590
Деннет, Джон Ричард 357
Джайлс, Уильям 471
Джеймс, Генри 197, 282, 333, 381
Джеймс, Джордж Пейн Рейнсфорд 89
Джеймс, Уильям 367
Дженнер, Эдуард 580
Джефферсон, Томас 62, 391, 520
Джонс, Джон Персиваль 412
Джонсон, Джошуа 24, 25
Джонсон, Сэмюэл 48, 90, 403
Джонсон, Томас 24
Джонсон, Эндрю 252, 295—296, 313, 314, 322, 330, 448
- Джослин, Фрэнсис Элизабет 164
Джуэтт, Бенджамин 243
Джэксон, Эндрю 33, 60, 304
Дизраэли, Бенджамин 179, 198, 231, 234, 283, 340
Диккенс, Чарлз 48, 52, 78, 89, 218, 219, 243, 503
Диксвел, Епес Сарджент 68
Диоклетиан 568, 595
Дойль, Фрэнсис Гастинг Чарлз 230, 248
Дона, Стекло 306, 316
Достоевский Ф. М. 488
Дьюи, Джордж 308
Дэвис, Джефферсон 139, 190, 197, 200, 223, 224
Дэвис, Джон Чэндлер Банкрофт 330
Дюма, Александр 116, 360, 467
Дюпон, Сэмюэл Фрэнсис 136
Дюрер, Альбрехт 586
- Евклид 568
Елизавета 436
- Жорес, Жан Леон 506, 507
Жуанвилль, Жан де 563, 576
- Зенон 465, 546
Зом, Рудольф 440
Зюсс, Эдуард 478
- Иддингс, Джозеф Паксон 419
св. Иероним 440, 577
- Кавендиш, Фредерик Чарлз 154
Кавур, Камилло Бенсо 113, 117
Кальвин, Жан 577

- Камерон, Джеймс Доналд 397—400, 402—403, 411—412, 461, 508
- Камерон (Шерман), Элизабет 397
- Канлиф, Роберт Альфред 230
- Каннинг, Джордж 210, 248
- Каннинг (Бомонт), Маргарет Деборо 236
- Кант, Иммануил 78, 100, 515, 536, 545
- Каракакус 275
- Карл I Великий 574
- Карлейль, Говард 222
- Карлейль, Томас 44, 52, 77, 103, 159, 231, 233, 243, 267, 331, 430
- Кассини А. П. 449, 469, 521, 522, 524, 525, 553, 555
- Катон 439
- Кашинг, Калеб 65
- Кельвин, Томсон Уильям 455, 479, 538
- Кемпбелл, Джордж Дуглас 153, 183, 185
- Кеплер, Иоганн 450, 577, 585
- Кертис, Бенджамин 300
- Кинг, Клэрэнс 81, 108, 322, 371—374, 377, 382, 384, 385, 388, 389, 390, 392, 414, 416, 417, 472, 473, 474, 480, 497
- Кинг, Престон 124
- Кинглейк, Александр Уильям 267
- Киплинг, Редьярд 311, 381, 382
- Клей, Генри 11, 59, 125
- Клей, Кассиус Марселлас 138
- Кливленд, Гровер 383, 384, 388, 396, 398, 418, 447
- Клинтон, Генри (герцог Ньюкасл) 187, 193
- Кобден, Ричард 125, 153, 161, 221, 222, 231
- Кокберн, Александр Джеймс Эдмунд 223
- Кокрен, Уильям Берк, лорд 396
- Кокс, Джейкоб Долсон 315, 320, 325, 332, 338
- Кокс, Сэмюэл Салливен 338
- Колумб, Христофор 426, 457, 577, 586
- Колхун, Джон Колдуэл 59, 471
- Кольер, Роберт Поррет 181, 202
- Конклинг, Роско 59, 125, 303, 313, 335, 336, 337, 338, 471
- Константин I Великий 432, 457, 570, 577, 595
- Конт, Огюст 76, 360, 519, 571, 587
- Коперник, Николай 457, 586
- Копли, Джон Сингльтон, барон Линдхёрст 238
- Кора Перл (Кроуч, Эмма Элизабет) 251
- Корреджо 102
- Краунииншилд Б. У. 101
- Кролл, Джеймс 478
- Кромвель, Оливер 439
- Кропоткин П. А. 485, 488
- Крукс, Уильям 537, 540
- Куинси, Джозиа 23
- Куинси, Эдмунд 39
- Кэмпбелл, Джон 238
- Лавджой, Оуэн 124
- Лайелл, Чарлз 154, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 280, 281, 369, 374, 475—476, 477, 478
- Лайонс, Ричард Бикертон Пемел 191
- Лама Великий (Далай Лама) 160
- Ламар Люиус 223, 224, 226, 227, 296, 335, 385
- Ламарк, Жан Батист 359
- Ламсдорф В. Н. 523, 524, 553
- Лант В. П. 29
- Лаплас, Пьер 585
- Ла Фарж, Джон 81, 282, 377,

- 378, 379, 408, 442, 443, 444, 461, 561
Лафонтен, Жан де 276
Лейбниц, Готтфрид 577, 585, 590
Лэнгли, Сэмюэл Пьерпонт 451, 452, 453—457, 537
Леонардо да Винчи 586
Ле-Пренс, Ангран 562
Ли, Роберт Эдвард 72, 132, 184, 187, 319
Ли, Уильям Генри 72—75
Либри, Гульельмо 263
Ливсон-Гауэр, Джордж (лорд Гранвилл) 181, 186, 187, 196, 199, 243, 282, 387
Линдсей, Уильям Шоу 224, 226
Линкольн, Авраам 119, 126, 129, 130—131, 133, 134, 147, 149, 158, 159, 165, 247, 250, 251, 355—356, 383, 391, 439, 500
Линней, Карл 359
Лодж, Генри Кэбот 397, 412, 423, 424, 500—503
Лодж, Джон Эллертон 41
Лодж, Джордж Кэбот 481, 483, 484, 485, 486, 489, 529
Лонгфелло, Генри Уодсворт 38, 41, 48, 77, 113, 172
Лорн, Джон Дуглас Сазерленд Кэмпбелл 154
Лоу, Роберт 243
Лоуэлл, Джеймс Рассел 77—80, 82, 103, 107, 172, 229, 230, 231, 311, 366, 367
Луи-Филипп 44, 52, 235, 286
Лукреций 459
Льюис, Джордж Корнуэлл 190, 192, 194, 196, 222
Лэндор, Уолтер Сэвидж 173
Лэрд 214
Людовик IX Святой 576
Людовик XI 463
Людовик XIV 347, 585
Люгер, Мартин 577
Майлс, Нельсон Эпплтон 253
Макиавелли, Никколо ди Бернардо 105
Маккаллок, Хью 297—298, 299, 315
Макким, Чарлз Фоллен 377, 408
Маккинли, Уильям 282, 313, 425, 426, 428, 439, 447, 468, 470, 473, 493, 507, 524
Макклеллан, Джордж Бринтон 156, 167
Макленнан, Джон Фергюсон 360
Маколей, Томас 44, 52, 243, 266, 267, 310
Максвелл, Джеймс Кларк 539
Макуэй, Айзек Уэйн 391
Маллет, А. Б. 304
Манн, Хорейс 48
Марвин, Томас 54, 55
Мария Терезия 467
Маркантонио 263
Маркони, Гульельмо 455
Маркс, Карл 44, 76, 90, 421, 453
Марчисон, Родерик 275, 276
Маршалл, Джон 62, 300
Мах, Эрнст 512, 541—542, 550
Медисон, Джеймс 62, 222, 389, 391, 520
Мейербер, Джакомо 347
Мейн, Генри 360, 440
Мервиг 363
Микеланджело Буанарроти 113, 114, 260, 266, 394, 464, 586
Миллс, Кларк 304
Милль, Джон Стюарт 44, 90, 153, 231, 588
Милмен, Генри Харт 243
Милнс, Гаскелл Джеймс 248, 249, 340, 347, 348

- Милнс, Гаскелл Чарлз 246, 283, 380
- Милнс, Ричард Монктон (барон Хьютон) 145, 150, 151, 152, 167—170, 171, 172, 173, 174, 175, 205, 206, 221, 222, 224, 232, 236, 243, 246, 248, 249
- Мильтон, Джон 229
- Мопассан, Ги де 311
- Морган, Пьерпонт 282, 415
- Мор, Ханна 24
- Морли, Джон 194
- Морган, Юниус Спенсер 148
- Мотли, Джон Лотроп 38, 44, 241, 242, 243, 286, 329, 331, 340, 594
- Моксон, Артур 174
- Момзен, Теодор 114
- Монро, Джеймс 27, 308, 322
- Монтень, Мишель 465, 542, 578, 586
- Музурус, Константин 164
- Мэзон, Джеймс Мюррей 145, 223, 224, 246, 471
- Мэннинг, Генри Эдуард 248
- Мюран, Бенджамин 157, 175
- Мюссе, Альфред де 172—173
- Наполеон I 10, 26, 103, 137, 317, 347, 379, 434, 467, 585
- Наполеон III 103, 104, 113, 168, 189, 195, 197, 199, 201, 213, 224, 250, 342, 346, 347
- Наттье, Жан Марк 467
- Никифор Фока 574
- Николей, Джон 385, 497
- Ницше, Фридрих 579
- Нордхофф, Чарлз 306, 317
- Норт, Фредерик 210
- Нортон, Чарлз Элиот 268
- Нут, Кэтрин 24
- Ньюком, Барнс 241
- Ньюком, Саймон 451
- Ньюкомен, Томас 585
- Ньюмен, Джон Генри 231
- Ньютон, Исаак 272—273, 450—451, 510, 538—539, 560, 577, 580, 585, 590
- Окакуро (Какуцо) 443
- Оксеншерна, Аксель Густафссон 122
- Олифант, Лоренс 168—169, 174, 175
- Олни, Ричард 396
- Оствальд, Вильгельм 541
- Остин, Джейн 503
- Отто I Великий 363
- Оффа 275
- Палгрейв, У. Джиффорд 258
- Палгрейв, Фрэнсис Тернер 232, 258, 259, 260, 261, 265, 269, 342, 367
- Палмер, Ранделл 180
- Палмер, У.С.Н. 115, 116
- Пальмерстон, Генри Темпл 113, 138, 139, 153, 155, 160—167, 179—180, 183, 185—190, 192, 193, 195—199, 201, 203, 207, 209, 210, 212
- Пампелли, Рафаэль 108, 536
- Паркер, Теодор 37, 39, 47, 55
- Паркмен, Джордж 29
- Паркмен, Фрэнсис 391
- Парке, Джозеф 146, 147, 222
- Паскаль, Блез 465, 510, 579
- Патти, Аделина 241
- Паунсфот, Джулиан 448, 469, 470, 521
- Пейли, Уильям 277
- Пендлтон, Джордж Хант 353
- Перкинс 43

- Пибоди, Джордж 148
Пикеринг, Бэзил Монтегю 174
Пиль, Роберт 44
Пинтуриккио 562
Пипин 363
Пирсон, Карл 536—542, 545, 555, 590
Питт, Уильям 163
Пифагор 539
Платон 78, 568
Плеве В. К. 496, 563
Покахонтас 268, 281
Полк, Джеймс Нокс 11, 21
Полфри, Джон Горэм 37, 39, 41, 42, 47, 48, 267, 268
Помпадур, Жанна Антуанетта
Пуассон де 467
Поп, Александр 48
Прескот, Уильям Хиклинг 38, 44
Пристли, Джозеф 580
Птолемей, Клавдий 568
Пуанкаре, Жюль Анри 542—545, 550
Пуфендорф, Самуил 232
Рабле, Франсуа 542
Райс, Сесил Артур Спрингс 397, 426
Райт, Чонси 357
Рамсес II 418
Рассел, Джон 139, 141, 149, 150, 153, 155, 160, 164, 166, 180, 187—189, 208—216, 219, 220; 223, 224, 231, 283, 340, 434
Рассел, Джордж Р. 41, 179—186, 190—199, 201—203, 207, 250, 255
Рафаэль, Санти 262, 263, 265
Реймонд, Генри Дж. 124, 146, 293
Реймонди, Маркантонио 263
Рейнолдс, Джошуа 467
Реклю, Жан Жак Элизе 421, 485
Рембрандт, Харменс ван Рейн 260—262
Рен, Кристофер 256
Ренан, Эрнст 77
Ретц (Рец), Жан Франсуа Поль де Гонди 331
Рёнтген, Вильгельм Конрад 537
Рёскин, Джон 231, 463
Рив, Генри 151, 232—233, 309, 339, 342, 343
Рид, Джордж 262—264
Рид, Томас Брэккет 396
Рид, Уитлоу 253, 282, 293, 415
Риенци, Кола ди 112
Ричардсон, Генри Гобсон 70, 81, 257, 282, 377, 380, 408, 461
Робак, Джон Артур 225—228
Роден, Огюст 466
Рокхилл, Уильям Вудвилл 426, 432
Ролинз, Джон Аарон 316, 318, 319
Ромни, Джордж 25
Россини, Джоаккино 116
Рубенс, Питер Пауль 464
Рузвельт, Теодор 397, 493, 498, 500, 503, 554, 595, 596
Руссо, Жан Жак 5, 6
Рут, Илиу 470, 554
Самнер, Чарлз Ф. 39, 40—43, 47, 48, 64—66, 95, 122—125, 131 — 136, 139—141, 149, 302—303, 308, 313, 315, 325, 328—335, 337—338, 356, 471
Сарджент, Джон Сингер 555
Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь 423
Сенека, Луций 499
Сент-Годенс, Огюст 81, 377, 390, 391, 393, 394, 408, 461—464, 466, 555

- Сесил, Роберт Артур Тобот Гас-
койн 175, 179, 310
Скотт, Вальтер 360
Скотт, Роберт Фолкон 598
Скотт, Уинфилд 75, 130
Слайделл, Джон 145, 223
Смит, Адам 421
Смит, Джон 267—268
Смит, Сидни 243
Смолли, Джордж Уошберн 238,
253
Созерн, Эдуард Эскью 218
Сократ 486, 513
Софокл 170, 429
Спенсер, Герберт 460, 539
Спенсер, Эдуард 432
Спиноза, Бенедикт 271, 513, 545,
577
Сполдинг, Элбридж Джерри 333
Стаббс, Уильям 171
Сталло, Джон Бернгард 452, 537,
540
Стекло, Е. А. 306
Стенли-Олдерли, Люлф 154
Стентон, Эдвин Макмастерс 207
Стёргис, Рассел 148
Стерлинг, Максвелл Уильям 168,
171, 172, 174
Стивенсон, Роберт Льюис 169,
311, 381
Стикни, Джозеф Трамбелл 481,
483
Стори, Мурфилд 308
Стори, Уильям Уэстмор 114
Струве А. 307
Стюарт, Джилберт 29
Суинберн, Алджернон Чарлз
169—174, 240, 243, 381, 430
Сулла 439
Сьюард, Уильям Генри 34, 39, 63,
109, 124—129, 131, 133, 134,
136—139, 141, 147, 149, 157,
158, 175, 176, 179, 181, 207,
210, 247, 296, 297, 328, 330
Сэвидж, Джеймс 54, 55
Сюлли, Жан Муни 481
- Талебран, Шарль Морис 331
Тацит 113
Твен, Марк 318
Тейлор, Захари 60
Тейлор, Ричард 238
Теккерей, Уильям Мейкпис 48,
52, 78, 89, 158, 159, 218, 243
Теньерс, Давид 92
Тёрнер, Джозеф М. 256, 260
Тернина, Милка 483
Теннисон, Альфред 48, 52, 113,
243, 248, 268
Тиберий, Клавдий Нерон 138,
439, 499
Тибо IV 562
Тикнор, Джордж 38, 41, 44
Тилден, Сэмюэл Джонс 446
Тиндалл, Джон 270
Токвилль, Алексис де 44, 231
Толстой Л. Н. 488
Торри, Генри Уоррен 358
Тревелиян, Чарлз Эдвард 154
Трикупи, Спиридон 164, 175
Тургенев И. С. 488
Тьер, Луи Адольф 347
Тэйлор, Эдуард Бернет 360
Тюрэнн, Анри 55
Тюрго, Робер Жак 571, 587
- Уайлд, Гамильтон 113
Уайт, Стэнфорд 377, 408, 461
Уатт, Джеймс 580, 585
Уид, Терлоу 63, 126, 176—182,
219
Уилберфорс, Сэмюэл 243
Уилкс, Чарлз 147

- Уилсон, Генри 63
Уилсон, Чарлз Лаш 135, 157
Уинн, Шарлотта Уильямс 249, 340
Уинтроп, Роберт Чарлз 39, 43
Уистлер, Джеймс Эббот 265, 443, 444
Уитмен, Уолт 460
Уитни, Джошуа Дуайт 369
Уитни, Уильям Коллинз 282, 353, 384, 396, 415—417, 446
Уокер, Джеймс 37, 80, 82
Уокер, Фрэнсис А. 299, 332, 333
Уолкот, Эдуард Оливер 396, 476
Уоллес, Дональд Маккензи 488
Уолпол, Спенсер 183
Уолси, Томас 437
Уорд, Сэмюэл 305, 317, 338
Уортон, Фрэнсис 357
Уотерсон, Генри 306
Уошберн, Израэл 123
Уэбстер, Дэниел 33, 34, 38, 39, 41, 43, 46, 59, 63, 125, 471
Уэллс, Дэвид Эймс 338
Уэлсли, Артур 163
Уэствери, 180
Уэстком, Энтони 260
- Фарадей, Майкл 473, 509
Фелтон, Корнелиус К. 80
Феодосии 571
Филиппс, Уэнделл 39, 55
Филлипс, Уильям Холлет 419
Фиск, Джеймс 324, 343, 356
Фиск, Джон 357, 364, 367
Фиш, Гамильтон 315, 320, 325, 328—332, 335, 338, 352
Фома Аквинский 465, 511, 512, 513, 519, 544
Форд, Уоррингтон Чонси 420
Форен, Жан Луи 232
Форстер, Уильям Эдуард 145, 150, 152, 185, 221, 222, 224, 229, 340, 341
Франклин Бенджамин 6, 62, 177, 223, 399, 579, 580, 585
Франциск I 347, 562
Франциск Ассизский 114, 439, 441
Фрелингюсен, Фридерик Теодор 353
Фридрих Великий 467
Фридрих Вильгельм IV 96
Фридрих I Барбаросса 363
Фримен, Эдуард Огастес 492
Фротингем, Натаниэль Лэнгдон 32, 37
Фротингем, Октавиус 47
Фруд, Джеймс Энтони 243, 267
Фрюин, Мортон 412
Фуке, Жан 562
Фултон, Роберт 580
Фуст, Иоганн 577
- Хамфрис-Джонстон, Джон 443
Хан, Марк Алонсо 282, 427
Хант, Моррис Ричард 376, 408, 411
Хант, Моррис Уильям 257, 376, 461
Хант, Уильям Холмен 258
Харви, Питер 43, 63
Хау, Тимоти Отис 349, 350
Хей, Джон 81, 130, 196, 253, 282, 313, 377, 379, 380, 383—385, 387—392, 397, 415, 419, 425—427, 431—434, 436—438, 445—448, 467—473, 480, 493, 496—498, 500, 503, 505—508, 520—525, 555, 556, 558, 598—601
Хейг, Арнольд 370
Хейс, Ратерфорд Берчард 384—385, 387, 554
Хеллам, Артур Генри 248

- Хиггинсон, Генри Ли 54, 253, 282
 Хиггинсон, Джеймс Дж. 101
 Хилдрет, Ричард 128
 Хилков М. И. 489, 490, 524, 525, 530
 Хит, Рейнолдс 509
 Хоггарт, Уильям 467
 Холланд, Генри 158, 245, 246
 Холлебен, Альберт Людвиг Карл 449, 469, 521
 Холмс, Оливер Уэнделл 38, 172
 Холмс, Оливер Уэнделл-младший 70
 Холстед, Мюрат 306
 Хортон, Сэмюэл Дана 401
 Хоуэллс, Уильям Дин 282
 Хофер, Уильям 419
 Хупер, Сэмюэл 304
 Хьюз, Томас 154
 Хьюит, Абрам Стивен 352, 353, 384, 391, 446—447
 Хэйуорд, Эйбрехем 151, 163, 243
 Хэмптон (Сара Бакстер) 158
 Хэнкок, Джон 8, 9
- Цицерон, Марк Туллий 114, 439
 Цезарь, Гай Юлий 114, 319, 439
- Чайлд, Фрэнсис Джеймс 366
 Чаннинг, Уильям Эллери 29, 39
 Чейз, Сэлмон Портленд 31, 332, 333, 335, 338
 Челлини, Бенвенуто 463
 Чемберлен, Джозеф 446, 554
 Чемберлен, Мэри Эндикотт 554
 Чендлер, Джозеф Р. 115
- Шелли, Перси Биши 283, 394
 Шекспир, Уильям 78, 170, 204, 236, 250, 266, 471, 482, 492, 502, 503, 586, 601
 Шерман, Джон 353, 397, 427—428
 Шерман, Уильям Текумсе 294, 464
 Шефтсбери, Энтони Эшли Купер 153, 222, 224
 Шиллер, Иоганн Фридрих 100
 Шопенгауэр, Артур 484, 516, 579
 Шпек, Герман 521—522
 Шурц, Карл 384
- Эвартс, Уильям Максвелл 40, 175, 179, 181, 182, 219, 237, 246, 293—295, 300, 304—305, 325, 379, 385, 446, 500
 Эверет, Уильям 246
 Эверет, Эдуард 30—34, 37, 39, 41, 43, 245, 357
 Эдуард Исповедник 367
 Эдуард VII 235, 283, 340
 Элиот, Чарлз Уильям 348, 351, 357, 358, 363, 364
 Эллей, Джон Бассетт 63, 64—65
 Эмерсон, Ралф Уолдо 37, 47, 77, 79, 172, 325
 Эммонс, Сэмюэл Франклин 369, 370
 Эшли, Энтони Ивлин 175
- Юм, Дэвид 48, 515
 Юстиниан I 432, 574
- Яков I 453

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА

5

1. КУНСИ (1838—1848)

8

2. БОСТОН (1848—1854)

32

3. ВАШИНГТОН (1850—1854)

52

4. ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1854—1858)

68

5. БЕРЛИН (1858—1859)

87

6. РИМ (1859—1860)

101

7. ИЗМЕНА (1860—1861)

119

8. ДИПЛОМАТИЯ (1861)

134

9. ВРАГИ ИЛИ ДРУЗЬЯ (1862)
155
10. О ПРАВСТВЕННОСТИ В ПОЛИТИКЕ (1862)
175
11. БИТВА С БРОНЕНОСЦАМИ (1863)
202
12. ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ (1863)
217
13. СОВЕРШЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (1864)
234
14. ДИЛЕТАНТИЗМ (1865—1866)
250
15. ДАРВИНИЗМ (1867—1868)
269
16. ПРЕССА (1868)
284
17. ПРЕЗИДЕНТ ГРАНТ (1869)
305
18. ВСЕОБЩАЯ СВАЛКА (1869—1870)
321
19. ХАОС (1870)
339
20. ПРОВАЛ (1871)
357
21. СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ (1892)
375
22. ЧИКАГО (1893)
396
23. МОЛЧАНИЕ (1894—1898)
414
24. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (1898—1899)
433

25. ДИНАМО-МАШИНА И СВЯТАЯ ДЕВА (1900)	452
26. СУМЕРКИ (1901)	466
27. ТЕЙФЕЛЬСДРЕК (1901)	480
28. НА ВЕРШИНЕ ПОЗНАНИЯ (1902)	496
29. В БЕЗДНЕ НЕЗНАНИЯ (1902)	508
30. VIS INERTIAE (1903)	520
31. ГРАММАТИКА НАУКИ (1903)	536
32. VIS NOVA (1903—1904)	551
33. ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИСТОРИИ (1904)	564
34. ЗАКОН УСКОРЕНИЯ (1904)	582
35. NUNC AGE (1905)	594
<i>А. Н. НИКОЛЮКИН. ЖИВОЙ СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ США</i>	603
<i>В. Т. ОЛЕЙНИК. КОММЕНТАРИЙ</i>	628
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	738

Художественная публицистика
Серия мемуары и биографии

Адамс Генри

ВОСПИТАНИЕ ГЕНРИ АДАМСА

В издании использованы архивные фотоматериалы

Редактор Л. В. Савченко
Художник В. К. Бисенгалиев
Художественный редактор В. А. Пузанков
Технический редактор А. М. Токер
ИБ № 15894

Сдано в набор 14.07.87. Подписано в печать 4.10.88. Формат 70x100 1/32.
Бумага типогр. № 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Условн. печ. л. 32,9 + 0,7 печ. л. вклеек. Усл. кр.-отт. 75,0.
Уч.-изд. л. 36,18. Тираж 50000 экз. Заказ №901. Цена 2 р. 60 к.
Изд. №41628

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс"
Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и
книжной торговли.

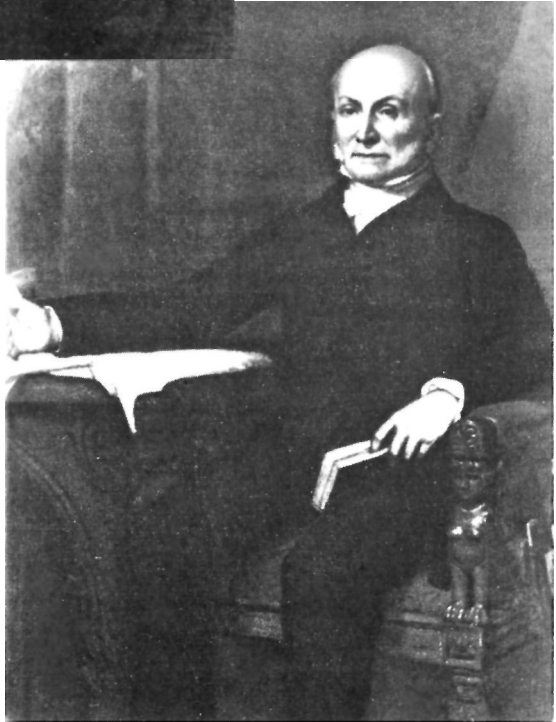
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Можайск, 143200, ул. Мира, 93.



Джон Адамс, прадед Генри Адамса, 2-й президент США.

Джон Куинси Адамс, дед Генри Адамса, 6-й президент США.





Дом Адамсов в Куинси.

Стейт-хаус в Бостоне

Стейт-стрит, 1830-е годы.





Чарлз Фрэнсис Адамс, брат
Генри Адамса.

Генри Адамс.

Брукс Адамс, брат Генри
Адамса.





Ралф Уолдо Эмерсон.



Дэниел Уэбстер, Генри Клей
и Джон Колхун.





Авраам Линкольн, 16-й президент США.

Вид Бостона с воздушного шара. 1860-е годы.

Джефферсон Дэвис и его кабинет.



Генерал Роберт Ли.



Фрегат «Алабама»
участвует в сражении.





Лорд Пальмерстон.

Граф Рассел.



Ричард Монктон Милнс.





Генри Адамс.

Джон Л. Мотли.

Открытие первой американской
трансконтинентальной
железной дороги.





Уильям Маккинли,
25-й президент США.



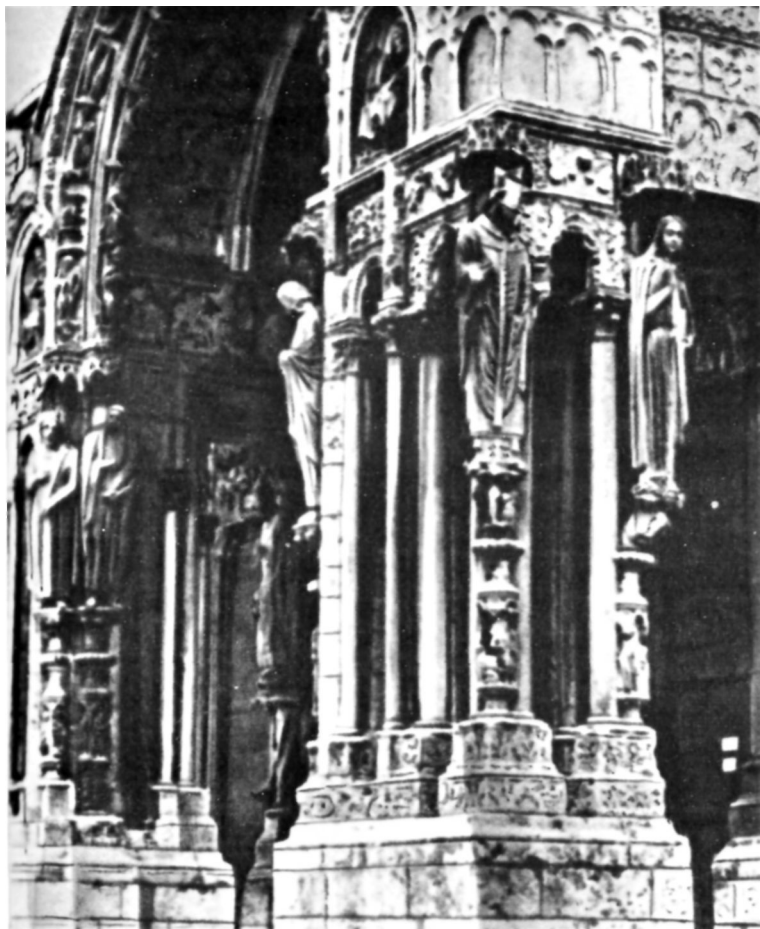
Гибель броненосца
«Мэн».



Шартрский собор.

Джон Ла Фарж.





Одна из колонн собора
в Шартре.



Чарлз Самнер.

Кларенс Кинг.

Джон Хей держит
в руках роман
Г. Адамса
«Демократия».





Генри Адамс за
работой.

Томас Карлейль.

Теодор Рузвельт,
26-й президент
США.



Надгробие Генри Адамса и его
жены. Скульптор Огюст
Сент-Годенс.



2 р. 60 к.

ПРОГРЕСС

